This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

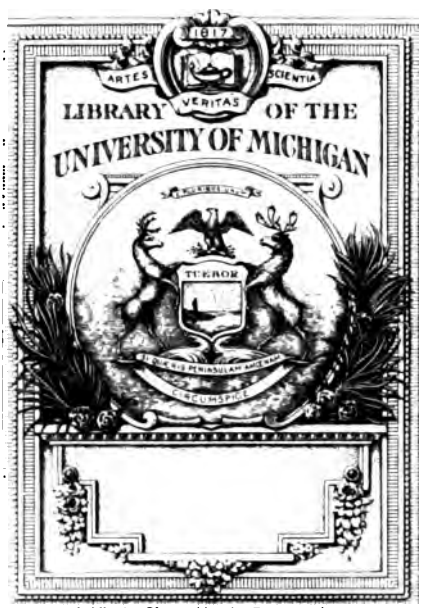
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 470689 DUPL


1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

871.78
T94
03

И. С. ТУРГЕНЕВЪ

Томъ IX.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

И. С. ТУРГЕНЕВА

ТОМЪ IX.

Посмертное изданіе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
(Вас. Остр., 9 лин., № 12.)

1883.

Собственность Глазунова.

ПОВѢСТИ и РАЗСКАЗЫ

СОДЕРЖАНІЕ

ДЕВЯТАГО ТОМА:

	стр.
СТУКЪ!... СТУКЪ!... СТУКЪ!....	1
ВЕШНІЯ ВОДЫ	37
ПУНИНЪ и БАБУРИНЪ	209
ЧАСЫ	281
СОНЪ	339
РАЗСКАЗЪ ОТЦА АЛЕКСѢЯ	364
*ОТРЫВКИ ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ СВОИХЪ И ЧУЖИХЪ:	
I. Старые портреты	380
II. Отчаянный	408
*ПѢСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ	436
*КЛАРА МИЛИЧЪ	463
*СТИХОТВОРЕНІЯ ВЪ ПРОЗѢ	533—596

* *Звѣздочкой* обозначено вошедшее вновь въ посмертное изданіе.

СТУКЪ.... СТУКЪ.... СТУКЪ!...

Студія.

I.

....Мы всѣ усѣлись въ кружокъ — и Александръ Васильевичъ Ридель — нашъ хорошій знакомый (фамилія у него была нѣмецкая — но онъ былъ коренной русакъ) — Александръ Васильевичъ началъ такъ:

Я разскажу вамъ, господа, исторію, случившуюся со мной въ тридцатыхъ годахъ.... лѣтъ сорокъ тому назадъ, какъ видите. Я буду кратокъ — а вы не прерывайте меня.

Я жилъ тогда въ Петербургѣ — и только-что вышелъ изъ университета. Мой братъ служилъ въ конной гвардейской артиллеріи прапорщикомъ. Баттарея его стояла въ Красномъ селѣ — дѣло было лѣтомъ. Братъ квартировалъ собственно не въ Красномъ селѣ — а въ одной изъ окрестныхъ деревушекъ; я не разъ гостилъ у него и перезнакомился со всѣми его товарищами. Онъ помѣщался въ довольно опрятной избѣ вмѣстѣ съ другимъ офицеромъ его баттареи. Звали этого офицера Тѣглевымъ, Ильей Степанычемъ. Съ нимъ я особенно сблизился.

Марлинскій теперь устарѣлъ — никто его не читаетъ — и даже надъ именемъ его глумятся; но въ тридцатыхъ го-

дахъ онъ гремѣлъ какъ никто — и Пушкинъ, по понятію тогдашней молодежи, не могъ идти въ сравненіе съ нимъ. Онъ не только пользовался славой перваго русскаго писателя; онъ даже — что̀ гораздо труднѣе и рѣже встрѣчается — до нѣкоторой степени наложилъ свою печать на современное ему поколѣніе. Герои à la Марлинскій — попадались вездѣ, особенно въ провинціи и особенно между армейцами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языкомъ; въ обществѣ держались сумрачно, сдержанно — съ «бурей въ душѣ и пламенемъ въ крови», какъ лейтенантъ Бѣлозоръ «Фрегата Надежды». Женскія сердца «пожирались» ими. Про нихъ сложилось тогда прозвище: «фатальный». Типъ этотъ, какъ извѣстно, сохранялся долго, до временъ Печорина. Чего-чего не было въ этомъ типѣ? И байронизмъ, и романтизмъ; воспоминанія о французской революціи, о декабристахъ — и обожаніе Наполеона: вѣра въ судьбу, въ звѣзду, въ силу характера, поза и фраза — и тоска пустоты; тревожныя волненія мелкаго самолюбія — и дѣйствительная сила и отвага; благородныя стремленья — и плохое воспитаніе, невѣжество, аристократическія замашки — и щеголяніе игрушками.... Но однако, довольно философствовать.... Я обѣщался разсказывать.

II.

Подпоручикъ Тѣглевъ принадлежалъ къ числу именно такихъ «фатальныхъ» людей, хотя и не обладалъ наружностью, обыкновенно этимъ личностямъ присвояемой: онъ, напр., нисколько не походилъ на Лермонтовскаго «фаталиста». Это былъ человѣкъ средняго роста, довольно плотный, сутуловатый, бѣлокурый, почти бѣлобрысый; лицо имѣлъ круглое, свѣжее, краснощекое, вздернутый носъ,

низкій, на вискахъ заросшій лобъ и крупныя, правильныя, вѣчно неподвижныя губы: онъ никогда не смѣялся, не улыбался даже. Лишь изрѣдка, когда онъ уставалъ и задыхался, выказывались четырехъ-угольные зубы, бѣлые какъ сахаръ. Та же искусственная неподвижность была распространена по всѣмъ его чертамъ: не будь ея, онѣ бы являли видъ добродушный. Во всемъ его лицѣ не совсѣмъ обыкновенны были только глаза, небольшіе, съ зелеными зрачками и желтыми рѣсницами: правый глазъ былъ чуть-чуть выше лѣваго, и на лѣвомъ глазу вѣка поднималась меньше чѣмъ на правомъ, что придавало его взору какую-то разность и странность и сонливость. Физіономія Тѣглева, не лишенная впрочемъ нѣкоторой пріятности, почти постоянно выражала неудовольствіе, съ примѣсью недоумѣнія: точно онъ слѣдилъ внутри себя за невеселой мыслію, которую никакъ уловить не могъ. Совсѣмъ тѣмъ онъ не производилъ впечатлѣнія гордеца: его скорѣй можно было принять за обиженнаго, чѣмъ за гордаго человѣка. Говорилъ онъ очень мало, съ запинками, сиплымъ голосомъ, безъ нужды повторяя слова. Въ противность большей части фаталистовъ, онъ особенно-вычурныхъ выраженій не употреблялъ — и прибѣгалъ къ нимъ только на письмѣ: почеркъ имѣлъ совершенно дѣтскій. Начальство считало его офицеромъ — «такъ-себѣ», — не слишкомъ способнымъ и не довольно усерднымъ. «Есть пунктуальность — но аккуратности нѣтъ», говорилъ о немъ бригадный генералъ нѣмецкаго происхожденія. И для солдатъ Тѣглевъ былъ — «такъ себѣ» — ни рыба, ни мясо. Жилъ онъ скромно, по состоянію. Девяти лѣтъ отъ роду онъ остался круглымъ сиротою: отецъ и мать его утонули весною, въ половодье, переправляясь на паромѣ черезъ Оку. Онъ получилъ воспитаніе въ частномъ пансіонѣ, гдѣ считался однимъ изъ самыхъ тупыхъ и самыхъ смирныхъ учениковъ; поступилъ, по собственному

настоятельному желанію, и по рекомендаціи двоюроднаго дяди, человѣка вліятельнаго, юнкеромъ въ гвардейскую конную артиллерію — и, хотя съ трудомъ, однако выдержалъ экзаменъ сперва на прапорщика, потомъ на подпоручика. Съ другими офицерами онъ находился въ отношеніяхъ натянутыхъ. Его не любили, посѣщали его рѣдко — и самъ онъ почти ни къ кому не ходилъ. Присутствіе постороннихъ людей его стѣсняло; онъ тотчасъ становился неестественнымъ, неловкимъ.... въ немъ не было ничего товарищескаго — и ни съ кѣмъ онъ не «тыкался». Но его уважали; и уважали его не за его характеръ или умъ и образованность — а потому, что признавали на немъ ту особенную печать, которою отмѣчены «фатальные» люди. «Тѣглевъ сдѣлаетъ карьеру, Тѣглевъ чѣмъ-нибудь отличится» — этого никто изъ его сослуживцевъ не ожидалъ; — но «Тѣглевъ выкинетъ какую-нибудь необыкновенную штуку» — или «Тѣглевъ возьметъ да вдругъ выйдетъ въ Наполеоны» — это не считалось невозможнымъ. Потому тутъ дѣйствуетъ «звѣзда» — и человѣкъ онъ «съ предопредѣленіемъ» — какъ бываютъ люди «со вздохомъ» и «со слезою».

III.

Два случая, ознаменовавшіе самое начало его офицерской службы, много способствовали къ упроченію за нимъ его фатальной репутаціи. А именно: въ самый первый день его производства — около половины марта мѣсяца — онъ, вмѣстѣ съ другими, только-что выпущенными офицерами, шелъ, въ полной парадной формѣ, по набережной. Въ тотъ годъ весна наступила рано, Нева вскрылась; большія льдины уже прошли — но всю рѣку запрудилъ мелкій, сплошной, пропитанный водою ледъ. Молодые люди разговари-

вали, смѣялись.... вдругъ одинъ изъ нихъ остановился: онъ увидалъ на медленно двигавшейся поверхности рѣки, шагахъ въ двадцати отъ берега небольшую собачку. Взобравшись на выдававшуюся льдину, она дрожала всѣмъ тѣломъ и визжала. «А вѣдь она погибнетъ» — проговорилъ офицеръ сквозь зубы. Собачку тихонько проносило мимо одного изъ спусковъ, устроенныхъ вдоль набережной. Вдругъ Тѣглевъ, ни слова не говоря, сбѣжалъ по этому самому спуску — и, перепрыгивая по тонкому льду, проваливаясь, и выскакивая, добрался до собачки, схватилъ ее за шиворотъ и, благополучно вернувшись на берегъ, бросилъ ее на мостовую. Опасность, которой подвергался Тѣглевъ, была такъ велика, поступокъ его былъ такъ неожиданъ, что товарищи его словно окаменѣли — и только тогда заговорили всѣ разомъ, когда онъ подозвалъ извощика, чтобы ѣхать къ себѣ домой; весь мундиръ на немъ былъ мокръ. Въ отвѣтъ на ихъ восклицанія, Тѣглевъ равнодушно промолвилъ, что кому что на роду написано, тотъ того не минуетъ — и велѣлъ извощику ѣхать.

— Да ты собаку-то возьми съ собой на память, — крикнулъ одинъ изъ офицеровъ. Но Тѣглевъ только рукой махнулъ — и товарищи его переглянулись въ молчаливомъ изумленіи.

Другой случай произошелъ нѣсколько дней спустя, на карточномъ вечерѣ у баттарейнаго командира. Тѣглевъ сидѣлъ въ углу — и не участвовалъ въ игрѣ. «Эхъ, кабы мнѣ, какъ въ Пушкинской Пиковой дамѣ, бабушка напередъ сказала, какія карты должны выиграть!» — воскликнулъ одинъ прапорщикъ, спускавшій свою третью тысячу. Тѣглевъ молча приблизился къ столу, взялъ колоду, снялъ — и, проговоривъ: шестерка бубенъ! — перевернулъ колоду: внизу была шестерка бубенъ. — Тузъ трефъ! — провозгласилъ онъ и снялъ опять: снизу оказался тузъ трефъ. —

Король бубенъ! промолвилъ онъ въ третій разъ сердитымъ шопотомъ сквозь стиснутые зубы — отгадалъ въ третій разъ.... и вдругъ весь покраснѣлъ. Вѣроятно, онъ самъ этого не ожидалъ. «Отличный фокусъ! Покажите-ка еще», замѣтилъ баттарейный командиръ. «Я фокусами не занимаюсь», сухо отвѣтилъ Тѣглевъ — и вышелъ въ другую комнату. Какимъ образомъ это такъ случилось, что онъ заранѣе отгадывалъ карту — я растолковать не берусь: но видѣлъ я это собственными глазами. Послѣ него многіе изъ присутствовавшихъ игроковъ пытались сдѣлать то же самое — и никому оно не удалось: *одну* карту еще иной и угадаетъ; но уже двѣ сряду — никакъ. А у Тѣглева вышло цѣлыхъ три! Этотъ случай еще болѣе утвердилъ за нимъ репутацію таинственнаго, фатальнаго человѣка. Мнѣ послѣ часто приходило на умъ, что не удайся ему фокусъ съ картами — кто знаетъ, какой бы она приняла оборотъ, и какъ бы онъ самъ взглянулъ на себя; но эта неожиданная удача окончательно рѣшила дѣло.

IV.

Понятно, что Тѣглевъ тотчасъ ухватился за эту репутацію. Она придавала ему особое значеніе, особый колоритъ.... «Cela le posait», какъ выражаются французы — и при небольшомъ его умѣ, незначительныхъ познаніяхъ и громадномъ самолюбіи — такая репутація приходилась ему какъ разъ подъ-руку. Заслужить ее было трудно, а поддержать ее — ничего не значило: стоило только молчать и дичиться. Но не въ силу этой репутаціи я сошелся съ Тѣглевымъ — и, можно сказать, полюбилъ его. Полюбилъ я его, во-первыхъ, потому, что самъ былъ порядочный дичокъ — и видѣлъ въ немъ собрата; а во-вторыхъ, и потому,

что человѣкъ онъ былъ добрый — и въ сущности очень простосердечный. Онъ внушалъ мнѣ нѣчто въ родѣ сожалѣнія; мнѣ казалось, что, помимо его напускной фатальности, надъ нимъ дѣйствительно тяготѣетъ трагическая судьба, которой онъ самъ не подозрѣваетъ. Разумѣется, *этого* чувства я ему не высказывалъ: внушать сожалѣніе — можетъ ли быть обида хуже для «фатальнаго» человѣка? И Тѣглевъ чувствовалъ расположеніе ко мнѣ: со мной было ему легко, со мной онъ разговаривалъ — въ моемъ присутствіи онъ рѣшался покидать тотъ странный пьедесталъ, на который не то попалъ, не то взобрался. Мучительно, болѣзненно-самолюбивый, онъ, вѣроятно, все-таки сознавалъ въ глубинѣ души своей, что ничѣмъ не оправдываетъ своего самолюбія — и что другіе, пожалуй, могутъ смотрѣть на него свысока.... а я, девятнадцатилѣтній мальчикъ, не стѣснялъ его; страхъ сказать что-нибудь неумное, неумѣстное при мнѣ не сжималъ его вѣчно-настороженнаго сердца. Онъ даже иногда впадалъ въ болтливость; и благо ему, что никто, кромѣ меня, не слыхалъ его рѣчей! Его репутація недолго бы удержалась. Онъ не только зналъ очень мало — онъ почти ничего не читалъ — и ограничивался тѣмъ, что набирался подходящихъ анекдотовъ и исторій. Онъ вѣрилъ въ предчувствія, предсказанія, примѣты, встрѣчи, въ счастливые и несчастные дни, въ преслѣдованіе или благоволеніе судьбы, въ значительность жизни, однимъ словомъ. Онъ даже вѣрилъ въ какіе-то «климатерическіе» годы, о которыхъ кто-то упомянулъ при немъ и значеніе которыхъ онъ самъ не понималъ хорошенько. Фатальнымъ людямъ настоящаго закала не слѣдуетъ выказывать подобныя вѣрованья: они должны внушать ихъ другимъ.... Но Тѣглева, съ *этой* стороны, зналъ я одинъ.

V.

Однажды, помнится, въ самый Ильинъ день, 20-го іюля, я поѣхалъ гостить къ брату — и не засталъ его: на цѣлую недѣлю куда-то откомандировали. Вернуться въ Петербургъ я не хотѣлъ; потаскался съ ружьемъ по окрестнымъ болотцамъ, убилъ парочку бекасовъ, а вечеръ провелъ съ Тѣглевымъ подъ навѣсомъ пустого сарая, въ которомъ онъ устроилъ, какъ онъ выражался, лѣтнюю свою резиденцію. Мы покалякали кой-о-чемъ, а впрочемъ бо́льшей частью пили чай, курили трубки и разговаривали то съ хозяиномъ, обрусѣвшимъ чухонцемъ, то съ мотавшимся около баттареи разнощикомъ, продавцемъ «пельциновъ, лимоновъ хоро-о-шихъ», милымъ человѣкомъ и балагуромъ, который, кромѣ другихъ талантовъ, умѣлъ играть на гитарѣ и разсказывалъ намъ о несчастной любви, которую онъ въ «младости» питалъ къ дочери хожалаго. Войдя въ лѣта, этотъ Донъ-Жуанъ въ александрійской рубахѣ уже не зналъ несчастныхъ привязанностей. Передъ воротами нашего сарая разстилалась, постепенно углубляясь, широкая равнина; маленькая рѣчка блистала мѣстами въ извилинахъ ложбинъ; дальше, на небосклонѣ виднѣлись низкіе лѣса. Ночь приближалась, и мы остались одни. Вмѣстѣ съ ночью спускался на землю тонкій, сырой паръ, который, все болѣе и болѣе разростаясь, превратился наконецъ въ густой туманъ. На небо взошелъ мѣсяцъ: весь туманъ проникнулся насквозь и какъ бы позлатился его сіяніемъ. Все странно передвинулось, закуталось и смѣшалось; далекое казалось близкимъ, близкое далекимъ, большое малымъ, малое большимъ.... все стало свѣтло и неясно. Мы словно перенеслись въ сказочное царство, въ царство бѣлозолотистой мглы, тишины глубокой, чуткаго

сна.... И какъ таинственно, какими серебристыми искорками сквозили сверху звѣзды! Мы оба умолкли. Фантастическій обликъ этой ночи подѣйствовалъ на насъ: онъ настроилъ насъ на фантастическое.

VI.

Тѣглевъ первый заговорилъ, съ обычными запинками, недомолвками и повтореніями, о предчувствіяхъ.... о привидѣніяхъ. Въ такую точно ночь, по его словамъ, одинъ его знакомый студентъ, только-что поступившій въ гувернёры къ двумъ сиротамъ и помѣщенный съ ними въ павильонѣ, въ саду, — увидалъ женскую фигуру, наклоненную надъ ихъ постелями, и на слѣдующій день узналъ эту фигуру въ незамѣченномъ имъ до тѣхъ поръ портретѣ, изображавшемъ мать этихъ самыхъ сиротъ. Потомъ Тѣглевъ разсказалъ мнѣ, будто родителямъ его, за нѣсколько дней до ихъ гибели, все чудился шумъ воды; будто дѣдушка его въ бородинскомъ сраженіи избавился отъ смерти тѣмъ, что, увидавъ на землѣ простой сѣрый голышъ, внезапно нагнулся и поднялъ его — а въ это самое мгновенье картечь пролетѣла надъ его головою и сломила его длинный черный султанъ. Тѣглевъ даже обѣщался показать мнѣ этотъ самый голышъ, спасшій его дѣда и вдѣланный имъ въ медальонъ. Потомъ онъ упомянулъ о призваніи каждаго человѣка и о своемъ въ особенности, и прибавилъ, что онъ доселѣ въ него вѣритъ, и что если въ немъ когда-нибудь на этотъ счетъ возникнутъ сомнѣнія, то онъ съумѣетъ раздѣлаться съ ними и съ жизнью, ибо жизнь тогда потеряетъ для него всякое значеніе. «Вы, можетъ быть, полагаете, промолвилъ онъ, искоса глянувъ на меня, что на это у меня не хватитъ духа? Вы меня не знаете.... У меня воля желѣзная!»

«Хорошо сказано», подумалъ я про себя.

Тѣглевъ задумался, глубоко вздохнулъ и, выпустивъ изъ руки чубукъ, объявилъ мнѣ, что нынѣшній день для него очень важный. — Ныньче Ильинъ день — я имянинникъ.... Это.... это для меня всегда тяжелая пора.

Я ничего не отвѣчалъ и только глядѣлъ на него, какъ онъ сидѣлъ передо мною, согнутый, сутулый, неповоротливый, съ уставленнымъ на землю сонливымъ и пасмурнымъ взоромъ.

— Сегодня, продолжалъ онъ, одна старушка нищая (Тѣглевъ не пропускалъ ни одного нищаго, не подавъ ему милостыни) сказала мнѣ, что она о моей душенькѣ помолится.... Развѣ это не странно?

«Охота же человѣку все съ собою возиться!» подумалъ я опять. Я долженъ однако прибавить, что въ послѣднее время я сталъ замѣчать необычное выраженіе заботы и тревоги на лицѣ Тѣглева, и не «фатальная» то была меланхолія: его что-то дѣйствительно грызло и мучило. И въ этотъ разъ меня поразила унылость, распространенная по его чертамъ. Ужъ не начинали ли возникать въ немъ тѣ сомнѣнья, о которыхъ онъ мнѣ говорилъ? Мнѣ сказывали товарищи Тѣглева, что онъ, незадолго передъ тѣмъ, подавалъ начальству проектъ о какихъ-то переформированіяхъ «по лафетной части», и что этотъ проектъ былъ ему возвращенъ съ «надписью», т. е. съ выговоромъ. Зная его характеръ, я не сомнѣвался въ томъ, что подобное пренебреженіе начальства глубоко его оскорбило. Но то, что̀ мнѣ чудилось въ Тѣглевѣ, походило болѣе на грусть, имѣло болѣе личный оттѣнокъ.

— Однако сыро становится, промолвилъ онъ вдругъ, и повелъ плечами. Пойдемте въ избу — да и спать пора. У него была привычка поводить плечами и поворачивать голову со стороны на сторону, точно ему галстукъ стано-

вился тѣснымъ, причемъ онъ брался правой рукою за горло. Характеръ Тѣглева выражался — такъ по крайней мѣрѣ мнѣ казалось — въ этомъ тоскливомъ и нервическомъ движеніи. Ему тоже было тѣсно на свѣтѣ.

Мы вернулись въ избу и легли, каждый на лавкѣ, онъ въ красномъ углу, я въ переднемъ, на постланномъ сѣнѣ.

VII.

Тѣглевъ долго ворочался на своей лавкѣ, и я не могъ заснуть. Разсказы ли его взволновали мои нервы, странная ли эта ночь раздражала мою кровь — не знаю; только я заснуть не могъ. Всякое даже желаніе сна изчезло наконецъ, и я лежалъ съ раскрытыми глазами, да думалъ, напряженно думалъ, Богъ знаетъ о чемъ, о самыхъ безсмысленныхъ пустякахъ, — какъ это всегда бываетъ во время безсонницы. Переворачиваясь съ боку на бокъ, я протянулъ руку.... Палецъ мой ударился объ одно изъ бревенъ стѣны. Раздался слабый, но гулкій и какъ бы протяжный звукъ.... Я, должно быть, попалъ на пустое мѣсто.

Я вторично ударилъ пальцемъ.... уже нарочно. Звукъ повторился. Я еще.... Вдругъ Тѣглевъ приподнялъ голову.

— Ридель, промолвилъ онъ, слышите, кто-то стучитъ подъ окномъ.

Я притворился спящимъ. Мнѣ вдругъ пришла охота потрунить надъ моимъ фатальнымъ товарищемъ. Все равно — мнѣ не спалось.

Онъ опустилъ голову на подушку. Я подождалъ немного и опять постучалъ три раза сряду.

Тѣглевъ опять приподнялся и сталъ прислушиваться.

Я постучалъ опять. Я лежалъ къ нему лицомъ, но мою

руку онъ не могъ видѣть.... я ее назадъ закинулъ, подъ одѣяло.

— Ридель! крикнулъ Тѣглевъ.

Я не отозвался.

— Ридель! повторилъ онъ громко. — Ридель!

— А? Что такое? проговорилъ я словно съ просонья.

— Вы не слышите, кто-то все стучитъ подъ окномъ. Въ избу, что ли, просится.

— Прохожій.... пролепеталъ я.

— Такъ надо его впустить, или узнать, что̀ за человѣкъ?

Но я уже не отвѣчалъ и снова притворился спящимъ.

Прошло нѣсколько минутъ.... Я опять за свое....

«Стукъ.... стукъ.... стукъ!...»

Тѣглевъ тотчасъ выпрямился и сталъ слушать.

«Стукъ.... стукъ.... стукъ! Стукъ.... стукъ.... стукъ!»

Сквозь полузакрытыя вѣки, при бѣлесоватомъ свѣтѣ ночи, я хорошо могъ видѣть всѣ его движенья. Онъ обращалъ лицо то къ окну, то къ двери. Дѣйствительно: трудно было понять, откуда шелъ звукъ: онъ словно облеталъ комнату, словно скользилъ вдоль стѣнъ. Я случайно попалъ на акустическую жилку.

«Стукъ.... стукъ.... стукъ!...»

— Ридель! закричалъ, наконецъ, Тѣглевъ. — Ридель! Ридель!

— Да что̀ такое? промолвилъ я, зѣвая.

— Неужели вы ничего не слышите? Стучитъ кто-то!

— Ну, Богъ съ нимъ! отвѣтилъ я, и опять показалъ видъ что заснулъ, захрапѣлъ даже....

Тѣглевъ успокоился.

«Стукъ.... стукъ.... стукъ!...»

— Кто тамъ? закричалъ Тѣглевъ. — Войди!

Никто, разумѣется, не отвѣчалъ.

«Стукъ.... стукъ.... стукъ!»

Тѣглевъ вскочилъ съ постели, открылъ окно, и, высунувъ голову наружу, дикимъ голосомъ спросилъ: «Кто тамъ? Кто стучитъ?» Потомъ онъ отворилъ дверь и повторилъ свой вопросъ. Въ отдаленьи проржала лошадь — и только.

Онъ вернулся къ своей постели....

«Стукъ.... стукъ.... стукъ!»

Тѣглевъ мгновенно перевернулся и сѣлъ.

«Стукъ.... стукъ.... стукъ!»

Тѣглевъ проворно надѣлъ сапоги, накинулъ шинель на плечи, и, отцѣпивъ со стѣны саблю, вышелъ изъ избы. Я слышалъ, какъ онъ два раза обошелъ ее кругомъ, и все спрашивалъ: «Кто тутъ? Кто тутъ ходитъ? Кто стучитъ?» Потомъ онъ вдругъ умолкъ, постоялъ на одномъ мѣстѣ на улицѣ, недалеко отъ угла, гдѣ я лежалъ и, уже ни слова больше не говоря, вернулся въ избу и легъ не раздѣваясь.

«Стукъ.... стукъ.... стукъ!» началъ я снова. «Стукъ.... стукъ.... стукъ!»

Но Тѣглевъ не шевелился, не спрашивалъ: кто стучитъ? а только подперъ голову рукою.

Видя, что *это* больше не дѣйствуетъ, я спустя немного времени, притворился, что просыпаюсь и, вглядѣвшись въ Тѣглева, принялъ удивленный видъ.

— Вы развѣ куда ходили? спросилъ я.

— Да, равнодушно отвѣчалъ онъ.

— Вы все продолжали слышать стукъ?

— Да.

— И никого не встрѣтили?

— Нѣтъ.

— И стукъ прекратился?

— Не знаю. Теперь мнѣ все равно.

— Теперь? Почему же именно теперь?

Тѣглевъ не отвѣчалъ.

Мнѣ стало немножко совѣстно и немножко досадно на него. Сознаться въ своей шалости я однако не рѣшался.

— Знаете ли что? началъ я; — я убѣжденъ, что все это — одно ваше воображеніе.

Тѣглевъ нахмурился. — А! вы полагаете!

— Вы говорите: вы слышали стукъ....

— Я не одинъ стукъ слышалъ, перебилъ онъ меня.

— Что-же еще?

Тѣглевъ качнулся впередъ — и закусилъ губы. Онъ видимо колебался....

— Меня звали! промолвилъ онъ наконецъ въ полголоса и отвернулъ лицо.

— Васъ звали? Кто же васъ звалъ?

— Одна.... Тѣглевъ продолжалъ глядѣть въ сторону.— Одно существо, про которое я до-сихъ-поръ только полагалъ, что оно умерло.... а теперь я это навѣрное знаю.

— Клянусь вамъ, Илья Степанычъ, воскликнулъ я, это все одно воображеніе!

— Воображеніе? повторилъ онъ. Хотите сами убѣдиться на дѣлѣ?

— Хочу.

— Ну, такъ выйдемте на улицу.

VIII.

Я наскоро одѣлся и вмѣстѣ съ Тѣглевымъ вышелъ изъ избы. Противъ нея, по ту сторону улицы, не было домовъ — а тянулся низкій, мѣстами сломанный, плетень, за которымъ начинался довольно крутой спускъ на равнину. Туманъ по прежнему окутывалъ всѣ предметы — и за двадцать шаговъ почти ничего не было видно. Мы съ Тѣглевымъ дошли до плетня — и остановились.

— Вотъ здѣсь, промолвилъ онъ, и понурилъ голову. Стойте, молчите — и слушайте! Я, такъ же какъ онъ, приникъ ухомъ — и кромѣ обычнаго, до крайности слабаго, но повсемѣстнаго ночнаго гула, этого дыханья ночи — не услышалъ ничего. Изрѣдка переглядываясь другъ съ другомъ, простояли мы неподвижно нѣсколько минутъ — и уже собирались идти дальше....

«Илюша!» почудился мнѣ шопотъ изъ-за плетня.

Я глянулъ на Тѣглева — но онъ, казалось, ничего не слыхалъ — и по прежнему держалъ голову понуро.

«Илюша.... а Илюша....» раздалось явственнѣе прежняго — настолько явственно, что можно было понять: эти слова произнесла женщина.

Мы оба разомъ вздрогнули — и уставились другъ на друга.

— Что? спросилъ меня шопотомъ Тѣглевъ. Теперь не будете сомнѣваться?

— Постойте, отвѣчалъ я ему такъ же тихо — это еще ничего не доказываетъ. Надо посмотрѣть — нѣтъ ли кого? Какой-нибудь шутникъ....

Я перескочилъ черезъ плетень — и пошелъ по тому направленію, откуда, сколько я могъ судить, пронесся голосъ.

Подъ ногами я почувствовалъ мягкую, рыхлую землю; длинныя полосы грядъ пропадали въ туманѣ. Я находился въ огородѣ. Но ничего не шевелилось ни вокругъ меня, ни впереди. Все какъ бы замерло въ онѣмѣніи сна. Я сдѣлалъ еще нѣсколько шаговъ.

— Кто тутъ! закричалъ я не хуже Тѣглева.

«Прррръ!» вспугнутый перепелъ выскочилъ изъ-подъ самыхъ ногъ моихъ — и полетѣлъ прочь, прямо какъ пуля. Я невольно пошатнулся.... Что за глупость!

Я глянулъ назадъ. Тѣглевъ виднѣлся на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ я его оставилъ. Я приблизился къ нему.

— Напрасно вы будете звать, промолвилъ онъ. Этотъ голосъ дошелъ до насъ.... до меня.... издалека.

Онъ провелъ рукой по лицу — и тихими шагами направился черезъ улицу домой. Но я не хотѣлъ такъ скоро сдаться — и вернулся въ огородъ. Что дѣйствительно кто-то три раза кликнулъ «Илюшу» — въ этомъ я никакъ сомнѣваться не могъ; что въ этомъ зовѣ было что-то жалобное и таинственное — въ этомъ я тоже долженъ былъ самому себѣ признаться.... Но кто знаетъ, быть можетъ, все это только казалось непонятнымъ — а на дѣлѣ объяснилось такъ же просто, какъ и тотъ стукъ, который взволновалъ Тѣглева?

Я отправился вдоль плетня, отъ времени до времени останавливаясь и посматривая кругомъ. Подлѣ самаго плетня, въ недальнемъ разстояніи отъ нашей избы, росла старая, кудрявая ветла: большимъ чернымъ пятномъ выдавалась она среди общей бѣлизны тумана, той тусклой бѣлизны, которая хуже тѣсноты слѣпитъ и притупляетъ взоръ. Вдругъ мнѣ почудилось, будто что-то, довольно крупное, живое, ворохнулось на землѣ возлѣ той ветлы. Съ восклицаніемъ: «Стой! Кто это?» бросился я впередъ. Послышались легкіе, словно заячьи шаги; мимо меня быстро шмыгнула скорченная фигура, мужская ли, женская ли — я разобрать не могъ.... Я хотѣлъ схватить ее — но не успѣлъ, споткнулся, упалъ и обжогъ лицо о крапиву. Приподнимаясь и опираясь на землю, я почувствовалъ что-то жесткое подъ рукою: то былъ рѣзной мѣдный гребешокъ на шнуркѣ, въ родѣ тѣхъ, которые наши крестьяне носятъ на поясѣ.

Дальнѣйшія мои розысканія остались тщетными — и я съ гребешкомъ въ рукѣ и съ острёканными щеками вернулся въ избу.

IX.

Я засталъ Тѣглева сидящимъ на лавкѣ. Передъ нимъ на столѣ горѣла свѣчка — и онъ что-то записывалъ въ небольшой альбомчикъ, который постоянно носилъ съ собою. Увидавъ меня, онъ проворно сунулъ альбомчикъ въ карманъ и принялся набивать трубку.

— Вотъ, батюшка, началъ я — какой трофей я изъ моего похода принесъ! Я показалъ ему гребешокъ и разсказалъ, что̀ со мной случилось около ветлы. — Я, должно быть, вора вспугнулъ, прибавилъ я. Вы слышали — вчера у нашего сосѣда украли лошадь?

Тѣглевъ холодно улыбнулся и закурилъ трубку. Я усѣлся возлѣ него.

— И вы все по прежнему увѣрены, Илья Степанычъ, промолвилъ я — что голосъ, который мы слышали, прилетѣлъ изъ тѣхъ невѣдомыхъ странъ....

Онъ остановилъ меня повелительнымъ движеніемъ руки.

— Ридель, началъ онъ — мнѣ не до шутокъ — и потому прошу васъ также не шутить.

Тѣглеву дѣйствительно было не до шутокъ. Лицо его измѣнилось. Оно казалось блѣднѣе, выразительнѣе — и длиннѣе. Его странные, «разные» глаза тихо блуждали.

— Не думалъ я, заговорилъ онъ снова, что я когда-нибудь сообщу другому.... другому человѣку то, что̀ вы сейчасъ услышите, и что̀ должно было умереть.... да, умереть въ груди моей; но видно такъ нужно — да и выбору мнѣ нѣтъ. Судьба! Слушайте.

И онъ сообщилъ мнѣ цѣлую исторію.

Я уже сказалъ вамъ, господа, что повѣствователь онъ былъ плохой; но не однимъ неумѣніемъ передавать случившіяся съ нимъ самимъ событія поразилъ онъ меня въ ту

ночь; самый звукъ его голоса, его взгляды, движенія, которыя онъ производилъ пальцами, руками — все въ немъ, однимъ словомъ, казалось неестественнымъ, ненужнымъ, фальшью наконецъ. Я былъ еще очень молодъ и неопытенъ тогда — и не зналъ, что привычка риторически выражаться, ложность интонацій и манеръ до того можетъ въѣсться въ человѣка, что онъ уже никакъ не въ состояніи отдѣлаться отъ нея: это своего рода проклятіе. Въ послѣдствіи времени мнѣ случилось встрѣтиться съ одной дамой, которая такимъ напыщеннымъ языкомъ, съ такими театральными жестами, съ такимъ мелодраматическимъ трясеніемъ головы и закатываніемъ глазъ разсказывала мнѣ о впечатлѣніи, произведенномъ на нее смертью ея сына — объ ея «неизмѣримомъ» горѣ, объ ея страхѣ за собственный разсудокъ, что я подумалъ про себя: «Какъ эта барыня вретъ и ломается! Она своего сына вовсе не любила!» А недѣлю спустя я узналъ, что бѣдная женщина дѣйствительно съ ума сошла. Съ тѣхъ поръ я сталъ гораздо осторожнѣе въ своихъ сужденіяхъ и гораздо меньше довѣрялъ собственнымъ впечатлѣніямъ.

X.

Исторія, которую разсказалъ мнѣ Тѣглевъ, была вкратцѣ слѣдующая. У него въ Петербургѣ, кромѣ сановнаго дяди, жила тетка, женщина не сановная — но съ состояніемъ. Будучи бездѣтной, она взяла къ себѣ въ пріемыши дѣвочку, сиротку, изъ мѣщанскаго сословія, дала ей приличное воспитаніе — и обращалась съ ней какъ съ дочерью. Звали ее Машей. Тѣглевъ видѣлся съ нею чуть не каждый день. Кончилось тѣмъ, что они оба другъ въ друга влюбились, и Маша отдалась ему. Это вышло наружу. Тетка Тѣглева страшно разсердилась, съ позоромъ прогнала несчастную

дѣвушку изъ своего дома — и переѣхала въ Москву, гдѣ взяла барышню изъ благородныхъ къ себѣ въ воспитанницы и наслѣдницы. Вернувшись къ прежнимъ родственникамъ, людямъ бѣднымъ и пьянымъ — Маша терпѣла участь горькую. Тѣглевъ обѣщался жениться на ней — и не исполнилъ своего обѣщанія. Въ послѣднее свое свиданіе съ нею — онъ принужденъ былъ высказаться: она хотѣла узнать правду — и добилась ея. «Ну, промолвила она — коли мнѣ не быть твоей женою, такъ я знаю, что̀ мнѣ остается сдѣлать». Съ этого послѣдняго свиданья прошло недѣли двѣ слишкомъ.

— Я ни на минуту не обманывался на счетъ значенія ея послѣднихъ словъ, прибавилъ Тѣглевъ; я увѣренъ, что она покончила съ жизнью, и.... и что это былъ *ея* голосъ, что это *она* звала меня туда.... за собою.... Я *узналъ* ея голосъ.... Что-жъ! одинъ конецъ!

— Но отчего же вы не женились на ней, Илья Степанычъ? спросилъ я. Вы ее разлюбили?

— Нѣтъ; я до-сихъ-поръ люблю ее страстно!

Тутъ я, господа, уставился на Тѣглева. Вспомнился мнѣ другой мой знакомый, человѣкъ очень смышленный, который, обладая весьма некрасивой, неумной и небогатой женой — и будучи очень несчастливъ въ супружествѣ — на сдѣланный ему при мнѣ вопросъ: почему же онъ женился? вѣроятно, по любви? — отвѣчалъ: «Вовсе не по любви! А такъ!» А тутъ Тѣглевъ любитъ страстно дѣвушку и не женится. Что-жъ? и это тоже — такъ?!

— Отчего же вы не женитесь? спросилъ я вторично.

Сонливо-странные глаза Тѣглева забѣгали по столу.

— Этого.... въ немногихъ словахъ.... не скажешь, началъ онъ, запинаясь. Были причины.... Да притомъ она.... мѣщанка. Ну и дядя.... я долженъ былъ принять и его въ соображеніе.

— Дядю вашего? вскрикнулъ я. Но на какой чортъ вамъ вашъ дядя, котораго вы только и видите, что въ новый годъ, когда съ поздравленіемъ ѣздите? На его богатство разсчитываете? Да у него самого чуть не дюжина дѣтей!

Я говорилъ съ жаромъ.... Тѣглева покоробило, и онъ покраснѣлъ.... покраснѣлъ неровно, пятнами....

— Прошу не читать мнѣ нотацій — промолвилъ онъ глухо. Впрочемъ, я не оправдываюсь. Загубилъ я ея жизнь — и теперь надо будетъ долгъ выплатить....

Онъ опустилъ голову — и умолкъ. Я тоже ничего сказать не нашелся.

XI.

Такъ мы сидѣли съ четверть часа. Онъ глядѣлъ въ сторону, а я глядѣлъ на него — и замѣтилъ, что волосы у него надо лбомъ какъ-то особенно приподнялись и завились кудрями, что̀, по замѣчанію одного военнаго лекаря, на рукахъ котораго перебывало много раненыхъ, всегда служитъ признакомъ сильнаго и сухаго жара въ мозгахъ.... Опять мнѣ пришло въ голову, что надъ этимъ человѣкомъ дѣйствительно тяготѣетъ рука судьбы, и что товарищи его не даромъ видѣли въ немъ нѣчто фатальное. И въ то же время я внутренно осуждалъ его. «Мѣщанка! думалось мнѣ; — да какой же ты аристократъ?»

— Можетъ быть, вы меня осуждаете, Ридель, началъ вдругъ Тѣглевъ, какъ бы угадавъ, о чемъ я думалъ. Мнѣ самому.... очень тяжело. Но какъ быть? Какъ быть?

Онъ оперся подбородкомъ на ладонь и принялся покусывать широкіе и плоскіе ногти своихъ короткихъ и красныхъ, какъ желѣзо твердыхъ пальцевъ.

— Я того мнѣнія, Илья Степанычъ, что надо вамъ сперва

удостовѣриться, точно ли ваши предположенія справедливы.... Быть можетъ, ваша любезная здравствуетъ. («Сказать ему о настоящей причинѣ стука?» мелькнуло у меня въ головѣ.... «Нѣтъ — послѣ»).

— Она мнѣ ни разу не писала съ тѣхъ поръ, какъ мы въ лагерѣ, замѣтилъ Тѣглевъ.

— Это еще ничего не доказываетъ, Илья Степанычъ.

Тѣглевъ махнулъ рукою. — Нѣтъ! ея уже навѣрное больше на свѣтѣ нѣтъ. Она меня звала....

Онъ вдругъ повернулся лицомъ къ окну. — Опять кто-то стучитъ!

Я невольно засмѣялся. — Ну, ужъ извините, Илья Степанычъ! На сей разъ это у васъ нервы. Видите: разсвѣтаетъ. Черезъ десять минутъ солнце взойдетъ — теперь уже четвертый часъ — а привидѣнья днемъ не дѣйствуютъ.

Тѣглевъ бросилъ на меня сумрачный взглядъ, и промолвивъ сквозь зубы: «прощайте-съ» — легъ на лавку и повернулся ко мнѣ спиною.

Я тоже легъ — и, помнится, прежде чѣмъ заснулъ, подумалъ, что къ чему это Тѣглевъ все намекаетъ на то, что намѣренъ.... лишить себя жизни! Что̀ за вздоръ! что за фраза! По собственной волѣ не женился.... бросилъ.... а тутъ вдругъ убить себя хочетъ! Смысла нѣтъ человѣческаго! Нельзя не порисоваться!

Съ этими мыслями я заснулъ очень крѣпко — и когда я открылъ глаза, солнце стояло уже высоко на небѣ — и Тѣглева не было въ избѣ....

Онъ, по словамъ его слуги, уѣхалъ въ городъ.

XII.

Я провелъ весьма томительный и скучный день. Тѣглевъ не возвратился ни къ обѣду, ни къ ужину; брата я и

не ожидалъ. Къ вечеру опять распространился густой туманъ, еще пуще вчерашняго. Я легъ спать довольно рано. Стукъ подъ окномъ разбудилъ меня.

Пришла *моя* очередь вздрогнуть!

Стукъ повторился — да такъ настойчиво-явственно, что сомнѣваться въ его дѣйствительности было невозможно. Я всталъ, отворилъ окно и увидалъ Тѣглева. Закутанный шинелью, въ надвинутой на глаза фуражкѣ, онъ стоялъ неподвижно.

— Илья Степанычъ! воскликнулъ я — это вы? Мы прождались васъ. Войдите. Али дверь заперта?

Тѣглевъ отрицательно покачалъ головою. — Я не намѣренъ войти, произнесъ онъ глухо: — я хотѣлъ только попросить васъ передать завтра это письмо баттарейному командиру.

Онъ протянулъ мнѣ большой кувертъ, запечатанный пятью печатями. Я изумился — однако машинально взялъ кувертъ. Тѣглевъ тотчасъ отошелъ на середину улицы.

— Постойте, постойте, началъ я.... Куда же вы? Вы только теперь пріѣхали? И что это за письмо?

— Вы обѣщаетесь доставить его по адресу? промолвилъ Тѣглевъ и отступилъ еще на нѣсколько шаговъ. Туманъ запушилъ очертанія его фигуры. — Обѣщаетесь?

— Обѣщаюсь.... но сперва....

Тѣглевъ отодвинулся еще дальше — и сталъ продолговатымъ, темнымъ пятномъ. — Прощайте! раздался его голосъ. Прощайте, Ридель, не поминайте меня лихомъ.... И Семена не забудьте....

И самое пятно изчезло.

Это было слишкомъ. «О, фразеръ проклятый!» подумалъ я. «Нужно же тебѣ все на эффектъ бить!» Однако мнѣ стало жутко; невольный страхъ стѣснилъ мнѣ грудь. Я накинулъ шинель — и выбѣжалъ на улицу.

XIII.

Да; но куда было идти? Туманъ охватилъ меня со всѣхъ сторонъ. На пять, на шесть шаговъ вокругъ онъ еще сквозилъ немного — а дальше такъ и громоздился стѣною, рыхлый и бѣлый, какъ вата. Я взялъ направо по улицѣ деревушки, которая тутъ же прекращалась: наша изба была предпослѣдняя съ краю, а тамъ начиналось пустынное поле, кое-гдѣ поросшее кустами; за полемъ, съ четверть версты отъ деревни, находилась березовая рощица — и черезъ нее протекала та самая рѣчка, которая нѣсколько ниже огибала деревню. Все это я зналъ хорошо, потому что много разъ видѣлъ все это днемъ; теперь же я ничего не видѣлъ — и только по бо̀льшей густотѣ и бѣлизнѣ тумана могъ догадываться, гдѣ опускалась почва и протекала рѣчка. На небѣ блѣднымъ пятномъ стоялъ мѣсяцъ — но свѣтъ его не въ силахъ былъ, какъ прошлую ночь, одолѣть дымную плотность тумана и висѣлъ наверху широкимъ, матовымъ по̀логомъ. Я выбрался на поле — прислушался.... Нигдѣ ни звука; только кулички посвистывали.

— Тѣглевъ! крикнулъ я. Илья Степанычъ!! Тѣглевъ!!

Голосъ мой замиралъ вокругъ меня безъ отвѣта; казалось, самый туманъ не пускалъ его дальше. Тѣглевъ! повторилъ я.

Никто не отозвался.

Я пошелъ впередъ на-обумъ. Раза два я наткнулся на плетень, разъ чуть не свалился въ канаву, чуть не споткнулся о лежавшую на землѣ крестьянскую лошаденку.... — Тѣглевъ! Тѣглевъ! кричалъ я.

Вдругъ, позади меня, въ самомъ близкомъ разстояніи, послышался негромкій голосъ: — Ну вотъ я.... Что вы хотите отъ меня?

Я быстро обернулся....

Передо мною, съ опущенными руками, безъ фуражки на головѣ, стоялъ Тѣглевъ. Лицо его было блѣдно; но глаза казались оживленными и больше обыкновеннаго.... Онъ протяжно и сильно дышалъ сквозь раскрытыя губы.

— Слава Богу! воскликнулъ я въ порывѣ радости — и схватилъ его за обѣ руки.... Слава Богу! Я уже отчаявался найти васъ. И не стыдно вамъ такъ пугать меня? Илья Степанычъ, помилуйте!

— Что вы хотите отъ меня? повторилъ Тѣглевъ.

— Я хочу.... я хочу, во-первыхъ, чтобы вы вмѣстѣ со мною вернулись домой. А во-вторыхъ, я хочу, я требую, требую отъ васъ, какъ отъ друга, чтобы вы немедленно мнѣ объяснили, что значатъ ваши поступки — и это письмо къ полковнику? Развѣ съ вами въ Петербургѣ случилось что-нибудь неожиданное?

— Я въ Петербургѣ нашелъ именно то, что ожидалъ, отвѣчалъ Тѣглевъ, все не трогаясь съ мѣста.

— То-есть.... вы хотите сказать.... ваша знакомая.... эта Маша....

— Она лишила себя жизни, — торопливо и какъ бы со злостью подхватилъ Тѣглевъ. Третьяго дня ее похоронили. Она не оставила мнѣ даже записки. Она отравилась.

Тѣглевъ поспѣшно произносилъ эти страшныя слова — а самъ все стоялъ неподвижно, какъ каменный.

Я всплеснулъ руками. — Неужели? Какое несчастье! Ваше предчувствіе сбылось.... Это ужасно!

Въ смущеніи, я умолкъ. Тѣглевъ тихо и какъ бы съ торжествомъ скрестилъ руки.

— Однако, началъ я, что же мы стоимъ здѣсь? Пойдемте домой.

— Пойдемте, сказалъ Тѣглевъ. Но какъ мы найдемъ дорогу въ этомъ туманѣ?

— Въ нашей избѣ огонь въ окнахъ свѣтитъ — мы и будемъ держаться на него. Пойдемте.

— Ступайте впередъ, отвѣтилъ Тѣглевъ. Я за вами.

Мы отправились. Минутъ съ пять шли мы — и путеводный нашъ свѣтъ не показывался; наконецъ онъ блеснулъ впереди двумя красными точками. Тѣглевъ мѣрно выступилъ за мною. Мнѣ ужасно хотѣлось поскорѣй добраться домой и узнать отъ него всѣ подробности его несчастной поѣздки въ Петербургъ. Пораженный тѣмъ, что онъ сказалъ мнѣ, я, въ припадкѣ раскаянія и нѣкотораго суевѣрнаго страха, не дойдя еще до нашей избы, сознался ему, что вчерашній таинственный стукъ производилъ я.... и какой трагическій оборотъ приняла эта шутка!

Тѣглевъ ограничился замѣчаніемъ, что я тутъ ни при чемъ — что рукой моей водило нѣчто другое — и что это только доказываетъ, какъ мало я его знаю. Голосъ его, странно-спокойный и ровный, звучалъ надъ самымъ моимъ ухомъ. — Но вы меня узнаете, прибавилъ онъ. Я видѣлъ, какъ вы вчера улыбнулись, когда я упомянулъ о силѣ воли. Вы меня узнаете — и вы вспомните мои слова.

Первая изба деревни, какъ нѣкое темное чудище, выплыла изъ тумана передъ нами.... вотъ вынырнула и вторая, наша изба — и моя лягавая собака залаяла, вѣроятно, почуявши меня.

Я постучалъ въ окошко. — Семенъ! крикнулъ я Тѣглевскому слугѣ; — эй, Семенъ! отвори намъ поскорѣй калитку.

Калитка стукнула и распахнулась; Семенъ шагнулъ черезъ порогъ. — Илья Степанычъ, пожалуйте, промолвилъ я и оглянулся....

Но никакого Ильи Степаныча уже не было за мною. Тѣглевъ исчезъ, словно въ землю провалился.

Я вошелъ въ избу какъ ошалѣлый.

XIV.

Досада на Тѣглева, на самого себя, смѣнила изумленіе, которое сначала овладѣло мною.— Сумасшедшій твой баринъ! накинулся я на Семена; какъ есть сумасшедшій! Поскакалъ въ Петербургъ, потомъ вернулся — да и бѣгаетъ зря! Я-было залучилъ его, до самыхъ воротъ привелъ — и вдругъ.... хвать! опять удралъ! Въ этакую ночь не сидѣть дома! Нашелъ время гулять!

«И зачѣмъ это я выпустилъ его руку!» укорялъ я самого себя.

Семенъ молча поглядывалъ на меня, какъ бы собираясь сказать что-то — но, по обычаю тогдашнихъ слугъ, только потоптался немножко на мѣстѣ.

— Въ которомъ часу онъ уѣхалъ въ городъ? спросилъ я строго.

— Въ шесть часовъ утра.

— И что же — онъ казался озабоченнымъ, грустнымъ?

Семенъ потупился. — Нашъ баринъ — мудреный, началъ онъ; кто его понять можетъ? — Какъ собрался въ городъ, новый мундиръ подать себѣ велѣлъ — ну и завился.

— Какъ завился?

— Волосы завилъ. Я имъ и щипцы приспособлялъ.

Этого я, признаюсь, не ожидалъ. — Извѣстна тебѣ одна барышня, спросилъ я Семена — Ильи Степаныча пріятельница — зовутъ ее Машей?

— Какъ намъ Марьи Анемподистовны не знать! Барышня хорошая.

— Твой баринъ въ нее влюбленъ, въ эту Марью.... ну и такъ далѣе?

Семенъ вздохнулъ. — Отъ этой самой отъ барышни и пропадать Ильѣ Степанычу. Потому: любятъ они ее ужа-

ственно — а въ супружество взять не рѣшаются — и бросить ее тоже жаль. Отъ этого отъ самаго ихняго малодушія. Ужъ очень они ее любятъ.

— Да что, она — хорошенькая! полюбопытствовалъ я.

Семенъ принялъ серьезный видъ. — Господа такихъ любятъ.

— А на твой вкусъ?

— Для насъ.... статья не подходящая — вовсе.

— А что?

— Тѣломъ оченно худы.

— Если-бы она умерла, началъ я снова — ты полагаешь, Илья Степановичъ ея не пережилъ бы?

Семенъ опять вздохнулъ. — Этого мы сказать не смѣемъ — дѣло господское.... а только баринъ нашъ — мудреный!

Я взялъ со стола большое и довольно толстое письмо, отданное мнѣ Тѣглевымъ, повертѣлъ его въ рукахъ.... Адресъ на имя «его высокородія, господина баттарейнаго командира, полковника и кавалера», съ обозначеніемъ имени, отчества и фамиліи — былъ очень чётко и тщательно написанъ. Въ верхнемъ углу куверта стояло слово: «нужное», дважды подчеркнутое.

— Послушай, Семенъ, началъ я. Я боюсь за твоего барина. У него, кажется, недобрыя мысли на умѣ. Надо будетъ отыскать его непремѣнно.

— Слушаю-съ, отвѣчалъ Семенъ.

— Правда, на дворѣ туманъ такой, что на два аршина ничего разсмотрѣть нельзя; но все равно: надо попытаться. Мы возьмемъ по фонарю — а въ каждомъ окнѣ зажжемъ по свѣчкѣ — на всякій случай.

— Слушаю-съ, повторилъ Семенъ, зажегъ фонари и свѣчки — и мы отправились.

XV.

Какъ мы съ нимъ блуждали, какъ путались — это передать невозможно! Фонари нисколько не помогали намъ; они нисколько не разгоняли той бѣлой, почти свѣтлой мглы, которая насъ окружала. Мы съ Семеномъ нѣсколько разъ теряли другъ друга, несмотря на то, что перекликались, аукались и тó и дѣло взывали — я: «Тѣглевъ! Илья Степанычъ!» — онъ: «Господинъ Тѣглевъ! Ваше благородіе! — Туманъ до того сбивалъ насъ съ толку, что мы бродили какъ во снѣ; — мы оба скоро охрипли: сырость проникала до самаго дна груди. Кое-какъ мы опять, по милости свѣчекъ въ окнахъ, сошлись у избы. Наши совокупные поиски ни къ чему не повели — мы только связывали другъ друга — а потому мы и положили уже не думать о томъ, какъ бы не разбиться — а идти каждому своей дорогой. Онъ взялъ налѣво, я направо и скоро пересталъ слышать его голосъ. Туманъ, казалось, пробрался въ самую мою голову — и я бродилъ какъ отуманенный, да только покрикивалъ: Тѣглевъ! Тѣглевъ!

— Я! раздалось вдругъ мнѣ въ отвѣтъ.

Батюшки! какъ я обрадовался! какъ бросился туда, гдѣ послышался мнѣ голосъ.... Человѣческая фигура зачернѣла впереди.... я къ ней.... Наконецъ-то!

Но, вмѣсто Тѣглева, я увидѣлъ передъ собою другого офицера той же баттареи, котораго звали Телепневымъ.

— Это *вы* мнѣ отозвались? спросилъ я его.

— А это *вы* меня звали? спросилъ онъ въ свою очередь.

— Нѣтъ; я звалъ Тѣглева.

— Тѣглева? Да я сію минуту его встрѣтилъ. Какая дурацкая ночь! Никакъ къ себѣ домой не попадешь.

— Вы видѣли Тѣглева? Куда онъ шолъ?

— Кажись — туда! Офицеръ провелъ рукой по воздуху. — Но теперь ничего понять нельзя. Вотъ, напр., извѣстно ли вамъ, гдѣ деревня? Одно спасеніе — собака залаетъ. Предурацкая ночь! Позвольте закурить сигарку.... все-таки, какъ будто путь себѣ освѣщаешь.

Офицеръ былъ, сколько я замѣтилъ, немного навеселѣ.

— Вамъ Тѣглевъ ничего не сказалъ? спросилъ я.

— Какъ же! Я ему говорю: братъ, здорово! а онъ мнѣ: прощай, братъ! — Какъ прощай? Почему прощай? — Да я, говоритъ, хочу с'часъ застрѣлиться изъ пистолета. — Чудакъ!

У меня духъ захватило. — Вы говорите, онъ вамъ сказалъ....

— Чудакъ! повторилъ офицеръ и поплелся отъ меня прочь.

Не успѣлъ я еще придти въ себя отъ заявленія офицера — какъ мое собственное имя, нѣсколько разъ съ усиліемъ выкрикнутое, поразило мой слухъ. Я узналъ голосъ Семена.

Я отозвался.... Онъ подошелъ ко мнѣ.

XVI.

— Ну что? спросилъ я его. Нашелъ ты Илью Степаныча?

— Нашелъ-съ.

— Гдѣ?

— А тутъ, недалече.

— Какъ же ты.... нашелъ его? Онъ живъ?

— Помилуйте — я съ ними разговаривалъ. (У меня отъ сердца отлегло.). Сидятъ подъ березкой, въ шинели.... и ничего. Я имъ докладываю: пожалуйте-молъ, Илья Сте-

панычъ, на квартиру; Александръ Васильичъ оченно о васъ безпокоются. А они мнѣ говорятъ: охота ему безпокоиться! Я на чистомъ воздухѣ быть желаю. У меня голова болитъ. Ступай-молъ домой. А я приду послѣ.

— И ты ушелъ! воскликнулъ я и всплеснулъ руками.

— А то какъ же-съ? Приказали идти.... какъ же я останусь?

— Всѣ мои страхи ко мнѣ вернулись разомъ.

— Сію минуту веди меня къ нему — слышишь? Сію минуту! Эхъ, Семенъ, Семенъ, не ожидалъ я этого отъ тебя! Ты говоришь, онъ недалеко отсюда?

— Близехонько, вотъ гдѣ роща началась — тутъ и сидятъ. Отъ рѣчки — отъ берегу — сажени съ двѣ небольше. Я по рѣчкѣ ихъ и нашелъ.

— Ну веди, веди!

Семенъ отправился впередъ. — Вотъ извольте, пожалуйте.... Только къ рѣчкѣ спуститься — а тамъ сейчасъ....

Но вмѣсто того, чтобы спуститься къ рѣчкѣ — мы зашли въ какую-то ложбину и очутились передъ пустымъ сарайчикомъ....

— Э! стой! воскликнулъ вдругъ Семенъ. Это я, знать, вправо забралъ.... Надо будетъ сюда, полѣвѣе....

Мы пошли полѣвѣе — и попали въ такой густой бурьянъ, что едва могли выбраться.... сколько я помнилъ, вблизи нашей деревни и не было нигдѣ такого сплошнаго бурьяна. А тамъ вдругъ болото захлюпало у насъ подъ ногами, показались круглыя, моховыя кочки, которыхъ я тоже никогда не видалъ.... Мы пошли назадъ — передъ нами выросъ крутой холмикъ, а на холмикѣ стоитъ шалашъ и въ немъ храпитъ кто-то. Мы съ Семеномъ нѣсколько разъ крикнули въ шалашъ: что-то заворочалось въ его глубинѣ, затрещала солома — и хриплый голосъ произнесъ: кар-раул-лю!

Мы опять назадъ.... поле, поле, безконечное поле....

Я готовъ былъ заплакать.... Вспомнились мнѣ слова шута въ «Королѣ Лирѣ»: — «эта ночь насъ всѣхъ съ ума сведетъ наконецъ»....

— Куда-жъ идти? обратился я съ отчаяніемъ къ Семену.

— Насъ, баринъ, знать, лѣшій обошелъ, отвѣчалъ растерявшійся слуга. Это не спроста.... Дѣло это нечистое!

Я-было хотѣлъ прикрикнуть на него — но въ это мгновенье до слуха моего долетѣлъ отдѣльный, негромкій звукъ, который тотчасъ привлекъ все мое вниманіе. Что-то слабо пукнуло, вотъ какъ если-бъ кто вытащилъ тугую пробку изъ узкаго горлышка бутылки. Раздался этотъ звукъ недалеко отъ того мѣста, гдѣ я стоялъ. Почему этотъ звукъ показался мнѣ особеннымъ и страннымъ — я сказать не умѣю — но я тотчасъ пошелъ по его направленію.

Семенъ послѣдовалъ за мною. Черезъ нѣсколько мгновеній что-то высокое и широкое зачернѣло сквозь туманъ.

— Роща! вотъ она, роща! воскликнулъ радостно Семенъ; да вонъ.... вонъ и баринъ сидитъ подъ березой.... Гдѣ я его оставилъ, — тамъ и сидитъ. Онъ самый и есть!

Я вглядѣлся. Дѣйствительно: на землѣ, у корня березы, спиною къ намъ, неуклюже сгорбившись, сидѣлъ человѣкъ. Я быстро приблизился къ нему — и узналъ шинель Тѣглева, узналъ его фигуру, его наклоненную на грудь голову. Тѣглевъ! кликнулъ я.... но онъ не отозвался.

— Тѣглевъ! повторилъ я — и положилъ ему руку на плечо.

Тогда онъ вдругъ покачнулся впередъ, послушно и скоро, словно онъ ожидалъ моего толчка, и повалился на траву. Мы съ Семеномъ тотчасъ его подняли и повернули лицомъ кверху. Оно не было блѣдно, но безжизненно-неподвижно; стиснутые зубы бѣлѣли — а глаза, тоже неподвижные и

незакрытые, сохраняли обычный, сонливый и «разный» взглядъ....

— Господи! промолвилъ вдругъ Семенъ — и показалъ мнѣ свою обагренную кровью руку.... Кровь эта выходила изъ-подъ разстегнутой шинели Тѣглева, съ лѣвой стороны его груди.

Онъ застрѣлился изъ небольшого одноствольнаго пистолета, который лежалъ тутъ-же возлѣ него. Слабый звукъ, слышанный мною — былъ звукъ, произведенный роковымъ выстрѣломъ.

XVII.

Самоубійство Тѣглева не слишкомъ удивило его товарищей. Я уже сказывалъ вамъ, что, по ихъ понятію, онъ, какъ человѣкъ «фатальный», долженъ былъ выкинуть какую-нибудь необыкновенную штуку, хотя именно этой штуки они, быть можетъ, отъ него и не ожидали. Въ письмѣ къ баттарейному командиру онъ просилъ его, во-первыхъ: распорядиться о выключеніи изъ списковъ подпоручика Ильи Тѣглева, яко самовольно умершаго, причемъ онъ заявлялъ, что у него въ шкатулкѣ найдется больше наличныхъ денегъ, чѣмъ сколько на немъ можетъ оказаться долговъ; а во-вторыхъ: доставить важному лицу, командовавшему тогда всѣмъ гвардейскимъ корпусомъ другое, незапечатанное письмо, находившееся въ томъ же кувертѣ. Это второе письмо мы, разумѣется, всѣ прочитали; нѣкоторые изъ насъ взяли съ него копіи. Тѣглевъ видимо трудился надъ сочиненіемъ этого письма. «Вотъ, Ваше В—ство (такъ, помнится, начиналось оно), какъ вы бываете строги и взыскиваете за малѣйшую неисправность въ мундирѣ, за ничтожнѣйшее отступленіе отъ формы, когда къ вамъ является блѣдный, трепещущій офицеръ; а вотъ я теперь являюсь

передъ нашего общаго, неподкупнаго, неумытнаго Судію, передъ Верховное Существо, передъ Существо, которое неизмѣримо значительнѣе даже Вашего В—ства — и являюсь запросто, въ шинели, даже безъ галстуха на шеѣ».... Ахъ, какое тяжелое и непріятное впечатлѣніе произвела на меня эта фраза, каждое слово, каждая буква которой старательно были выведены дѣтскимъ почеркомъ покойнаго! Неужели, спрашивалъ я самого себя, неужели стоило придумывать такой вздоръ въ такую минуту? А Тѣглеву, очевидно, понравилась эта фраза: онъ для нея пустилъ въ ходъ всѣ бывшія тогда въ модѣ нагроможденія эпитетовъ и амплификацій à la Марлинскій. Дальше онъ упомянулъ о судьбѣ, о гоненіяхъ, о своемъ признаніи, которое такъ и осталось неисполненнымъ, о тайнѣ, которую онъ унесетъ въ могилу, о людяхъ, которые не хотѣли его понять; приводилъ даже стихи какого-то поэта, который говорилъ о толпѣ, что она носитъ жизнь «какъ ошейникъ» — и въ порокъ въѣдается, «какъ репейникъ» — и все это не безъ орѳографическихъ ошибокъ. Правду сказать, это предсмертное письмо бѣднаго Тѣглева было довольно пошло — и я воображаю презрительное недоумѣніе высокой особы, на имя которой оно было адресовано — воображаю, какимъ тономъ она произнесла: «дрянной офицеръ! дурную траву изъ поля вонъ!» Передъ самымъ только концомъ письма вырвался изъ сердца Тѣглева искренній крикъ. «Ахъ, Ваше В—ство! такъ заключалъ онъ свое посланіе — я сирота, меня некому было любить съ молоду — и всѣ меня чуждались.... а единственное сердце, которое отдалось мнѣ — я самъ загубилъ!»

Въ карманѣ шинели у Тѣглева Семенъ нашелъ альбомчикъ, съ которымъ его господинъ не разставался. Но почти всѣ листы были вырваны; уцѣлѣлъ только одинъ, на которомъ стояло слѣдующее вычисленіе:

Наполеонъ род. 15-го августа 1769 года.	Илья Тѣглевъ род. 7-го января 1811 года.
1769	1811
15	7
8 (августъ—8-й мѣс. въ году).	1 (январь—1-й мѣс. въ году).
Итого 1792	Итого 1819
1	1
7	8
9	1
2	9
Итого **19!**	Итого **19!**
Наполеонъ умеръ 5-го мая 1825 года.	Илья Тѣглевъ умеръ 21-го іюля 1834 года.
1825	1834
5	21
5 (май—5-й мѣс. въ году).	7 (іюль—7-й мѣс. въ году).
Итого 1835	Итого 1862
1	1
8	8
3	6
5	2
Итого **17!**	Итого **17!**

Бѣднякъ! ужъ не оттого ли онъ и пошелъ въ артиллеристы?

Его похоронили, какъ убійцу — внѣ кладбища — и немедленно о немъ позабыли.

XVIII.

На другой день послѣ похоронъ Тѣглева (я находился еще въ деревнѣ, въ ожиданіи брата) Семенъ вошелъ въ избу и доложилъ, что Илья желаетъ меня видѣть.

— Какой Илья? спросилъ я.

— А нашъ разнощикъ.

Я велѣлъ позвать его.

Онъ явился. Пожалѣлъ слегка о господинѣ подпоручикѣ; удивился, что̀ молъ это съ нимъ такое попритчилось....

— Онъ остался тебѣ долженъ? спросилъ я.

— Никакъ нѣтъ-съ. Они что забирали — все сейчасъ выплачивали въ аккуратѣ. А вотъ что-съ.... Тутъ разнощикъ осклабился. — Досталась вамъ одна моя вещица....

— Какая такая вещица?

— А самая вотъ эта-съ. Онъ показалъ пальцемъ на рѣзной гребешокъ, лежавшій на туалетномъ столикѣ. — Вещица малой важности-съ, продолжалъ балагуръ — но какъ я ее получилъ въ подарокъ....

Я вдругъ поднялъ голову. Меня какъ свѣтомъ озарило.

— Твое имя Илья?

— Точно такъ-съ.

— Такъ уже это не тебя ли я.... намедни.... подъ ветлою?

Разнощикъ подмигнулъ глазомъ и еще пуще осклабился.

— Меня-съ.

— И это *тебя* звали?....

— Меня-съ, повторилъ разнощикъ съ игривой скромностью. Тутъ есть одна дѣвица, продолжалъ онъ фальцетомъ, которая, по причинѣ очень большой строгости со стороны родителей....

— Хорошо, хорошо, перебилъ я его, вручилъ ему гребешокъ и выпроводилъ его вонъ.

Такъ вотъ кто былъ «Илюша» — подумалъ я — и погрузился въ философическія разсужденія, которыя я впрочемъ вамъ навязывать не стану, ибо никому не намѣренъ мѣшать вѣрить въ судьбу, предопредѣленіе и прочія фатальности.

Вернувшись въ Петербургъ, я собралъ свѣдѣнія о Машѣ. Я даже отыскалъ доктора, который ее лечилъ. Къ изумленію моему я услышалъ отъ него, что она умерла не отъ

отравы, а отъ холеры! Я сообщилъ ему то, что слышалъ отъ Тѣглева.

— Э! э! воскликнулъ вдругъ докторъ. Этотъ Тѣглевъ — артиллерійскій офицеръ, средняго роста, сутулый, пришепетываетъ?

— Да.

— Ну, такъ и есть. Этотъ господинъ отъявился ко мнѣ — я его тутъ въ первый разъ увидѣлъ — и началъ настаивать на томъ, что та дѣвушка отравилась. «Холера», говорю я; «ядъ»; говоритъ онъ. «Да холера же», говорю я; «да ядъ же», говоритъ онъ. Я вижу, человѣкъ какой-то словно помѣшанный, съ широкимъ затылкомъ, значитъ упрямый, пристаетъ ко мнѣ не съ короткимъ.... Все равно, думаю, субъектъ вѣдь померъ.... Ну, говорю, отравилась она, коли вамъ этакъ пріятнѣе. Онъ поблагодарилъ меня, даже руку пожалъ — и скрылся.

Я разсказалъ доктору, какимъ образомъ этотъ самый офицеръ въ тотъ же самый день застрѣлился.

Докторъ даже бровью не повелъ — а только замѣтилъ, что на свѣтѣ чудаки бываютъ разные.

— Бываютъ, повторилъ за нимъ и я.

Да, справедливо сказалъ кто-то про самоубійцъ: пока они не исполнятъ своего намѣренія — никто имъ не вѣритъ; а исполнятъ — никто о нихъ не пожалѣетъ.

Баденъ-Баденъ. 1870.

ВЕШНІЯ ВОДЫ.

„Веселые годы,
„Счастливые дни—
„Какъ вешнія воды
„Промчались они!“

(*Изъ стариннаго романса.*)

....Часу во второмъ ночи онъ вернулся въ свой кабинетъ. Онъ выслалъ слугу, зажегшаго свѣчки — и, бросившись въ кресло около камина, закрылъ лицо обѣими руками.

Никогда еще онъ не чувствовалъ такой усталости — тѣлесной и душевной. Цѣлый вечеръ онъ провелъ съ пріятными дамами, съ образованными мужчинами; нѣкоторыя изъ дамъ были красивы, почти всѣ мужчины отличались умомъ и талантами — самъ онъ бесѣдовалъ весьма успѣшно и даже блистательно.... и совсѣмъ тѣмъ никогда еще то «taedium vitae», о которомъ говорили ужъ римляне, то «отвращеніе къ жизни» — съ такой неотразимой силой не овладѣвало имъ, не душило его. Будь онъ нѣсколько помоложе — онъ заплакалъ бы отъ тоски, отъ скуки, отъ раздраженія: горечь ѣдкая и жгучая, какъ горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое, противно-тяжкое, со всѣхъ сторонъ обступило его, какъ осенняя, темная ночь; — и онъ не зналъ, какъ отдѣлаться отъ этой темноты,

отъ этой горечи. На сонъ нечего было разсчитывать: онъ зналъ, что онъ не заснетъ.

Онъ принялся размышлять.... медленно, вяло и злобно.

Онъ размышлялъ о суетѣ, ненужности, о пошлой фальши всего человѣческаго. Всѣ возрасты постепенно проходили передъ его мысленнымъ взоромъ — (ему самому недавно минулъ 52-й годъ) — и ни одинъ не находилъ пощады передъ нимъ. Вездѣ все то же вѣчное переливаніе изъ пустого въ порожнее, то же толченіе воды, то же, на половину добросовѣстное, на половину сознательное самообольщеніе, — чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало — а тамъ вдругъ, ужъ точно какъ снѣгъ на голову, нагрянетъ старость — и вмѣстѣ съ нею тотъ постоянно-возрастающій, все разъѣдающій и подтачивающій страхъ смерти.... и бухъ въ бездну! Хорошо еще, если такъ разыграется жизнь! — А тò, пожалуй, передъ концомъ, пойдутъ, какъ ржа по желѣзу, немощи, страданія.... Не бурными волнами покрытымъ, какъ описываютъ поэты, представлялось ему жизненное море: нѣтъ; — онъ воображалъ себѣ это море невозмутимо-гладкимъ, неподвижнымъ и прозрачнымъ до самаго темнаго дна; самъ онъ сидитъ въ маленькой, валкой лодкѣ — а тамъ, на этомъ темномъ, илистомъ днѣ, на подобіе громадныхъ рыбъ, едва виднѣются безобразныя чудища: всѣ житейскіе недуги, болѣзни, горести, безуміе, бѣдность, слѣпота.... Онъ смотритъ: и вотъ одно изъ чудищъ выдѣляется изъ мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнѣе, все отвратительно-явственнѣе.... Еще минута — и перевернется подпертая имъ лодка! Но вотъ оно опять какъ будто тускнѣетъ, оно удаляется, опускается на дно — и лежитъ оно тамъ чуть-чуть шевеля плёсомъ.... Но день урочный придетъ — и перевернетъ оно лодку.

Онъ тряхнулъ головою, вскочилъ съ кресла, раза два прошелся по комнатѣ, присѣлъ къ письменному столу, и вы-

двигая одинъ ящикъ за другимъ, сталъ рыться въ своихъ бумагахъ, въ старыхъ, бо̀льшею частью женскихъ, письмахъ. Онъ самъ не зналъ, для чего онъ это дѣлалъ, онъ ничего не искалъ — онъ просто хотѣлъ какимъ-нибудь внѣшнимъ занятіемъ отдѣлаться отъ мыслей, его томившихъ. Развернувъ на удачу нѣсколько писемъ — (въ одномъ изъ нихъ оказался засохшій цвѣтокъ, перевязанный полинявшей ленточкой) — онъ только плечами пожалъ, и, глянувъ на каминъ, отбросилъ ихъ въ сторону, вѣроятно сбираясь сжечь весь этотъ ненужный хламъ. Торопливо засовывая руки то въ одинъ, то въ другой ящикъ, онъ вдругъ широко раскрылъ глаза, и медленно вытащивъ наружу небольшую осьмиугольную коробку стариннаго покроя, медленно приподнялъ ея крышку. Въ коробкѣ, подъ двойнымъ слоемъ пожелтѣвшей хлопчатой бумаги, находился маленькій гранатовый крестикъ.

Нѣсколько мгновеній съ недоумѣніемъ разсматривалъ онъ этотъ крестикъ — и вдругъ слабо вскрикнулъ.... Не то сожалѣніе, не то радость изобразили его черты. Подобное выраженіе являетъ лицо человѣка, когда ему приходится внезапно встрѣтиться съ другимъ человѣкомъ, котораго онъ давно потерялъ изъ виду, котораго нѣжно любилъ когда-то, и который неожиданно возникаетъ теперь передъ его взоромъ, все тотъ же — и весь измѣненный годами.

Онъ всталъ — и, возвратясь къ камину, сѣлъ опять въ кресло — и опять закрылъ руками лицо.... «Почему сегодня? именно сегодня?» думалось ему — и вспомнилъ онъ многое, давно прошедшее.

Вотъ что вспомнилъ онъ....

Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилію. Его звали Санинымъ, Дмитріемъ Павловичемъ.

Вотъ что онъ вспомнилъ:

I.

Дѣло было лѣтомъ 1840-го года. Санину минулъ 22-й годъ, и онъ находился во Франкфуртѣ, на возвратномъ пути изъ Италіи въ Россію. Человѣкъ онъ былъ съ небольшимъ состояніемъ, но независимый, почти безсемейный. У него, по смерти отдаленнаго родственника, оказалось нѣсколько тысячъ рублей — и онъ рѣшился прожить ихъ за границею, передъ поступленіемъ на службу, передъ окончательнымъ возложеніемъ на себя того казеннаго хомута, безъ котораго обезпеченное существованіе стало для него немыслимымъ. Санинъ въ точности исполнилъ свое намѣреніе, и такъ искусно распорядился, что въ день прибытія во Франкфуртъ у него оказалось ровно столько денегъ, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. Въ 1840-мъ году желѣзныхъ дорогъ существовала самая малость; г-да туристы разъѣзжали въ дилижансахъ. Санинъ взялъ мѣсто въ «бейвагенѣ»; но дилижансъ отходилъ только въ 11-мъ часу вечера. Времени оставалось много. Къ счастью, погода стояла прекрасная — и Санинъ, пообѣдавъ въ знаменитой тогдашней гостинницѣ «Бѣлаго-Лебедя», отправился бродить по городу. Зашелъ посмотрѣть Даннекерову Аріадну, которая ему понравилась мало, посѣтилъ домъ Гёте, изъ сочиненій котораго онъ, впрочемъ, прочелъ одного Вертера — и то во французскомъ переводѣ; — погулялъ по берегу Майна, поскучалъ, какъ слѣдуетъ добропорядочному путешественнику; наконецъ, въ шестомъ часу вечера, усталый, съ запыленными ногами, очутился въ одной изъ самыхъ незначительныхъ улицъ Франкфурта. Эту улицу онъ долго потомъ забыть не могъ. На одномъ изъ немногочисленныхъ ея домовъ онъ увидѣлъ вывѣску: «Итальянская кондитерская Джіованни Розелли» заявляла о себѣ прохожимъ. Са-

нинъ зашелъ въ нее, чтобы выпить стаканъ лимонаду, но въ первой комнатѣ, гдѣ, за скромнымъ прилавкомъ, на полкахъ крашеннаго шкафа, напоминая аптеку, стояло нѣсколько бутылокъ съ золотыми ярлыками и столько же стеклянныхъ банокъ съ сухарями, шоколадными лепешками и леденцами — въ этой комнатѣ не было ни души; только сѣрый котъ жмурился и мурлыкалъ, перебирая лапками на высокомъ плетеномъ стулѣ возлѣ окна, — и ярко рдѣя въ косомъ лучѣ вечерняго солнца, большой клубокъ красной шерсти лежалъ на полу, рядомъ съ опрокинутой корзинкой изъ рѣзного дерева. Смутный шумъ слышался въ сосѣдней комнатѣ. Санинъ постоялъ — и давъ колокольчику на дверяхъ прозвенѣть до конца, произнесъ, возвысивъ голосъ: «Никого здѣсь нѣтъ?» Въ то же мгновеніе дверь изъ сосѣдней комнаты растворилась — и Санину по-неволѣ пришлось изумиться.

II.

Въ кондитерскую, съ разсыпанными по обнаженнымъ плечамъ темными кудрями, съ протянутыми впередъ обнаженными руками, порывисто вбѣжала дѣвушка лѣтъ девятнадцати и увидѣвъ Санина, тотчасъ бросилась къ нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосомъ: «скорѣй, скорѣй, сюда, спасите!» Не изъ нежеланія повиноваться, а просто отъ избытка изумленія Санинъ не тотчасъ послѣдовалъ за дѣвушкой — и какъ бы уперся на мѣстѣ: онъ въ жизни не видывалъ подобной красавицы. Она обернулась къ нему — и съ такимъ отчаяніемъ въ голосѣ, во взглядѣ, въ движеніи сжатой руки, судорожно поднесенной къ блѣдной щекѣ, произнесла: «да идите же, идите!» — что онъ тотчасъ ринулся за нею въ раскрытую дверь.

Въ комнатѣ, куда онъ вбѣжалъ вслѣдъ за дѣвушкой, на старомодномъ диванѣ изъ конскаго волоса лежалъ весь бѣлый — бѣлый съ желтоватыми отливами какъ воскъ или какъ древній мраморъ, — мальчикъ лѣтъ четырнадцати, поразительно похожій на дѣвушку, очевидно ея братъ. Глаза его были закрыты, тѣнь отъ черныхъ густыхъ волосъ падала пятномъ на словно окаменѣлый лобъ, на недвижныя тонкія брови; изъ-подъ посинѣвшихъ губъ виднѣлись стиснутые зубы. Казалось, онъ не дышалъ; — одна рука опустилась на полъ, другую онъ закинулъ за голову. Мальчикъ былъ одѣтъ и застегнутъ; тѣсный галстухъ сжималъ его шею.

Дѣвушка съ воплемъ бросилась къ нему. «Онъ умеръ, онъ умеръ! вскричала она; сейчасъ онъ тутъ сидѣлъ, говорилъ со мною — и вдругъ упалъ и сдѣлался недвижимъ.... Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нѣтъ! Панталеоне, Панталеоне, что же докторъ?» прибавила она вдругъ по-итальянски: «Ты ходилъ за докторомъ?»

— Синьора, я не ходилъ, я послалъ Луизу, раздался хриплый голосъ за дверью — и въ комнату, ковыляя на кривыхъ ножкахъ, вошелъ маленькій старичекъ въ лиловомъ фракѣ съ черными пуговицами, высокомъ бѣломъ галстухѣ, нанковыхъ короткихъ панталонахъ и синихъ шерстяныхъ чулкахъ. Его крошечное личико совершенно изчезало подъ цѣлой громадой сѣдыхъ, желѣзнаго цвѣта волосъ. Со всѣхъ сторонъ круто вздымаясь кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигурѣ старичка сходство съ хохлатой курицей — сходство тѣмъ болѣе поразительное, что подъ ихъ темно-сѣрой массой только и можно было разобрать, что̀ заостренный носъ, да круглые желтые глаза.

— Луиза скорѣй сбѣгаетъ, а я не могу бѣгать, продолжалъ старичекъ по-итальянски, поочередно поднимая пло-

скія, подагрическія ноги, обутыя въ высокіе башмаки съ бантиками, — а я вотъ воды принесъ.

Своими сухими, корявыми пальцами онъ стискивалъ длинное горлышко бутылки.

— Но Эмиль пока умретъ! воскликнула дѣвушка и протянула руку къ Санину. — О, мой господинъ, о, mein Herr! — Неужели вы не можете помочь?

— Надо ему кровь пустить — это ударъ, замѣтилъ старичекъ, носившій имя Панталеоне.

Хотя Санинъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о медицинѣ, однако одно онъ зналъ достовѣрно: съ четырнадцатилѣтними мальчиками ударовъ не случается.

— Это обморокъ, а не ударъ, проговорилъ онъ, обратясь къ Панталеоне. — Есть у васъ щетки?

Старичекъ приподнялъ свое личико. — Что?

— Щетки, щетки, повторилъ Санинъ по-нѣмецки и по-французски. — Щетки, прибавилъ онъ, показывая видъ, что чиститъ себѣ платье.

Старичекъ наконецъ его понялъ.

— А, щетки! Spazzette! какъ не быть щетокъ!

— Давайте ихъ сюда; мы снимемъ съ него сюртукъ — и станемъ растирать его.

— Хорошо.... Benone! А воду на голову не надо вылить?

— Нѣтъ.... послѣ; ступайте теперь поскорѣй за щетками.

Панталеоне поставилъ бутылку на полъ, выбѣжалъ вонъ и тотчасъ вернулся съ двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождалъ его и, усиленно вертя хвостомъ, съ любопытствомъ оглядывалъ старика, дѣвушку и даже Санина — какъ бы желая знать, что̀ значила вся эта тревога?

Санинъ проворно снялъ сюртукъ съ лежавшаго мальчика, разстегнулъ воротъ, засучилъ рукава его рубашки —

и, вооружившись щеткой, началъ изо всѣхъ силъ тереть ему грудь и руки. Панталеоне такъ же усердно теръ другой — головной щеткой — по его сапогамъ и панталонамъ. Дѣвушка бросилась на колѣни возлѣ дивана и, схвативъ обѣими руками голову, не мигая ни одной вѣкою, такъ и впилась въ лицо своему брату.

Санинъ самъ теръ, — а самъ искоса посматривалъ на нее. Боже мой! какая же это была красавица?

III.

Носъ у ней былъ нѣсколько великъ, но красиваго, орлинаго ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттѣнялъ пушокъ; за то цвѣтъ лица, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость или молочный янтарь, волнистый лоскъ волосъ, какъ у Аллоріевой Юдиѳи въ Палаццо-Питти — и особенно глаза, темно-сѣрые, съ черной каемкой вокругъ зеницъ, великолѣпные, торжествующіе глаза, — даже теперь, когда испугъ и горе омрачили ихъ блескъ.... Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда онъ возвращался.... Да онъ и въ Италіи не встрѣчалъ ничего подобнаго! Дѣвушка дышала рѣдко и неровно; казалось, она всякій разъ ждала, не начнетъ ли братъ ея дышать?

Санинъ продолжалъ растирать его; но онъ глядѣлъ не на одну дѣвушку. Оригинальная фигура Панталеоне также привлекла его вниманіе. Старикъ совсѣмъ ослабѣлъ и запыхался; при каждомъ ударѣ щеткой подпрыгивалъ и визгливо кряхтѣлъ, а огромныя космы волосъ, смоченныя потомъ, грузно раскачивались изъ стороны въ сторону, словно корни крупнаго растенія, подмытые водою.

— Снимите, по крайней мѣрѣ, съ него сапоги — хотѣлъ-было сказать ему Санинъ....

Пудель, вѣроятно возбужденный необычайностью всего происходившаго, вдругъ припалъ на переднія лапы — и принялся лаять.

— Tartaglia — canaglia! зашипѣлъ на него старикъ....

Но въ это мгновенье лицо дѣвушки преобразилось. Ея брови приподнялись, глаза стали еще больше и засіяли радостью....

Санинъ оглянулся.... По лицу молодого человѣка выступила краска; вѣки шевельнулись.... ноздри дрогнули. Онъ потянулъ воздухъ сквозь все еще стиснутые зубы, вздохнулъ....

— Эмиль! крикнула дѣвушка.... Эмиліо міо!

Медленно раскрылись большіе черные глаза. Они глядѣли еще тупо, но уже улыбались — слабо; та же слабая улыбка спустилась на блѣдныя губы. Потомъ онъ двинулъ повислой рукою — и съ размаху положилъ ее себѣ на грудь.

— Эмиліо! повторила дѣвушка и приподнялась. Выраженіе ея лица было такъ сильно и ярко, что казалось, вотъ сейчасъ либо слезы у нея брызнутъ, либо вырвется хохотъ.

— Эмиль! Что такое? Эмиль! послышалось за дверью— и въ комнату проворными шагами вошла опрятно одѣтая дама съ серебристо-сѣдыми волосами и смуглымъ лицомъ. Мужчина пожилыхъ лѣтъ выступалъ за нею слѣдомъ; голова служанки мелькнула у него за плечами.

Дѣвушка побѣжала къ нимъ на встрѣчу.

— Онъ спасенъ, мама, онъ живъ! воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму.

— Да что такое? повторила она. Я возвращаюсь.... и вдругъ встрѣчаю г-на доктора и Луизу....

Дѣвушка принялась разсказывать, что̀ случилось, а докторъ подошелъ къ больному, который все болѣе и болѣе

приходилъ въ себя — и все продолжалъ улыбаться: онъ словно начиналъ стыдиться надѣланной имъ тревоги.

— Вы, я вижу, его растирали щетками, обратился докторъ къ Санину и Панталеоне, — и прекрасно сдѣлали.... Очень хорошая мысль.... а вотъ мы теперь посмотримъ, какія еще средства....

Онъ пощупалъ у молодого человѣка пульсъ. — Гмъ! Покажите-ка языкъ!

Дама заботливо наклонилась къ нему. Онъ еще откровеннѣе улыбнулся, взвелъ на нее глаза — и покраснѣлъ....

Санину пришло на мысль, что онъ становится лишнимъ; онъ вышелъ въ кондитерскую. Но не успѣлъ онъ еще взяться за ручку уличной двери, какъ дѣвушка опять появилась передъ нимъ и остановила его.

— Вы уходите, начала она, ласково заглядывая ему въ лицо; я васъ не удерживаю, но вы должны непремѣнно придти къ намъ сегодня вечеромъ, мы вамъ такъ обязаны— вы, можетъ быть, спасли брата — мы хотимъ благодарить васъ — мама хочетъ. Вы должны сказать намъ, кто вы, вы должны порадоваться вмѣстѣ съ нами....

— Но я уѣзжаю сегодня въ Берлинъ, заикнулся-было Санинъ.

— Вы еще успѣете, съ живостью возразила дѣвушка. — Придите къ намъ черезъ часъ на чашку шоколада. Вы обѣщаетесь? А мнѣ нужно опять къ нему! Вы придете?

Что оставалось дѣлать Санину?

— Приду, отвѣчалъ онъ.

Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вонъ — и онъ очутился на улицѣ.

IV.

Когда Санинъ, часа полтора спустя, вернулся въ кондитерскую Розелли, его тамъ приняли какъ родного. Эмиліо сидѣлъ на томъ же самомъ диванѣ, на которомъ его растирали; докторъ прописалъ ему лекарство и рекомендовалъ «большую осторожность въ испытаніи ощущеній», — такъ какъ субъектъ темперамента нервическаго и съ наклонностью къ болѣзнямъ сердца. Онъ и прежде подвергался обморокамъ; но никогда припадокъ не былъ такъ продолжителенъ и силенъ. Впрочемъ докторъ объявилъ, что всякая опасность миновалась. Эмиль одѣтъ былъ, какъ приличествуетъ выздоравливающему, въ просторный шлафрокъ; мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокругъ шеи; но видъ онъ имѣлъ веселый, почти праздничный; да и все кругомъ имѣло праздничный видъ. Передъ диваномъ на кругломъ столѣ, покрытомъ чистой скатертью, возвышался наполненный душистымъ шоколадомъ, окруженный чашками, графинами съ сиропомъ, бисквитами и булками, даже цвѣтами — огромный фарфоровый кофейникъ; шесть тонкихъ восковыхъ свѣчей горѣло въ двухъ старинныхъ серебряныхъ шандалахъ; съ одной стороны дивана, вольтеровское кресло раскрывало свои мягкія объятія — и Санина посадили именно въ это кресло. Всѣ обитатели кондитерской, съ которыми ему пришлось познакомиться въ тотъ день, находились на лицо, не исключая пуделя Тарталья и кота; всѣ казались несказанно счастливыми; пудель даже чихалъ отъ удовольствія; одинъ котъ, по прежнему, все жеманился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто онъ родомъ и откуда и какъ его зовутъ; когда онъ сказалъ, что онъ русскій — обѣ дамы немного удивились и даже ахнули — и тутъ же, въ одинъ

голосъ. объявили, что онъ отлично выговариваетъ по-нѣмецки; но что если ему удобнѣе выражаться по-французски, то онъ можетъ употреблять и этотъ языкъ — такъ какъ онѣ обѣ хорошо его понимаютъ и выражаются на немъ. Санинъ немедленно воспользовался этимъ предложеніемъ. «Санинъ! Санинъ!» Дамы никакъ не ожидали, что русская фамилія можетъ быть такъ легко произносима. Имя его: «Димитрій» также весьма понравилось. Старшая дама замѣтила, что она въ молодости слышала прекрасную оперу: «Demetrio e Polibio» — но что «Dimitri» гораздо лучше чѣмъ «Demetrio». Такимъ манеромъ Санинъ бесѣдовалъ около часу. Съ своей стороны, дамы посвятили его во всѣ подробности собственной жизни. Говорила больше мать, дама съ сѣдыми волосами. Санинъ узналъ отъ нея, что имя ея — Леонора Розелли; что она осталась вдовою послѣ мужа своего, Джіованни Баттиста Розелли, который двадцать-пять лѣтъ тому назадъ поселился во Франкфуртѣ въ качествѣ кондитера; что Джіованни Баттиста былъ родомъ изъ Виченцы и очень хорошій, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человѣкъ и къ тому республиканецъ! При этихъ словахъ г-жа Розелли указала на его портретъ, писанный масляными красками и висѣвшій надъ диваномъ. Должно полагать, что живописецъ — «тоже республиканецъ!» какъ со вздохомъ замѣтила г-жа Розелли — не вполнѣ умѣлъ уловлять сходство — ибо на портретѣ покойный Джіованни Баттиста являлся какимъ-то сумрачнымъ и суровымъ бригантомъ — въ родѣ Ринальдо Ринальдини! Сама г-жа Розелли была уроженка «стариннаго и прекраснаго города Пармы, гдѣ находится такой чудный куполъ, расписанный безсмертнымъ Корреджіо!» Но отъ давняго пребыванія въ Германіи она почти совсѣмъ онѣмечилась. Потомъ она прибавила, грустно покачавъ головою, что у ней только и осталось, что вотъ *эта* дочь, да вотъ *этотъ* сынъ (она ука-

зала на нихъ поочередно пальцемъ); — что дочь зовутъ — Джеммой, а сына — Эмиліемъ; что оба они очень хорошія и послушныя дѣти — особенно Эмиліо.... («Я не послушна!» ввернула тутъ дочь; — «охъ, ты тоже республиканка!» отвѣтила мать); — что дѣла конечно идутъ теперь хуже, чѣмъ при мужѣ, который по кондитерской части былъ великій мастеръ.... (Un grand'uomo! съ суровымъ видомъ подхватилъ Панталеоне); но что все-таки, слава Богу, жить еще можно!

V.

Джемма слушала мать — и то посмѣивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцемъ, то посматривала на Санина; наконецъ, она встала, обняла и поцѣловала мать въ шею — въ «душку», отчего та много смѣялась и даже пищала. Панталеоне былъ также представленъ Санину. Оказалось, что онъ былъ когда-то опернымъ пѣвцомъ, для баритонныхъ партій, но уже давно прекратилъ свои театральныя занятія и состоялъ въ семействѣ Розелли чѣмъ-то среднимъ между другомъ дома и слугою. Несмотря на весьма долговременное пребываніе въ Германіи, онъ нѣмецкому языку выучился плохо, и только умѣлъ браниться на немъ, немилосердно коверкая даже и бранныя слова. «Феррофлукто спиччебуббіо!» обзывалъ онъ чуть не каждаго нѣмца. Итальянскій же языкъ выговаривалъ въ совершенствѣ — ибо былъ родомъ изъ Синигальи, гдѣ слышится «lingua toscana in bocca romana!» Эмиліо видимо нѣжился и предавался пріятнымъ ощущеніямъ человѣка, который только-что избѣгнулъ опасности или выздоравливаетъ; да и кромѣ того, по всему можно было замѣтить, что домашніе его баловали. Онъ застѣнчиво поблагодарилъ Санина, а впрочемъ больше налегалъ на сиропъ и на конфекты. Са-

нинъ принужденъ былъ выпить двѣ большія чашки превосходнаго шоколада и съѣсть замѣчательное количество бисквитовъ: онъ только-что проглотитъ одинъ, а Джемма уже подноситъ ему другой — и отказаться нѣтъ возможности! Онъ скоро почувствовалъ себя какъ дома: время летѣло съ невѣроятной быстротой. Ему пришлось много разсказывать — о Россіи вообще, о русскомъ климатѣ, о русскомъ обществѣ, о русскомъ мужикѣ — и особенно о казакахъ; о войнѣ двѣнадцатаго года, о Петрѣ Великомъ, о Кремлѣ и о русскихъ пѣсняхъ и о колоколахъ. Обѣ дамы имѣли весьма слабое понятіе о нашей пространной и отдаленной родинѣ; г-жа Розелли или, какъ ее чаще звали, фрау Леноре даже повергла Санина въ изумленіе вопросомъ: существуетъ ли еще знаменитый, построенный въ прошломъ столѣтіи, ледяной домъ въ Петербургѣ, о которомъ она недавно прочла такую любопытную статью въ одной изъ книгъ ея покойнаго мужа: Bellezze delle arti? — А въ отвѣтъ на восклицаніе Санина: «неужели же вы полагаете, что въ Россіи никогда не бываетъ лѣта?!» фрау Леноре возразила, что она до сихъ поръ такъ себѣ представляла Россію: вѣчный снѣгъ, всѣ ходятъ въ шубахъ и всѣ военные — но гостепріимство чрезвычайное, и всѣ крестьяне очень послушны! Санинъ постарался сообщить ей и ея дочери свѣдѣнія болѣе точныя. Когда рѣчь коснулась русской музыки, его тотчасъ попросили спѣть какую-нибудь русскую арію и указали на стоявшее въ комнатѣ крошечное фортепіано, съ черными клавишами вмѣсто бѣлыхъ и бѣлыми вмѣсто черныхъ. Онъ повиновался безъ дальнихъ околичностей и, аккомпанируя себѣ двумя пальцами правой и тремя (большимъ, среднимъ и мизинцемъ) лѣвой — спѣлъ тоненькимъ носовымъ теноркомъ сперва: «Сарафанъ» — потомъ: «По улицѣ мостовой». Дамы похвалили его голосъ и музыку, но болѣе восхищались мягкостью и звучностью русскаго языка и потребовали

перевода текста. Санинъ исполнилъ ихъ желаніе — но такъ какъ слова «Сарафана» и особенно: «По улицѣ мостовой» (sur une rue pavée une jeune fille allait à l'eau — онъ такъ передалъ смыслъ оригинала) — не могли внушить его слушательницамъ высокое понятіе о русской поэзіи, то онъ сперва продекламировалъ, потомъ перевёлъ, потомъ спѣлъ Пушкинское: «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой, минорные куплеты котораго онъ слегка перевралъ. Тутъ дамы пришли въ восторгъ — фрау Леноре даже открыла въ русскомъ языкѣ удивительное сходство съ итальянскимъ. «Мгновенье» — «o vieni» — «со мной» — «siam noi» — и т. п. Даже имена: Пушкинъ (она выговаривала: Пуссекинъ) — и Глинка звучали ей чѣмъ-то роднымъ. Санинъ, въ свою очередь, попросилъ дамъ что-нибудь спѣть: онѣ также не стали чиниться. Фрау Леноре сѣла за фортепіано и вмѣстѣ съ Джеммой спѣла нѣсколько дуэттино и «сторнелло». У матери былъ когда-то хорошій контральтъ; голосъ дочери былъ нѣсколько слабъ, но пріятенъ.

VI.

Но не голосомъ Джеммы — ею самою любовался Санинъ. Онъ сидѣлъ нѣсколько позади и сбоку, и думалъ про себя, что никакая пальма — даже въ стихахъ Бенедиктова, тогдашняго моднаго поэта — не въ состояніи соперничать съ изящною стройностью ея стана. Когда же она, на чувствительныхъ ноткахъ, возводила къ верху глаза — ему казалось, что нѣтъ такого неба, которое не разверзлось бы передъ такимъ взоромъ. Даже старикъ Панталеоне, который, прислонясь плечомъ къ притолкѣ двери и уткнувъ подбородокъ и ротъ въ просторный галстухъ, слушалъ важно, съ видомъ знатока — даже тотъ любовался лицомъ прекрас-

ной дѣвушки и дивился ему — а, кажется, долженъ былъ онъ къ нему привыкнуть! Окончивъ свои дуэттино съ дочерью, фрау Леноре замѣтила, что у Эмиліо голосъ отличный, настоящее серебро — но что онъ теперь вступилъ въ тотъ возрастъ, когда голосъ мѣняется — (онъ, дѣйствительно, говорилъ какимъ-то безпрестанно ломавшимся басомъ) — и что по этой причинѣ ему запрещено пѣть; а что вотъ Панталеоне могъ бы, въ честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчасъ принялъ недовольный видъ, нахмурился, взъерошилъ волосы и объявилъ, что онъ уже давно все это бросилъ, хотя дѣйствительно могъ въ молодости постоять за себя — да и вообще принадлежалъ къ той великой эпохѣ, когда существовали настоящіе, классическіе пѣвцы — не чета теперешнимъ пискунамъ! и настоящая школа пѣнія; что ему, Панталеоне Чиппатола изъ Варѐзе, поднесли однажды въ Моденѣ лавровый вѣнокъ и даже по этому случаю выпустили въ театрѣ нѣсколько бѣлыхъ голубей; что между прочимъ одинъ русскій князь Тарбускій — «il principe Tarbusski» — съ которымъ онъ былъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, постоянно за ужиномъ звалъ его въ Россію, обѣщалъ ему горы золота, горы!... но что онъ не хотѣлъ разстаться съ Италіей, съ страною Данта — il paese del Dante! — Потомъ, конечно, произошли.... несчастныя обстоятельства, онъ самъ былъ неостороженъ.... Тутъ старикъ перервалъ самого себя, вздохнулъ глубоко раза два, потупился — и снова заговорилъ о классической эпохѣ пѣнія, о знаменитомъ тенорѣ Гарсіа, къ которому питалъ благоговѣйное, безграничное уваженіе. «Вотъ былъ человѣкъ!» воскликнулъ онъ. Никогда великій Гарсіа — «il gran Garcia» — не унижался до того, чтобы пѣть, какъ теперешніе теноришки — tenoracci — фальцетомъ: всё грудью, грудью, voce di petto, si! Старикъ крѣпко постучалъ маленькимъ засохшимъ кулачкомъ по собственному

жабо! И какой актеръ! Вулканъ, signori miei, вулканъ, un Vesuvio! Я имѣлъ честь и счастье пѣть вмѣстѣ съ нимъ въ оперѣ dell'illustrissimo maestro Россини — въ Отелло! Гарсіа былъ Отелло — я былъ Яго — и когда онъ произносилъ эту фразу....

Тутъ Панталеоне сталъ въ позитуру и запѣлъ дрожавшимъ и сиплымъ, но все еще патетическимъ голосомъ:

L'i.... ra daver.... so daver.... so il fato
Io piu no.... no.... no.... non temerò!

— «Театръ трепеталъ, signori miei! но и я не отставалъ; и я тоже за нимъ:

L'i.... ra daver.... so daver.... so il fato
Temèr piu non dovro!

— «И вдругъ онъ — какъ молнія, какъ тигръ: Morro!... ma vendicato....

— «Или вотъ еще, когда онъ пѣлъ.... когда онъ пѣлъ эту знаменитую арію изъ «Matrimonio segreto»: Pria che spunti.... Тутъ онъ, il gran Garcia, послѣ словъ: I cavalli di galoppo — дѣлалъ на словахъ: Senza posa cacciera — послушайте, какъ это изумительно, com'è stupendo! Тутъ онъ дѣлалъ....» Старикъ началъ-было какую-то необыкновенную фіоритуру — и на десятой нотѣ запнулся, закашлялся и, махнувъ рукою, отвернулся и пробормоталъ: — «Зачѣмъ вы меня мучите?» Джемма тотчасъ же вскочила со стула и, громко хлопая въ ладоши, съ крикомъ: браво!... браво! подбѣжала къ бѣдному отставному Яго и обѣими руками ласково потрепала его по плечамъ. Одинъ Эмиль безжалостно смѣялся. Cet age est sans pitié — этотъ возрастъ не знаетъ жалости, — сказалъ уже Лафонтенъ.

Санинъ попытался утѣшить престарѣлаго пѣвца и заговорилъ съ нимъ на итальянскомъ языкѣ — (онъ слегка его

нахватался во время своего послѣдняго путешествія) — заговорилъ о «paese del Dante, dove il si suona». Эта фраза, вмѣстѣ съ «Lasciate ogni speranza» — составлялъ весь поэтическій итальянскій багажъ молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискиванія. Глубже чѣмъ когда-либо уткнувъ подбородокъ въ галстухъ и угрюмо пуча глаза, онъ снова уподобился птицѣ, да еще сердитой — вòрону что-ли, или коршуну. Тогда Эмиль, мгновенно и легко краснѣя, какъ это обыкновенно случается съ балованными дѣтьми, — обратился къ сестрѣ и сказалъ ей, что если она желаетъ занять гостя, то ничего она не можетъ придумать лучшаго, какъ прочесть ему одну изъ комедіекъ Мальца, которыя она такъ хорошо читаетъ. Джемма засмѣялась, ударила брата по рукѣ, воскликнула, что онъ «всегда такое придумаетъ!» Однако, тотчасъ пошла въ свою комнату и вернувшись оттуда съ небольшой книжкой въ рукѣ, усѣлась за столомъ передъ лампой, оглянулась, подняла палецъ — «молчать-дескать!» — чисто итальянскій жестъ — и принялась читать.

VII.

Мальцъ былъ франкфуртскій литераторъ 30-хъ годовъ, который въ своихъ коротенькихъ и легко набросанныхъ комедійкахъ, писанныхъ на мѣстномъ нарѣчіи, выводилъ, съ забавнымъ и бойкимъ, хотя и не глубокимъ юморомъ — мѣстные франкфуртскіе типы. Оказалось, что Джемма читала точно превосходно — совсѣмъ по-актерски. Она оттѣняла каждое лицо и отлично выдерживала его характеръ, пуская въ ходъ свою мимику, унаслѣдованную ею вмѣстѣ съ итальянскою кровью; не щадя ни своего нѣжнаго голоса, ни своего прекраснаго лица, она, когда нужно было представить либо выжившую изъ ума старуху, либо глупаго

бургомистра—корчила самыя уморительныя гримасы, ёжила глаза, морщила носъ, картавила, пищала.... Сама, во время чтенія, она не смѣялась; но когда слушатели (за исключеніемъ, правда, Панталеоне: онъ тотчасъ съ негодованіемъ удалился, какъ только зашла рѣчь о quel ferroffucto Tedesco), когда слушатели прерывали ее взрывомъ дружнаго хохота—она, опустивъ книгу на колѣни, звонко хохотала сама, закинувъ голову назадъ — и черныя ея кудри прыгали мягкими кольцами по шеѣ и по сотрясеннымъ плечамъ. Хохотъ прекращался — она тотчасъ поднимала книгу, и снова предавъ чертамъ своимъ надлежащій складъ, серьезно принималась за чтеніе. Санинъ не могъ довольно надивиться ей; его особенно поражало то: какимъ чудомъ такое идеально-прекрасное лицо принимало вдругъ такое комическое, иногда почти тривіальное выраженіе? Менѣе удовлетворительно читала Джемма роли молодыхъ дѣвицъ—такъ-называемыхъ «jeunes premières»; особенно любовныя сцены не удавались ей; она сама это чувствовала и потому придавала имъ легкій оттѣнокъ насмѣшливости — словно она не вѣрила всѣмъ этимъ восторженнымъ клятвамъ и возвышеннымъ рѣчамъ, отъ которыхъ, впрочемъ, самъ авторъ воздерживался — по мѣрѣ возможности.

Санинъ не замѣтилъ, какъ пролетѣлъ вечеръ — и только тогда вспомнилъ о предстоявшемъ путешествіи, когда часы пробили десять часовъ. Онъ вскочилъ со стула, какъ ужаленный.

— Что съ вами? спросила фрау Леноре.

— Да я долженъ былъ сегодня уѣхать въ Берлинъ — и уже мѣсто взялъ въ дилижансѣ!

— А когда отходитъ дилижансъ?

— Въ половинѣ одиннадцатаго!

— Ну, такъ вы уже не успѣете, замѣтила Джемма; оставайтесь.... я еще почитаю.

— Вы всѣ деньги заплатили или только задатокъ дали? полюбопытствовала фрау Леноре.

— Всѣ! съ печальной ужимкой возопилъ Санинъ.

Джемма посмотрѣла на него, прищуривъ глаза — и разсмѣялась, а мать ее побранила. — Молодой человѣкъ пòпусту деньги затратилъ — а ты смѣешься!

— Ничего, отвѣчала Джемма; — это его не разоритъ, а мы постараемся его утѣшить. Хотите лимонаду?

Санинъ выпилъ стаканъ лимонада, Джемма снова принялась за Мальца — и все опять пошло какъ по маслу.

Часы пробили двѣнадцать. Санинъ сталъ прощаться.

— Вы теперь нѣсколько дней должны остаться во Франкфуртѣ, сказала ему Джемма; куда вамъ спѣшить? Веселѣй въ другомъ городѣ не будетъ. — Она помолчала. — Право не будетъ, прибавила она и улыбнулась. Санинъ ничего не отвѣчалъ и подумалъ, что въ силу пустоты своего кошелька, ему по неволѣ придется остаться во Франкфуртѣ, пока не придетъ отвѣтъ отъ одного берлинскаго пріятеля, къ которому онъ собирался обратиться за деньгами.

— Оставайтесь, оставайтесь, промолвила и фрау Леноре. Мы познакомимъ васъ съ женихомъ Джеммы, г-мъ Карломъ Клюберомъ. Онъ сегодня не могъ придти, потому что онъ очень занятъ у себя въ магазинѣ.... вы навѣрное видѣли на Цейлѣ самый большой магазинъ суконъ и шелковыхъ матерій? Ну, такъ онъ тамъ главнымъ. Но онъ очень будетъ радъ вамъ отрекомендоваться.

Санина это извѣстіе — Богъ вѣдаетъ почему — слегка огорошило. «Счастливчикъ этотъ женихъ!» мелькнуло у него въ умѣ. Онъ посмотрѣлъ на Джемму — и ему показалось, что онъ подмѣтилъ насмѣшливое выраженіе въ ея глазахъ. Онъ началъ раскланиваться.

— До завтра? Неправда ли, до завтра? спросила фрау Леноре.

— До завтра! произнесла Джемма не вопросительнымъ, а утвердительнымъ тономъ, какъ будто это иначе и быть не могло.

— До завтра! отозвался Санинъ.

Эмиль, Панталеоне и пудель Тарталья проводили его до угла улицы. Панталеоне не утерпѣлъ, чтобы не выразить своего неудовольствія по поводу Джеммина чтенія.

— Какъ ей не стыдно! Кривляется, пищитъ — una carricatura! Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру — нѣчто великое, трагическое, а она передразниваетъ какую-то скверную нѣмку! Этакъ и я могу.... Мерцъ, керцъ, смерцъ, прибавилъ онъ хриплымъ голосомъ, уткнувъ лицо впередъ и растопыря пальцы. Тарталья залаялъ на него, а Эмиль расхохотался. Старикъ круто повернулъ назадъ.

Санинъ возвратился въ гостинницу «Бѣлаго-Лебедя» — (онъ оставилъ тамъ свои вещи въ общей залѣ) — въ довольно смутномъ настроеніи духа. Всѣ эти нѣмецко-французско-итальянскіе разговоры такъ и звенѣли у него въ ушахъ.

— Невѣста! шепталъ онъ, уже лежа въ постели, въ отведенномъ ему скромномъ нумерѣ. Да и красавица же! Но къ чему я остался?

Однако на слѣдующій день онъ послалъ письмо къ берлинскому пріятелю.

VIII.

Онъ не успѣлъ еще одѣться, какъ кельнеръ доложилъ ему о приходѣ двухъ господъ. Одинъ изъ нихъ оказался Эмилемъ; другой, видный и рослый молодой мужчина, съ благообразнѣйшимъ лицомъ, былъ герръ Карлъ Клюберъ, женихъ прекрасной Джеммы.

Должно полагать, что въ то время, въ цѣломъ Франк-

фуртѣ, ни въ одномъ магазинѣ не существовало такого вѣжливаго, приличнаго, важнаго, любезнаго главнаго комми, каковымъ являлся г-нъ Клюберъ. Безукоризненность его туалета стояла на одной высотѣ съ достоинствомъ его осанки, съ изящностью — немного, правда, чепорной и сдержанной, на англійскій ладъ (онъ провелъ два года въ Англіи) — но все-таки плѣнительной изящностью его манеръ! Съ перваго взгляда становилось явно, что этотъ красивый, нѣсколько строгій, отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человѣкъ привыкъ повиноваться высшимъ и повелѣвать низшимъ, и что за прилавкомъ своего магазина онъ неизбѣжно долженъ былъ внушать уваженіе самимъ покупателямъ! Въ сверхъестественной его честности не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія: стоило только взглянуть на его туго накрахмаленные воротнички! И голосъ у него оказался такой, какого слѣдовало ожидать: густой и самоувѣренно-сочный, но не слишкомъ громкій, съ нѣкоторой даже ласковостью въ тембрѣ. Такимъ голосомъ особенно удобно отдавать приказанія подчиненнымъ комми: «покажите-молъ ту штуку пунсоваго ліонскаго бархата!» — или: «подайте стулъ этой дамѣ!»

Г-нъ Клюберъ началъ съ того, что отрекомендовался, при чемъ такъ благородно наклонилъ станъ, такъ пріятно сдвинулъ ноги и такъ учтиво тронулъ каблукомъ о каблукъ, что всякій непремѣнно долженъ былъ почувствовать: «у этого человѣка и бѣлье, и душевныя качества — перваго сорта!» Отдѣлка обнаженной правой руки — (въ лѣвой, облеченной въ шведскую перчатку, онъ держалъ до зеркальности вылощенную шляпу, на днѣ которой лежала другая перчатка) — отдѣлка этой правой руки, которую онъ скромно, но съ твердостью протянулъ Санину — превосходила всякое вѣроятіе: каждый ноготь былъ въ своемъ родѣ совершенство! Потомъ онъ сообщилъ, на отборнѣйшемъ нѣ-

мецкомъ языкѣ, что желалъ заявить свое почтеніе и свою признательность г-ну иностранцу, который оказалъ такую важную услугу будущему его родственнику, брату его невѣсты; при этомъ онъ повелъ лѣвой рукой, державшей шляпу въ направленіи Эмиля, который словно застыдился и, отвернувшись къ окну, положилъ палецъ въ ротъ. Г-нъ Клюберъ прибавилъ, что почтетъ себя счастливымъ, если съ своей стороны будетъ въ состояніи сдѣлать что-нибудь пріятное г-ну иностранцу. Санинъ отвѣчалъ, не безъ нѣкотораго труда, тоже по-нѣмецки, что онъ очень радъ.... что услуга его была маловажная.... и просилъ своихъ гостей присѣсть. Герръ Клюберъ поблагодарилъ — и, мгновенно раскинувъ фалды фрака, опустился на стулъ — но опустился такъ легко и держался на немъ такъ непрочно, что нельзя было не понять: «человѣкъ этотъ сѣлъ изъ вѣжливости — и сейчасъ опять вспорхнетъ!» И дѣйствительно, онъ немедленно вспорхнулъ, и стыдливо переступивъ два раза ногами, словно танцуя, объявилъ, что къ сожалѣнію не можетъ долѣе остаться, ибо спѣшитъ въ свой магазинъ — дѣла̀ прежде всего! — но такъ какъ завтра воскресенье — то онъ, съ согласія фрау Леноре и фрэйлейнъ Джеммы, устроилъ увеселительную прогулку въ Соденъ, на которую честь имѣетъ пригласить г-на иностранца — и питаетъ надежду, что онъ не откажется украсить ее своимъ присутствіемъ. Санинъ не отказался ее украсить — и герръ Клюберъ отрекомендовался вторично и ушелъ, пріятно мелькая панталонами нѣжнѣйшаго гороховаго цвѣта и столь же пріятно поскрипывая подошвами наиновѣйшихъ сапоговъ.

IX.

Эмиль, который продолжалъ стоять лицомъ къ окну, даже послѣ приглашенія Санина: «присѣсть» — сдѣлалъ на-

лѣво кругомъ, какъ только будущій его родственникъ вышелъ — и, ужимаясь по-ребячески и краснѣя, спросилъ Санина, можетъ ли онъ еще немного у него остаться? «Мнѣ сегодня гораздо лучше, прибавилъ онъ, — но докторъ запретилъ мнѣ работать».

— Оставайтесь! Вы мнѣ нисколько не мѣшаете, воскликнулъ немедленно Санинъ, который, какъ всякій истый русскій, радъ былъ ухватиться за первый попавшійся предлогъ, лишь бы не быть самому поставлену въ необходимость что-нибудь дѣлать.

Эмиль поблагодарилъ его — и въ самое короткое время совершенно освоился и съ нимъ, и съ его квартирой; разсматривалъ его вещи, разспрашивалъ чуть не о каждой изъ нихъ: гдѣ онъ ее купилъ и какое ея достоинство? Помогъ ему выбриться, при чемъ замѣтилъ, что онъ напрасно не отпускаетъ себѣ усовъ; — сообщилъ ему наконецъ множество подробностей о своей матери, о сестрѣ, о Панталеонѣ, даже о пуделѣ Тартальѣ, обо всемъ ихъ житьѣ-бытьѣ. Всякое подобіе робости исчезло въ Эмилѣ; онъ вдругъ почувствовалъ чрезвычайное влеченіе къ Санину — и вовсе не потому, что тотъ наканунѣ спасъ его жизнь, а потому, что человѣкъ онъ былъ такой симпатическій! Онъ не замедлилъ довѣрить Санину всѣ свои тайны. Съ особеннымъ жаромъ настаивалъ онъ па томъ, что мама его непремѣнно хочетъ сдѣлать изъ него купца — а онъ *знаетъ*, знаетъ навѣрное, что рожденъ художникомъ, музыкантомъ, пѣвцомъ; что театръ — его настоящее призваніе; что даже Панталеоне его поощряетъ, но что г-нъ Клюберъ поддерживаетъ маму, на которую имѣетъ большое вліяніе; что самая мысль сдѣлать изъ него торгаша принадлежитъ собственно г-ну Клюберу, по понятіямъ котораго ничего въ мірѣ не можетъ сравниться съ званіемъ купца! Продавать сукно и бархатъ — и надувать публику, брать съ нея «Narren- oder

Russen-Preise» (дурацкія — или русскія цѣны) — вотъ его идеалъ! *).

— Ну что-жъ! теперь надо идти къ намъ! воскликнулъ онъ, какъ только Санинъ окончилъ свой туалетъ и написалъ письмо въ Берлинъ.

— Теперь еще рано, замѣтилъ Санинъ.

— Это ничего не значитъ, промолвилъ Эмиль, ласкаясь къ нему. Пойдемте! Мы завернемъ на почту — а оттуда къ намъ. Джемма вамъ такъ рада будетъ! Вы у насъ позавтракаете.... Вы можете сказать что-нибудь мамѣ обо мнѣ, о моей карьерѣ....

— Ну пойдемте, сказалъ Санинъ — и они отправились.

X.

Джемма ему дѣйствительно обрадовалась, и фрау Леноре его очень дружелюбно привѣтствовала: видно было, что онъ наканунѣ произвелъ на обѣихъ впечатлѣніе хорошее. Эмиль побѣжалъ распоряжаться насчетъ завтрака, предварительно шепнувъ Санину на ухо: «не забудьте!»

— Не забуду, отвѣчалъ Санинъ.

Фрау Ленорѣ не совсѣмъ здоровилось: она страдала мигренью — и, полулежа въ креслѣ, старалась не шевелиться. На Джеммѣ была широкая желтая блуза, перехваченная чернымъ кожаннымъ поясомъ; она тоже казалась утомленной и слегка поблѣднѣла; темноватые круги оттѣняли ея глаза, но блескъ ихъ не умалился отъ того, а блѣдность придавала что-то таинственное и милое классически-

*) Въ прежнія времена — да, пожалуй, и теперь это не перевелось — когда, начиная съ мая мѣсяца, множество русскихъ появлялось во Франкфуртѣ — во всѣхъ магазинахъ цѣны увеличивались и получали названіе: «Russen- — или увы! — Narren-Preise».

строгимъ чертамъ ея лица. Санина въ тотъ день особенно поразила изящная красота ея рукъ; когда она поправляла и поддерживала ими свои темныя, лоснистыя кудри — взоръ его не могъ оторваться отъ ея пальцевъ, гибкихъ и длинныхъ и отдѣленныхъ дружка отъ дружки, какъ у Рафаэлевой Форнарины.

На дворѣ было очень жарко; послѣ завтрака Санинъ хотѣлъ-было удалиться, но ему замѣтили, что въ такой день лучше всего не двигаться съ мѣста — и онъ согласился; онъ остался. Въ задней комнатѣ, въ которой онъ сидѣлъ съ своими хозяйками, царствовала прохлада; окна выходили въ небольшой садикъ, заросшій акаціями. Множество пчелъ, осъ и шмелей, дружно и жадно гудѣло въ ихъ густыхъ вѣткахъ, осыпанныхъ золотыми цвѣтами; сквозь полу-закрытыя ставни и опущенныя сторы проникалъ въ комнату этотъ немолчный звукъ: онъ говорилъ о зноѣ, разлитомъ во внѣшнемъ воздухѣ — и тѣмъ слаще становилась прохлада закрытаго и уютнаго жилья.

Санинъ разговаривалъ много, по вчерашнему, но не о Россіи и не о русской жизни. Желая угодить своему молодому другу, котораго тотчасъ послѣ завтрака услали къ г-ну Клюберу — практиковаться въ бухгалтеріи — онъ навелъ рѣчь на сравнительныя выгоды и невыгоды художества и коммерціи. Онъ не удивился тому, что фрау Леноре держала сторону коммерціи — онъ это ожидалъ; но и Джемма раздѣляла ея мнѣніе.

— Коли ты художникъ — и особенно пѣвецъ, утверждала она, энергически двигая рукою сверху внизъ — будь непремѣнно на первомъ мѣстѣ! Второе уже никуда не годится; а кто знаетъ, можешь ли ты достигнуть перваго мѣста? — Панталеоне, который также участвовалъ въ разговорѣ — (ему, какъ давнишнему слугѣ и старому человѣку, дозволялось даже сидѣть на стулѣ въ присутствіи

хозяевъ; итальянцы вообще не строги насчетъ этикета) — Панталеоне, разумѣется, стоялъ горой за художество. Правду сказать, доводы его были довольно слабы: онъ больше все толковалъ о томъ, что нужно прежде всего обладать d'un certo estro d'ispirazione — нѣкимъ порывомъ вдохновенья! Фрау Леноре замѣтила ему, что и онъ, конечно, обладалъ этимъ estro — а между тѣмъ.... — Я имѣлъ враговъ, сумрачно замѣтилъ Панталеоне. — Да почему же ты знаешь — (итальянцы, какъ извѣстно, легко «тыкаются») — что у Эмиля враговъ не будетъ, если даже и откроется въ немъ это estro? — Ну такъ дѣлайте изъ него торгаша, съ досадой промолвилъ Панталеоне — а Джіован' Баттиста такъ бы не поступилъ, хотя самъ былъ кондитеромъ! — Джіован' Баттиста, мужъ мой, былъ человѣкъ благоразумный — и если онъ въ молодости увлекался.... Но уже старикъ ничего слышать не хотѣлъ — и удалился, еще разъ проговоривъ съ укоризной: А! Джіован' Баттиста!.... Джемма воскликнула, что если-бъ Эмиль чувствовалъ себя патріотомъ и желалъ посвятить всѣ силы свои освобожденію Италіи — то, конечно, для такого высокаго и священнаго дѣла можно пожертвовать обезпеченной будущностью — но не для театра! Тутъ фрау Леноре пришла въ волненіе и начала умолять свою дочь, не сбивать съ толку, по крайней мѣрѣ, брата — и удовольствоваться тѣмъ, что она сама такая отчаянная республиканка! Произнесши эти слова, фрау Леноре заохала и стала жаловаться на голову, которая у нея была «готова лопнуть». (Фрау Леноре, изъ уваженія къ гостю, говорила съ дочерью по-французски).

Джемма тотчасъ принялась ухаживать за нею, тихонько дула ей на лобъ, намочивъ его сперва одеколономъ, тихонько цѣловала ея щеки, укладывала ей голову въ подушки, запрещала ей говорить — и опять ее цѣловала. Потомъ, об-

Санинъ. Второй потребовалъ стаканъ оршаду, третій — полфунта конфектъ. Санинъ удовлетворилъ ихъ, съ азартомъ стуча ложечками, передвигая блюдечки и лихо запуская пальцы въ ящики и банки. При разсчетѣ оказалось, что оршадъ онъ продешевилъ, а за конфекты взялъ два крейцера лишнихъ. Джемма не переставала смѣяться въ тихомолку, да и самъ Санинъ ощущалъ веселость необычайную, какое-то особенно-счастливое настроеніе духа. Казалось, вѣкъ стоялъ бы онъ такъ за прилавкомъ, да торговалъ бы конфектами и оршадомъ; между тѣмъ какъ то милое существо смотритъ на него изъ-за двери дружелюбно-насмѣшливыми глазами, а лѣтнее солнце, пробиваясь сквозь мощную листву растущихъ передъ окнами каштановъ, наполняетъ всю комнату зеленоватымъ золотомъ полуденныхъ лучей, полуденныхъ тѣней, и сердце нѣжится сладкой истомой лѣни, безпечности и молодости — молодости первоначальной!

Четвертый посѣтитель потребовалъ чашку кофе: пришлось обратиться къ Панталеоне (Эмиль все еще не возвращался изъ магазина г-на Клюбера). Санинъ снова подсѣлъ къ Джеммѣ. Фрау Леноре продолжала дремать, къ великому удовольствію ея дочери. — У мамы во время сна мигрень проходитъ — замѣтила она. Санинъ заговорилъ — конечно, по прежнему, шопотомъ, — о своей «торговлѣ»; пресерьезно освѣдомлялся о цѣнѣ разныхъ «кондитерскихъ» товаровъ; Джемма такъ же серьезно называла ему эти цѣны, и между тѣмъ оба внутренно и дружно смѣялись, какъ бы сознавая, что разыгрываютъ презабавную комедію. Вдругъ, на улицѣ, шарманка заиграла арію изъ «Фрейшюца»: «Durch die Felder, durch die Auen».... Плаксивые звуки заныли, дрожа и посвистывая, въ неподвижномъ воздухѣ. Джемма вздрогнула.... «Онъ разбудитъ маму!» Санинъ немедленно выскочилъ на улицу, сунулъ шарманщику нѣсколько крейцеровъ въ руку — и заставилъ его замолчать и удалиться.

Когда онъ возвратился, Джемма поблагодарила его легкимъ кивкомъ головы, и, задумчиво улыбнувшись, сама принялась чуть слышно напѣвать красивую веберовскую мелодію, которою Максъ выражаетъ всѣ недоумѣнія первой любви. Потомъ она спросила Санина, знаетъ ли онъ «Фрейшюца», любитъ ли Вебера, и прибавила, что хотя она сама итальянка, но *такую* музыку любитъ больше всего. Съ Вебера разговоръ соскользнулъ на поэзію и романтизмъ, на Гофмана, котораго тогда еще всѣ читали....

А фрау Леноре все дремала и даже похрапывала чуть-чуть, да лучи солнца, узкими полосками прорывавшіеся сквозь ставни, незамѣтно, но постоянно передвигались и путешествовали по полу, по мебелямъ, по платью Джеммы, по листьямъ и лепесткамъ цвѣтовъ.

XII.

Оказалось, что Джемма не слишкомъ жаловала Гофмана и даже находила его.... скучнымъ! Фантастически-туманный, сѣверный элементъ его разсказовъ былъ мало доступенъ ея южной, свѣтлой натурѣ. «Это все сказки, все это для дѣтей писано!» увѣряла она, не безъ пренебреженія. Отсутствіе поэзіи въ Гофманѣ тоже смутно чувствовалось ею. Но была одна у него повѣсть, заглавіе которой она впрочемъ позабыла, и которая ей очень нравилась; собственно говоря, ей нравилось только начало этой повѣсти: конецъ она или не прочла, или тоже позабыла. Дѣло шло объ одномъ молодомъ человѣкѣ, который гдѣ-то, чуть ли не въ кондитерской, встрѣчаетъ дѣвушку поразительной красоты, гречанку; ее сопровождаетъ таинственный и странный, злой старикъ. Молодой человѣкъ съ перваго взгляда влюбляется въ дѣвушку; она смотритъ на него такъ жа-

лобно, словно умоляетъ его освободить ее.... Онъ удаляется на мгновенье — и, возвратившись въ кондитерскую, ужъ не находитъ ни дѣвушки, ни старика; бросается ее отыскивать, безпрестанно натыкается на самые свѣжіе ихъ слѣды, гоняется за ними — и никоимъ образомъ, нигдѣ, никогда не можетъ ихъ достигнуть. Красавица на вѣки-вѣковъ изчезаетъ для него — и не въ силахъ онъ забыть ея умоляющій взглядъ, и терзается онъ мыслью, что, быть можетъ, все счастье его жизни ускользнуло изъ его рукъ....

Гофманъ едва ли такимъ образомъ оканчиваетъ свою повѣсть; но такою она сложилась, такою осталась въ памяти Джеммы.

— Мнѣ кажется, промолвила она, подобныя свиданія и подобныя разлуки случаются на свѣтѣ чаще, чѣмъ мы думаемъ.

Санинъ промолчалъ.... и немного спустя, заговорилъ.... о г-нѣ Клюберѣ. Онъ въ первый разъ упомянулъ о немъ; онъ ни разу не вспомнилъ о немъ до того мгновенія.

Джемма промолчала въ свою очередь и задумалась, слегка кусая ноготь указательнаго пальца и устремивъ глаза въ сторону. Потомъ она похвалила своего жениха, упомянула объ устроенной имъ на завтрашній день прогулкѣ, и быстро глянувъ на Санина, замолчала опять.

Санинъ не зналъ, о чемъ завести рѣчь.

Эмиль шумно вбѣжалъ и разбудилъ фрау Леноре.... Санинъ обрадовался его появленію.

Фрау Леноре встала съ кресла. Явился Панталеоне и объявилъ, что обѣдъ готовъ. Домашній другъ, эксъ-пѣвецъ и слуга, исправлялъ такъ же должность повара.

XIII.

Санинъ остался и послѣ обѣда. Его не отпускали все подъ тѣмъ же предлогомъ ужаснаго зноя — а когда зной свалилъ, ему предложили отправиться въ садъ пить кофе въ тѣни акацій. Санинъ согласился. Ему было очень хорошо. Въ однообразно-тихомъ и плавномъ теченіи жизни таятся великія прелести — и онъ предавался имъ съ наслажденіемъ, не требуя ничего особеннаго отъ настоящаго дня, но и не думая о завтрашнемъ, не вспоминая о вчерашнемъ. Чего стоила одна близость такой дѣвушки, какова была Джемма? Онъ скоро разстанется съ нею, и вѣроятно навсегда; но пока одинъ и тотъ-же челнокъ, какъ въ Уландовомъ романсѣ, несетъ ихъ по жизненнымъ укрощеннымъ струямъ — радуйся, наслаждайся, путешественникъ! И все казалось пріятнымъ и милымъ счастливому путешественнику. Фрау Леноре предложила ему сразиться съ нею и съ Панталеоне въ «тресеттѣ», выучила его этой несложной итальянской карточной игрѣ — обыграла его на нѣсколько крейцеровъ — и онъ былъ очень доволенъ; Панталеоне, по просьбѣ Эмиля, заставилъ пуделя Тарталью продѣлать всѣ свои шутки — и Тарталья прыгалъ черезъ палку, «говорилъ», т.-е. лаялъ, чихалъ, запиралъ дверь носомъ, притащилъ стоптанную туфлю своего хозяина — и наконецъ, съ старымъ киверомъ на головѣ, представлялъ маршала Бернадотта, подвергающагося жестокимъ упрекамъ императора Наполеона за измѣну. Наполеона представлялъ, разумѣется, Панталеоне — и представлялъ очень вѣрно: скрестилъ руки на груди, нахлобучилъ трехъ-уголку на глаза — и говорилъ грубо и рѣзко, на французскомъ, но, Боже! на *какомъ* французскомъ языкѣ! Тарталья сидѣлъ передъ своимъ владыкой, весь скорчившись, поджавши хвостъ и смущенно моргая и щу-

рясь подъ козырькомъ косо-надвинутаго кивера; отъ времени до времени, когда Наполеонъ возвышалъ голосъ, Бернадоттъ поднимался на заднія лапы. «Fuori, traditore!» закричалъ наконецъ Наполеонъ, позабывъ, въ избыткѣ раздраженія, что ему слѣдовало до конца выдержать свой французскій характеръ — и Бернадоттъ опрометью бросился подъ диванъ, но тотчасъ же выскочилъ оттуда съ радостнымъ лаемъ, какъ бы давая тѣмъ знать, что представленіе кончено. Всѣ зрители много смѣялись — и Санинъ больше всѣхъ.

У Джеммы былъ особенно-милый, непрестанный, тихій смѣхъ съ маленькими презабавными взвизгиваньями.... Санина такъ и разбирало отъ этого смѣха — разцѣловалъ бы онъ ее за эти взвизгиванья!

Ночь наступила наконецъ. Надо-жъ было и честь знать! Простившись нѣсколько разъ со всѣми, сказавши всѣмъ по нѣскольку разъ: до завтра! (съ Эмилемъ онъ даже облобызался) Санинъ отправился домой и понесъ съ собою образъ молодой дѣвушки, то смѣющейся, то задумчивой, то спокойной и даже равнодушной — но постоянно привлекательной! Ея глаза, то широко-раскрытые и свѣтлые и радостные какъ день, то полузастланные рѣсницами и глубокіе и темные какъ ночь, такъ и стояли передъ его глазами, странно и сладко проникая всѣ другіе образы и представленія.

О г-нѣ Клюберѣ, о причинахъ, побудившихъ его остаться во Франкфуртѣ — словомъ, о всемъ томъ, что волновало его наканунѣ — онъ не подумалъ ни разу.

XIV.

Надо-жъ однако сказать нѣсколько словъ о самомъ Санинѣ.

Во-первыхъ: онъ былъ очень и очень недуренъ собою.

Статный, стройный ростъ, пріятныя, немного расплывчатыя черты, ласковые голубоватые глазки, золотистые волосы, бѣлизна и румянецъ кожи — а главное: то простодушно-веселое, довѣрчивое, откровенное, на первыхъ порахъ нѣсколько глуповатое выраженіе, по которому въ прежнія времена тотчасъ можно было признать дѣтей степенныхъ дворянскихъ семей, «отецкихъ» сыновей, хорошихъ баричей, родившихся и утучнённыхъ въ нашихъ привольныхъ полустепныхъ краяхъ; — походочка съ запинкой, голосъ съ пришепёткой, улыбка какъ у ребенка, чуть только взглянешь на него.... наконецъ свѣжесть, здоровье — и мягкость, мягкость, мягкость, — вотъ вамъ весь Санинъ. А во-вторыхъ, онъ и глупъ не былъ и понабрался кое-чего. Свѣжимъ онъ остался, несмотря на заграничную поѣздку: тревожныя чувства, обуревавшія лучшую часть тогдашней молодежи, были ему мало извѣстны.

Въ послѣднее время, въ нашей литературѣ, послѣ тщетнаго исканія «новыхъ людей», начали выводить юношей, рѣшившихся, во что бы то ни стало, быть свѣжими.... свѣжими, какъ фленсбургскія устрицы, привозимыя въ С.-Петербургъ.... Санинъ не походилъ на нихъ. Ужъ коли пошло дѣло на сравненія, онъ скорѣе напоминалъ молодую, кудрявую недавно привитую яблоню въ нашихъ черноземныхъ садахъ — или еще лучше: выхоленнаго, гладкаго, толстоногаго, нѣжнаго трехлѣтка бывшихъ «господскихъ» конскихъ заводовъ, котораго только-что начали подгàнивать на кордѣ.... Тѣ, которые сталкивались съ Санинымъ впослѣдствіи, когда жизнь порядкомъ его поломала, и молодой, наигранный жирокъ давно съ него соскочилъ — видѣли въ немъ уже совсѣмъ иного человѣка.

На слѣдующій день, Санинъ лежалъ еще въ постелѣ, какъ уже Эмиль, въ праздничномъ платьѣ, съ тросточкой въ рукѣ и сильно напомаженный, ворвался къ нему въ комнату и объявилъ, что герръ Клюберъ сейчасъ прибудетъ съ каретой, что погода обѣщаетъ быть удивительной, что у нихъ уже все готово, но что мама не поѣдетъ, потому, что у нея опять разболѣлась голова. Онъ сталъ торопить Санина, увѣряя его, что нельзя терять минуты.... И дѣйствительно: г. Клюберъ засталъ Санина еще за туалетомъ. Постучался въ дверь, вошелъ, поклонился, изогнулъ станъ, выразилъ готовность ждать, сколько угодно — и сѣлъ, изящно опираясь шляпой о колѣно. Благообразный коммій разфрантился и раздушился на пропалую: каждое движеніе его сопровождалось усиленнымъ наплывомъ тончайшаго аромата. Онъ прибылъ въ просторной, открытой каретѣ, такъ-называемомъ ландо, запряженнымъ двумя сильными и рослыми, хоть и некрасивыми лошадьми. Четверть часа спустя, Санинъ, Клюберъ и Эмиль въ этой самой каретѣ торжественно подкатили къ крыльцу кондитерской. Г-жа Розелли рѣшительно отказалась участвовать въ прогулкѣ; Джемма хотѣла остаться съ матерью, но та её, какъ говорится, прогнала.

— Мнѣ никого не нужно, увѣряла она; я буду спать. Я бы и Панталеоне съ вами отправила — да некому будетъ торговать.

— Можно взять Тарталью? спросилъ Эмиль.

— Конечно, можно.

Тарталья немедленно, съ радостными усиліями, вскарабкался на козлы и сѣлъ, облизываясь: видно, дѣло ему было привычное. Джемма надѣла большую соломенную шляпу съ коричневыми лентами: шляпа эта спереди пригибалась къ низу, заслоняя почти все лицо отъ солнца. Черта тѣни останавливалась надъ самыми губами: онѣ рдѣли дѣвственно

и нѣжно, какъ лепестки столиственной розы, и зубы блистали украдкой — тоже невинно, какъ у дѣтей. Джемма сѣла на заднемъ мѣстѣ рядомъ съ Санинымъ; Клюберъ и Эмиль сѣли напротивъ. Блѣдная фигура фрау Леноре показалась у окна, Джемма махнула ей платкомъ — и лошади тронулись.

XV.

Соденъ — небольшой городокъ въ полу-часовомъ разстояніи отъ Франкфурта. Онъ лежитъ въ красивой мѣстности на отрогахъ Таунуса и извѣстенъ у насъ въ Россіи своими водами, будто бы полезными для людей съ слабой грудью. Франкфуртцы ѣздятъ туда больше для развлеченія, такъ какъ Соденъ обладаетъ прекраснымъ паркомъ и разными «виртшафтами», гдѣ можно пить пиво и кофе въ тѣни высокихъ липъ и кленовъ. Дорога отъ Франкфурта до Содена идетъ по правому берегу Майна и вся обсажена фруктовыми деревьями. Пока карета тихонько катилась по отличному шоссе, Санинъ украдкой наблюдалъ за тѣмъ, какъ Джемма обращалась со своимъ женихомъ: онъ въ первый разъ видѣлъ ихъ обоихъ вмѣстѣ. *Она* держалась спокойно и просто — но нѣсколько сдержаннѣе и серьезнѣе обыкновеннаго; *онъ* смотрѣлъ снисходительнымъ наставникомъ, разрѣшившимъ и самому себѣ, и своимъ подчиненнымъ, скромное и вѣжливое удовольствіе. Особенныхъ ухаживаній за Джеммой, того, что французы называютъ «empressement», Санинъ въ немъ не замѣтилъ. Видно было, что г. Клюберъ считалъ это дѣло поконченнымъ, а потому и не имѣлъ причины хлопотать или волноваться. Но снисходительность не покидала его ни на одинъ мигъ! Даже во время большой передобѣденной прогулки по лѣсистымъ горамъ и долинамъ за Соденомъ, даже наслаждаясь красотами при-

роды, онъ относился къ ней, къ этой самой природѣ, все съ тою же снисходительностью, сквозь которую изрѣдка прорывалась обычная начальническая строгость. Такъ, напримѣръ, онъ замѣтилъ про одинъ ручей, что онъ слишкомъ прямо протекаетъ по ложбинѣ, вмѣсто того, чтобы сдѣлать нѣсколько живописныхъ изгибовъ; не одобрялъ также поведенія одной птицы — зяблика — которая не довольно разнообразила свои колѣна! Джемма не скучала и даже повидимому ощущала удовольствіе; но прежней Джеммы — Санинъ въ ней не узнавалъ: не то, чтобы тѣнь на нее набѣжала — никогда ея красота не была лучезарнѣй — но душа ея ушла въ себя, внутрь. Распустивъ зонтикъ и не растегнувъ перчатокъ, она гуляла степенно, не спѣша — какъ гуляютъ образованныя дѣвицы — и говорила мало. Эмиль тоже чувствовалъ стѣсненіе, а Санинъ и подавно. Его, между прочимъ, нѣсколько конфузило то обстоятельство, что разговоръ постоянно шелъ на нѣмецкомъ языкѣ. Одинъ Тарталья не унывалъ! Съ бѣшенымъ лаемъ мчался онъ за попадавшимися ему дроздами, перепрыгивалъ рытвины, пни, корчаги, бросался съ размаху въ воду и торопливо лакалъ ее, отряхался, взвизгивалъ — и снова летѣлъ стрѣлою, закинувъ красный языкъ на самое плечо. Г. Клюберъ, съ своей стороны, сдѣлалъ все, что полагалъ нужнымъ для увеселенія компаніи; попросилъ ее усѣсться въ тѣни развѣсистаго дуба — и, доставъ изъ бокового кармана небольшую книжечку подъ заглавіемъ: «Knallerbsen — oder du sollst und wirst lachen!» (Петарды — или ты долженъ и будешь смѣяться!) принялся читать разбирательные анекдоты, которыми эта книжечка была наполнена. Прочелъ ихъ штукъ двѣнадцать; однако веселости возбудилъ мало: одинъ Санинъ изъ приличія скалилъ зубы, да самъ онъ, г. Клюберъ, послѣ каждаго анекдота, производилъ короткій, дѣловой — и все-таки снисходительный смѣхъ. Къ двѣнадцати

часамъ вся компанія вернулась въ Соденъ, въ лучшій тамошній трактиръ.

Предстояло распорядиться объ обѣдѣ.

Г-нъ Клюберъ предложилъ-было совершить этотъ обѣдъ въ закрытой со всѣхъ сторонъ бесѣдкѣ — «im Gartensalon»; но тутъ Джемма вдругъ взбунтовалась и объявила, что не будетъ иначе обѣдать, какъ на воздухѣ въ саду, за однимъ изъ маленькихъ столовъ, поставленныхъ передъ трактиромъ; что ей наскучило быть все съ одними и тѣми же лицами, и что она хочетъ видѣть другія. За нѣкоторыми изъ столиковъ уже сидѣли группы новоприбывшихъ гостей.

Пока г. Клюберъ, снисходительно покорившись «капризу своей невѣсты», ходилъ совѣтываться съ оберъ-кельнеромъ, Джемма стояла неподвижно, опустивъ глаза и стиснувъ губы; она чувствовала, что Санинъ неотступно и какъ бы вопросительно глядѣлъ на нее — это, казалось, ее сердило. Наконецъ г. Клюберъ вернулся, объявилъ, что черезъ полчаса обѣдъ будетъ готовъ и предложилъ до тѣхъ поръ поиграть въ кегли, прибавивъ, что это очень хорошо для аппетита, хе, хе, хе! Въ кегли онъ игралъ мастерски; бросая шаръ, принималъ удивительно-молодцоватыя позы, щегольски игралъ мускулами, щегольски взмахивалъ и потрясалъ ногою. Въ своемъ родѣ онъ былъ атлетъ — и сложенъ превосходно! И руки у него были такія бѣлыя и красивыя, и утиралъ онъ ихъ такимъ богатѣйшимъ, золотисто-пестрымъ, индійскимъ фуляромъ!

Наступилъ моментъ обѣда — и все общество усѣлось за столикъ.

XVI.

Кому не извѣстно, что̀ такое нѣмецкій обѣдъ? Водянистый супъ съ шишковатыми клёцками и корицей, развар-

ная говядина, сухая какъ пробка, съ приросшимъ бѣлымъ жиромъ, ослизлымъ картофелемъ, пухлой свеклой и жеваннымъ хрѣномъ, посинѣлый угорь съ капорцами и уксусомъ, жареное съ вареньемъ и неизбѣжная «Mehlspeise», нѣчто въ родѣ пуддинга, съ кисловатой красной подливкой; за то вино и пиво хоть куда! Точно такимъ обѣдомъ поподчивалъ Соденскій трактирщикъ своихъ гостей. Впрочемъ, самый обѣдъ прошелъ благополучно. Особеннаго оживленія, правда, не замѣчалось: оно не появилось даже тогда, когда г. Клюберъ провозгласилъ тостъ за «то, что мы любимъ!» (Was wir lieben!). Ужъ очень все было пристойно и прилично. Послѣ обѣда подали кофе, жидкій, рыжеватый, прямо нѣмецкій кофе. Г-нъ Клюберъ, какъ истый кавалеръ, попросилъ у Джеммы позволенія закурить сигару.... Но тутъ вдругъ случилось нѣчто непредвидѣнное, и ужъ точно непріятное — и даже неприличное!

За однимъ изъ сосѣднихъ столиковъ помѣстилось нѣсколько офицеровъ майнцскаго гарнизона. По ихъ взглядамъ и перешептываньямъ можно было легко догадаться, что красота Джеммы поразила ихъ; одинъ изъ нихъ, вѣроятно уже успѣвшій побывать во Франкфуртѣ, то и дѣло посматривалъ на нее, какъ на фигуру, ему хорошо знакомую: онъ очевидно зналъ, кто она такая. Онъ вдругъ поднялся и со стаканомъ въ рукѣ — гг. офицеры сильно подпили и вся скатерть передъ ними была установлена бутылками — приблизился къ тому столу, за которымъ сидѣла Джемма. Это былъ очень молодой, бѣлобрысый человѣкъ, съ довольно пріятными и даже симпатическими чертами лица; но выпитое имъ вино исказило ихъ: его щеки подергивало, воспаленные глаза блуждали и приняли выраженіе дерзостное. Товарищи сначала пытались удержать его, но потомъ пустили: была не была — что молъ изъ этого выйдетъ?

Слегка покачиваясь на ногахъ, офицеръ остановился передъ Джеммой и насильственно-крикливымъ голосомъ, въ которомъ, мимо его воли, все-таки высказывалась борьба съ самимъ собою, произнесъ: «Пью за здоровье прекраснѣйшей кофейницы въ цѣломъ Франкфуртѣ, въ цѣломъ мірѣ — (онъ разомъ «хлопнулъ» стаканъ) и въ возмездіе беру этотъ цвѣтокъ, сорванный ея божественными пальчиками!» Онъ взялъ со стола розу, лежавшую передъ приборомъ Джеммы. Сначала она изумилась, испугалась и поблѣднѣла страшно.... потомъ испугъ въ ней смѣнился негодованіемъ, она вдругъ покраснѣла вся, до самыхъ волосъ — и ея глаза, прямо устремленные на оскорбителя, въ одно и то же время потемнѣли и вспыхнули, наполнились мракомъ, загорѣлись огнемъ неудержимаго гнѣва. Офицера, должно быть, смутилъ этотъ взглядъ; онъ пробормоталъ что-то невнятное, поклонился — и пошелъ назадъ къ своимъ. Они встрѣтили его смѣхомъ и легкимъ рукоплесканьемъ.

Г-нъ Клюберъ внезапно поднялся со стула, и вытянувшись во весь свой ростъ и надѣвъ шляпу, съ достоинствомъ, но не слишкомъ громко произнесъ: «Это неслыханно! Неслыханная дерзость!» («Unerhört! Unerhörte Frechheit!») и тотчасъ же, строгимъ голосомъ подозвавъ къ себѣ кельнера, потребовалъ немедленнаго разсчета.... мало того: приказалъ заложить карету, при чемъ прибавилъ, что къ нимъ порядочнымъ людямъ ѣздить нельзя, ибо они подвергаются оскорбленіямъ! При этихъ словахъ, Джемма, которая продолжала сидѣть на своемъ мѣстѣ, не шевелясь — ея грудь рѣзко и высоко поднималась — Джемма перевела глаза свои на г. Клюбера.... и такъ же пристально, такимъ же точно взоромъ посмотрѣла на него, какъ и на офицера. Эмиль просто дрожалъ отъ бѣшенства.

— Встаньте, мейнъ фрейлейнъ, промолвилъ все съ той

же строгостью г. Клюберъ; здѣсь вамъ неприлично оставаться. Мы расположимся тамъ, въ трактирѣ!

Джемма поднялась молча; онъ подставилъ ей руку калачикомъ, она подала ему свою — и онъ направился къ трактиру величественной походкой, которая, такъ же какъ и осанка его, становилась все величественнѣй и надменнѣй, чѣмъ болѣе онъ удалялся отъ мѣста, гдѣ происходилъ обѣдъ. Бѣдный Эмиль поплелся вслѣдъ за ними.

Но пока г. Клюберъ разсчитывался съ кельнеромъ, которому онъ въ видѣ штрафа не далъ на водку ни одного крейцера, Санинъ быстрыми шагами подошелъ къ столу, за которымъ сидѣли офицеры — и, обратившись къ оскорбителю Джеммы (онъ въ это мгновенье давалъ своимъ товарищамъ поочередно нюхать ея розу) — произнесъ отчетливо, по-французски: — «То, что̀ вы сейчасъ сдѣлали, милостивый государь, недостойно честнаго человѣка, недостойно мундира, который вы носите, — и я пришелъ вамъ сказать, что вы дурно-воспитанный нахалъ!» — Молодой человѣкъ вскочилъ на ноги, но другой офицеръ, постарше, остановилъ его движеніемъ руки, заставилъ сѣсть — и, повернувшись къ Санину, спросилъ его, тоже по-французски: «Что, онъ родственникъ, братъ или женихъ той дѣвицы?»

— Я ей совсѣмъ чужой человѣкъ, воскликнулъ Санинъ, я русскій, — но я не могу равнодушно видѣть такую дерзость; впрочемъ, вотъ моя карточка и мой адресъ: г. офицеръ можетъ отыскать меня.

Сказавъ эти слова, Санинъ бросилъ на столъ свою визитную карточку и въ то же время проворно схватилъ Джеммину розу, которую одинъ изъ сидѣвшихъ за столомъ офицеровъ уронилъ къ себѣ на тарелку. Молодой человѣкъ снова хотѣлъ-было вскочить со стула, но товарищъ снова остановилъ его, промолвивъ: «Дöнгофъ, тише!» (Dönhof, sei still). Потомъ самъ приподнялся — и приложась къ ко-

зырьку рукою, не безъ нѣкотораго оттѣнка почтительности въ голосѣ и манерахъ, сказалъ Санину, что завтра утромъ одинъ офицеръ ихъ полка будетъ имѣть честь явиться къ нему на квартиру. Санинъ отвѣчалъ короткимъ поклономъ — и поспѣшно вернулся къ своимъ пріятелямъ.

Г. Клюберъ притворился, что вовсе не замѣтилъ ни отсутствія Санина, ни его объясненія съ гг. офицерами; онъ понукалъ кучера, запрягавшаго лошадей и сильно гнѣвался на его медлительность. Джемма тоже ничего не сказала Санину, даже не взглянула на него: по сдвинутымъ ея бровямъ, по губамъ, поблѣднѣвшимъ и сжатымъ, по самой ея неподвижности можно было понять, что у ней нехорошо на душѣ. Одинъ Эмиль явно желалъ заговорить съ Санинымъ, желалъ разспросить его: онъ видѣлъ, какъ Санинъ подошелъ къ офицерамъ, видѣлъ, какъ онъ подалъ имъ что-то бѣлое, — клочекъ бумажки, записку, карточку.... Сердце билось у бѣднаго юноши, щеки пылали, онъ готовъ былъ броситься на шею къ Санину, готовъ былъ заплакать или идти тотчасъ вмѣстѣ съ нимъ расколотить въ пухъ и прахъ всѣхъ этихъ противныхъ офицеровъ! Однако онъ удержался и удовольствовался тѣмъ, что внимательно слѣдилъ за каждымъ движеніемъ своего благороднаго русскаго друга!

Кучеръ наконецъ заложилъ лошадей; все общество сѣло въ карету. Эмиль, вслѣдъ за Тартальей, взобрался на козлы; ему тамъ было привольнѣе, да и Клюберъ, котораго онъ видѣть не могъ равнодушно, не торчалъ передъ нимъ.

Во всю дорогу герръ Клюберъ разглагольствовалъ.... и разглагольствовалъ одинъ; никто, никто не возражалъ ему, да никто и не соглашался съ нимъ. Онъ особенно настаивалъ на томъ, какъ напрасно не послушались его, когда онъ предлагалъ обѣдать въ закрытой бесѣдкѣ. Никакихъ непріятностей бы не произошло! Потомъ онъ высказалъ нѣсколько рѣзкихъ и даже либеральныхъ сужденій на счетъ того, какъ правительство непростительно потакаетъ офицерамъ, не наблюдаетъ за ихъ дисциплиной и недовольно уважаетъ гражданскій элементъ общества — (das bürgerliche Element in der Societät)! — и какъ отъ этого со временемъ возрождаются неудовольствія, отъ которыхъ уже недалеко до революціи, чему печальнымъ примѣромъ (тутъ онъ вздохнулъ сочувственно, но строго) — печальнымъ примѣромъ служитъ Франція! Однако тутъ же присовокупилъ, что лично благоговѣетъ передъ властью и никогда.... никогда!... революціонеромъ не будетъ — но не можетъ не выразить своего.... неодобренія при видѣ такой распущенности! Потомъ прибавилъ еще нѣсколько общихъ замѣчаній о нравственности и безнравственности, о приличіи и чувствѣ достоинства!

Въ теченіе всѣхъ этихъ «разглагольствованій», Джемма, которая уже во время дообѣденной прогулки не совсѣмъ казалась довольной г-мъ Клюберомъ — оттого она и держалась въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ Санина и какъ бы смущалась его присутствіемъ — Джемма явно стала стыдиться своего жениха! Подъ конецъ поѣздки она положительно страдала, и хотя по прежнему не заговаривала съ Саниным, но вдругъ бросила на него умоляющій взоръ.... Съ своей стороны онъ ощущалъ гораздо болѣе жалости къ ней, чѣмъ негодованія противъ г-на Клюбера; онъ даже втайнѣ, полусознательно радовался всему, что̀ случилось въ продолженіе того дня, хотя и могъ ожидать вызова на слѣдующее утро.

Мучительная эта partie de plaisir прекратилась наконецъ. Высаживая передъ кондитерской Джемму изъ кареты, Санинъ, ни слова не говоря, положилъ ей въ руку возвращенную имъ розу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спрятала розу. Онъ не хотѣлъ войти въ домъ, хотя вечеръ только-что начинался. Она сама его не пригласила. Притомъ, появившійся на крыльцѣ Панталеоне объявилъ, что фрау Леноре почиваетъ. Эмиліо застѣнчиво простился съ Санинымъ; онъ словно дичился его: ужъ очень онъ ему удивлялся. Клюберъ отвезъ Санина на его квартиру и чопорно раскланялся съ нимъ. Правильно устроенному нѣмцу, при всей его самоувѣренности, было неловко. Да и всѣмъ было неловко.

Впрочемъ въ Санинѣ это чувство — чувство неловкости — скоро разсѣялось. Оно замѣнилось неопредѣленнымъ, но пріятнымъ, даже восторженнымъ настроеніемъ. Онъ расхаживалъ по комнатѣ, ни о чемъ не хотѣлъ думать, посвистывалъ — и былъ очень доволенъ собою.

XVII.

«Буду ждать г-на офицера для объясненія до 10-ти часовъ утра», размышлялъ онъ на слѣдующее утро, совершая свой туалетъ, «а тамъ пусть онъ меня отыскиваетъ!» Но нѣмецкіе люди встаютъ рано: девяти часовъ еще не пробило, какъ уже кельнеръ доложилъ Санину, что г-нъ подпоручикъ (der Herr Seconde Lieutenant) фонъ-Рихтеръ желаетъ его видѣть. Санинъ проворно накинулъ сюртукъ и приказалъ «просить». Г-нъ Рихтеръ оказался, противъ ожиданія Санина, весьма молодымъ человѣкомъ, почти мальчикомъ. Онъ старался придать важности выраженію своего безбородаго лица, — но это ему не удавалось вовсе: онъ

даже не могъ скрыть свое смущеніе — и, садясь на стулъ, чуть не упалъ, зацѣпившись за саблю. Запинаясь и заикаясь, онъ объявилъ Санину, на дурномъ французскомъ языкѣ, что пріѣхалъ съ порученіемъ отъ своего пріятеля, барона фонъ-Дöнгофа; что порученіе это состояло въ истребованіи отъ г-на фонъ-Занинъ извиненія въ употребленныхъ имъ наканунѣ оскорбительныхъ выраженіяхъ; и что въ случаѣ отказа со стороны г-на фонъ-Занинъ — баронъ фонъ-Дöнгофъ желаетъ сатисфакціи. Санинъ отвѣчалъ, что извиняться онъ не намѣренъ, а сатисфакцію дать готовъ. Тогда г. фонъ-Рихтеръ, все такъ же запинаясь, спросилъ, съ кѣмъ, въ которомъ часу и въ которомъ мѣстѣ придется ему вести нужные переговоры? Санинъ отвѣчалъ, что онъ можетъ придти къ нему часа черезъ два, и что до тѣхъ поръ онъ, Санинъ, постарается сыскать секунданта. («Кого я къ чорту возьму въ секунданты?» думалъ онъ между тѣмъ про себя.) Г-нъ фонъ-Рихтеръ всталъ и началъ раскланиваться.... но на порогѣ двери остановился, какъ-бы почувствовавъ угрызеніе совѣсти, — и, повернувшись къ Санину, промолвилъ, что его пріятель, баронъ фонъ-Дöнгофъ, не скрываетъ отъ самого себя.... нѣкоторой степени.... собственной вины во вчерашнемъ происшествіи — и потому удовлетворился бы легкими извиненіями — «des exghizes léchères». На это Санинъ отвѣчалъ, что никакихъ извиненій, ни тяжелыхъ, ни легкихъ, онъ давать не намѣренъ, такъ какъ онъ виноватымъ себя не почитаетъ. — «Въ такомъ случаѣ, возразилъ г. фонъ-Рихтеръ, и покраснѣлъ еще болѣе: — надо будетъ помѣняться дружелюбными выстрѣлами — des goups de bisdolet à l'amiaple!»

— Этого я уже совершенно не понимаю, замѣтилъ Санинъ, на воздухъ намъ стрѣлять, что̀-ли?

— О, не то, не такъ, залепеталъ окончательно сконфузившійся подпоручикъ — но я полагалъ, что такъ какъ дѣло

происходитъ между порядочными людьми.... Я поговорю съ вашимъ секундантомъ, перебилъ онъ самого себя — и удалился.

Санинъ опустился на стулъ, какъ только тотъ вышелъ, и уставился на полъ. — «Что̀-молъ это такое? Какъ это вдругъ такъ завертѣлась жизнь? Все прошедшее, все будущее вдругъ стушевалось, пропало — и осталось только то̀, что я во Франкфуртѣ съ кѣмъ-то за что-то дерусь». Вспомнилась ему одна его сумасшедшая тётушка, которая, бывало, все подплясывала и напѣвала:

«Подпоручикъ!
Мой огурчикъ!
Мой амурчикъ!
Пропляши со мной, голубчикъ!»

И онъ захохоталъ и пропѣлъ, какъ она: «Подпоручикъ! пропляши со мной, голубчикъ!» — Однако, надо дѣйствовать, не терять времени, воскликнулъ онъ громко — вскочилъ и увидалъ передъ собой Панталеоне, съ записочкой въ рукѣ.

— Я нѣсколько разъ стучался, но вы не отвѣчали; я подумалъ, что васъ дома нѣтъ, промолвилъ старикъ и подалъ ему записку. — Отъ синьорины Джеммы.

Санинъ взялъ записку — какъ говорится, машинально — распечаталъ и прочелъ ее. Джемма писала ему, что она весьма безпокоится по поводу извѣстнаго ему дѣла, и желала бы свидѣться съ нимъ тотчасъ.

— Синьорина безпокоится, началъ Панталеоне, которому очевидно было извѣстно содержаніе записки; она велѣла мнѣ посмотрѣть, что̀ вы дѣлаете, и привести васъ къ ней.

Санинъ взглянулъ на стараго итальянца — и задумался. Внезапная мысль сверкнула въ его головѣ. Въ первый мигъ она показалась ему странной до невозможности....

«Однако.... почему же нѣтъ?» спросилъ онъ самого себя.

— Г-нъ Панталеоне! произнесъ онъ громко.

Старикъ встрепенулся, уткнулъ подбородокъ въ галстухъ и уставился на Санина.

— Вы знаете, продолжалъ Санинъ — что̀ произошло вчера?

Панталеоне ножевалъ губами и тряхнулъ своимъ огромнымъ хохломъ. — Знаю.

(Эмиль, только-что вернулся, разсказалъ ему все).

— А! знаете! — Ну, такъ вотъ что. Сейчасъ отъ меня вышелъ офицеръ. Тотъ нахалъ вызываетъ меня на поединокъ. — Я принялъ его вызовъ. — Но у меня нѣтъ секунданта. Хотите *вы* быть моимъ секундантомъ?

Панталеоне дрогнулъ и такъ высоко поднялъ брови, что онѣ скрылись у него подъ нависшими волосами.

— Вы непремѣнно должны драться? проговорилъ онъ наконецъ, по-итальянски; до того мгновенія онъ изъяснялся по-французски.

— Непремѣнно. Иначе поступить — значило бы опозорить себя навсегда.

— Гмъ. — Если я не соглашусь пойти къ вамъ въ секунданты — то вы будете искать другого?

— Буду.... непремѣнно.

Панталеоне потупился. — Но позвольте васъ спросить, синьоръ де-Цанини, не броситъ ли вашъ поединокъ нѣкоторую неблаговидную тѣнь на репутацію одной персоны?

— Не полагаю; но какъ бы то ни было — дѣлать нечего?

— Гмъ. — Панталеоне совсѣмъ ушелъ въ свой галстухъ. — Ну; а тотъ феррофлукто Клуберіо, — что же онъ? воскликнулъ онъ вдругъ и вскинулъ лицо кверху.

— Онъ? Ничего.

— Кэ! (Che!) *) Панталеоне презрительно пожалъ плечами. — Я долженъ, во всякомъ случаѣ, благодарить васъ, произнесъ онъ наконецъ невѣрнымъ голосомъ — что вы и въ теперешнемъ моемъ уничиженіи умѣли признать во мнѣ порядочнаго человѣка — un galant'uomo! — Поступая такимъ образомъ, вы сами выказали себя настоящимъ galant'-uomo. Но я долженъ обдумать ваше предложеніе.

— Время не терпитъ, любезный г. Чи....чиппа...

— Тòла, подсказалъ старикъ. — Я прошу всего одинъ часъ на размышленіе. — Тутъ замѣшана дочь моихъ благодѣтелей.... И потому я долженъ, я обязанъ — подумать!!... Черезъ часъ.... черезъ три-четверти часа — вы узнаете мое рѣшеніе.

— Хорошо; я подожду.

— А теперь.... какой же я дамъ отвѣтъ синьоринѣ Джеммѣ?

Санинъ взялъ листокъ бумаги, написалъ на немъ: «Будьте покойны, моя дорогая пріятельница, часа черезъ три я приду къ вамъ — и все объяснится. Душевно васъ благодарю за участіе» — и вручилъ этотъ листикъ Панталеоне.

Тотъ бережно положилъ его въ боковой карманъ — и еще разъ повторивъ: черезъ часъ! — направился-было къ дверямъ; но круто повернулъ назадъ, подбѣжалъ къ Санину, схватилъ его руку — и, притиснувъ ее къ своему жабо, поднявъ глаза къ небу, воскликнулъ: «Благородный юноша! Великое сердце! (Nobil giovanotto! Gran cuore!) — позвольте слабому старцу (a un vecchiotto) пожать вашу мужественную десницу! (la vostra valorosa destra!). Потомъ отскочилъ немного назадъ, взмахнулъ обѣими руками — и удалился.

---

*) Непереводимое итальянское восклицаніе, въ родѣ нашего: Ну!

Санинъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ.... взялъ газету и принялся читать. Но глаза его напрасно бѣгали по строкамъ: онъ не понималъ ничего.

XVIII.

Часъ спустя, кельнеръ снова вошелъ къ Санину и подалъ ему старую, запачканную визитную карточку, на которой стояли слѣдующія слова: Панталеоне Чиппатола, изъ Варезе, придворный пѣвецъ (cantante di camera) его королевскаго высочества герцога Моденскаго; — а вслѣдъ за кельнеромъ явился и самъ Панталеоне. Онъ переодѣлся съ ногъ до головы. На немъ былъ порыжѣлый черный фракъ и бѣлый пикеневый жилетъ, по которому затѣйливо извивалась томпаковая цѣпочка; тяжелая сердоликовая печатка спускалась низко на узкіе черные панталоны съ гульфикомъ. Въ правой рукѣ онъ держалъ черную шляпу изъ заячьяго пуха, въ лѣвой двѣ толстыя, замшевыя перчатки; галстухъ онъ повязалъ еще шире и выше обыкновеннаго — и въ накрахмаленное жабо воткнулъ булавку съ камнемъ, называемымъ «кошачьимъ глазомъ» (oeil de chat). На указательномъ пальцѣ правой руки красовался перстень, изображавшій двѣ сложенныя длани, а между ними пылающее сердце. Залежалымъ запахомъ, запахомъ камфоры и мускуса несло отъ всей особы старика; озабоченная торжественность его осанки поразила бы самаго равнодушнаго зрителя! Санинъ всталъ ему на встрѣчу.

— Я вашъ секундантъ, промолвилъ Панталеоне по французски — и наклонился всѣмъ корпусомъ впередъ, причемъ носки поставилъ врозь, какъ это дѣлаютъ танцоры. Я пришелъ за инструкціями. Желаете вы драться безъ пощады?

— Зачѣмъ же безъ пощады, дорогой мой г. Чиппатòла!

Я ни за что въ мірѣ не возьму моихъ вчерашнихъ словъ назадъ — но я не кровопійца!... Да вотъ постойте, сейчасъ придетъ сукундантъ моего противника. Я уйду въ сосѣднюю комнату — а вы съ нимъ и условитесь. Повѣрьте, я въ вѣкъ не забуду вашей услуги и благодарю васъ отъ души.

— Честь прежде всего! отвѣчалъ Панталеоне и опустился въ кресла, не дожидаясь, чтобы Санинъ попросилъ его сѣсть. Если этотъ феррофлукто спичебуббіо, заговорилъ онъ мѣшая французскій языкъ съ итальянскимъ, если этотъ торгашъ Клуберіо не умѣлъ понять свою прямую обязанность или струсилъ, тѣмъ хуже для него!... Грошёвая душа — и баста!... Что же касается до условій поединка — я вашъ секундантъ, и ваши интересы для меня священны!!.. Когда я жилъ въ Падуѣ, тамъ стоялъ полкъ бѣлыхъ драгуновъ — и я со многими офицерами былъ очень близокъ!... Весь ихъ кодексъ мнѣ очень хорошо извѣстенъ. Ну и съ вашимъ принчипе Тарбуски я часто бесѣдовалъ объ этихъ вопросахъ.... Тотъ секундантъ скоро долженъ придти?

— Я жду его каждую минуту — да вотъ онъ самъ и идетъ, прибавилъ Санинъ, глянувъ на улицу.

Панталеоне всталъ, посмотрѣлъ на часы, поправилъ свой кокъ и поспѣшно засунулъ въ башмакъ болтавшуюся изъ-подъ панталонъ тесемку. Молодой подпоручикъ вошелъ, все такой же красный и смущенный.

Санинъ представилъ секундантовъ другъ другу. M-r Richter, Souslieutenant! — M-r Zippatola, artiste! Подпоручикъ слегка изумился при видѣ старика.... О, что бы онъ сказалъ, если-бъ кто шепнулъ ему въ это мгновеніе, что представленный ему «артистъ» занимается также и поваренным искусствомъ!... Но Панталеоне принялъ такой видъ, какъ будто участвовать въ устройствѣ поединковъ было для него самымъ обычнымъ дѣломъ: вѣроятно ему въ этомъ случаѣ помогали воспоминанія его театральной карьеры —

и онъ разыгрывалъ роль секунданта, именно какъ роль. И онъ, и подпоручикъ, оба помолчали немного.

— Что-жъ? Приступимъ! первый промолвилъ Панталеоне, играя сердоликовой печаткой.

— Приступимъ, отвѣтилъ подпоручикъ, — но.... присутствіе одного изъ противниковъ....

— Я васъ немедленно оставлю, господа, воскликнулъ Санинъ, поклонился, вышелъ въ спальню — заперъ за собою дверь.

Онъ бросился на кровать — и принялся думать о Джеммѣ.... но разговоръ секундантовъ проникалъ къ нему сквозь закрытую дверь. Онъ происходилъ на французскомъ языкѣ; оба коверкали его нещадно, каждый на свой ладъ. Панталеоне опять упомянулъ о драгунахъ въ Падуѣ, о принчипе Тарбуска — подпоручикъ объ «exghizes léchéres» и о «goups à l'amiaple». Но старикъ и слышать не хотѣлъ ни о какихъ exghizes! Къ ужасу Санина, онъ вдругъ пустился толковать своему собесѣднику о нѣкоторой юной невинной дѣвицѣ, одинъ мизенецъ которой стòитъ больше, чѣмъ всѣ офицеры міра.... (oune zeune damigella innoucenta, qu'a ella sola dans soun péti doa vale piu que toutt le zouffissié del mondo!) и нѣсколько разъ съ жаромъ повторилъ: Это стыдъ! это стыдъ! (E ouna onta, ouna onta!) Поручикъ сперва не возражалъ ему, но потомъ въ голосѣ молодого человѣка послышалась гнѣвная дрожь, и онъ замѣтилъ, что пришелъ не затѣмъ, чтобы выслушивать моральныя сентенціи....

— Въ вашемъ возрастѣ всегда полезно выслушивать справедливыя рѣчи! воскликнулъ Панталеоне.

Преніе между г-ми секундантами нѣсколько разъ становилось бурнымъ; оно продолжалось болѣе часа и завершилось наконецъ слѣдующими условіями: «стрѣляться барону фонъ Дöнгофу и господину де-Санину на завтрашній день, въ 10 часовъ утра, въ небольшомъ лѣсу около Ганау, на

разстояніи двадцати шаговъ; каждый имѣетъ право стрѣлять два раза по знаку, данному секундантами. Пистолеты безъ шнеллера и не нарѣзные». Г-нъ фонъ-Рихтеръ удалился, а Панталеоне торжественно открылъ дверь спальни и, сообщивъ результатъ совѣщанія, снова воскликнулъ: «Bravo Russo! Bravo giovanotto! Ты будешь побѣдителемъ!»

Нѣсколько минутъ спустя они оба отправились въ кондитерскую Розелли. Санинъ предварительно взялъ съ Панталеоне слово держать дѣло о дуэлѣ въ глубочайшей тайнѣ. Въ отвѣтъ старикъ только палецъ кверху поднялъ и, прищуривъ глазъ, прошепталъ два раза сряду: Segredezza! (таинственность!). Онъ видимо помолодѣлъ и даже выступалъ свободнѣе. Всѣ эти необычайныя, хотя и непріятныя событія живо переносили его въ ту эпоху, когда онъ самъ и принималъ и дѣлалъ вызовы — правда, на сценѣ. Баритоны, какъ извѣстно, очень пѣтушатся въ своихъ ро̀ляхъ.

XIX.

Эмиль выбѣжалъ на встрѣчу Санину — онъ болѣе часа караулилъ его приходъ — и торопливо шепнулъ ему на ухо, что мать ничего не знаетъ о вчерашней непріятности, и что даже намекать на нее не слѣдуетъ, а что его опять посылаютъ въ магазинъ!!... но что онъ туда не пойдетъ, а спрячется гдѣ-нибудь! — Сообщивъ все это въ теченіе нѣсколькихъ секундъ, онъ внезапно припалъ къ плечу Санина, порывисто поцѣловалъ его и бросился внизъ по улицѣ. Въ кондитерской Джемма встрѣтила Санина; хотѣла что-то сказать — и не могла. Ея губы слегка дрожали, а глаза щурились и бѣгали по сторонамъ. Онъ поспѣшилъ успокоить ее увѣреніемъ, что все дѣло кончилось.... сущими пустяками.

— У васъ никого не было сегодня? спросила она.

— Было у меня одно лицо — мы съ нимъ объяснились — и мы.... мы пришли къ самому удовлетворительному результату.

Джемма вернулась за прилавокъ.

«Не повѣрила она мнѣ!» подумалъ онъ.... однако отправился въ сосѣднюю комнату и засталъ тамъ фрау Ленору.

У ней мигрень прошла, но она находилась въ настроеніи меланхолическомъ. Она радушно улыбнулась ему, но въ то же время предупредила его, что ему будетъ сегодня съ нею скучно, такъ какъ она не въ состояніи его занять. Онъ подсѣлъ къ ней и замѣтилъ, что ея вѣки покраснѣли и опухли.

— Что съ вами, фрау Леноре? Неужели вы плакали?

— Тссссъ.... прошептала она и указала головою на комнату, гдѣ находилась ея дочь. Не говорите этого.... громко.

— Но о чемъ же вы плакали?

— Ахъ, мосьё Санинъ, сама не знаю о чемъ!

— Васъ никто не огорчилъ?

— О, нѣтъ!... Мнѣ очень скучно вдругъ сдѣлалось. Вспомнила и Джіован'Баттиста.... свою молодость.... Потомъ, какъ это все скоро прошло. Стара я становлюсь, другъ мой — и не могу я никакъ съ этимъ помириться. Кажется, сама я все та же, что прежде.... а старость — вотъ она.... вотъ она! — На глазахъ фрау Леноры показались слезинки. Вы, я вижу, смотрите на меня да удивляетесь.... Но вы тоже постарѣете, другъ мой, и узнаете, какъ это горько!

Санинъ принялся утѣшать ее, упомянулъ объ ея дѣтяхъ, въ которыхъ воскресала ея собственная молодость, попытался даже подтрунить надъ нею, увѣряя, что она напрашивается на комплименты.... но она, не шутя, попросила

его «перестать», и онъ тутъ въ первый разъ могъ убѣдиться, что подобную унылость, унылость сознанной старости ничѣмъ утѣшить и разсѣять нельзя; надо подождать, пока она пройдетъ сама собою. Онъ предложилъ ей сыграть съ нимъ въ тресетте — и ничего лучшаго онъ не могъ придумать. Она тотчасъ согласилась — и какъ будто повеселѣла.

Санинъ игралъ съ ней до обѣда и послѣ обѣда. Панталеоне также принялъ участіе въ игрѣ. Никогда его хохолъ не падалъ такъ низко на лобъ, никогда подбородокъ не уходилъ такъ глубоко въ галстухъ! Каждое движеніе его дышало такой сосредоточенной важностью, что, глядя на него, невольно рождалась мысль: какую это тайну съ такою твердостью хранитъ этотъ человѣкъ?

Но — segredezza! segredezza!

Онъ, въ теченіе всего того дня, всячески старался оказывать глубочайшее почтеніе Санину; за столомъ, торжественно и рѣшительно, минуя дамъ, подавалъ блюда ему первому; во время карточной игры уступалъ ему прикупку, не дерзалъ его ремизить; объявлялъ, ни къ селу, ни къ городу, что русскіе — самый великодушный, храбрый и рѣшительный народъ въ мірѣ!

«Ахъ ты старый лицедѣй!» думалъ про себя Санинъ.

И не столько дивился онъ неожиданному настроенію духа въ г-жѣ Розелли, сколько тому, какъ ея дочь съ нимъ обращалась. Она не то, чтобы избѣгала его.... напротивъ, она постоянно садилась въ небольшомъ отъ него разстояніи, прислушивалась къ его рѣчамъ, глядѣла на него; но она рѣшительно не хотѣла вступать съ нимъ въ бесѣду, и какъ только онъ заговаривалъ съ нею — тихонько поднималась съ мѣста и тихонько удалялась на нѣсколько мгновеній. Потомъ она появлялась опять, и опять усаживалась гдѣ-нибудь въ уголкѣ — и сидѣла неподвижно, словно размыш-

ляя и недоумѣвая.... недоумѣвая пуще всего. Сама фрау Леноре замѣтила наконецъ необычайность ея поведенія и раза два спросила, что̀ съ ней?

— Ничего, отвѣтила Джемма: ты знаешь, я бываю иногда такая.

— Это точно, соглашалась съ нею мать.

Такъ прошелъ весь этотъ длинный день, ни оживленно, ни вяло — ни весело, ни скучно. Держи себя Джемма иначе — Санинъ.... какъ знать? не совладалъ бы съ искушеніемъ немного порисоваться — или просто поддался бы чувству грусти передъ возможной, быть можетъ, вѣчной разлукой.... Но такъ какъ ему ни разу не пришлось даже поговорить съ Джеммой, то онъ долженъ былъ удовлетвориться тѣмъ, что въ теченіе четверти часа, передъ вечернимъ кофе, бралъ минорные аккорды на фортепіано.

Эмиль вернулся поздно, и во избѣжаніе разспросовъ о г-нѣ Клюберѣ, отретировался весьма скоро. Пришла очередь удалиться и Санину.

Онъ сталъ прощаться съ Джеммой. Вспомнилось ему почему-то разставаніе Ленскаго съ Ольгой въ «Онѣгинѣ». Онъ крѣпко стиснулъ ей руку — и попытался заглянуть ей въ лицо — но она слегка отворотилась и высвободила свои пальцы.

XX.

Уже совсѣмъ «вызвѣздило», когда онъ вышелъ на крыльцо. И сколько-жъ ихъ высыпало этихъ звѣздъ, большихъ, малыхъ, желтыхъ, красныхъ, синихъ, бѣлыхъ! Всѣ онѣ такъ и рдѣли, такъ и роились, наперерывъ играя лучами. Луны не было на небѣ, но и безъ нея каждый предметъ четко виднѣлся въ полусвѣтломъ, безтѣнномъ сумракѣ. Санинъ прошелъ улицу до конца.... Не хотѣлось ему тот-

часъ возвратиться домой; онъ чувствовалъ потребность побродить на чистомъ воздухѣ. Онъ вернулся назадъ — и не успѣлъ еще поровняться съ домомъ, въ которомъ помѣщалась кондитерская Розелли, какъ одно изъ оконъ, выходившихъ на улицу, внезапно стукнуло и отворилось — на черномъ его четырехугольникѣ (въ комнатѣ не было огня) появилась женская фигура — и онъ услышалъ что его зовутъ:

— «Monsieur Dimitri!»

Онъ тотчасъ бросился къ окну.... Джемма!

Она облокотилась о подоконникъ и наклонилась впередъ.

— Monsieur Dimitri, начала она осторожнымъ голосомъ — я въ теченіе цѣлаго нынѣшняго дня хотѣла вамъ дать одну вещь.... но не рѣшалась; и вотъ теперь неожиданно увидя васъ снова, подумала, что видно такъ суждено....

Джемма невольно остановилась на этомъ словѣ. Она не могла продолжать: нѣчто необыкновенное произошло въ это самое мгновенье.

Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно-безоблачномъ небѣ, налетѣлъ такой порывъ вѣтра, что сама земля, казалось, затрепетала подъ ногами, тонкій звѣздный свѣтъ задрожалъ и заструился, самый воздухъ завертѣлся клубомъ. Вихорь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударилъ по деревьямъ, по крышѣ дома, по его стѣнамъ, по улицѣ; онъ мгновенно сорвалъ шляпу съ головы Санина, взвилъ и разметалъ черные кудри Джеммы. Голова Санина приходилась въ уровень съ подоконникомъ; онъ невольно прильнулъ къ нему — и Джемма ухватилась обѣими руками за его плечо, припала грудью къ его головѣ. Шумъ, звонъ и грохотъ длились около минуты.... Какъ стая громадныхъ птицъ промчался прочь взыгравшій вихорь.... Настала вновь глубокая тишина.

Санинъ приподнялся и увидалъ надъ собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такіе огромные, страшные, великолѣпные глаза — такую красавицу увидалъ онъ, что сердце въ немъ замерло, онъ приникъ губами къ тонкой пряди волосъ, упавшей ему на грудь — и только могъ проговорить: О, Джемма!

— Что̀ это было такое? Молнія? спросила она, широко поводя глазами и не принимая съ его плечъ своихъ обнаженныхъ рукъ.

— Джемма! повторилъ Санинъ.

Она вздохнула, оглянулась назадъ въ комнату — и быстрымъ движеніемъ доставъ изъ-за корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину.

— Я хотѣла дать вамъ этотъ цвѣтокъ....

Онъ узналъ розу, которую онъ отвоевалъ наканунѣ....

Но уже окошко захлопнулось, и за темнымъ стекломъ ничего не виднѣлось и не бѣлѣло.

Санинъ пришелъ домой безъ шляпы.... Онъ и не замѣтилъ, что онъ ее потерялъ.

XXI.

Онъ заснулъ подъ самое утро. И не мудрено! Подъ ударомъ того лѣтняго, мгновеннаго вихря, онъ почти также мгновенно почувствовалъ — не то, что Джемма красавица, не то, что она ему нравилась — это онъ зналъ и прежде.... а то, что онъ едва-ли.... не полюбилъ ея! Мгновенно, какъ тотъ вихрь, налетѣла на него любовь. А тутъ эта глупая дуэль! Скорбныя предчувствія начали его мучить. Ну, положимъ, не убьютъ его.... Что же можетъ выдти изъ его любви къ этой дѣвушкѣ, къ невѣстѣ другого? Положимъ даже, что этотъ «другой» ему не опасенъ, что сама Джемма

полюбитъ или уже полюбила его.... Что̀ же изъ этого? Какъ что̀? Такая красавица.....

Онъ ходилъ по комнатѣ, садился за столъ, бралъ листъ бумаги, чертилъ на немъ нѣсколько строкъ — и тотчасъ ихъ вымарывалъ.... Вспоминалъ удивительную фигуру Джеммы, въ темномъ окнѣ, подъ лучами звѣздъ, всю развѣянную теплымъ вихремъ; вспоминалъ ея мраморныя руки, подобныя рукамъ олимпійскихъ богинь, чувствовалъ ихъ живую тяжесть на плечахъ своихъ.... Потомъ онъ бралъ брошенную ему розу — и казалось ему, что отъ ея полузавядшихъ лепестковъ вѣяло другимъ, еще болѣе тонкимъ запахомъ чѣмъ обычный запахъ розъ....

— И вдругъ его убьютъ, или изувѣчатъ?

Онъ не ложился въ постель — и заснулъ, одѣтый, на диванѣ.

Кто-то потрепалъ его по плечу....

Онъ открылъ глаза — и увидѣлъ Панталеоне.

— Спитъ, какъ Александръ Македонскій наканунѣ вавилонскаго сраженія! воскликнулъ старикъ.

— Да который часъ? спросилъ Санинъ.

— Семь часовъ безъ четверти; до Ганау — два часа ѣзды, а мы должны быть первые на мѣстѣ. Русскіе всегда предупреждаютъ враговъ! Я взялъ лучшую карету во Франкфуртѣ!

Санинъ началъ умываться. — А пистолеты гдѣ?

— Пистолеты привезетъ тотъ феррофлукто Тедеско. И доктора онъ же привезетъ.

Панталеоне видимо бодрился, по вчерашнему; но когда онъ сѣлъ въ карету съ Санинымъ, когда кучеръ защелкалъ бичомъ и лошади съ мѣста пустились вскачъ, — съ бывшимъ

пѣвцомъ и пріятелемъ падуйскихъ драгуновъ произошла внезапная перемѣна. Онъ смутился, даже струхнулъ. Въ немъ словно что-то обрушилось, какъ плохо выведенная стѣнка.

— Однако, что это мы дѣлаемъ, Боже мой, Santissima Madonna! воскликнулъ онъ неожиданно-пискливымъ голосомъ и схватилъ себя за волосы. Что я дѣлаю, я старый дуракъ, сумасшедшій, frenetico?

Санинъ удивился и засмѣялся, и слегка обнявъ Панталеоне за талью, напомнилъ ему французскую поговорку: «Le vin est tiré — il faut le boire» — (по-русски: «взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ»).

— Да, да, отвѣчалъ старикъ: — эту чашу мы разопьемъ съ вами, — а все же я безумецъ! Я безумецъ! Все было такъ тихо, хорошо.... и вдругъ: та-та-та, тра-та-та!

— Словно tutti въ оркестрѣ, замѣтилъ Санинъ съ натянутой улыбкой. Но виноваты не вы.

— Я знаю, что не я! Еще бы! Все же это.... необузданный такой поступокъ. Diavolo! Diavolo! повторялъ Панталеоне, потрясая хохломъ и вздыхая.

А карета все катилась, да катилась.

Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинавшія оживляться, казались такими чистыми и уютными; окна домовъ блестѣли переливчато, какъ фольга; а лишь только карета выѣхала за заставу — сверху, съ голубого, еще не яркаго неба такъ и посыпались голосистые раскаты жаворонковъ. Вдругъ, на поворотѣ шоссе, изъ-за высокаго тополя показалась знакомая фигура, ступила нѣсколько шаговъ и остановилась. Санинъ приглядѣлся.... Боже мой! Эмиль!

— Да развѣ онъ знаетъ что-нибудь? обратился онъ къ Панталеоне.

— Я же вамъ говорю, что я безумецъ, — отчаянно,

чуть не съ крикомъ возопилъ бѣдный итальянецъ; — этотъ злополучный мальчикъ всю ночь мнѣ не далъ покоя — и я ему сегодня утромъ, наконецъ, все открылъ!

«Вотъ тебѣ и segredezza»! подумалъ Санинъ.

Карета поровнялась съ Эмилемъ; Санинъ велѣлъ кучеру остановить лошадей и подозвалъ къ себѣ «злополучнаго мальчика». Нерѣшительными шагами приблизился Эмиль, блѣдный, блѣдный, какъ въ день своего припадка. Онъ едва держался на ногахъ.

— Что вы здѣсь дѣлаете? строго спросилъ его Санинъ: — зачѣмъ вы не дома?

— Позвольте.... позвольте мнѣ ѣхать съ вами, пролепеталъ Эмиль трепетнымъ голосомъ — и сложилъ руки. Зубы у него стучали какъ въ лихорадкѣ. Я вамъ не помѣшаю — только возьмите меня!

— Если вы чувствуете хоть на волосъ привязанности или уваженія ко мнѣ — промолвилъ Санинъ: — вы сейчасъ вернетесь домой или въ магазинъ къ г-ну Клюберу, и никому не скажете ни единаго слова и будете ждать моего возвращенія!

— Вашего возвращенія, простоналъ Эмиль — а голосъ его зазвенѣлъ и оборвался — но если васъ....

— Эмиль! перебилъ его Санинъ — и указалъ глазами на кучера — опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! Послушайтесь меня, другъ мой! Вы увѣряете, что любите меня. Ну, я васъ прошу!

Онъ протянулъ ему руку. Эмиль покачнулся впередъ, всхлипнулъ, прижалъ ее къ своимъ губамъ — и, соскочивъ съ дороги, побѣжалъ назадъ къ Франкфурту, черезъ поле.

— Тоже благородное сердце — пробормоталъ Панталеоне; но Санинъ угрюмо взглянулъ на него.... Старикъ уткнулся въ уголъ кареты. Онъ сознавалъ свою вину; да сверхъ того онъ съ каждымъ мгновеньемъ все болѣе изум-

лялся: неужели это *онъ* взаправду сдѣлался секундантомъ, и лошадей *онъ* досталъ, и всѣмъ распорядился, и мирное свое обиталище покинулъ въ шесть часовъ утра? Къ тому же ноги его разболѣлись и заныли.

Санинъ почелъ за нужное ободрить его — и попалъ въ жилку, нашелъ настоящее слово.

— Гдѣ же вашъ прежній духъ, почтенный синьоръ Чиппатола? Гдѣ — il antico valor? — Синьоръ Чиппатола выпрямился и нахмурился.

— Il antico valor? провозгласилъ онъ басомъ. Non è ancora spento — (онъ еще не весь утраченъ) il antico valor!!

Онъ пріосанился, заговорилъ о своей карьерѣ, объ оперѣ, о великомъ тенорѣ Гарсіа — и пріѣхалъ въ Ганау — молодцомъ. Какъ подумаешь: нѣтъ ничего на свѣтѣ сильнѣе.... и безсильнѣе — слова!

XXII.

Лѣсокъ, въ которомъ долженствовало происходить побоище, находился въ четверти мили отъ Ганау. Санинъ съ Панталеоне пріѣхали первые, какъ онъ предсказывалъ; велѣли каретѣ остаться на опушкѣ лѣса и углубились въ тѣнь довольно густыхъ и частыхъ деревьевъ. Имъ пришлось ждать около часа.

Ожиданіе не показалось особенно тягостнымъ Санину; онъ расхаживалъ взадъ и впередъ по дорожкѣ, прислушивался, какъ пѣли птицы, слѣдилъ за пролетавшими «коромыслами», и какъ бо̀льшая часть русскихъ людей въ подобныхъ случаяхъ, старался не думать. Разъ только на него нашло раздумье: онъ наткнулся на молодую липу, сломанную, по всѣмъ вѣроятіямъ, вчерашнимъ шкваломъ. Она положительно умирала.... всѣ листья на ней умирали. «Что это? предзнаменованіе?» мелькнуло у него въ головѣ; но

онъ тотчасъ же засвисталъ, перескочилъ черезъ ту самую липу, зашагалъ по дорожкѣ. Панталеоне — тотъ ворчалъ, бранилъ нѣмцевъ, кряхтѣлъ, потиралъ то спину, то колѣни. Онъ даже зѣвалъ отъ волненія, что̀ придавало презабавное выраженіе его маленькому, съёженному личику. Санинъ чуть не расхохотался, глядя на него.

Послышалось наконецъ рокотаніе колесъ по мягкой дорогѣ. — Они! промолвилъ Панталеоне, и насторожился и выпрямился, не безъ мгновенной нервической дрожи, которую однако поспѣшилъ замаскировать восклицаніемъ: брррръ! и замѣчаніемъ, что сегодняшнее утро довольно свѣжее. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникалъ уже въ самый лѣсъ.

Оба офицера скоро показались подъ его сводами; ихъ сопровождалъ небольшой плотненькій человѣчекъ съ флегматическимъ, почти заспаннымъ лицомъ — военный докторъ. Онъ несъ въ одной рукѣ глиняный кувшинъ съ водою — на всякій случай; сумка съ хирургическими инструментами и бинтами болталась на его лѣвомъ плечѣ. Видно было, что онъ къ подобнымъ экскурсіямъ привыкъ до̀-нельзя; онѣ составляли одинъ изъ источниковъ его доходовъ: каждая дуэль приносила ему восемь червонцевъ — по четыре съ каждой изъ воюющихъ сторонъ. Г-нъ фонъ-Рихтеръ несъ ящикъ съ пистолетами, г. фонъ-До̀нгофъ вертѣлъ въ рукѣ — вѣроятно для «шику», небольшой хлыстикъ.

— Панталеоне! шепнулъ Санинъ старику; если.... если меня убьютъ — все можетъ случиться — достаньте изъ моего боковаго кармана бумажку — въ ней завернутъ цвѣтокъ — и отдайте эту бумажку синьоринѣ Джеммѣ. Слышите? Вы обѣщаетесь?

Старикъ уныло взглянулъ на него — и качнулъ утвердительно головою.... Но Богъ вѣдаетъ, понялъ ли онъ, о чемъ просилъ его Санинъ.

Противники и секунданты обмѣнялись, какъ водится, поклонами; одинъ докторъ даже бровью не повелъ — и присѣлъ, зѣвая, на траву: «Мнѣ-молъ не до изъявленій рыцарской вѣжливости». Г-нъ фонъ-Рихтеръ предложилъ г-ну «Тшибадола» выбрать мѣсто; г. «Тшибадола» отвѣчалъ, тупо ворочая языкомъ — («стѣнка» въ немъ опять обрушилась) — что: «Дѣйствуйте-молъ, вы, милостивый государь; я буду наблюдать»....

И г. фонъ-Рихтеръ началъ дѣйствовать. Отыскалъ, тутъ же въ лѣсу, прехорошенькую, всю испещренную цвѣтами, поляну; отмѣрилъ шаги, обозначилъ два крайнихъ пункта оструганными наскоро палочками, досталъ изъ ящика пистолеты, и присѣвъ на корточки, заколотилъ пули; словомъ, трудился и хлопоталъ изо всѣхъ силъ, безпрестанно утирая свое вспотѣвшее лицо бѣлымъ платочкомъ. Сопровождавшій его Панталеоне походилъ болѣе на озябшаго человѣка. Въ теченіе всѣхъ этихъ приготовленій, оба противника стояли поодаль, напоминая собою двухъ наказанныхъ школьниковъ, которые дуются на своихъ гувернеровъ.

Настало рѣшительное мгновенье....

«Каждый взялъ свой пистолетъ»....

Но тутъ г. фонъ-Рихтеръ замѣтилъ Панталеоне, что ему, какъ старшему секунданту, слѣдуетъ, по правиламъ дуэли, прежде чѣмъ провозгласить роковое: «разъ! два! три»! обратиться къ противникамъ съ послѣднимъ совѣтомъ и предложеніемъ: помириться; что хотя это предложеніе не имѣетъ никогда никакихъ послѣдствій и вообще не что иное, какъ пустая формальность, однако исполненіемъ этой формальности г. Чиппатола отклоняетъ отъ себя нѣкоторую долю отвѣтственности; что, правда, подобная аллокуція составляетъ прямую обязанность такъ-называемаго «безпристрастнаго свидѣтеля» — (unpartheiischer Zeuge) — но такъ

какъ у нихъ таковаго не имѣется — то онъ, г. фонъ-Рихтеръ, охотно уступаетъ эту привилегію своему почтенному собрату, Панталеоне, который успѣлъ уже затушеваться за кустъ такъ, чтобы не видѣть вовсе офицера-обидчика, сперва ничего не понялъ изо всей рѣчи г-на фонъ-Рихтера — тѣмъ болѣе, что она была произнесена въ носъ; — но вдругъ встрепенулся, проворно выступилъ впередъ, и судорожно стуча руками въ грудь, хриплымъ голосомъ возопилъ на своемъ смѣшанномъ нарѣчіи: «A la la la.... Che bestialitá! Deux zeun' ommes comme ça qué si battono—perchè? Che diavolo? Andate a casa!

— Я не согласенъ на примиреніе, поспѣшно проговорилъ Санинъ.

— И я тоже не согласенъ, повторилъ за нимъ его противникъ.

— Ну такъ кричите: разъ, два, три! обратился фонъ-Рихтеръ къ растерявшемуся Панталеоне.

Тотъ немедленно опять нырнулъ въ кустъ — и уже оттуда прокричалъ, весь скорчившись, зажмуривъ глаза и отвернувъ голову, но во все горло: Una.... due.... e tre!

Первый выстрѣлилъ Санинъ — и не попалъ. Пуля его звякнула о дерево. Баронъ Дöнгофъ выстрѣлилъ тотчасъ вслѣдъ за нимъ — преднамѣренно въ сторону, на воздухъ.

Наступило напряженное молчаніе.... Никто не трогался съ мѣста. Панталеоне слабо охнулъ.

— Прикажете продолжать? проговорилъ Дöнгофъ.

— Зачѣмъ вы выстрѣлили на воздухъ? спросилъ Санинъ.

— Это не ваше дѣло.

— Вы и во второй разъ будете стрѣлять на воздухъ? спросилъ опять Санинъ.

— Можетъ быть; не знаю.

— Позвольте, позвольте, господа.... началъ фонъ-Рих-

теръ: — дуэлланты не имѣютъ права говорить между собою. Это совсѣмъ не въ порядкѣ.

— Я отказываюсь отъ своего выстрѣла, промолвилъ Санинъ и бросилъ пистолетъ на землю.

— И я тоже не намѣренъ продолжать дуэль, воскликнулъ Дöнгофъ и тоже бросилъ свой пистолетъ. Да сверхъ того я теперь готовъ сознаться, что я былъ не правъ — третьяго дня.

Онъ помялся на мѣстѣ — и нерѣшительно протянулъ руку впередъ. Санинъ быстро приблизился къ нему — и пожалъ ее. Оба молодые человѣка съ улыбкой поглядѣли другъ на друга — и лица у обоихъ покрылись краской.

— Bravi! bravi! внезапно, какъ сумасшедшій, загорланилъ Панталеоне — и, хлопая въ ладоши, турманомъ выбѣжалъ изъ за куста; а докторъ, усѣвшійся въ сторонѣ на срубленномъ деревѣ, немедленно всталъ, вылилъ воду изъ кувшина — и пошелъ, лѣниво переваливаясь, къ опушкѣ лѣса.

— Честь удовлетворена — и дуэль кончена! провозгласилъ фонъ-Рихтеръ.

— Fuori! (фора!), по старой памяти, еще разъ гаркнулъ Панталеоне.

Размѣнявшись поклонами съ г-ми офицерами и садясь въ карету, Санинъ, правда, ощущалъ во всемъ существѣ своемъ, если не удовольствіе, то нѣкоторую легкость, какъ послѣ выдержанной операціи; но и другое чувство зашевелилось въ немъ, чувство, похожее на стыдъ.... Фальшью, заранѣе условленной казенщиной, обыкновенной офицерской, студенческой штукой показался ему поединокъ, въ которомъ онъ только-что разыгралъ свою роль. Вспомнилъ онъ флегматическаго доктора, вспомнилъ, какъ онъ улыб-

нулся — то-есть, сморщилъ носъ, когда увидѣлъ его выходившаго изъ лѣсу чуть не подъ-руку съ барономъ Дöнгофомъ. А потомъ, когда Панталеоне выплачивалъ тому же доктору слѣдуемые ему четыре червонца.... Эхъ! нехорошо что-то!

Да; Санину было немножко совѣстно и стыдно.... хотя, съ другой стороны, что̀ же ему было сдѣлать? Не оставлять же безъ наказанія дерзости молодого офицера, не уподобиться же г-ну Клюберу? Онъ заступился за Джемму, онъ защитилъ ее.... Оно такъ; а все-таки у него скребло на душѣ и было ему совѣстно и даже стыдно.

За то Панталеоне — просто торжествовалъ! Имъ внезапно обуяла гордость. Побѣдоносный генералъ, возвращающійся съ поля выигранной имъ битвы, не озирался бы съ бо̀льшимъ самодовольствіемъ. Поведеніе Санина во время поединка наполняло его восторгомъ. Онъ величалъ его героемъ — и слышать не хотѣлъ его увѣщаній и даже просьбъ. Онъ сравнивалъ его съ монументомъ изъ мрамора или бронзы — со статуей коммандора въ Д.-Жуанѣ! Про самого себя онъ сознавался, что почувствовалъ нѣкоторое смятеніе; — «но вѣдь я артистъ, замѣтилъ онъ — у меня натура нервозная, а вы — сынъ снѣговъ и скалъ гранитныхъ».

Санинъ рѣшительно не зналъ, ка̀къ ему унять расходившагося артиста.

Почти на томъ же самомъ мѣстѣ дороги, гдѣ часа два тому назадъ они настигли Эмиля — онъ снова выскочилъ изъ-за дерева и съ радостнымъ крикомъ на губахъ, помахивая картузомъ надъ головою и подпрыгивая, бросился прямо къ каретѣ, чуть-чуть не попалъ подъ колесо, и не

дожидаясь, чтобы лошади остановились, вскарабкался черезъ закрытыя дверцы — и такъ и впился въ Санина.

— Вы живы, вы не ранены! твердилъ онъ. Простите меня, я не послушался васъ, я не вернулся во Франкфуртъ.... Я не могъ! Я ждалъ васъ здѣсь.... Разскажите мнѣ, какъ это было! — Вы.... убили его?

Санинъ съ трудомъ успокоилъ и усадилъ Эмиля.

Многоглаголиво, съ видимымъ удовольствіемъ сообщилъ ему Панталеоне всѣ подробности поединка, и ужъ конечно не преминулъ снова упомянуть о монументѣ изъ бронзы, о статуѣ коммандора! Онъ даже всталъ съ своего мѣста, и растопыривъ ноги для удержанія равновѣсія, скрестивъ на груди руки и презрительно скосясь черезъ плечо — во-очію представлялъ коммандора-Санина! Эмиль слушалъ съ благоговѣніемъ, изрѣдка прерывая разсказъ восклицаніемъ или быстро приподнимаясь и столь же быстро цѣлуя своего героическаго друга.

Колеса кареты застучали о мостовую Франкфурта — и остановились наконецъ передъ гостинницей, въ которой жилъ Санинъ.

Въ сопровожденіи своихъ двухъ спутниковъ, взбирался онъ по лѣстницѣ во второй этажъ — какъ вдругъ изъ темнаго корридорчика проворными шагами вышла женщина: лицо ея было покрыто вуалью; она остановилась передъ Санинымъ, слегка пошатнулась, вздохнула трепетно, тотчасъ же побѣжала внизъ на улицу — и скрылась, къ великому изумленію кельнера, который объявилъ, что «эта дама болѣе часа ожидала возвращенія господина иностранца». Какъ ни мгновенно было ея появленіе, Санинъ успѣлъ узнать въ ней Джемму. Онъ узналъ ея глаза подъ плотнымъ шелкомъ коричневой вуали.

— Развѣ фрейлейнъ Джеммѣ было извѣстно.... протянулъ онъ недовольнымъ голосомъ, по-нѣмецки, обратив-

шись къ Эмилю и Панталеоне, которые шли за нимъ по пятамъ.

Эмиль покраснѣлъ и смѣшался.

— Я принужденъ былъ ей все сказать, пролепеталъ онъ, — она догадывалась — и я никакъ не могъ.... Но вѣдь теперь это ничего не значитъ, подхватилъ онъ съ живостью, — все такъ прекрасно кончилось, и она васъ видѣла здоровымъ и невредимымъ!

Санинъ отвернулся.

— Какіе вы однако болтуны оба! промолвилъ онъ съ досадой, вошелъ къ себѣ въ комнату и сѣлъ на стулъ.

— Не сердитесь, пожалуйста, взмолился Эмиль.

— Хорошо, я не буду сердиться — (Санинъ дѣйствительно не сердился — да и, наконецъ, едва ли бы могъ онъ желать, чтобы Джемма *ничего* не узнала). Хорошо.... полноте обниматься. Ступайте теперь. Я хочу остаться наединѣ. Я лягу спать. Я усталъ.

— Превосходная мысль! воскликнулъ Панталеоне. Вамъ нужно отдохновеніе! Вы его вполнѣ заслужили, благородный синьоре! Пойдемъ, Эмиліо! На цыпочкахъ! На цыпочкахъ! Шшшшъ!

Сказавши, что онъ хочетъ спать, Санинъ желалъ только отдѣлаться отъ своихъ товарищей; но оставшись одинъ, онъ взаправду почувствовалъ значительную усталость во всѣхъ членахъ: всю предшествовавшую ночь онъ почти не смыкалъ глазъ и, бросившись на постель, немедленно заснулъ глубокимъ сномъ.

XXIII.

Нѣсколько часовъ сряду онъ спалъ безпробудно. Потомъ ему стало грезиться, что онъ опять дерется на дуэли, что въ качествѣ противника стоитъ передъ нимъ г. Клю-

беръ, а на ёлкѣ сидитъ попугай, и этотъ попугай — Пантелеоне, и твердитъ онъ, щелкая носомъ: разъ-разъ-разъ! разъ-разъ-разъ!

«Разъ.... разъ.... разъ!!» послышалось ему уже слишкомъ явственно: онъ открылъ глаза, приподнялъ голову.... кто-то стучался къ нему въ дверь.

— Войдите! крикнулъ Санинъ.

Появился кельнеръ и доложилъ, что одной дамѣ очень нужно его видѣть.

«Джемма!» мелькнуло у него въ головѣ.... но дама оказалась ея матерью — фрау Леноре.

Она, какъ только вошла, тотчасъ опустилась на стулъ и начала плакать.

— Что съ вами, моя добрая, милая г-жа Розелли? началъ Санинъ, подсѣвъ къ ней и съ тихой лаской касаясь ея руки. Что случилось? успокойтесь, прошу васъ.

— Ахъ, Herr Dimitri, я очень.... очень несчастна!

— Вы несчастны?

— Ахъ, очень! И могла ли я ожидать? Вдругъ, какъ громъ изъ яснаго неба....

Она съ трудомъ переводила дыханіе.

— Но что такое? Объяснитесь! Хотите стаканъ воды?

— Нѣтъ, благодарствуйте. — Фрау Леноре утерла платкомъ глаза и съ новой силой заплакала. — Вѣдь я все знаю! Все!

— То-есть какъ же: все?

— Все, что произошло сегодня! И причина.... мнѣ тоже извѣстна! Вы поступили какъ благородный человѣкъ; но какое несчастное стеченіе обстоятельствъ! Не даромъ мнѣ не нравилась эта поѣздка въ Соденъ.... не даромъ! (Фрау Леноре ничего подобнаго не говорила въ самый день поѣздки, но теперь ей казалось, что уже тогда она «все» предчувствовала). — Я и пришла къ вамъ, какъ къ благо-

родному человѣку, какъ къ другу, хотя я увидала васъ въ первый разъ пять дней тому назадъ.... Но вѣдь я вдова, одинокая.... Моя дочь....

Слезы заглушили голосъ фрау Леноре. Санинъ не зналъ что̀ подумать. — Ваша дочь? повторилъ онъ.

— Моя дочь, Джемма — вырвалось почти со стономъ у фрау Леноре изъ-подъ смоченнаго слезами платка, объявила мнѣ сегодня, что не хочетъ выдти замужъ за г-на Клюбера, и что я должна отказать ему!

Санинъ даже отодвинулся слегка: онъ этого не ожидалъ.

— Я уже не говорю о томъ, продолжала фрау Леноре, что это позоръ, что этого никогда на свѣтѣ не бывало, чтобы невѣста отказала жениху; но вѣдь это для насъ разореніе, Herr Dimitri! — Фрау Леноре старательно и туго свернула платокъ въ маленькій, маленькій клубочекъ, точно она хотѣла заключить въ него все свое горе. — Жить доходами съ нашего магазина мы больше не можемъ, Herr Dimitri! а г. Клюберъ очень богатъ и будетъ еще богаче. И за что̀ же ему отказать? За то, что онъ не вступился за свою невѣсту? Положимъ, это не совсѣмъ хорошо съ его стороны, но вѣдь онъ статскій человѣкъ, въ университетѣ не воспитывался, и какъ солидный торговецъ долженъ былъ презрѣть легкомысленную шалость неизвѣстнаго офицерчика. И какая же это обида, Herr Dimitri?

— Позвольте, фрау Леноре, вы словно осуждаете меня....

— Нисколько я васъ не осуждаю, нисколько! Вы совсѣмъ другое дѣло; вы, какъ всѣ русскіе, военный....

— Позвольте, я вовсе не....

— Вы иностранецъ, проѣзжій, я вамъ благодарна, продолжала фрау Леноре, не слушая Санина. Она задыхалась, разводила руками, снова развертывала платокъ и сморка-

лась. По одному тому, какъ выражалось ея горе, можно было видѣть, что она родилась не подъ сѣвернымъ небомъ.

— И какъ же будетъ г. Клюберъ торговать въ магазинѣ, если онъ будетъ драться съ покупателями? Это совсѣмъ несообразно! И теперь я должна ему отказать! Но чѣмъ мы будемъ жить? Прежде мы одни дѣлали дѣвичью кожу и нугà съ фисташками — и къ намъ ходили покупатели, а теперь всѣ дѣлаютъ дѣвичью кожу!! Вы подумайте: ужъ безъ того въ городѣ будутъ говорить о вашей дуэли.... развѣ это можно утаить? И вдругъ свадьба разстраивается! Вѣдь это шкандалъ, шкандалъ! Джемма — прекрасная дѣвушка; она очень любитъ меня, но она упрямая республиканка, бравируетъ мнѣніемъ другихъ. Вы одни можете ее уговорить!

Санинъ изумился еще пуще прежняго. — Я, фрау Леноре?

— Да, вы одни.... Вы одни. Я затѣмъ и пришла къ вамъ; я ничего другого придумать не умѣла! Вы такой ученый, такой хорошій человѣкъ! Вы же за нее заступились. Вамъ она повѣритъ! Она *должна* вамъ повѣрить — вы вѣдь жизнью своей рисковали: Вы ей докажете — а я уже больше ничего не могу! Вы ей докажете, что она и себя и всѣхъ насъ погубитъ. Вы спасли моего сына — спасите и дочь! Васъ самъ Богъ послалъ сюда.... Я готова на колѣняхъ просить васъ....

И фрау Леноре на половину приподнялась со стула, какъ бы собираясь упасть Санину въ ноги.... Онъ удержалъ ее.

— Фрау Леноре! Ради Бога! Чтò вы это?

Она судорожно схватила его за руки. — Вы обѣщаетесь?

— Фрау Леноре, подумайте, съ какой стати я....

— Вы обѣщаетесь? Вы не хотите, чтобы я тутъ же сейчасъ, умерла передъ вами?

Санинъ потерялся. Ему въ первый разъ въ жизни приходилось имѣть дѣло съ загорѣвшейся итальянскою кровью.

— Я сдѣлаю все, что̀ будетъ вамъ угодно! воскликнулъ онъ. Я поговорю съ фрейлейнъ Джеммой....

Фрау Леноре вскрикнула отъ радости.

— Только я, право, не знаю, какой можетъ выдти результатъ....

— Ахъ, не отказывайтесь, не отказывайтесь! промолвила фрау Леноре умоляющимъ голосомъ: вы уже согласились! Результатъ навѣрное выйдетъ отличный. Во всякомъ случаѣ *я* уже больше ничего не могу! *Меня* она не послушается!

— Она такъ рѣшительно объявила вамъ свое нежеланіе выдти за г-на Клюбера? — спросилъ Санинъ, послѣ небольшого молчанія.

— Какъ ножемъ отрѣзала! Она вся въ отца, въ Джіованн'Баттиста! Бѣдовая!

— Бѣдовая? она?... протяжно повторилъ Санинъ.

— Да.... да.... но она тоже ангелъ. Она васъ послушается. Вы придете, придете скоро? О, мой милый, русскій другъ! — Фрау Леноре порывисто встала со стула и такъ же порывисто обхватила голову сидѣвшаго передъ ней Санина. — Примите благословеніе матери — и дайте мнѣ воды!

Санинъ принесъ г-жѣ Розелли стаканъ воды, далъ ей честное слово, что придетъ немедленно, проводилъ ее по лѣстницѣ до улицы — и, вернувшись въ свою комнату, даже руками всплеснулъ и глаза вытаращилъ.

«Вотъ, подумалъ онъ — вотъ *теперь* завертѣлась жизнь! Да и такъ завертѣлась, что голова кругомъ пошла». Онъ и не попытался взглянуть внутрь себя, понять, что̀ тамъ происходитъ: сумятица — и баста! «Выдался денекъ! невольно шептали его губы. Бѣдовая.... говоритъ ея мать.... И я долженъ ей совѣтовать — ей?! И что̀ совѣтовать?!»

Голова дѣйствительно кружилась у Санина — и надъ всѣмъ этимъ вихремъ разнообразныхъ ощущеній, впечатлѣній, недосказанныхъ мыслей постоянно носился образъ Джеммы, тотъ образъ, который такъ неизгладимо врѣзался въ его память, въ ту теплую, электрически-потрясенную ночь, въ томъ темномъ окнѣ, подъ лучами роившихся звѣздъ!

XXIV.

Нерѣшительными шагами подходилъ Санинъ къ дому г-жи Розелли. Сердце его сильно билось; онъ явственно чувствовалъ и даже слышалъ, какъ оно толкалось въ ребра. Что̀ онъ скажетъ Джеммѣ, ка̀къ заговоритъ съ нею? Онъ вошелъ въ домъ не черезъ кондитерскую, но по заднему крыльцу. Въ небольшой передней комнатѣ онъ встрѣтилъ фрау Леноре. Она и обрадовалась ему, и испугалась.

— Я ждала, ждала васъ, проговорила она шопотомъ, поперемѣнно обѣими руками стискивая его руку. Ступайте въ садъ; она тамъ. Смотрите же: я на васъ надѣюсь!

Санинъ отправился въ садъ.

Джемма сидѣла на скамейкѣ, близъ дорожки, и изъ большой корзины, наполненной вишнями, отбирала самыя спѣлыя на тарелку. Солнце стояло низко — былъ уже седьмой часъ вечера — и въ широкихъ косыхъ лучахъ, которыми оно затопляло весь маленькій садикъ г-жи Розелли, было больше багрянца, чѣмъ золота. Изрѣдка чуть слышно и словно не спѣша, перешептывались листья, да отрывисто жужжали, перелетывая съ цвѣтка на сосѣдній цвѣтокъ, запоздалыя пчелы, да гдѣ-то ворковала горлинка — однообразно и неутомимо.

На Джеммѣ была та же круглая шляпа, въ которой она ѣздила въ Соденъ. Она глянула на Санина изъ-подъ ея выгнутаго края и снова наклонилась къ корзинкѣ.

Санинъ приблизился къ Джеммѣ, невольно укорачивая каждый шагъ, и.... и.... И ничего другого не нашелся сказать ей, какъ только спросить: зачѣмъ это она отбираетъ вишни?

Джемма не торопясь отвѣчала ему.

— Эти — поспѣлѣе, промолвила она наконецъ — пойдутъ на варенье, а тѣ на начинку пироговъ. Знаете, мы продаемъ такіе круглые пироги съ сахаромъ.

Сказавъ эти слова, Джемма еще ниже наклонила голову, и правая ея рука, съ двумя вишнями въ пальцахъ, остановилась на воздухѣ между корзинкой и тарелкой.

— Можно подсѣсть къ вамъ? спросилъ Санинъ.

— Можно. Джемма слегка подвинулась на скамейкѣ. Санинъ помѣстился возлѣ нея. «Какъ начать?» думалось ему. Но Джемма вывела его изъ затрудненія.

— Вы дрались сегодня на дуэли, заговорила она съ живостью и обернулась къ нему всѣмъ своимъ прекраснымъ, стыдливо вспыхнувшимъ лицомъ — а какой глубокой благодарностью свѣтились ея глаза! — И вы такъ спокойны? Стало быть, для васъ не существуетъ опасности?

— Помилуйте! Я никакой опасности не подвергался. Все обошлось очень благополучно и безобидно.

Джемма повела пальцемъ направо и налѣво передъ глазами.... Тоже итальянскій жестъ. — Нѣтъ! нѣтъ! не говорите этого! Вы меня не обманете! Мнѣ Панталеоне все сказалъ!

— Нашли кому вѣрить! Сравнивалъ онъ меня съ статуей коммандора?

— Выраженія его могутъ быть смѣшны, но ни чувство его не смѣшно, ни то, что̀ вы сдѣлали сегодня. И все это изъ-за меня.... для меня.... Я этого никогда не забуду.

— Увѣряю васъ, фрейлейнъ Джемма....

— Я этого не забуду, съ разстановкой проговорила

она, еще разъ пристально посмотрѣла на него и отвернулась.

Онъ могъ теперь видѣть ея тонкій, чистый профиль, и ему казалось, что онъ никогда не видывалъ ничего подобнаго — и не испытывалъ ничего подобнаго тому, что̀ онъ чувствовалъ въ этотъ мигъ. Душа его разгоралась.

«А мое обѣщаніе!» мелькнуло у него въ мысляхъ.

— Фрейлейнъ Джемма.... началъ онъ послѣ мгновеннаго колебанія.

— Что?

Она не повернулась къ нему, она продолжала разбирать вишни, осторожно бралась концами пальцевъ за ихъ хвостики, заботливо приподнимала листочки.... Но какой довѣрчивой лаской прозвучало это одно слово: «что!»

— Вамъ ваша матушка ничего не сообщала.... насчетъ...

— Насчетъ?

— На мой счетъ?

Джемма вдругъ отбросила назадъ въ корзину взятыя ею вишни.

— Она говорила съ вами? спросила она въ свою очередь.

— Да.

— Что же она вамъ такое сказала?

— Она сказала мнѣ, что вы.... что вы внезапно рѣшились перемѣнить.... свои прежнія намѣренія.

Голова Джеммы опять наклонилась. Она вся исчезла подъ шляпой; виднѣлась только шея, гибкая и нѣжная, какъ стебель крупнаго цвѣтка.

— Какія намѣренія?

— Ваши намѣренія.... касательно.... будущаго устройства вашей жизни.

— То-есть.... Вы это говорите.... о г-нѣ Клюберѣ?

— Да.

— Вамъ мама сказала, что я не желаю быть женою г-на Клюбера?

— Да.

Джемма подвинулась на скамейкѣ. Корзина накренилась, упала.... нѣсколько вишень покатилось на дорожку. Прошла минута.... другая....

— Зачѣмъ она вамъ это сказала? послышался ея голосъ. Санинъ по прежнему видѣлъ одну шею Джеммы. Грудь ея поднималась и опускалась быстрѣе прежняго.

— Зачѣмъ? Ваша матушка подумала, что такъ какъ мы съ вами въ короткое время, можно сказать, подружились, и вы возымѣли нѣкоторое довѣріе ко мнѣ, то я въ состояніи подать вамъ полезный совѣтъ — и вы меня послушаетесь.

Руки Джеммы тихонько соскользнули на колѣни.... Она принялась перебирать складки своего платья.

— Какой же вы мнѣ совѣтъ дадите, monsieur Dimitri! спросила она, погодя немного.

Санинъ увидалъ, что пальцы Джеммы дрожали на ея колѣняхъ.... Она и складки платья перебирала только для того, чтобы скрыть эту дрожь. Онъ тихонько положилъ свою руку на эти блѣдные, трепетные пальцы.

— Джемма, промолвилъ онъ — отчего вы не смотрите на меня?

Она мгновенно отбросила назадъ черезъ плечо свою шляпу — и устремила на него глаза, довѣрчивые и благодарные по прежнему. Она ждала, что онъ заговоритъ.... Но видъ ея лица смутилъ и словно ослѣпилъ его. Теплый блескъ вечерняго солнца озарялъ ея молодую голову — и выраженіе этой головы было свѣтлѣе и ярче самого этого блеска.

— Я васъ послушаюсь, monsieur Dimitri, начала она, чуть-чуть улыбаясь и чуть-чуть приподнимая брови; но какой же совѣтъ дадите вы мнѣ?

— Какой совѣтъ? повторилъ Санинъ. Вотъ видите ли, ваша матушка полагаетъ, что отказать г-ну Клюберу только потому, что онъ третьяго дня не выказалъ особенной храбрости....

— Только потому? проговорила Джемма, нагнулась, подняла корзину и поставила ее возлѣ себя на скамейку.

— Что.... вообще.... отказать ему, съ вашей стороны — неблагоразумно; что это — такой шагъ, всѣ послѣдствія котораго нужно хорошенько взвѣсить; что, наконецъ, самое положеніе вашихъ дѣлъ налагаетъ извѣстныя обязанности на каждаго члена вашего семейства....

— Это все — мнѣніе мамы, перебила Джемма; это — ея слова. Это я знаю; но ваше какое мнѣніе?

— Мое? — Санинъ помолчалъ. Онъ чувствовалъ, что-то подступило къ нему подъ горло и захватывало дыханіе. — Я тоже полагаю, началъ онъ съ усиліемъ....

Джемма выпрямилась. — Тоже? Вы — тоже?

— Да.... то-есть.... Санинъ не могъ, рѣшительно не могъ прибавить ни единаго слова.

— Хорошо, сказала Джемма. Если вы, какъ другъ, совѣтуете мнѣ измѣнить мое рѣшеніе.... то-есть, не мѣнять моего прежняго рѣшенія — я подумаю. — Она, сама не замѣчая, что дѣлаетъ, начала перекладывать вишни обратно изъ тарелки въ корзину.... Мама надѣется, что я васъ послушаюсь.... Что-жъ? Я, быть можетъ, точно послушаюсь васъ.

— Но позвольте, фрейлейнъ Джемма, я сперва желалъ бы узнать, какія причины побудили васъ....

— Я васъ послушаюсь, повторила Джемма — а у самой брови все надвигались, щеки блѣднѣли; она покусывала нижнюю губу. — Вы такъ много для меня сдѣлали, что и я обязана сдѣлать, что вы хотите; обязана исполнить ваше желаніе. Я скажу мамѣ.... я подумаю. Вотъ она, кстати, идетъ сюда.

Дѣйствительно: фрау Леноре показалась на порогѣ

двери, ведущей изъ дома въ садъ. Нетерпѣніе ее разбирало: она не могла усидѣть на мѣстѣ. По ея разсчету, Санинъ давнымъ-давно долженъ былъ окончить свое объясненіе съ Джеммой, хотя его бесѣда съ нею не продолжалась и четверти часа.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, ради Бога, не говорите ей, пока, ничего — торопливо, почти съ испугомъ произнесъ Санинъ. Подождите.... я вамъ скажу, я вамъ напишу.... а вы до тѣхъ поръ не рѣшайтесь ни на что̀.... подождите!

Онъ стиснулъ руку Джеммы, вскочилъ со скамейки, — и къ великому изумленію фрау Леноры, прошмыгнулъ мимо ея, приподнявъ шляпу, пробурчалъ что-то невнятное — и скрылся.

Она подошла къ дочери.

— Скажи мнѣ, пожалуйста, Джемма....

Та вдругъ поднялась и обняла ее.... Милая мàма, можете вы подождать немножко, крошечку.... до завтрашняго дня? Можете? И съ тѣмъ, чтобы ужъ до завтра ни слова?... Ахъ!...

Она залилась внезапными, свѣтлыми, для нея самой неожиданными слезами. Это тѣмъ болѣе удивило фрау Леноре, что выраженіе Джеммина лица было далеко не печальное, скорѣе радостное.

— Что съ тобой? спросила она. Ты у меня никогда не плачешь — и вдругъ....

— Ничего, мàма, ничего! только вы подождите. Намъ обѣимъ надо подождать. Не спрашивайте ничего до завтра — и давайте разбирать вишни, пока солнце не сѣло.

— Но ты будешь благоразумна?

— О, я очень благоразумна! — Джемма значительно покачала головою. Она начала связывать небольшіе пучки вишень, держа ихъ высоко передъ краснѣющимъ лицомъ. Слезъ своихъ она не утирала: онѣ высохли сами.

XXV.

Чуть не бѣгомъ возвратился Санинъ въ свою квартиру. Онъ чувствовалъ, онъ сознавалъ, что только тамъ, только наединѣ съ самимъ собою, ему выяснится наконецъ, что̀ съ нимъ, что съ нимъ такое? И дѣйствительно: не успѣлъ онъ войти въ свою комнату, не успѣлъ сѣсть передъ письменнымъ столомъ, какъ, облокотясь объ этотъ самый столъ обѣими руками и прижавъ обѣ ладони къ лицу — онъ горестно и глухо воскликнулъ: «Я ее люблю, люблю безумно!» — и весь внутренно зардѣлся, какъ уголь, съ котораго внезапно сдули наросшій слой мертваго пепла. Мгновеніе.... и уже онъ не въ силахъ былъ понять, какъ онъ могъ сидѣть рядомъ съ нею.... съ нею! — и разговаривать съ нею, и не чувствовать, что онъ обожаетъ самый край ея одежды, что онъ готовъ, какъ выражаются молодые люди, — «умереть у ея ногъ». Послѣднее свиданіе въ саду все рѣшило. Теперь, когда онъ думалъ о ней, — она уже не представлялась ему съ развѣянными кудрями, въ сіяніи звѣздъ: — онъ видѣлъ ее сидящей на скамейкѣ, видѣлъ, какъ она разомъ сбрасываетъ съ себя шляпу — и глядитъ на него такъ довѣрчиво.... и трепетъ, и жажда любви перебѣгали по всѣмъ его жиламъ. Онъ вспомнилъ о розѣ, которую вотъ уже третій день носилъ у себя въ карманѣ: онъ выхватилъ ее — и съ такой лихорадочной силой прижалъ ее къ своимъ губамъ, что невольно поморщился отъ боли. Теперь уже онъ ни о чемъ не разсуждалъ, ничего не соображалъ, не разсчитывалъ и не предвидѣлъ; онъ отдѣлился отъ всего прошлаго, онъ прыгнулъ впередъ: съ унылаго берега своей одичокой, холостой жизни бухнулся онъ въ тотъ веселый, кипучій, могучій потокъ — и горя ему мало, и знать онъ не хочетъ, куда онъ его выне-

сетъ, и не разобьетъ ли онъ его о скалу! Это уже не тѣ тихія струи Уландовскаго романса, которыя недавно его баюкали.... Это сильныя, неудержимыя волны! Онѣ летятъ и скачутъ впередъ — и онъ летитъ съ ними.

Онъ взялъ листъ бумаги — и безъ помарки, почти однимъ взмахомъ пера, написалъ слѣдующее:

«Милая Джемма!

«Вы знаете, какой совѣтъ я взялъ на себя преподать вамъ, вы знаете, чего желаетъ ваша матушка и о чемъ она меня просила, — но чего вы не знаете, и что я обязанъ вамъ теперь сказать, — это то, что я люблю васъ, люблю со всею страстью сердца, полюбившаго въ первый разъ! Этотъ огонь вспыхнулъ во мнѣ внезапно, но съ такой силой, что я не нахожу словъ!! Когда ваша матушка пришла ко мнѣ и просила меня — онъ еще только тлѣлъ во мнѣ — а то я, какъ честный человѣкъ, навѣрное бы отказался исполнить ея порученіе.... Самое признаніе, которое я вамъ теперь дѣлаю, есть признаніе честнаго человѣка. Вы должны знать, съ кѣмъ имѣете дѣло — между нами не должно существовать недоразумѣній. Вы видите, что я не могу давать вамъ никакихъ совѣтовъ.... Я васъ люблю, люблю, люблю — и больше нѣтъ у меня ничего — ни въ умѣ, ни въ сердцѣ!!»

«Дм. Санинъ».

Сложивъ и запечатавъ эту записку, Санинъ хотѣлъ-было позвонить кельнера и послать ее съ нимъ.... Нѣтъ! этакъ неловко.... Черезъ Эмиля? Но отправиться въ магазинъ, отыскивать его тамъ между другими коммі — неловко тоже. Притомъ уже ночь на дворѣ — и онъ, пожалуй, уже ушелъ изъ магазина. Размышляя такимъ образомъ, Санинъ однако надѣлъ шляпу и вышелъ на улицу; повернулъ за уголъ, за другой — и, къ неописанной своей радости, увидалъ передъ собою Эмиля. Съ сумкой подъ мышкой, со

сверткомъ бумаги въ рукѣ, молодой энтузіастъ спѣшилъ домой.

«Не даромъ говорятъ, что у каждаго влюбленнаго есть звѣзда», подумалъ Санинъ и позвалъ Эмиля.

Тотъ обернулся и тотчасъ бросился къ нему.

Санинъ не далъ ему восторгаться, вручилъ ему записку, объяснилъ ему, кому и какъ ее передать.... Эмиль слушалъ внимательно.

— Чтобы никто не видѣлъ? спросилъ онъ, придавъ своему лицу выраженіе знаменательное и таинственное: — мы, дескать, понимаемъ, въ чемъ вся суть!

— Да, мой дружокъ, проговорилъ Санинъ и немножко сконфузился, однако потрепалъ Эмиля по щекѣ.... И если отвѣтъ будетъ.... Вы мнѣ принесете отвѣтъ, неправда ли? Я буду сидѣть дома.

— Ужъ объ этомъ не безпокойтесь! весело шепнулъ Эмиль, побѣжалъ прочь — и на бѣгу еще разъ кивнулъ ему.

Санинъ вернулся домой — и, не зажигая свѣчи, бросился на диванъ, занесъ руки за голову и предался тѣмъ ощущеніямъ только-что сознанной любви, которыя и описывать нечего: кто ихъ испыталъ, тотъ знаетъ ихъ томленіе и сладость; кто ихъ не испыталъ — тому ихъ не растолкуешь.

Дверь растворилась — показалась голова Эмиля.

— Принесъ, сказалъ онъ шопотомъ; — вотъ онъ, отвѣтъ-то!

Онъ показалъ и поднялъ надъ головою свернутую бумажку.

Санинъ вскочилъ съ дивана и выхватилъ ее изъ рукъ Эмиля. Страсть въ немъ слишкомъ сильно разыгралась: не до скрытности было ему теперь, не до соблюденія приличія — даже передъ этимъ мальчикомъ, ея братомъ. Онъ бы посовѣстился его, онъ бы принудилъ себя — если-бъ могъ!

Онъ подошелъ къ окну — и при свѣтѣ уличнаго фонаря, стоявшаго передъ самымъ домомъ — прочелъ слѣдующія строки:

«Я васъ прошу, я умоляю васъ — *цѣлый завтрашній день не приходить къ намъ, не показываться*. Мнѣ это нужно, непремѣнно нужно — а тамъ все будетъ рѣшено. Я знаю, вы мнѣ не откажете, потому что....»

«Джемма».

Санинъ два раза прочелъ эту записку — о, какъ трогательно-милъ и красивъ показался ему ея почеркъ! — подумалъ немного, и, обратившись къ Эмилю, который, желая дать понять, какой онъ скромный молодой человѣкъ, стоялъ лицомъ къ стѣнѣ — и колупалъ въ ней ногтемъ, — громко назвалъ его по имени.

Эмиль тотчасъ подбѣжалъ къ Санину. — Что прикажете?

— Послушайте, дружокъ....

— М-г Димитрій, перебилъ его Эмиль жалобнымъ голосомъ — отчего вы не говорите мнѣ: ты?

Санинъ засмѣялся. — Ну, хорошо. Послушай, дружокъ — (Эмиль слегка подпрыгнулъ отъ удовольствія) — послушай: *тамъ*, ты понимаешь, тамъ, ты скажешь, что все будетъ исполнено въ точности — (Эмиль сжалъ губы и важно качнулъ головою) — а самъ.... Что ты дѣлаешь завтра?

— Я? Что я дѣлаю? Что вы хотите, что бы я дѣлалъ?

— Если тебѣ можно, приходи ко мнѣ поутру пораньше — и мы, до вечера, будемъ гулять по окрестностямъ Франкфурта.... Хочешь?

Эмиль опять подпрыгнулъ. — Помилуйте, что можетъ быть на свѣтѣ лучше? Гулять съ вами — да это просто чудо! Приду непремѣнно!

— А если тебя не отпустятъ?

— Отпустятъ!

— Слушай.... Не сказывай *тамъ*, что я тебя звалъ на цѣлый день.

— Зачѣмъ сказывать? Да я такъ уйду! Что за бѣда!

Эмиль крѣпко поцѣловалъ Санина и убѣжалъ.

А Санинъ долго ходилъ по комнатѣ — и поздно легъ спать. Онъ предался тѣмъ же жуткимъ и сладкимъ ощущеніямъ, тому же радостному замиранію передъ новой жизнью. Санинъ былъ очень доволенъ тѣмъ, что возымѣлъ мысль пригласить на завтрашній день Эмиля; онъ походилъ лицомъ на сестру. «Будетъ напоминать ее», думалось Санину.

Но больше всего удивлялся онъ тому: какъ могъ онъ вчера быть иначе, чѣмъ сегодня? Ему казалось, что онъ «вѣчно» любилъ Джемму — и именно такъ точно ее любилъ, какъ онъ любилъ ее сегодня.

XXVI.

На другой день, въ восемь часовъ утра, Эмиль, съ Тартальей на сворке, отъявился къ Санину. Происходи онъ отъ германскихъ родителей, онъ бы не могъ выказать бо́льшую аккуратность. Дома онъ солгалъ: сказалъ, что погуляетъ съ Саниным до завтрака, а потомъ отправится въ магазинъ. Пока Санинъ одѣвался, Эмиль заговорилъ-было съ нимъ, правда, довольно нерѣшительно, о Джеммѣ, объ ея размолвкѣ съ г-мъ Клюберомъ; но Санинъ сурово промолчалъ ему въ отвѣтъ, а Эмиль, показавъ видъ, что понимаетъ, почему не слѣдуетъ слегка касаться этого важнаго пункта, уже не возвращался къ нему — и только изрѣдка принималъ сосредоточенное и даже строгое выраженіе.

Напившись кофе, оба пріятеля отправились — пѣшкомъ, разумѣется, — въ Гаузенъ, небольшую деревеньку, лежа-

щую въ недальнемъ разстояніи отъ Франкфурта и окруженную лѣсами. Вся цѣпь горъ Таунуса видна оттуда какъ на ладони. Погода была прекрасная; солнце сіяло и горѣло, но не пекло; свѣжій вѣтеръ бойко шумѣлъ въ зеленыхъ листьяхъ; по землѣ небольшими пятнами плавно и быстро скользили тѣни высокихъ круглыхъ облачковъ. Молодые люди скоро выбрались изъ города и бодро и весело зашагали по гладко-выметенной дорогѣ. Зашли въ лѣсъ — и долго тамъ проплутали; потомъ очень плотно позавтракали въ деревенскомъ трактирѣ; потомъ лазали на горы, любовались видами, пускали съ верху камни и хлопали въ ладоши, глядя, какъ эти камни забавно и странно сигаютъ на подобіе кроликовъ, пока проходившій внизу, невидимый для нихъ человѣкъ, не выбранилъ ихъ звонкимъ и сильнымъ голосомъ; потомъ лежали раскинувшись на короткомъ сухомъ мохѣ желто-фіолетоваго цвѣта; потомъ пили пиво въ другомъ трактирѣ, потомъ бѣгали въ запуски, прыгали на пари: кто дальше? Открыли эхо и бесѣдовали съ нимъ, пѣли, аукались, боролись, ломали сучья, украшали свои шляпы вѣтками папоротника — и даже танцовали. Тарталья, насколько могъ и умѣлъ, участвовалъ во всѣхъ этихъ занятіяхъ: камней онъ, правда, не бросалъ, но самъ кубаремъ катился за ними, подвывалъ, когда молодые люди пѣли — и даже пиво пилъ, хотя съ видимымъ отвращеніемъ: этому искусству его выучилъ студентъ, которому онъ нѣкогда принадлежалъ. Впрочемъ, Эмиля онъ слушался плохо — не тò, что своего хозяина Панталеоне, и когда Эмиль приказывалъ ему «говорить» или «чихать» — только хвостикомъ повиливалъ и высовывалъ языкъ трубочкой.

Молодые люди также бесѣдовали между собою. Въ началѣ прогулки, Санинъ, какъ старшій и потому болѣе разсудительный, завелъ-было рѣчь о томъ, чтò такое фатумъ или предопредѣленіе судьбы, и что значитъ и въ чемъ со-

стоитъ призваніе человѣка; но разговоръ въ скорости принялъ направленіе менѣе серьезное. Эмиль сталъ разспрашивать своего друга и патрона о Россіи, о томъ, какъ тамъ дерутся на дуэли, и красивы ли тамъ женщины, и скоро ли можно выучиться русскому языку, и что онъ почувствовалъ, когда офицеръ цѣлился въ него? А Санинъ въ свою очередь разспрашивалъ Эмиля объ его отцѣ, о матери, вообще объ ихъ семейныхъ дѣлахъ, всячески стараясь не упоминать имени Джеммы — и думая только о ней. Собственно говоря, онъ даже о ней не думалъ — а о завтрашнемъ днѣ, о томъ таинственномъ завтрашнемъ днѣ, который принесетъ ему невѣдомое, небывалое счастье! Точно завѣса, тонкая, легкая завѣса виситъ, слабо колыхаясь, передъ его умственнымъ взоромъ — и за той завѣсой онъ чувствуетъ.... чувствуетъ присутствіе молодого, неподвижнаго, божественнаго лика съ ласковой улыбкой на устахъ и строго, притворно-строго опущенными рѣсницами. И этотъ ликъ — не лицо Джеммы, это лицо самого счастья! И вотъ насталъ наконецъ *его* часъ, завѣса взвилась, открываются уста, рѣсницы поднимаются — увидало его божество — и тутъ уже свѣтъ какъ отъ солнца, и радость, и восторгъ нескончаемый!! Онъ думаетъ объ этомъ завтрашнемъ днѣ — и душа его опять радостно замираетъ въ млѣющей тоскѣ безпрестанно возрождающагося ожиданія!

И ничему не мѣшаетъ это ожиданіе, эта тоска. Она сопровождаетъ каждое его движеніе — и ничему не мѣшаетъ. Не мѣшаетъ она ему отлично пообѣдать въ третьемъ трактирѣ съ Эмилемъ — и только изрѣдка, какъ короткая молнія, вспыхиваетъ въ немъ мысль, что — если-бъ кто-нибудь на свѣтѣ зналъ??!! Не мѣшаетъ ему эта тоска играть послѣ обѣда съ Эмилемъ въ чехарду. На привольномъ зеленомъ лужку происходитъ эта игра.... и каково изумленіе, каковъ конфузъ Санина, когда, подъ ярый лай Тартальи, ловко ра-

стопыривъ ноги и перелетая птицей черезъ прикорнувшаго Эмиля — онъ внезапно видитъ передъ собою, на самой каймѣ зеленаго лужка — двухъ офицеровъ, въ которыхъ онъ немедленно узнаетъ своего вчерашняго противника и его секунданта, гг. фонъ-Дöнгофа и фонъ-Рихтера! Каждый изъ нихъ вставилъ по стеклышку въ глазъ, и глядитъ на него и ухмыляется.... Санинъ падаетъ на ноги, отворачивается, поспѣшно надѣваетъ сброшенное пальто, говоритъ отрывистое слово Эмилю, тотъ тоже надѣваетъ куртку — и оба немедленно удаляются.

Поздно вернулись они во Франкфуртъ. — Будутъ меня бранить, говорилъ Санину Эмиль, прощаясь съ нимъ — ну, да все-равно! За то я такой чудный, чудный день провелъ!

Вернувшись къ себѣ въ гостинницу, Санинъ нашелъ записку отъ Джеммы. Она назначала ему свиданіе — на слѣдующій день, въ семь часовъ утра, въ одномъ изъ публичныхъ садовъ, со всѣхъ сторонъ окружающихъ Франкфуртъ.

Какъ дрогнуло его сердце! Какъ радъ онъ былъ тому, что такъ безпрекословно ей повиновался! И Боже мой, что сулилъ.... чего не сулилъ этотъ небывалый, единственный, невозможный — и несомнѣнный завтрашній день!

Онъ впился глазами въ записку Джеммы. Длинный, изящный хвостикъ буквы: G, первой буквы ея имени, стоявшей на концѣ листа — напомнилъ ему ея красивые пальцы, ея руку.... Онъ подумалъ, что ни разу не прикоснулся къ этой рукѣ губами.... «Итальянки, — думалъ онъ, — вопреки молвѣ о нихъ, стыдливы и строги.... А ужъ Джемма и подавно! Царица.... богиня.... мраморъ дѣвственный и чистый»....

«Но придетъ время — и оно недалеко»....

Былъ въ ту ночь во Франкфуртѣ одинъ счастливый че-

ловѣкъ.... Онъ спалъ; но онъ могъ сказать про себя словами поэта:

«Я сплю.... но сердце чуткое не спитъ»....

Оно и билось такъ легко, какъ бьетъ крылами мотылекъ, приникшій къ цвѣтку и облитый лѣтнимъ солнцемъ.

XXVII.

Въ пять часовъ Санинъ проснулся, въ шесть уже былъ одѣтъ, въ половинѣ седьмого расхаживалъ по публичному саду, въ виду небольшой бесѣдки, о которой Джемма упомянула въ своей запискѣ.

Утро было тихое, теплое, сѣрое. Иногда казалось, что вотъ-вотъ пойдетъ дождь; но протянутая рука ничего не ощущала и, только глядя на рукавъ платья, можно было замѣтить слѣды крохотныхъ, какъ мельчайшій бисеръ, капель; но и тѣ скоро прекратились. Вѣтра — точно на свѣтѣ никогда не бывало. Каждый звукъ не летѣлъ, а разливался кругомъ: въ отдаленіи чуть сгущался бѣловатый паръ, въ воздухѣ пахло резедой и цвѣтами бѣлыхъ акацій.

На улицахъ еще не открывались лавки, но уже показались пѣшеходы; изрѣдка стучала одинокая карета.... въ саду гулявшихъ не было. Садовникъ скоблилъ, не торопясь, дорожку лопатой, да дряхлая старушонка въ черномъ суконномъ плащѣ проковыляла черезъ аллею. Ни на одно мгновеніе не могъ Санинъ принять это убогое существо за Джемму — и, однакоже, сердце въ немъ ёкнуло, и онъ внимательно слѣдилъ глазами за удалявшимся чернымъ пятномъ.

Семь! прогудѣли часы на башнѣ.

Санинъ остановился. — Неужели она не придетъ? Трепетъ холода внезапно пробѣжалъ по его членамъ. Тотъ же

трепетъ повторился въ немъ мгновенье спустя — но уже отъ другой причины. Санинъ услышалъ за собою легкіе шаги, легкій шумъ женской одежды.... Онъ обернулся: она!

Джемма шла сзади его по дорожкѣ. На ней была сѣренькая мантилья и небольшая темная шляпа. Она глянула на Санина, повернула голову въ сторону — и, поровнявшись съ нимъ, быстро прошла мимо.

— Джемма, проговорилъ онъ едва слышно.

Она слегка кивнула ему — и продолжала идти впередъ. Онъ послѣдовалъ за нею.

Онъ дышалъ прерывисто. Ноги плохо его слушались.

Джемма миновала бесѣдку, взяла направо, миновала небольшой плоскій бассейнъ, въ которомъ хлопотливо плескался воробей — и, зайдя за клумбу высокихъ сиреней, опустилась на скамью. Мѣсто было уютное и закрытое. Санинъ сѣлъ возлѣ нея.

Прошла минута — и ни онъ, ни она — слова не промолвили: она даже не глядѣла на него — и онъ глядѣлъ ей не въ лицо, а на сложенныя руки, въ которыхъ она держала маленькій зонтикъ. Что было говорить? Что было сказать такого, что̀ по значенію своему могло бы равняться одному ихъ присутствію здѣсь, вмѣстѣ, наединѣ, такъ рано, такъ близко другъ отъ друга?

— Вы.... на меня не сердитесь? произнесъ наконецъ Санинъ.

Трудно было Санину сказать что-нибудь глупѣе этихъ словъ.... онъ самъ это сознавалъ.... Но по крайней мѣрѣ молчаніе было нарушено.

— Я? отвѣчала она. За что? Нѣтъ.

— И вы вѣрите мнѣ? продолжалъ онъ.

— Тому, что вы написали?

— Да.

Джемма опустила голову и ничего не промолвила. Зон-

тикъ выскользнулъ изъ ея рукъ. Она поспѣшно поймала его, прежде чѣмъ онъ упалъ на дорожку.

— Ахъ, вѣрьте мнѣ, вѣрьте тому, что я писалъ вамъ, воскликнулъ Санинъ; вся робость его вдругъ исчезла — онъ заговорилъ съ жаромъ: — если есть на землѣ правда, святая, несомнѣнная правда — такъ это то̀, что я люблю васъ, люблю васъ страстно, Джемма!

Она бросила на него косвенный, мгновенный взглядъ — и опять чуть не уронила зонтикъ.

— Вѣрьте мнѣ, вѣрьте мнѣ, твердилъ онъ. Онъ умолялъ ее, протягивалъ къ ней руки — и не смѣлъ коснуться ея. Что вы хотите, чтобы я сдѣлалъ.... чтобъ убѣдить васъ?

Она опять глянула на него.

— Скажите, monsieur Dimitri, начала она: — третьяго дня, когда вы пришли меня уговаривать — вы, стало-быть, еще не знали.... не чувствовали....

Я чувствовалъ, подхватилъ Санинъ — но не зналъ. Я полюбилъ васъ съ самаго того мгновенья, какъ я васъ увидѣлъ — но не тотчасъ понялъ, чѣмъ вы стали для меня! Къ тому же я услыхалъ, что вы обрученная невѣста.... Что же касается до порученія вашей матушки — то, во-первыхъ: какъ бы я могъ отказаться? а во-вторыхъ — я, кажется, *такъ* передалъ вамъ это порученіе, что вы могли догадаться....

Послышались тяжелые шаги, и довольно-плотный господинъ, съ саквояжемъ черезъ плечо, очевидно иностранецъ, выдвинулся изъ-за клумбы — и, съ безцеремонностью заѣзжаго путешественника окинувъ взоромъ сидѣвшую на скамейкѣ парочку, громко кашлянулъ — и прошелъ далѣе.

— Ваша матушка, заговорилъ Санинъ, какъ только стукъ тяжелыхъ ногъ затихъ, — сказала мнѣ, что вашъ отказъ произведетъ скандалъ (Джемма чуть-чуть нахмури-

лась); что я отчасти самъ подалъ поводъ къ неблаговиднымъ толкамъ, и что.... слѣдовательно.... на мнѣ — до нѣкоторой степени — лежала обязанность уговорить васъ не отказывать вашему жениху, г-ну Клюберу....

— Monsieur Dimitri, промолвила Джемма и провела рукой по волосамъ со стороны, обращенной къ Санину — не называйте, пожалуйста, г-на Клюбера моимъ женихомъ. Я не буду его женой никогда. Я ему отказала.

— Вы ему отказали? Когда?

— Вчера.

— Ему самому?

— Ему самому. У насъ въ домѣ. Онъ приходилъ къ намъ.

— Джемма! Стало-быть, вы любите меня?

Она обернулась къ нему.

— Иначе.... развѣ бы я пришла сюда? шепнула она — и обѣ ея руки упали на скамью.

Санинъ схватилъ эти безсильныя, ладонями кверху лежавшія руки — и прижалъ ихъ къ своимъ глазамъ, къ своимъ губамъ.... Вотъ когда взвилась та завѣса, которая мерещилась ему наканунѣ! Вотъ оно счастье, вотъ его лучезарный ликъ!

Онъ приподнялъ голову — и посмотрѣлъ на Джемму — прямо и смѣло. Она тоже смотрѣла на него — нѣсколько сверху внизъ. Взоръ ея полузакрытыхъ глазъ едва мерцалъ, залитый легкими блаженными слезами. А лицо не улыбалось.... нѣтъ! оно смѣялось, тоже блаженнымъ, хотя беззвучнымъ смѣхомъ.

Онъ хотѣлъ привлечь ее къ себѣ на грудь, но она отклонилась и не переставая смѣяться тѣмъ же беззвучнымъ смѣхомъ, отрицательно покачивала головою. «Подожди», казалось, говорили ея счастливые глаза.

— О, Джемма! воскликнулъ Санинъ: — могъ ли я ду-

мать, что ты — (сердце въ немъ затрепетало какъ струна, когда его губы въ первый разъ произнесли это: «ты») — что ты меня полюбишь!

— Я сама не ожидала этого, тихо проговорила Джемма.

— Могъ ли я думать, продолжалъ Санинъ, могъ ли я думать, подъѣзжая къ Франкфурту, гдѣ я полагалъ остаться всего нѣсколько часовъ, что я здѣсь найду счастье всей моей жизни!

— Всей жизни? Точно? спросила Джемма.

— Всей жизни, навѣкъ и навсегда! воскликнулъ Санинъ съ новымъ порывомъ.

Лопата садовника внезапно заскребла въ двухъ шагахъ отъ скамейки, на которой они сидѣли.

— Пойдемъ домой, шепнула Джемма; — пойдемъ вмѣстѣ — хочешь?

Если-бъ она сказала ему въ это мгновенье: «Бросься въ море — *хочешь?*» Она не договорила бы послѣдняго слова, какъ ужъ онъ бы летѣлъ стремглавъ въ бездну.

Они вмѣстѣ вышли изъ саду и направились къ дому, не городскими улицами, а предмѣстьемъ.

XXVIII.

Санинъ шелъ, тò рядомъ съ Джеммой, тò нѣсколько позади ея, не спускалъ съ нея глазъ и не переставалъ улыбаться. А она какъ-будто спѣшила.... какъ-будто останавливалась. Правду сказать, оба они, онъ весь блѣдный, она вся розовая отъ волненія, подвигались впередъ, какъ отуманенные. То, что они сдѣлали вдвоемъ, нѣсколько мгновеній тому назадъ — это отданіе своей души другой душѣ — было такъ сильно и ново, и жутко; такъ внезапно все въ ихъ жизни переставилось и перемѣнилось, что они оба не

могли опомниться и только сознавали подхватившій ихъ вихорь, подобный тому ночному вихрю, который чуть-чуть не бросилъ ихъ въ объятія другъ другу. Санинъ шелъ — и чувствовалъ, что онъ даже иначе глядитъ на Джемму: онъ мгновенно замѣтилъ нѣсколько особенностей въ ея походкѣ, въ ея движеніяхъ, — и Боже мой! какъ онѣ были ему безконечно дороги и милы! И она чувствовала, что онъ *такъ* на нее глядитъ.

Санинъ и она — полюбили въ первый разъ; всѣ чудеса первой любви совершались надъ ними. Первая любовь — та же революція: однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбитъ и разрушенъ въ одно мгновенье, молодость стоитъ на баррикадѣ, высоко вьется ея яркое знамя — и чтобы тамъ впереди ея ни ждало — смерть или новая жизнь — всему она шлетъ свой восторженный привѣтъ.

— Что? это никакъ нашъ старикъ? промолвилъ Санинъ, указывая пальцемъ на закутанную фигуру, которая поспѣшно пробиралась сторонкой, какъ бы стараясь остаться незамѣченной. Среди избытка блаженства онъ ощущалъ потребность говорить съ Джеммой не о любви — то было дѣло рѣшеное, святое, — а о чемъ-нибудь другомъ.

— Да, это Панталеоне, весело и счастливо отвѣчала Джемма. Онъ навѣрное вышелъ изъ дому по моимъ пятамъ; онъ уже вчера цѣлый день слѣдилъ за каждымъ моимъ шагомъ.... Онъ догадывается!

— Онъ догадывается! съ восхищеніемъ повторилъ Санинъ. — Что бы такое могла сказать Джемма, отъ чего онъ не пришелъ бы въ восхищеніе?

Потомъ онъ попросилъ ее разсказать подробно все, что именно произошло наканунѣ.

И она немедленно начала разсказывать, спѣша, путаясь, улыбаясь, вздыхая короткими вздохами и мѣняясь съ Саниным короткими свѣтлыми взглядами. Она разсказала

ему, какъ послѣ третьягодняшняго разговора, мама все хотѣла добиться отъ нея, Джеммы, чего-нибудь положительнаго; какъ она отдѣлалась отъ фрау Леноры обѣщаніемъ сообщить свое рѣшеніе въ теченіе сутокъ; какъ она выпросила себѣ этотъ срокъ — и какъ это было трудно; какъ совершенно неожиданно явился г. Клюберъ, болѣе чопорный и накрахмаленный чѣмъ когда-либо; какъ онъ изъявилъ свое негодованіе по поводу мальчишески-непростительной и для него, Клюбера, глубоко-оскорбительной (такъ именно онъ выразился) выходки русскаго незнакомца — онъ разумѣлъ *твою* дуэль, и какъ онъ потребовалъ, чтобы *тебѣ* немедленно отказали отъ дому. «Потому», прибавилъ онъ — и тутъ Джемма слегка передразнила его голосъ и манеру — «это бросаетъ тѣнь на мою честь; какъ будто я не съумѣлъ бы заступиться за свою невѣсту, если-бъ нашелъ это необходимымъ или полезнымъ! Весь Франкфуртъ завтра узнаетъ, что чужой дрался съ офицеромъ за мою невѣсту — на что это похоже? Это мараетъ мою честь!» Мама съ нимъ соглашалась — представь! — но тутъ я ему вдругъ объявила, что онъ напрасно безпокоился о своей чести и о своей персонѣ, напрасно оскорбляется толками о своей *невѣстѣ* — потому что я больше ему не невѣста и никогда его женой не буду! Признаться, я хотѣла-было сперва поговорить съ вами.... съ тобою, прежде чѣмъ отказать ему окончательно; но онъ пришелъ.... и я не могла удержаться. Мама даже закричала отъ испуга, а я вышла въ другую комнату и принесла ему его кольцо — ты не замѣтилъ, я уже два дня тому назадъ сняла это кольцо — и отдала ему. Онъ ужасно обидѣлся; но такъ какъ онъ ужасно самолюбивъ и чванливъ, то онъ не сталъ много разговаривать — и ушелъ. Разумѣется, мнѣ пришлось много вытерпѣть отъ мамы, и очень мнѣ было больно видѣть, какъ она огорчалась — и думала я, что я немножко поторопилась;

но вѣдь у меня была твоя записка — и я безъ того уже знала....

— Что я тебя люблю, подхватилъ Санинъ.

— Да.... что ты полюбилъ меня.

Такъ говорила Джемма, путаясь и улыбаясь, и понижая всякій разъ голосъ, или вовсе умолкая, когда кто-нибудь шелъ ей на встрѣчу или проходилъ мимо. А Санинъ слушалъ восторженно, наслаждаясь самымъ звукомъ ея голоса, какъ наканунѣ онъ любовался ея почеркомъ.

— Мама чрезвычайно огорчена, начала снова Джемма — и слова ея быстро-быстро бѣжали одно за другимъ; — она никакъ не хочетъ взять въ соображеніе то, что г. Клюберъ могъ мнѣ опротивѣть, что я и выходила-то за него не по любви — а вслѣдствіе ея усиленныхъ просьбъ.... Она подозрѣваетъ.... васъ.... тебя; то-есть, прямо говоря, она увѣрена, что я тебя полюбила — и это ей тѣмъ больнѣе, что еще третьяго дня ей ничего подобнаго въ голову не приходило, и она даже поручала тебѣ меня уговаривать.... А странное это было порученіе — не правда ли? Теперь она тебя.... васъ величаетъ хитрецомъ, лукавымъ человѣкомъ, говоритъ, что вы обманули ея довѣріе и предсказываетъ мнѣ, что меня вы обманете....

— Но, Джемма, воскликнулъ Санинъ, развѣ ты ей не сказала....

— Я ничего не сказала! Какое я имѣла право, не переговоривши съ вами?

Санинъ всплеснулъ руками. — Джемма, я надѣюсь, что теперь, по крайней мѣрѣ, ты во всемъ ей сознаешься, ты приведешь меня къ ней.... Я хочу доказать твоей матушкѣ, что я не обманщикъ!

Грудь Санина такъ и вздымалась отъ прилива великодушныхъ и пламенныхъ чувствъ!

Джемма глянула на него во всѣ глаза. — Вы точно, хо-

тите идти теперь къ мамѣ со мною? къ мамѣ, которая увѣряетъ, что.... что все это между нами невозможно — и никогда сбыться не можетъ? Было одно слово, которое Джемма не рѣшалась выговорить.... Оно жгло ей губы; но тѣмъ охотнѣе произнесъ его Санинъ.

— Вступить съ тобою въ бракъ, Джемма, быть твоимъ мужемъ — я выше блаженства не знаю!

Ни любви своей, ни своему великодушію, ни рѣшимости своей онъ уже не зналъ никакихъ предѣловъ.

Услышавъ эти слова, Джемма, которая остановилась-было на мгновенье, пошла еще скорѣе.... Она какъ-будто хотѣла убѣжать отъ этого, слишкомъ великаго и нежданнаго счастья!

Но вдругъ у ней ноги подкосились. Изъ-за угла переулка, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея, въ новой шляпѣ и новой бекешѣ, прямой какъ стрѣла, завитый какъ пудель, появился г-нъ Клюберъ. Онъ увидалъ Джемму, увидалъ Санина — и какъ-то внутренно фыркнувъ и перегнувъ назадъ свой гибкій станъ, щегольски пошелъ имъ на встрѣчу. Санина покоробило; но взглянувъ на Клюберовское лицо, которому владѣлецъ его, насколько въ немъ хватало умѣнья, тщился придать выраженіе презрительнаго изумленія и даже соболѣзнованія — взглянувъ на это румяное, пошлое лицо, онъ внезапно почувствовалъ приливъ гнѣва — и шагнулъ впередъ.

Джемма схватила его руку, и съ спокойной рѣшительностью подавъ ему свою, посмотрѣла прямо въ лицо своему бывшему жениху.... Тотъ прищурился, съёжился, вильнулъ въ сторону — и пробормотавъ сквозь зубы: «Обычный конецъ пѣсенки!» — (Das alte Ende vom Liede!) — удалился той же щегольской, слегка подпрыгивавшей походкой.

— Что онъ сказалъ, негодяй! спросилъ Санинъ и хотѣлъ-было броситься вслѣдъ за Клюберомъ; но Джемма его

удержала и пошла съ нимъ дальше, уже не принимая руки, продѣтой въ его руку.

Кондитерская Розелли показалась впереди. Джемма еще разъ остановилась.

— Dimitri, Monsieur Dimitri, сказала она; мы еще не вошли туда, мы еще не видѣли мамы.... Если вы хотите еще подумать, если.... вы еще свободны, Димитрій.

Въ отвѣтъ ей Санинъ крѣпко-крѣпко притиснулъ ея руку къ своей груди — и повлекъ ее впередъ.

— Мама, сказала Джемма, входя съ Санинымъ въ комнату, гдѣ сидѣла фрау Леноре, — я привела настоящаго!

XXIX.

Если бы Джемма объявила, что привела съ собою холеру или самую смерть, фрау Леноре, должно полагать, не могла бы съ большимъ отчаяніемъ принять это извѣстіе. Она немедленно сѣла въ уголъ, лицомъ къ стѣнѣ, — и залилась слезами, почти заголосила, ни дать, ни взять, русская крестьянка надъ гробомъ мужа или сына. На первыхъ порахъ Джемма до того смутилась, что даже не подошла къ матери — и остановилась, какъ статуя, посреди комнаты; а Санинъ совсѣмъ потерялся — хоть самому удариться въ слезы! Цѣлый часъ продолжался этотъ безутѣшный плачъ: цѣлый часъ! Панталеоне почелъ за лучшее запереть наружную дверь кондитерской, какъ бы кто чужой не вошелъ — благо пора стояла ранняя. Старикъ самъ чувствовалъ недоумѣніе — и во всякомъ случаѣ не одобрялъ поспѣшности, съ которой поступили Джемма и Санинъ, а, впрочемъ, осуждать ихъ не рѣшался, и готовъ былъ оказать имъ покровительство — въ случаѣ нужды: ужъ очень не любилъ онъ Клюбера! Эмиль считалъ себя посредникомъ

между своимъ другомъ и сестрой — и чуть не гордился тѣмъ, что какъ это все превосходно удалось! Онъ никакъ не въ состояніи былъ понять, чего фрау Леноре такъ убивается, и въ сердцѣ своемъ онъ тутъ же рѣшилъ, что женщины, даже самыя лучшія, страдаютъ отсутствіемъ сообразительной способности! Санину приходилось хуже всѣхъ. Фрау Леноре поднимала вопль и отмахивалась руками, какъ только онъ приближался къ ней — и напрасно онъ попытался, стоя въ отдаленіи, нѣсколько разъ громко воскликнуть: «Прошу руки вашей дочери!» Фрау Леноре особенно досадовала на себя за то, что: «какъ могла она быть до того слѣпою — и ничего не видѣть!» «Былъ бы мой Джіован' Баттиста живъ», твердила она сквозь слезы, — «ничего бы этого не случилось!» — «Господи, что же это такое? думалъ Санинъ — вѣдь это глупо, наконецъ!» Ни самъ онъ не смѣлъ взглянуть на Джемму, ни она не рѣшалась поднять на него глаза. Она ограничивалась тѣмъ, что терпѣливо ухаживала за матерью, которая сначала и ее отталкивала....

Наконецъ, мало-по-малу, буря утихла. Фрау Леноре перестала плакать, дозволила Джеммѣ вывести ее изъ угла, куда она забилась, усадить ее въ кресло возлѣ окна и дать ей напиться воды съ флёръ-д'оранжемъ; дозволила Санину — не приблизиться.... о, нѣтъ! — но по крайней мѣрѣ остаться въ комнатѣ — (прежде она все требовала, чтобы онъ удалился) — и не перебивала его, когда онъ говорилъ. Санинъ немедленно воспользовался наступившимъ штилемъ — и выказалъ краснорѣчіе изумительное: едва ли бы съумѣлъ онъ съ такимъ жаромъ и съ такой убѣдительностью изложить свои намѣренія и свои чувства передъ самой Джеммой. Эти чувства были самыя искреннія, эти намѣренія — самыя чистыя, какъ у Альмавивы въ «Севильскомъ Цирюльникѣ». — Онъ не скрывалъ ни отъ фрау Леноры, ни отъ самого себя невыгодной стороны этихъ намѣреній; но

эти невыгоды были только кажущіяся! Правда: онъ чужестранецъ, съ нимъ недавно познакомились, не знаютъ ничего положительнаго ни объ его личности, ни объ его средствахъ; но онъ готовъ привести всѣ нужныя доказательства того, что онъ человѣкъ порядочный и не бѣдный; онъ сошлется на самыя несомнѣнныя свидѣтельства своихъ соотчичей! — Онъ надѣется, что Джемма будетъ счастлива съ нимъ, и что онъ съумѣетъ усладить ей разлуку съ родными!... Упоминовеніе разлуки — одно это слово: «разлука» — чуть-было не испортило всего дѣла.... Фрау Леноре такъ и затрепетала вся и заметалась.... Санинъ поспѣшилъ замѣтить, что разлука будетъ только временная — и что, наконецъ, быть можетъ — ея не будетъ вовсе!

Краснорѣчіе Санина не пропало даромъ. Фрау Леноре начала взглядывать на него, хотя все еще съ горестью и упрекомъ, но уже не съ прежнимъ отвращеніемъ и гнѣвомъ; потомъ она позволила ему подойти и даже сѣсть возлѣ нея (Джемма сидѣла по другую сторону); потомъ она стала упрекать его — не одними взорами, но словами, что̀ уже означало нѣкоторое смягченіе ея сердца; она стала жаловаться, и жалобы ея становились все тише и мягче; онѣ чередовались вопросами, обращенными то къ дочери, то къ Санину; потомъ она позволила ему взять ее за руку и не тотчасъ отняла ее.... потомъ она заплакала опять — но уже совсѣмъ другими слезами.... Потомъ она грустно улыбнулась и пожалѣла объ отсутствіи Джіован' Баттиста, но уже въ другомъ смыслѣ, чѣмъ прежде.... Прошло еще мгновенье — и оба преступника — Санинъ и Джемма уже лежали на колѣняхъ у ногъ ея, и она клала имъ поочередно свои руки на головы; — прошло другое мгновенье — и они уже обнимали и цѣловали ее, и Эмиль, съ сіяющимъ отъ восторга лицомъ, вбѣжалъ въ комнату и тоже бросился къ тѣсно-сплоченной группѣ.

Панталеоне глянулъ въ комнату, ухмыльнулся и нахмурился въ одно и то же время — и, отправившись въ кондитерскую, отперъ наружную дверь.

XXX.

Переходъ отъ отчаянія къ грусти, а отъ нея къ «тихой резиньяціи» совершился довольно скоро въ фрау Леноре; — но и эта тихая резиньяція не замедлила превратиться въ тайное довольство, которое, однако, всячески скрывалось и сдерживалось ради приличія. Санинъ съ перваго дня знакомства пришелся понутру фрау Леноре; свыкшись съ мыслію, что онъ будетъ ея зятемъ, она уже не находила въ ней ничего особенно непріятнаго, хотя и считала долгомъ сохранять на лицѣ своемъ нѣсколько обиженное.... скорѣй озабоченное выраженіе. Къ тому же все, что̀ произошло въ послѣдніе дни, было такъ необычайно.... Одно къ одному! Какъ женщина практическая и какъ мать, фрау Леноре почла также своимъ долгомъ подвергнуть Санина разнообразнымъ вопросамъ: и Санинъ, который, отправляясь утромъ на свиданіе съ Джеммой, и въ помыслахъ не имѣлъ, что онъ женится на ней — правда, онъ ни о чемъ тогда не думалъ, а только отдавался влеченію своей страсти — Санинъ съ полной готовностью и, можно сказать, съ азартомъ вошелъ въ свою роль, роль жениха, и на всѣ разспросы отвѣчалъ обстоятельно, подробно, охотно. Удостовѣрившись, что онъ настоящій, природный дворянинъ, и даже нѣсколько удивившись тому, что онъ не князь, фрау Леноре приняла серьёзный видъ и — «предупредила его заранѣе» — что будетъ съ нимъ совершенно безцеремонно откровенна, потому что къ этому принуждаетъ ее священная обязанность матери! — на что̀ Санинъ отвѣчалъ, что

онъ отъ нея иного не ожидалъ и самъ ее убѣдительно проситъ — не щадить его!

Тогда фрау Леноре замѣтила ему, что г. Клюберъ (произнесши это имя, она слегка вздохнула и сжала губы и запнулась) — г. Клюберъ, *бывшій* Джемминъ женихъ, уже теперь обладаетъ восемью тысячами гульденовъ дохода — и съ каждымъ годомъ эта сумма будетъ быстро увеличиваться — а его, г-на Санина, каковъ доходъ?

— Восемь тысячъ гульденовъ, повторилъ протяжно Санинъ.... Это на наши деньги — около пятнадцати тысячъ рублей ассигнаціями.... Мой доходъ гораздо меньше. У меня есть небольшое имѣніе въ Тульской губерніи.... При хорошо устроенномъ хозяйствѣ, оно можетъ дать — и даже непремѣнно должно дать тысячъ пять или шесть.... Да, если я поступлю на службу — я легко могу получить тысячи двѣ жалованья.

— На службу въ Россіи? воскликнула фрау Леноре. Я, стало-быть, должна разстаться съ Джеммой!

— Можно будетъ опредѣлиться по дипломатической части, подхватилъ Санинъ; у меня есть нѣкоторыя связи.... Тогда служба происходитъ за границей. А то вотъ еще что̀ можно будетъ сдѣлать — и это гораздо лучше всего: продать имѣніе и употребить вырученный капиталъ на какое-нибудь выгодное предпріятіе, напр., на усовершенствованіе вашей кондитерской. — Санинъ и чувствовалъ, что говоритъ нѣчто несообразное, но имъ овладѣла непонятная отвага! Онъ глянетъ на Джемму, которая съ тѣхъ поръ, какъ начался «практическій» разговоръ, то и дѣло вставала, ходила по комнатѣ, садилась опять — глянетъ онъ на нее — и нѣтъ для него препятствій, и готовъ онъ устроить все, сейчасъ, самымъ лучшимъ образомъ — лишь бы она не тревожилась!

— Г-нъ Клюберъ тоже хотѣлъ дать мнѣ небольшую

сумму на поправку кондитерской промолвила, послѣ небольшого колебанія, фрау Леноре.

— Матушка! ради Бога! матушка! воскликнула Джемма по-итальянски.

— Объ этихъ вещахъ надо говорить заблаговременно, дочь моя, отвѣчала ей фрау Леноре на томъ же языкѣ.

Она снова обратилась къ Санину и стала его разспрашивать о томъ, какіе законы существуютъ въ Россіи насчетъ браковъ, и нѣтъ ли препятствій для вступленія въ супружество съ католичками — какъ въ Пруссіи? — (Въ то время, въ сороковомъ году, вся Германія еще помнила ссору прусскаго правительства съ Кёльнскимъ архіепископомъ изъ-за смѣшанныхъ браковъ). Когда же фрау Леноре услыхала, что выйдя замужъ за русскаго дворянина, ея дочь сама станетъ дворянкой — она выказала нѣкоторое удовольствіе. — Но вѣдь вы должны сперва отправиться въ Россію?

— Зачѣмъ?

— А какъ же? Получить позволеніе отъ вашего государя?

Санинъ объяснилъ ей, что это вовсе не нужно.... но что, быть можетъ, ему точно придется передъ свадьбой съѣздить на самое короткое время въ Россію — (онъ сказалъ эти слова — и сердце въ немъ болѣзненно сжалось, глядѣвшая на него Джемма поняла, что оно сжалось — и покраснѣла и задумалась) — и что онъ постарается воспользоваться своимъ пребываніемъ на родинѣ, чтобы продать имѣніе.... во всякомъ случаѣ онъ вывезетъ оттуда нужныя деньги.

— Я бы также попросила васъ привезти мнѣ оттуда астраханскія хорошія мерлушки на мантилью — проговорила фрау Леноре. Онѣ тамъ, по слухамъ, удивительно хороши, и удивительно дешевы!

— Непремѣнно, съ величайшимъ удовольствіемъ привезу и вамъ — и Джеммѣ! воскликнулъ Санинъ.

— А мнѣ вышитую серебромъ сафьянную шапочку, вмѣшался Эмиль, выставивъ голову изъ сосѣдней комнаты.

— Хорошо — привезу и тебѣ.... и Панталеоне туфли.

— Ну къ чему это? къ чему? замѣтила фрау Леноре. Мы говоримъ теперь о серьезныхъ вещахъ. Но вотъ еще что, прибавила практическая дама. Вы говорите: продать имѣніе. Но какъ же вы это сдѣлаете? Вы, стало-быть, и крестьянъ тоже продадите?

Санина точно что̀ въ бокъ кольнуло. Онъ вспомнилъ, что, разговаривая съ г-жей Розелли и ея дочерью — о крѣпостномъ правѣ, которое, по его словамъ, возбуждало въ немъ глубокое негодованіе, онъ неоднократно завѣрялъ ихъ, что никогда и ни за что своихъ крестьянъ продавать не станетъ, ибо считаетъ подобную продажу безнравственнымъ дѣломъ.

— Я постараюсь продать мое имѣніе, человѣку, котораго я буду знать съ хорошей стороны, произнесъ онъ не безъ запинки — или быть можетъ, сами крестьяне захотятъ откупиться.

— Это лучше всего, согласилась и фрау Леноре. А то, продавать живыхъ людей.... — Barbari! проворчалъ Панталеоне, который вслѣдъ за Эмилемъ, показался-было у дверей, тряхнулъ тупеемъ и скрылся.

«Скверно!» подумалъ про себя Санинъ — и украдкой поглядѣлъ на Джемму. Она, казалось, не слышала его послѣднихъ словъ. «Ну-ничего!» подумалъ онъ опять.

Такимъ манеромъ продолжался практическій разговоръ почти вплоть до самаго обѣда. Фрау Леноре совсѣмъ укротилась подъ конецъ — и называла уже Санина — Дмитріемъ, ласково грозила ему пальцемъ и обѣщала отомстить за его коварство. Много и подробно разспрашивала она объ

его роднѣ, потому что — «это тоже очень важно»; потребовала также, чтобы онъ описалъ ей церемонію брака, какъ онъ совершается по обряду русской церкви — и заранѣе восхищалась Джеммой въ бѣломъ платьѣ, съ золотой короной на головѣ.

— Вѣдь она у меня красива, какъ королева, промолвила она съ материнской гордостью; да и королевъ такихъ на свѣтѣ нѣтъ!

— Другой Джеммы на свѣтѣ нѣтъ! подхватилъ Санинъ.

— Да; оттого-то она и — Джемма! (Извѣстно, что на итальянскомъ языкѣ Джемма значитъ: драгоцѣнный камень).

Джемма бросилась цѣловать свою мать.... Казалось, только теперь она вздохнула свободно — и удручавшая ее тяжесть спàла съ ея души.

А Санинъ вдругъ почувствовалъ себя до того счастливымъ, такою дѣтскою веселостью наполнилось его сердце при мысли, что вотъ сбылись же, сбылись тѣ грезы, которымъ онъ недавно предавался въ тѣхъ же самыхъ комнатахъ; все существо его до того взыграло, что онъ немедленно отправился въ кондитерскую; онъ пожелалъ непремѣнно, во что бы то ни стало, поторговать за прилавкомъ, какъ нѣсколько дней тому назадъ.... «Я-молъ имѣю полное теперь на это право! Я вѣдь теперь домашній человѣкъ!»

И онъ дѣйствительно сталъ за прилавокъ, и дѣйствительно поторговалъ, т. е. продалъ двумъ зашедшимъ дѣвочкамъ фунтъ конфектъ, вмѣсто котораго онъ имъ отпустилъ цѣлыхъ два, взявши съ нихъ только полцѣны.

За обѣдомъ онъ оффиціально, какъ женихъ, сидѣлъ рядомъ съ Джеммой. Фрау Леноре продолжала свои практическія соображенія. Эмиль то-и-дѣло смѣялся и приставалъ къ Санину, чтобы тотъ его взялъ съ собой въ Россію.

Было рѣшено, что Санинъ уѣдетъ черезъ двѣ недѣли. Одинъ Панталеоне являлъ нѣсколько угрюмый видъ, такъ что даже фрау Леноре ему попеняла. «А еще секундантомъ былъ!» — Панталеоне взглянулъ изъ подлобья.

Джемма молчала почти все время, но никогда ея лицо не было прекраснѣе и свѣтлѣе. Послѣ обѣда она отозвала Санина на минуту въ садъ, и остановившись около той самой скамейки, гдѣ она третьяго дня отбирала вишни, сказала ему: — Димитрій, не сердись на меня; но я еще разъ хочу напомнить тебѣ, что ты не долженъ почитать себя связаннымъ....

Онъ не далъ ей договорить....

Джемма отклонила свое лицо. — А насчетъ того, что мама упомянула — помнишь? — о различіи нашей вѣры, то вотъ!...

Она схватила гранатовый крестикъ, висѣвшій у ней на шеѣ на тонкомъ шнуркѣ, сильно дернула и оборвала шнурокъ — и подала ему крестикъ.

— Если я твоя, такъ и вѣра твоя — моя вѣра!

Глаза Санина были еще влажны, когда онъ вмѣстѣ съ Джеммой вернулся въ домъ.

Къ вечеру все пришло въ обычную колею. Даже въ тресетте поиграли.

XXXI.

Санинъ проснулся очень рано на слѣдующій день. Онъ находился на высшей степени человѣческаго благополучія; но не это мѣшало ему спать; вопросъ, жизненный, роковой вопросъ: какимъ образомъ онъ продастъ свое имѣніе какъ можно скорѣе и какъ можно выгоднѣе — тревожилъ его покой. Въ головѣ его скрещивались различнѣйшіе планы, но ничего пока еще не выяснилось. Онъ вышелъ изъ дому,

чтобы провѣтриться, освѣжиться. Съ готовымъ проектомъ — не иначе — хотѣлъ онъ предстать передъ Джеммой.

Что̀ это за фигура, достаточно грузная и толстоногая, впрочемъ прилично одѣтая, идетъ передъ нимъ, слегка переваливаясь и ковыляя? Гдѣ видѣлъ онъ этотъ затылокъ, поросшій бѣлобрысыми вихрами, эту голову, какъ-бы насаженную прямо на плечи, эту мягкую, жирную спину, эти пухлыя, отвислыя руки? Неужели это — Полозовъ, его старинный пансіонскій товарищъ, котораго онъ уже вотъ пять лѣтъ, какъ потерялъ изъ виду? Санинъ обогналъ шедшую передъ нимъ фигуру, обернулся.... Широкое, желтоватое лицо, маленькіе свиные глазки съ бѣлыми рѣсницами и бровями, короткій, плоскій носъ, крупныя, словно склеенныя губы, круглый, безволосый подбородокъ — и это выраженіе всего лица, кислое, лѣнивое и недовѣрчивое — да точно: это онъ, это Ипполитъ Полозовъ!

«Ужъ не опять ли моя звѣзда дѣйствуетъ?» мелькнуло въ мысляхъ Санина.

— Полозовъ! Ипполитъ Сидорычъ! Это ты?

Фигура остановилась, подняла свои крохотные глаза, подождала немного — и расклеивъ наконецъ свои губы, проговорила сиповатой фистулой:

— Дмитрій Санинъ?

— Онъ самый и есть! воскликнулъ Санинъ, и пожалъ одну изъ рукъ Полозова; облеченная въ тѣсныя лайковыя перчатки сѣро-пепельнаго цвѣта, онѣ по прежнему безжизненно висѣли вдоль его выпуклыхъ ляжекъ. — Давно ли ты здѣсь? Откуда пріѣхалъ? Гдѣ остановился?

— Я пріѣхалъ вчера изъ Висбадена, отвѣчалъ не спѣша Полозовъ, за покупками для жены — и сегодня же возвращаюсь въ Висбаденъ.

— Ахъ, да! Вѣдь ты женатъ — и, говорятъ, на такой красавицѣ!

Полозовъ повелъ въ сторону глазами. — Да, говорятъ.

Санинъ засмѣялся. — Я вижу, ты все такой же.... флегматикъ, какимъ ты былъ въ пансіонѣ.

— На что я буду мѣняться?

— И говорятъ, прибавилъ Санинъ, съ особымъ удареніемъ на слово: «говорятъ» — что твоя жена очень богата.

— Говорятъ и это.

— А тебѣ самому, Ипполитъ Сидорычъ, развѣ это неизвѣстно?

— Я, братъ, Дмитрій.... Павловичъ? — да, Павловичъ! въ женнины дѣла не мѣшаюсь.

— Не мѣшаешься? Ни въ какія дѣла?

Полозовъ опять повелъ глазами. — Ни въ какія, братъ. Она — сама по себѣ.... ну и я самъ по себѣ.

— Куда же ты теперь идешь? спросилъ Санинъ.

— Теперь я никуда не иду; стою на улицѣ — и съ тобой бесѣдую; а вотъ какъ мы съ тобой покончимъ, отправлюсь къ себѣ въ гостинницу — и буду завтракать.

— Меня въ товарищи — хочешь?

— То-есть — это ты на счетъ завтрака?

— Да.

— Сдѣлай одолженіе, ѣсть вдвоемъ гораздо веселѣе. Ты вѣдь не говорунъ?

— Не думаю.

— Ну и ладно.

Полозовъ двинулся впередъ. Санинъ отправился съ нимъ рядомъ. И думалось Санину — губы Полозова опять склеились, онъ сопѣлъ и переваливался молча — думалось Санину: какимъ образомъ удалось этому чурбану подцѣпить красивую и богатую жену? Самъ онъ ни богатъ, ни знатенъ, ни уменъ; въ пансіонѣ слылъ за вялаго и тупого мальчика, за соню и обжору — и прозвище носилъ «слюняя». Чудеса!

«Но если жена его очень богата — сказываютъ, она дочь какого-то откупщика — то не купитъ ли она мое имѣніе? Хотя онъ и говоритъ, что ни въ какія женнины дѣла не входитъ, но вѣдь этому вѣры дать нельзя! Притомъ же и цѣну я назначу сходную, выгодную цѣну! Отчего не попытаться? Быть можетъ, это все моя звѣзда дѣйствуетъ.... Рѣшено! попытаюсь!»

Полозовъ привелъ Санина въ одну изъ лучшихъ гостинницъ Франкфурта, въ которой занималъ уже конечно лучшій нумеръ. На столахъ и стульяхъ громоздились картоны, ящики, свертки.... «Все, братъ, покупки для Марьи Николаевны!» (такъ звали жену Ипполита Сидорыча). Полозовъ опустился въ кресло, простоналъ: «Эка жара!» и развязалъ галстухъ. Потомъ позвонилъ оберъ-кельнера и тщательно заказалъ ему обильнѣйшій завтракъ. «А въ часъ чтобы карета была готова! Слышите, ровно въ часъ!»

Оберъ-кельнеръ подобострастно наклонился — и рабски исчезъ.

Полозовъ разстегнулъ жилетъ. По одному тому, какъ онъ приподнималъ брови, отдувался и морщилъ носъ, можно было видѣть, что говорить будетъ для него большою тягостью, и что онъ не безъ нѣкоторой тревоги ожидалъ, заставитъ ли его Санинъ ворочать языкомъ, или самъ возьметъ на себя трудъ вести бесѣду?

Санинъ понялъ настроеніе своего пріятеля, и потому не сталъ обременять его вопросами; ограничился лишь самымъ необходимымъ; узналъ, что онъ два года состоялъ на службѣ — (въ уланахъ! то-то, чай, хорошъ былъ въ короткомъ-то мундирчикѣ!), три года тому назадъ женился — и вотъ уже второй годъ находится за границей съ женой, «которая теперь отъ чего-то лечится въ Висбаденѣ» — а тамъ отправляется въ Парижъ. Съ своей сто-

роны Санинъ также мало распространялся о своей прошедшей жизни, о своихъ планахъ; онъ прямо приступилъ къ главному — т. е. заговорилъ о своемъ намѣреніи продать имѣніе.

Полозовъ слушалъ его молча, лишь изрѣдка взглядывая на дверь, откуда долженъ былъ явиться завтракъ. Завтракъ явился наконецъ. Оберъ-кельнеръ, въ сопровожденіи двухъ другихъ слугъ, принесъ нѣсколько блюдъ подъ серебряными колпаками.

— Это въ тульской губерніи имѣніе? промолвилъ Полозовъ, садясь за столъ и затыкая салфетку за воротъ рубашки.

— Въ тульской.

— Ефремовскаго уѣзда.... Знаю.

— Ты мою Алексѣевку знаешь? спросилъ Санинъ, тоже садясь за столъ.

— Знаю, какъ же. Полозовъ запихалъ себѣ въ ротъ кусокъ яичницы съ трюфелями. — У Марьи Николаевны — жены моей — по сосѣдству есть имѣніе.... Откупорьте эту бутылку, кельнеръ! Земля порядочная — только мужики у тебя лѣсъ вырубили. Ты зачѣмъ же продаешь?

— Деньги нужны, братъ. Я бы дешево продалъ. Вотъ бы тебѣ купить.... Кстати.

Полозовъ проглотилъ стаканъ вина, утерся салфеткой и опять принялся жевать — медленно и шумно.

— Н-да, проговорилъ онъ наконецъ.... Я имѣній не покупаю: капиталовъ нѣтъ. Пододвинь-ка масло. Развѣ вотъ жена купитъ. Ты съ ней поговори. Коли дорого не запросишь — она этимъ не брезгаетъ.... Экіе, однако, эти нѣмцы — ослы! Не умѣютъ рыбу сварить. Чего, кажется, проще? А еще толкуютъ: фатерландъ-молъ объединить слѣдуетъ. Кельнеръ, примите эту мерзость!

— Неужели же твоя жена сама распоряжается.... по хозяйству? спросилъ Санинъ.

— Сама. Вотъ котлеты — хороши. Рекомендую. Я сказалъ тебѣ, Дмитрій Павловичъ, что ни въ какія женщины дѣла я не вхожу — и теперь тебѣ тоже повторяю.

Полозовъ продолжалъ чавкать.

— Гмъ.... Но какъ я съ ней переговорить могу, Ипполитъ Сидорычъ?

— А очень просто, Дмитрій Павловичъ. Отправляйся въ Висбаденъ. Отсюда недалече. Кельнеръ, нѣтъ ли у васъ англійской горчицы? Нѣтъ? Скоты! Только времени не теряй. Мы послѣ-завтра уѣзжаемъ. Позволь, я тебѣ налью рюмку: съ букетомъ вино — не кислятина.

Лицо Полозова оживилось и покраснѣло; оно и оживлялось только тогда, когда онъ ѣлъ.... или пилъ.

— Право-же.... я не знаю, какъ это сдѣлать? пробормоталъ Санинъ.

— Да что тебѣ такъ вдругъ приспичило?

— То-то и есть, что приспичило, братъ.

— И большая сумма нужна?

— Большая. Я.... какъ бы это тебѣ сказать? я затѣялъ.... жениться.

Полозовъ поставилъ на столъ рюмку, которую поднесъ было къ губамъ.

— Жениться! промолвилъ онъ хриплымъ, отъ изумленья хриплымъ голосомъ, и сложилъ свои пухлыя руки на желудкѣ. — Такъ скоропостижно?

— Да.... скоро.

— Невѣста — въ Россіи, разумѣется?

— Нѣтъ, не въ Россіи.

— Гдѣ же?

— Здѣсь, во Франкфуртѣ.

— И кто она?

— Нѣмка; то-есть, нѣтъ — итальянка. Здѣшняя жительница.

— Съ капиталомъ?

— Безъ капитала.

— Стало-быть, любовь ужъ очень сильная?

— Какой ты смѣшной! Да, сильная.

— И для этого тебѣ деньги нужны?

— Ну, да.... да, да.

Полозовъ проглотилъ вино, выполоскалъ себѣ ротъ и руки вымылъ, старательно вытеръ ихъ о салфетку, досталъ и закурилъ сигару. Санинъ молча глядѣлъ на него.

— Одно средство, промычалъ наконецъ Полозовъ, закидывая назадъ голову и выпуская дымъ тонкой струйкой. — Ступай къ женѣ. Она, коли захочетъ, всю бѣду твою руками разведетъ.

— Да какъ я ее увижу, жену твою? Ты говоришь, вы послѣ-завтра уѣзжаете?

Полозовъ закрылъ глаза.

— Знаешь, что я тебѣ скажу, проговорилъ онъ, наконецъ, вертя губами сигару и вздыхая. Ступай-ка домой, снарядись попроворнѣе — да приходи сюда. Въ часъ я выѣзжаю, карета у меня просторная — я тебя съ собой возьму. Этакъ всего лучше. А теперь я посплю. Я, братъ, какъ поѣмъ, непремѣнно поспать долженъ. Натура требуетъ — и я не противлюсь. И ты не мѣшай мнѣ.

Санинъ подумалъ, подумалъ — и внезапно поднялъ голову: онъ рѣшился!

— Ну, хорошо, согласенъ — и благодарю тебя. Въ половинѣ перваго я здѣсь — и мы отправимся вмѣстѣ въ Висбаденъ. Я надѣюсь, жена твоя не разсердится....

Но Полозовъ уже сопѣлъ. Пролепеталъ: не мѣшай! поболталъ ногами и заснулъ, какъ младенецъ.

Санинъ еще разъ окинулъ взоромъ его грузную фи-

гуру, его голову, шею, его высоко поднятый, круглый какъ яблоко подбородокъ — и, выйдя изъ гостинницы, проворными шагами направился къ кондитерской Розелли. Надо было предварить Джемму.

XXXII.

Онъ засталъ ее въ кондитерской комнатѣ вмѣстѣ съ матерью. Фрау Леноре, перегнувши спину, измѣряла небольшимъ складнымъ футомъ промежутокъ между окнами. Увидя Санина, она выпрямилась и весело привѣтствовала его, не безъ маленькаго замѣшательства, однако.

— У меня, съ вашихъ вчерашнихъ словъ, начала она, все въ головѣ вертятся мысли, какъ бы намъ улучшить нашъ магазинъ. Вотъ тутъ, я полагаю, два шкапчика съ зеркальными полочками поставить. Теперь, знаете, это въ модѣ. И потомъ еще....

— Прекрасно, прекрасно, перебилъ ее Санинъ — это все надо будетъ сообразить.... Но подите-ка сюда, я вамъ что̀ сообщу. Онъ взялъ фрау Леноре и Джемму подъ-руки и повелъ ихъ въ другую комнату. Фрау Леноре встревожилась и мѣрку изъ рукъ выронила. Джемма встревожилась-было тоже, но глянула попристальнѣе на Санина и успокоилась. Лицо его, правда, озабоченное, выражало въ то же время оживленную бодрость и рѣшимость.

Онъ попросилъ обѣихъ женщинъ сѣсть, а самъ сталъ передъ ними — и размахивая руками, да ероша волосы, сообщилъ имъ все: встрѣчу съ Полозовымъ, предполагаемую поѣздку въ Висбаденъ, возможность продажи имѣнія. — Вообразите мое счастье, воскликнулъ онъ наконецъ: дѣло приняло такой оборотъ, что мнѣ даже, быть можетъ, не

зачѣмъ будетъ ѣхать въ Россію! И свадьбу мы можемъ сыграть гораздо скорѣе, чѣмъ я предлагалъ!

— Когда вы должны ѣхать? спросила Джемма.

— Сегодня же — черезъ часъ; мой пріятель нанялъ карету — онъ меня довезетъ.

— Вы намъ напишите?

— Немедленно! какъ только переговорю съ этой дамой — такъ тотчасъ и напишу.

— Эта дама, вы говорите — очень богата? спросила практическая фрау Леноре.

— Чрезвычайно! ея отецъ былъ милліонеромъ — и все ей оставилъ.

— Все — ей одной? Ну — это ваше счастье. Только, смотрите, не продешевите вашего имѣнія! Будьте благоразумны и тверды. Не увлекайтесь! Я понимаю ваше желаніе быть какъ можно скорѣе мужемъ Джеммы.... но осторожность прежде всего! Не забудьте: чѣмъ вы дороже продадите имѣніе, тѣмъ больше останется вамъ обоимъ — и вашимъ дѣтямъ.

Джемма отвернулась, и Санинъ опять замахалъ руками. — Въ моей осторожности вы можете быть увѣрены, фрау Леноре! Да я и торговаться не стану. Скажу ей настоящую цѣну: дастъ — хорошо; не дастъ — Богъ съ ней!

— Вы съ ней знакомы.... съ этой дамой? спросила Джемма.

— Я ее никогда въ лицо не видалъ.

— И когда же вы вернетесь?

— Если ничѣмъ не кончится наше дѣло — послѣзавтра; если же оно пойдетъ на ладъ — можетъ быть, придется пробыть лишній день или два. Во всякомъ случаѣ — минуты не промѣшкаю. Вѣдь я душу свою оставлю здѣсь! Однако я съ вами заговорился, а мнѣ нужно передъ отъѣздомъ еще домой сбѣгать.... Дайте мнѣ руку

на счастье, фрау Леноре — у насъ въ Россіи всегда такъ дѣлается.

— Правую, или лѣвую?

— Лѣвую — ближе къ сердцу. Явлюсь послѣ-завтра — со щитомъ или на щитѣ! Мнѣ что-то говоритъ: я вернусь побѣдителемъ! Прощайте, мои добрыя, мои милыя....

Онъ обнялъ и поцѣловалъ фрау Леноре, а Джемму попросилъ пойти за нимъ въ ея комнату — на минутку — такъ какъ ему нужно сообщить ей — что-то очень важное. Ему просто хотѣлось проститься съ ней наединѣ. Фрау Леноре это поняла — и не полюбопытствовала узнать, какая это была такая важная вещь....

Санинъ никогда еще не бывалъ въ комнатѣ Джеммы. Все обаяніе любви, весь ея огонь, и восторгъ, и сладкій ужасъ — такъ и вспыхнули въ немъ, такъ и ворвались въ его душу, какъ только онъ переступилъ завѣтный порогъ.... Онъ кинулъ вокругъ умиленный взоръ, палъ къ ногамъ милой дѣвушки и прижалъ лицо свое къ ея стану....

— Ты мой? шепнула она — ты вернешься скоро?

— Я твой.... я вернусь, твердилъ онъ, задыхаясь.

— Я буду ждать тебя, мой милый!

Нѣсколько мгновеній спустя, Санинъ уже бѣжалъ по улицѣ къ себѣ на квартиру. Онъ и не замѣтилъ того, что вслѣдъ за нимъ, изъ двери кондитерской, весь растрепанный, выскочилъ Панталеоне — и что-то кричалъ ему и потрясалъ, и какъ будто грозилъ высоко поднятой рукою.

Ровно въ три-четверти перваго Санинъ отъявился къ Полозову. У воротъ его гостинницы уже стояла карета, запряженная четырьмя лошадьми. Увидавъ Санина, Полозовъ только промолвилъ: «А! рѣшился?» и надѣвъ шляпу,

шинель и калоши, заткнувъ себѣ хлопчатой бумагой уши, хотя дѣло было лѣтомъ, вышелъ на крыльцо. Кельнеры, по его указанію, расположили во внутренности кареты всѣ многочисленныя его покупки, обложили мѣсто его сидѣнья шелковыми подушечками, сумочками, узелками, поставили въ ноги коробъ съ провизіей и привязали къ козламъ чемоданъ. Полозовъ расплатился щедрой рукой — и, хотя сзади, но почтительно поддерживаемый услужливымъ привратникомъ, полѣзъ, кряхтя, въ карету, усѣлся, обмялъ хорошенько все вокругъ себя, выбралъ и закурилъ сигару — и тогда только кивнулъ пальцемъ Санину: «полѣзай, молъ, и ты!» Санинъ помѣстился съ нимъ рядомъ. Полозовъ приказалъ черезъ привратника почтальону ѣхать исправно — если желаетъ получить на водку; подножки загремѣли, дверцы хлопнули, карета покатилась.

XXXIII.

Отъ Франкфурта до Висбадена теперь по желѣзной дорогѣ менѣе часа ѣзды; въ то время экстра-почта поспѣвала часа въ три. Лошадей мѣняли разъ пять. Полозовъ не то дремалъ, не то такъ покачивался, держа сигару въ зубахъ, и говорилъ очень мало; въ окошко не выглянулъ ни разу: живописными видами онъ не интересовался и даже объявилъ, что — «природа — смерть его!» Санинъ тоже молчалъ и тоже не любовался видами: ему было не до того. Онъ весь отдался размышленіямъ, воспоминаніямъ. На станціяхъ Полозовъ аккуратно расплачивался, замѣчалъ время по часамъ и награждалъ почтальоновъ — мало или много, смотря по ихъ усердію. На полдорогѣ онъ досталъ изъ короба съ съѣстными припасами два апельсина, и выбравъ лучшій, предложилъ Санину другой. Санинъ при-

стально поглядѣлъ на своего спутника — и вдругъ разсмѣялся.

— Чему ты? спросилъ тотъ, старательно отдирая своими короткими бѣлыми ногтями кожу съ апельсина.

— Чему? повторилъ Санинъ. Да нашему съ тобой путешествію.

— А что? переспросилъ Полозовъ, пропуская въ ротъ одинъ изъ тѣхъ продольныхъ ломтиковъ, на которые распадается мясо апельсина.

— Очень оно уже странно. Вчера я, признаться, такъ же мало думалъ о тебѣ, какъ о китайскомъ императорѣ, — а сегодня я ѣду съ тобой продавать мое имѣніе твоей женѣ, о которой тоже не имѣю малѣйшаго понятія.

— Всяко бываетъ, отвѣчалъ Полозовъ. Ты только поживи подольше — всего насмотришься. Напримѣръ, можешь ты себѣ представить меня подъѣзжающимъ на ординарцы? А я подъѣзжалъ; а великій князь Михаилъ Павловичъ скомандовалъ: «рысью, рысью этого толстаго корнета! Прибавь рыси!»

Санинъ почесалъ у себя за ухомъ.

— Скажи мнѣ пожалуйста, Ипполитъ Сидорычъ, какова твоя жена? Нравъ у ней каковъ? Мнѣ вѣдь это нужно знать.

— Ему хорошо командовать: «рысью!» съ внезапной запальчивостью подхватилъ Полозовъ, а мнѣ то.... мнѣ-то каково? Я и думалъ: возьмите вы себѣ ваши чины да эполеты — ну ихъ съ Богомъ! Да.... ты о женѣ спрашивалъ? Что̀ — жена? Человѣкъ, какъ всѣ. Пальца ей въ ротъ не клади — она этого не любитъ. Главное — говори побольше.... чтобы посмѣяться было надъ чѣмъ. Про любовь свою разскажи, что ли.... да позабавнѣй; знаешь.

— Какъ по забавнѣй?

— Да также. Вѣдь ты мнѣ сказывалъ, что влюбленъ, жениться хочешь. Ну, вотъ ты это и опиши.

Санинъ обидѣлся. — Что же въ этомъ ты находишь смѣшного.

Полозовъ только глазами повелъ. Сокъ отъ апельсина текъ по его подбородку.

— Это твоя жена тебя во Франкфуртъ за покупками посылала? спросилъ Санинъ, спустя немного времени.

— Она самая.

— Какія же это покупки?

— Извѣстно: игрушки.

— Игрушки? развѣ у тебя есть дѣти?

Полозовъ даже посторонился отъ Санина. — Вона! Съ какой стати у меня будутъ дѣти? Женскіе колифишэ.... Уборы. По части туалета.

— Ты развѣ въ этомъ толкъ знаешь?

— Знаю.

— Какъ же ты мнѣ говорилъ, что ни во что женнино не входишь?

— Въ другое не вхожу. А это.... ничего. Отъ скуки — можно. Да и жена вкусу моему вѣритъ. Я-жъ и торговаться лихъ.

Полозовъ начиналъ говорить отрывисто; онъ уже усталъ.

— И очень жена твоя богата?

— Богата-то, богата. Только больше для себя.

— Однако, кажется, и ты пожаловаться не можешь?

— На то я мужъ. Еще бы мнѣ не пользоваться! И полезный же я ей человѣкъ! Ей со мной — лафа! Я — удобный!

Полозовъ утеръ лицо фуляромъ и тяжело фукнулъ: «пощади дескать; не заставляй еще произносить слова. Видишь, какъ оно мнѣ трудно».

Санинъ оставилъ его въ покоѣ — и снова погрузился въ размышленія.

Гостинница въ Висбаденѣ, передъ которой остановилась карета — уже прямо смахивала на дворецъ. Колокольчики немедленно зазвонили въ ея нѣдрахъ, поднялась суетня и бѣготня; благообразные люди въ черныхъ фракахъ запрыгали у главнаго входа; залитый золотомъ швейцаръ съ размаху отворилъ дверцы кареты.

Какъ нѣкій тріумфаторъ высадился Полозовъ и началъ подниматься по устланной коврами и благовонной лѣстницѣ. Къ нему подлетѣлъ человѣкъ, тоже отлично одѣтый, но съ русскимъ лицомъ — его камердинеръ. Полозовъ замѣтилъ ему, что впредь будетъ всегда брать его съ собою — ибо, наканунѣ, во Франкфуртѣ, его, Полозова, оставили на ночь безъ теплой воды! Каммердинеръ изобразилъ ужасъ на лицѣ — и, проворно наклонясь, снялъ съ барина калоши.

— Марья Николаевна дома? спросилъ Полозовъ.

— Дома-съ. Изволятъ одѣваться. У графини Ласунской изволятъ обѣдать.

— А! у этой!... Стой! Тамъ вещи въ каретѣ, все вынь самъ и внеси. А ты, Дмитрій Павловичъ, прибавилъ Полозовъ — возьми себѣ комнату, да черезъ три четверти часа и приходи. Пообѣдаемъ вмѣстѣ.

Полозовъ поплылъ дальше, а Санинъ спросилъ себѣ нумеръ попроще — и, приведя туалетъ свой въ порядокъ, да отдохнувъ немножко — отправился въ громадный аппартаментъ, занимаемый его свѣтлостью (Durchlaucht) княземъ фонъ-Полозовъ.

Онъ засталъ этого «князя» возсѣдающимъ на роскошнѣйшемъ бархатномъ креслѣ посреди великолѣпнѣйшаго салона. Флегматическій пріятель Санина успѣлъ уже ванну взять и облачиться въ богатѣйшій атласный шлафрокъ; на голову онъ надѣлъ малиновую феску. Санинъ приблизился къ нему и нѣкоторое время разсматривалъ его. Полозовъ сидѣлъ неподвижно, какъ идолъ; даже лица въ его сторону

не повернулъ, даже бровью не повелъ, звука не издалъ. Зрѣлище было, по истинѣ, величественное! Полюбовавшись имъ минуты съ двѣ, Санинъ хотѣлъ-было заговорить, нарушить эту священную тишину — какъ вдругъ дверь изъ сосѣдней комнаты растворилась, и на порогѣ появилась молодая, красивая дама въ бѣломъ шелковомъ платьѣ, съ черными кружевами, въ бриллiантахъ на рукахъ и на шеѣ — сама Марья Николаевна Полозова. Ея густые, русые волосы падали съ обѣихъ сторонъ головы — заплетенными, но не подобранными косами.

XXXIV.

— Ахъ, извините! проговорила она съ полу-смущенной, полу-насмѣшливой улыбкой, мгновенно прихвативъ рукою конецъ одной косы и вперивъ на Санина свои большіе, сѣрые, свѣтлые глаза. — Я не думала, что вы уже пришли.

— Санинъ, Дмитрій Павловичъ, пріятель мой съ дѣтства, промолвилъ Полозовъ, попрежнему не оборачиваясь къ нему и не вставая, но указывая на него пальцемъ.

— Да.... знаю.... Ты мнѣ уже сказывалъ. Очень рада познакомиться. Но я хотѣла-было попросить тебя, Ипполитъ Сидорычъ.... Моя горничная сегодня какая-то безтолковая....

— Волосы тебѣ убрать?

— Да, да, пожалуйста. Извините, повторила Марья Николаевна съ прежней улыбкой, кивнула головою Санину и быстро повернувшись, скрылась за дверью, оставивъ за собою мимолетное, но стройное впечатлѣніе прелестной шеи, удивительныхъ плечъ, удивительнаго стана.

Полозовъ всталъ — и тяжело переваливаясь, ушелъ въ ту же дверь.

Санинъ ни одной секунды не сомнѣвался въ томъ, что присутствіе его въ салонѣ «князя Полозова» было какъ нельзя лучше извѣстно самой хозяйкѣ; весь форсъ состоялъ въ томъ, чтобы показать свои волосы, которые были точно хороши. Санинъ внутренно даже порадовался этой выходкѣ г-жи Полозовой: коли, молъ, захотѣли меня поразить, блеснуть передо мною — можетъ быть, какъ знать? и насчетъ цѣны на имѣніе окажутъ податливость. Его душа до того была наполнена Джеммой, что всѣ другія женщины уже не имѣли для него никакого значенія: онъ едва замѣчалъ ихъ; и на этотъ разъ онъ ограничился только тѣмъ, что подумалъ: «да, правду говорили мнѣ: эта барыня хоть куда!»

А будь онъ не въ такомъ исключительномъ душевномъ состояніи, онъ бы вѣроятно иначе выразился: Марія Николаевна Полозова, урожденная Колышкина, была очень замѣчательная особа. И не то, чтобы она была отъявленная красавица: въ ней даже довольно явственно сказывались слѣды ея плебейскаго происхожденія. Лобъ у ней былъ низкій, носъ нѣсколько мясистый и вздернутый; ни тонкостью кожи, ни изяществомъ рукъ и ногъ она похвалиться не могла — но что все это значило? Не передъ «святыней красоты», говоря словами Пушкина, остановился бы всякій, кто бы встрѣтился съ нею, но передъ обаяніемъ мощнаго, не то русскаго, не то цыганскаго, цвѣтущаго женскаго тѣла.... и не невольно остановился бы онъ!

Но образъ Джеммы охранялъ Санина, какъ та тройная броня, о которой поютъ стихотворцы.

Минутъ десять спустя, Марья Николаевна появилась опять, въ сопровожденіи своего супруга. Она подошла къ Санину.... а походка у ней была такая, что иные чудаки въ тѣ, увы! уже далекія времена — отъ одной этой походки съ ума сходили. «Эта женщина, когда идетъ къ тебѣ, точно все счастье твоей жизни тебѣ на встрѣчу несетъ», говари-

валъ одинъ изъ нихъ. Она подошла къ Санину — и, протянувъ ему руку, промолвила своимъ ласковымъ и какъ-бы сдержаннымъ голосомъ по русски: «Вы меня дождетесь, неправда? Я вернусь скоро».

Санинъ наклонился почтительно, а Марья Николаевна уже исчезала за портьерой выходной двери — и, исчезая, опять повернула голову назадъ черезъ плечо — и опять улыбнулась, и опять оставила за собою прежнее, стройное впечатлѣніе.

Когда она улыбалась — не одна и не двѣ, а цѣлыхъ три ямочки обозначались на каждой щекѣ — и ея глаза улыбались больше чѣмъ губы, чѣмъ ея алыя, длинныя, вкусныя губы, съ двумя крошечными родинками на лѣвой ихъ сторонѣ.

Полозовъ ввалился въ комнату — и опять помѣстился на креслѣ. Безмолвствовалъ онъ попрежнему; но странная усмѣшка отъ времени до времени пучила его безцвѣтныя и уже сморщенныя щеки.

Онъ былъ старообразенъ, хотя всего тремя годами старше Санина.

Обѣдъ, которымъ онъ попотчивалъ своего гостя, конечно, удовлетворилъ бы самаго взыскательнаго гастронома, но Санину онъ показался безконечнымъ, несноснымъ! Полозовъ ѣлъ медленно, «съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой», внимательно наклоняясь надъ тарелкой, нюхая чуть не каждый кусокъ; сперва пополощетъ себѣ ротъ виномъ, потомъ уже проглотитъ и губами пошлепаетъ.... А за жаркимъ онъ вдругъ разговорился — но о чемъ? О мериносахъ, которыхъ намѣревался выписать цѣлое стадо, да такъ подробно, съ такой нѣжностью, употребляя все уменьшительныя имена. Выпивъ чашку горячаго, какъ кипятокъ, кофе — (онъ нѣсколько разъ, слезливо-раздраженнымъ голосомъ, напомнилъ кельнеру, что наканунѣ ему подали

кофе — холодный, холодный какъ ледъ!) и прикусивъ гаванскую сигару своими желтыми, кривыми зубами — онъ, по обычаю своему, задремалъ, къ великой радости Санина, который началъ ходить взадъ и впередъ неслышными шагами по мягкому ковру — и мечталъ о томъ, какъ онъ будетъ жить съ Джеммой, и съ какимъ извѣстіемъ вернется къ ней. Однако Полозовъ проснулся, по собственному замѣчанію, раньше обыкновеннаго, — онъ поспалъ всего полтора часика, и выпивъ стаканъ зельтерской воды со льдомъ, да проглотивъ ложекъ съ восемь варенья, русскаго варенья, которое принесъ ему каммердинеръ въ темнозеленой, настоящей «кіевской» банкѣ, и безъ котораго онъ, по его словамъ, жить не могъ — онъ уставился припухшими глазами на Санина и спросилъ его, не хочетъ ли онъ поиграть съ нимъ въ дурачки? Санинъ охотно согласился; онъ боялся, какъ бы Полозовъ опять не заговорилъ о барашкахъ, да о ярочкахъ, да о курдючкахъ съ жиркомъ. Хозяинъ и гость — оба перешли въ гостиную, кельнеръ принесъ карты — и началась игра, разумѣется, не на деньги.

За этимъ невиннымъ занятіемъ застала ихъ Марья Николаевна, вернувшись отъ графини Ласунской.

Она громко разсмѣялась, какъ только вошла въ комнату и увидала карты, и раскрытый ломберный столъ. Санинъ вскочилъ съ мѣста, но она воскликнула: «Сидите, играйте.— Я сейчасъ переодѣнусь и къ вамъ вернусь» — и опять исчезла, прошумѣвъ платьемъ и сдергивая перчатки на ходу.

Она точно вернулась очень скоро. Свое нарядное платье она замѣнила широкой шолковой блузой лиловаго цвѣта съ открытыми висячими рукавами: толстый крученый шнурокъ перехватывалъ ея талью. Она подсѣла къ мужу — и дождавшись, что онъ остался въ дуракахъ, сказала ему: «Ну, пышка, довольно! (при словѣ: «пышка», Санинъ съ изумленіемъ глянулъ на нее — а она весело улыбнулась, отвѣчая

взглядомъ на его взглядъ — и выказывая всѣ свои ямочки на щекахъ) — довольно; я вижу, ты спать хочешь; цѣлуй ручку и отправляйся; а мы съ г-мъ Санинымъ побесѣдуемъ вдвоемъ.

— Спать я не хочу, промолвилъ Полозовъ, грузно поднимаясь съ кресла, а отправиться — отправлюсь, и ручку поцѣлую. Она подставила ему свою ладонь, не переставая улыбаться и глядѣть на Санина.

Полозовъ тоже глянулъ на него — и ушелъ, не простившись.

— Ну, разсказывайте, разсказывайте, съ живостью проговорила Марья Николаевна, разомъ ставя оба обнаженные локтя на столъ и нетерпѣливо постукивая ногтями одной руки о ногти другой. Правда, вы, говорятъ, женитесь?

Сказавъ эти слова, Марья Николаевна даже голову немножко на бокъ нагнула, чтобы пристальнѣе и пронзительнѣе заглянуть Санину въ глаза.

XXXV.

Развязное обхожденіе г-жи Полозовой вѣроятно на первыхъ порахъ смутило бы Санина — хотя онъ новичкомъ не былъ и уже потерся между людьми — если бы въ самой этой развязности и фамиліарности онъ опять-таки не увидѣлъ хорошаго предзнаменованія для своего предпріятія. «Будемъ потакать капризамъ этой богатой барыни», рѣшилъ онъ про себя — и также непринужденно, какъ она его спрашивала, отвѣтилъ ей: — Да, я женюсь.

— На комъ? На иностранкѣ?

— Да.

— Вы недавно съ ней познакомились? Во Франкфуртѣ?

— Точно такъ.

— И кто она такая? Можно узнать?

— Можно. Она дочь кондитера.

Марья Николаевна широко раскрыла глаза и подняла брови.

— Да вѣдь это прелесть, проговорила она медлительнымъ голосомъ — это чудо! Я уже полагала, что такихъ молодыхъ людей, какъ вы, на свѣтѣ больше не встрѣчается. Дочь кондитера!

— Васъ это, я вижу, удивляетъ, замѣтилъ, не безъ достоинства Санинъ; но, во-первыхъ, у меня вовсе нѣтъ тѣхъ предразсудковъ....

— *Во-первыхъ*, это меня нисколько не удивляетъ, перебила Марья Николаевна — предразсудковъ и у меня нѣтъ. Я сама дочь мужика. А? что̀ взяли? Меня удивляетъ и радуетъ то, что вотъ человѣкъ не боится любить. Вѣдь вы ее любите?

— Да.

— Она очень хороша собою?

Санина слегка покоробило отъ этого послѣдняго вопроса.... Однако отступать уже не приходилось.

— Вы знаете, Марья Николаевна, началъ онъ — всякому человѣку лицо его возлюбленной кажется лучше всѣхъ другихъ: но моя невѣста — дѣйствительно красавица.

— Въ самомъ дѣлѣ? Въ какомъ родѣ? итальянскомъ? античномъ?

— Да; у ней очень правильныя черты.

— Съ вами нѣтъ ея портрета?

— Нѣтъ. (Въ то время о фотографіяхъ еще помину не было. Дагерротипы едва стали распространяться).

— Какъ ее зовутъ?

— Ея имя — Джемма.

— А ваше — какъ?

— Димитрій.

— По отчеству?

— Павловичъ.

— Знаете что̀, проговорила Марья Николаевна, все тѣмъ же медлительнымъ голосомъ — вы мнѣ очень нравитесь, Дмитрій Павловичъ. Вы, должно быть, хорошій человѣкъ. Дайте-ка мнѣ вашу руку. Будемте пріятелями.

Она крѣпко пожала его руку своими красивыми, бѣлыми, сильными пальцами. Ея рука была немногимъ меньше его руки — но гораздо теплѣй и глаже, и мягче и жизненнѣй.

— Только знаете, что̀ мнѣ приходитъ въ голову?

— Что̀?

— Вы не разсердитесь? Нѣтъ? Она, вы говорите, ваша невѣста. Но развѣ.... развѣ это непремѣнно было нужно?

Санинъ нахмурился. — Я васъ не понимаю, Марья Николаевна.

Марья Николаевна засмѣялась тихохонько — и, встряхнувъ головою, откинула назадъ падавшіе ей на щеки волосы. — Рѣшительно — онъ прелесть, промолвила она не то задумчиво, не то разсѣянно. Рыцарь! Подите, вѣрьте послѣ этого людямъ, которые утверждаютъ, что идеалисты всѣ перевелись!

Марья Николаевна все время говорила по-русски удивительно-чистымъ, прямо московскимъ языкомъ — народнаго, не дворянскаго пошиба.

— Вы навѣрное дома воспитывались, въ старозавѣтномъ, богобоязненномъ семействѣ? спросила она. Вы какой губерніи?

— Тульской.

— Ну такъ мы однокорытники. Мой отецъ.... Вѣдь вамъ извѣстно, кто былъ мой отецъ?

— Да, извѣстно.

— Онъ въ Тулѣ родился.... Тулякъ былъ. Ну хорошо.... (Это «хорошо» Марья Николаевна уже съ намѣреніемъ вы-

говорила совсѣмъ по-мѣщанскому — вотъ такъ: хершòо). Ну, давайте же теперь, за дѣло примемся.

— То-есть.... какъ же это такъ за дѣло приняться? Что вамъ угодно этимъ сказать?

Марья Николаевна прищурилась. — Да вы зачѣмъ сюда пріѣхали? (Когда она щурила глаза, выраженіе ихъ становилось очень ласковымъ и немного насмѣшливымъ; когда же она раскрывала ихъ во всю величину — въ ихъ свѣтломъ, почти холодномъ блескѣ проступало что-то недоброе.... что-то угрожающее. Особенную красоту придавали ея глазамъ — ея брови, густыя, немного надвинутыя, настоящія соболиныя). Вы хотите, чтобы я у васъ купила имѣніе? Вамъ нужны деньги для вашего бракосочетанія? Не такъ ли?

— Да, нужны.

— И много вамъ ихъ требуется?

— На первый случай, я бы удовольствовался нѣсколькими тысячами франковъ. Вашему супругу мое имѣніе извѣстно. Вы можете посовѣтываться съ нимъ — а я бы взялъ цѣну недорогую.

Марья Николаевна повела головою направо и налѣво.— *Во-первыхъ*, начала она, съ разстановкой, ударяя концами пальцевъ по обшлагу Санинскаго сюртука — я не имѣю привычки совѣтываться съ мужемъ, развѣ вотъ насчетъ туалета — онъ на это у меня молодецъ; а *во-вторыхъ*, зачѣмъ вы говорите, что вы цѣну назначите недорогую? Я не хочу воспользоваться тѣмъ, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякія жертвы.... Я никакихъ жертвъ отъ васъ не приму. Какъ? Вмѣсто того, чтобы поощрять въ васъ.... ну, какъ бы это сказать получше? благородныя чувства, что-ли? я васъ стану обдирать какъ липку? Это не въ моихъ привычкахъ. Когда случится, я людей не щажу— только не такимъ манеромъ.

Санинъ никакъ не могъ понять, что̀ она — смѣется ли надъ нимъ, или говоритъ серьезно? а только думалъ про себя: «о, да съ тобой держи ухо востро!»

Слуга вошелъ съ русскимъ самоваромъ, чайнымъ приборомъ, сливками, сухарями и т. п., на большомъ подносѣ, разставилъ всю эту благодать на столѣ между Санинымъ и г-жею Полозовой — и удалился.

Она налила ему чашку чаю. — Вы не брезгаете? спросила она, накладывая ему сахаръ въ чашку пальцами.... а щипчики лежали тутъ же.

— Помилуйте!... Отъ такой прекрасной руки....

Онъ не закончилъ фразы и чуть не поперхнулся глоткомъ чаю, а она внимательно и ясно глядѣла на него.

— Я потому упомянулъ о недорогой цѣнѣ моего имѣнія, продолжалъ онъ, что такъ какъ вы теперь находитесь за границей, то я не могу предполагать у васъ много свободныхъ денегъ, и наконецъ, я самъ чувствую, что продажа.... или покупка имѣнія, при подобныхъ условіяхъ — есть нѣчто ненормальное, и я долженъ взять это въ соображеніе.

Санинъ путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядѣла на него тѣмъ же внимательнымъ и яснымъ взглядомъ. Онъ наконецъ умолкъ.

— Ничего, говорите, говорите, промолвила она, какъ-бы приходя ему на помощь; я васъ слушаю — мнѣ пріятно васъ слушать; говорите.

Санинъ принялся описывать свое имѣніе, сколько въ немъ десятинъ и гдѣ оно находится, и каковы въ немъ хозяйственныя угодья, и какія можно извлечь изъ него выгоды.... упомянулъ даже о живописномъ мѣстоположеніи усадьбы; а Марья Николаевна все глядѣла да глядѣла на него — все свѣтлѣе и пристальнѣе, и губы ея чуть-чуть

двигались безъ улыбки: она покусывала ихъ. Ему стало неловко наконецъ; онъ замолчалъ вторично.

— Дмитрій Павловичъ, начала Марья Николаевна — и задумалась.... Дмитрій Павловичъ, повторила она... Знаете что̀: я увѣрена, что покупка вашего имѣнія — очень выгодная для меня аффера и что мы сойдемся; но вы должны мнѣ дать.... два дня — да, два дня сроку. Вѣдь вы въ состояніи на два дня разстаться съ вашей невѣстой? Дольше я васъ не продержу, противъ вашей воли — даю вамъ честное слово. Но если вамъ нужны теперь же пять, шесть тысячъ франковъ, я съ великимъ удовольствіемъ готова предложить вамъ ихъ взаймы — а тамъ мы сочтемся.

Санинъ поднялся. — Я долженъ благодарить васъ, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человѣку, почти совсѣмъ вамъ незнакомому.... Но если уже вамъ непремѣнно такъ угодно, то я предпочту дождаться вашего рѣшенія насчетъ моего имѣнія — останусь здѣсь два дня.

— Да; мнѣ такъ угодно, Дмитрій Павловичъ. А вамъ будетъ очень тяжело? Очень? Скажите.

— Я люблю свою невѣсту, Марья Николаевна — и разлука съ ней мнѣ не легка.

— Ахъ, вы золотой человѣкъ! со вздохомъ промолвила Марья Николаевна. Обѣщаюсь не слишкомъ томить васъ. Вы уходите?

— Уже поздно, замѣтилъ Санинъ.

— А вамъ надо отдохнуть отъ дороги — и отъ игры въ дурачки съ моимъ мужемъ. Скажите — вы Ипполиту Сидорычу, моему мужу, большой пріятель?

— Мы воспитывались въ одномъ пансіонѣ.

— И онъ уже тогда былъ такой?

— Какой «такой?» спросилъ Санинъ.

Марья Николаевна вдругъ засмѣялась, засмѣялась до

красноты всего лица, поднесла платокъ къ губамъ, встала съ кресла — и, покачиваясь, какъ усталая, подошла къ Санину и протянула ему руку.

Онъ раскланялся — и направился къ двери.

— Извольте завтра пораньше явиться — слышите? крикнула она ему въ слѣдъ. Онъ глянулъ назадъ, уходя изъ комнаты — и увидѣлъ, что она опять опустилась въ кресло и закинула обѣ руки за голову. Широкіе рукава блузы скатились почти до самыхъ плечъ — и нельзя было не сознаться, что поза этихъ рукъ, что вся эта фигура была обаятельно-прекрасна.

XXXVI.

Далеко за полночь горѣла лампа въ комнатѣ Санина. Онъ сидѣлъ за столомъ и писалъ «своей Джеммѣ». Разсказалъ ей все; описалъ ей Полозовыхъ — мужа и жену — впрочемъ больше распространялся насчетъ собственныхъ чувствъ — и кончилъ тѣмъ, что назначилъ ей свиданіе черезъ три дня!!! (съ тремя восклицательными знаками). Утромъ рано онъ отнесъ это письмо на почту и пошелъ прогуляться по саду Кургауза, гдѣ уже играла музыка. Народу было еще мало; онъ постоялъ передъ бесѣдкой, въ которой помѣщался оркестръ, прослушалъ попурри изъ «Роберта-Дьявола» — и, напившись кофе, отправился въ боковую, уединенную аллею, присѣлъ на лавочку — и задумался.

Ручка зонтика проворно — и довольно крѣпко — постучала по его плечу. Онъ встрепенулся.... Передъ нимъ, въ легкомъ, сѣро-зеленомъ барежевомъ платьѣ, въ бѣлой тюлевой шляпкѣ, въ шведскихъ перчаткахъ, свѣжая и розовая какъ лѣтнее утро, но съ неизчезнувшей еще нѣгой безмятежнаго сна въ движеніяхъ и во взорахъ, стояла Марья Николаевна.

— Здравствуйте, промолвила она. Я сегодня посылала за вами, да вы уже ушли. Я только-что отпила свой второй стаканъ — меня, вы знаете, заставляютъ здѣсь воду пить — Богъ вѣдаетъ, зачѣмъ.... ужъ я ли не здорова? И вотъ я должна гулять цѣлый часъ. Хотите вы быть моимъ спутникомъ? А тамъ мы кофе напьемся.

— Я уже пилъ, промолвилъ Санинъ, вставая; но я очень радъ гулять съ вами.

— Ну такъ дайте же мнѣ вашу руку.... Не бойтесь: вашей невѣсты здѣсь нѣтъ — она васъ не увидитъ.

Санинъ принужденно улыбнулся. Онъ испытывалъ ощущеніе непріятное всякій разъ, когда Марья Николаевна упоминала о Джеммѣ. Однако, онъ поспѣшно и послушно наклонился.... Рука Марьи Николаевны медленно и мягко опустилась на его руку — и скользнула по ней, и какъ-бы прильнула къ ней.

— Пойдемте — вотъ сюда, сказала она ему, закинувъ раскрытый зонтикъ за плечо. Я въ здѣшнемъ паркѣ какъ дома: поведу васъ по хорошимъ мѣстамъ. И знаете что: (она часто употребляла эти два слова) — мы съ вами не будемъ говорить теперь объ этой покупкѣ; мы о ней послѣ завтрака хорошенько потолкуемъ; а вы должны мнѣ теперь разсказать о себѣ.... чтобы я знала, съ кѣмъ я имѣю дѣло. А послѣ, если хотите, я вамъ о себѣ поразскажу. Согласны?

— Но, Марья Николаевна, что̀ можетъ быть для васъ интереснаго....

— Постойте, постойте. Вы не такъ меня поняли. Я съ вами не кокетничать хочу. — Марья Николаевна пожала плечами. — У него невѣста, какъ древняя статуя, а я буду съ нимъ кокетничать?! Но у васъ товаръ — а я купецъ. Я и хочу знать, каковъ у васъ товаръ. Ну-ка, показывайте — каковъ онъ? Я хочу знать нетолько, что я покупаю, но и у кого я покупаю. Это было правило моего батюшки. Ну,

начинайте.... Ну хоть не съ дѣтства — ну вотъ — давно ли вы за границей? И гдѣ вы были до сихъ поръ? Только идите тише — намъ некуда спѣшить.

— Я сюда прибылъ изъ Италіи, гдѣ я пробылъ нѣсколько мѣсяцевъ.

— А у васъ, видно, особое влеченіе ко всему итальянскому? Странно, что вы не *тамъ* нашли свой предметъ. Вы любите художества? Картины? или больше — музыку?

— Я люблю искусство.... Я все прекрасное люблю.

— И музыку?

— И музыку тоже.

— А я ея совсѣмъ не люблю. Нравятся мнѣ однѣ русскія пѣсни — и то въ деревнѣ, и то весной — съ пляской, знаете.... Красные кумачи, поднизи, на выгонѣ молоденькая травка, дымкомъ попахиваетъ.... чудесно! Но не обо мнѣ рѣчь. Говорите же, разсказывайте.

Марья Николаевна сама шла, а сама то и дѣло взглядывала на Санина. Она была высокаго роста — ея лицо приходилось почти въ уровень съ его лицомъ.

Онъ принялся разсказывать — сначала неохотно, неумѣло — а потомъ разговорился, разболтался даже. Марья Николаевна очень умно слушала; да къ тому же она сама казалась до того откровенной, что невольно и другихъ вызывала на откровенность. Она обладала тѣмъ великимъ даромъ «обиходности» — le terrible don de la familiarité, о которомъ упоминаетъ кардиналъ Ретцъ. Санинъ говорилъ о своихъ путешествіяхъ, о житьѣ въ Петербургѣ, о своей молодости.... Будь Марья Николаевна свѣтской дамой, съ утонченными манерами — онъ никогда бы такъ не распустился; но она сама называла себя добрымъ малымъ, не терпящимъ никакихъ церемоній; она именно такъ отрекомендовала себя Санину. И въ то же время этотъ «добрый малый» шелъ рядомъ съ нимъ кошачьей походкой, слегка

прислоняясь къ нему, и заглядывалъ ему въ лицо; — и шелъ онъ въ образѣ молодого женскаго существа, отъ котораго такъ и вѣяло тѣмъ разбирающимъ и томящимъ, тихимъ и жгучимъ соблазномъ, какимъ способны донимать нашего брата — грѣшнаго, слабаго мужчину однѣ — и то нѣкоторыя, и то не чистыя, а съ надлежащей помѣсью — славянскія натуры!

Прогулка Санина съ Марьей Николаевной, бесѣда Санина съ Марьей Николаевной продолжалась часъ слишкомъ. И ни разу они не останавливались — все шли да шли по безконечнымъ аллеямъ парка, то поднимаясь въ гору и на ходу любуясь видомъ, то спускаясь въ долину и укрываясь въ непроницаемую тѣнь — и все рука съ рукой. Временами Санину даже досадно становилось: онъ съ Джеммой, съ своей милой Джеммой никогда такъ долго не гулялъ.... а тутъ эта барыня завладѣла имъ — и баста! — Не устали ли вы? спрашивалъ онъ ее не однажды. — Я никогда не устаю, отвѣчала она. Изрѣдка имъ попадались гуляющіе; почти всѣ ей кланялись — иные почтительно, другіе даже подобострастно. Одному изъ нихъ, весьма красивому, щегольски одѣтому брюнету она крикнула издали, съ самымъ лучшимъ парижскимъ акцентомъ: «Comte, vous savez, il ne faut pas venir me voir — ni aujourd'hui, ni demain». Тотъ снялъ, молча, шляпу и отвѣсилъ низкій поклонъ.

— Кто это? спросилъ Санинъ, по дурной привычкѣ — «любопытствовать», свойственной всѣмъ русскимъ.

— Это? Одинъ французикъ — ихъ здѣсь много вертится.... За мной ухаживаетъ — тоже. Однако, пора кофе пить. Пойдемте домой; вы, чай, успѣли проголодаться. Мой благовѣрный, должно быть, теперь глаза продралъ.

«Благовѣрный! Глаза продралъ!!» повторилъ про себя Санинъ.... «И говоритъ такъ отлично по-французски.... Что за чудачка!»

Марья Николаевна не ошиблась. Когда она вмѣстѣ съ Санинымъ вернулась въ гостинницу — «благовѣрный» или «пышка» сидѣлъ уже, съ неизмѣнной феской на головѣ, передъ накрытымъ столомъ.

— А я тебя прождался! воскликнулъ онъ, скорчивъ кислую мину. Хотѣлъ уже кофе безъ тебя пить.

— Ничего, ничего, весело возразила Марья Николаевна. — Ты сердился? Это тебѣ здорово: а то ты совсѣмъ застынешь. Я, вотъ, гостя привела. Звони скорѣе! Давайте пить кофе, кофе — самый лучшій кофе — въ саксонскихъ чашкахъ, на бѣлоснѣжной скатерти!

Она скинула шляпу, перчатки — и захлопала въ ладоши.

Полозовъ глянулъ на нее изъ подлобья.

— Что это вы сегодня такъ разскакались, Марья Николаевна? проговорилъ онъ въ полголоса.

— А не ваше дѣло, Ипполитъ Сидорычъ! Звони! Дмитрій Павловичъ, садитесь — и пейте кофе во второй разъ! Ахъ, какъ весело приказывать! Другого удовольствія на свѣтѣ нѣтъ!

— Когда слушаются, проворчалъ опять супругъ.

— Именно, когда слушаются! Оттого-то мнѣ и весело. Особенно съ тобою. Не правда ли, пышка? А вотъ и кофе.

На громадномъ подносѣ, съ которымъ появился кельнеръ, находилась также и театральная афишка. Марья Николаевна тотчасъ ухватилась за нее.

— Драма! произнесла она съ негодованіемъ; — нѣмецкая драма. Все равно: лучше чѣмъ нѣмецкая комедія. Велите мнѣ взять ложу — бенуаръ — или нѣтъ.... лучше Fremden-Loge, обратилась она къ кельнеру. Слышите ли: непремѣнно Fremden-Loge!

— Но если Fremden-Loge уже взята его превосходительствомъ, директоромъ города — (seine Excellenz der Herr Stadt-Director) — осмѣлился доложить кельнеръ.

— Дайте его превосходительству десять талеровъ — а чтобъ ложа у меня была! Слышите!

Кельнеръ покорно и печально наклонилъ голову.

— Дмитрій Павловичъ, вы поѣдете со мной въ театръ? нѣмецкіе актеры ужасны — но вы поѣдете.... Да? Да! Какой вы любезный! Пышка, а ты не пойдешь?

— Какъ прикажешь, проговорилъ Полозовъ въ чашку, которую поднесъ ко рту.

— Знаешь что̀: останься. Ты въ театрѣ все спишь, — да и по-нѣмецки ты понимаешь плохо. Ты лучше вотъ что̀ сдѣлай: напиши отвѣтъ управляющему — помнишь, насчетъ нашей мельницы.... насчетъ крестьянскаго помо̀лу. Скажи ему, что я не хочу, не хочу и не хочу! Вотъ тебѣ и занятіе на цѣлый вечеръ.

— Слушаю, отвѣтилъ Полозовъ.

— Ну, вотъ и прекрасно. Ты у меня умница. А теперь, господа, благо мы заговорили объ управляющемъ, будемте толковать о главномъ нашемъ дѣлѣ. Вотъ какъ только кельнеръ уберетъ со стола, вы намъ все разскажете, Дмитрій Павловичъ, о своемъ имѣніи — какъ, что, за какую цѣну продаете, сколько хотите задатку впередъ, — словомъ, все! (Наконецъ-то, подумалъ Санинъ, — слава Богу!). Вы ужъ мнѣ кое-что сообщили, садъ свой, помнится, чудесно описали — да «пышки» при этомъ не было.... Пусть онъ послушаетъ — все что-нибудь пробуркнетъ! Мнѣ очень пріятно думать, что я могу помочь вамъ жениться — да я же обѣщала вамъ, что послѣ завтрака займусь вами; а я всегда держу свои обѣщанія; — неправда ли, Ипполитъ Сидорычъ?

Полозовъ потеръ себѣ лицо ладонью. — Что правда, то правда, вы никого не обманываете.

— Никогда! и никогда никого не обману. Ну, Дмитрій Павловичъ, — излагайте дѣло, какъ мы выражаемся въ сенатѣ.

XXXVII.

Санинъ принялся «излагать дѣло» — т. е. опять, во второй разъ, описывать свое имѣніе, но уже не касаясь красотъ природы — и отъ времени до времени ссылаясь на Полозова, для подтвержденія приводимыхъ «фактовъ и цифръ». Но Полозовъ только хмыкалъ и головой покачивалъ — одобрительно ли — или неодобрительно — этого, кажется, самъ чортъ бы не разобралъ. Впрочемъ Марья Николаевна и не нуждалась въ его участіи. Она выказывала такія коммерческія и административныя способности, что оставалось только изумляться! Вся подноготная хозяйства была ей отлично извѣстна; она обо всемъ аккуратно разспрашивала, во все входила; каждое ея слово попадало въ цѣль, ставило точку прямо на і. Санинъ не ожидалъ подобнаго экзамена: онъ не приготовился. И продолжался этотъ экзаменъ цѣлыхъ полтора часа. Санинъ испытывалъ всѣ ощущенія подсудимаго, сидящаго на узенькой скамеечкѣ передъ строгимъ и проницательнымъ судьею. «Да это допросъ!» тоскливо шепталъ онъ про себя. Марья Николаевна все время посмѣивалась, словно шутила: но отъ этого Санину не было легче; а когда въ теченіе «допроса» оказалось, что онъ не совсѣмъ ясно понималъ значеніе словъ: «передѣлъ» и «запашка» — такъ его даже потъ прошибъ.

— Ну, хорошо! рѣшила наконецъ Марья Николаевна. Ваше имѣніе я теперь знаю.... не хуже васъ. Какую же цѣну вы положите за душу? (Въ то время цѣны имѣніямъ, какъ извѣстно, опредѣлялись по душамъ).

— Да.... я полагаю.... меньше пятисотъ рублей взять нельзя — съ трудомъ проговорилъ Санинъ. (О, Панталеоне, Панталеоне, гдѣ ты? Вотъ бы когда тебѣ пришлось снова воскликнуть: Barbari!).

Марья Николаевна взвела глаза къ небу, какъ-бы соображая.

— Что-жъ? промолвила она наконецъ. Эта цѣна мнѣ кажется безобидной. Но я выговорила себѣ два дня сроку — и вы должны подождать до завтра. Я полагаю, что мы сойдемся — и тогда вы скажете, сколько вамъ потребуется задатку. А теперь basta cosi! подхватила она, замѣтивъ, что Санинъ хотѣлъ что-то возразить. Довольно мы занимались презрѣннымъ металломъ..... à demain les affaires! Знаете что̀: я теперь отпускаю васъ.... (она глянула на эмалевые часики, заткнутые у ней за поясомъ).... до трехъ часовъ.... Надо-жъ дать вамъ отдохнуть. Ступайте, поиграйте въ рулетку.

— Я никогда въ азартныя игры не играю, замѣтилъ Санинъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Да вы совершенство. Впрочемъ, и я не играю. Глупо бросать деньги на вѣтеръ — навѣрняка. Но подите въ игорную залу, посмотрите на физіономіи. Попадаются презабавныя. Старуха есть тамъ одна, съ фероньеркой и съ усами — чудо! Нашъ князь тамъ одинъ — тоже хорошъ. Фигура величественная, носъ какъ у орла, а поставитъ талеръ — крестится украдкой подъ жилеткой. Читайте журналы, гуляйте, словомъ, дѣлайте что̀ хотите.... А въ три часа я васъ ожидаю.... de pied ferme. Надо будетъ пораньше пообѣдать. Театръ у этихъ смѣшныхъ нѣмцевъ начинается въ половинѣ седьмого. Она протянула руку. Sans rancune, n'est-ce pas?

— Помилуйте, Марья Николаевна, за что я буду на васъ досадовать?

— А за то, что я васъ мучила. Погодите, я васъ еще не такъ — прибавила она, прищуривъ глаза — и всѣ ея ямочки разомъ выступили на заалѣвшихся щекахъ. До свиданія!

Санинъ поклонился и вышелъ. Веселый смѣхъ раздался вслѣдъ за нимъ — и въ зеркалѣ, мимо котораго онъ проходилъ въ это мгновенье, отразилась слѣдующая сцена: Марья Николаевна надвинула своему супругу его феску на глаза, а онъ безсильно барахтался обѣими руками.

XXXVIII.

О, какъ глубоко и радостно вздохнулось Санину, какъ только онъ очутился у себя въ комнатѣ! Точно: Марья Николаевна правду сказала — ему слѣдовало отдохнуть, отдохнуть отъ всѣхъ этихъ новыхъ знакомствъ, столкновеній, разговоровъ, отъ этого чада, который забрался ему въ голову, въ душу — отъ этого негаданнаго, непрошеннаго сближенія съ женщиной, столь чуждой ему! И когда же все это совершается? Чуть не на другой день, послѣ того, какъ онъ узналъ, что Джемма его любитъ, какъ онъ сталъ ея женихомъ? Да вѣдь это святотатство! Тысячу разъ просилъ онъ мысленно прощенья у своей чистой, непорочной голубицы — хотя онъ собственно ни въ чемъ обвинить себя не могъ; тысячу разъ цѣловалъ данный ею крестикъ. Не имѣй онъ надежды скоро и благополучно окончить дѣло, за которымъ пріѣхалъ въ Висбаденъ — опрометью бросился бы онъ оттуда, назадъ — въ милый Франкфуртъ, въ тотъ дорогой, теперь уже родственный ему домъ, къ ней, къ возлюбленнымъ ея ногамъ.... Но дѣлать нечего! Надо испить фіалъ до дна, надо одѣться, идти обѣдать — а оттуда въ театръ.... Хоть бы завтра она его поскорѣй отпустила!

Еще одно его смущало, его сердило: онъ съ любовью, съ умиленіемъ, съ благодарнымъ восторгомъ думалъ о Джеммѣ, о жизни съ нею вдвоемъ, о счастіи, которое его

ожидало въ будущемъ — и между тѣмъ эта странная женщина, эта госпожа Полозова неотступно носилась.... нѣтъ! не носилась — торчала.... такъ именно, съ особымъ злорадствомъ выразился Санинъ — *торчала* передъ его глазами — и не могъ онъ отдѣлаться отъ ея образа, не могъ не слышать ея голоса, не вспоминать ея рѣчей — не могъ не ощущать даже того особеннаго запаха, тонкаго, свѣжаго и пронзительнаго, какъ запахъ желтыхъ лилій, которымъ вѣяло отъ ея одеждъ. Эта барыня явно дурачитъ его, и такъ и сякъ къ нему подъѣзжаетъ.... Зачѣмъ это? что ей надо? Неужели же это одна прихоть избалованной, богатой — и едва ли не безнравственной женщины? И этотъ мужъ?! Что это за существо? Какія его отношенія къ ней? И къ чему лѣзутъ эти вопросы въ голову ему, Санину, которому собственно нѣтъ никакого дѣла ни до г-на Полозова, ни до его супруги? Почему не можетъ онъ прогнать этотъ неотвязный образъ, даже тогда, когда обращается всей душою къ другому, свѣтлому и ясному, какъ Божій день? Какъ смѣютъ — сквозь тѣ, почти-божественныя черты — сквозить *эти?* И онѣ не только сквозятъ — онѣ ухмыляются дерзостно. Эти сѣрые, хищные глаза, эти ямочки на щекахъ, эти змѣевидныя косы — да неужели же это все словно прилипло къ нему и онъ стряхнуть, отбросить прочь все это не въ силахъ, не можетъ?

Вздоръ! вздоръ! завтра же это все исчезнетъ безъ слѣда.... Но отпуститъ ли она его завтра?

Да.... Всѣ эти вопросы онъ себѣ ставилъ — а стало время, пододвигаться къ тремъ часамъ — и надѣлъ онъ черный фракъ, да, погулявши немного по парку, отправился къ Полозовымъ.

Онъ засталъ у нихъ въ гостиной секретаря посольства изъ нѣмцевъ, длиннаго, длиннаго, бѣлокураго, съ лошадинымъ профилемъ и проборомъ сзади — (тогда это было еще въ-новѣ) — и.... о чудо! кого еще? Фонъ-Дöнгофа, того самаго офицера, съ которымъ дрался нѣсколько дней тому назадъ! Онъ никакъ не ожидалъ встрѣтить его именно тутъ — и невольно смутился, однако раскланялся съ нимъ.

— Вы знакомы? спросила Марья Николаевна, отъ которой не ускользнуло смущеніе Санина.

— Да.... я имѣлъ уже честь, промолвилъ Дöнгофъ — и, наклонившись слегка въ сторону Марьи Николаевны, прибавилъ въ полголоса, съ улыбкой: Тотъ самый.... Вашъ соотечественникъ.... русскій....

— Не можетъ быть! воскликнула она также въ полголоса, погрозила ему пальцемъ — и тотчасъ же стала прощаться — и съ нимъ и съ длиннымъ секретаремъ, который, по всѣмъ признакамъ, былъ смертельно въ нее влюбленъ — ибо даже ротъ раскрывалъ всякій разъ, когда на нее взглядывалъ. Дöнгофъ удалился немедленно, съ любезной покорностью, какъ другъ дома, который съ полу-слова понимаетъ, чего отъ него требуютъ; секретарь заартачился-было, но Марья Николаевна выпроводила его безъ всякихъ церемоній,

— Ступайте къ вашей владѣтельной особѣ, сказала она ему (тогда въ Висбаденѣ проживала нѣкая принчипесса ди Монако, изумительно смахивавшая на плохую лоретку) — что вамъ сидѣть у такой плебейки, какъ я?

— Помилуйте, сударыня, увѣрялъ злополучный секретарь — всѣ принчипессы въ мірѣ....

Но Марья Николаевна была безжалостна — и секретарь ушелъ вмѣстѣ со своимъ проборомъ.

Марья Николаевна въ тотъ день принарядилась очень къ своему «авантажу», какъ говаривали наши бабушки. На ней было шелковое розовое платье глясэ, съ рукавами à la

Fontanges и по крупному бриллiанту въ каждомъ ухѣ. Глаза ея блистали не хуже тѣхъ бриллiантовъ: она казалась въ духѣ и въ ударѣ.

Она усадила Санина возлѣ себя и начала говорить ему о Парижѣ, куда собиралась ѣхать черезъ нѣсколько дней, о томъ, что нѣмцы ей надоѣли, что они глупы когда умничаютъ, и некстати умны, когда глупятъ; — да вдругъ, какъ говорится, въ упоръ — à brule pourpoint — спросила его, правда ли, что онъ вотъ съ этимъ самымъ офицеромъ, который сейчасъ тутъ сидѣлъ, надняхъ дрался изъ-за одной дамы?

— Вамъ это почему извѣстно? пробормоталъ изумленный Санинъ.

— Слухомъ земля полнится, Дмитрiй Павловичъ; но, впрочемъ, я знаю, что вы были правы, тысячу разъ правы— и вели себя какъ рыцарь. Скажите — эта дама — была ваша невѣста?

Санинъ слегка наморщилъ брови....

— Ну, не буду, не буду, поспѣшно проговорила Марья Николаевна. Вамъ это непрiятно, простите меня, не буду! не сердитесь! Полозовъ появился изъ сосѣдней комнаты съ листомъ газеты въ рукахъ. — Что̀ ты? или обѣдъ готовъ!

— Обѣдъ сейчасъ подаютъ, а ты посмотри-ка, что я въ «Сѣверной Пчелѣ» вычиталъ.... Князь Громобой умеръ.

Марья Николаевна подняла голову.

— А! царство ему небесное! Онъ мнѣ каждый годъ, обратилась она къ Санину, въ февралѣ, ко дню моего рожденiя, всѣ комнаты убиралъ камелiями. Но для этого еще не сто̀итъ жить въ Петербургѣ зимой. Что̀ ему, пожалуй, за семьдесятъ лѣтъ было? спросила она мужа.

— Было. Похороны его въ газетѣ описываютъ. Весь дворъ присутствовалъ. Вотъ и стихи князя Коврижкина по этому случаю.

— Ну и чудесно.

— Хочешь, прочту? Князь его называетъ мужемъ совѣта.

— Нѣтъ, не хочу. Какой онъ былъ мужъ совѣта! Онъ просто былъ мужъ Татьяны Юрьевны. Пойдемте обѣдать. Живой живое думаетъ. Дмитрій Павловичъ, вашу руку.

Обѣдъ былъ, по вчерашнему, удивительный и прошелъ весьма оживленно. Марья Николаевна умѣла разсказывать.... рѣдкій даръ въ женщинѣ, да еще въ русской! Она не стѣснялась въ выраженіяхъ; особенно доставалось отъ нея соотечественницамъ. Санину не разъ пришлось расхохотаться отъ иного бойкаго и мѣткаго словца. Пуще всего Марья Николаевна не терпѣла ханжества, фразы и лжи.... Она находила ее почти повсюду. Она словно щеголяла и хвасталась той низменной средою, въ которой началась ея жизнь; сообщала довольно странные анекдоты о своихъ родныхъ изъ времени своего дѣтства; называла себя лапотницей, не хуже Натальи Кириловны Нарышкиной. Санину стало очевиднымъ, что она испытала на своемъ вѣку гораздо больше, чѣмъ многое множество ея сверстницъ.

А Полозовъ кушалъ обдуманно, пилъ внимательно и только изрѣдка вскидывалъ то на жену, то на Санина, свои бѣлесоватые, съ виду слѣпые, въ сущности очень зрячіе глаза. — Какой ты у меня умница! воскликнула Марья Николаевна, обратившись къ нему; какъ ты всѣ мои коммиссіи во Франкфуртѣ исполнилъ! Поцѣловала бы я тебя въ лобикъ — да ты у меня за этимъ не гоняешься.

— Не гоняюсь, отвѣчалъ Полозовъ, и взрѣзалъ ананасъ серебрянымъ ножомъ.

Марья Николаевна посмотрѣла на него и постучала пальцами по столу.

— Такъ, идетъ наше пари? промолвила она значительно.

— Идетъ.

— Ладно. Ты проиграешь.

Полозовъ выставилъ подбородокъ впередъ. — Ну, на этотъ разъ, какъ ты на себя ни надѣйся, Марья Николаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты.

— О чемъ пари? Можно узнать? спросилъ Санинъ.

— Нѣтъ.... нельзя, теперь, отвѣтила Марья Николаевна — и засмѣялась.

Пробило семь часовъ. Кельнеръ доложилъ, что карета готова. Полозовъ проводилъ жену и тотчасъ же поплелся назадъ къ своему креслу.

— Смотри же! Не забудь письма къ управляющему! крикнула ему Марья Николаевна изъ передней.

— Напишу, не безпокойся. Я человѣкъ аккуратный.

XXXIX.

Въ 1840-мъ году театръ въ Висбаденѣ былъ и по наружности плохъ, а труппа его, по фразистой и мизерной посредственности, по старательной и пошлой рутинѣ, ни на волосъ не возвышалась надъ тѣмъ уровнемъ, который до сихъ поръ можно считать нормальнымъ для всѣхъ германскихъ театровъ, и совершенство котораго въ послѣднее время представляла труппа въ Карлсруэ, подъ «знаменитымъ» управленіемъ г-на Девріента. Позади ложи, взятой для «ея свѣтлости г-жи фонъ-Полозовъ» (Богъ вѣдаетъ, какъ умудрился кельнеръ ее достать — не подкупилъ же онъ штадтъ-директора въ самомъ дѣлѣ!) позади этой ложи находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками; прежде чѣмъ войти въ нее, Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отдѣлявшія ложу отъ театра.

— Я не хочу, чтобы меня видѣли, сказала она: а то вѣдь сейчасъ полѣзутъ. Она и его посадила возлѣ себя, спиною къ залѣ, такъ, чтобы ложа казалась пустою.

Оркестръ проигралъ увертюру изъ «Свадьбы Фигаро».... Занавѣсъ поднялся: пьеса началась.

То было одно изъ многочисленныхъ доморощенныхъ произведеній, въ которыхъ начитанные, но бездарные авторы отборнымъ, но мертвеннымъ языкомъ, прилежно, но неуклюже проводили какую-нибудь «глубокую» или «животрепещущую» идею, представляли такъ-называемый трагическій конфликтъ и наводили скуку.... азіатскую, какъ бываетъ азіатская холера. Марья Николаевна терпѣливо выслушала половину акта, но когда первый любовникъ, узнавъ объ измѣнѣ своей возлюбленной (одѣтъ онъ былъ въ коричневый сюртукъ съ «буфами» и плисовымъ воротникомъ, полосатый жилетъ съ перламутровыми пуговицами, зеленые панталоны со штрипками изъ лакированной кожи и бѣлыя замшевыя перчатки), когда этотъ любовникъ, уперевъ оба кулака въ грудь и оттопыривъ локти впередъ, подъ острымъ угломъ, завылъ уже прямо по-собачьи — Марья Николаевна не выдержала.

— Послѣдній французскій актеръ, въ послѣднемъ провинціальномъ городишкѣ, естественнѣе и лучше играетъ, чѣмъ первая нѣмецкая знаменитость, съ негодованіемъ воскликнула она — и пересѣла въ заднюю комнатку. — Подите сюда, сказала она Санину, постукивая рукою возлѣ себя по дивану. Будемте болтать.

Санинъ повиновался.

Марья Николаевна глянула на него. — А вы, я вижу, шелковый! Вашей женѣ будетъ съ вами легко. Этотъ шутъ, продолжала она, указывая концомъ вѣера на завывавшаго актера (онъ исполнялъ роль домашняго учителя) напомнилъ мнѣ мою молодость: я тоже была влюблена въ учителя.

Это была моя первая.... нѣтъ, моя вторая пассія. Въ первый разъ я влюбилась въ служку Донского монастыря. Мнѣ было двѣнадцать лѣтъ. Я видѣла его только по воскресеньямъ. Онъ носилъ бархатный подрясникъ, душился оделаваномъ, пробираясь въ толпѣ съ кадиломъ, говорилъ дамамъ по-французски: «пардонъ, экскюзé» — и никогда не поднималъ глазъ, а рѣсницы у него были — вотъ какія! — Марья Николаевна отдѣлила ногтемъ большого пальца цѣлую половину своего мизинца и показала Санину. — Учителя моего звали — monsieur Gaston! Надо вамъ сказать, что онъ былъ ужасно-ученый и престрогій человѣкъ, изъ швейцарцевъ — и съ такимъ энергическимъ лицомъ! Бакенбарды черныя какъ смоль, греческій профиль — и губы какъ изъ желѣза вылитыя! Я его боялась! Я во всей моей жизни только одного этого человѣка и боялась. Онъ былъ гувернеромъ моего брата, который потомъ умеръ.... утонулъ. Одна цыганка и мнѣ предсказала насильственную смерть — но это вздоръ. Я этому не вѣрю. Представьте вы себѣ Ипполита Сидорыча съ кинжаломъ?!..

— Можно умереть и не отъ кинжала, замѣтилъ Санинъ.

— Все это вздоръ! Вы суевѣрны? Я — нисколько. А чему быть, того не миновать. Monsieur Gaston жилъ у насъ въ домѣ, надъ моей головой. Бывало, я проснусь ночью и слышу его шаги — онъ очень поздно ложился — и сердце замираетъ отъ благоговѣнія.... или отъ другого чувства. Мой отецъ самъ едва разумѣлъ грамотѣ, но воспитаніе намъ далъ хорошее. Знаете ли, что я по-латыни понимаю?

— Вы? по-латыни?

— Да — я. Меня monsieur Gaston выучилъ. Я съ нимъ Энеиду прочла. Скучная вещь — но есть мѣста хорошія. Помните, когда Дидона съ Энеемъ въ лѣсу....

— Да, да, помню, торопливо промолвилъ Санинъ. Самъ онъ давнымъ-давно всю свою латынь забылъ, и объ Энеидѣ понятіе имѣлъ слабое.

Марья Николаевна глянула на него, по своей привычкѣ, нѣсколько въ бокъ и изъ пòднизу. — Вы не думайте, однако, что я очень учена. Ахъ, Боже мой, нѣтъ — я не учена, и никакихъ талантовъ у меня нѣтъ. Писать едва умѣю.... право; читать громко не могу; ни на фортепьяно, ни рисовать, ни шить — ничего! Вотъ я какая — вся тутъ!

Она разставила руки. — Я вамъ все это разсказываю, продолжала она, — во-первыхъ, для того, чтобы не слушать этихъ дураковъ (она указала на сцену, гдѣ въ это мгновеніе, вмѣсто актера, подвывала актриса, тоже выставивъ локти впередъ), а во-вторыхъ, для того, что я передъ вами въ долгу: вы вчера мнѣ про себя разсказывали.

— Вамъ угодно было спросить меня, замѣтилъ Санинъ.

Марья Николаевна внезапно повернулась къ нему. — А вамъ не угодно знать, чтò собственно я за женщина? Впрочемъ, я не удивляюсь, прибавила она, снова прислонясь къ подушкамъ дивана. Человѣкъ собирается жениться, да еще по любви, да послѣ дуэли.... Гдѣ ему помышлять о чемъ-нибудь другомъ?

Марья Николаевна задумалась и начала кусать ручку вѣера своими крупными, но ровными и какъ молоко бѣлыми зубами.

А Санину казалось, что ему въ голову опять сталъ подниматься тотъ чадъ, отъ котораго онъ не могъ отдѣлаться — вотъ уже второй день.

Разговоръ между имъ и Марьей Николаевной происходилъ въ полголоса, почти шопотомъ — и это еще болѣе его раздражало и волновало его....

Когда же это все кончится?

Слабые люди никогда сами не кончаютъ — все ждутъ конца.

На сценѣ кто-то чихалъ; — чиханье это было введено авторомъ въ свою пьесу, какъ «комическій моментъ» или «элементъ»; другого комическаго элемента въ ней уже, конечно, не было: и зрители удовлетворялись этимъ моментомъ, смѣялись.

Этотъ смѣхъ также раздражалъ Санина.

Были минуты, когда онъ рѣшительно не зналъ: что онъ — злится или радуется, скучаетъ или веселится? О, если-бъ Джемма его видѣла!

— Право, это странно, заговорила вдругъ Марья Николаевна. Человѣкъ объявляетъ вамъ, и такимъ спокойнымъ голосомъ: «Я, молъ, намѣренъ жениться»; а никто вамъ не скажетъ спокойно: «Я намѣренъ въ воду броситься». И между тѣмъ — какая разница? Странно, право.

Досада взяла Санина. — Разница большая, Марья Николаевна! Иному броситься въ воду вовсе не страшно: онъ плавать умѣетъ; а сверхъ того.... что касается до странности браковъ.... ужъ коли на то пошло....

Онъ вдругъ умолкъ и прикусилъ языкъ.

Марья Николаевна ударила себя вѣеромъ по ладони.

— Договаривайте, Дмитрій Павловичъ, договаривайте — я знаю, что вы хотѣли сказать. «Ужъ коли на то пошло, милостивая государыня, Марья Николаевна Полозова» хотѣли вы сказать, «страннѣе *вашего* брака ничего нельзя себѣ представить.... вѣдь я вашего супруга знаю хорошо, съ дѣтства!» Вотъ что вы хотѣли сказать, вы, умѣющій плавать!

— Позвольте, началъ-было Санинъ....

— Развѣ это не правда? Развѣ не правда? настойчиво произнесла Марья Николаевна. Ну, посмотрите мнѣ въ лицо и скажите, что̀ я неправду сказала!

Санинъ не зналъ, куда дѣть свои глаза. — Ну, извольте; правда, коли вы ужъ этого непремѣнно требуете, проговорилъ онъ наконецъ.

Марья Николаевна покачала головою. — Такъ.... такъ. Ну — и спрашивали вы себя, вы, умѣющій плавать, какая можетъ быть причина такого страннаго.... поступка со стороны женщины, которая не бѣдна.... и не глупа.... и не дурна? Васъ это не интересуетъ, можетъ быть; но все равно. Я вамъ скажу причину не теперь, а вотъ какъ только кончится антрактъ. Я все безпокоюсь, какъ бы кто-нибудь не зашелъ....

Не успѣла Марья Николаевна выговорить это послѣднее слово, какъ наружная дверь дѣйствительно растворилась на половину — и въ ложу всунулась голова красная, маслянисто-потная, еще молодая, но уже беззубая, съ плоскими длинными волосами, отвислымъ носомъ, огромными ушами какъ у летучей мыши, съ золотыми очками на любопытныхъ и тупыхъ глазенкахъ, и съ pince-nez на очкахъ. Голова осмотрѣлась, увидала Марью Николаевну, дрянно осклабилась, закивала.... Жилистая шея вытянулась вслѣдъ за нею....

Марья Николаевна замахала на нее платкомъ. — Меня дома нѣтъ! Ich bin nicht zu Hause, Herr P...! Ich bin nicht zu Hause.... Кшшшъ, кшшшъ!

Голова изумилась, принужденно засмѣялась, проговорила словно всхлипывая, въ подражаніе Листу, у ногъ котораго когда-то пресмыкалась: Sehr gut! sehr gut! — и исчезла.

— Это что за субъектъ? спросилъ Санинъ.

— Это? Критикъ висбаденскій. «Литтератъ» или лонъ-

лакей, какъ угодно. Онъ нанятъ здѣшнимъ откупщикомъ, и потому обязанъ все хвалить и всѣмъ восторгаться, а самъ весь налитъ гаденькой желчью, которую даже выпускать не смѣетъ. Я боюсь: онъ сплетникъ ужасный; сейчасъ побѣжитъ разсказывать, что я въ театрѣ. Ну, все равно.

Оркестръ проигралъ вальсъ, занавѣсъ взвился опять.... Поднялось опять на сценѣ кривлянье да хныканье.

— Ну-съ, начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диванъ — такъ какъ вы попались и должны сидѣть со мною, вмѣсто того, чтобы наслаждаться близостью вашей невѣсты.... не вращайте глазами и не гнѣвайтесь — я васъ понимаю и уже обѣщала вамъ, что отпущу васъ на всѣ четыре стороны — а теперь слушайте мою исповѣдь. Хотите знать, что̀ я больше всего люблю?

— Свободу, подсказалъ Санинъ.

Марья Николаевна положила руку на его руку.

— Да, Дмитрій Павловичъ, промолвила она — и голосъ ея прозвучалъ чѣмъ-то особеннымъ, какой-то несомнѣнной искренностью и важностью — свободу, больше всего и прежде всего. И не думайте, чтобъ я этимъ хвасталась — въ этомъ нѣтъ ничего похвальнаго — только оно *такъ*, и всегда было и будетъ *такъ* для меня, до самой смерти моей. Я въ дѣтствѣ, должно быть, ужъ очень много насмотрѣлась рабства и натерпѣлась отъ него. Ну и monsieur Gaston, мой учитель, глаза мнѣ открылъ. Теперь вы, можетъ быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча; съ нимъ я свободна, совершенно свободна, какъ воздухъ, какъ вѣтеръ.... И это я знала передъ свадьбой, я знала, что съ нимъ я буду вольный казакъ!

Марья Николаевна помолчала — и бросила вѣеръ въ сторону.

— Скажу вамъ еще одно: я не прочь размышлять.... оно весело, да и на то умъ намъ данъ; но о послѣдствіяхъ

того, что я сама дѣлаю — я никогда не размышляю, и когда придется, не жалѣю себя — ни на *эстолько:* — не стòитъ. У меня есть поговорка: «cela ne tire pas à conséquence» — не знаю, какъ это сказать по-русски. Да и точно: чтò tire à conséquence? — Вѣдь отъ меня отчета не потребуютъ *здѣсь* — на сей землѣ; а тамъ — (она подняла палецъ къ верху) ну тамъ — пусть распоряжаются, какъ знаютъ. Когда меня будутъ *тамъ* судить, *то я* не я буду! Вы слушаете меня? Вамъ не скучно?

Санинъ сидѣлъ наклонившись. Онъ поднялъ голову. — Мнѣ вовсе не скучно, Марья Николаевна, и слушаю я васъ съ любопытствомъ. Только я.... признаюсь.... я спрашиваю себя, зачѣмъ вы это все говорите мнѣ?

Марья Николаевна слегка подвинулась на диванѣ. — Вы себя спрашиваете.... Вы такой недогадливый? Или такой скромный?

Санинъ поднялъ голову еще выше.

— Я вамъ все это говорю, продолжала Марья Николаевна спокойнымъ тономъ, который однако не совсѣмъ соотвѣтствовалъ выраженію ея лица — потому что вы мнѣ очень нравитесь; да, не удивляйтесь, я не шучу; потому, что послѣ встрѣчи съ вами мнѣ было бы непріятно думать, что вы сохраните обо мнѣ воспоминаніе нехорошее.... или даже не нехорошее, это мнѣ все равно, а невѣрное. Отъ того-то я и залучила васъ сюда и остаюсь съ вами наединѣ и говорю съ вами такъ откровенно.... Да, да, откровенно. Я не лгу. И замѣтьте, Дмитрій Павловичъ, я знаю, что вы влюблены въ другую, что вы собираетесь жениться на ней.... Отдайте же справедливость моему безкорыстію! А впрочемъ, вотъ вамъ случай сказать, въ свою очередь: Cela ne tire pas à conséquence!

Она засмѣялась, но смѣхъ ея внезапно оборвался — и она осталась неподвижной, какъ будто ея собственныя слова

ее самоё поразили, а въ глазахъ ея, въ обычное время столь веселыхъ и смѣлыхъ, мелькнуло что-то похожее на робость, похожее даже на грусть.

«Змѣя! ахъ, она змѣя!» думалъ, между тѣмъ, Санинъ; «но какая красивая змѣя!»

— Дайте мнѣ мою лорнетку, проговорила вдругъ Марья Николаевна. Мнѣ хочется посмотрѣть; неужели эта jeune première въ самомъ дѣлѣ такъ дурна собою? Право, можно подумать, что ее опредѣлило правительство съ нравственной цѣлью, чтобы молодые люди не слишкомъ увлекались.

Санинъ подалъ ей лорнетку, а она, принимая ее отъ него, быстро, но чуть слышно, охватила обѣими руками его руку.

— Не извольте серьёзничать, шепнула она съ улыбкой. — Знаете что̀: на меня цѣпей наложить нельзя, но вѣдь и я не накладываю цѣпей. — Я люблю свободу и не признаю обязанностей — не для себя одной. А теперь посторонитесь немножко и давайте послушаемте пьесу.

Марья Николаевна навела лорнетку на сцену — и Санинъ принялся глядѣть туда же, сидя съ нею рядомъ, въ полутьмѣ ложи, и вдыхая, невольно вдыхая теплоту и благовоніе ея роскошнаго тѣла и столь же невольно переворачивая въ головѣ своей все, что она ему сказала въ теченіе вечера — особенно въ теченіе послѣднихъ минутъ.

XL.

Пьеса длилась еще часъ слишкомъ, но Марья Николаевна и Санинъ скоро перестали смотрѣть на сцену. У нихъ снова завязался разговоръ и пробирался онъ, разговоръ этотъ, по той же дорожкѣ, какъ и прежде; только на этотъ разъ Санинъ меньше молчалъ. Внутренно онъ и на себя

сердился, и на Марью Николаевну; онъ старался доказать ей всю неосновательность ея «теоріи», какъ будто ее занимали теоріи! Онъ сталъ съ ней спорить, чему она втайнѣ очень порадовалась: коли споритъ, значитъ — уступаетъ или уступитъ. На прикормку пошелъ, подается, дичиться пересталъ! Она возражала, смѣялась, соглашалась, задумывалась, нападала.... а между тѣмъ его лицо и ея лицо сближались, его глаза уже не отворачивались отъ ея глазъ.... Эти глаза словно блуждали, словно кружили по его чертамъ, и онъ улыбался ей въ отвѣтъ — учтиво, но улыбался. Ей нà-руку было уже и то, что онъ пускался въ отвлеченности, разсуждалъ о честности взаимныхъ отношеній, о долгѣ, о святости любви и брака.... Извѣстное дѣло: эти отвлеченности очень и очень годятся какъ начàло.... какъ исходная точка....

Люди, хорошо знавшіе Марью Николаевну, увѣряли, что когда во всемъ ея сильномъ и крѣпкомъ существѣ внезапно проступало нѣчто нѣжное и скромное, что-то почти дѣвически-стыдливое — хотя, подумаешь, откуда оно бралось?.... тогда.... да, тогда дѣло принимало оборотъ опасный.

Оно, повидимому, принимало этотъ оборотъ и для Санина.... Презрѣніе онъ бы почувствовалъ къ себѣ, если-бъ ему удалось хотя на мигъ сосредоточиться; но онъ не успѣвалъ ни сосредоточиться, ни презирать себя.

А она не теряла времени. И все это происходило отъ того, что онъ былъ очень недуренъ собою! По неволѣ придется сказать: «какъ знать, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь?»

Пьеса кончилась. Марья Николаевна попросила Санина накинуть на нее шаль, и не шевелилась, пока онъ окутывалъ мягкой тканью ея, по истинѣ, царственныя плечи. Потомъ она взяла его подъ руку, вышла въ корридоръ — и чуть не вскрикнула: у самой двери ложи, какъ нѣкое привидѣніе, торчалъ Дöнгофъ; а изъ-за его спины выглядывала паскуд-

ная фигура висбаденскаго критика. Маслянистое лицо «литтерата» такъ и сіяло злорадствомъ.

— Не прикажете ли, сударыня, я вамъ отыщу вашу карету? обратился къ Марьѣ Николаевнѣ молодой офицеръ, съ трепетомъ худо-сдержаннаго бѣшенства въ голосѣ.

— Нѣтъ, благодарствуйте, отвѣтила она.... мой лакей ее найдетъ. Останьтесь! прибавила она повелительнымъ шопотомъ — и быстро удалилась, увлекая за собою Санина.

— Ступайте къ чорту! Что̀ вы ко мнѣ пристали? гаркнулъ вдругъ Дöнгофъ на литтерата. Надо было ему на комъ-нибудь сорвать свое сердце!

— Sehr gut! sehr gut! пробормоталъ литтератъ — и стушевался.

Лакей Марьи Николаевны, ожидавшій ее въ сѣняхъ, въ мгновеніе ока отыскалъ ея карету — она проворно сѣла въ нее, за нею вскочилъ Санинъ. Дверцы захлопнулись — и Марья Николаевна разразилась смѣхомъ.

— Чему вы смѣетесь? полюбопытствовалъ Санинъ.

— Ахъ, извините меня пожалуйста.... но мнѣ пришло въ голову, что если Дöнгофъ съ вами опять будетъ стрѣляться.... изъ-за меня.... Не чудеса ли это?

— А вы съ нимъ очень коротко знакомы? спросилъ Санинъ.

— Съ нимъ? Съ этимъ мальчикомъ? Онъ у меня на побѣгушкахъ. Вы не безпокойтесь!

— Да я и не безпокоюсь вовсе.

Марья Николаевна вздохнула. — Ахъ, я знаю, что вы не безпокоитесь. Но слушайте — знаете что̀; вы такой милый, вы не должны отказать мнѣ въ одной послѣдней просьбѣ. Не забудьте: черезъ три дня я уѣзжаю въ Парижъ, а вы возвращаетесь во Франкфуртъ.... Когда мы встрѣтимся!

— Какая это просьба?

— Вы верхомъ, конечно, умѣете ѣздить?

— Умѣю.

— Ну вотъ что̀. Завтра, поутру я васъ возьму съ собою — и мы поѣдемъ вмѣстѣ за городъ. У насъ будутъ отличныя лошади. Потомъ мы вернемся, дѣло покончимъ— и аминь! Не удивляйтесь, не говорите мнѣ, что это капризъ, что я съумасшедшая — все это можетъ быть — но скажите только: я согласенъ!

Марья Николаевна обернула къ нему свое лицо. Въ каретѣ было темно, но глаза ея сверкнули въ самой этой темнотѣ.

— Извольте, я согласенъ, промолвилъ Санинъ со вздохомъ.

— Ахъ! Вы вздохнули! передразнила его Марья Николаевна. Вотъ что̀ значитъ: взялся за гужъ — не говори, что не дюжъ. Но нѣтъ, нѣтъ.... Вы — прелесть, вы хорошій — а обѣщаніе я свое сдержу. Вотъ вамъ моя рука, безъ перчатки, правая, дѣловая. Возьмите ее — и вѣрьте ея пожатію. Что̀ я за женщина, я не знаю; но человѣкъ я честный — и дѣла̀ имѣть со мною можно.

Санинъ, самъ хорошенько не отдавая себѣ отчета въ томъ, что̀ дѣлаетъ, поднесъ эту руку къ своимъ губамъ. Марья Николаевна тихонько ее приняла — и вдругъ умолкла — и молчала, пока карета не остановилась.

Она стала выходить.... Что̀ это? показалось ли Санину, или онъ точно почувствовалъ на щекѣ своей какое-то быстрое и жгучее прикосновеніе?

«До завтра!» шепнула Марья Николаевна ему на лѣстницѣ, вся освѣщенная четырьмя свѣчами канделябра, ухваченнаго при ея появленіи золотообрѣзнымъ привратникомъ. Она держала глаза опущенными. — «До завтра!»

Вернувшись къ себѣ въ комнату, Санинъ нашелъ на столѣ письмо отъ Джеммы. Онъ мгновенно.... испугался —

и тотчасъ же обрадовался, чтобы поскорѣй замаскировать передъ самимъ собою свой испугъ. — Оно состояло изъ нѣсколькихъ строкъ. — Она радовалась благополучному «началу дѣла», совѣтовала ему быть терпѣливымъ и прибавила, что всѣ въ домѣ здоровы и заранѣе радуются его возвращенію. Санинъ нашелъ это письмо довольно сухимъ — однако взялъ перо, бумагу.... и все бросилъ. — «Что̀ писать!? Завтра самъ вернусь.... пора, пора!»

Онъ немедленно легъ въ постель и постарался какъ можно скорѣе заснуть. Оставшись на ногахъ и бодрствуя, онъ навѣрное сталъ бы думать о Джеммѣ — а ему было почему-то.... стыдно думать о ней. Совѣсть шевелилась въ немъ. Но онъ успокоивалъ себя тѣмъ, что завтра все будетъ навсегда кончено, и онъ навсегда разстанется съ этой взбалмошной барыней — и забудетъ всю эту чепуху!....

Слабые люди, говоря съ самими собою, охотно употребляютъ энергическія выраженія.

Et puis.... cela ne tire pas à conséquence!

XLI.

Вотъ что̀ думалъ Санинъ, ложась спать; но что̀ онъ подумалъ на слѣдующій день, когда Марья Николаевна нетерпѣливо постучала коралловой ручкой хлыстика въ его дверь, когда онъ увидѣлъ ее на порогѣ своей комнаты — съ шлейфомъ темносиней амазонки на рукѣ, съ маленькой мужской шляпой на крупно заплетенныхъ кудряхъ, съ откинутымъ на плечо вуалемъ, съ вызывающей улыбкой на губахъ, въ глазахъ, на всемъ лицѣ — что̀ онъ подумалъ тогда — объ этомъ молчитъ исторія.

— Ну? готовы? прозвучалъ веселый голосъ.

Санинъ застегнулъ сюртукъ и молча взялъ шляпу.

Марья Николаевна бросила на него свѣтлый взглядъ, кивнула головою и быстро побѣжала внизъ по лѣстницѣ. И онъ побѣжалъ вслѣдъ за нею.

Лошади стояли уже на улицѣ передъ крыльцомъ. Ихъ было три: золотисто-рыжая, чистокровная кобыла, съ сухой оскалистой мордой, черными глазами на выкатѣ, съ оленьими ногами, немного поджарая, но красивая и горячая какъ огонь — для Марьи Николаевны; — могучій, широкій, нѣсколько тяжелый конь, вороной безъ отмѣтъ — для Санина; третья лошадь назначалась груму. Марья Николаевна ловко вскочила на свою кобылу.... Та затопала ногами и завертѣлась, отдѣляя хвостъ и поджимая крупъ, но Марья Николаевна (отличная наѣздница!) удержала ее на мѣстѣ: нужно было проститься съ Полозовымъ, который, въ неизмѣнной своей фескѣ и въ шлафрокѣ на распашку, появился на балконѣ и махалъ оттуда батистовымъ платочкомъ, нисколько, впрочемъ не улыбаясь, а скорѣе хмурясь. Взобрался и Санинъ на своего коня; Марья Николаевна отсалютовала г-ну Полозову хлыстикомъ, потомъ ударила имъ свою лошадь по выгнутой и плоской шеѣ: та взвилась на дыбы, прыгнула впередъ и пошла щепоткимъ, укрощеннымъ шагомъ, вздрагивая всѣми жилками, собираясь на мундштукѣ, кусая воздухъ и порывисто фыркая. Санинъ ѣхалъ сзади и глядѣлъ на Марью Николаевну; самоувѣренно, ловко и стройно покачивался ея тонкій и гибкій станъ, тѣсно и вольно охваченный корсетомъ. Она обернула голову назадъ и подозвала его одними глазами. Онъ поровнялся съ нею.

— Ну вотъ видите, какъ хорошо, сказала она. Я вамъ говорю на послѣдяхъ, передъ разлукой: вы прелесть — и раскаяваться не будете.

Выговоривъ эти послѣднія слова, она нѣсколько разъ повела головою сверху внизъ, какъ-бы желая подтвердить ихъ и дать ему почувствовать ихъ значеніе.

Она казалась до того счастливой, что Санинъ прос удивлялся; у нея на лицѣ появилось даже то степенное вы раженіе, какое бываетъ у дѣтей, когда они очень.... оче довольны.

Шагомъ доѣхали они до недалекой заставы, а тамъ пу стились крупной рысью по шоссе. Погода была славна прямо лѣтняя; вѣтеръ струился имъ на встрѣчу и пріят шумѣлъ и свисталъ въ ихъ ушахъ. Имъ было хорошо: с знаніе молодой, здоровой жизни, свободнаго, стремительна движенія впередъ, охватывало ихъ обоихъ; оно росло с каждымъ мигомъ.

Марья Николаевна осадила свою лошадь и опять по ѣхала шагомъ; Санинъ послѣдовалъ ея примѣру.

— Вотъ, начала она съ глубокимъ, блаженнымъ вздо хомъ; вотъ для этого только и стòитъ жить. Удалось теб сдѣлать, чего тебѣ хотѣлось, чтò казалось невозможнымъ — ну и пользуйся, душа, по самый край! Она провела рук себѣ по горлу поперекъ. — И какимъ добрымъ человѣк тогда себя чувствуетъ! Вотъ теперь я.... какая добра Кажется, весь свѣтъ бы обняла. То-есть, нѣтъ, не ве свѣтъ!... Вотъ этого я бы не обняла. — Она указала хлы стикомъ на пробиравшагося сторонкой, нищенски-одѣта старика. — Но осчастливить его я готова. На-те, возьмит крикнула она громко по-нѣмецки — и бросила къ его н гамъ кошелекъ. Увѣсистый мѣшечекъ (тогда еще порт монэ въ помину не было) стукнулъ ò дорогу. Прохожій из мился, остановился, а Марья Николаевна захохотала и пу стила лошадь вскачь.

— Вамъ такъ весело верхомъ ѣздить? спросилъ С нинъ, догнавъ ее.

Марья Николаевна опять разомъ осадила свою лошад она иначе ее не останавливала. — Я хотѣла только уѣха отъ благодарности. Кто меня благодаритъ — удовольств

мое портитъ. Вѣдь я не для него это сдѣлала, а для себя. Какъ же онъ смѣетъ меня благодарить? Я не разслышала, о чемъ вы меня спрашивали.

— Я спрашивалъ.... я хотѣлъ знать, отчего вы сегодня такъ веселы?

— Знаете что̀, промолвила Марья Николаевна: она либо опять не разслышала Санина, либо не почла̀ за нужное отвѣчать на его вопросъ. — Мнѣ ужасно надоѣлъ этотъ грумъ, который торчитъ за нами, и который, должно быть, только и думаетъ о томъ, когда, молъ, господа домой поѣдутъ? Какъ бы отъ него отдѣлаться? — Она проворно достала изъ кармана записную книжечку. — Послать его съ письмомъ въ городъ? Нѣтъ... не годится. А! вотъ какъ! Это что̀ такое впереди? Трактиръ?

Санинъ глянулъ, куда она указывала. — Да, кажется, трактиръ.

— Ну и прекрасно. Я прикажу ему остаться въ этомъ трактирѣ — и пить пиво, пока мы вернемся.

— Да что̀ онъ подумаетъ?

— А намъ что за дѣло! Да онъ и думать не будетъ; будетъ пить пиво — и только. Ну, Санинъ (она въ первый разъ назвала его по одной фамиліи) — впередъ рысью!

Поравнявшись съ трактиромъ, Марья Николаевна подозвала грума̀ и сообщила ему, что̀ она отъ него требовала. Грумъ, человѣкъ англійскаго происхожденія и англійскаго темперамента, молча поднесъ руку къ козырьку своей фуражки, соскочилъ съ лошади и взялъ ее подъ устцы.

— Ну, теперь мы вольныя птицы! воскликнула Марья Николаевна. — Куда намъ ѣхать — на сѣверъ, на югъ, на востокъ, на западъ? Смотрите — я какъ венгерскій король на коронаціи (она указала концомъ хлыста на всѣ четыре стороны свѣта). Все наше! Нѣтъ, знаете что̀: видите, какія

тамъ славныя горы — и какой лѣсъ! Поѣдемте туда, въ горы, въ горы!

In die Berge, wo die Freiheit thront!

Она свернула съ шоссе и поскакала по узкой, неторной дорожкѣ, которая дѣйствительно какъ будто направлялась къ горамъ. Санинъ поскакалъ за нею.

XLII.

Дорожка эта скоро превратилась въ тропинку, и, наконецъ совсѣмъ исчезла, пересѣченная канавой. Санинъ посовѣтовалъ вернуться, но Марья Николаевна сказала: «Нѣтъ! я хочу въ горы! Поѣдемъ прямо, какъ летаютъ птицы» — и заставила свою лошадь перескочить канаву. Санинъ тоже перескочилъ. За канавой начинался лугъ, сперва сухой, потомъ влажный, потомъ уже совсѣмъ болотистый: вода просачивалась вездѣ, стояла лужицами. Марья Николаевна пускала лошадь нарочно по этимъ лужицамъ, хохотала и твердила: «Давайте школьничать!»

— Вы знаете, спросила она Санина, что̀ значитъ: охотиться по брызга̀мъ?

— Знаю, отвѣчалъ Санинъ.

— У меня дядя былъ псовый охотникъ, продолжала она. Я съ нимъ ѣзживала — весною. Чудо! Вотъ и мы теперь съ вами — по брызга̀мъ. А только я вижу: вы русскій человѣкъ, а хотите жениться на итальянкѣ. Ну да это — ваша печаль. Это что̀? Опять канава? Гопъ!

Лошадь перескочила — но шляпа упала съ головы Марьи Николаевны, и кудри ея разсыпались по плечамъ. Санинъ хотѣлъ-было слѣзть съ коня и поднять шляпу, но она крикнула ему: «Не трогайте, я сама достану», нагнулась низко

съ сѣдла, зацѣпила ручкой хлыста за вуаль и точно: достала шляпу, надѣла ее на голову, но волосъ не подобрала и опять помчалась, даже гикнула. Санинъ мчался съ нею рядомъ, рядомъ съ нею перепрыгивалъ рвы, ограды, ручейки, проваливался и выкарабкивался, несся подъ гору, несся въ гору и все глядѣлъ ей въ лицо. Что за лицо! Все оно словно раскрыто: раскрыты глаза, алчные, свѣтлые, дикіе; губы, ноздри раскрыты тоже и дышутъ жадно; глядитъ она прямо, въ упоръ передъ собою и, кажется, всѣмъ, что̀ она видитъ, землею, небомъ, солнцемъ и самымъ воздухомъ хочетъ завладѣть эта душа, и объ одномъ только она и жалѣетъ: опасностей мало — всѣ бы ихъ одолѣла! «Санинъ!» кричитъ она, «вѣдь это какъ въ бюргеревой Ленорѣ! Только вы не мертвый — а? Не мертвый?... Я живая!» Разыгрались удалыя силы. Это ужъ не амазонка пускаетъ коня въ галопъ — это скачетъ молодой женскій кентавръ — полу-звѣрь и полу-богъ — и изумляется степенный и благовоспитанный край, попираемый ея буйнымъ разгуломъ!

Марья Николаевна остановила наконецъ свою вспѣненную, забрызганную лошадь: она шаталась подъ нею, а у могучаго, но тяжкаго санинскаго жеребца прерывалось дыханіе.

— Что? любо? спросила Марья Николаевна какимъ-то чуднымъ шопотомъ.

— Любо! восторженно отозвался Санинъ. И въ немъ кровь разгорѣлась.

— Постойте, то ли еще будетъ! Она протянула руку. Перчатка на ней была разорвана.

— Я сказала, что приведу васъ къ лѣсу, къ горамъ.... Вотъ онѣ, горы! — Точно: покрытыя высокимъ лѣсомъ, зачинались горы шагахъ въ двухстахъ отъ того мѣста, куда вылетѣли лихіе всадники. — Смотрите: вотъ и дорога.

Оправимтесь — и впередъ. Только шагомъ. Надо дать лошадямъ вздохнуть.

Они поѣхали. Однимъ сильнымъ взмахомъ руки Марья Николаевна отбросила назадъ свои волосы. Посмотрѣла потомъ на свои перчатки — и сняла ихъ. Руки будутъ кожей пахнуть, сказала она, да вѣдь это вамъ ничего? А?... Марья Николаевна улыбалась, и Санинъ улыбался тоже. Эта бѣшеная скачка ихъ какъ будто окончательно сблизила и подружила.

— Сколько вамъ лѣтъ? спросила она вдругъ.

— Двадцать-два.

— Не можетъ быть? Мнѣ двадцать-два тоже. Годы хорошіе. Сложи ихъ вмѣстѣ и то до старости далеко. Однако жарко. Что̀, я раскраснѣлась?

— Какъ маковъ цвѣтъ!

Марья Николаевна утерла лицо платкомъ. — Только бы до лѣсу добраться, а тамъ будетъ прохладно. Этакой старый лѣсъ — точно старый другъ. Есть у васъ друзья?

Санинъ подумалъ немного. — Есть.... только мало. Настоящихъ нѣтъ.

— А у меня есть, настоящіе — только не старые. Вотъ тоже другъ — лошадь. Какъ она тебя бережно несетъ! Ахъ, да здѣсь отлично! Неужто я послѣзавтра въ Парижъ ѣду?

— Да.... неужто? подхватилъ Санинъ.

— А вы во Франкфуртъ?

— Я непремѣнно во Франкфуртъ.

— Ну, что-жъ — съ Богомъ! За̀ то сегодняшній день нашъ.... нашъ.... нашъ!

Лошади добрались до опушки и вошли въ нее. Тѣнь лѣса накрыла ихъ широко и мягко и со всѣхъ сторонъ.

— О, да тутъ рай! воскликнула Марья Николаевна. Глубже, дальше въ эту тѣнь, Санинъ!

Лошади тихо двигались, «глубже въ тѣнь», слегка покачиваясь и похрапывая. Дорожка, по которой они выступали, внезапно повернулась въ сторону и вдалась въ довольно тѣсное ущелье. Запахъ вереска, папоротника, смолы сосновой, промзглой, прошлогодней листвы, такъ и сперся въ немъ — густо и дремотно. Изъ разсѣлинъ бурыхъ крупныхъ камней било крѣпкой свѣжестью. По обѣимъ сторонамъ дорожки высились круглые бугры, поросшіе зеленымъ мохомъ.

— Стойте! воскликнула Марья Николаевна. Я хочу присѣсть и отдохнуть на этомъ бархатѣ. Помогите мнѣ сойти.

Санинъ соскочилъ съ коня и подбѣжалъ къ ней. Она оперлась объ его плечи, мгновенно спрыгнула на землю и сѣла на одномъ изъ моховыхъ бугровъ. Онъ сталъ передъ нею, держа въ рукахъ поводья обѣихъ лошадей.

Она подняла на него глаза.... — Санинъ, вы умѣете забывать?

Санину вспомнилось вчерашнее.... въ каретѣ: — Что это — вопросъ.... или упрекъ?

— Я отроду никого и ни въ чемъ не упрекала. А въ присуху вы вѣрите?

— Какъ?

— Въ присуху — знаете, о чемъ у насъ въ пѣсняхъ поется. Въ простонародныхъ русскихъ пѣсняхъ?

— А! Вы вотъ о чемъ говорите.... протянулъ Санинъ.

— Да, объ этомъ. Я вѣрю.... и вы повѣрите.

— Присуха.... колдовство.... повторилъ Санинъ. Все на свѣтѣ возможно. Прежде я не вѣрилъ — а теперь вѣрю. Я себя не узнаю.

Марья Николаевна подумала, и оглянулась. — А мнѣ

сдается, мѣсто это мнѣ какъ будто знакомое. Посмотрите-ка, Санинъ, за тѣмъ широкимъ дубомъ — стоитъ деревянный, красный крестъ? аль нѣтъ?

Санинъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ на сторону. — Стоитъ.

Марья Николаевна ухмыльнулась. — А, хорошо! Я знаю, гдѣ мы. Пока еще не потерялись. Это что̀ стучитъ? Дровосѣкъ?

Санинъ поглядѣлъ въ чащу. — Да.... тамъ какой-то человѣкъ сухіе сучья рубитъ.

— Надо волосы въ порядокъ привести, проговорила Марья Николаевна. А то̀, увидитъ — осудитъ. Она сняла шляпу и начала заплетать свои длинныя косы — молча и важно. Санинъ стоялъ передъ нею.... Ея стройные члены явственно рисовались подъ темными складками сукна, съ кое-гдѣ приставшими волокнами моха.

Одна изъ лошадей внезапно встряхнулась за спиною Санина: онъ самъ затрепеталъ невольно, съ ногъ до головы. Все въ немъ было перепутано — нервы натянулись какъ струны. Не даромъ онъ сказалъ, что самъ себя не узнаётъ.... Онъ, дѣйствительно, былъ околдованъ. Все существо его было полно однимъ.... однимъ помысломъ, однимъ желаньемъ. Марья Николаевна бросила на него проницательный взглядъ.

— Ну, вотъ теперь все какъ слѣдуетъ, промолвила она, надѣвая шляпу. Вы не садитесь? Вотъ тутъ! Нѣтъ, погодите.... не садитесь. Что̀ это такое?

По верхушкамъ деревьевъ, по воздуху лѣсному, прокатилось глухое сотрясеніе.

— Неужели это громъ?

— Кажется, точно, громъ, отвѣтилъ Санинъ.

— Ахъ, да это праздникъ! просто праздникъ! Только этого недоставало. Глухой гулъ раздался вторично, под-

нялся — и упалъ раскатомъ. — Браво! Bis! Помните, я вамъ говорила вчера объ Энеидѣ? Вѣдь *ихъ* тоже въ лѣсу застала гроза. Однако, надо убраться. Она быстро поднялась на ноги. — Подведите мнѣ лошадь.... Подставьте мнѣ руку. Вотъ такъ. Я не тяжела.

Она птицей взвилась на сѣдло. Санинъ тоже сѣлъ на коня.

— Вы — домой? спросилъ онъ невѣрнымъ голосомъ.

— Домой!! отвѣчала она съ разстановкой и подобрала поводья. — Ступайте за мной — приказала она почти грубо.

Она выѣхала на дорогу, и, минуя красный крестъ, опустилась въ лощину, добралась до перекрестка, повернула направо, опять въ гору.... Она очевидно знала, куда держала путь — и шелъ этотъ путь все въ глубь, да въ глубь лѣса. Она ничего не говорила, не оглядывалась; она повелительно двигалась впередъ — и онъ послушно и покорно слѣдовалъ за нею, безъ искры воли въ замиравшемъ сердцѣ. Дождикъ началъ накрапывать. Она ускорила ходъ своей лошади — и онъ не отставалъ отъ нея. Наконецъ, сквозь темную зелень еловыхъ кустовъ, изъ-подъ навѣса сѣрой скалы глянула на него убогая караулка, съ низкой дверью въ плетеной стѣнѣ.... Марья Николаевна заставила лошадь продраться сквозь кусты, спрыгнула съ нея — и, очутившись вдругъ у входа караулки, обернулась къ Санину — и шепнула: Эней!

Четыре часа спустя, Марья Николаевна и Санинъ, въ сопровожденіи дремавшаго на сѣдлѣ грума, возвратились въ Висбаденъ, въ гостинницу. Г-нъ Полозовъ встрѣтилъ свою супругу, держа въ рукахъ письмо къ управляющему. Взглядѣвшись въ нее попристальнѣе, онъ, однако, выра-

зилъ на лицѣ своемъ нѣкоторое неудовольствіе — и даже пробормоталъ: — Неужто проигралъ пари?

Марья Николаевна только плечами пожала.

А въ тотъ же день, два часа спустя, Санинъ, въ своей комнатѣ, стоялъ передъ нею, какъ потерянный, какъ погибшій....

— Куда же ты ѣдешь? спрашивала она его. Въ Парижъ — или во Франкфуртъ?

— Я ѣду туда, гдѣ будешь ты — и буду съ тобой, пока ты меня не прогонишь — отвѣчалъ онъ съ отчаяніемъ, и припалъ къ рукамъ своей властительницы. Она высвободила ихъ, положила ихъ ему на голову — и всѣми десятью пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безотвѣтные волосы, сама вся выпрямилась, на губахъ змѣилось торжество — а глаза, широкіе и свѣтлые до бѣлизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость побѣды. У ястреба, который когтитъ пойманную птицу, такіе бываютъ глаза.

XLIII.

Вотъ что̀ припомнилъ Дмитрій Санинъ, когда въ тишинѣ кабинета, разбирая свои старыя бумаги, онъ нашелъ между ними гранатовый крестикъ. Разсказанныя нами событія ясно и послѣдовательно возникали передъ его мысленнымъ взоромъ.... Но дойдя до той минуты, когда онъ съ такимъ унизительнымъ моленіемъ обратился къ г-жѣ Полозовой, когда онъ отдался ей подъ ноги, когда началось его рабство — онъ отвернулся отъ вызванныхъ имъ образовъ, онъ не захотѣлъ болѣе вспоминать. И не то, чтобы память измѣнила ему — о, нѣтъ! онъ зналъ, онъ слишкомъ хорошо

зналъ, что̀ послѣдовало за той минутой, но стыдъ душилъ его — даже и теперь, столько лѣтъ спустя; онъ страшился того чувства неодолимаго презрѣнія къ самому себѣ, которое, онъ въ этомъ не могъ сомнѣваться, непремѣнно нахлынетъ на него и затопитъ, какъ волною, всѣ другія ощущенія, какъ только онъ не велитъ памяти своей замолчать. Но какъ онъ ни отворачивался отъ возникавшихъ воспоминаній, вполнѣ заглушить онъ ихъ не могъ. Онъ вспомнилъ дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо, посланное имъ Джеммѣ, письмо, оставшееся безъ отвѣта.... Явиться къ ней, вернуться къ ней, — послѣ такого обмана, такой измѣны — нѣтъ! нѣтъ! на столько совѣсти и честности осталось еще въ немъ. Къ тому же онъ всякое довѣріе потерялъ къ себѣ, всякое уваженіе: онъ уже ни за что̀ не смѣлъ ручаться. Санинъ вспомнилъ также: какъ онъ потомъ — о, позоръ! — отправилъ Полозовскаго лакея за своими вещами во Франкфуртъ, какъ онъ трусилъ, какъ онъ думалъ лишь объ одномъ: поскорѣй уѣхать въ Парижъ, въ Парижъ; какъ онъ по приказанію Марьи Николаевны, подлаживался и поддѣлывался къ Ипполиту Сидорычу — и любезничалъ съ Дѐнгофомъ, на пальцѣ котораго онъ замѣтилъ точно такое же желѣзное кольцо, какое дала ему Марья Николаевна!!! Потомъ пошли воспоминанія еще хуже, еще позорнѣе.... Кельнеръ подаетъ ему визитную карточку — и стоитъ на ней имя Панталеоне Чиппатола, придворнаго пѣвца е. к. в. герцога Моденскаго! Онъ прячется отъ старика, но не можетъ избѣгнуть встрѣчи съ нимъ въ корридорѣ — и встаетъ передъ нимъ раздраженное лицо подъ взвившимся кверху сѣдымъ хохломъ; горятъ, какъ уголья, старческіе глаза — и слышатся грозныя восклицанія и проклятія: Maledizione! слышатся даже страшныя слова: Codardo! Infame traditore! Санинъ жмуритъ глаза, встряхиваетъ головою, отворачивается вновь и вновь — и все-таки видитъ себя сидящимъ

въ дорожномъ дормезѣ на узкомъ переднемъ мѣстѣ.... На заднихъ покойныхъ мѣстахъ сидятъ Марья Николаевна и Ипполитъ Сидорычъ — четверня лошадей несется дружной рысью по мостовой Висбадена — въ Парижъ! въ Парижъ! Ипполитъ Сидорычъ кушаетъ грушу, которую онъ, Санинъ, ему очистилъ, а Марья Николаевна глядитъ на него — и усмѣхается тою, ему, закрѣпощенному человѣку, уже знакомой усмѣшкой — усмѣшкой собственника, владыки...

Но, Боже мой! вонъ тамъ, на углу улицы, недалеко отъ выѣзда изъ города — не Панталеоне ли стоитъ опять — и кто съ нимъ? Неужели Эмиліо? Да, это онъ, тотъ восторженный, преданный мальчикъ! Давно ли его юное сердце благоговѣло передъ своимъ героемъ, идеаломъ — а теперь его блѣдное, красивое — до того красивое лицо́, что Марья Николаевна его замѣтила и высунулась въ окошко кареты — это благородное лицо пышетъ злобой и презрѣніемъ; глаза, столь похожія на *тѣ* глаза! — впиваются въ Санина, и губы сжимаются.... и раскрываются вдругъ для обиды....

А Панталеоне протягиваетъ руку и указываетъ на Санина — кому? стоявшему возлѣ Тартальѣ, и Тарталья лаетъ на Санина — и самый лай честнаго пса звучитъ невыносимымъ оскорбленіемъ.... Безобразно!

А тамъ — житье въ Парижѣ — и всѣ униженія, всѣ гадкія муки раба, которому не позволяется ни ревновать, ни жаловаться и котораго бросаютъ, наконецъ, какъ изношенную одежду....

Потомъ — возвращеніе на родину, отравленная, опустошенная жизнь, мелкая возня, мелкія хлопоты, раскаяніе горькое и безплодное — и столь же безплодное и горькое забвеніе — наказаніе не явное, но ежеминутное и постоянное, какъ незначительная, но неизлечимая боль, уплата по копѣйкѣ долга, котораго и сосчитать нельзя....

Чаша переполнилась — довольно!

Какимъ образомъ уцѣлѣлъ крестикъ, данный Санину Джеммой, почему не возвратилъ онъ его, какъ случилось, что до того дня онъ ни разу на него не натыкался? Долго, долго сидѣлъ онъ въ раздумьѣ — и уже наученный опытомъ, черезъ столько лѣтъ — все не въ силахъ былъ понять, какъ могъ онъ покинуть Джемму, столь нѣжно и страстно имъ любимую — для женщины, которую онъ и не любилъ вовсе?... На слѣдующій день онъ удивилъ всѣхъ своихъ пріятелей и знакомыхъ: онъ объявилъ имъ, что уѣзжаетъ за границу.

Недоумѣніе распространилось въ обществѣ. Санинъ покидалъ Петербургъ, среди бѣлой зимы, только-что нанявши и обмеблировавши отличную квартиру, даже абонировавшись на представленія итальянской оперы, въ которой участвовала сама г-жа Патти — сама, сама, сама г-жа Патти! Пріятели и знакомые недоумѣвали; но людямъ вообще не свойственно долго заниматься чужими дѣлами, и когда Санинъ отправился за границу — его на станцію желѣзной дороги пріѣхалъ провожать одинъ французъ портной — и то въ надеждѣ получить недоплаченный счетецъ — «pour un saute-en-barque en velours noir, tout à fait chic».

XLIV.

Санинъ сказалъ своимъ друзьямъ, что уѣзжаетъ за границу — но не сказалъ, куда именно: читатели легко догадаются, что онъ покатилъ прямо во Франкфуртъ. Благодаря повсемѣстно распространеннымъ желѣзнымъ дорогамъ, онъ на четвертый день послѣ выѣзда изъ Петербурга былъ уже тамъ. Онъ не посѣщалъ его съ самаго 1840-го года. Гостинница «Бѣлаго Лебедя» стояла на прежнемъ мѣстѣ и процвѣтала, хотя уже не считалась первоклассной: Цейль,

главная улица Франкфурта, мало измѣнилась, но нетолько отъ дома г-жи Розелли — отъ самой улицы, гдѣ находилась ея кондитерская — не осталось ни слѣда. Санинъ бродилъ, какъ ошалѣлый, по мѣстамъ, когда-то столь знакомымъ — и ничего не узнавалъ: прежнія постройки исчезли; ихъ замѣнили новыя улицы, уставленныя громадными, сплошными домами, изящными виллами; даже публичный садъ, гдѣ происходило его послѣднее объясненіе съ Джеммой — разросся и перемѣнился до того, что Санинъ себя спрашивалъ — полно, тотъ ли этотъ садъ? Что было ему дѣлать? Какъ и гдѣ наводить справки? Тридцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ.... Легкое ли дѣло! Къ кому онъ не обращался — никто даже имени Розелли не слыхивалъ; хозяинъ гостинницы совѣтовалъ ему справиться въ публичной библіотекѣ: тамъ онъ-дескать найдетъ всѣ старыя газеты, но какую онъ изъ этого извлечетъ пользу — хозяинъ самъ объяснить не умѣлъ. Санинъ, съ отчаянья, освѣдомился о г-нѣ Клюберѣ. Это имя было хорошо извѣстно хозяину — но и тутъ вышла неудача. Изящный коммѝ, прогремѣвъ и возвысившись до званія капиталиста — проторговался, обанкрутился и умеръ въ тюрьмѣ.... Это извѣстіе не причинило впрочемъ Санину ни малѣйшаго огорченія. Онъ начиналъ уже находить свое путешествіе нѣсколько необдуманнымъ... Но вотъ однажды, перелистывая франкфуртскій адресъ-календарь, онъ наткнулся на имя фонъ-Дöнгофа, маіора въ отставкѣ (Major a. D.). Онъ немедленно взялъ карету и поѣхалъ къ нему — хотя почему *этотъ* Дöнгофъ долженъ былъ непремѣнно быть *тѣмъ* Дöнгофомъ, и почему даже *тотъ* Дöнгофъ могъ сообщить ему какія-либо свѣдѣнія о семействѣ Розелли? Все равно: утопающій за соломинку хватается.

Санинъ засталъ отставного маіора фонъ-Дöнгофа дома — и въ принявшемъ его, посѣдѣломъ господинѣ — немедленно

узналъ своего бывшаго противника. И тотъ его узналъ, и даже обрадовался его появленію: оно напомнило ему молодость — и молодыя проказы. Санинъ услыхалъ отъ него, что семейство Розелли давнымъ-давнò переселилось въ Америку, въ Нью-Іоркъ; что Джемма вышла замужъ за негоціанта; что впрочемъ у него, Дöнгофа, есть знакомый, тоже негоціантъ, которому вѣроятно извѣстенъ адресъ ея мужа, такъ какъ у него много дѣлъ съ Америкой. Санинъ упросилъ Дöнгофа сходить къ этому знакомому — и — о, радость! — Дöнгофъ принесъ ему адресъ Джеммина мужа, г-на Іереміи Слокома — M-r J. Slocum, New-York, Broadway, № 501. — Только адресъ этотъ относился къ 1863-му году.

— Будемъ надѣяться, воскликнулъ Дöнгофъ, что наша бывшая франкфуртская красавица еще жива и не покинула Нью-Іорка! Кстати, прибавилъ онъ, понизивъ голосъ, а что та русская дама, что, помните, гостила тогда въ Висбаденѣ — г-жа фонъ-Бо.... фонъ-Бозолòвъ — еще жива!

— Нѣтъ, отвѣчалъ Санинъ; она давно умерла.

Дöнгофъ поднялъ глаза — но, замѣтивъ, что Санинъ отвернулся и нахмурился — не прибавилъ ни слова — и удалился.

Въ тотъ же день Санинъ послалъ письмо къ г-жѣ Джеммѣ Слокомъ въ Нью-Іоркъ. Въ этомъ письмѣ онъ говорилъ ей, что пишетъ къ ней изъ Франкфурта, куда пріѣхалъ единственно для того, чтобы отыскать ея слѣды; что онъ очень хорошо сознаетъ, до какой степени онъ лишонъ малѣйшаго права на тò, чтобы она ему отозвалась; что онъ ничѣмъ не заслужилъ ея прощенія — и надѣется только на тò, что она, среди счастливой обстановки, въ которой находится, давно позабыла о самомъ его существованіи. Онъ

прибавлялъ, что рѣшился напомнить ей о себѣ, вслѣдствіе случайнаго обстоятельства, которое слишкомъ живо возбудило въ немъ образы прошедшаго; разсказалъ ей свою жизнь одинокую, безсемейную, безрадостную; заклиналъ ее понять причины, побудившія его обратиться къ ней, не дать ему унести въ могилу горестное сознаніе своей вины — давно выстраданной, но не прощенной — и порадовать его хотя самой краткой вѣсточкой о томъ, какъ ей живется въ этомъ новомъ мірѣ, куда она удалилась. «Написавъ мнѣ хоть одно слово, — такъ кончалъ Санинъ свое письмо, — вы сдѣлаете доброе дѣло, достойное вашей прекрасной души — и я буду благодарить васъ до послѣдняго моего дыханія. Я остановился здѣсь въ гостинницѣ *Бѣлаго Лебедя* (эти слова онъ подчеркнулъ) и буду ждать, ждать до весны — вашего отвѣта».

Онъ отправилъ это письмо — и принялся ждать. Цѣлыхъ шесть недѣль прожилъ онъ въ гостинницѣ, почти не выходя изъ комнаты — и рѣшительно никого не видя. Никто не могъ написать къ нему ни изъ Россіи, ни откуда; и это было ему по сердцу; приди на его имя письмо — онъ уже знаетъ, что оно *то*, котораго онъ ждетъ. Онъ читалъ съ утра до вечера — и не журналы, а серьезныя книги, историческія сочиненія. Эти продолжительныя чтенія, это безмолвіе, это улиткообразное, скрытое житье — все это пришлось какъ-разъ подъ ладъ его душевнаго строя: ужъ за это за одно спасибо Джеммѣ! Но жива ли она? Отвѣтитъ ли она?

Наконецъ пришло письмо — съ американской почтовой маркой — изъ Нью-Іорка на его имя. Почеркъ адреса на оберткѣ былъ англійскій.... Онъ не узналъ его, и сердце въ немъ сжалось. Не разомъ рѣшился онъ надломить пакетъ. Онъ глянулъ на подпись: Джемма! Слезы такъ и брызнули изъ его глазъ: одно то, что она подписалась своимъ

менемъ, безъ фамиліи — служило ему залогомъ примиреія, прощенія! Онъ развернулъ тонкій листъ синей почтоой бумаги — фотографія выскользнула оттуда. Онъ попѣшно ее поднялъ — и такъ и обомлѣлъ: Джемма, живая Джемма, молодая, какою онъ ее зналъ, тридцать лѣтъ тому азадъ! Тѣ же глаза, тѣ же губы, тотъ же типъ всего ица! На оборотной сторонѣ фотографіи стояло: «дочь моя, Маріанна». Все письмо было очень ласково и просто. Джемма благодарила Санина за то, что онъ не усумнился братиться къ ней, что онъ имѣлъ къ ней довѣріе; не скрыала отъ него и того, что она точно, послѣ его бѣгства, ережила тяжелыя мгновенья, но тутъ же прибавляла, что се-таки считаетъ — и всегда считала — свою встрѣчу съ имъ за счастье — такъ какъ эта встрѣча помѣшала ей дѣлаться женою г-на Клюбера — и такимъ образомъ, хотя освенно, но была причиной ея брака съ теперешнимъ ея ужемъ, съ которымъ она живетъ вотъ уже двадцать-восьой годъ совершенно счастливо, въ довольствѣ и изобиліи: омъ ихъ извѣстенъ всѣму Нью-Іорку. Джемма извѣщала Санина, что у ней пять человѣкъ дѣтей — четыре сына и дна, восемнадцатилѣтняя дочь, невѣста, фотографію котоой она ему посылаетъ — такъ какъ она, по общему сужденію, весьма похожа на свою мать. Печальныя вѣсти Джемма приберегла къ концу письма. Фрау Леноре сконалась въ Нью-Іоркѣ, куда она послѣдовала за дочерью и ятемъ — однако успѣла порадоваться счастью своихъ дѣей, поняньчить внучатъ; Панталеоне тоже собирался въ Америку, но умеръ передъ самымъ отъѣздомъ изъ Франкфурта. «А Эмиліо, нашъ милый, несравненный Эмиліо — погибъ славной смертью за свободу родины въ Сициліи, куда онъ отправился въ числѣ тѣхъ «Тысячи», которыми предводительствовалъ великій Гарибальди; мы всѣ горячо оплакали кончину нашего безцѣннаго брата — но и проли-

вая слезы, мы гордились имъ — и вѣчно будемъ имъ гордиться и свято чтить его память! Его высокая, безкорыстная душа была достойна мученическаго вѣнца!» Потомъ Джемма изъявляла свое сожалѣніе о томъ, что жизнь Санина, повидимому — такъ дурно сложилась, желала ему прежде всего успокоенія и душевной тишины, и говорила, что была бы рада свидѣться съ нимъ — хотя и сознаетъ, какъ мало вѣроятно подобное свиданье....

Не беремся описывать чувства, испытанныя Саниным при чтеніи этого письма. Подобнымъ чувствамъ нѣтъ удовлетворительнаго выраженія: онѣ глубже и сильнѣе — и неопредѣленнѣе всякаго слова. Музыка одна могла бы ихъ передать.

Санинъ отвѣчалъ тотчасъ — и въ подарокъ невѣстѣ, послалъ «Маріаннѣ Слокомъ отъ неизвѣстнаго друга» — гранатовый крестикъ, обдѣланный въ великолѣпное, жемчужное ожерелье. Подарокъ этотъ, хотя весьма цѣнный, не разорилъ его: въ теченіе тридцати лѣтъ, протекшихъ со времени его перваго пребыванія во Франкфуртѣ, онъ успѣлъ нажить значительное состояніе. Въ первыхъ числахъ мая онъ вернулся въ Петербургъ — но едва ли на долго. Слышно, что онъ продаетъ всѣ свои имѣнія — и собирается въ Америку.

Баденъ-Баденъ.—1871.

ПУНИНЪ И БАБУРИНЪ.

Разсказъ Петра Петровича Б.

....Я теперь и старъ, и боленъ — и чаще всего размышляю о смерти, съ каждымъ днемъ болѣе близкой; рѣдко думаю о прошедшемъ, рѣдко устремляю назадъ мой духовный взоръ. Лишь иногда — зимой, сидя неподвижно передъ пылающимъ каминомъ; лѣтомъ, расхаживая тихимъ шагомъ по тѣнистой аллеѣ — припоминаю я минувшіе годы, событія, лица; но не на зрѣлой порѣ моей жизни и не на молодости останавливаются тогда мои мысли. Онѣ переносятъ меня либо въ раннее дѣтство, либо въ первое отроческое время. Вотъ и теперь: я вижу себя въ деревнѣ у моей строгой и гнѣвной бабушки — мнѣ всего двѣнадцать лѣтъ — и возникаютъ въ моемъ воображеніи два существа....

Но стану разсказывать по порядку и въ связи.

I.

1830 г.

Старый лакей Филиппычъ вошелъ, по обыкновенью, на цыпочкахъ, съ повязаннымъ въ видѣ розетки галстухомъ, съ крѣпко стиснутыми — «чтобы не отдавало духомъ» —

губами, съ сѣденькимъ хохолкомъ на самой серединѣ лба; вошелъ, поклонился и подалъ на желѣзномъ подносѣ моей бабушкѣ большое письмо съ гербовой печатью. Бабушка надѣла очки, прочла письмо....

— Самъ онъ тутъ? спросила она.

— Чего изволите? робко проговорилъ Филиппычъ.

— Безтолковый! Тотъ, кто привёзъ письмо — тутъ?

— Тутот-ка, тутот-ка.... Въ конторѣ сидитъ.

Бабушка погремѣла своими янтарными чётками....— Вели ему явиться.... А ты, сударь, обратилась она ко мнѣ— сиди смирно.

Я и такъ не шевелился въ своемъ уголку, на присвоенномъ мнѣ табуретѣ.

Бабушка держала меня въ ежовыхъ рукавицахъ!

Минутъ пять спустя вошелъ въ комнату человѣкъ лѣтъ тридцати-пяти, черноволосый, смуглый, съ широкоскулымъ рябымъ лицомъ, крючковатымъ носомъ и густыми бровями, изъ-подъ которыхъ спокойно и печально выглядывали небольшіе сѣрые глаза. Цвѣтъ этихъ глазъ и выраженіе ихъ не соотвѣтствовали восточному складу остальнаго лица. Одѣтъ былъ вошедшій человѣкъ въ степенный, долгополый сюртукъ. Онъ остановился у самой двери и поклонился — одной головою.

— Твоя фамилія Бабуринъ? спросила бабушка, и тутъ же прибавила про себя: «Il a l'air d'un armènien».

— Точно такъ-съ, отвѣчалъ тотъ глухимъ и ровнымъ голосомъ. При первомъ словѣ бабушки: «твоя» — брови его слегка дрогнули. Ужъ не ожидалъ ли онъ, что она будетъ его «выкать», говорить ему: вы?

— Ты русскій? православный?

— Точно такъ-съ.

Бабушка сняла очки, и окинула Бабурина медлительнымъ взоромъ съ головы до ногъ. Онъ не опустилъ глазъ и только руки за спину заложилъ. Собственно меня больше всего интересовала его борода: она была очень гладко выбрита, но такихъ синихъ щекъ и подбородка я отроду не видывалъ!

— Яковъ Петровичъ, начала бабушка, въ письмѣ своемъ очень тебя рекомендуетъ, какъ человѣка «тверёзаго» и трудолюбиваго; однако отчего же ты отъ него отошелъ?

— Имъ, сударыня, въ ихъ хозяйствѣ другого качества люди нужны.

— Другого.... качества? Этого я что-то не понимаю. — Бабушка снова погремѣла чётками. — Яковъ Петровичъ мнѣ пишетъ, что за тобою двѣ странности водятся. Какія странности?

Бабуринъ легонько пожалъ плечами.

— Не могу знать, что̀ имъ угодно было назвать странностями. Развѣ вотъ, что я.... тѣлеснаго наказанія не допускаю.

Бабушка удивилась. — Неужто-жъ Яковъ Петровичъ тебя наказывать хотѣлъ?

Темное лицо Бабурина покраснѣло до самыхъ волосъ.

— Не такъ вы изволили понять меня, сударыня. Я имѣю правиломъ не употреблять тѣлеснаго наказанія.... надъ крестьянами.

Бабушка удивилась больше прежняго, даже руки приподняла.

— А! промолвила она наконецъ, и нагнувши голову нѣсколько на бокъ, еще разъ пристально осмотрѣла Бабурина. — Это твое правило? Ну, это мнѣ совершенно все равно; я тебя не въ прикащики прошу, а въ конторщики, въ писцы. Почеркъ у тебя каковъ?

— Пишу я хорошо-съ, безъ ошибокъ орѳографическихъ.

— И это мнѣ все равно. Мнѣ — главное, чтобы чётко было, да безъ этихъ прописныхъ новыхъ буквъ съ хвостами, которыхъ я не люблю. А какая твоя другая странность?

Бабуринъ помялся на мѣстѣ, кашлянулъ....

— Быть можетъ.... господинъ помѣщикъ изволилъ намекать на то, что я не одинъ.

— Ты женатъ?

— Никакъ нѣтъ-съ.... но....

Бабушка нахмурилась.

— Со мной живетъ одно лицо.... мужескаго пола.... товарищъ, убогій человѣкъ, съ которымъ я не разстаюсь.... вотъ уже, почитай, десятый годъ.

— Онъ твой родственникъ?

— Нѣтъ-съ не родственникъ — товарищъ. Неудобствъ отъ него никакихъ по хозяйству произойти не можетъ, поспѣшилъ прибавить Бабуринъ, какъ-бы предупреждая возраженія. — Живетъ онъ на моихъ харчахъ, помѣщается въ одной со мной комнатѣ; скорѣй пользу онъ долженъ принесть, такъ какъ грамотѣ онъ обученъ, безъ лести сказать, въ совершенствѣ, и нравственность имѣетъ примѣрную.

Бабушка выслушала Бабурина, пожевывая губами и щурясь.

— Онъ на твоемъ иждивеніи живетъ?

— На моемъ-съ.

— Ты его изъ милости содержишь?

— По справедливости.... такъ какъ бѣднаго человѣка обязанность есть — помогать другому бѣдному.

— Вотъ какъ! Впервое слышу. Я до сихъ поръ полагала, что это скорѣй обязанность богатыхъ людей.

— Для богатыхъ, осмѣлюсь доложить, это занятіе.... а для нашего брата....

— Ну, довольно, довольно, хорошо, перебила бабушка и, подумавъ немного, промолвила въ носъ, что̀ всегда было дурнымъ зна̀комъ: — А какихъ онъ лѣтъ, твой нахлѣбникъ?

— Моихъ лѣтъ-съ.

— Твоихъ? — Я полагала, онъ твой воспитанникъ.

— Никакъ нѣтъ-съ; онъ мой товарищъ — и притомъ....

— Довольно, вторично перебила бабушка. Ты, значитъ, филантропъ. Яковъ Петровичъ правъ: въ твоемъ званіи — это странность большая. А теперь поговоримъ-ка о дѣлѣ. Я тебѣ растолкую, какія будутъ твои занятія. Да вотъ еще на счетъ жалованья.... — Que faites vous ici? прибавила вдругъ бабушка, обративъ ко мнѣ свое сухое и желтое лицо. — Allez étudier votre devoir de mythologie.

Я вскочилъ, подошелъ къ бабушкиной ручкѣ и отправился, — не изучать миѳологію, а просто въ садъ.

Садъ въ бабушкиномъ имѣніи былъ очень старъ и великъ, и заканчивался съ одной стороны проточнымъ прудомъ, въ которомъ не только водились караси и пескари, но даже гольцы попадались, знаменитые, нынче почти вездѣ исчезнувшіе гольцы. Въ головѣ этого пруда засѣлъ густой лознякъ; дальше вверхъ, по обоимъ бокамъ косогора, шли сплошные кусты орѣшника, бузины, жимолости, тёрна, проросшіе снизу верескомъ и зорей. Лишь кое-гдѣ между кустами выдавались крохотныя полянки съ изумрудно-зеленой, шелковистой, тонкой травой, среди которой, забавно пестрѣя своими розовыми, лиловыми, палевыми шапочками выглядывали призёмистыя сыроѣшки и свѣтлыми пятнами загорались золотые шарики «куриной слѣпоты». Тутъ по веснамъ пѣвали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки; тутъ и въ лѣтній зной стояла про-

хлада — и я любилъ забиваться въ эту глушь и чащу, гдѣ у меня были фаворитныя, потаенныя мѣстечки, извѣстныя, — такъ по крайней мѣрѣ я воображалъ! — только мнѣ одному. Вышедши изъ бабушкинаго кабинета, я прямо отправился въ одно изъ тѣхъ мѣстечекъ, прозванное мною «Швейцаріей». Но каково было мое изумленіе, когда, еще не добравшись до «Швейцаріи», я сквозь частый переплетъ полузасохшихъ прутьевъ и зеленыхъ вѣтвей увидалъ, что кто-то открылъ ее кромѣ меня! Какая-то длинная-длинная фигура, въ желтомъ фризовомъ балахонѣ и высокомъ картузѣ, стояла на самомъ облюбленномъ мною мѣстечкѣ! Я подкрался поближе и разглядѣлъ лицо, совершенно мнѣ незнакомое, тоже предлинное, мягкое, съ небольшими красноватыми глазками и презабавнымъ носомъ: вытянутый, какъ стручекъ, онъ точно повисъ надъ пухлыми губками; и эти губки, изрѣдка вздрагивая и округляясь, издавали тонкій свистъ, между тѣмъ какъ длинные пальцы костлявыхъ рукъ, поставленные дружка противъ дружки на вышинѣ груди, проворно двигались круговращательнымъ движеніемъ. Время отъ времени движеніе рукъ замирало, губы переставали свистать и вздрагивать, голова наклонялась впередъ, какъ-бы прислушиваясь. Я пододвинулся еще поближе, вглядѣлся еще внимательнѣе.... Незнакомецъ держалъ въ каждой рукѣ по небольшой плоской чашечкѣ, въ родѣ тѣхъ, которыми дразнятъ и заставляютъ пѣть канареекъ. Сукъ хрустнулъ у меня подъ ногою; незнакомецъ дрогнулъ, устремилъ свои слѣпые глазёнки въ чащу и попятился-было.... да наткнулся на дерево, охнулъ и остановился.

Я вышелъ на полянку. Незнакомецъ улыбнулся.

— Здравствуйте, промолвилъ я.

— Здравствуйте, барчукъ!

Мнѣ не понравилось, что онъ меня назвалъ барчукомъ. Что за фамильярность!

— Что вы здѣсь дѣлаете? спросилъ я строго.

— А вотъ видите, отвѣчалъ онъ, не переставая улыбаться. — Птичекъ на пѣніе вызываю. — Онъ показалъ мнѣ свои чашечки. — Зяблики отлично отвѣтствуютъ! Васъ, по младости вашихъ лѣтъ, пѣніе пернатыхъ должно услащать безпремѣнно! Извольте прислушать: я стану щебетать — а они за мною сейчасъ — какъ пріятно!

Онъ началъ тереть свои чашечки. Точно, зябликъ отозвался на ближней рябинѣ. Незнакомецъ засмѣялся беззвучно и подмигнулъ мнѣ глазомъ.

Смѣхъ этотъ и это подмигиваніе — каждое движеніе незнакомца, его шепелявый, слабый голосъ, выгнутыя колѣни, худощавыя руки, самый его картузъ, его длинный балахонъ — все въ немъ дышало добродушіемъ, чѣмъ-то невиннымъ и забавнымъ.

— Вы давно сюда пріѣхали? спросилъ я.

— А сегодня.

— Да вы не тотъ ли, о которомъ....

— Господинъ Бабуринъ съ барыней говорилъ? Тотъ самый, тотъ самый.

— Вашего товарища Бабуринымъ зовутъ, а васъ?

— А меня — Пунинымъ. Пунинъ моя фамилія; Пунинъ. Онъ Бабуринъ, а я Пунинъ. — Онъ опять зажужжалъ чашечками. — Слышите, слышите зяблика.... Какъ заливается!

Мнѣ этотъ чудакъ вдругъ «ужасно» полюбился. Какъ почти всѣ мальчики, я съ чужими либо робѣлъ, либо важничалъ, а съ этимъ я словно вѣкъ былъ знакомъ.

— Пойдемте со мною, сказалъ я ему; я знаю мѣстечко еще лучше этого; тамъ есть скамейка: мы сѣсть можемъ, и плотина оттуда видна.

— Извольте, пойдемте, отвѣчалъ на-распѣвъ мой новый пріятель. Я пропустилъ его впередъ. На ходу онъ

переваливался, шмыгалъ ногами и затылокъ назадъ закидывалъ.

Я замѣтилъ, что у него сзади на балахонѣ, подъ воротникомъ, болталась небольшая кисточка. — Что это у васъ такое виситъ? спросилъ я.

— Гдѣ? переспросилъ онъ, и пощупалъ воротникъ рукою. — А! Эта кисточка? Пущай ее! Значитъ, для красы пришита. Не мѣшаетъ.

Я привелъ его къ скамейкѣ, сѣлъ; онъ помѣстился рядомъ. — Здѣсь хорошо! промолвилъ онъ и вздохнулъ глубоко, глубоко. — Охъ, хорошохонько! Отличнѣйшій у васъ садъ! Охъ, охъ-хо!

Я посмотрѣлъ на него сбоку. — Какой у васъ картузъ! невольно воскликнулъ я. — Покажите-ка!

— Извольте, барчукъ, извольте. — Онъ снялъ картузъ; я протянулъ-было руку, но поднялъ глаза и — такъ и прыснулъ. Пунинъ былъ совершенно лысъ; ни одного волосика не виднѣлось на заостренномъ его черепѣ, покрытомъ гладкой и бѣлой кожей.

Онъ провелъ по немъ ладонью и засмѣялся тоже. Когда онъ смѣялся, онъ словно захлебывался, раскрывалъ широко ротъ, закрывалъ глаза — а по лбу пробѣгали морщины снизу вверхъ, въ три ряда, какъ волны. — Что? сказалъ онъ наконецъ. — Не правда ли, настоящее яйцо?

— Настоящее, настоящее яйцо! подхватилъ я съ восторгомъ. — И давно вы такіе?

— Давно; а какіе были волосы! — Золотое руно, подобное тому, за которымъ аргонавты переплывали морскія пучины.

Хотя мнѣ всего было двѣнадцать лѣтъ, однако я, по милости моихъ миѳологическихъ занятій, зналъ, кто были аргонавты; тѣмъ болѣе удивился я, услышавъ это слово въ устахъ человѣка, одѣтаго чуть не въ рубище.

— Вы, стало-быть, учились миѳологіи? спросилъ я, переворачивая въ рукахъ картузъ, который оказался на ватѣ, съ мѣховымъ облѣзлымъ окольшкомъ и картоннымъ, надломаннымъ козырькомъ.

— Изучалъ и этотъ предметъ, барчучёночекъ мой миленькій; въ жизни моей всего было достаточно! А теперь возвратите-тка мнѣ покрышку, ею же защищается нагота главы моея.

Онъ нахлобучилъ картузъ, и перекосивъ свои бѣловатыя брови, спросилъ меня: кто я собственно такой и кто мои родители?

— Я внукъ здѣшней помѣщицы, отвѣчалъ я. Я у ней, одинъ. Пàпа и мàма умерли.

Пунинъ перекрестился. — Царство имъ небесное! Значитъ: сирота; ну, и наслѣдникъ. Дворянская-то кровь сейчасъ видна; такъ въ глазенкахъ и бѣгаетъ, такъ и играетъ.... ж... ж... ж... ж.... Онъ представилъ пальцами, какъ играетъ кровь. — Ну — а не знаете ли, ваше благородіе, поладилъ ли мой товарищъ съ бабенькой вашей, получилъ ли мѣсто, которое ему обѣщали?

— Этого я не знаю.

Пунинъ крякнулъ. — Эхъ! кабы здѣсь пристроиться! хотя бы на время! А то странствуешь, странствуешь, пріюта не обрѣтается, тревоги житейскія не прекращаются, душа сомущается....

— Скажите, перебилъ я его, вы — изъ духовнаго званія?

Пунинъ обернулся ко мнѣ и прищурился. — А какая сему вопросу причина, отроче мой любезный?

— Да вы такъ говорите — вотъ какъ въ церкви читаютъ.

— Что славянскія-то рѣченія я употребляю? Но это не должно васъ удивлять. Положимъ, въ обыкновенной бе-

сѣдѣ подобныя рѣченья не всегда умѣстны; но какъ только воспаришь духомъ — такъ сейчасъ и слогъ является возвышѐнный. Неужто же вашъ учитель — преподаватель словесности россійской — вѣдь вамъ её преподаютъ? — неужто же онъ вамъ этого не объясняетъ?

— Нѣтъ, не объясняетъ, отвѣтилъ я. Когда мы въ деревнѣ живемъ — у меня и учителя нѣтъ. Въ Москвѣ у меня много учителей.

— А долго ли вы въ деревнѣ проживать изволите?

— Мѣсяца два, не больше; бабушка говоритъ, что я въ деревнѣ балуюсь. Гувернантка со мной есть и тутъ.

— Французенка?

— Француженка.

Пунинъ почесалъ у себя за ухомъ. — Сирѣчь, мамзель?

— Да; ее зовутъ мадмуазель Фрикэ. — Мнѣ вдругъ показалось постыднымъ, что у меня, двѣнадцатилѣтняго мальчика, не гувернеръ, а гувернантка, точно у дѣвочки! — Да я ея не слушаюсь, прибавилъ я съ пренебреженіемъ. — Мнѣ что!

Пунинъ покачалъ головою. — Охъ, дворянчики, дворянчики! полюбились вамъ иностранчики! Отъ россійскаго вы отклонилися, — на чужое преклонилися, къ иноземцамъ обратилися....

— Что это? Вы стихами говорите? спросилъ я.

— А вы какъ полагаете? Я могу завсегда, сколько угодно; потому, сіе мнѣ природно....

Но въ это самое мгновеніе раздался въ саду за нами сильный и рѣзкій свистъ. Собесѣдникъ мой проворно поднялся съ лавки. — Простите, барчукъ; это товарищъ меня зоветъ, ищетъ меня.... Что-то онъ мнѣ скажетъ? простите, не взыщите....

Онъ юркнулъ въ кусты и исчезъ; а я посидѣлъ еще на скамейкѣ. Я чувствовалъ недоумѣнье и какое-то другое,

довольно пріятное чувство.... я никогда еще не встрѣчался и не говорилъ съ такимъ человѣкомъ. Понемногу я размечтался.... но вспомнилъ миѳологію — и побрёлъ домой.

Дома я узналъ, что бабушка сошлась съ Бабуринымъ: ему отвели небольшую комнату въ людской избѣ, на конномъ дворѣ. Онъ тотчасъ поселился въ ней съ своимъ товарищемъ.

На другое утро, я, напившись чаю и не отпросившись у мадмуазель Фрикэ, отправился въ людскую избу. Мнѣ хотѣлось опять поболтать со вчерашнимъ чудакомъ. Не постучавшись въ дверь — этого обычая у насъ и въ заводѣ не было — я прямо вошелъ въ комнату. Я засталъ въ ней не того, кого я искалъ, не Пунина, а покровителя его — филантропа Бабурина. Онъ стоялъ передъ окномъ, безъ верхней одежды, широко растопыривъ ноги, и тщательно вытиралъ себѣ голову и шею длиннымъ полотенцемъ.

— Вамъ что угодно? промолвилъ онъ, не опуская рукъ и насупивъ брови.

— Пунина нѣтъ дома? спросилъ я самымъ развязнымъ манеромъ и не снимая шапки.

— Господина Пунина, Никандра Вавилыча, въ сію минуту точно нѣтъ дома, отвѣчалъ, не торопясь, Бабуринъ; но позвольте вамъ замѣтить, молодой человѣкъ: развѣ прилично — такъ, не спросясь, входить въ чужую комнату?

Я!... молодой человѣкъ!... какъ онъ смѣетъ!... Я вспыхнулъ отъ гнѣва

— Вы, должно быть, меня не знаете, произнесъ я уже не развязно, а надменно: — я здѣшней барыни внукъ.

— Это мнѣ все едино, возразилъ Бабуринъ, снова при-

нимаясь за полотенце. Вы хоть и барскій внукъ — а не имѣете права входить въ чужую комнату.

— Какая же она чужая? Что вы?! Я здѣсь—вездѣ—дома.

— Нѣтъ, извините, здѣсь дома — я; потому что комната эта назначена мнѣ по условію — за мои труды.

— Не учите меня, пожалуйста, перебилъ я его; я лучше васъ знаю, что....

— Васъ надобно учить, перебилъ онъ меня въ свою очередь, потому что вы въ такомъ возрастѣ обрѣтаетесь.... Я знаю свои обязанности, но и права свои знаю тоже очень хорошо, и если вы будете продолжать такимъ образомъ со мною бесѣдовать — то мнѣ придется попросить васъ отсюда выдти....

Неизвѣстно, чѣмъ бы кончилось наше препираніе, если-бъ въ эту минуту, шмыгая и раскачиваясь, не вошелъ Пунинъ. Онъ, вѣроятно, догадался, по выраженію нашихъ лицъ, что между нами произошло что-то неладное, и тотчасъ обратился ко мнѣ съ самыми любезными изъявленіями радости.

— А, барчукъ! барчукъ! воскликнулъ онъ, безпорядочно взмахивая руками и заливаясь своимъ беззвучнымъ смѣхомъ: миленькій! меня навѣстить пришелъ! пришелъ миленькій! (Что это? подумалъ я; неужто же онъ мнѣ — «ты» говоритъ?) Ну пойдемъ, пойдемъ со мною въ садъ. Я тамъ нѣчто такое нашелъ.... Что въ духотѣ сидѣть-то! пойдемъ.

Я послѣдовалъ за Пунинымъ, однако на порогѣ двери почелъ за нужное обернуться и бросить вызывающій взоръ на Бабурина. Я, молъ, тебя не боюсь!

Онъ отвѣтилъ мнѣ тѣмъ же и даже фукнулъ въ полотенце — вѣроятно, для того, чтобы хорошенько дать мнѣ почувствовать, до какой степени онъ меня презираетъ!

— Какой нахалъ вашъ пріятель! сказалъ я Пунину, какъ только дверь затворилась за мною.

Пунинъ чуть не съ испугомъ поворотилъ ко мнѣ свое пухлое лицо.

— Это вы о комъ такъ выражаетесь? спросилъ онъ, выпуча глаза.

— Да конечно о немъ.... какъ вы его называете? объ этомъ.... Бабуринѣ.

— О Парамонѣ Семеновичѣ?

— Ну да; вотъ объ этомъ.... черномазомъ.

— Э.... э.... э...! промолвилъ съ ласковой укоризной Пунинъ. — Какъ это вы можете такъ говорить, барчукъ, барчукъ! — Парамонъ Семенычъ человѣкъ достойнѣйшій, строжайшихъ правилъ, изъ ряду вонъ! Ну, конечно — себя онъ въ обиду не дастъ, потому — цѣну себѣ знаетъ. Большими познаніями обладаетъ сей человѣкъ — и не такое бы ему занимать мѣсто! Съ нимъ, мой миленькій, надо обходиться вѣжливенько, вѣдь онъ.... тутъ Пунинъ наклонился къ самому моему уху — республиканецъ!

Я уставился на Пунина. Этого я никакъ не ожидалъ. Изъ учебника Кайданова и другихъ историческихъ сочиненій я вычиталъ, что существовали когда-то въ древности республиканцы, греки и римляне, и даже почему-то воображалъ ихъ всѣхъ въ шлемахъ, съ круглыми щитами на рукахъ и голыми большими ногами; но, чтобы въ дѣйствительности, въ настоящее время, особенно въ Россіи, въ ....ой губерніи, могли находиться республиканцы — это сбивало всѣ мои понятія, совершенно путало ихъ!

— Да, мой миленькій, да; Парамонъ Семенычъ республиканецъ, повторилъ Пунинъ; вотъ вы и знайте впередъ, какъ о такомъ человѣкѣ отзываться! — А теперь пойдемте въ садъ. Представьте, что̀ я тамъ нашелъ! Кукушкино яйцо въ гнѣздѣ у горихвостки! чудеса!

Я отправился въ садъ вмѣстѣ съ Пунинымъ; но мысленно все твердилъ: республиканецъ! рес....пу....бликанецъ!

«То-то, рѣшилъ я наконецъ — у него такая синяя борода!»

Мои отношенія къ этимъ двумъ личностямъ — Пунину и Бабурину — опредѣлились окончательно съ самаго того дня. Бабуринъ возбуждалъ во мнѣ чувство враждебное, къ которому однако въ скоромъ времени примѣшалось нѣчто похожее на уваженіе. И боялся же я его! Я не пересталъ бояться его даже тогда, когда въ его обращеніи со мною исчезла прежняя рѣзкая строгость. Нечего говорить, что я Пунина не боялся; я даже не уважалъ его, я считалъ его — говоря безъ обиняковъ — за шута; но полюбилъ я его всею душою! Проводить цѣлые часы въ его обществѣ, быть съ нимъ наединѣ, слушать его разсказы — стало для меня истиннымъ наслажденьемъ. Бабушкѣ очень не нравилась эта «intimité» съ человѣкомъ изъ «простецовъ» — «du commun»; но я, какъ только мнѣ удавалось урваться, тотчасъ бѣжалъ къ моему забавному, дорогому, странному другу. Свиданія наши стали особенно часты послѣ удаленія мадмуазель Фрикэ, которую бабушка отправила обратно въ Москву въ наказаніе за то, что она вздумала пожаловаться заѣзжему армейскому штабсъ-капитану на скуку, господствовавшую въ нашемъ домѣ. И Пунинъ, съ своей стороны, не тяготился продолжительными бесѣдами съ двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ; онъ словно самъ искалъ ихъ. Сколько переслушалъ я его разсказовъ, сидя съ нимъ въ пахучей тѣни, на сухой и гладкой травѣ, подъ навѣсомъ серебристыхъ тополей, или въ камышахъ надъ прудомъ, на крупномъ и сыроватомъ песку обвалившагося берега, изъ котораго, странно сплетаясь, какъ большія черныя жилы, какъ

змѣи, какъ выходцы подземнаго царства, торчали узловатые коренья! Пунинъ въ подробности разсказалъ мнѣ свою жизнь, всѣ свои счастливые и несчастные случаи, которымъ я всегда такъ искренно сочувствовалъ! Его отецъ былъ дьякономъ; — «чудесный былъ человѣкъ — однако подъ хмѣлемъ строгъ до безпамятства».

Самъ Пунинъ учился въ семинаріи; но не выдержавъ «поронцій» и не ощущая въ себѣ расположенія къ духовному званію, сдѣлался міряниномъ, вслѣдствіе чего произошелъ всѣ мытарства и сталъ наконецъ бродягой. — «И не встрѣться я съ благодѣтелемъ моимъ Парамономъ Семенычемъ», прибавлялъ обыкновенно Пунинъ — (онъ иначе не величалъ Бабурина) «погрязъ бы я въ пучинѣ бѣдствій, безобразія и пороковъ!» Пунинъ любилъ высокопарныя выраженія — и если не ко лжи, то къ сочинительству и преувеличиванію поползновеніе имѣлъ сильное; всему-то онъ дивился, отъ всего приходилъ въ восторгъ.... И я, въ подражаніе ему, тоже пускался преувеличивать и восторгаться. — «Да ты какой-то бѣсноватый сталъ — перекрестись, что ты это», — говаривала мнѣ старая няня. Разсказы Пунина занимали меня чрезвычайно; но больше даже его разсказовъ любилъ я чтенія, которыя онъ производилъ со мною. Невозможно передать чувство, которое я испытывалъ, когда улучивъ удобную минуту, онъ внезапно, словно сказочный пустынникъ или добрый духъ, появлялся передо мною съ увѣсистой книгой подъ мышкой, и украдкой кивая длиннымъ кривымъ пальцемъ и таинственно подмигивая, указывалъ головой, бровями, плечами, всѣмъ тѣломъ на глубь и глушь сада, куда никто не могъ проникнуть за нами и гдѣ невозможно было насъ отыскать! И вотъ, удалось намъ уйти незамѣченными; вотъ, мы благополучно достигли одного изъ нашихъ тайныхъ мѣстечекъ; вотъ, мы сидимъ уже рядкомъ, вотъ уже и книга медленно раскрывается,

Бабушка вовсемъ любила чистоту и порядокъ, ни
ни взять тогдашніе исполнительные генералы; въ чи
и порядкѣ долженъ былъ содержаться и садъ нашъ.
тому отъ времени до времени въ него «нагоняли» б
гольныхъ мужиковъ-бобылей, заштатныхъ или опаль
дворовыхъ — и заставляли ихъ чистить дорожки, п
гряды, просѣвать и разрыхлять землю подъ клумбы и
Вотъ однажды, въ самый развалъ именно такого пре
бабушка отправилась въ садъ и меня съ собой взяла. В
между деревьевъ, по луговинамъ, мелькали бѣлыя,
ныя, сизыя рубахи; всюду слышался скрежетъ и
скребущихъ лопатъ, глухой стукъ земляныхъ комье
косопоставленныя сита. Проходя мимо рабочихъ, баб
своимъ орлинымъ окомъ тотчасъ замѣтила, что один
нихъ и усердствовалъ меньше прочихъ, и шапку снялъ
будто нехотя. Это былъ очень еще молодой парень с
питымъ лицомъ и впалыми тусклыми глазами. Нан
кафтанъ, весь прорванный и заплатанный, едва дер
на узкихъ его плечахъ.

— Кто это? спросила бабушка у Филиппыча, н
почкахъ выступавшаго за нею слѣдомъ.

— Вы.... про кого.... изволите.... залепеталъ-был
липпычъ.

— О, дуракъ! Я про этого говорю, что̀ волком
меня посмотрѣлъ. Вонъ, стоитъ — не работаетъ.

— Этотъ-съ! Да-съ.... Э.... э.... это Ермилъ, І
Аѳанасьева покойнаго сынокъ.

Этотъ Павелъ Аѳанасьевъ былъ, лѣтъ десять том
задъ, мажордомомъ у бабушки и пользовался особен
ея расположеніемъ; но внезапно впавъ въ немилость, т
внезапно превратился въ скотника, да и въ скотника
удержался, покатился дальше, кубаремъ, очутился,
нецъ, въ курной избѣ заглазной деревни на пудѣ муки и

чины, и умеръ отъ паралича, оставивъ семью въ крайней бѣдности.

— Ага! промолвила бабушка; яблоко, видно, недалеко отъ яблони падаетъ. Ну, придется распорядиться и съ этимъ. Мнѣ такихъ, что̀ изъ-подлобья смотрятъ, — не надобно.

Бабушка вернулась домой — и распорядилась. Часа черезъ три, Ермила, совершенно «снаряженнаго», привели подъ окно ея кабинета. Несчастный мальчикъ отправлялся на поселеніе; за оградой, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, виднѣлась крестьянская телѣжёнка, нагруженная его бѣднымъ скарбомъ. Такія были тогда времена! — Ермилъ стоялъ безъ шапки, понуривъ голову, босой, закинувъ за спину связанные веревочкой сапоги; лицо его, обращенное къ барскому дому, не выражало ни отчаянія, ни скорби, ни даже изумленія; тупая усмѣшка застыла на безцвѣтныхъ губахъ; глаза, сухіе и съеженные, глядѣли упорно въ землю. Бабушкѣ доложили о немъ. Она встала съ дивана, подошла, чуть шумя шелковымъ платьемъ, къ окну кабинета, и, приложивъ къ переносицѣ золотой двойной лорнетъ, посмотрѣла на новаго ссыльнаго. Въ кабинетѣ, кромѣ ея, находились въ ту минуту четыре человѣка: дворецкій, Бабуринъ, дневальный казачекъ и я.

Бабушка качнула головою сверху внизъ....

— Сударыня, раздался вдругъ хриплый, почти сдавленный голосъ. Я оглянулся. Лицо у Бабурина покраснѣло.... покраснѣло до темноты; подъ насупленными бровями появились маленькія, свѣтлыя, острыя точки.... Не было сомнѣнія: это онъ, это Бабуринъ произнесъ слово: Сударыня!

Бабушка тоже оглянулась, и перевела свой лорнетъ съ Ермила на Бабурина.

— Кто тутъ.... говоритъ? произнесла она медленно.... въ носъ. Бабуринъ слегка выступилъ впередъ.

— Сударыня, началъ онъ; это я.... рѣшился. — Я полагалъ.... Я осмѣливаюсь доложить вамъ, что вы напрасно изволите поступать такъ.... какъ вы сейчасъ поступить изволили.

— То-есть? повторила бабушка тѣмъ же голосомъ и не отводя лорнета.

— Я имѣю честь.... продолжалъ Бабуринъ отчетливо, хотя съ видимымъ трудомъ выговаривая каждое слово — я изъясняюсь на счетъ этого парня, что̀ ссылается на поселеніе.... безо всякой съ его стороны вины. Такія распоряженія, смѣю доложить, ведутъ лишь къ неудовольствіямъ.... и къ другимъ — чего Боже сохрани! — послѣдствіямъ — и суть не что иное, какъ превышеніе данной господамъ помѣщикамъ власти.

— Ты.... гдѣ учился? спросила бабушка послѣ нѣкотораго молчанія, и опустила лорнетъ.

Бабуринъ изумился. — Чего изволите-съ? пробормоталъ онъ.

— Я спрашиваю тебя: гдѣ ты учился? — Ты такія мудреныя слова употребляешь.

— Я.... воспитаніе мое.... началъ-было Бабуринъ.

Бабушка презрительно пожала плечомъ. — Стало-быть, перебила она, тебѣ мои распоряженія не нравятся. Это мнѣ совершенно все равно — въ своихъ подданныхъ я властна, и никому за нихъ не отвѣчаю, — только я не привыкла, чтобы въ моемъ присутствіи разсуждали, и не въ свое дѣло мѣшались. Мнѣ ученые филантропы изъ разночинцевъ не надобны; мнѣ слуги надобны безотвѣтные. Такъ я до тебя жила, и послѣ тебя я такъ жить буду. Ты мнѣ не годишься: ты уволенъ. — Николай Антоновъ, обратилась бабушка къ дворецкому: — разсчитай этого человѣка; чтобы сегодня же къ обѣду его здѣсь не было! Слышишь? Не введи меня въ гнѣвъ. Да и другого того.... дурака прижи-

вальщика съ нимъ отправить. — Чего-жъ Ермилка ждетъ? прибавила она, снова глянувъ въ окно. — Я его осмотрѣла. Ну, чего еще? Бабушка махнула платкомъ въ направленіи окна, какъ-бы прогоняя докучливую муху. Потомъ она сѣла на кресло и, обернувшись къ намъ, промолвила угрюмо: «ступайте всѣ люди вонъ!»

Всѣ мы удалились — всѣ, кромѣ казачка дневальнаго, къ которому слова бабушки не относились, потому что онъ не былъ «человѣкомъ».

Приказъ Бабушки былъ исполненъ въ точности. Къ обѣду, и Бабуринъ, и другъ мой Пунинъ, выѣхали изъ усадьбы. Не берусь описать мое горе, мое искреннее, прямо дѣтское отчаяніе. Оно было такъ сильно, что заглушало даже то чувство благоговѣйнаго удивленія, которое внушила мнѣ смѣлая выходка республиканца Бабурина. Послѣ разговора съ бабушкой, онъ тотчасъ отправился къ себѣ въ комнату и началъ укладываться. Меня онъ не удостоивалъ ни словомъ, ни взглядомъ, хотя я все время вертѣлся около него, то-есть, въ сущности — около Пунина. Этотъ совсѣмъ потерялся — и тоже ничего не говорилъ, за то безпрестанно взглядывалъ на меня, и въ глазахъ его стояли слезы.... все однѣ и тѣ же слезы: онѣ не проливались и не высыхали. Онъ не смѣлъ осуждать своего «благодѣтеля». — Парамонъ Семенычъ не могъ ни въ чемъ ошибиться, — но очень ему было томно и грустно. Мы съ Пунинымъ попытались-было прочесть на прощаніе нѣчто изъ «Россіады»; мы даже заперлись для этого въ чуланъ — нечего было думать идти въ садъ — но на первомъ же стихѣ запнулись оба, и я разревѣлся какъ телёнокъ, несмотря на мои двѣнадцать лѣтъ и претензіи быть большимъ. Уже сидя въ тарантасѣ, Ба-

буринъ обратился наконецъ ко мнѣ и, нѣсколько смягчивъ обычную строгость своего лица, промолвилъ: «Урокъ вамъ, молодой господинъ: помните нынѣшнее происшествіе и, когда выростете, постарайтесь прекратить таковыя несправедливости. Сердце у васъ доброе, характеръ пока еще неиспорченный.... Смотрите, берегитесь: этакъ вѣдь нельзя!» Сквозь слезы, обильно струившіяся по моему носу, по губамъ, по подбородку, я пролепеталъ, что буду.... буду помнить, что обѣщаюсь.... сдѣлаю.... непремѣнно.... непремѣнно....

Но тутъ на Пунина, съ которымъ мы передъ тѣмъ разъ двадцать обнялись — (мои щеки горѣли отъ прикосновенія его небритой бороды, и весь я былъ пропитанъ его запахомъ) — тутъ на Пунина нашло внезапное изступленіе! Онъ вскочилъ на сидѣнье тарантаса, поднялъ обѣ руки кверху и началъ громовымъ голосомъ (откуда онъ у него взялся!) декламировать извѣстное переложеніе Давидова псалма Державинымъ, піитой на этотъ разъ — а не царедворцемъ:

Возстань, Всесильный Богъ! Да судитъ
Земныхъ боговъ во сонмѣ ихъ!...
Доколь вамъ, рекъ, доколь вамъ будетъ
Щадить неправедныхъ и злыхъ?
Вашъ долгъ есть сохранять законы....

— Сядь! сказалъ ему Бабуринъ.

Пунинъ сѣлъ, но продолжалъ:

Вашъ долгъ — спасать отъ бѣдъ невинныхъ,
Несчастливымъ подать покровъ,
Отъ сильныхъ защищать безсильныхъ....

Пунинъ, при словѣ «сильныхъ» — указалъ пальцемъ на барскій домъ, а потомъ ткнулъ имъ въ спину сидѣвшаго на козлахъ кучера:

Исторгнуть бѣдныхъ изъ оковъ!
Не внемлютъ! Видятъ и не знаютъ....

Прибѣжавшій изъ барскаго дома, Николай Антоновъ закричалъ во все горло кучеру: «Пошелъ! ворона! пошолъ, не зѣвай!» и тарантасъ покатился. Только издали еще слышалось:

Воскресни, Боже, Боже правый!...
Приди, суди, карай лукавыхъ —
И будь одинъ Царемъ земли!

— Экой паяцъ! замѣтилъ Николай Антоновъ.

— Недостаточно пороли въ юности, доложилъ появившійся на крылечко дьяконъ. Онъ приходилъ освѣдомиться, въ которомъ часу угодно барынѣ назначить всенощную.

Въ тотъ же день, узнавъ, что Ермилъ находится еще на деревнѣ и только на другое утро рано препровождается въ городъ, для исполненія извѣстныхъ законныхъ формальностей, которыя, имѣя цѣлью ограничить произволъ помѣщиковъ, служили только источникомъ добавочныхъ доходовъ для предержащихъ властей — въ тотъ же день я отыскалъ его и, за неимѣніемъ собственныхъ денегъ, вручилъ ему узелокъ, въ который увязалъ два носовыхъ платка, пару стоптанныхъ башмаковъ, гребенку, старую ночную рубашку и совсѣмъ новенькій шелковый галстухъ. Ермилъ, котораго мнѣ пришлось разбудить — онъ лежалъ на задворкѣ, возлѣ телѣги, на охапкѣ соломы — Ермилъ довольно равнодушно, не безъ нѣкотораго даже колебанія, принялъ мой подарокъ, не поблагодарилъ меня, тутъ же уткнулъ голову въ солому и снова заснулъ. Я ушелъ отъ него нѣсколько разочарованный. Я воображалъ, что онъ изумится и возрадуется моему посѣщенію, увидитъ въ немъ залогъ моихъ будущихъ великодушныхъ намѣреній — и вмѣсто того....

— Эти люди — что ни говори — безчувственны, думалось мнѣ на обратномъ пути.

Бабушка, которая почему-то оставляла меня въ покоѣ весь этотъ памятный для меня день, подозрительно оглянула меня, когда я сталъ, послѣ ужина, съ ней прощаться.

— У васъ глаза красны, замѣтила она мнѣ по-французски — и отъ васъ избою пахнетъ. Не буду входить въ разбирательство вашихъ чувствъ и вашихъ занятій — я не желала бы быть вынужденной наказать васъ — но надѣюсь, что вы оставите всѣ ваши глупости и будете снова вести себя, какъ прилично благородному мальчику. Впрочемъ, мы теперь скоро вернемся въ Москву, и я возьму для васъ гувернера — такъ какъ я вижу, чтобы справиться съ вами, нужна мужская рука. Ступайте.

Мы дѣйствительно скоро вернулись въ Москву.

II.

1837 г.

Прошло семь лѣтъ. Мы по прежнему жили въ Москвѣ — но я былъ уже второкурснымъ студентомъ — и власть бабушки, замѣтно одряхлѣвшей въ послѣдніе годы, не тяготѣла надо мною. Изо всѣхъ моихъ товарищей я особенно близко сошелся съ нѣкіимъ Тарховымъ, веселымъ и добродушнымъ малымъ. Наши привычки, наши вкусы совпадали. Тарховъ былъ большой охотникъ до поэзіи, и самъ пописывалъ стишки, во мнѣ тоже не пропали сѣмена, посѣянныя Пуниным. У насъ, какъ это водится между сблизившимися молодыми людьми, не было тайнъ другъ передъ другомъ. Но вотъ въ теченіе нѣсколькихъ дней я сталъ замѣчать въ Тарховѣ какую-то оживленность и тревогу.... Онъ пропадалъ по часамъ — и я не зналъ, гдѣ онъ пропадаетъ, чего

прежде никогда не случалось! Я уже собирался потребовать отъ него, во имя дружбы, полной исповѣди.... Онъ самъ предупредилъ меня.

Однажды я сидѣлъ у него въ комнатѣ.... «Петя», — заговорилъ онъ вдругъ, весело краснѣя и глядя мнѣ прямо въ лицо, — «я долженъ познакомить тебя съ моею Музой».

— Съ твоей музой! какъ ты странно выражаешься! Точно классикъ! (Романтизмъ находился тогда, въ 1837-мъ году, въ полномъ разгарѣ). Развѣ я съ нею давно не знакомъ — съ твоей музой! Новое стихотвореніе ты написалъ, что̀ ли?

— Ты меня не понимаешь, возразилъ Тарховъ, все продолжая смѣяться и краснѣть. — Я познакомлю тебя съ живою Музой.

— А! вотъ какъ! Но почему же она — твоя?

— Да потому же.... Вотъ постой, кажется, это она идетъ сюда.

Послышался легонькій стукъ проворныхъ каблучковъ— дверь распахнулась — и на порогѣ показалась дѣвушка лѣтъ восемнадцати въ пестренькомъ ситцевомъ платьецѣ, съ черной суконной мантильей на плечахъ, съ черной соломенной шляпой на бѣлокурыхъ, немного взбитыхъ волосахъ. Увидѣвъ меня, она испугалась и застыдилась, и подалась назадъ.... но Тарховъ тотчасъ вскочилъ ей на встрѣчу.

— Пожалуйста, пожалуйста, Муза Павловна, войдите: это мой закадычный пріятель, прекраснѣйшій человѣкъ — и смирный-пресмирный. Его вамъ нечего бояться. Петя, обратился онъ ко мнѣ — рекомендую тебѣ мою Музу — Музу Павловну Виноградову, хорошую мою знакомую.

Я поклонился.

— Какъ же такъ.... Музу? началъ-было я....

Тарховъ засмѣялся. — А ты не знаешь, что въ святцахъ существуетъ такое имя? И я, братъ, не зналъ, пока вотъ

не встрѣтился съ этой милой барышней. Муза! этакое имя прелестное. И такъ къ ней идетъ?

Я вторично поклонился хорошей знакомой моего пріятеля. Она отдѣлилась отъ двери, ступила раза два и остановилась. Очень она была миловидна, но съ мнѣніемъ Тархова я согласиться не могъ, и даже подумалъ про себя: «Ну, какая она муза!»

Черты ея кругловатаго, розоваго лица были тонки и мелки; свѣжей, бойкой молодостью вѣяло отъ всей ея миніатюрной, стройной фигуры; но музу, олицетвореніе музы я въ то время — да и не я одинъ — всѣ мы, юнцы, представляли себѣ совсѣмъ иначе! Прежде всего муза непремѣнно должна была быть черноволоса и блѣдна! Презрительно-гордое выраженіе, ѣдкая усмѣшка, вдохновенный взглядъ — и то «нѣчто», таинственное, демоническое, фатальное — вотъ безъ чего мы не могли вообразить музу, музу Байрона, тогдашняго властителя людскихъ думъ. Ничего подобнаго не замѣчалось на лицѣ вошедшей дѣвушки. Будь я тогда постарше, да поопытнѣе — я бы вѣроятно обратилъ больше вниманія на ея глаза, маленькіе, углубленные, съ припухлыми вѣками, но черные какъ агатъ, живые и свѣтлые — что̀ рѣдко въ бѣлокурыхъ. Не поэтическія наклонности открылъ бы я въ ихъ торопливомъ, какъ-бы скользившемъ взглядѣ, а признаки страстной, до самозабвенія страстной души.... Но я былъ тогда еще очень юнъ.

Я протянулъ Музѣ Павловнѣ руку — она не подала мнѣ своей, — она не замѣтила моего движенія; сѣла на пододвинутый Тарховымъ стулъ, но шляпы и мантильи не сняла.

Ей видимо было неловко: мое присутствіе ее стѣсняло. Она дышала неровно и протяжно, словно воздуху въ себя набирала.

— Я къ вамъ на минуточку, Владиміръ Николаичъ, на-

чала она, — голосъ у ней былъ очень тихій и грудной; въ ея алыхъ, почти дѣтскихъ устахъ онъ казался немного страннымъ; — но наша мадамъ никакъ не хотѣла отпустить меня больше, чѣмъ на полчаса. Третьяго дня вамъ нездоровилось.... такъ вотъ я подумала....

Она запнулась, наклонила голову. Осѣненные густыми, низкими бровями, неуловимо бѣгали — туда-сюда — ея темные глазки. Въ жаркое лѣто, между былинками высохшихъ травъ попадаются такіе же темные, проворные и блестящіе жучки.

— Какая же вы милая, Муза, Музочка! воскликнулъ Тарховъ. Но посидите, посидите немножко.... Мы вотъ самоваръ поставимъ.

— Ахъ, нѣтъ, Владиміръ Николаевичъ! какъ возможно! Я сію секунду должна уйти.

— Отдохните хоть крошечку. Вы запыхались.... Вы устали.

— Я не устала. Я.... не оттого.... Только вотъ... дайте мнѣ другую книжку: эту я прочла. — Она достала изъ кармана истрепанный сѣрый томикъ московскаго изданія.

— Извольте, извольте. А что? понравилась она вамъ?— Рославлевъ, прибавилъ Тарховъ, обратившись ко мнѣ.

— Да. Только Юрій Милославскій, мнѣ кажется, гораздо лучше. Наша мадамъ очень строга на счетъ книгъ. Говоритъ, онѣ работать мѣшаютъ. Потому, по ея, понятіямъ....

— Но вѣдь и Юрій Милославскій не чета Цыганамъ Пушкина? А? Муза Павловна? перебилъ съ улыбкой Тарховъ.

— Еще бы! Цыганы.... протянула она съ разстановкой. Ахъ, да, вотъ еще что̀, Владиміръ Николаичъ; завтра не приходите.... куда знаете.

— Почему же?

— Нельзя.

— Да почему?

Дѣвушка пожала плечами, и разомъ, словно что̀ ее толкнуло, встала со стула.

— Куда же вы, Муза, Музочка, жалобно возопилъ Тарховъ. Посидите еще!

— Нѣтъ, нѣтъ, нельзя. — Она проворно подошла къ двери, взялась за ручку....

— Ну хоть книжку возьмите!

— Въ другой разъ.

Тарховъ бросился къ дѣвушкѣ, но та мгновенно юркнула вонъ изъ комнаты. Онъ чуть не стукнулся носомъ о дверь. — Экая! настоящая ящерица! проговорилъ онъ не безъ досады, а потомъ задумался.

Я остался у Тархова. Надо-жъ было узнать, что̀ все это значило. Тарховъ не сталъ скрытничать. Онъ разсказалъ, мнѣ, что эта дѣвушка — мѣщаночка, швея; что недѣли три тому назадъ онъ въ первый разъ увидалъ ее въ модной лавкѣ, куда онъ зашелъ заказать шляпку по порученію сестры, живущей въ провинціи; что онъ съ перваго взгляда въ нее влюбился, и что ему на другой же день удалось заговорить съ ней на улицѣ; что она сама къ нему, кажется, неравнодушна.

— Только ты, пожалуйста, не думай, прибавилъ онъ съ жаромъ — не воображай чего-нибудь дурного о ней. По крайней мѣрѣ до сихъ поръ еще ничего не произошло между нами такого....

— Дурного, подхватилъ я; не сомнѣваюсь; не сомнѣваюсь также и въ томъ, что ты объ этомъ искренно сожалѣешь, дружище! Потерпи — все уладится.

— Надѣюсь! промолвилъ Тарховъ со смѣхомъ, хоть и сквозь зубы. — Но, право, братъ, эта дѣвушка.... Я тебѣ скажу — это типъ, знаешь, изъ новыхъ. Ты не успѣлъ раз-

глядѣть ее хорошенько. Она дичокъ: у! какой дичокъ! И съ норовомъ! Да еще съ какимъ! Впрочемъ, самая эта дикость мнѣ въ ней нравится. Признакъ самостоятельности! Я, братъ, просто по уши въ нее врѣзался!

Тарховъ пустился толковать о своемъ «предметѣ» и прочелъ мнѣ даже начало стихотворенія, озаглавленнаго: «Моя Муза». Его сердечныя изліянія мнѣ не пришлись по вкусу. Я втайнѣ завидовалъ ему. Я скоро ушелъ отъ него.

Нѣсколько дней спустя, мнѣ случилось проходить по одному изъ рядовъ Гостиннаго двора. День былъ субботній; покупщиковъ набралось пропасть; отовсюду, посреди давки и толкотни, раздавались зазывные крики сидѣльцевъ. Купивъ что мнѣ было нужно, я думалъ только о томъ, какъ бы поскорѣе отдѣлаться отъ ихъ назойливаго приставанья — какъ вдругъ остановился.... по неволѣ: въ одной фруктовой лавкѣ я увидалъ знакомую моего пріятеля — Музу, Музу Павловну! Она стояла ко мнѣ бокомъ, — и, казалось, чего-то дожидалась. Немного поколебавшись, я рѣшился подойти и заговорить съ нею. Но не успѣлъ я переступить порогъ лавки и снять картузъ — какъ она съ ужасомъ отшатнулась, и проворно обернулась къ старичку въ фризовой шинели, которому лавочникъ отвѣшивалъ фунтъ изюму, — схватила его за руку, какъ-бы прибѣгая подъ его защиту. Тотъ, въ свою очередь обернулся къ ней лицомъ — и представьте мое изумленіе! Кого я узнаю въ немъ? Пунина!

Да, это былъ онъ; это были его воспалённые глазки, его пухлыя губы, его повислый, мягкій носъ. Онъ даже мало измѣнился въ эти семь лѣтъ; развѣ обрюзгъ немного.

— Никандръ Вавилычъ! воскликнулъ я. Вы меня не

узнаёте? Пунинъ встрепенулся, раскрылъ ротъ, уставился на меня....

— Не имѣю чести, началъ-было онъ — и вдругъ запищалъ: троицкій барчукъ! (имѣніе моей бабушки прозывалось Троицкимъ). Неужели троицкій барчукъ? — Фунтъ изюму вывалился изъ его рукъ.

— Точно такъ, отвѣтилъ я, и, поднявъ съ полу покупку Пунина, облобызался съ нимъ.

Онъ задыхался отъ радости, отъ волненія; онъ чуть не прослезился, снялъ шапку, — причемъ я могъ убѣдиться, что послѣдніе слѣды волосиковъ исчезли съ его «яйца», — досталъ со дна ея платокъ, высморкался, запихнулъ шапку за пазуху вмѣстѣ съ изюмомъ, надѣлъ ее снова, снова уронилъ изюмъ.... Не знаю, какъ держала себя Муза во все это время: я старался на нее не глядѣть. Я не полагаю, чтобы волненіе Пунина происходило отъ излишней привязанности къ моей особѣ: просто, его натура не выдерживала никакого неожиданнаго толчка. — Нервозность бѣдняковъ!

— Пойдемте къ намъ, къ намъ, голубчикъ, залепеталъ онъ наконецъ: вѣдь вы не побрезгаете посѣтить наше укромное гнѣздышко? Вы, я вижу, студентъ....

— Помилуйте, я, напротивъ, буду очень радъ.

— Вы теперь свободны?

— Совершенно свободенъ.

— И прекрасно! Какъ Парамонъ Семенычъ будетъ доволенъ! Сегодня и онъ раньше обыкновеннаго домой возвращается, и ее вотъ мадамъ отпускаетъ по субботамъ. Да, постойте, извините, я совсѣмъ съ панталыку сбился. Вы вѣдь съ племянницей нашей незнакомы?

Я поспѣшилъ ввернуть, что не имѣлъ еще удовольствія....

— Само собой разумѣется! Гдѣ вы могли съ нею встрѣ-

титься! Музочка.... Замѣтьте, милостивый государь: эту дѣвицу зовутъ Музой — и это не прозвище, а настоящее ея имя.... Каково предопредѣленіе? Музочка, представляю тебя господину.... господину....

— Б...у — подсказалъ я.

— Б...у, повторилъ онъ. Музочка! Внимай! Преотличнѣйшаго, прелюбезнѣйшаго юношу видишь ты передъ собою. Меня съ ними судьба свела, когда они ещѐ совсѣмъ въ младыхъ лѣтахъ были! Прошу любить да жаловать!

Я отвѣсилъ низкій поклонъ. Муза, красная, какъ маковъ цвѣтъ, вскинула изъ подлобья глазами и тотчасъ потупилась.

— А! подумалъ я, — ты изъ тѣхъ, что̀ въ трудныхъ случаяхъ не блѣднѣютъ, а краснѣютъ: это къ соображенію принять слѣдуетъ.

— Не взыщите, она у насъ не модница, замѣтилъ Пунинъ, и вышелъ изъ лавки на улицу; мы съ Музой послѣдовали за нимъ.

Домъ, въ которомъ квартировалъ Пунинъ, находился въ довольно большомъ разстояніи отъ Гостиннаго двора, а именно на Садовой улицѣ. Доро̀гой — мой бывшій наставникъ по части поэзіи успѣлъ сообщить мнѣ не мало подробностей о своемъ житьѣ-бытьѣ. Со времени нашей разлуки, и онъ, и Бабуринъ порядкомъ поколесили по святой Руси, и только недавно, полтора года тому назадъ, нашли постоянный пріютъ въ Москвѣ. Бабурину удалось поступить главнымъ письмоводителемъ въ контору богатаго купца-фабриканта. Мѣстечко недоходное, замѣтилъ со вздохомъ Пунинъ, — работы много, пользы мало.... да что̀ будешь дѣлать? И то — слава Богу! Я тоже стараюсь пріобрѣсть кое-что перепиской, да уроками; только старанія мои до сихъ

поръ остаются безуспѣшны. Почеркъ у меня, вы, можетъ, помните, старозавѣтный, для нынѣшняго вкуса непривѣтный, а что на счетъ уроковъ — много мнѣ препятствуетъ недостатокъ приличной одежды; къ тому же я страшусь, что и въ дѣлѣ преподаванія — преподаванія россійской словесности — я такъ же на нынѣшній вкусъ непригодный; оттого-то я сижу голодный. (Пунинъ засмѣялся своимъ сиплымъ, глухимъ смѣхомъ. Онъ сохранилъ прежній, нѣсколько возвышенный складъ рѣчи и прежнюю замашку риѳмовать). Всѣ къ новизнамъ, къ новизнамъ обратились! Чай, и вы старыхъ боговъ уже не почитаете, къ новымъ припадаете?

— А вы, Никандръ Вавилычъ, неужели все еще уважаете Хераскова?

Пунинъ остановился и разомъ взмахнулъ обѣими руками.

— Въ высшей степени, сударь мой! выс...шей сте... пе...ни!

— И Пушкина не читаете? Пушкинъ намъ не нравится?

Пунинъ опять вознесъ руки выше головы.

— Пушкинъ? Пушкинъ есть змѣя, скрытно въ зеленыхъ вѣтвяхъ сидящая, которой данъ гласъ соловьиный!

Пока мы такимъ образомъ бесѣдовали съ Пунинымъ, осторожно выступая по неровно-сложеннымъ кирпичнымъ тротуарамъ «бѣлокаменной» Москвы, той самой Москвы, въ которой нѣтъ ни одного камня, и которая вовсе не бѣла, — Муза тихонько шла съ нами рядомъ, по ту сторону отъ меня. Говоря о ней, я назвалъ ее: ваша племянница. Пунинъ помолчалъ немного, почесалъ затылокъ и сообщилъ мнѣ въ полъ-голоса, что онъ называлъ ее этимъ именемъ.... только такъ; что она ему нисколько не доводится съ родни: что она сирота, найденная и призрѣнная Бабуринымъ въ городѣ Воронежѣ; но что, онъ, Пунинъ, могъ бы величать ее дочерью, такъ какъ любитъ ее не хуже дочери настоящей.

Я не сомнѣвался въ томъ, что, хотя Пунинъ нарочно понижалъ голосъ, Муза очень хорошо слышала все, что̀ онъ говорилъ: и сердилась-то она, и робѣла, и стыдилась; тѣни и краски перебѣгали у ней по лицу, и все на немъ слегка двигалось: вѣки и брови, и губы, и узенькія ноздри. Очень все это было мило, забавно и странно.

Но вотъ мы достигли наконецъ «укромнаго гнѣздышка». И точно: очень оно было укромно, это гнѣздышко. Оно состояло изъ небольшого, чуть въ землю не вросшаго, одноэтажнаго домика съ покривившейся тесовой крышей и четырьмя тусклыми окошечками на переднемъ фасѣ. Убранство комнатъ было самое бѣдное, не совсѣмъ даже опрятное. Между окнами и по стѣнамъ висѣло около дюжины крошечныхъ деревянныхъ клѣтокъ съ жаворонками, канарейками, щеглами, чижами. «Мои подданные!» — торжественно проговорилъ Пунинъ, указывая на нихъ пальцемъ. Не успѣли мы войти и осмотрѣться, не успѣлъ Пунинъ откомандировать Музу за самоваромъ, какъ появился и самъ Бабуринъ. Онъ показался мнѣ постарѣвшимъ гораздо больше Пунина, хотя походка его осталась твердою, и вообще выраженіе лица сохранилось; но онъ похудѣлъ, сгорбился, щеки осунулись, и его черную, густую щетину — «сѣдой волосъ развилъ». Меня онъ не узналъ — и никакого особеннаго удовольствія не выказалъ, когда Пунинъ назвалъ меня; онъ даже глазами не улыбнулся, едва головой кивнулъ; спросилъ — весьма небрежно и сухо — жива ли моя *бабка* — да и только. «Меня, молъ, дворянскимъ посѣщеніемъ не удивишь, и нисколько мнѣ оно не лестно». Республиканецъ остался республиканцемъ. Муза вернулась; дряхлая старушонка внесла за нею плохо вычищенный са-

моваръ. Пунинъ засуетился, сталъ меня подчивать; Бабуринъ сѣлъ за столъ, подперъ голову обѣими руками и провелъ кругомъ усталый взглядъ. За чаемъ онъ однако разговорился. Положеніемъ своимъ онъ былъ недоволенъ. «Кулакъ, не человѣкъ», — такъ отзывался онъ о своемъ хозяинѣ; «подначальные люди для него — соръ ничего не значущій; а самъ давно ли серьмягу таскалъ? Жестокость одна, да алчность. Хуже коронной — служба! Да и вся здѣшняя торговля на одномъ надувательствѣ стоитъ и имъ только держится!» Слушая такія невеселыя рѣчи, Пунинъ вздыхалъ сокрушенно, поддакивалъ, покачивалъ головою то сверху внизъ, то съ боку на бокъ; Муза упорно молчала.... Её, очевидно, мучила мысль: что̀ я такое, скромный ли человѣкъ или болтунъ? И если я скромничаю, то не съ умысломъ ли? Ея черные, быстрые, безпокойные глаза такъ и мелькали подъ полуопущенными вѣками. Только однажды взглянула она на меня, да такъ пытливо, пронзительно, почти злобно.... Я даже вздрогнулъ. Бабуринъ съ нею почти не заговаривалъ; но всякій разъ, когда онъ обращался къ ней, въ его голосѣ слышалась угрюмая, неотеческая ласка.

Пунинъ, напротивъ, то и дѣло заигрывалъ съ Музой; однако она ему неохотно отвѣчала. Онъ называлъ ее снѣгуркой, снѣжинкой.

— Почему вы Музѣ Павловнѣ такія имена даете? спросилъ я.

Пунинъ засмѣялся. — А потому, что очень она у насъ холодная.

— Благоразумная, подхватилъ Бабуринъ; какъ слѣдуетъ быть молодой дѣвицѣ.

— Мы можемъ ее и хозяюшкой величать — воскликнулъ Пунинъ. — Ась? Парамонъ Семенычъ? — Бабуринъ нахмурился; Муза отвернулась.... Я тогда не понялъ этого намека.

Такъ прошло часа два.... не очень оживленно, хотя Пунинъ всячески старался «занять честную компанію». Онъ, между прочимъ, прикорнулъ передъ клѣткой одной изъ своихъ канареекъ, раскрылъ дверцы и скомандовалъ: «На *кумполъ!* Валяй концертъ!» — Канарейка тотчасъ выпорхнула, сѣла на *кумполъ*, т. е. на голое темя Пунина и, поворачиваясь съ боку на бокъ и потрясая крылышками, защебетала изо всѣхъ силъ. Во все продолженіе концерта Пунинъ не шевелился и только пальцемъ слегка дирижировалъ, да глаза ёжилъ. Я не могъ не расхохотаться.... но ни Бабуринъ, ни Муза не смѣялись.

Передъ самымъ уходомъ моимъ Бабуринъ удивилъ меня неожиданнымъ вопросомъ. Онъ пожелалъ узнать отъ меня, какъ отъ человѣка, который занимается въ университетѣ, что за личность былъ Зенонъ и какого я о немъ понятія?

— Какой Зенонъ? спросилъ я не безъ изумленія.

— Зенонъ, древній мудрецъ. Неужели онъ остался вамъ неизвѣстнымъ?

Я смутно помнилъ имя Зенона, какъ основателя стоической школы; а, впрочемъ, рѣшительно ничего больше о немъ не зналъ.

— Да, онъ былъ философъ, проговорилъ я наконецъ.

— Зенонъ, продолжалъ съ разстановкой Бабуринъ — тотъ самый есть мудрецъ, который объяснилъ, что страданіе не есть зло, ибо терпѣніе все превозмогаетъ, а добро есть на семъ свѣтѣ одно: справедливость; да и самая добродѣтель есть не что иное, какъ справедливость.

Пунинъ съ благоговѣніемъ приникъ ухомъ.

— Сообщилъ мнѣ это изрѣченіе одинъ здѣшній обыватель, у коего много обрѣтается старинныхъ книгъ, продолжалъ Бабуринъ; — очень оно мнѣ понравилось. Но вы, я вижу, такого рода предметами не занимаетесь.

Бабуринъ сказалъ правду. Такими предметами я не за-

нимался — точно. Со времени моего поступленія въ университетъ, я сталъ республиканцемъ не хуже самого Бабурина. О Мирабо и Робеспьерѣ я поговорилъ бы съ наслажденьемъ. Да что Робеспьеръ!... у меня надъ письменнымъ столомъ висѣли литографированные портреты Фукіэ-Тенвилля и Шаліэ! — Но Зенонъ!! — Откуда принесло Зенона?

Прощаясь со мною, Пунинъ очень настаивалъ на томъ, чтобы я посѣтилъ ихъ на слѣдующій день, въ воскресенье; Бабуринъ не приглашалъ меня вовсе и даже замѣтилъ сквозь зубы, что бесѣда съ людьми простыми, разночинцами, не можетъ мнѣ доставить большое удовольствіе, и что, вѣроятно, моей *бабкѣ* будетъ непріятно.... На этомъ словѣ я однако перебилъ его рѣчь и далъ ему понять, что бабушка мнѣ больше не указка.

— А во владѣніе имѣніями не вступили? — спросилъ Бабуринъ.

— Нѣтъ, не вступилъ, отвѣчалъ я.

— Ну, и стало быть.... Бабуринъ не докончилъ начатой фразы; но я ее докончилъ за него. «Стало быть, я мальчикъ». — Прощайте, сказалъ я громко, и удалился.

Я уже выходилъ со двора на улицу.... Муза вдругъ выбѣжала изъ дому и, сунувъ мнѣ въ руку скомканную бумажку, тотчасъ скрылась. У перваго фонарнаго столба я развернулъ эту бумажку. Она оказалась запиской. Съ трудомъ разобралъ я блѣдныя, карандашемъ начертанныя строки. «Ради Бога — писала мнѣ Муза — приходите завтра послѣ обѣдни въ Александровскій садъ возлѣ башни Кутафьи я буду ждать васъ не откажите мнѣ не сдѣлайте меня несчастной мнѣ непремѣнно нужно васъ видѣть». Орѳографическихъ ошибокъ въ этой запискѣ не было, но не было также знаковъ препинанія. Я вернулся домой въ недоумѣніи.

Когда за четверть часа до назначеннаго времени, сталъ я, на слѣдующій день, подходить къ башнѣ Кутафьѣ (дѣло было въ началѣ апрѣля, почки наливались, травка зеленѣла, и воробьи шумно чирикали и дрались въ обнаженныхъ кустахъ сирени), я, къ немалому моему удивленію, увидѣлъ въ сторонкѣ, недалеко отъ ограды, Музу. Она предупредила меня. Я направился-было къ ней; но она сама пошла мнѣ на встрѣчу.

— Пойдемте къ Кремлевской стѣнѣ, шепнула она уторопленнымъ голосомъ, бѣгая по землѣ опущенными глазами, — а то здѣсь люди.

Мы поднялись по дорожкѣ въ гору.

— Муза Павловна, началъ-было я.... Но она тотчасъ меня перебила.

— Пожалуйста, заговорила она тѣмъ же порывистымъ и тихимъ голосомъ, — не судите меня, не думайте чего нехорошаго. Я вамъ письмо написала, свиданье назначила, — потому.... я боялась.... Мнѣ вчера показалось, — вы словно все посмѣивались. — Послушайте, прибавила она съ внезапнымъ усиліемъ, и остановилась и повернулась ко мнѣ; послушайте: если вы скажете съ кѣмъ.... если вы назовете, у кого мы встрѣтились, я брошусь въ воду, я утоплюсь, я руки на себя наложу!

Она тутъ въ первый разъ взглянула на меня тѣмъ уже знакомымъ мнѣ, пытливымъ и острымъ взглядомъ.

«А вѣдь она, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ.... чего добраго?» подумалось мнѣ.

— Помилуйте, Муза Павловна, поспѣшно промолвилъ я, какъ вы можете имѣть о мнѣ такое дурное мнѣніе? Неужели я способенъ выдать пріятеля и повредить вамъ? Да и, наконецъ, въ вашихъ отношеніяхъ, сколько я знаю, нѣтъ ничего предосудительнаго.... Ради Бога, успокойтесь.

Муза выслушала меня, не трогаясь съ мѣста и не глядя на меня болѣе.

— Я вамъ вотъ еще что̀ должна сказать, начала она, снова подвигаясь впередъ по дорожкѣ, — а то вы можете подумать: да она сумасшедшая! Я вамъ должна сказать: на мнѣ этотъ старикъ жениться хочетъ!

— Какой старикъ? Лысый? Пунинъ?

— Нѣтъ — не тотъ! другой.... Парамонъ Семенычъ.

— Бабуринъ?

— Онъ самый.

— Неужто? Онъ вамъ предложеніе сдѣлалъ.

— Сдѣлалъ.

— Но вы, конечно, не согласились?

— Нѣтъ, согласилась.... потому что я тогда ничего не понимала. Теперь — другое дѣло.

Я руками всплеснулъ. — Бабуринъ — и вы! Да вѣдь ему подъ пятьдесятъ лѣтъ!

— Онъ говоритъ: сорокъ-три. Да это все равно. Будь ему двадцать-пять лѣтъ — я за него все-таки не выду. Что за радость! Цѣлая недѣля пройдетъ, — онъ и не улыбнется ни разу! Парамонъ Семенычъ мой благодѣтель, очень я ему обязана, онъ меня призрѣлъ, воспиталъ, я бы пропала безъ него, я должна почитать его, какъ отца.... Но женой его быть! Лучше смерть! Лучше прямо въ гробъ!

— Что это вы все о смерти упоминаете, Муза Павловна?...

Муза опять остановилась.

— Да ужъ будто жизнь таково̀ красна? Я и знакомаго-то вашего, Владиміра-то Николаича, можно сказать, съ тоски, да съ печали полюбила, — а тутъ Парамонъ Семенычъ съ своими предложеніями.... Пунинъ, тотъ хотя стихами надоѣдаетъ, да не пугаетъ по крайности; не заставляетъ Карамзина читать по вечерамъ, когда у меня отъ

усталости голова съ плечъ валится! И на что̀ мнѣ эти старики? Еще холодной меня величаютъ. Съ ними — да горячей быть? Станутъ принуждать — уйду. Самъ же Парамонъ Семенычъ все говоритъ: свобода! свобода! Ну вотъ и я захотѣла свободы. А то — что̀-жъ это такое? Всѣмъ воля, а меня въ тюрьмѣ держать? Я ему сама скажу. А коли вы меня выдадите или хоть намекнете — помните: только меня и видали!

Муза стала поперегъ дороги.

— Только меня и видали! повторила она рѣзко. Она и на этотъ разъ глазъ не подняла; она словно знала, что непремѣнно выдастъ себя, покажетъ, что̀ у ней на душѣ, если кто ей прямо въ глаза посмотритъ.... И именно отъ того она не иначе, какъ въ сердца̀хъ или съ досады поднимала взоръ — и тогда уже прямо уставлялась на человѣка, съ которымъ говорила.... Но ея небольшое, розовое, миловидное лицо дышало безповоротной рѣшимостью.

«Ну, — мелькнуло у меня въ головѣ, — Тарховъ правъ. Эта дѣвушка — новый типъ».

— Меня вамъ нечего бояться, произнесъ я наконецъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Даже, если.... Вотъ вы что-то такое сказали о нашихъ отношеніяхъ.... Такъ даже въ случаѣ.... Она умолкла.

— И въ этомъ случаѣ вамъ бояться нечего, Муза Павловна. Я вамъ не судья. А тайна ваша погребена — вотъ тутъ. Я указалъ себѣ на грудь. — Повѣрьте, я умѣю цѣнить....

— Письмо мое съ вами? внезапно спросила Муза.

— Со мной.

— Гдѣ?

— Въ карманѣ.

— Отдайте мнѣ.... скорѣй, скорѣй!

Я досталъ вчерашнюю бумажку. Муза схватила ее своей

жесткой ручкой, постояла немного передо мною, какъ-бы собираясь поблагодарить меня; но вдругъ вздрогнула, оглянулась и, даже не поклонившись, проворно спустилась подъ гору.

Я посмотрѣлъ въ сторону, куда она направлялась. Не вдалекѣ отъ башни, завернутая въ альмавиву — (альмавивы были тогда въ великой модѣ) — виднѣлась фигура, въ которой я тотчасъ призналъ Тархова.

«А, братъ, — подумалъ я, — тебя, стало быть, извѣстили, если ты ее караулишь»....

И, посвистывая себѣ подъ носъ, я отправился домой.

На другое утро, я только-что успѣлъ напиться чаю, явился ко мнѣ Пунинъ. Вошелъ онъ въ комнату съ довольно смущеннымъ видомъ, началъ поклоны отвѣшивать, оглядываться, извиняться въ своей яко бы нескромности. Я поспѣшилъ его успокоить. Грѣшный человѣкъ, я вообразилъ, что Пунинъ пришелъ съ намѣреніемъ занять деньжонокъ. Но онъ ограничился тѣмъ, что попросилъ стаканчикъ чайку съ ромкомъ, благо самоваръ былъ не убранъ. — «Не безъ сердечнаго трепетанія и замиранія шелъ я къ вамъ на свиданіе, — заговорилъ онъ, откусывая кусочекъ сахара. Васъ-то я не боюсь: но страшусь вашей почтенной бабушки! Смиряетъ меня также моя одежда, какъ уже я вамъ докладывалъ». — Пунинъ провелъ пальцемъ по бортищу своего ветхаго сюртука. — «Дома-то оно ничего, и на улицѣ тоже не бѣда: а какъ попадешь въ золоченныя палаты, — бѣдность твоя тебѣ предстанетъ — и конфузно тебѣ станетъ!» — Я занималъ двѣ небольшія комнаты въ антресоли, и конечно никому не пришло бы въ голову назвать ихъ палатами, да еще золоченными; но Пунинъ, вѣроятно, гово-

рилъ обо всемъ бабушкиномъ домѣ, который, впрочемъ, тоже не отличался роскошью. Онъ попенялъ мнѣ, зачѣмъ я не посѣтилъ ихъ наканунѣ: Парамонъ-молъ Семенычъ васъ ожидалъ, хоть и увѣрялъ, что вы ни за что̀ не придете. И Музочка тоже ждала васъ.

— Какъ? и Муза Павловна? спросилъ я.

— И она. А вѣдь миленькая у насъ проявилась дѣвица! Скажите?

— Премиленькая, подтвердилъ я.

Пунинъ съ чрезвычайной быстротой потеръ свою обнаженную голову. — «Красавица, сударь мой, перлъ или даже бриліантъ — истинно вамъ говорю». — Онъ наклонился къ самому моему уху. — «Тоже дворянская кровь», шепнулъ онъ мнѣ: «только — вы понимаете — съ лѣвой стороны; запретнаго плода вкушено было. Ну-съ, родители померли, родственники отступились и бросили на произволъ судьбы! значитъ: отчаяніе, голодная смерть! Но тутъ вступаетъ Парамонъ Семенычъ, извѣстный, стародавній избавитель! Взялъ одѣлъ, согрѣлъ — вывелъ птенчика; и разцвѣла наша радость! Я вамъ говорю: рѣдчайшихъ достоинствъ человѣкъ!»

Пунинъ откинулся на спинку кресла, вскинулъ руками и снова наклонившись впередъ, снова началъ шептать, но еще таинственнѣе: «вѣдь и самъ Парамонъ Семенычъ.... Вы не знаете? онъ тоже происхожденія высокаго — и тоже съ лѣвой стороны. Говорятъ — его отецъ былъ владѣтельный грузинскій князь изъ племени Царя Давыда.... Какъ вы это понимаете? Въ немногихъ словахъ — а сколько сказано?! Кровь Царя Давыда! Каково? А по другимъ извѣстіямъ, родоначальникомъ Парамона Семеныча былъ нѣкій индійскій шахъ Бабуръ Бѣлая Кость! Хорошо вѣдь и это? А?»

— Что-жъ? спросилъ я — и его, Бабурина, тоже бросили на произволъ судьбы?

Пунинъ опять потеръ свое темя. — Непремѣнно! И , съ бо̀льшею жестокостью, чѣмъ нашу кралечку! Съ няго дѣтства — одна борьба! Я даже, признаться, по э случаю, вдохновясь Рубаномъ, четверостишіе къ трету Парамона Семеныча сложилъ. Постойте.... бишь? Да!

Съ пеленокъ не щадя гоненій лютыхъ рокъ
Ко краю бездны золъ Бабурина привлёкъ!
Но огнь во мглѣ, златъ лучъ на гноищѣ блистаетъ,—
И се! побѣдный лавръ чело его вѣнчаетъ!

Пунинъ произнесъ эти стихи размѣреннымъ пѣву голосомъ, и на о̀, какъ и слѣдуетъ читать стихи.

— Такъ вотъ отчего онъ республиканецъ! вос нулъ я.

— Нѣтъ, не оттого, простодушно отвѣчалъ Пунин Онъ отцу давно простилъ; но несправедливость пере никоимъ образомъ не можетъ; чужая печаль его тревож

Я собирался навести рѣчь на то̀, что я узналъ нунѣ отъ Музы, а именно, на сватовство Бабурина, - не зналъ, какъ приступить. Пунинъ самъ вывелъ меня затрудненья.

— Вы ничего не замѣтили? спросилъ онъ меня вд лукаво прищуривъ глазки. — Какъ у насъ были? н особеннаго?

— Да развѣ было что̀ замѣчать? спросилъ я въ очередь.

Пунинъ оглянулся черезъ плечо, какъ-бы желая стовѣриться, что насъ никто не подслушиваетъ. — Е красоточка Музочка скоро станетъ замужней дамой?

— Какъ?

— Госпожей Бабуриной, напряженно произнесъ нинъ, и, нѣсколько разъ ударивъ себя ладонями по нямъ, закивалъ головою какъ фарфоровый китаецъ.

— Не можетъ быть! воскликнулъ я съ притворнымъ изумленьемъ.

Голова Пунина немедленно остановилась, и руки его замерли. — А почему же: не можетъ быть? позвольте полюбопытствовать?

— Потому что Парамонъ Семенычъ въ отцы бы годился вашей барышнѣ; потому что такое различіе въ лѣтахъ исключаетъ всякую вѣроятность любви — со стороны невѣсты.

— Исключаетъ? съ азартомъ подхватилъ Пунинъ. А благодарность? А чистота сердечная? А нѣжность чувствъ? Исключаетъ!! Вы бы хоть то сообразить изволили: положимъ, Муза прекраснѣйшая дѣвица; но заслужить расположеніе Парамона Семеныча, быть его утѣхой, подпорой — супругой наконецъ! развѣ это не есть высочайшее счастіе даже для такой дѣвицы? И она это понимаетъ! Вы посмотрите, бросьте внимательный взглядъ! Музочка передъ Парамономъ Семенычемъ вся благоговѣніе, вся трепетъ и восторгъ!

— Въ томъ-то и бѣда, Никандръ Вавилычъ, что она, какъ вы говорите, вся трепетъ. Кого любишь, передъ тѣмъ не трепещешь.

— И съ этимъ я несогласенъ! Вотъ я, напримѣръ: ужъ больше моего, кажется, невозможно любить Парамона Семеныча, а я.... я трепещу передъ нимъ.

— Да вы — другое дѣло.

— Почему другое дѣло? почему? почему? перебилъ Пунинъ. Я просто не узнавалъ его: онъ горячился, серьёзничалъ, чуть не сердился — и не риѳмовалъ. — Нѣтъ, твердилъ онъ, я замѣчаю: у васъ око не проницательное! Нѣтъ! Вы не сердцевѣдецъ! — Я пересталъ ему противорѣчить.... и чтобы придать иное направленіе разговору, предложилъ заняться, по старой памяти, чтеніемъ.

Пунинъ помолчалъ.

— Изъ прежнихъ? Изъ настоящихъ? спросилъ онъ наконецъ.

— Нѣтъ; изъ новыхъ.

— Изъ новыхъ? повторилъ недовѣрчиво Пунинъ.

— Изъ Пушкина, отвѣчалъ я. Мнѣ вдругъ пришли въ голову «Цыгане», о которыхъ упомянулъ недавно Тарховъ. Тамъ же кстати пѣсенка поётся о старомъ мужѣ. Пунинъ поворчалъ немного, но я усадилъ его на диванъ, чтобъ ему было удобнѣе слушать, и принялся читать Пушкинскую поэму. Вотъ дошло дѣло до «стараго мужа, грознаго мужа»; Пунинъ выслушалъ пѣсенку до конца — и вдругъ порывисто поднялся.

— Не могу, промолвилъ онъ съ глубокимъ, меня самого поразившимъ волненіемъ: — извините меня; не могу я слушать болѣе сего сочинителя. Онъ безнравственный пашквилянтъ; онъ лжецъ.... онъ меня смущаетъ. Не могу! Позвольте прекратить мое сегодняшнее посѣщеніе.

Я началъ уговаривать Пунина остаться; но онъ настаивалъ на своемъ съ какимъ-то тупымъ и испуганнымъ упорствомъ; повторилъ нѣсколько разъ, что онъ чувствуетъ смущеніе и желаетъ освѣжиться на воздухѣ — и при этомъ его губы слегка дрожали, и глаза его избѣгали моихъ глазъ — точно я обидѣлъ его. Такъ онъ и ушелъ.

А спустя немного и я вышелъ изъ дому, и отправился къ Тархову.

Ни у кого не спросясь, по студенческой привычной безцеремонности, я прямо пробрался къ нему на квартиру. Въ первой комнатѣ никого не было. Я кликнулъ Тархова по имени, и, не получивъ отвѣта, хотѣлъ-было удалиться; но дверь сосѣдней комнаты растворилась — и появился мой

пріятель. Онъ какъ-то странно взглянулъ на меня и молча пожалъ мнѣ руку. Я пришелъ къ нему съ тѣмъ, чтобы пересказать все, что̀ я узналъ отъ Пунина; и хотя я тотчасъ почувствовалъ, что посѣтилъ Тархова не въ пору, однако, поговоривъ немного о предметахъ постороннихъ, кончилъ-таки тѣмъ, что сообщилъ ему намѣреніе Бабурина на счетъ Музы. Это извѣстіе, повидимому, не очень его удивило; онъ тихонько подсѣлъ къ столу и, внимательно вперивъ въ меня глаза и безмолвствуя по прежнему, придалъ чертамъ своимъ выраженіе.... такое выраженіе, точно онъ желалъ сказать: «ну что̀ ты еще сообщишь? Ну, излагай свои мысли». Я попристальнѣе посмотрѣлъ ему въ лицо.... Оно мнѣ показалось оживленнымъ, нѣсколько насмѣшливымъ, нѣсколько даже наглымъ. Но это не помѣшало мнѣ «изложить свои мысли». Напротивъ. «Ты форсъ свой выказываешь», подумалось мнѣ; «такъ и я-жъ тебя щадить не стану!» И тутъ же, немедленно приступилъ къ разсужденію о вредѣ внезапныхъ увлеченій, объ обязанности каждаго человѣка уважать свободу и личность другого человѣка,— словомъ, приступилъ къ преподаванью полезныхъ и дѣльныхъ совѣтовъ. Разглагольствуя такимъ манеромъ, я, для бо̀льшей легкости, расхаживалъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Тарховъ не перебивалъ меня и не шевелился на своемъ стулѣ: только пальцами игралъ по подбородку.

— Я знаю, говорилъ я.... (Что̀ собственно побуждало меня говорить — мнѣ самому оставалось неяснымъ, вѣроятнѣе всего зависть; — не служеніе же нравственности въ самомъ дѣлѣ!). Я знаю, говорилъ я, что это дѣло не легкое, не шуточное; я увѣренъ, что ты любишь Музу и что Муза тебя любитъ, что это съ твоей стороны не мгновенная прихоть.... Но вотъ, положимъ! (Тутъ я скрестилъ руки на груди).... Положимъ: ты удовлетворилъ свою страсть, а дальше что̀? Вѣдь ты не женишься на ней? И между тѣмъ

ты разрушаешь счастье хорошаго, честнаго человѣка, ея благодѣтеля — и — кто знаетъ? (тутъ мое лицо выразило, въ одно и то же время, и проницательность, и грусть) — быть можетъ, и ея собственное счастье....

И т. д., и т. д., и т. д.!!!

Около четверти часа лилась моя рѣчь. Тарховъ все молчалъ. Меня начинало смущать это молчаніе. Я изрѣдка взглядывалъ на него, не столько для того, чтобы удостовѣриться во впечатлѣніи, которое производили мои слова, сколько для того, чтобы понять, отчего это онъ не возражаетъ и не соглашается, а сидитъ словно глухо-нѣмой? Мнѣ наконецъ, однако, показалось, что въ лицѣ его происходитъ.... да, дѣйствительно происходитъ перемѣна. Оно стало выражать безпокойство, тревогу, тоскливую тревогу.... Но, странное дѣло! то оживленное, свѣтлое, смѣющееся нѣчто, то, что̀ поразило меня съ самаго перваго взгляда на Тархова, все-таки не покидало этого встревоженнаго, этого тоскливаго лица! Я еще не зналъ, поздравлять ли мнѣ самого себя съ успѣхомъ своей проповѣди, какъ вдругъ Тарховъ поднялся и, стиснувъ мнѣ обѣ руки, промолвилъ скороговоркой: «Благодарю, благодарю. Ты, конечно, правъ.... хотя, съ другой стороны, можно было бы замѣтить.... Вѣдь что̀ такое, собственно твой хвалёный Бабуринъ? — Честный тупецъ — и больше ничего! ты его республиканцемъ величаешь — а онъ просто — бука! У! Вотъ онъ что̀! — Весь его республиканизмъ состоитъ въ томъ, что онъ нигдѣ не уживается.

— А! ты такъ полагаешь! Бука! не уживается!! — но знаешь ли ты, продолжалъ я съ внезапной запальчивостью, знаешь ли ты, любезный Владиміръ Николаичъ, что въ наше время не уживаться нигдѣ — это признакъ хорошей, благородной натуры? Одни пустые люди — дурные люди — вездѣ уживаются и примиряются со всѣмъ! — Ты говоришь: Ба-

буринъ — честный тупецъ!!! — Что-жъ, по твоему — лучше быть безчестнымъ острякомъ!

— Ты извращаешь мои слова! воскликнулъ Тарховъ.— Я хотѣлъ только объяснить тебѣ, какъ я понимаю этого господина. — Ты думаешь — онъ такой рѣдкій экземпляръ? Ни чуть! — Подобныхъ ему людей я тоже встрѣчалъ на своемъ вѣку. — Сидитъ человѣкъ съ этакимъ важнымъ видомъ, молчитъ, упорствуетъ, топорщится.... Ого-го! Знать, у него внутри, тамъ — много! А внутри-то ничего у него нѣтъ, ни единой мысли нѣтъ въ его головѣ — одно только чувство собственнаго достоинства.

— Ужъ и это одно — почтенная вещь, перебилъ я. — Но, позволь спросить, гдѣ ты успѣлъ такъ изучить его? — Вѣдь ты его знаешь? Или ты его расписываешь.... со словъ Музы?

Тарховъ пожалъ плечомъ. — Мы съ Музой.... не о нёмъ разговариваемъ. — Послушай, прибавилъ онъ съ нетерпѣливымъ движеніемъ всего тѣла, послушай; коли Бабуринъ такая благородная и честная натура — какъ же это онъ не видитъ, что Муза — ему не пара? — Одно изъ двухъ: либо онъ понимаетъ, что совершаетъ надъ ней нѣчто въ родѣ насилія, во имя благодарности, тамъ, что̀ ли.... и тогда, куда дѣвается его честность? — Либо онъ этого не понимаетъ.... и тогда — какъ же не назвать его тупцомъ?

Я хотѣлъ-было возражать — но Тарховъ снова схватилъ мои руки и снова заговорилъ торопливымъ голосомъ. — «Впрочемъ.... конечно.... я сознаюсь, ты правъ, тысячу разъ правъ.... Ты мнѣ настоящій другъ.... но теперь оставь меня пожалуйста».

Я изумился. — Тебя оставить?

— Да. Вотъ видишь ли, я долженъ поразмыслить хорошенько о всемъ, что̀ ты сейчасъ сказалъ.... Я не сомнѣваюсь въ томъ, что ты правъ.... но теперь оставь меня!

— Ты въ такомъ волненіи.... началъ я.

— Въ волненіи? я? — Тарховъ засмѣялся, но тотчасъ спохватился. — Да; конечно. Какъ же иначе? ты самъ говоришь: это не шутка. Да; объ этомъ надо подумать.... наединѣ. — Онъ продолжалъ стискивать мнѣ руки. — Прощай, братъ, прощай!

— Прощай, повторилъ я. Прощай, братъ! — Уходя, я бросилъ послѣдній взглядъ на Тархова. Онъ казался доволенъ. Чѣмъ? Тѣмъ ли, что я, какъ вѣрный другъ и товарищъ, указалъ ему опасность пути, на который онъ занесъ ногу — или тѣмъ, что я уходилъ? Разнообразнѣйшія мысли вертѣлись у меня въ головѣ цѣлый день до самаго вечера — до самой той минуты, когда я вступилъ въ домъ, занимаемый Пунинымъ и Бабуринымъ, ибо я пошелъ къ нимъ въ тотъ же день. Я долженъ сознаться, что нѣкоторыя выраженья Тархова запали мнѣ въ душу.... звенѣли у меня въ ушахъ.... И въ самомъ дѣлѣ, неужто Бабуринъ.... неужто онъ не видитъ, что она ему не пара?

Но какъ же такъ можно: Бабуринъ, самоотверженный Бабуринъ — честный тупецъ!!

Пунинъ сказывалъ мнѣ, во время своего посѣщенія, что меня у нихъ ожидали наканунѣ. Быть можетъ; но въ тотъ день рѣшительно никто не ожидалъ меня.... Я засталъ всѣхъ дома, и всѣ удивились моему появленію. Бабуринъ и Пунинъ — оба были нездоровы; у Пунина голова болѣла, и онъ лежалъ калачикомъ на лежанкѣ, повязавъ голову пестрымъ платкомъ и приложивъ по разрѣзанному огурцу къ каждому виску. Бабуринъ страдалъ разлитіемъ жолчи: весь желтый, почти бурый, съ темными кругами вокругъ глазъ,

съ наморщеннымъ лбомъ и небритой бородой — онъ мало походилъ на жениха! Я хотѣлъ уйти.... Однако меня не отпустили и даже напоили чаемъ. Невеселый провелъ я вечерокъ. У Музы, правда, ничего не болѣло, она даже дичилась меньше обыкновеннаго, но явно досадовала, злилась.... Наконецъ, она не вытерпѣла — и подавая мнѣ чашку чаю, торопливо прошептала: «Вы что̀ тамъ ни говорите, какъ вы ни старайтесь, а ничего вы не подѣлаете.... Такъ-то!» Я съ изумленіемъ посмотрѣлъ на нее и, улучивъ удобную минутку, спросилъ ее тоже въ полголоса: — Какой смыслъ вашихъ словъ? — «А такой смыслъ», отвѣчала она, и черные ея глаза, злобно блеснувъ изъ-подъ надвинутыхъ бровей, уперлись мнѣ въ лицо, и тотчасъ отклонились въ сторону: «такой смыслъ, что я все слышала, что̀ вы сегодня тамъ говорили, и спасибо вамъ сказать нѐ за что, а будетъ все-таки не по вашему». — Вы были тамъ? невольно вырвалось у меня.... Но тутъ Бабуринъ насторожился и глянулъ въ нашу сторону. — Муза отошла отъ меня прочь.

Минутъ десять спустя, ей опять удалось приблизиться ко мнѣ. Ей словно было пріятно говорить мнѣ смѣлыя и опасныя вещи, и говорить ихъ въ присутствіи своего покровителя, подъ его наблюденіемъ, ровно настолько скрываясь, насколько оно было нужно для того, чтобы не возбудить его подозрительность. Извѣстное дѣло: ходить въ обрѣзъ, по самому краю пропасти — любимое женское занятіе. — «Да, я была тамъ», шептала Муза, не мѣняясь въ лицѣ; только ноздри ея слегка трепетали и губы криво подергивало. — «Да, и если Парамонъ Семенычъ меня спроситъ, о чемъ я съ вами теперь перешептываюсь, я сейчасъ ему скажу. Что̀ мнѣ!»

— Будьте же осторожнѣе, убѣждалъ я ее: — право, кажется, они замѣчаютъ....

— Я же вамъ говорю, что я готова все сказать. Да и кто замѣчаетъ? Одинъ съ лежанки шею вытягиваетъ, точно больной утёнокъ, да и не слышитъ ничего; а другой о философіи размышляетъ. Вы не бойтесь! — Голосъ Музы слегка возвышался, и щеки ея понемногу краснѣли какой-то злорадной, тусклой краской; и чудесно шло это къ ней, и никогда она не была такъ хороша собою. Убирая со стола, разставляя по мѣстамъ чашки, блюдечки, она быстро двигалась по комнатѣ; было что-то вызывающее въ ея развязной, легкой походкѣ. — «Судите, молъ, меня, какъ знаете, а я сама по себѣ, и васъ не боюсь».

Не могу скрыть, что Муза мнѣ казалась обаятельной, именно въ тотъ вечеръ. Да, думалось мнѣ, эта злюка — это новый типъ.... Это — прелесть. Эти руки, пожалуй, ударить могутъ.... Что-жъ! Не бѣда!

— Парамонъ Семенычъ! воскликнула она вдругъ: — республика — это такое государство, гдѣ всякій дѣлаетъ, что ему вздумается?

— Республика не есть государство, отвѣтилъ Бабуринъ, поднявъ голову и насупивъ брови; — она есть такое.... устройство, въ которомъ всё основано на законѣ и справедливости.

— Стало-быть, продолжала Муза, — въ республикѣ никто не можетъ принуждать другого!

— Никто не можетъ.

— И собою всякъ располагать воленъ?

— Воленъ.

— А! только это я и хотѣла знать.

— Это тебѣ — на что̀ же?

— А такъ; нужно. — Мнѣ нужно было, чтобы *вы* это сказали.

— Любознательная у насъ барышня, замѣтилъ съ лежанки Пунинъ.

Когда я вышелъ въ переднюю, Муза проводила меня, конечно, не изъ вѣжливости, а все изъ того же злорадства. Я спросилъ ее на прощанье: — Неужто вы такъ сильно его любите?

— Люблю, не люблю-ли, про тò я знаю, отвѣчала она; а только чему быть, того не миновать.

— Смотрите, не играйте съ огнемъ.... сгорите.

— Лучше сгорѣть, чѣмъ замерзнуть. А вы.... съ вашими совѣтами! И почемъ вы знаете, что онъ не женится на мнѣ? Почемъ вы знаете, что я непремѣнно хочу выйти замужъ? Ну, я пропаду.... Вамъ-то что за дѣло?

Она захлопнула за мною дверь.

Помнится, на возвратномъ пути домой, мнѣ было довольно пріятно думать, что моему другу, Владиміру Тархову, можетъ придтись — ой, ой, ой, какъ сòлоно отъ «новаго типа».... Долженъ же онъ хоть чѣмъ-нибудь поплатиться за свое счастье!

Въ томъ, что онъ будетъ счастливъ, я, къ сожалѣнію, не могъ сомнѣваться.

Прошло дня три. Я сидѣлъ у себя въ комнатѣ передъ письменнымъ столомъ, и не столько работалъ, сколько собирался завтракать.... услышалъ шорохъ, поднялъ голову и остолбенѣлъ. Передо мною — неподвижное, страшное, бѣлое, какъ мѣлъ, стояло привидѣніе.... стоялъ Пунинъ. Медленно мигая, глядѣли на меня его съёженные глазки: безсмысленный, заячій испугъ выражали они, и руки висѣли, какъ плети.

— Никандръ Вавилычъ? Чтò съ вами? Какъ вы сюда попали? Никто не видалъ васъ? Чтò случилось? Да говорите же!

— Сбѣжала, — произнесъ Пунинъ едва слышнымъ сиплымъ шопотомъ.

— Что вы говорите?

— Сбѣжала, повторилъ онъ.

— Кто?

— Муза. Ушла ночью и записку оставила.

— Записку?

— Да. Благодарю, молъ, но уже болѣе не вернусь. Не ищите. Мы туда — сюда; спрашиваемъ кухарку: та ничего не знаетъ. Я не могу громко говорить, извините. Голосъ сорвался.

— Муза Павловна васъ оставила! воскликнулъ я. Скажите! Г-нъ Бабуринъ долженъ быть въ отчаяніи. Что же онъ намѣренъ теперь сдѣлать?

— Ничего онъ не намѣренъ сдѣлать. Я хотѣлъ бѣжать къ генералъ-губернатору: запретилъ. Я хотѣлъ подать въ полицію объявленіе: запретилъ и даже прогнѣвался. Говоритъ: ея воля. Говоритъ: притѣснять не желаю. Даже на службу въ свою контору отправился. Только, конечно, облика человѣческаго уже на немъ не имѣется. Больно много любилъ онъ ее.... Охъ, охъ, много мы оба ее любили!

Тутъ Пунинъ впервые обнаружилъ, что онъ не истуканъ, а живой человѣкъ: поднялъ оба кулака кверху и опустилъ ихъ себѣ на темя, лоснившееся какъ слоновая кость.

— Неблагодарная! простоналъ онъ; кто тебя кормилъ, поилъ, спасъ, обулъ, воспиталъ; кто заботился о тебѣ, кто всю жизнь, всю душу.... А ты все забыла! Меня бросить, конечно, не штука, но Парамона Семеныча, Парамона....

Я попросилъ его присѣсть, отдохнуть....

Пунинъ отрицательно покачалъ головою. — Нѣтъ, не надо. Я и пришелъ-то къ вамъ.... не знаю зачѣмъ. Я, какъ ошалѣлый; остаться дома одному — жутко; куда дѣться? Стану посреди комнаты, закрою глаза и зову: Муза! Му-

зочка! Этакъ съ ума сойдешь. Да, нѣтъ, что̀ я вру? Я знаю, зачѣмъ я къ вамъ пришелъ. Вы вотъ мнѣ намеднись ту треклятую пѣсенку прочли.... помните, гдѣ говорится о старомъ мужѣ? Зачѣмъ вы это сдѣлали? Али вы ужъ что̀ знали тогда.... или догадывались? Пунинъ глянулъ на меня. — Батюшка, Петръ Петровичъ, воскликнулъ онъ вдругъ и затрепеталъ весь — вамъ, быть можетъ, извѣстно, гдѣ она находится? Батюшка, къ кому она ушла?

Я смутился и по неволѣ опустилъ глаза....

— Развѣ она въ своемъ письмѣ сказала вамъ, началъ я...

— Она сказала, что уходитъ отъ насъ, потому что полюбила другого! Батюшка, голубчикъ, вы навѣрное знаете, гдѣ она? Спасите ее, пойдемте къ ней; мы ее уговоримъ. Помилуйте, посудите, кого она убила? — Пунинъ вдругъ покраснѣлъ, вся кровь прилила ему въ голову, онъ тяжко грохнулся на колѣни. — Спасите, отецъ, пойдемте къ ней!

Человѣкъ мой появился на порогѣ и остановился въ недоумѣніи.

Не малаго труда стоило мнѣ поднять Пунина снова на ноги, растолковать ему, что если я даже что-нибудь и подозрѣваю, то все-таки нельзя дѣйствовать такъ, сплеча, особенно вдвоемъ; что этимъ только все дѣло испортишь, что я готовъ попытаться, но ни за что не отвѣчаю. Пунинъ не возражалъ мнѣ, но и не слушалъ меня и лишь изрѣдка повторялъ своимъ надорваннымъ голосомъ: — Спасите, спасите ее и Парамона Семеныча. Онъ наконецъ заплакалъ. — Скажите, по крайней мѣрѣ, одно, спросилъ онъ, что.... *онъ* хорошъ собою, молодъ?

— Молодъ, отвѣчалъ я.

— Молодъ, повторилъ Пунинъ, размазывая по щекамъ слезы. И она молода.... Вотъ въ чемъ вся бѣда!

Эта риѳма пришлась случайно; бѣдному Пунину было не до поэзіи. Я бы дорого далъ, чтобы снова услышать отъ

него витіеватыя рѣчи, или хотя его почти беззвучный смѣхъ.... Увы! тѣ рѣчи исчезли навсегда, — я не слыхалъ болѣе его смѣха.

Я обѣщался навѣстить его, какъ только узнаю что-нибудь положительное.... Тархова, я, однако, не назвалъ. — Пунинъ вдругъ опустился весь. — «Хорошо-съ, хорошо-съ, спасибо-съ», замѣтилъ онъ съ убогой ужимочкой, и вставляя слово-ерики, чего онъ прежде никогда не дѣлалъ; — только знаете-съ, Парамону Семенычу не говорите-съ ничего-съ.... а то онъ разсердится! — Одно слово: запретилъ! Прощайте-съ, сударь!»

Уходя и повернувшись ко мнѣ спиною, Пунинъ показался мнѣ такимъ мизернымъ, что я даже удивился: и хромалъ-то онъ на обѣ ноги, и присѣдалъ на каждомъ шагу...

«Плохо дѣло! Finis, что̀ называется», — подумалъ я.

Хотя я обѣщалъ Пунину собрать свѣдѣнія о Музѣ, однако, отправляясь въ тотъ же день къ Тархову, я нисколько не надѣялся что-нибудь узнать, ибо навѣрное полагалъ, что либо я не застану его дома, либо онъ меня не приметъ. Предположеніе мое оказалось ошибочнымъ: я засталъ Тархова дома, онъ меня принялъ, и я даже узналъ все, что̀ хотѣлъ узнать, но пользы отъ этого не вышло никакой. Тарховъ, какъ только я перешагнулъ порогъ его двери, подошелъ ко мнѣ рѣшительно, быстро, и съ сіяющими, горячими глазами на похорошѣвшемъ и просвѣтленномъ лицѣ, твердо и бойко промолвилъ: — Слушай, братъ, Петя! Я догадываюсь, зачѣмъ ты пришелъ и о чемъ ты собираешься говорить со мною; но предупреждаю тебя, что если ты хотя единымъ словомъ упомянешь о ней, или объ ея поступкѣ, или о томъ, что̀, по твоему, мнѣ повелѣваетъ благоразуміе —

мы больше не друзья, мы даже не знакомые, и я буду просить тебя быть со мною, какъ чужой.

Я посмотрѣлъ на Тархова: онъ весь внутренно трепеталъ, какъ натянутая струна, онъ весь звенѣлъ, онъ едва сдерживалъ порывы поднимавшейся молодой крови, сильное, радостное счастье ворвалось ему въ душу и завладѣло имъ — и онъ имъ завладѣлъ.

— Это твое неизмѣнное рѣшеніе? произнесъ я печально.

— Да, братъ, Петя, неизмѣнное.

— Въ такомъ случаѣ мнѣ остается сказать тебѣ: прощай!

Тарховъ слегка прищурился.... Ужъ очень ему было хорошо.

— Прощай, братъ, Петя, проговорилъ онъ немножко въ носъ, съ откровенной улыбкой, весело сверкнувъ всѣми своими бѣлыми зубами.

Что̀ мнѣ было дѣлать? Я оставилъ его съ его «счастьемъ».

Когда я захлопнулъ за собою дверь, другая дверь въ комнатѣ, я это слышалъ, хлопнула тоже.

Не легко мнѣ было на̀ сердцѣ и на слѣдующій день, когда я поплелся къ своимъ злополучнымъ знакомцамъ. Я втайнѣ надѣялся — такова слабость человѣческая! — что не застану ихъ дома, и опять ошибся. Оба были дома. Перемѣна, происшедшая съ ними въ послѣдніе три дня, поразила бы всякаго. Пунинъ весь побѣлѣлъ и отёкъ. Куда дѣвалась его болтливость? Онъ говорилъ вяло, слабо, все тѣмъ же сиплымъ голосомъ, и видъ имѣлъ изумленный и потерянный. Бабуринъ, напротивъ, скорчился и почернѣлъ; несловоохотливый и въ прежнее время, онъ теперь едва

произносилъ отрывистые звуки; выраженіе окаменѣлой строгости такъ и замерло на его чертахъ.

Я чувствовалъ, что молчать было невозможно, но что̀ было сказать? Я ограничился тѣмъ, что шепнулъ Пунину: ничего я не узналъ, и мой совѣтъ вамъ: бросьте всякую надежду. Пунинъ взглянулъ на меня своими опухшими красными глазёнками — только и осталось у него краснаго на всемъ лицѣ, — пробормоталъ что-то невнятное и отковылялъ въ сторону. Бабуринъ, вѣроятно, догадался, о чемъ шла рѣчь у насъ съ Пунинымъ, и, раскрывъ свои стиснутыя, словно склеенныя губы, произнесъ неспѣшнымъ голосомъ: — «Милостивый государь! со времени вашего послѣдняго посѣщенія у насъ случилась непріятность: воспитанница наша, Муза Павловна Виноградова, не находя болѣе удобнымъ жить съ нами, рѣшилась насъ покинуть, о чемъ оставила намъ письменное заявленіе. Не почитая себя въ правѣ ей препятствовать, мы предоставили ей поступать по ея благоусмотрѣнію. Желаемъ, чтобы ей было хорошо, — прибавилъ онъ не безъ усилія, — а васъ покорнѣйше просимъ объ этомъ предметѣ не упоминать, такъ какъ подобныя рѣчи безполезны и даже огорчительны».

«Вотъ и этотъ, какъ и Тарховъ, запрещаетъ мнѣ говорить о Музѣ», подумалось мнѣ, и не могъ я внутренно не подивиться! Не даромъ же онъ такъ высоко цѣнилъ Зенона. Я хотѣлъ-было сообщить ему нѣчто объ этомъ мудрецѣ, но языкъ у меня не повернулся, и хорошо сдѣлалъ.

Я скоро ушелъ во-свояси. Разставаясь со мною, ни Пунинъ, ни Бабуринъ не сказали мнѣ: до свиданья! — оба въ одинъ голосъ промолвили: прощайте-съ! Пунинъ даже возвратилъ мнѣ книжку «Телеграфа», которую я принесъ ему: теперь-молъ мнѣ этого больше уже не надо.

Недѣлю спустя со мной произошла странная встрѣча. Весна наступила ранняя, крутая; въ полдень жара дохо-

дила до восемнадцати градусовъ. Все зеленѣло и лѣзло изъ разрыхленной, сырой земли. Я нанялъ въ манежѣ верхового коня и отправился за городъ, на Воробьевы-горы. На дорогѣ мнѣ попалась телѣжка, запряженная парой лихихъ, до самыхъ ушей забрызганныхъ вятокъ, съ заплетенными хвостами, съ красными лентами въ чолкахъ и гривахъ. Сбруя на лошадяхъ была охотницкая, съ мѣдными бляхами и кистями, — и правилъ ими молодой щегольямщикъ въ синей поддёвкѣ безъ рукавовъ и желтой канаусовой рубахѣ, въ низкой поярковой шляпѣ съ павлинымъ перомъ вокругъ тульи. Рядомъ съ нимъ сидѣла дѣвушка мѣщанскаго или купеческаго званія, въ пестрой парчевой кацавейкѣ, съ большимъ голубымъ платкомъ на головѣ — и такъ и заливалась смѣхомъ. Ямщикъ ухмылялся тоже. Я поворотилъ своего коня въ сторону, а впрочемъ, не обратилъ особаго вниманія на быстро-мелькнувшую веселую чету, — какъ вдругъ парень гикнулъ на лошадей.... Да это голосъ Тархова! Я оглянулся.... Точно: онъ; несомнѣнно онъ, наряженный ямщикомъ, а возлѣ него — ужъ не Муза-ли?

Но въ это мгновенье вятки подхватили, и только я ихъ и видѣлъ. Я-было пустилъ моего коня въ галопъ вслѣдъ за ними, но это былъ старый манежный драбантъ, съ такъназываемымъ генеральскимъ аллюромъ въ раскачку: галопомъ онъ шелъ еще тише, чѣмъ рысью.

— Гуляйте, любезные! проворчалъ я сквозь зубы. — Должно замѣтить, что Тархова я не видѣлъ въ теченіе всей недѣли, хотя раза три заходилъ къ нему. Его никогда не было дома. Бабурина и Пунина я тоже не видѣлъ.... Я ихъ не посѣщалъ.

Я простудился на моей прогулкѣ: хотя и было очень жарко, но вѣтеръ дулъ пронзительный. Я опасно заболѣлъ — и когда я выздоровѣлъ, мы съ бабушкой отправи-

лись въ деревню — «на подножный кормъ» — по совѣту доктора. Въ Москву я уже больше не попалъ; къ осени я перешелъ въ петербургскій университетъ.

III.

1849 г.

Прошло уже не семь, а цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ, и мнѣ стукнулъ тридцать-второй годъ. Бабушка давно скончалась: я жилъ въ Петербургѣ чиновникомъ по министерству внутреннихъ дѣлъ. Тархова я потерялъ изъ виду: поступилъ онъ въ военную службу и находился почти постоянно въ провинціи. Мы съ нимъ встрѣтились раза два по-пріятельски, радушно; но разговоры наши не касались прошедшаго. Въ эпоху второй нашей встрѣчи, онъ, сколько мнѣ помнится, былъ уже женатъ. Однажды, въ знойный лѣтній день, я, проклиная и служебныя обязанности, удерживавшія меня въ Петербургѣ, и городскую духоту, вонь и пыль, пробирался по Гороховой улицѣ. Погребальная процессія перебила мнѣ дорогу. Вся она состояла изъ единственной колесницы, т. е., собственно говоря, изъ дряхлыхъ дрогъ, на которыхъ, грубо подбрасываемый толчками ухабистой мостовой, колыхался убогій деревянный гробъ, до половины прикрытый потертымъ чернымъ сукномъ. Старый человѣкъ, съ бѣлой головою, выступалъ одинъ за дрогами.

Я вглядѣлся въ него.... Лицо знакомое.... Онъ тоже повелъ на меня глазами.... Боже мой! да это Бабуринъ!

Я снялъ шляпу, подошелъ къ нему, назвалъ себя — и отправился съ нимъ рядомъ.

— Кого вы хороните? спросилъ я.

— Никандра Вавилыча Пунина, отвѣчалъ онъ.

Я предчувствовалъ, я заранѣе зналъ, что онъ назоветъ это имя, и сердце все-таки дрогнуло во мнѣ. Грустно стало мнѣ, и радъ я былъ, что случай доставилъ мнѣ возможность отдать послѣдній долгъ моему наставнику....

— Могу я идти съ вами, Парамонъ Семенычъ?

— Можете.... Я одинъ провожалъ его; теперь насъ будетъ двое.

Больше часа продолжалось наше шествіе. Спутникъ мой подвигался, не поднимая глазъ, не разжимая губъ. Онъ окончательно состарѣлся съ тѣхъ поръ, какъ я его видѣлъ въ послѣдній разъ; изрытое морщинами, мѣднаго цвѣта лицо, рѣзко отдѣлялось отъ бѣлыхъ волосъ. Слѣды трудовой, терпкой жизни, постоянной борьбы, сказывались во всемъ существѣ Бабурина: обглодала его нужда да бѣдность. Когда все покончилось, когда тò, чтò было Пунинымъ, на вѣки скрылось въ сырой.... ужъ точно сырой землѣ Смоленскаго кладбища, Бабуринъ, постоявъ минуты двѣ съ потупленной, непокрытой головою передъ новорыросшимъ холмикомъ песчаной глины, обратилъ ко мнѣ свое изможденное, какъ-бы ожесточенное лицо, свои сухіе, впалые глаза, угрюмо поблагодарилъ меня и хотѣлъ-было удалиться; но я удержалъ его.

— Гдѣ вы живете, Парамонъ Семенычъ? Позвольте васъ навѣстить. Я не зналъ вовсе, что вы живете въ Петербургѣ. Мы бы старое вспомнили, побесѣдовали бы о покойномъ нашемъ другѣ.

Бабуринъ не тотчасъ отвѣтилъ мнѣ.

— Я третій годъ какъ въ Петербургѣ обрѣтаюсь, промолвилъ онъ наконецъ; — квартирую я на самомъ концѣ города. Впрочемъ, если вы точно желаете меня посѣтить, приходите. — Онъ далъ мнѣ свой адресъ. — Приходите вечеромъ; вечеромъ мы всегда дома.... мы оба.

— Вы.... оба?

— Я женатъ. Моя жена сегодня не совсѣмъ здорова; оттого она не провожала покойника. А впрочемъ, достаточно и одному человѣку исполнить эту пустую формальность, этотъ обрядъ. Кто же во все это вѣритъ!

Я нѣсколько удивился послѣднимъ словамъ Бабурина, однако ничего не сказалъ, взялъ извощика и предложилъ Бабурину довезти его до дому; но онъ отказался.

Въ тотъ же день вечеромъ я отправился къ нему. Дорогой я все думалъ о Пунинѣ. Мнѣ вспомнилось, какъ я въ первый разъ съ нимъ встрѣтился, и какой онъ былъ тогда восторженный и забавный; потомъ въ Москвѣ, какъ онъ присмирѣлъ — особенно въ послѣднее наше свиданіе; а вотъ и совсѣмъ конченъ разсчетъ съ жизнію: не шутитъ, видно, она! Квартировалъ Бабуринъ на Выборгской сторонѣ, въ домикѣ, напоминавшемъ мнѣ его московское гнѣздышко: петербургское чуть ли не было еще бѣднѣе. Когда я вошелъ къ нему въ комнату, онъ сидѣлъ въ углу на стулѣ, уронивъ обѣ руки на колѣни; нагорѣвшая сальная свѣча тускло освѣщала его повислую бѣлую голову. Онъ услышалъ шумъ моихъ шаговъ, встрепенулся и привѣтствовалъ меня радушнѣе, чѣмъ я ожидалъ. Спустя нѣсколько мгновеній появилась его жена: я въ ней тотчасъ узналъ Музу — и тутъ только понялъ, зачѣмъ Бабуринъ меня пригласилъ къ себѣ: онъ хотѣлъ показать мнѣ, что онъ все-таки добился своего.

Перемѣнилась Муза много — въ лицѣ, въ голосѣ и въ движеньяхъ; но больше всего перемѣнились ея глаза. Бывало, они бѣгали, какъ живчики, эти злые, эти красивые глаза; они блистали украдкой, но ярко; взоръ ихъ кололъ, какъ булавка.... Теперь они глядѣли прямо, спокойно, при-

стально; черныя зеницы потускнѣли. «Я надломана, я смирна, я добра» — казалось, говорилъ ея тихій и тупой взоръ. То же самое говорила ея постоянная, покорная улыбка. И платье на ней было смиренное: коричневое съ маленькими горошинами. Она первая подошла ко мнѣ, спросила, узнаю ли я ее? Она, очевидно, не конфузилась, и не потому, чтобы она потеряла стыдъ или память, а просто потому, что суета отъ нея отошла. Муза много говорила о покойномъ Пунинѣ, говорила ровнымъ, тоже похолодѣвшимъ голосомъ. Я узналъ, что онъ, въ послѣдніе годы, совсѣмъ сталъ хилый, почти въ дѣтство впалъ, такъ что даже скучалъ безъ игрушекъ; правда, его увѣряли, что онъ шьетъ ихъ изъ тряпокъ для продажи.... онъ самъ забавлялся ими. Страсть его къ стихамъ, однако, не угасла, и память сохранилась на одни только стихи: за нѣсколько дней до смерти онъ еще декламировалъ изъ «Россіады»; за то Пушкина боялся, какъ дѣти боятся буки. Привязанность его къ Бабурину также не уменьшилась: онъ по прежнему благоговѣлъ передъ нимъ, и уже охваченный мракомъ и холодомъ кончины, еще лепеталъ коснѣющимъ языкомъ: «благодѣтель!» Я узналъ также отъ Музы, что вскорѣ послѣ московскаго происшествія, Бабурину опять пришлось поколесить по Россіи, перекочёвывая съ одной частной должности на другую; что и въ Петербургъ онъ прибылъ опять-таки на частную службу, которую, впрочемъ, принужденъ былъ оставить надняхъ по непріятности съ хозяиномъ: Бабуринъ, вздумалъ заступиться за рабочихъ.... Постоянная улыбка Музы, сопровождавшая ея рѣчи, наводила меня на размышленія печальныя; она довершала впечатлѣніе, возбужденное во мнѣ наружностью ея мужа. Трудно доставался имъ обоимъ насущный хлѣбъ — въ этомъ не было сомнѣнія. Самъ онъ мало вмѣшивался въ нашу бесѣду: онъ казался еще болѣе озабоченнымъ, чѣмъ огорченнымъ.... Что-то грызло его.

— Парамонъ Семенычъ, пожалуйте, проговорила кухарка, внезапно появившись на порогѣ двери.

— Что такое? Что нужно? тревожно спросилъ онъ.

— Пожалуйте, значительно и настойчиво повторила кухарка, Бабуринъ застегнулся и вышелъ.

Когда мы остались одни съ Музой, она посмотрѣла на меня нѣсколько измѣненнымъ взоромъ, и промолвила голосомъ тоже измѣненнымъ и уже безъ улыбки: — Не знаю, Петръ Петровичъ, что̀ вы теперь обо мнѣ думаете, но полагаю, что вы помните, какая я была.... Самоувѣренная была я, веселая.... и недобрая; хотѣла въ свое удовольствіе пожить. А я вамъ вотъ что̀ скажу теперь; когда меня бросили, и я была, какъ потерянная, и только ждала, что либо Богъ меня приберетъ, либо у самой хватитъ духа съ собой покончить — я опять, какъ въ Воронежѣ, встрѣтилась съ Парамономъ Семенычемъ — и онъ опять спасъ меня.... Слова обиднаго я отъ него не услышала, ни одного упрека не услышала, ничего онъ отъ меня не потребовалъ — не стоила я того; но онъ меня любилъ.... и я стала его женой. Что̀ же мнѣ было дѣлать? умереть — не удалось; — жить тоже не пришлось, какъ хотѣлось.... Куда же было дѣться! И то̀ — милость. Вотъ и все.

Она умолкла, отвернулась на мгновеніе... прежняя покорная улыбка опять появилась на ея губахъ. «Легко ли мнѣ жить, не спрашивай», — почудилось мнѣ теперь въ этой улыбкѣ.

Разговоръ перешелъ къ предметамъ обыкновеннымъ. Муза разсказала мнѣ, что послѣ Пунина осталась кошка, которую онъ очень любилъ, но что она съ самой его смерти ушла на чердакъ и тамъ сидитъ и все мяучитъ, точно зо-

ветъ кого-то.... сосѣди очень пугаются и воображаютъ, что это душа Пунина перешла въ кошку.

— Парамонъ Семенычъ чѣмъ-то встревоженъ, проговорилъ, я, наконецъ.

— А вы это замѣтили?—Муза вздохнула.—Ему нельзя не тревожиться. Вамъ нечего сказывать, что Парамонъ Семенычъ остался вѣренъ своимъ убѣжденіямъ.... Нынѣшній порядокъ вещей могъ только укрѣпить ихъ. (Муза выражалась совсѣмъ иначе, чѣмъ, бывало, въ Москвѣ: языкъ ея принялъ литературный, начитанный оттѣнокъ). Впрочемъ я не знаю, могу ли я вамъ довѣриться и какъ вы примете....

— Почему же вы полагаете, что мнѣ довѣриться нельзя?

— Да вѣдь вы состоите на службѣ, вы чиновникъ.

— Ну такъ что-жъ?

— Вы, слѣдовательно, преданы правительству.

Я внутренно подивился.... молодости Музы. — О моихъ отношеніяхъ къ правительству, которое и существованія моего не подозрѣваетъ, я распространяться не буду, промолвилъ я; но вы можете быть спокойны. Вашего довѣрія я во зло не употреблю. Убѣжденіямъ вашего супруга я сочувствую.... больше, чѣмъ вы полагаете.

Муза покачала головою.

— Да; это все такъ, начала она не безъ запинки; но вѣдь вотъ что. Убѣжденіямъ Парамона Семеныча, быть можетъ, скоро придется выказаться на дѣлѣ. Онѣ не могутъ дольше оставаться подъ спудомъ. Есть товарищи, отъ которыхъ теперь невозможно отстать....

Муза внезапно умолкла, словно языкъ себѣ прикусила. Ея послѣднія слова меня изумили и немножко испугали. Вѣроятно лицо мое выразило то, что̀ я почувствовалъ — и Муза это замѣтила.

Я уже сказалъ, что свиданіе наше происходило въ 1849

году. Многимъ еще памятно, какое это было смутное и тяжелое время, и какими событіями ознаменовалось оно въ С.-Петербургѣ. Меня самого поразили нѣкоторыя странности въ обращеніи Бабурина, во всей его повадкѣ. Раза два онъ съ такой рѣзкой горечью и ненавистью, съ такимъ отвращеніемъ отозвался о правительственныхъ распоряженіяхъ, о высокопоставленныхъ лицахъ, что я почувствовалъ недоумѣніе....

— А что̀? спросилъ онъ меня вдругъ: — освободили вы своихъ крестьянъ?

Я принужденъ былъ сознаться, что нѣтъ.

— А вѣдь, чай, бабка-то умерла?

И въ этомъ я долженъ былъ сознаться.

— То-то, вы, господа дворяне, проворчалъ сквозь зубы Бабуринъ.... Чужими руками.... жаръ загребать.... это вы любите.

Въ его комнатѣ, на самомъ видномъ мѣстѣ висѣла извѣстная литографія, изображавшая Бѣлинскаго; на столѣ лежалъ томикъ старинной, бестужевской «Полярной Звѣзды».

Бабуринъ долго не возвращался послѣ того, какъ кухарка его вызывала. Муза нѣсколько разъ съ безпокойствомъ глянула на дверь, въ которую онъ вышелъ. Наконецъ она не вытерпѣла, встала, извинилась и тоже вышла въ ту же дверь. Черезъ четверть часа она вернулась назадъ съ своимъ мужемъ; лица обоихъ, такъ по крайней мѣрѣ мнѣ показалось, выражали смущеніе. — Но, вотъ, внезапно, лицо Бабурина приняло другое, ожесточенное, почти иступленное выраженіе....

— Какой же этому будетъ конецъ? заговорилъ онъ вдругъ прерывистымъ, захлёбывавшимся, ему вовсе не свойственнымъ голосомъ, и поводя кругомъ, блуждая одичалыми глазами. — Живёшь, живёшь, надѣешься, авось лучше будетъ, легче будетъ дышать, — а напротивъ того,

все идетъ хуже да хуже! — Совсѣмъ ужъ къ стѣнѣ *прижали!* Въ молодости я всего натерпѣлся; меня.... быть можетъ.... даже били.... да! прибавилъ онъ, круто повернувшись на каблукахъ и словно накинувшись на меня; — я, уже совершеннолѣтнимъ будучи, получалъ истязанія тѣлесныя.... да; — о другихъ несправедливостяхъ я уже не говорю.... Но неужто-жъ намъ къ тѣмъ, прежнимъ временамъ.... предстоитъ вернуться? — Что̀ теперь дѣлаютъ съ молодыми людьми! — Да, вѣдь, это, наконецъ, всякое терпѣніе лопнетъ.... Лопнетъ! Да! Погодите!

Я никогда не видалъ Бабурина въ подобномъ состояніи. — Муза даже поблѣднѣла вся.... Бабуринъ вдругъ раскашлялся и опустился на скамейку. Не желая стѣснять ни его, ни Музу своимъ присутствіемъ, я рѣшился уйти и уже прощался съ ними, какъ вдругъ та же дверь въ сосѣднюю комнату отворилась, и показалась голова.... Но не голова кухарки, а всклокоченная, перепуганная голова молодого человѣка.

— Бѣда, Бабуринъ, бѣда! пролепеталъ онъ торопливо, но тотчасъ же скрылся при видѣ незнакомой моей фигуры.

Бабуринъ бросился вонъ вслѣдъ за молодымъ человѣкомъ. Я крѣпко пожалъ руку Музѣ — и удалился, съ дурными предчувствіями на сердцѣ.

— Приходите завтра, шепнула она тревожно.

— Приду непремѣнно, отвѣтилъ я.

Я на другой день еще лежалъ въ постели, когда мой человѣкъ подалъ мнѣ письмо отъ Музы.

«Милостивый государь, Петръ Петровичъ! писала она: Парамона Семеныча сегодня ночью арестовали жандармы — и увезли въ крѣпость, или не знаю куда: они не ска-

зали. Всѣ наши бумаги перерыли, многое запечатали, съ собою взяли. Также книги и письма. Говорятъ, въ городѣ пропасть народа арестовано. Вы можете себѣ представить, что̀ я чувствую. Хорошо, что Никандръ Вавилычъ до этого не дожилъ! Во̀-время онъ убрался. Посовѣтуйте, что̀ мнѣ сдѣлать. За себя я не боюсь — съ голоду я не умру — но мысль о Парамонѣ Семенычѣ не даетъ мнѣ покоя. Приходите, пожалуйста, если только вы не боитесь посѣщать людей въ нашемъ положеніи. —

«Готовая къ услугамъ Муза Бабурина».

Черезъ полчаса я былъ у Музы. Увидавъ меня, она протянула мнѣ руку, и, хотя не сказала ни слова, выраженіе благодарности мелькнуло на ея лицѣ. На ней было вчерашнее платье: по всему было замѣтно, что она не ложилась и не спала всю ночь. Глаза у ней были красны — но отъ безсонницы, не отъ слезъ. Она не плакала. Ей было не до того. Она хотѣла дѣйствовать, хотѣла бороться съ поразившимъ ее несчастьемъ: прежняя, энергическая, самовольная Муза воскресла въ ней. Даже негодовать ей было некогда, хотя негодованіе ее душило. Ка̀къ помочь Бабурину, къ кому прибѣгнуть, чтобы облегчить его участь — ни о чемъ другомъ она не думала. Она хотѣла немедленно идти... просить.... требовать.... Но куда идти? Кого просить? Чего требовать? вотъ что она желала услышать отъ меня, вотъ о чемъ желала посовѣтоваться со мною.

Я началъ съ того, что посовѣтовалъ ей.... терпѣнье. На первыхъ порахъ ничего другого не оставалось дѣлать, какъ только выжидать и, по мѣрѣ возможности, наводить справки. Предпринять что-нибудь рѣшительное теперь, когда дѣло едва началось, едва загорѣлось, — было просто немыслимо, безразсудно. Надѣяться на успѣхъ было безразсудно, даже если бы я обладалъ гораздо бо̀льшей долей

значенія и вліянія.... но что̀ могъ сдѣлать я, маленькій чиновникъ? У ней самой не было никакой протекціи....

Не легко было растолковать ей все это.... однако она наконецъ поняла мои доводы; поняла также, что не эгоистическое чувство руководило мною, когда я доказывалъ безполезность всякихъ попытокъ.

— Да скажите, Муза Павловна, началъ я, когда она наконецъ присѣла на стулъ — (до тѣхъ поръ она все стояла на ногахъ, какъ-бы готовясь тотчасъ пойти на помощь Бабурину), — какимъ образомъ Парамонъ Семенычъ — въ его годы — попался въ такой исторіи? Тутъ, я увѣренъ, одни молодые люди замѣшаны, въ родѣ того, который вчера вечеромъ приходилъ предупредить васъ....

— Эти молодые люди — наши друзья! воскликнула Муза, и глаза ея заблистали и забѣгали по старинному. Что-то сильное, неудержимое, казалось, такъ и поднялось со дна ея души.... а мнѣ вдругъ вспомнилось названіе «новаго типа», данное ей нѣкогда Тарховымъ. — Годы ничего не значатъ, когда дѣло идетъ о политическихъ убѣжденьяхъ! — Муза особенно наперла на эти два послѣднія слова. Можно было подумать, что, при всемъ ея горѣ, ей было не непріятно выказать себя передо мною въ этомъ новомъ, неожиданномъ свѣтѣ — въ свѣтѣ женщины образованной и созрѣлой, достойной супруги республиканца! — Иные старики моложе иныхъ молодыхъ, продолжала она, — способнѣе на жертвы.... Но не въ томъ вопросъ.

— Мнѣ кажется, Муза Павловна, замѣтилъ я: вы нѣсколько преувеличиваете. Зная характеръ Парамона Семеныча, я былъ заранѣе увѣренъ, что онъ будетъ сочувствовать всякимъ.... честнымъ порывамъ; но, съ другой стороны, я всегда считалъ его за человѣка благоразумнаго.... Неужели онъ не понимаетъ всю невозможность, всю нелѣпость

заговоровъ у насъ, въ Россіи! Въ его положеніи, въ его званіи....

— Конечно, съ горечью въ голосѣ перебила Муза: онъ мѣщанинъ; а въ Россіи вступать въ заговоры позволительно только дворянамъ, какъ, напримѣръ, четырнадцатаго декабря.... вѣдь вотъ что̀ вы хотѣли сказать.

«Въ такомъ случаѣ зачѣмъ вы жалуетесь?» чуть не сорвалось у меня съ языка.... однако я удержался. — Полагаете ли вы, что результатъ четырнадцатаго декабря такого свойства, что долженъ поощрять другихъ? произнесъ я громко.

Муза нахмурилась. — «Съ тобою нечего толковать объ этомъ», прочелъ я на ея потупленномъ лицѣ.

— Парамонъ Семенычъ очень скомпрометированъ? рѣшился спросить я наконецъ. Муза ничего не отвѣчала.... Голодное, дикое мяуканье раздалось съ чердака.

Муза вздрогнула. — Ахъ, хорошо, что Никандръ Вавилычъ всего этого не видѣлъ! почти съ отчаяніемъ простонала она. — Не видѣлъ онъ, какъ ночью, насильно схватили его благодѣтеля, нашего благодѣтеля, быть можетъ, лучшаго и честнѣйшаго человѣка въ цѣломъ свѣтѣ, — не видѣлъ онъ, какъ обращались съ почтеннымъ старикомъ, какъ говорили ему: «ты».... какъ грозили ему — и чѣмъ ему грозили!... потому только, что онъ мѣщанинъ! Этотъ офицеръ молодой тоже должно быть изъ числа такихъ безсовѣстныхъ бездушниковъ, какихъ и мнѣ въ моей жизни....

Голосъ Музы порвался. Она вся трепетала какъ листъ.

Долго сдержанное негодованіе прорвалось наконецъ; потрясенныя, вызванныя наружу общей душевной тревогой, всколыхнулись старыя воспоминанія.... Но собственно я убѣдился въ это мгновенье, что «новый типъ» остался тѣмъ же, той же страстной, увлекающейся натурой.... Только увлекалась Муза уже не тѣмъ, чѣмъ, бывало, въ

молодые годы. То, что̀ въ первое мое посѣщеніе я принялъ за резиньяцію, за усмиренность, и что̀ дѣйствительно было тѣмъ — этотъ тихій, тупой взоръ, этотъ холодный голосъ, эта ровность и простота — все это имѣло смыслъ лишь въ отношеніи къ прошедшему, невозвратному....

Теперь настоящее заговорило.

Я постарался успокоить Музу, постарался перевести нашу бесѣду на болѣе практическую почву. Надо было принять нѣкоторыя неотложныя мѣры: узнать, гдѣ собственно находился Бабуринъ; а потомъ достать и ему, и Музѣ, средства къ существованію. Все это представляло затрудненія немалыя; приходилось отыскивать не прямо деньги, а работу, что̀, какъ извѣстно, гораздо болѣе сложная задача....

Я ушелъ отъ Музы съ цѣлымъ роемъ соображеній въ головѣ.

Я скоро узналъ, что Бабуринъ сидитъ въ крѣпости....

Дѣло началось.... затянулось. Я каждую недѣлю по нѣскольку разъ видался съ Музой. Она тоже имѣла нѣсколько свиданій съ мужемъ. Но въ самый моментъ разрѣшенія всей этой печальной исторіи меня въ Петербургѣ не было. Непредвидѣнныя дѣла заставили меня съѣздить на югъ Россіи. Во время моей отлучки я узналъ, что Бабурина по суду оправдали: оказалось, что вся вина его состояла только въ томъ, что у него, какъ у человѣка, неспособнаго возбудить подозрѣнія, собирались иногда молодые люди — и онъ присутствовалъ при ихъ бесѣдахъ; однако административнымъ порядкомъ сослали его на жительство въ одну изъ западныхъ губерній Сибири. Муза уѣхала съ нимъ.

«....Парамонъ Семенычъ этого не желалъ, писала она мнѣ; потому, по его понятіямъ, никто не въ правѣ жертвовать собою для другого человѣка — не для дѣла; но я ему

отвѣтила, что тутъ никакой жертвы нѣтъ. Когда я сказала ему въ Москвѣ, что буду его женою, то я подумала про себя: на вѣки и нерушимо! Такъ нерушимо должно оно стоять до конца дней....»

IV.

1861 г.

Еще двѣнадцать лѣтъ прошло.... Всѣ въ Россіи знаютъ и вѣчно помнить будутъ, что̀ совершилось между 49-мъ и 61-мъ годомъ. И въ моей личной жизни произошло много перемѣнъ, о которыхъ, впрочемъ, распространяться нечего. Появились въ ней новые интересы, новыя заботы.... Чета Бабуриныхъ сперва отступила на второй планъ, потомъ совсѣмъ стушевалась. Я, однако, продолжалъ переписываться съ Музой — очень, правда, изрѣдка; иногда протекало болѣе года безъ всякихъ извѣстій о ней и объ ея мужѣ. Я узналъ, что вскорѣ послѣ 55-го года ему было дозволено возвратиться въ Россію; но что онъ самъ пожелалъ остаться въ томъ небольшомъ сибирскомъ городкѣ, куда забросила его судьба, и гдѣ онъ, повидимому, свилъ себѣ гнѣздо, нашелъ пріютъ, кругъ дѣятельности...

И вотъ, въ концѣ марта мѣсяца 1861 года, получаю я слѣдующее письмо отъ Музы:

«Я такъ давно къ вамъ не писала, почтеннѣйшій П. П., что даже не знаю, живы ли вы; а если и живы, то не забыли ли о нашемъ существованіи? Но все равно; не могу я не писать вамъ сегодня. У насъ доселѣ все шло по старинному; мы съ Парамономъ Семенычемъ занимались нашими школами, которыя подвигаются помаленьку; сверхъ того, Парамонъ Семенычъ занимался чтеніемъ и перепиской, да обычными своими преніями, съ старовѣрцами, духовными

лицами и ссыльными поляками; здоровье его было порядочно.... Мое тоже. Но вотъ вчера къ намъ пришелъ манифестъ 19-го февраля! Давно мы его ждали, давно ходили слухи о томъ, что̀ дѣлается у васъ въ Петербургѣ.... но все же, не могу я вамъ описать, что̀ это было! Вы знаете хорошо моего мужа; несчастье нисколько его не измѣнило, а напротивъ, онъ сталъ еще крѣпче и энергичнѣе. (Не могу скрыть, что Муза написала енѣргичнѣе). Сила воли въ немъ желѣзная, но тутъ онъ не выдержалъ! Руки тряслись у него, когда онъ читалъ; потомъ онъ обнялъ меня три раза и три раза со мной облобызался, хотѣлъ что-то сказать,— но нѣтъ! не могъ! и кончилъ тѣмъ, что прослезился, что̀ очень было удивительно видѣть, и вдругъ закричалъ: «Ура! ура! Боже, царя храни!» — Да, Петръ Петровичъ, эти самыя слова! Потомъ онъ прибавилъ: «Нынѣ отпущаеши».... и еще: «это первый шагъ, за нимъ должны послѣдовать другіе»; и, какъ былъ, безъ шапки побѣжалъ сообщить великую эту новость нашимъ пріятелямъ. Морозъ стоялъ сильный и даже пурга зачиналась, я его удерживала, но онъ не послушался. А когда пришелъ домой, весь былъ запорошенъ снѣгомъ, волосы, лицо и борода — у него теперь борода по самую грудь — и даже слезы на щекахъ застыли! Но очень онъ былъ живъ и веселъ, и велѣлъ мнѣ бутылку цымлянскаго раскупорить и вмѣстѣ съ нашими пріятелями, которыхъ онъ съ собой привелъ, пилъ за здоровье царя и Россіи и всѣхъ русскихъ свободныхъ людей; и, взявъ бокалъ и опустивъ взоръ на землю, сказалъ: «Никандръ, Никандръ, слышишь ли? Нѣтъ на Руси болѣе рабовъ! Радуйся и въ гробу, старый товарищъ!» И многое еще такое говорилъ, что «сбылись-молъ мои ожиданія!» Говорилъ также и о томъ, что теперь уже повернуть назадъ невозможно; что это — своего рода залогъ или обѣщаніе.... Всего я не запомню, но давно я его такимъ счастливымъ

не видала. И вотъ я рѣшилась вамъ написать, чтобы и вы узнали, какъ мы радовались и ликовали въ отдаленныхъ сибирскихъ пустыняхъ, чтобы и вы порадовались вмѣстѣ съ нами....»

Это письмо я получилъ въ концѣ марта; а въ началѣ мая пришло другое, весьма коротенькое письмо отъ той же Музы. — Она извѣщала меня, что ея мужъ, Парамонъ Семенычъ Бабуринъ, получивъ простуду въ самый день прибытія манифеста, скончался 12-го апрѣля отъ воспаленія въ легкихъ, 67 лѣтъ отъ роду. Она прибавила, что намѣрена остаться тамъ, гдѣ покоится его тѣло, и продолжать завѣщанную имъ работу, потому что такова̀ была послѣдняя воля Парамона Семеныча, — а у ней другого закона нѣтъ.

Съ тѣхъ поръ я уже болѣе не слыхалъ о Музѣ.

Парижъ. — 1874 г.

ЧАСЫ.

Разсказъ старика.

1850 г.

I.

Разскажу вамъ мою исторію съ часами....

Куріозная исторія!

Дѣло происходило въ самомъ началѣ нынѣшняго столѣтія, въ 1801 году. Мнѣ только-что пошелъ шестнадцатый годъ. Жилъ я въ Рязани, въ деревянномъ домикѣ, недалеко отъ берега Оки — вмѣстѣ съ отцомъ, теткой и двоюроднымъ братомъ. Мать свою я не помню: она скончалась года три послѣ замужества; кромѣ меня, у отца моего дѣтей не было. Звали его Порфиріемъ Петровичемъ. Человѣкъ онъ былъ смирный, собою неказистый, болѣзненный; занимался хожденіемъ по дѣламъ тяжебнымъ — и инымъ. Въ прежнія времена подобныхъ ему людей обзывали подъячими, крючками, крапивнымъ сѣменемъ; самъ онъ величалъ себя стряпчимъ. Нашимъ домашнимъ хозяйствомъ завѣдывала его сестра, а моя тетка — старая пятидесятилѣтняя дѣва; моему отцу тоже минулъ четвертый десятокъ. Большая она была богомолка — прямо сказать: ханжа, та-

раторка, всюду носъ свой совала; да и сердце у ней было не тò, чтò у отца — недоброе. Жили мы — не бѣдно, а въ обрѣзъ. Былъ у моего отца еще братъ, Егоръ по имени; да того, за какіе-то якобы «возмутительные поступки и якобинскій образъ мыслей» (такъ именно стояло въ указѣ) сослали въ Сибирь еще въ 1797 году.

Егоровъ сынъ, Давыдъ, мой двоюродный братъ, остался у моего отца на рукахъ и проживалъ съ нами. Онъ былъ старше меня однимъ только годомъ; но я преклонялся передъ нимъ и повиновался ему, какъ будто онъ *былъ* совсѣмъ большой. Малый онъ былъ не глупый, съ характеромъ, изъ себя плечистый, плотный, лицо четыреугольное, весь въ веснушкахъ, волосы рыжіе, глаза сѣрые, небольшіе, губы широкія, носъ короткій, пальцы тоже короткіе — крѣпышъ, чтò называется — и сила не по лѣтамъ! Тетка терпѣть его не могла; а отецъ — такъ даже боялся его.... или, можетъ быть, онъ передъ нимъ себя виноватымъ чувствовалъ. Ходила молва, что не проболтайся мой отецъ, не выдай своего брата — Давыдова отца не сослали бы въ Сибирь! Учились мы оба въ гимназіи, въ одномъ классѣ, и оба порядочно; я даже нѣсколько получше Давыда.... Память у меня была острѣй; но мальчики — дѣло извѣстное! — *этимъ* превосходствомъ не дорожатъ и не гордятся, и Давыдъ все-таки оставался моимъ вожакомъ.

II.

Зовутъ меня — вы знаете — Алексѣемъ. Я родился 7-го, а имянинникъ я 17-го марта. Мнѣ, по старозавѣтному обычаю, дали имя одного изъ тѣхъ святыхъ, праздникъ которыхъ приходится на десятый день послѣ рожденія. Крестнымъ отцомъ моимъ былъ нѣкто Анастасій Ана-

асьевичъ Пучковъ, или собственно: Настасѣй Настасѣичъ; аче никто его не величалъ. Сутяга былъ онъ страшный, іязникъ, взяточникъ — дурной человѣкъ совсѣмъ; его ъ губернаторской канцеляріи выгнали, и подъ судомъ гъ находился не разъ; отцу онъ бывалъ нуженъ.... Они лѣстѣ «промышляли». Изъ себя онъ былъ пухлый да круг-лй; а лицо, какъ у лисицы, носъ шиломъ; глаза каріе, ѣтлые, тоже какъ у лисицы. И все онъ ими двигалъ, этими азами, направо да налѣво, и носомъ тоже водилъ — словно здухъ нюхалъ. Башмаки носилъ безъ каблуковъ и пуд-лся ежедневно, что̀ въ провинціи тогда считалось большою бдкостью. Онъ увѣрялъ, что безъ пудры ему быть нельзя, къ какъ ему приходится знаться съ генералами и съ ге-ральшами.

И вотъ наступилъ мой имянинный день. Приходитъ На-асѣй Настасѣичъ къ намъ въ домъ и говоритъ:

— Ничѣмъ-то я досѐлева, крестничекъ, тебя не дарилъ; то, посмотри, каку штуку я тебѣ принесъ сегодня!

И достаетъ онъ тутъ изъ кармана серебряные часы лу-вицей, съ написаннымъ на циферблатѣ розаномъ и съ юнзовой цѣпочкой! Я такъ и сомлѣлъ отъ восторга, — а тка, Пелагея Петровна, какъ закричитъ во все горло:

— Цѣлуй руку, цѣлуй руки, паршивый!

Я сталъ цѣловать у крестнаго отца руку, а тетка знай ричитываетъ:

— Ахъ, батюшка, Настасѣй Настасѣичъ, зачѣмъ вы о такъ балуете! Гдѣ ему съ часами справиться? Уронитъ гъ ихъ, навѣрное, разобьетъ или сломаетъ!

Вошелъ отецъ, посмотрѣлъ на часы, поблагодарилъ астасѣича — небрежно таково, да и позвалъ его къ себѣ ь кабинетъ. И слышу я, говоритъ отецъ, словно про бя:

— Коли ты, братъ, *этимъ* думаешь отдѣлаться....

Но я уже не могъ устоять на мѣстѣ, надѣлъ на себя часы и бросился стремглавъ показывать свой подарокъ Давыду.

III.

Давыдъ взялъ часы, раскрылъ и внимательно разсмотрѣлъ ихъ. У него большія были способности къ механикѣ; онъ любилъ возиться съ желѣзомъ, мѣдью, со всякими металлами; онъ обзавелся разными инструментами, и поправить или даже заново сдѣлать, винтъ, ключъ и т. п. — ему ничего не стоило.

Давыдъ повертѣлъ часы въ рукахъ, и пробурчавъ сквозь зубы (онъ вообще былъ неразговорчивъ):

— Старые.... плохіе.... — прибавилъ: — откуда?

Я ему сказалъ, что подарилъ мнѣ ихъ мой крестный.

Давыдъ вскинулъ на меня свои сѣрые глазки:

— Настасѣй?

— Да; Настасѣй Настасѣичъ.

Давыдъ положилъ часы на столъ и отошелъ прочь, молча.

— Они тебѣ нравятся? — спросилъ я.

— Нѣтъ, не то.... А я, на твоемъ мѣстѣ, отъ Настасѣя никакого подарка бы не принялъ.

— Почему?

— Потому что человѣкъ онъ дрянь; а дряни-человѣку одолжаться не слѣдуетъ. Еще спасибо ему говори. Чай, руку у него поцѣловалъ?

— Да, тетка заставила.

Давыдъ усмѣхнулся, — какъ-то особенно, въ носъ. Такая у него была повадка. Громко онъ никогда не смѣялся: онъ считалъ смѣхъ признакомъ малодушія.

Слова Давыда, его безмолвная улыбка, меня глубоко огорчили. Стало-быть, подумалъ я, онъ меня внутренно по-

рицаетъ! Стало-быть, я тоже дрянь въ его глазахъ! Самъ онъ никогда до этого бы не унизился, не принялъ бы подачки отъ Настасѣя! Но что̀ мнѣ теперь остается сдѣлать?

Отдать часы назадъ? Невозможно!

Я попытался-было заговорить съ Давыдомъ, спросить его совѣта. Онъ мнѣ отвѣтилъ, что никому совѣтовъ не даетъ, и чтобъ я поступилъ какъ знаю. — Какъ знаю?! Помнится, я всю ночь потомъ не спалъ: раздумье меня мучило. Жаль было лишиться часовъ — я ихъ положилъ возлѣ постели на ночной столикъ; они такъ пріятно и забавно постукивали.... Но чувствовать, что Давыдъ меня презираетъ... (Да, нѐчего обманываться! онъ презираетъ меня!).... это мнѣ казалось невыносимымъ! Къ утру во мнѣ созрѣло рѣшеніе.... Я, правда, всплакнулъ — но и заснулъ за то, и какъ только проснулся — наскоро одѣлся и выбѣжалъ на улицу. Я рѣшился отдать мои часы первому бѣдному, котораго встрѣчу.

IV.

Я не успѣлъ отбѣжать далеко отъ дому, какъ уже наткнулся на то̀, что̀ искалъ. Мнѣ попался мальчикъ лѣтъ десяти, босоногій оборвышъ, который часто шлялся мимо нашихъ оконъ. Я тотчасъ подскочилъ къ нему, и не давъ ни ему, ни себѣ времени опомниться — предложилъ ему мои часы.

Мальчикъ вытаращилъ глаза, одной рукой заслонилъ ротъ, какъ-бы боясь обжечься — и протянулъ другую.

— Возьми, возьми, — пробормоталъ я: — они мои, я тебѣ дарю ихъ — можешь продать ихъ и купить себѣ.... ну, тамъ что-нибудь нужное.... Прощай!

Я всунулъ часы ему въ руку — и во всю прыть пустился домой. Постоявши немного въ нашей общей спальнѣ

за дверью и переведя духъ, я приблизился къ Давыду, который только-что кончилъ свой туалетъ, и причесывалъ себѣ волосы.

— Знаешь что̀, Давыдъ? — началъ я какъ можно болѣе спокойнымъ голосомъ. — Я Настасѣевы часы-то отдалъ.

Давыдъ глянулъ на меня и провелъ щеткой по вискамъ.

— Да, — прибавилъ я все тѣмъ же дѣловымъ тономъ, — я ихъ отдалъ. Тутъ есть такой мальчикъ, очень бѣдный, нищій: такъ вотъ ему.

Давыдъ положилъ щетку на умывальный столикъ.

— Онъ можетъ за деньги, которыя выручитъ, — продолжалъ я, — пріобрѣсти какую-нибудь полезную вещь. Все-таки за нихъ онъ что-нибудь получитъ.

Я умолкъ.

— Ну, что-жъ! дѣло хорошее! — проговорилъ наконецъ Давыдъ, и пошелъ въ классную. Я послѣдовалъ за нимъ.

— А коли тебя спросятъ — куда ты ихъ дѣлъ? — обратился онъ ко мнѣ.

— Я скажу, что я ихъ обронилъ, — отвѣчалъ я небрежно.

Больше о часахъ между нами въ тотъ день уже не было рѣчи; а все-таки мнѣ сдавалось, что Давыдъ не только одобрялъ меня — но.... до нѣкоторой степени.... даже удивлялся мнѣ. — Право!

V.

Прошло еще два дня. Случилось такъ, что никто у насъ въ домѣ часовъ не хватился. У отца вышла какая-то крупная непріятность съ однимъ изъ его довѣрителей: ему было не до меня и не до моихъ часовъ. За то я безпрестанно думалъ о нихъ! Даже одобреніе.... предполагаемое одобре-

ніе Давыда меня не слишкомъ утѣшало. Онъ же ничѣмъ особенно его не выказывалъ: всего только разъ сказалъ — и то вскользь — что не ждалъ отъ меня такой удали. Рѣшительно: пожертвованіе мое приходилось мнѣ въ убытокъ, оно не уравновѣшивалось тѣмъ удовольствіемъ, которое мое самолюбіе мнѣ доставляло.

А тутъ еще какъ нарочно подвернись другой знакомый намъ гимназистъ, сынъ городского доктора — и начни хвастаться новыми, и не серебряными, а томпаковыми часами, которые подарила ему его бабушка....

Я не вытерпѣлъ наконецъ — и тихомолкомъ выскользнувъ изъ дому, принялся отыскивать того самаго нищаго мальчика, которому я отдалъ свои часы.

Я скоро нашелъ его: онъ съ другими мальчиками игралъ у церковной паперти въ бабки. Я отозвалъ его въ сторону — и, задыхаясь и путаясь въ рѣчахъ, сказалъ ему, что мои родные гнѣваются на меня за то, что я отдалъ часы, — и что если онъ согласится мнѣ ихъ возвратить, то я ему съ охотой заплачу за нихъ деньгами.... Я на всякій случай взялъ съ собою старинный елизаветинскій рубль, весь мой наличный капиталъ....

— Да у меня ихъ нѣту-ти, часовъ-то вашихъ, — отвѣчалъ мальчикъ сердитымъ и плаксивымъ голосомъ; — батька мой увидалъ ихъ у меня, да отнялъ; еще пороть меня собирался. Ты ихъ, — говоритъ, должно, укралъ гдѣ-нибудь, — какой дуракъ тебя часами дарить станетъ!

— А кто твой отецъ?

— Мой отецъ? Трофимычъ.

— Да кто онъ такой? Какое его занятіе?

— Онъ — солдатъ отставной — сражантъ. А занятія у него никакого нѣту. Старые башмаки чинитъ, подметки строчаетъ. Вотъ и все его занятіе. Тѣмъ и живетъ.

— Гдѣ ваша квартира? Сведи меня къ нему.

— И то сведу. Вы ему скажите, батькѣ-то, что вы мнѣ часы подарили. А то онъ меня все попрекаетъ. Воръ да воръ! И мать туда же: въ кого, молъ, ты воромъ уродился?

Мы съ мальчикомъ отправились на его квартиру. Она помѣщалась въ курной избушкѣ на заднемъ дворѣ давнымъ-давно сгорѣвшей и не отстроенной фабрики. И Трофимыча, и жену его мы застали дома. Отставной «сражантъ» былъ высокаго роста старикъ, жилистый и прямой, съ желто-сѣдыми бакенами, небритымъ подбородкомъ и цѣлой сѣтью морщинъ на щекахъ и на лбу. Жена его казалась старше его: красные ея глазки уныло моргали и ёжились посреди болѣзненно-припухлаго лица. На обоихъ висѣли какія-то темныя лохмотья вмѣсто одежды.

Я объяснилъ Трофимычу въ чемъ было дѣло и зачѣмъ я пришелъ. Онъ выслушалъ меня молча, ни разу не смигнувъ и не спуская съ меня своего тупого и напряженнаго — прямо солдатскаго взгляда.

— Баловство! — промолвилъ онъ, наконецъ, хриплымъ, беззубымъ басомъ. — Развѣ такъ благородные господа поступаютъ? А коли если Петька точно часы не укралъ — такъ за это ему — рррразъ! Не балуй съ барчуками! А укралъ бы — такъ я-бъ его не такъ! Рразъ! рразъ! рразъ! Фуктелями, по-калегвардски! чего смотрѣть-то? Что за притча? Ась?! Шпонтонами ихъ! Вотъ такъ исторія?! Тьфу!

Это послѣднее восклицаніе Трофимычъ произнесъ фальцетомъ. Онъ, очевидно, недоумѣвалъ.

— Если вы хотите возвратить мнѣ часы, — пояснилъ я ему.... я не смѣлъ его «тыкать», даромъ что онъ былъ простой солдатъ.... — то я вамъ съ удовольствіемъ заплачу вотъ этотъ рубль. Больше они, я полагаю, не стоютъ.

— Нину! — проворчалъ Трофимычъ, не переставая недоумѣвать и, по старой памяти, поѣдая меня глазами, словно

я былъ начальникъ какой. — Эко дѣло — а? — Ну-ко-ся, раскуси его!... Ульяна, молчи! — окрысился онъ на жену, которая разинула-было ротъ. — Вотъ часы, — прибавилъ онъ, раскрывая ящикъ стола: — коли они ваши точно — извольте получить; а рубль-то за что? Ась?

— Бери рубль, Трофимычъ, безпутный, — завопила жена. — Изъ ума выжилъ, старый! Алтына за душой нѣтъ, а туда же, важничаетъ! Косу тебѣ напрасно только отрубили, а то — та же баба! Какъ такъ — ничего не знамши.... Бери деньги, коли ужъ часы отдавать вздумалъ!

— Ульяна, молчи, паскудница! — повторилъ Трофимычъ. — Гдѣ это видано — разговаривать? А? Мужъ — глава; а она — разговаривать? Петька, не шевелись, убью!... Вотъ часы!

Трофимычъ протянулъ ко мнѣ часы, но не выпускалъ ихъ изъ пальцевъ.

Онъ задумался, потупился, потомъ уставилъ на меня тотъ же пристально-тупой взоръ — да вдругъ, какъ гаркнетъ во всю глотку:

— А гдѣ-жъ онъ? Рубль-то гдѣ?

— Вотъ онъ, вотъ, — поспѣшно промолвилъ я, и выхватилъ монету изъ кармана.

Но онъ ея не бралъ, и все смотрѣлъ на меня. Я положилъ рубль на столъ. Онъ вдругъ смахнулъ его въ ящикъ, швырнулъ мнѣ часы и, повернувшись налѣво кругомъ и сильно топнувъ ногою, прошипѣлъ на жену и на сына:

— Вонъ, сволочь!

Ульяна что-то залепетала — но я уже выскочилъ на дворъ, на улицу. Засунувъ часы въ самую глубь кармана и крѣпко стискивая ихъ рукою, я примчался домой.

VI.

Я снова вступилъ во владѣніе часами, но удовольствія оно мнѣ не доставило никакого. Носить я ихъ не рѣшался: нужно было пуще всего скрыть отъ Давыда то, что̀ я сдѣлалъ. Что̀ бы онъ подумалъ обо мнѣ, о моей безхарактерности? Даже запереть въ ящикъ эти злополучные часы я не могъ: у насъ всѣ ящики были общіе. Приходилось прятать ихъ то на верху шкапа, то подъ матрацомъ, то за печкой.... И все-таки мнѣ не удалось обмануть Давыда!

Однажды я, доставъ изъ-подъ половицы нашей комнаты часы, вздумалъ потереть ихъ серебряную спинку старой замшевой перчаткой. Давыдъ ушелъ куда-то въ городъ; я никакъ не ожидалъ, что онъ скоро вернется.... вдругъ онъ — шасть въ дверь!

Я до того смутился, что чуть не выронилъ часовъ, и весь потерянный, съ зардѣвшимся до боли лицомъ, принялся ёрзать ими по жилету, никакъ не попадая въ карманъ.

Давыдъ посмотрѣлъ на меня и, по своему обыкновенію, улыбнулся молча.

— Чего ты? — промолвилъ онъ, наконецъ. — Ты думаешь, я не зналъ, что часы опять у тебя? Я въ первый же день, какъ ты ихъ принесъ, увидѣлъ ихъ.

— Увѣряю тебя, — началъ я чуть не со слезами....

Давыдъ пожалъ плечомъ.

— Часы твои; ты воленъ съ ними дѣлать, что̀ хочешь.

Сказавъ эти жестокія слова, онъ вышелъ.

На меня нашло отчаяніе. На этотъ разъ уже не было никакого сомнѣнія: Давыдъ дѣйствительно презиралъ меня!

Этого нельзя было такъ оставить.

«Докажу-жъ я ему», подумалъ я, стиснувъ зубы, и тот-

часъ же, твердымъ шагомъ отправившись въ переднюю, отыскалъ нашего казачка Юшку и подарилъ ему часы!

Юшка сталъ-было отказываться, но я ему объявилъ, что если онъ не возьметъ у меня этихъ часовъ, я сію же минуту раздавлю, растопчу ихъ ногами, расшибу ихъ въ дребезги, брошу въ помойную яму! Онъ подумалъ, хихикнулъ и взялъ часы. А я возвратился въ нашу комнату, и, увидавъ Давыда, читавшаго книгу, разсказалъ ему свой поступокъ.

Давыдъ не отвелъ глазъ отъ страницы и опять, пожавъ плечомъ и улыбнувшись про себя, промолвилъ, что часы, молъ, твои, и ты въ нихъ воленъ.

Но мнѣ показалось, что онъ уже немножко меньше презиралъ меня.

Я былъ вполнѣ убѣжденъ, что никогда болѣе не подвергнусь новому упреку въ безхарактерности, ибо эти часы, этотъ гадкій подарокъ моего гадкаго крестнаго, мнѣ вдругъ до такой степени опротивѣли, что я даже никакъ не въ состояніи былъ понять, какъ могъ я сожалѣть о нихъ, какъ могъ выканючивать ихъ у какого-то Трофимыча, который, къ тому же, еще въ правѣ думать, что обошелся со мною великодушно.

Прошло нѣсколько дней.... Помнится, въ одинъ изъ нихъ достигла и до нашего города великая вѣсть: императоръ Павелъ скончался, и сынъ его, Александръ, про благодушіе и человѣколюбіе котораго носилась такая хорошая молва, вступилъ на престолъ. Вѣсть эта страшно взволновала Давыда: возможность свиданія, близкаго свиданія съ отцомъ тотчасъ представилась ему. Мой батюшка тоже обрадовался.

— Всѣхъ ссыльныхъ теперь возвратятъ изъ Сибири и брата Егора, чай, не забудутъ, — повторялъ онъ, потирая руки, кашляя и въ то же время словно робѣя.

Мы съ Давыдомъ тотчасъ бросили работать и ходить въ гимназію; мы даже не гуляли, а все сидѣли гдѣ-нибудь въ уголку, да разсчитывали и соображали, черезъ сколько мѣсяцевъ, сколько недѣль, сколько дней долженъ былъ вернуться «братъ Егоръ», и куда было ему писать, и какъ пойти ему на встрѣчу, и какимъ образомъ мы начнемъ жить потомъ? «Братъ Егоръ» былъ архитекторомъ: мы съ Давыдомъ рѣшили, что ему слѣдовало переселиться въ Москву и строить тамъ большія училища для бѣдныхъ людей, а мы бы пошли ему въ помощники. О часахъ мы, разумѣется, забыли совершенно, къ тому-жъ у Давыда завелись новыя заботы.... о нихъ рѣчь впереди; но часамъ было еще суждено напомнить о себѣ.

VII.

Въ одно утро, мы только-что успѣли позавтракать — я сидѣлъ одинъ подъ окномъ и размышлялъ о возвращеніи дяди — апрѣльская оттепель пàрила и сверкала на дворѣ — вдругъ въ комнату вбѣжала Пульхерія Петровна. Она во всякое время была очень проворна и егозлива, говорила пискливымъ голоскомъ и все размахивала руками, а тутъ она просто такъ и накинулась на меня.

— Ступай! ступай сейчасъ къ отцу, судырь! — затрещала она. Что это за шашни ты тутъ затѣялъ, безстыдникъ этакой! — Вотъ будетъ ужò вамъ обоимъ! Настасѣй Настасѣичъ всѣ ваши проказы на чистую воду вывелъ!... Ступай! Отецъ тебя зоветъ.... Сею минутою ступай!

Ничего еще не понимая, послѣдовалъ я за теткой — и, перешагнувъ порогъ гостиной, увидалъ отца, ходившаго большими шагами взадъ и впередъ и ерошившаго хохолъ, Юшку въ слезахъ у двери, а въ углу, на стулѣ, моего

крестнаго, Настасѣя Настасѣича — съ выраженіемъ какого-то особеннаго злорадства въ раздутыхъ ноздряхъ и загорѣвшихся, перекосившихся глазахъ.

Отецъ, какъ только я вошелъ, налетѣлъ на меня.

— Ты подарилъ часы Юшкѣ? сказывай!

Я взглянулъ на Юшку....

— Сказывай же! — повторилъ отецъ, и затопалъ ногами.

— Да, — отвѣчалъ я, и немедленно получилъ размашистую пощечину, доставившую большое удовольствіе моей теткѣ. Я слышалъ, какъ она крякнула, словно глотокъ горячаго чаю отхлебнула. — Отецъ отъ меня перебѣжалъ къ Юшкѣ.

— А ты, подлецъ, не долженъ былъ смѣть принять часы въ подарокъ, — приговаривалъ онъ, таская его за волосы: — а ты ихъ еще продалъ, бездѣльникъ!

Юшка, дѣйствительно, какъ я узналъ впослѣдствіи, въ простотѣ сердца, снесъ мои часы къ сосѣднему часовщику. — Часовщикъ вывѣсилъ ихъ передъ окномъ; Настасѣй Настасѣичъ, проходя мимо, увидалъ ихъ, выкупилъ и принесъ къ намъ въ домъ.

Впрочемъ, расправа со мной и съ Юшкой продолжалась недолго: отецъ запыхался, закашлялся, да и не въ нравѣ его было сердиться.

— Братецъ, Порфирій Петровичъ, — промолвила тетка, какъ только замѣтила, не безъ нѣкотораго, конечно, сожалѣнія, что сердце съ отца, какъ говорится, соскочило: — вы больше не извольте безпокоиться: не стòитъ ручекъ вашихъ марать. А я вотъ чтò предлагаю: съ согласія почтеннаго Настасѣя Настасѣича, и по причинѣ такой большой неблагодарности вашего сынка — я часы эти возьму къ себѣ; а такъ какъ онъ поступкомъ своимъ доказалъ, что недостоенъ носить ихъ и даже цѣны имъ не понимаетъ, то я

ихъ отъ вашего имени подарю одному человѣку, который очень будетъ чувствовать вашу ласку.

— Кому это? — спросилъ отецъ.

— А Хрисанѳу Лукичу, — промолвила тетка съ небольшой запинкой.

— Хрисашкѣ? — переспросилъ отецъ и, махнувъ рукой, прибавилъ: — мнѣ все едино. Хоть въ печку ихъ бросайте.

Онъ застегнулъ распахнувшійся камзолъ и вышелъ, корчась отъ кашля.

— А вы, родной, согласны? — обратилась тетка къ Настасѣю Настасѣичу.

— Съ истинной моей готовностью, — отвѣчалъ тотъ. — Въ продолженіи всей «расправы» онъ не шевелился на своемъ стулѣ, а только тихонько пофыркивая и тихонько потирая кончики пальцевъ, поочередно направлялъ свои лисьи глаза на меня, на отца, на Юшку. Истинное мы ему доставляли удовольствіе!...

Предложеніе моей тетки возмутило меня до глубины души. Мнѣ не часовъ было жаль; но очень уже былъ мнѣ ненавистенъ человѣкъ, которому она собиралась подарить ихъ. — Этотъ Хрисанѳъ Лукичъ, по фамиліи Транквиллитатинъ, здоровенный, дюжій, долговязый семинаристъ, повадился ходить къ намъ въ домъ — чортъ знаетъ зачѣмъ! «Заниматься съ *дѣтьми*», увѣряла тетка; но заниматься съ нами онъ уже потому не могъ, что самъ ничему не научился и глупъ былъ, какъ лошадь. Онъ вообще смахивалъ на лошадь: стучалъ ногами словно копытами, не смѣялся, а ржалъ, при чемъ обнаруживалъ всю свою пасть, до самой гортани — и лицо имѣлъ длинное, носъ съ горбиной и плоскія большія скулы; носилъ мохнатый фризовый кафтанъ, и пахло отъ него сырымъ мясомъ. Тетка въ немъ души не чаяла и величала его виднымъ мужчиной, кавалеромъ и

даже гренадеромъ. — У него была привычка щелкать дѣтей (онъ и меня щелкалъ, когда я былъ моложе) по̀ лбу — твердыми какъ камень ногтями своихъ длинныхъ пальцевъ — и щелкая, гоготать и удивляться: «какъ это у тебя-молъ голова звенитъ! Значитъ: пустая!» И этотъ-то олухъ будетъ владѣть моими часами! — Ни за что! рѣшилъ я въ умѣ своемъ, выбѣжавъ изъ гостиной и взобравшись съ ногами на кроватку, между тѣмъ какъ щека моя разгоралась и рдѣла отъ полученной пощечины — а на̀ сердцѣ тоже разгоралась горечь обиды и жажда мести.... Ни за что! Не допущу, чтобы проклятый семинаръ надругался надо мною.... Надѣнетъ часы, цѣпочку выпуститъ по животу, станетъ ржать отъ удовольствія.... Ни за что!

Все такъ; но какъ это сдѣлать? какъ помѣшать?...

Я рѣшился украсть часы у тетки!

VIII.

Къ счастью, Транквиллитатинъ на ту пору отлучился куда-то изъ города: онъ не могъ придти къ намъ раньше завтрашняго дня: нужно было воспользоваться ночью! Тетка не запиралась у себя въ комнатѣ, да и у насъ въ цѣломъ домѣ ключи не дѣйствовали въ замка̀хъ; но куда она положитъ часы, гдѣ спрячетъ? До вечера она ихъ носила въ карманѣ и даже не разъ вынимала и разсматривала ихъ; но ночью — гдѣ они ночью будутъ? — Ну, ужъ это мое дѣло отыскать, думалъ я, потрясая кулаками.

Я весь пылалъ отвагой и ужасомъ, и радостью близкаго, желаннаго преступленья; я постоянно поводилъ головою сверху внизъ; я хмурилъ брови, я шепталъ: погодите! Я грозилъ кому-то, я былъ золъ, я былъ опасенъ.... и я избѣгалъ Давыда! — Никто, ни даже онъ, не долженъ былъ

имѣть малѣйшее подозрѣніе о томъ, что̀ я собирался совершить....

Буду дѣйствовать одинъ — и одинъ отвѣчать буду!

Медленно проволокся день.... потомъ вечеръ.... наконецъ, настала ночь. Я ничего не дѣлалъ, даже старался не шевелиться: какъ гвоздь, засѣла мнѣ въ голову одна мысль. За обѣдомъ отецъ, у котораго сердце было, какъ я сказалъ, отходчивое, да и совѣстно ему немножко стало своей горячности — шестнадцатилѣтнихъ мальчиковъ уже не бьютъ по щекамъ, — отецъ попытался приласкать меня; но я отклонилъ его ласку не изъ злопамятства, какъ онъ вообразилъ тогда, а просто я боялся разчувствоваться: мнѣ нужно было въ цѣлости сохранить весь пылъ мести, весь закалъ безвозвратнаго рѣшенія! Я легъ очень рано; но, разумѣется, не заснулъ и даже глазъ не закрылъ, а напротивъ, таращилъ ихъ — хоть и натянулъ себѣ на голову одѣяло. Я не обдумывалъ заранѣе — какъ поступить; у меня не было никакого плана; я ждалъ только, когда это наконецъ все затихнетъ въ домѣ? Я принялъ одну лишь мѣру: не снялъ чулковъ. Комната моей тетки находилась во второмъ этажѣ. Надо было пройти столовую, переднюю, подняться по лѣстницѣ, пройти небольшой корридорчикъ — а тамъ.... направо дверь!... Не для чего было брать съ собою огарокъ или фонарикъ: въ углу теткиной комнаты, передъ кіотомъ, теплилась неугасимая лампадка: я это зналъ. Стало-быть, видно будетъ! Я продолжалъ лежать съ вытаращенными глазами, съ раскрытымъ и засохшимъ ртомъ; кровь стучала у меня въ вискахъ, въ ушахъ, въ горлѣ, въ спинѣ, во всемъ тѣлѣ! Я ждалъ.... но словно бѣсъ какой потѣшался надо мною: время шло.... шло, а тишина не водворялась.

IX.

Никогда, казалось мнѣ, Давыдъ такъ поздно не засыпалъ.... Давыдъ, молчаливый Давыдъ даже заговаривалъ со мною! Никогда такъ долго въ домѣ не стучали, не ходили, не бесѣдовали! И о чемъ это они толкуютъ, думалось мнѣ; не наболтались съ утра! Наружные звуки тоже долго не прекращались: то собака лаяла тонкимъ упорнымъ лаемъ; то пьяный мужикъ гдѣ-то все бурлилъ и не унимался; то какія-то ворота все скрипѣли; то телѣжонка на дряблыхъ колесахъ ѣхала, ѣхала и никакъ проѣхать не хотѣла! Впрочемъ, *эти* звуки не раздражали меня: напротивъ, я былъ имъ почему-то радъ! Они какъ будто отвлекали вниманіе.— Но вотъ, кажется, наконецъ все угомонилось. Одинъ лишь маятникъ нашихъ старыхъ часовъ сипло и важно щелкаетъ въ столовой, да слышится мѣрное и протяжное, словно трудное дыханіе спящихъ людей. Я собираюсь приподняться.... но вотъ опять что-то прошипѣло.... потомъ вдругъ охнуло.... что-то мягкое упало — и шепотъ разносится, шепотъ скользитъ по стѣнамъ....

Или ничего этого нѣтъ — и только одно воображеніе меня дразнитъ?

Заглохло наконецъ все: стала самая сердцевина и темь и глушь ночи. — Пора! Заранѣе весь похолодѣлый, я сбрасываю одѣяло, опускаю ноги на полъ, встаю.... Шагъ; другой.... Я крадусь. — Плюсны ногъ, словно чужія, тяжелыя, переступаютъ слабо и невѣрно. Стой! что̀ это за звукъ? Пилитъ кто гдѣ, или скребетъ.... или вздыхаетъ? Я прислушиваюсь.... по щекамъ перебѣгаютъ мурашки, на глаза выступаютъ водянистыя холодныя слезы.... Ничего!... Я крадусь опять. Темно; но я знаю дорогу. Вдругъ я натыкаюсь на стулъ.... Какой стукъ, и какъ больно! Ударъ

пришелся прямо по голени.... Замираю на мѣстѣ.... Ну, проснутся? А! была не была! Вдругъ является смѣлость и даже злость. Впередъ! впередъ! Вотъ уже и столовая пройдена; вотъ уже дверь ощупана, раскрыта разомъ, съ размаху.... Визгнула-таки петля проклятая.... ну ее! Вотъ уже я по лѣстницѣ поднимаюсь.... Разъ! два! разъ, два! Хрустнула подъ ногой ступенька; я взглядываю на нее злобно — словно я видѣть ее могу. Вотъ уже другую дверь я потянулъ за ручку.... Эта хоть бы чукнула! Такъ легохонько и распахнулась: милости просимъ-молъ.... Вотъ уже я въ корридорѣ!

Въ корридорѣ наверху, подъ потолкомъ, небольшое окошечко. Слабый ночной свѣтъ чуть сѣется сквозь темныя стекла. И видится мнѣ, при томъ брезжущемъ свѣтѣ, на полу, на войлокѣ, лежитъ, закинувъ обѣ руки за растрепанную голову, наша дѣвочка-побѣгушка; крѣпко спитъ она, дышетъ проворно, а за самой ея головою роковая дверь. Я шагаю черезъ войлокъ, черезъ дѣвочку.... Кто мнѣ отворилъ ту дверь.... не знаю; но вотъ уже я въ теткиной комнатѣ; вотъ лампадка въ одномъ углу и кровать въ другомъ, и тетка въ чепцѣ и кофтѣ на кровати, лицомъ ко мнѣ. Спитъ, не шевелится; даже дыханія не слыхать. Пламя лампадки тихонько колеблется, возмущенное притокомъ свѣжаго воздуха: и по всей комнатѣ, и по неподвижному, какъ воскъ желтому лицу тетки — заколебались тѣни....

А вотъ и часы! За кроватью, на стѣнѣ висятъ они на вышитой подушечкѣ. Экое счастье! подумаешь.... Нечего мѣшкать! Но чьи это шаги, мягкіе и быстрые, за моей спиною? Ахъ, нѣтъ! это сердце стучитъ!... Я заношу ногу впередъ.... Боже! что-то круглое, довольно большое толкаетъ меня ниже колѣна.... разъ! и еще разъ! Я готовъ вскрикнуть, я готовъ упасть отъ ужаса.... Полосатый котъ,

нашъ домашній котъ стоитъ передо мною, сгорбивъ спину, задравъ хвостъ. Вотъ онъ вскакиваетъ на кровать — тяжело и мягко — оборачивается и сидитъ не мурлыча, словно судья какой; сидитъ и глядитъ на меня своими золотыми зрачками. Кись! кись! шепчу я чуть слышно. Я перегибаюсь черезъ тетку, я уже схватилъ часы.... Она вдругъ приподнимается, широко раскрываетъ вѣки.... Создатель! что̀ будетъ?... Но вѣки ея вздрагиваютъ и закрываются, и съ слабымъ лепетомъ падаетъ голова на подушку.

Минута — и я уже опять въ своей комнатѣ, на своей постели, и часы у меня въ рукахъ....

Легче пуха примчался я назадъ! Я молодецъ, я воръ, я герой, я задыхаюсь отъ радости, мнѣ жарко, мнѣ весело — я хочу тотчасъ разбудить Давыда, все разсказать ему — и, невѣроятное дѣло! засыпаю, какъ убитый! Я открываю наконецъ глаза.... Въ комнатѣ свѣтло; солнце уже встало. Къ счастью, еще никто не проснулся. Я вскакиваю какъ ошпаренный, бужу Давыда, сообщаю ему все. Онъ выслушиваетъ, ухмыляется. — «Знаешь ли что̀? — говоритъ онъ мнѣ наконецъ. — Зароемъ мы эти дурацкіе часы въ землю, чтобы и духу ихъ больше не было!» Я нахожу его мысль безподобной. Въ нѣсколько мгновеній мы оба одѣты, бѣжимъ въ фруктовый садъ, расположенный позади нашего дома, — и подъ старой яблонью, въ глубокой ямѣ, торопливо вырытой въ рыхлой весенней землѣ большимъ Давыдовымъ ножемъ, скрывается навсегда ненавистный подарокъ крестнаго отца, такъ-таки не доставшійся въ руки противному Транквиллитатину! Мы утаптываемъ яму, набрасываемъ на нее щебню, и гордые, счастливые, никѣмъ не замѣченные, возвращаемся домой, ложимся въ наши постели и спимъ еще часокъ-другой — и какимъ легкимъ и блаженнымъ сномъ!

X.

Можете себѣ представить, какой гвалтъ поднялся на слѣдующее утро, какъ только тетка проснулась и хватилась часовъ. До сихъ поръ звенитъ у меня въ ушахъ ея пронзительный крикъ. «Караулъ! Ограбили! ограбили!» — пищала она и взбудоражила весь домъ. Она бѣсновалась, а мы съ Давыдомъ только улыбались про себя, и сладка была намъ наша улыбка. «Всѣхъ, всѣхъ пересѣчь надо! — кричала тетка; — изъ-подъ головы, изъ-подъ подушки вытащили часы!» Мы на все были готовы, мы ждали бѣды.... но, противъ ожиданья, бѣды не стряслось надъ нами никакой. На первыхъ порахъ отецъ точно развоевался страшно — онъ даже о полиціи упомянулъ; но, знать, ему уже вчерашняя расправа прискучила, и онъ внезапно, къ неописанному изумленію тетки, накинулся не на насъ, а на нее! — «Надоѣли вы мнѣ пуще горькой рѣдьки, Пульхерія Петровна, — закричалъ онъ, — съ вашими часами! Слышать о нихъ я больше не хочу! Не колдовствомъ же они пропали, говорите вы; а мнѣ что̀ за дѣло? Хоть бы колдовствомъ! Украли ихъ у васъ? ну, туда имъ и до̀рога! Настасѣй Настасѣичъ что̀ скажетъ? А чортъ съ нимъ совсѣмъ, съ вашимъ Настасѣичемъ! Я отъ него кромѣ пакостей да неудовольствій ничего не вижу. Не смѣть меня больше безпокоить! Слышите!» — Отецъ хлопнулъ дверью и ушелъ къ себѣ въ кабинетъ. Мы сперва съ Давыдомъ не поняли намека, заключавшагося въ его послѣднихъ словахъ; но потомъ мы узнали, что отецъ въ это самое время сильно негодовалъ на моего крестнаго, перебившаго у него выгодное дѣло. Такъ и осталась тетка съ носомъ. Она чуть не лопнула съ досады, но дѣлать было нечего. Она должна была ограничиться тѣмъ, что, проходя мимо меня и скри-

ивъ ротъ въ мою сторону, рѣзкимъ шепотомъ твердила: воръ, воръ, каторжникъ, мошенникъ!» — Укоризны тетки оставляли мнѣ истинное наслажденіе. Очень было также ріятно, проходя палисадникомъ, скользить притворно-авнодушнымъ глазомъ къ самому тому мѣсту подъ яблоей, гдѣ покоились часы; и если Давыдъ находился тутъ е вблизи — обмѣняться съ нимъ значительной ужимкой....

Тетка вздумала-было натравить на меня Транквиллитаина; но я прибѣгнулъ къ помощи Давыда. Тотъ прямо бъявилъ дюжему семинаристу, что распоретъ ему ножемъ рюхо, если онъ не оставитъ меня въ покоѣ.... Транквиллиатинъ испугался; онъ, хоть и гренадеръ былъ и кавалеръ, о выраженію тетки, однако храбростью не отличался. 'акъ прошло недѣль пять.... Но не думаете ли вы, что сторія съ часами такъ и кончилась? Нѣтъ, она не кончилась; только для того, чтобы продолжать мой разсказъ, нѣ нужно ввести новое лицо; а чтобы ввести это новое ицо, я долженъ вернуться нѣсколько назадъ.

XI.

Мой отецъ былъ долгое время очень друженъ, даже оротокъ съ однимъ отставнымъ чиновникомъ, Латкинымъ, роменькимъ, убогенькимъ человѣчкомъ съ робкими и странными ухватками, однимъ изъ тѣхъ существъ, про которыхъ ложилась поговорка, что они самимъ Богомъ убиты. Подобно отцу моему и Настасѣю, онъ занимался хожденьемъ о дѣламъ и былъ тоже частнымъ «стряпчимъ» и повѣренымъ; но не обладая ни представительной наружностью, ни аромъ слова, и слишкомъ мало на себя надѣясь, онъ не ѣшался дѣйствовать самостоятельно и примкнулъ къ моему тцу. Почеркъ у него былъ «настоящій бисеръ», законы

онъ зналъ твердо и до тонкости постигъ всѣ завитушки просьбеннаго и приказнаго слога. Вмѣстѣ съ отцомъ онъ орудовалъ различныя дѣла, дѣлилъ барыши и убытки и, казалось, ничто не могло поколебать ихъ дружбу: и со всѣмъ тѣмъ она рухнула въ одинъ день — и навсегда. Отецъ навсегда разсорился съ своимъ сотрудникомъ. Если бы Латкинъ отбилъ у отца выгодное дѣло, на манеръ замѣнившаго его впослѣдствіи Настасѣя, — отецъ вознегодовалъ бы на него не болѣе, чѣмъ на Настасѣя, вѣроятно даже меньше: но Латкинъ, подъ вліяніемъ необъяснимаго, непонятнаго чувства — зависти, жадности — а быть можетъ, и подъ мгновеннымъ наитіемъ честности — «подвелъ» моего отца, выдалъ его общему ихъ довѣрителю, богатому, молодому купцу, открывъ глаза этому безпечному юношѣ на нѣкоторый.... нѣкоторый кунштюкъ, долженствовавшій принести значительную пользу моему отцу. Не денежная утрата, какъ она велика ни была — нѣтъ! а измѣна оскорбила и взорвала отца. Онъ не могъ простить коварства!

— Вишь, святой выискался! — твердилъ онъ, весь дрожа отъ гнѣва и стуча зубами какъ въ лихорадкѣ. Я находился тутъ же въ комнатѣ и былъ свидѣтелемъ этой безобразной сцены. — Добро! Съ нынѣшняго дня — аминь! Кончено между нами. Вотъ Богъ, а вотъ порогъ! Ни я у тебя, ни ты у меня! Вы для насъ ужъ больно честны — гдѣ намъ съ вами общество водить! Но не быть же тебѣ ни дна, ни покрышки! — Напрасно Латкинъ умолялъ отца, кланялся ему земно; напрасно пытался объяснить тò, чтò наполняло его собственную душу болѣзненнымъ недоумѣніемъ. — «Вѣдь безъ всякой пользы для себя, Порфирій Петровичъ, лепеталъ онъ; вѣдь самого себя зарѣзалъ!» Отецъ остался непреклоненъ.... Ноги Латкина уже больше не было въ нашемъ домѣ. Сама судьба, казалось, вознамѣрилась оправдать послѣднее жестокое пожеланіе моего отца.

Вскорѣ послѣ разрыва — (произошелъ онъ года за два до начала моего разсказа) жена Латкина, правда, уже давно больная, умерла; вторая его дочка, трехлѣтній ребенокъ, отъ страха онѣмѣла и оглохла въ одинъ день: пчелиный рой облѣпилъ ей голову; самъ Латкинъ подвергся апоплексическому удару — и впалъ въ крайнюю, окончательную бѣдность. Какъ онъ перебивался, чѣмъ существовалъ — трудно было даже представить. Жилъ онъ въ полуразрушенной хибарочкѣ, въ недальнемъ разстояніи отъ нашего дома. Старшая его дочь, Раиса, тоже жила съ нимъ и хозяйничала по возможности. Эта Раиса была именно то новое лицо, которое я долженъ ввести въ разсказъ.

XII.

Пока отецъ ея былъ друженъ съ моимъ, мы безпрестанно ее видали; она иногда по цѣлымъ днямъ сиживала у насъ и либо шила, либо пряла своими тонкими, проворными и ловкими руками. Это была стройная, немного сухощавая дѣвушка, съ умными карими глазами на блѣдномъ, длинноватомъ лицѣ. Она говорила мало, но толково, тихимъ и звонкимъ голосомъ, почти не раскрывая рта и не выказывая зубовъ; когда она смѣялась — что̀ случалось рѣдко и никогда долго не продолжалось — они вдругъ выставлялись всѣ, большіе, бѣлые, какъ миндалины. Помню я также ея походку, легкую, упругую, съ маленькимъ подпрыгомъ на каждомъ шагу; мнѣ всегда казалось, что она сходитъ по ступенямъ лѣстницы, даже когда она шла по ровному мѣсту. Она держалась прямо, съ поджатыми на груди руками. И что̀ бы она ни дѣлала, за что̀ бы она ни принималась — ну, хоть бы нитку въ ушко иголки вдѣвать, или юбку утюгомъ разглаживать — все выходило у нея красиво и какъ-

то.... вы не повѣрите.... какъ-то трогательно. Христіанское ея имя было Раиса, но мы ее звали Черногубкой: у ней на верхней губѣ было родимое, темносинее пятнышко, точно она поѣла команики; но это ея не портило: напротивъ. Она была ровно годомъ старше Давыда. Я питалъ къ ней чувство въ родѣ уваженія, но она зналась со мною мало. За то между Давыдомъ и ею завелась дружба — не дѣтская, странная, но хорошая дружба Они какъ-то шли другъ къ другу. Они иногда по цѣлымъ часамъ не мѣнялись словомъ, но каждому чувствовалось, что имъ обоимъ хорошо— и потому именно хорошо, что они вмѣстѣ. Я другой такой дѣвушки не встрѣчалъ, право. Въ ней было что-то внимательное и рѣшительное, что-то честное, и печальное, и милое. Я не слыхивалъ отъ нея умнаго слова, за то я и пошлости отъ нея не слыхалъ, а умнѣе глазъ я не видывалъ. Когда произошелъ разрывъ между ея семействомъ и моимъ, я сталъ рѣдко ее видѣть; отецъ мой строжайше запретилъ мнѣ навѣщать Латкиныхъ — и она уже не показывалась у насъ въ домѣ. Но я встрѣчался съ нею на улицѣ, въ церкви, и Черногубка внушала мнѣ все тѣ же чувства: уваженіе и даже нѣкоторое удивленіе — скорѣй, чѣмъ жалость. Очень уже она хорошо переносила свое несчастье. «Кремень-дѣвка», сказалъ про нее однажды самъ топорный Транквиллитатинъ. А по настоящему слѣдовало пожалѣть о ней: лицо ея приняло выраженіе озабоченное, утомленное, глаза осунулись и углубились: непосильная тягота легла ей на молоденькія плеча. Давыдъ видѣлъ ее гораздо чаще, чѣмъ я; онъ и въ домъ къ нимъ ходилъ. Отецъ махнулъ на него рукою: онъ зналъ, что Давыдъ все-таки его не послушается. И Раиса отъ времени до времени появлялась у плетня нашего сада, выходившаго на проулокъ, и видалась тамъ съ Давыдомъ: не бесѣду она вела съ нимъ, а сообщала ему какое-нибудь новое затрудненіе или новую бѣду — спраши-

вала совѣта. Параличъ, поразившій Латкина, былъ свойства довольно страннаго. Руки, ноги его ослабѣли, но онъ не лишился ихъ употребленія, даже мозгъ его дѣйствовалъ правильно; за то языкъ его путался и, вмѣсто однихъ словъ, произносилъ другія: надо было догадываться, что̀ именно онъ хочетъ сказать.

....«Чу-чу-чу», лепеталъ онъ съ усиліемъ — онъ всякую фразу начиналъ съ чу-чу-чу: — «ножницы мнѣ, ножницы».... А ножницы означали хлѣбъ. Отца моего онъ ненавидѣлъ всѣми оставшимися у него силами — онъ его заклятью приписывалъ всѣ свои бѣдствія и звалъ его то мясникомъ, то бриллiантщикомъ. «Чу, чу, къ мяснику не смѣй ходить, Васильевна!» Онъ этимъ именемъ окрестилъ свою дочь, а звали его Мартиньяномъ. Съ каждымъ днемъ становился онъ болѣе требовательнымъ; нужды его росли.... А какъ удовлетворять эти нужды? Откуда взять денегъ? Горе скоро старитъ; но жутко было слышать иныя слова въ устахъ семнадцатилѣтней дѣвушки.

XIII.

Помнится, мнѣ пришлось присутствовать при ея бесѣдѣ у забора съ Давыдомъ въ самый день кончины ея матери.

— Сегодня, на зорькѣ, матушка скончалась, — говорила она, поводивъ сперва кругомъ своими темными, выразительными глазами, а тамъ, вперивъ ихъ въ землю: — кухарка взялась гробъ подешевле купить; да она у насъ ненадежная; пожалуй, еще деньги пропьетъ. Ты бы пришелъ, посмотрѣлъ, Давыдушка: тебя она побоится.

— Приду, — отвѣчалъ Давыдъ, — посмотрю.... А что отецъ?

— Плачетъ; говоритъ: побалуйте, дескать, и меня.

«Побалуйте» — должно, значитъ, — похороните. Теперь заснулъ. — Раиса вдругъ глубоко вздохнула. — Ахъ, Давыдушко, Давыдушко! — Она провела полусжатымъ кулачкомъ себѣ по лбу и по бровямъ, и было это движеніе, и горько такъ.... и такъ искренне, и такъ красиво, какъ всѣ ея движенія.

— Ты, однако, себя пожалѣй, — замѣтилъ Давыдъ. — Не спала, чай, вовсе.... Да и что плакать? Горю не пособить.

— Мнѣ плакать некогда, — отвѣчала Раиса.

— Это богатые баловаться могутъ, плакать-то, — замѣтилъ Давыдъ.

Раиса пошла-было, да вернулась.

— Желтую шаль у насъ торгуютъ, знаешь, изъ маменькинаго приданаго. Двѣнадцать рублей даютъ. Я думаю, мало.

— И то, мало.

— Мы-бъ ея не продали, — промолвила Раиса, помолчавъ немного, — да, вѣдь, на похороны нужно.

— И то, нужно. Только зря денегъ давать не слѣдуетъ. Попы эти — бѣда! Да вотъ, постой, я приду. Ты уходишь? — Я скоро буду. Прощай, голубка.

— Прощай, братецъ, голубчикъ!

— Смотри же, не плачь!

— Какое, плакать? Либо обѣдъ варить, либо плакать. Одно изъ двухъ.

— Какъ: обѣдъ варить? — обратился я къ Давыду, какъ только Раиса удалилась, — развѣ она сама кушанье готовитъ?

— Да вѣдь ты слышалъ: кухарка пробъ пошла торговать.

«Готовитъ обѣдъ», подумалъ я, «а руки у ней всегда такія чистыя и одежда опрятная.... Я бы посмотрѣлъ, какъ она, тамъ, въ кухнѣ.... Необыкновенная дѣвушка!»

Помню я другой разговоръ «у забора». На этотъ разъ Раиса привела съ собою свою глухо-нѣмую сестричку. Это былъ хорошенькій ребенокъ, съ огромными, удивленными глазами и цѣлой громадой черныхъ тусклыхъ волосъ на маленькой головкѣ (у Раисы волосы были тоже черные — и тоже безъ блеска). Латкинъ былъ уже пораженъ параличомъ.

— Ужъ я не знаю, какъ быть, — начала Раиса. — Докторъ рецептъ прописалъ, надо въ аптеку сходить; а тутъ нашъ мужичокъ (у Латкина оставалась одна крѣпостная душа) дровецъ изъ деревни привезъ, да гуся. А дворникъ отнимаетъ: вы мнѣ, говоритъ, задолжали.

— Гуся отнимаетъ? — спросилъ Давыдъ.

— Нѣтъ, не гуся. Онъ, говоритъ, старый; ужъ больше не годится. Оттого, говоритъ, и мужичекъ вамъ его привезъ. А дрова отнимаетъ.

— Да онъ права не имѣетъ! — воскликнулъ Давыдъ.

— Права не имѣетъ, а отнимаетъ.... Я пошла на чердакъ; тамъ у насъ сундукъ стоитъ, старый, престарый. Стала я въ немъ рыться.... И что̀ же я нашла: посмотри!

Она достала изъ-подъ косынки довольно большую зрительную трубку, въ мѣдной оправѣ, оклеенную пожелтѣлымъ сафьяномъ. Давыдъ, какъ любитель и знатокъ всякаго рода инструментовъ, тотчасъ ухватился за нее.

— Англійская, — промолвилъ онъ, приставляя ее то къ одному глазу, то къ другому. — Морская!

— И стекла цѣлы, — продолжала Раиса. — Я показала батюшкѣ; онъ говоритъ: снеси, заложи брилліантщику! Вѣдь, что̀ ты думаешь? За нее дадутъ деньги? А намъ на что̀ зрительная трубка? Развѣ на себя въ зеркало посмотрѣть, каковы мы есть красавцы. Да зеркала, жаль, нѣтъ.

И сказавши эти слова, Раиса вдругъ громко засмѣя-

лась. Сестричка ея, конечно, не могла ее услышать, но, вѣроятно, почувствовала сотрясеніе ея тѣла: она держала Раису за руку — и, поднявши на нее свои большіе глаза, испуганно перекосила личико и залилась слезами.

— Вотъ такъ-то она всегда, — замѣтила Раиса, — не любитъ, когда смѣются.

— Ну, не буду, Любочка, не буду, — прибавила она, проворно присѣвъ на корточки возлѣ ребенка и проводя пальцами по ея волосамъ. — Видишь?

Смѣхъ исчезъ съ лица Раисы, и губы ея, концы которыхъ какъ-то особенно мило закручивались кверху, стали опять неподвижны. Ребенокъ умолкъ. Раиса приподнялась.

— Такъ ты, Давыдушка, порадѣй.... съ трубкой-то. А то, дровъ жаль — да и гуся, какой онъ ни на есть старый!

— Десять рублей непремѣнно дадутъ, — промолвилъ Давыдъ, переворачивая трубку во всѣ стороны. — *Я* ее у тебя куплю.... чего лучше? А вотъ пока на аптеку — пятиалтынный.... Довольно?

— Это я у тебя занимаю, — шепнула Раиса, принимая отъ него пятиалтынный.

— Еще бы! Съ процентами — хочешь? Да вотъ и залогъ у меня есть. Важнѣйшая вещь!... Первый народъ — англичане.

— А, говорятъ, мы съ ними воевать будемъ?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Давыдъ, — мы теперь французовъ бьемъ.

— Ну — тебѣ лучше знать. Такъ, порадѣй. Прощайте, господа!

XIV.

А то вотъ еще какой разговоръ происходилъ все у того же забора. Раиса казалась озабоченной больше обыкновеннаго.

— Пять копѣекъ кочанъ капусты, да и кочанъ-то «маленькій-премаленькій», — говорила она, подперши рукою подбородокъ. — Вонъ, какъ дорого! А за шитье деньги еще не получены.

— Тебѣ кто долженъ? — спросилъ Давыдъ.

— Да все та же купчиха, что̀ за валомъ живетъ.

— Эта, что̀ въ шушунѣ зеленомъ ходитъ, толстая такая?

— Она, она.

— Вишь, толстая! Отъ жира не продышится, въ церкви такъ даже паромъ отъ нея шибаетъ, а долги не платитъ!

— Она заплатитъ.... только когда? А то вотъ еще, Давыдушко, новыя у меня хлопоты. Вздумалъ отецъ мнѣ сны свои разсказывать, — ты вѣдь знаешь, косноязыченъ онъ сталъ: хочетъ одно слово промолвить, анъ выходитъ другое. На счетъ пищи или чего тамъ житейскаго — мы уже привыкли, понимаемъ; а сонъ и у здоровыхъ-то людей непонятенъ бываетъ, а у него — бѣда! Я, говоритъ, очень радуюсь; сегодня все по бѣлымъ птицамъ прохаживался; а Господь Богъ мнѣ пукѐтъ подарилъ, а въ пукѐтѣ Андрюша съ ножичкомъ. — Онъ нашу Любочку Андрюшей зоветъ. — Теперь мы, говоритъ, будемъ здоровы оба. Только надо ножичкомъ — чиркъ! Эво такъ! и на горло показываетъ. — Я его не понимаю; говорю: хорошо, родной, хорошо; а онъ сердится, хочетъ мнѣ растолковать, въ чемъ дѣло. Даже въ слезы ударился.

— Да ты бы ему что-нибудь такое сказала, — вмѣшался я: — солгала бы что-нибудь.

— Не умѣю я лгать-то, — отвѣчала Раиса, и даже руками развела.

И точно: она лгать не умѣла.

— Лгать не надо, — замѣтилъ Давыдъ: — да и убивать себя тоже не слѣдъ. Вѣдь спасибо никто тебѣ не скажетъ?

Раиса поглядѣла на него пристально.

— Что̀ я хотѣла спросить у тебя, Давыдушко; какъ надо писать: штопъ?

— Что такое «штопъ?»

— Да вотъ, напримѣръ: я хочу, *штопъ* ты живъ былъ.

— Пиши: ша, твердо, онъ, буки, еръ!

— Нѣтъ, — вмѣшался я: — не ша, а червь!

— Ну, все равно, пиши: червь! А главное — сама-то ты живи!

— Мнѣ бы хотѣлось писать правильно, — замѣтила Раиса и слегка покраснѣла.

Она, когда краснѣла, тотчасъ удивительно хорошѣла.

— Пригодиться оно можетъ.... Батюшка, въ свое время, ка̀къ писалъ.... На удивленіе! Онъ и меня выучилъ. Ну, теперь онъ даже буквы плохо разбираетъ.

— Ты только у меня живи, — повторилъ Давыдъ, понизивъ голосъ и не спуская съ нея глазъ, Раиса быстро глянула на него и пуще покраснѣла. — Живи ты.... а писать.... пиши, какъ знаешь.... О, чортъ, вѣдьма идетъ! (Вѣдьмой Давыдъ звалъ мою тетку.) И что̀ ее сюда носитъ?... Уходи, душа!

Раиса еще разъ глянула на Давыда и убѣжала.

Давыдъ весьма рѣдко и неохотно говорилъ со мною о Раисѣ, объ ея семьѣ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ началъ поджидать возвращенія своего отца. Онъ только и думалъ,

что о немъ — и кàкъ мы потомъ жить будемъ. Онъ живо его помнилъ, и съ особеннымъ удовольствіемъ описывалъ мнѣ его.

— Большой, сильный, одной рукой десять пудовъ поднимаетъ.... Какъ крикнетъ: гей, малый! — такъ по всему дому слышно. Славный такой, добрый.... и молодецъ! Ни передъ кѣмъ, бывало, не струситъ. Отличное было наше житье, пока насъ не разорили! Говорятъ, онъ теперь совсѣмъ сѣдой сталъ, а прежде такой же былъ рыжій, какъ я. Си-и-лачъ!

Давыдъ никакъ не хотѣлъ допустить, что мы останемся въ Рязани.

— Вы-то уѣдете, — замѣтилъ я: — да я-то останусь.

— Пустяки! Мы тебя съ собой возьмемъ.

— А съ отцомъ-то какъ быть?

— Отца ты своего бросишь. А не бросишь—пропадешь.

— Чтò такъ?

Давыдъ не отвѣчалъ мнѣ и только нахмурилъ свои бѣлыя брови.

— Вотъ, какъ мы уѣдемъ съ батькой, — началъ онъ снова: — найдетъ онъ себѣ хорошее мѣсто, я женюсь....

— Ну, это еще не скоро, — замѣтилъ я.

— Нѣтъ, отчего же? Я женюсь скоро.

— Ты?

— Да, я; а что?

— Ужъ нѣтъ ли у тебя невѣсты на примѣтѣ?

— Конечно, есть.

— Кто же она такая?

Давыдъ усмѣхнулся.

— Какой ты, однако, безтолковый! Конечно, Раиса.

— Раиса! — повторилъ я съ изумленіемъ. — Ты шутишь!

— Я, братъ, шутить и не умѣю и не люблю.

— Да вѣдь она годомъ тебя старше?

— Что-жъ такое? А, впрочемъ, бросимъ этотъ разговоръ.

— Позволь мнѣ одно спросить, — промолвилъ я. — Знаетъ она, что ты собираешься на ней жениться?

— Вѣроятно.

— Но ты ей ничего не открывалъ?

— Что тутъ открывать? Придетъ время, скажу. Ну, баста!

Давыдъ всталъ и вышелъ изъ комнаты. Оставшись наединѣ, я подумалъ.... подумалъ.... и рѣшилъ, наконецъ, что Давыдъ поступаетъ, какъ благоразумный и практическій человѣкъ; и мнѣ даже лестно стало, что я другъ такого практическаго человѣка!

А Раиса, въ своемъ вѣковѣчномъ черномъ шерстяномъ платьицѣ, мнѣ вдругъ показалась прелестной и достойной самой преданной любви!

XV.

Давыдовъ отецъ все не ѣхалъ и даже писемъ не присылалъ. Лѣто давно стало, іюнь мѣсяцъ шелъ къ концу. Мы истомились въ ожиданіи.

Между тѣмъ начали ходить слухи, что Латкину вдругъ гораздо похужѣло, и семья его — того и жди — съ голоду помретъ, а не то домъ завалится и крышей всѣхъ задавитъ. Давыдъ даже въ лицѣ измѣнился и такой сталъ злой и угрюмый, что хоть не приступайся къ нему. Отлучаться онъ тоже сталъ чаще. Съ Раисой я не встрѣчался вовсе. Изрѣдка мелькала она вдали, быстро переходя черезъ улицу своей красивой, легкой походкой, прямая какъ стрѣла, съ поджатыми руками, съ темнымъ и умнымъ взоромъ подъ

длинными бровями, съ озабоченнымъ выраженіемъ на блѣдномъ и миломъ лицѣ — вотъ и все. Тетка съ помощью своего Транквиллитатина жучила меня по прежнему, и по прежнему укоризненно шептала мнѣ въ самое ухо: «воръ, сударь, воръ!» Но я не обращалъ на нее вниманія; а отецъ захлопотался, корпѣлъ, разъѣзжалъ, писалъ и знать ничего не хотѣлъ.

Однажды, проходя мимо знакомой яблони, я, больше по привычкѣ, бросилъ косвенный взглядъ на извѣстное мѣстечко, и вдругъ мнѣ показалось, какъ-будто на поверхности земли, прикрывавшей нашъ кладъ, произошла нѣкоторая перемѣна.... Какъ-будто горбинка появилась тамъ, гдѣ прежде было углубленіе, и куски щебня лежали уже не такъ! «Что это значитъ?» подумалось мнѣ. «Неужто кто-нибудь проникъ нашу тайну и вырылъ часы?»

Надо было удостовѣриться въ этомъ собственными глазами. Къ часамъ, ржавѣющимъ въ утробѣ земли, я, конечно, чувствовалъ полнѣйшее равнодушіе; но не позволить же другому воспользоваться ими! А потому на слѣдующій же день, я, снова поднявшись до зари и вооружившись ножемъ, отправился въ садъ, отыскалъ намѣченное мѣсто подъ яблоней, принялся рыть — и, вырывши чуть не аршинную яму, долженъ былъ убѣдиться, что часы пропали, что кто-то ихъ досталъ, вытащилъ, укралъ!

Но кто же могъ ихъ.... вытащить — кромѣ Давыда?

Кто другой зналъ, гдѣ они находились?

Я засыпалъ яму и вернулся домой. Я чувствовалъ себя глубоко обиженнымъ.

«Положимъ, — думалъ я, — часы понадобились Давыду для того, чтобы спасти отъ голодной смерти свою будущую жену или ея отца.... Что тамъ ни говори, часы эти чего-нибудь да стоютъ.... Да какъ было не придти ко мнѣ и не сказать: «братъ — (я на мѣстѣ Давыда непремѣнно ска-

залъ бы: братъ) — братъ! я нуждаюсь въ деньгахъ: у тебя ихъ нѣтъ, я знаю, но позволь воспользоваться тѣми часами, которые мы вмѣстѣ съ тобою зарыли подъ старой яблонью! Они никому не приносятъ пользы, а я тебѣ такъ буду благодаренъ, братъ!» Съ какой бы радостью я согласился! Но дѣйствовать тайно, измѣннически, не довѣриться другу.... Нѣтъ! Никакая страсть, никакая нужда этого не извиняетъ!

Я, повторяю, я былъ сильно оскорбленъ. Я началъ-было выказывать холодность, дуться....

Но Давыдъ былъ не изъ тѣхъ, которые это замѣчаютъ и тревожатся!

Я началъ дѣлать намеки....

Но Давыдъ, казалось, нисколько не понималъ моихъ намековъ!

Я говорилъ при немъ, какъ низокъ въ моихъ глазахъ тотъ человѣкъ, который, имѣя друга и даже понимая все значеніе этого священнаго чувства, дружбы, не обладаетъ, однако, достаточно великодушіемъ, чтобы не прибѣгать къ хитрости; какъ будто можно что-нибудь скрыть!

Произнося эти послѣднія слова, я смѣялся презрительно.

Но Давыдъ и ухомъ не велъ!

Я, наконецъ, прямо спросилъ его: кàкъ онъ полагаетъ, часы наши шли еще нѣкоторое время, будучи похоронены въ землю, или тотчасъ же остановились?

Онъ отвѣчалъ мнѣ: — А чортъ ихъ знаетъ! Вотъ нашелъ о чемъ размышлять?!

Я не зналъ, чтò думать. У Давыда, очевидно, было что-то нà-сердцѣ.... но только не похищеніе часовъ. Неожиданный случай доказалъ мнѣ его невинность.

XVI.

Я возвращался однажды домой по одному проулочку, по которому я вообще избѣгалъ ходить, такъ какъ въ немъ находился флигель, гдѣ квартировалъ мой врагъ Транквиллитатинъ; но на этотъ разъ сама судьба привела меня туда. Проходя подъ закрытымъ окномъ одного трактирнаго заведенія, я вдругъ услыхалъ голосъ нашего слуги Василья, молодого, развязнаго малаго, великаго «лѣнтяя и шалопая», какъ выражался мой отецъ, — но великаго также покорителя женскихъ душъ, на которыхъ онъ дѣйствовалъ острословіемъ, пляской и игрою на тòрбанѣ.

— И вѣдь, поди-жъ ты, чтò выдумали! — говорилъ Василій, котораго я видѣть не могъ, но слышалъ весьма явственно; онъ, вѣроятно, сидѣлъ тутъ же возлѣ окна съ товарищемъ за парой чая — и, какъ это часто случается съ людьми въ запертомъ покоѣ, говорилъ громко, не подозрѣвая, что каждый прохожій на улицѣ слышитъ каждое слово: — чтò выдумали? Зарыли ихъ въ землю!

— Врешь! — проворчалъ другой голосъ.

— Я тебѣ говорю. Такіе у насъ барчуки необнаковенные! Особенно Давыдка этотъ.... какъ есть іезопъ. На самой на зорькѣ всталъ я, да и подхожу этакъ къ окну.... Гляжу: чтò за притча?... Идутъ наши два голубчика по саду, несутъ эти самые часы, подъ яблонкой яму вырыли — да туда ихъ, словно младенца какого! И землю потомъ заровняли, ей-богу, такіе безпутные!

— Ахъ, шутъ ихъ возьми! — промолвилъ Васильевъ собесѣдникъ. — Съ жиру, значитъ. Ну, и что-жъ? Ты часы отрылъ?

— Понятное дѣло, отрылъ. Они и теперь у меня. Только показывать ихъ пока не приходится. Больно много

изъ-за нихъ шума было. Давыдка-то ихъ у старухи у нашей въ ту самую ночь изъ-подъ хребта вытащилъ.

— О — о!

— Я тебѣ говорю. Безпардонный совсѣмъ. Такъ и нельзя ихъ показывать. Да вотъ офицеры понаѣдутъ: продамъ кому, а не то въ карты разыграю.

Я не сталъ больше слушать, стремглавъ бросился домой, и прямо къ Давыду.

— Братъ! — началъ я, — братъ! прости меня! Я былъ виноватъ передъ тобою! Я подозрѣвалъ тебя! Я обвинялъ тебя! Ты видишь, какъ я взволнованъ! Прости меня!

— Что̀ съ тобой? — спросилъ Давыдъ. — Объяснись!

— Я подозрѣвалъ тебя, что ты наши часы изъ-подъ яблони вырылъ!

— Опять эти часы! Да развѣ ихъ тамъ нѣтъ?

— Нѣтъ ихъ тамъ; я думалъ, что ты ихъ взялъ, чтобы помочь твоимъ знакомымъ. И это все Василій!

Я передалъ Давыду все, что̀ услышалъ подъ окномъ заведенія.

Но какъ описать мое изумленіе! Я, конечно, полагалъ, что Давыдъ вознегодуетъ; но я ужъ никакъ не могъ ожидать того, что̀ произошло съ нимъ! Едва я кончилъ мой разсказъ, онъ пришелъ въ ярость несказанную! Давыдъ, который не иначе какъ съ презрѣніемъ относился ко всей этой, по его словамъ, «пошлой» продѣлкѣ съ часами, тотъ самый Давыдъ, который не разъ увѣрялъ, что они выѣденнаго яйца не сто̀ятъ — тутъ вдругъ вскочилъ съ мѣста, весь вспыхнулъ, стиснулъ зубы, сжалъ кулаки. «Этого такъ оставить нельзя! — промолвилъ онъ, наконецъ. — Какъ онъ смѣетъ себѣ чужую вещь присвоивать? Я ему покажу, постой! Я ворамъ потачки не даю!» — Признаюсь, я до сихъ поръ не понимаю, что̀ могло такъ взбѣсить Давыда: былъ ли онъ уже безъ того раздраженъ, и посту-

къ Василья подлилъ только масла въ огонь; оскорбили ли
о мои подозрѣнія — не могу сказать; но я никогда не
дывалъ его въ такомъ волненіи. Разинувъ ротъ, стоялъ
передъ нимъ, и только дивился, какъ это онъ такъ тя-
ло и сильно дышалъ.

— Что̀ же ты намѣренъ сдѣлать? — спросилъ я, на-
ецъ.

— А вотъ увидишь — послѣ обѣда, когда отецъ уля-
тся. Я этого пересмѣшника найду! Я съ нимъ потолкую!

«Ну, — подумалъ я: — не хотѣлъ бы я быть на мѣстѣ
ого «пересмѣшника». Что̀ изъ этого выйдетъ, Господи,
же мой!»

XVII.

А вышло вотъ что̀.

Какъ только послѣ обѣда водворилась та сонная, душ-
я тишина, которая до сихъ поръ, какъ жаркій пуховикъ,
жится на русскій домъ и русскій людъ въ серединѣ дня,
слѣ вкушенныхъ яствъ, Давыдъ (я съ замиравшимъ серд-
мъ шелъ за его пятами) — Давыдъ отправился въ люд-
ую и вызвалъ оттуда Василья. Тотъ сперва не хотѣлъ
ти, однако кончилъ тѣмъ, что повиновался и послѣдовалъ
нами въ садикъ.

Давыдъ сталъ передъ самой его грудью. Василій былъ
лой головой выше его.

— Василій Терентьевъ! — началъ твердымъ голосомъ
й товарищъ: — ты изъ-подъ самой этой яблони, недѣль
есть тому назадъ, вытащилъ спрятанные нами часы. Ты
имѣлъ права это сдѣлать, они тебѣ не принадлежали.
тдай-ихъ сейчасъ!

Василій смутился-было, но тотчасъ оправился. «Какіе

часы? Что̀ вы говорите? Богъ съ вами! Никакихъ нѣтъ у меня часовъ!»

— Я знаю, что̀ я говорю, а ты не лги. Часы у тебя. Отдай ихъ!

— Нѣтъ у меня вашихъ часовъ.

— А какъ же ты въ трактирѣ.... — началъ-было я, но Давыдъ меня остановилъ.

— Василій Терентьевъ! — произнесъ онъ глухо и грозно. — Намъ доподлинно извѣстно, что часы у тебя. Говорятъ тебѣ честью: отдай ихъ. — А если ты не отдашь....

Василій нагло ухмылялся.

— И что̀ же вы тогда со мною сдѣлаете? Ну-съ?

— Что̀? — Мы оба до тѣхъ поръ съ тобой драться будемъ, пока либо ты насъ побѣдишь, либо мы тебя.

Василій засмѣялся.

— Драться? — Это не барское дѣло! Съ холопомъ-то драться?

Давыдъ вдругъ вцѣпился Василію въ жилетъ.

— Да мы не на кулаки съ тобою драться будемъ, — произнесъ онъ съ скрежетомъ зубовъ, — пойми ты! А я тебѣ дамъ ножъ и самъ возьму.... Ну, и посмотримъ, кто кого? Алексѣй! — скомандовалъ онъ мнѣ, — бѣги за моимъ большимъ ножемъ, знаешь, черенокъ у него костяной — онъ тамъ на столѣ лежитъ, а другой у меня въ карманѣ.

Василій вдругъ такъ и обмеръ. Давыдъ все держалъ его за жилетъ.

— Помилуйте.... помилуйте, Давыдъ Егорычъ, — залепеталъ онъ; даже слезы выступили у него на глаза: — что вы это? Что̀ вы? Пустите!

— Не выпущу я тебя. — И пощады тебѣ не будетъ! — Сегодня ты отъ насъ отвертишься, мы завтра опять начнемъ. — Алешка! гдѣ же ножъ!

— Давыдъ Егорычъ! — заревѣлъ Василій: — не дѣ-

йте убивства.... Что̀ же это такое? А часы.... Я, точно.... пошутилъ. Я ихъ вамъ сію минуту представлю. Какъ же то? То Хрисанфу Лукичу брюхо пороть, то мнѣ! — Пу-тите меня, Давыдъ Его́рычъ.... Позвольте получить часы. апенькѣ только не сказывайте.

Давыдъ выпустилъ изъ рукъ Васильевъ жилетъ. Я по-отрѣлъ ему въ лицо: точно, — и не Василью можно было спугаться. Такое унылое.... и холодное.... и злое....

Василій вскочилъ въ домъ и немедленно вернулся оттуда ь часами въ рукѣ. — Молча отдалъ онъ ихъ Давыду, и олько возвращаясь обратно въ домъ, громко воскликнулъ порогѣ: «тьфу ты, окказія!»

На немъ все еще лица не было. Давыдъ качнулъ голо-ю и пошелъ въ нашу комнату. Я опять поплелся за нимъ. Суворовъ! Какъ есть Суворовъ!» думалъ я про себя. — огда, въ 1801 году, Суворовъ былъ нашъ первый, на-дный герой.

XVIII.

Давыдъ заперъ за собою дверь, положилъ часы на столъ, рестилъ руки и — о, чудо! — засмѣялся. — Глядя на него, засмѣялся тоже.

— Этакая штука удивительная! — началъ онъ. — Ни-къ мы отъ этихъ часовъ отбояриться не можемъ. Заколо-ванные они, право. И съ чего я вдругъ этакъ озлился?

— Да, съ чего? — повторилъ я. — Оставилъ бы ты съ у Василья....

— Ну, нѣтъ, — перебилъ Давыдъ. — Это шалишь! Но ò мы съ ними теперь сдѣлаемъ?

— Да! Что?

Мы оба уставились на часы — и задумались. Украшен-ые голубымъ бисернымъ шнуркомъ — (злополучный Ва-

силій впопыхахъ не успѣлъ снять шнурокъ этотъ, который ему принадлежалъ) — они преспокойно дѣлали свое дѣло: чикали — правда, нѣсколько въ перебивку — и медленно передвигали свою мѣдную минутную стрѣлку.

— Развѣ опять ихъ зарыть? Или ужъ въ печку ихъ? предложилъ я, наконецъ. — Или вотъ еще: не поднести ли ихъ Латкину?

— Нѣтъ, — отвѣтилъ Давыдъ. — Это все не тò. А вотъ чтò: при губернаторской канцеляріи завели коммиссію, пожертвованія собираютъ въ пользу касимовскихъ погорѣльцевъ. Городъ Касимовъ, говорятъ, до тла сгорѣлъ, со всѣми церквами. И, говорятъ, тамъ все принимаютъ: не одинъ только хлѣбъ или деньги — но всякія вещи натурой. — Отдадимъ-ка мы туда эти часы! А?

— Отдадимъ! отдадимъ! — подхватилъ я. — Прекрасная мысль. Но, я полагалъ, такъ какъ семейство твоихъ друзей нуждается....

— Нѣтъ, нѣтъ; въ коммиссію! — Латкины и безъ нихъ обойдутся. — Въ коммиссію!

— Ну, въ коммиссію — такъ въ коммиссію. — Только, я полагаю, надо при этомъ написать что-нибудь губернатору.

Давыдъ взглянулъ на меня. — Ты полагаешь?

— Да; конечно, много нечего писать. А такъ — нѣсколько словъ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ.... начать такъ: «будучи».... или вотъ еще: «движимые»....

— «Движимые».... хорошо.

— Потомъ надо будетъ сказать: «сія малая наша лепта»....

— Лепта.... хорошо тоже; ну, бери перо, садись, пиши, валяй!

— Сперва черновую, — замѣтилъ я.

— Ну, черновую; только пиши, пиши... А я ихъ пока мѣломъ почищу.

Я взялъ листъ бумаги, очинилъ перо; но не успѣлъ я вывести наверху листа: «его превосходительству, господину сіятельному князю» (у насъ тогда губернаторомъ былъ князь X.), какъ я остановился, пораженный необычнымъ шумомъ.... внезапно поднявшимся у насъ въ домѣ. — Давыдъ тоже замѣтилъ этотъ шумъ и тоже остановился, поднявъ часы въ лѣвой, тряпочку съ мѣломъ въ правой рукѣ. Мы переглянулись. Что за рѣзкій крикъ? Это тетка взвизгнула.... а это? — Это голосъ отца, хриплый отъ гнѣва. «Часы! часы!» оретъ кто-то, чуть ли не Транквиллитатинъ. — Ноги стучатъ, скрыпятъ половицы, цѣлая орава бѣжитъ.... несется прямо къ намъ. Я замираю отъ страха; да и Давыдъ бѣлъ какъ глина, а смотритъ орломъ. «Василій, подлецъ, выдалъ», шепчетъ онъ сквозь зубы.... Дверь отворяется настежь.... и отецъ въ халатѣ, безъ галстука, тетка въ пудрамантѣ, Транквиллитатинъ, Василій, Юшка, другой мальчикъ, поваръ Агапитъ — всѣ врываются въ комнату.

— Мерзавцы! — кричитъ отецъ, едва переводя дыханіе.... Наконецъ-то мы васъ накрыли! — И увидавъ часы въ рукахъ Давыда: — подай! — вопитъ отецъ, — подай часы!

Но Давыдъ, не говоря ни слова, подскакиваетъ къ раскрытому окну — и прыгъ изъ него на дворъ — да на улицу!

Привыкшій подражать во всемъ моему образцу, я прыгаю тоже, я бѣгу вслѣдъ за Давыдомъ....

«Лови! держи!» гремятъ за нами дикіе, смѣшанные голоса.

Но мы уже мчимся по улицѣ, безъ шапокъ на головахъ, Давыдъ впередъ, я въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него позади, а за нами топотъ и гвалтъ погони!

XIX.

Много лѣтъ протекло со времени всѣхъ этихъ происше-[illegible], я не разъ размышлялъ о нихъ — и до сихъ поръ [illegible] не могу понять причины той ярости, которая овла-[illegible]ла моимъ отцомъ, столь недавно еще запретившимъ са-мое упоминовеніе при немъ этихъ надоѣвшихъ ему часовъ, [illegible] я не могъ понять тогда бѣшенства Давыда при извѣ-[illegible] о похищеніи ихъ Васильемъ! — По неволѣ приходитъ въ голову, что въ нихъ заключалась какая-то таинственная сила. Василій не выдалъ насъ, какъ это предполагалъ Да-[illegible] не до того ему было: онъ слишкомъ сильно пере-[illegible]русился, — а просто, одна изъ нашихъ дѣвушекъ увидала часы въ его рукахъ и немедленно донесла объ этомъ теткѣ. Сырь боръ и загорѣлся.

Итакъ, мы мчались по улицѣ, по самой ея серединѣ. Попадавшіеся намъ прохожіе останавливались или сторони-лись въ недоумѣніи. Помнится, одинъ отставной секундъ-майоръ, извѣстный борзятникъ, внезапно высунулся изъ окна своей квартиры — и весь багровый, съ туловищемъ на перевѣсѣ, неистово заулюлюкалъ! «Стой! держи!» про-[illegible]жало гремѣть за нами. — Давыдъ бѣжалъ, крутя часы [illegible] головою, изрѣдка вспрыгивая; я вспрыгивалъ тоже, и тамъ же, гдѣ онъ.

Куда? — кричу я Давыду, видя, что онъ сворачи-[illegible]ваетъ съ улицы въ переулокъ — и сворачивая вслѣдъ за нимъ.

Къ Окѣ! — кричитъ онъ. — Въ воду ихъ, въ рѣку, въ мерзу!

Стой, стой, — ревутъ за нами....

Но мы уже летимъ по переулку. Вотъ намъ на встрѣчу [illegible] пахнуло холодкомъ — и рѣка передъ нами, и грязный [illegible] спускъ, и деревянный мостъ съ вытянутымъ по

немъ обозомъ, и гарнизонный солдатъ съ пикой возлѣ шлагбаума; — тогда солдаты ходили съ пиками.... Давыдъ уже на мосту, мчится мимо солдата, который старается ударить его по ногамъ пикой — и попадаетъ въ проходившаго теленка. — Давыдъ мгновенно вскакиваетъ на перила — онъ издаетъ радостное восклицаніе.... Что-то бѣлое, что-то голубое сверкнуло, мелькнуло въ воздухѣ — это серебряные часы вмѣстѣ съ бисернымъ Васильевымъ шнуркомъ полетѣли въ волны.... Но тутъ совершается нѣчто невѣроятное! Вслѣдъ за часами ноги Давыда вскидываются вверхъ — и самъ онъ весь, головою внизъ, руки впередъ, съ разлетѣвшимися фалдами куртки, описываетъ въ воздухѣ крутую дугу — въ жаркій день такъ вспугнутыя лягушки прыгаютъ съ высокаго берега въ воду пруда — и мгновенно исчезаетъ за перилами моста.... а тамъ — бухъ! и тяжкій всплескъ внизу....

Что̀ со мною стало — я совершенно не въ силахъ описать. Я находился въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Давыда, когда онъ спрыгнулъ съ перилъ.... но я даже не помню, закричалъ-ли я; не думаю даже, что я испугался: я онѣмѣлъ, я одурѣлъ. Руки, ноги отнялись. Вокругъ меня толкались, бѣгали люди; нѣкоторые изъ нихъ мнѣ показались знакомыми: Трофимычъ вдругъ промелькнулъ, солдатъ съ пикой бросился куда-то въ сторону, лошади обоза поспѣшно проходили мимо, задравши кверху привязанныя морды.... Потомъ все позеленѣло, и кто-то меня сильно толкнулъ въ затылокъ и вдоль всей спины.... Это я въ обморокъ упалъ.

Помню, что я потомъ приподнялся и видя, что никто не обращаетъ на меня вниманія, подошелъ къ периламъ, но не съ той стороны, съ которой спрыгнулъ Давыдъ: подойти къ ней мнѣ показалось страшнымъ, — а къ другой, и сталъ глядѣть на рѣку, бурливую, синюю, вздутую; помню, что

недалеко отъ моста, у берега, я замѣтилъ причаленную лодку, а въ лодкѣ нѣсколько людей, и одинъ изъ нихъ, весь мокрый и блестящій на солнцѣ, перегнувшись съ края лодки, вытаскивалъ что-то изъ воды, что-то не очень большое, какую-то продолговатую, темную вещь, которую я сначала принялъ за чемоданъ или корзину; но всмотрѣвшись попристальнѣе, я увидалъ, что эта вещь была — Давыдъ! Тогда я весь стрепенулся, закричалъ благимъ матомъ и побѣжалъ къ лодкѣ, проталкиваясь сквозь народъ, а подбѣжавъ къ ней, оробѣлъ и сталъ оглядываться. Въ числѣ людей, обступившихъ ее, я узналъ Транквиллитатина, повара Агапита, съ сапогомъ въ рукѣ, Юшку, Василья.... Мокрый, блестящій человѣкъ выволокъ подъ мышки изъ лодки тѣло Давыда, обѣ руки котораго поднимались въ уровень лица, точно онъ закрыться хотѣлъ отъ чужихъ взоровъ, и положилъ его, въ прибрежную грязь, на спину. Давыдъ не шевелился, словно вытянулся, свелъ пятки и выставилъ животъ. Лицо его было зеленовато, глаза подкатились, и вода капала съ волосъ. Мокрый человѣкъ, который его вытащилъ, фабричный по одеждѣ, началъ разсказывать, дрожа отъ холода и безпрестанно отводя волосы ото лба, какъ онъ это сдѣлалъ. Очень онъ прилично и старательно разсказывалъ.

— Вижу я, господа, что̀ за причина? Какъ ахнетъ этта малецъ съ мосту.... Ну!... Я сейчасъ бѣгомъ по теченью внизъ, потому знаю — попалъ онъ въ самое стремя, пронесетъ его подъ мостомъ, ну, а тамъ.... поминай какъ звали! Смотрю: шапка така̀ мохнатенькая плыветъ, анъ это — его голова. Ну, я сейчасъ живымъ манеромъ въ воду, сгребъ его.... Ну, а тутъ уже не мудрость!

Въ толпѣ послышалось два-три одобрительныхъ слова.

— Согрѣться теперь тебѣ надо, пойдемъ, шкальчикъ выкушаемъ, — замѣтилъ кто-то.

Но тутъ вдругъ кто-то судорожно продирается впередъ.... Это Василій.

— Что же это вы, православные, — кричитъ онъ слезливо: — откачивать его надо. Это нашъ барчукъ!

— Откачивать его, откачивать, — раздается въ толпѣ, которая безпрестанно прибываетъ.

— За ноги повѣсить! Лучшее средство!

— На бочку брюхомъ, да и катай его взадъ и впередъ, пока что̀.... Бери его, ребята!

— Не смѣй трогать! — вмѣшивается солдатъ съ пикой. — На гуптевахту стащить его надо.

— Сволочь! — доносится откуда-то басъ Трофимыча.

— Да онъ живъ, — кричу я вдругъ во все горло и почти съ ужасомъ.

Я приблизилъ-было свое лицо къ его лицу.... «Такъ *вотъ* каковы утопленники», думалось мнѣ, и душа замирала... И вдругъ я вижу — губы Давыда дрогнули, и его немножко вырвало водою....

Меня тотчасъ оттолкнули, оттащили; всѣ бросились къ нему.

— Качай его, качай! — зашумѣли голоса.

— Нѣтъ, нѣтъ, стой! — закричалъ Василій. — Домой его.... домой!

— Домой, — подхватилъ самъ Тринквиллитатинъ.

— Духомъ его сомчимъ, тамъ виднѣе будетъ, — продолжалъ Василій.... (Я съ того дня полюбилъ Василья). — Братцы! рогожки нѣтъ ли? А не то — берись за голову, за ноги....

— Постой! Вотъ рогожка! Клади! Подхватывай! Трогай! Важно: словно въ колымагѣ поѣхалъ.

И нѣсколько мгновеній спустя, Давыдъ, несомый на рогожѣ, торжественно вступилъ подъ кровъ нашего дома.

XX.

Его раздѣли, положили на кровать. Уже на улицѣ онъ началъ подавать знаки жизни, мычалъ, махалъ руками.... Въ комнатѣ онъ совсѣмъ пришелъ въ себя. Но какъ только опасенія за жизнь его миновались, и возиться съ нимъ было уже не для чего — негодованіе вступило въ свои права: всѣ отступились отъ него, какъ отъ прокаженнаго.

— Покарай его Богъ! покарай его Богъ! — визжала тетка на весь домъ. — Сбудьте его куда-нибудь, Порфирій Петровичъ, а то онъ еще такую бѣду надѣлаетъ, что не расхлебаешь!

— Это, помилуйте, это аспидъ какой-то, да и бѣсноватый, — поддакивалъ Транквиллитатинъ.

— Злость, злость-то какая, — трещала тетка, подходя къ самой двери нашей комнаты, для того, чтобы Давыдъ ее непремѣнно услышалъ: — перво нà перво укралъ часы, а потомъ ихъ въ воду.... Не доставайся, молъ, никому.... На-ка!

Всѣ, всѣ негодовали!

— Давыдъ, — спросилъ я его, какъ только мы остались одни: — для чего ты это сдѣлалъ?

— И ты туда же, — возразилъ онъ все еще слабымъ голосомъ: губы у него были синія, и весь онъ словно припухъ. — Что я такое сдѣлалъ?

— Да въ воду зачѣмъ прыгнулъ?

— Прыгнулъ! — Не удержался на перилахъ, вотъ и вся штука. Умѣлъ бы плавать — нарочно бы прыгнулъ. Выучусь непремѣнно. А за то часы теперь — тютю!...

Но тутъ отецъ мой торжественнымъ шагомъ вошелъ въ нашу комнату.

— Тебя, любезный мой, — обратился онъ ко мнѣ, —

я выпорю непремѣнно, не сомнѣвайся, хоть ты поперекъ лавки уже не ложишься. — Потомъ онъ подступилъ къ постели, на которой лежалъ Давыдъ. — Въ Сибири, — началъ онъ внушительнымъ и важнымъ тономъ, — въ Сибири, сударь ты мой, на каторгѣ, въ подземельяхъ живутъ и умираютъ люди, которые менѣе виноваты, менѣе преступны, чѣмъ ты! Самоубивецъ ты, или, просто, воръ, или уже вовсе дуракъ? — скажи ты мнѣ одно, на милость?!!

— Не самоубивецъ я, и не воръ, — отвѣчалъ Давыдъ, — а что правда, то правда: въ Сибирь попадаютъ хорошіе люди, лучше насъ съ вами... Кому же это знать, коли не вамъ?

Отецъ тихо ахнулъ, отступилъ шагъ назадъ, посмотрѣлъ пристально на Давыда, плюнулъ и, медленно перекрестившись, вышелъ вонъ.

— Не любишь? — проговорилъ ему вслѣдъ Давыдъ, и языкъ высунулъ. Потомъ онъ попытался подняться — однако не могъ. — Знать, какъ-нибудь расшибся, — промолвилъ онъ, крехтя и морщась. — Помнится, о бревно меня водой толкнуло.

— Видѣлъ ты Раису? — прибавилъ онъ вдругъ.

— Нѣтъ, не видѣлъ.... Стой! стой! стой! Теперь я вспоминаю: ужъ не она ли стояла на берегу, возлѣ моста? — Да.... Темное платьице, желтый платокъ на головѣ.... Должно, она!

— Ну, а потомъ.... видѣлъ ты её?

— Потомъ.... Я не знаю. Мнѣ не до того было. — Ты тутъ прыгнулъ....

Давыдъ всполошился.

— Голубчикъ, другъ, Алеша, сходи къ ней сейчасъ, скажи, что я здоровъ, что ничего со мною. Завтра же я у нихъ буду. Сходи скорѣе, братъ, одолжи!

Давыдъ протянулъ ко мнѣ обѣ руки.... Его высохшіе,

рыжіе волосы торчали кверху забавными вихрами.... но умиленное выраженіе его лица казалось отъ того еще болѣе искреннимъ. Я взялъ шапку и вышелъ изъ дому, стараясь не попасться на глаза отцу и не напомнить ему его обѣщанія.

XXI.

«И въ самомъ дѣлѣ», размышлялъ я, идучи къ Латкинымъ: «какъ же это я не замѣтилъ Раисы? Куда она дѣлась? Должна же она была видѣть»....

И вдругъ я вспомнилъ: въ самый моментъ Давыдова паденія, у меня въ ушахъ зазвенѣлъ страшный, раздирающій крикъ....

Ужъ не она ли это? Но какъ же я потомъ ея не видѣлъ?

Передъ домикомъ, въ которомъ квартировалъ Латкинъ, разстилался пустырь, заросшій крапивой и обнесенный завалившимся плетнемъ. Едва перебрался я черезъ этотъ плетень (ни воротъ, ни калитки не было нигдѣ), какъ моимъ глазамъ представилось слѣдующее зрѣлище. На нижней ступенькѣ крылечка, передъ домомъ, сидѣла Раиса, облокотившись на колѣни и подперевъ подбородокъ скрещенными пальцами; она глядѣла прямо въ упоръ передъ собою; возлѣ нея стояла ея нѣмая сестричка и преспокойно помахивала кнутикомъ, а передъ крыльцомъ, спиной ко мнѣ, въ изорванномъ и истасканномъ камзолѣ, въ подштанникахъ и съ валенками на ногахъ, болтая локтями и кривляясь, сѣменилъ на мѣстѣ и подпрыгивалъ старикъ Латкинъ. Услышавъ мои шаги, онъ внезапно обернулся, присѣлъ на корточки — и, тотчасъ подскочивъ ко мнѣ, заговорилъ чрезвычайно быстро, трепетнымъ голосомъ; съ безпрестан-

ными: чу, чу, чу! Я остолбенѣлъ. Я давно его не видалъ и, конечно, не узналъ бы его, если бы встрѣтился съ нимъ въ другомъ мѣстѣ. Это сморщенное, беззубое, красное лицо, эти круглые тусклые глазки, взъерошенныя сѣдины, эти подергиванія, эти прыжки, эта безсмысленная, косноязычная рѣчь.... Что̀ это такое? Что за нечеловѣческое отчаяніе терзаетъ это несчастное существо? Что за «пляска смерти?»

— Чу, чу,—лепеталъ онъ, не переставая корчиться,— вотъ она, Васильевна, сейчасъ, чу, чу, вошла.... Слышь! кор.... рытомъ по крышкѣ (онъ хлопнулъ себя рукою по головѣ) и сидитъ этакъ лопатой; и косая, косая, какъ Андрюшка; косая Васильевна! (Онъ, вѣроятно, хотѣлъ сказать: нѣмая). Чу! косая моя Васильевна! Вотъ, онѣ обѣ теперь на одну корку.... Полюбуйтесь, православные! Только у меня и есть эти двѣ лодочки! А?

Латкинъ очевидно сознавалъ, что говорилъ не то̀, не ладно, и дѣлалъ страшныя усилія, чтобы растолковать мнѣ, въ чемъ было дѣло. Раиса, казалось, не слышала вовсе, что̀ говорилъ ея отецъ, а сестричка продолжала похлопывать кнутикомъ.

— Прощай, бриллiантщикъ, прощай, прощай! — протянулъ Латкинъ нѣсколько разъ сряду, съ низкими поклонами, какъ бы обрадовавшись, что поймалъ, наконецъ, понятное слово.

У меня голова кругомъ пошла. — Что это все значитъ? — спросилъ я какую-то старуху, выглядывавшую изъ окна домика.

— Да что̀, батюшка, — отвѣчала та на распѣвъ; — говорятъ, человѣкъ какой-то — и кто онъ, Господь его знаетъ — тонуть сталъ, а она это видѣла. Ну, перепугалась, что ли; пришла однако.... ничего; да какъ сѣла на рундучокъ — съ той самой поры вотъ и сидитъ, какъ исту-

канъ какой; хоть ты говори ей, хоть нѣтъ. Знать, ей тоже безъ языка быть. Ахти-хти!

— Прощай, прощай, — повторялъ Латкинъ все съ тѣми же поклонами.

Я подошелъ къ Раисѣ и остановился прямо передъ нею.

— Раисочка — закричалъ я, — что̀ съ тобою?

Она ничего не отвѣчала; словно и не замѣтила меня. Лицо ея не поблѣднѣло, не измѣнилось — но какое-то каменное стало, и выраженіе на немъ такое.... какъ будто вотъ-вотъ сейчасъ она заснетъ.

— Да косая же она, косая, — лепеталъ мнѣ въ ухо Латкинъ.

Я схватилъ Раису за руку. — Давыдъ живъ, — закричалъ я громче прежняго: — живъ и здоровъ; живъ Давыдъ, ты понимаешь? Его вытащили изъ воды, онъ теперь дома и велѣлъ сказать, что завтра придетъ къ тебѣ.... Онъ живъ!

Раиса какъ-бы съ трудомъ перевела глаза на меня; мигнула ими нѣсколько разъ, все болѣе и болѣе ихъ расширяя, потомъ нагнула голову на бокъ, понемногу побагровѣла вся, губы ея раскрылись.... Она медленно, полной грудью потянула въ себя воздухъ, сморщилась какъ-бы отъ боли и, съ страшнымъ усиліемъ проговоривъ: «Да.... Дав.... жи.... живъ», — порывисто встала съ крыльца и устремилась....

— Куда? — воскликнулъ я.

Но слегка похохатывая и пошатываясь, она уже бѣжала черезъ пустырь....

Я, разумѣется, пустился за нею, между тѣмъ какъ позади меня поднялся дружный, старческій и дѣтскій вопль Латкина и глухо-нѣмой.... Раиса мчалась прямо къ намъ.

— «Вотъ выдался денёкъ!» — думалъ я, стараясь не отставать отъ мелькавшаго передо мною чернаго платьица... Ну!

XXII.

Минуя Василья, тетку и даже Транквиллитатина, Раиса вбѣжала въ комнату, гдѣ лежалъ Давыдъ, и прямо бросилась ему на грудь. — Охъ.... охъ.... Да.... выдушко, — зазвенѣлъ ея голосъ изъ-подъ разсыпанныхъ ея кудрей, — охъ!

Сильно взмахнувъ руками, обнялъ ее Давыдъ и приникъ къ ней головою.

— Прости меня, сердце мое, — послышался и его голосъ.

И оба словно замерли отъ радости.

— Да отчего же ты ушла домой, Раиса, для чего не осталась? — говорилъ я ей.... Она все еще не приподнимала головы. — Ты бы увидала, что его спасли....

— Ахъ, не знаю! Ахъ, не знаю! Не спрашивай! Не знаю, не помню, какъ это я домой попала. Помню только: вижу тебя на воздухѣ.... что-то ударило меня.... А что̀ послѣ было....

— Ударило, — повторилъ Давыдъ, — и мы всѣ трое вдругъ дружно засмѣялись. Очень намъ было хорошо.

— Да что же это такое будетъ, наконецъ! — раздался за нами грозный голосъ, голосъ моего отца. Онъ стоялъ на порогѣ двери. Прекратятся ли, наконецъ, эти дурачества, или нѣтъ? Гдѣ это мы живемъ? Въ россійскомъ государствѣ или во французской республикѣ?

Онъ вошелъ въ комнату.

— Во Францію ступай, кто хочетъ бунтовать, да безпутничать! А *ты* какъ смѣла сюда пожаловать? — обратился онъ къ Раисѣ, которая, тихонько приподнявшись и повернувшись къ нему лицомъ, видимо заробѣла, но продолжала улыбаться какой-то ласковой и блаженной улыб-

кой. — Дочь моего заклятаго врага! Какъ ты дерзнула! Еще обниматься вздумала! Вонъ сейчасъ! а не то....

— Дядюшка, — промолвилъ Давыдъ, и сѣлъ въ постели. — Не оскорбляйте Раисы. Она уйдетъ.... только вы не оскорбляйте ее.

— А ты что мнѣ за уставщикъ? Я ее не оскорбляю, не ос.... кор.... бляю! а просто гоню ее. Я тебя еще самого къ отвѣту потяну. Чужую собственность затратилъ, на жизнь свою посягнулъ, въ убытки ввелъ.

— Въ какіе это убытки? — перебилъ Давыдъ.

— Въ какіе? Платье испортилъ — это ты за ничто считаешь? Да на водку я далъ людямъ, которые тебя принесли! Всю семью перепугалъ, да еще фордыбачится? А коли сія дѣвица, забывъ стыдъ и самую честь....

Давыдъ рванулся съ постели. — Не оскорбляйте ее, говорятъ вамъ!

— Молчи!

— Не смѣйте....

— Молчи!

— Не смѣйте позорить мою невѣсту, — закричалъ Давыдъ во всю голову, — мою будущую жену!

— Невѣсту! — повторилъ отецъ и выпучилъ глаза. — Невѣсту! — Жену! Хо, хо, хо!.... (Ха, ха, ха, — отозвалась за дверью тетка). — Да тебѣ сколько лѣтъ-то? Безъ году недѣлю на свѣтѣ живетъ, молоко на губахъ не обсохло, недоросль! И жениться собирается! Да я.... да ты....

— Пустите, пустите меня, — шепнула Раиса, и направилась къ двери. Она совсѣмъ помертвѣла.

— Я не у васъ позволенія буду просить, — продолжалъ кричать Давыдъ, опираясь кулаками на край постели, — а у моего родного отца, который не сегодня, завтра сюда пріѣхать долженъ! *Онъ* мнѣ указъ, а не вы; а

что касается до моихъ лѣтъ, то намъ съ Раисой не къ спѣху.... подождемъ, что̀ вы тамъ ни толкуйте....

— Эй, Давыдка, опомнись! — перебилъ отецъ, — посмотри на себя: ты растерзанный весь.... Приличіе всякое потерялъ!

Давыдъ захватилъ рукою на груди рубашку.

— Что̀ вы ни толкуйте, — повторилъ онъ.

— Да зажми же ему ротъ, Порфирій Петровичъ, зажми ему ротъ, — запищала тетка изъ-за двери: — а эту потаскушку, эту негодницу.... эту....

Но, знать, нѣчто необыкновенное пресѣкло въ этотъ мигъ краснорѣчіе моей тетки: голосъ ея порвался вдругъ и на мѣсто его послышался другой, старчески-сиплый и хилый....

— Братъ! — произнесъ этотъ слабый голосъ.... — Христіанская душа!

XXIII.

Мы всѣ обернулись.... Передъ нами, въ томъ же костюмѣ, въ какомъ я его недавно видѣлъ, какъ привидѣніе, худой, жалкій, дикій, стоялъ Латкинъ.

— А Богъ! — произнесъ онъ какъ-то по-дѣтски, поднимая къ верху дрожащій изогнутый палецъ и безсильнымъ взглядомъ осматривая отца: — Богъ покаралъ! а я за Ва.... за Ра.... да, да, за Раисочкой пришелъ! Мнѣ.... чу! мнѣ что̀? Скоро въ землю — и какъ это бишь? Одна палочка, другая.... перекладинка — вотъ что̀ мнѣ.... нужно.... А ты братъ, бриллiантщикъ.... Смотри.... вѣдь и я человѣкъ!

Раиса молча перешла черезъ комнату, и, взявъ Латкина подъ руку, застегнула ему камзолъ.

— Пойдемъ, Васильевна, — заговорилъ онъ: — тутотка все святые; къ нимъ не ходи. И тотъ, что̀ вонъ тамъ

въ футлярѣ лежитъ, — онъ указалъ на Давыда, — тоже святой. А мы, братъ, съ тобою грѣшные. Ну, чу.... простите, господа, старичка съ пѐрчикомъ! Вмѣстѣ крали! — закричалъ онъ вдругъ: — вмѣстѣ крали! вмѣстѣ крали! — повторилъ онъ съ явнымъ наслажденіемъ: языкъ, наконецъ, послушался его.

Мы всѣ въ комнатѣ молчали.

— А гдѣ у васъ.... икона тутъ? — спросилъ онъ, закидывая голову и подкатывая глаза: — почиститься надо.

Онъ сталъ молиться на одинъ изъ угловъ, умиленно крестясь, по нѣскольку разъ сряду, стуча пальцами то по одному плечу, то по другому и торопливо повторяя: «Помилуй мя, Го.... мя Го.... мя Го!...» Отецъ мой, который все время не сводилъ глазъ съ Латкина и слова не промолвилъ, вдругъ встрепенулся, сталъ съ нимъ рядомъ и тоже началъ креститься. Потомъ онъ обернулся къ нему, поклонился низко-низко, такъ, что одной рукой досталъ до полу и, проговоривъ: «прости меня и ты, Мартиньянъ Гаврилычъ», поцѣловалъ его въ плечо. Латкинъ ему въ отвѣтъ чмокнулъ губами въ воздухѣ и заморгалъ глазами: едва ли онъ хорошенько понималъ, что̀ онъ такое дѣлаетъ. Потомъ отецъ мой обратился ко всѣмъ находившимся въ комнатѣ, къ Давыду, къ Раисѣ, ко мнѣ:

— Дѣлайте, что̀ хотите, поступайте, какъ знаете, — промолвилъ онъ грустнымъ и тихимъ голосомъ — и удалился.

Тетка подъѣхала-было къ нему, но онъ окрикнулъ ей рѣзко и сурово. Онъ былъ потрясенъ.

— Мя Го.... мя Го.... помилуй! — повторялъ Латкинъ. — Я человѣкъ!

— Прощай, Давыдушко, — сказала Раиса, и вмѣстѣ со старикомъ тоже вышла изъ комнаты.

— Завтра у васъ буду, — крикнулъ ей вслѣдъ Давыдъ

и, повернувшись лицомъ къ стѣнѣ, прошепталъ: — усталъ я очень; теперь соснуть бы не худо, — и затихъ.

Я долго не выходилъ изъ нашей комнаты. Я прятался. Я не могъ забыть, чѣмъ отецъ мнѣ погрозилъ. Но мои опасенія оказались напрасны. Онъ встрѣтилъ меня — и хоть бы слово проронилъ. Ему самому, казалось, было неловко. Впрочемъ, ночь скоро наступила — и все успокоилось въ домѣ.

XXIV.

На слѣдующее утро Давыдъ всталъ, какъ ни въ чемъ не бывало, а недолго спустя, въ одинъ и тотъ же день, совершились два важныхъ событія: утромъ старикъ Латкинъ умеръ, а къ вечеру пріѣхалъ въ Рязань дядя Егоръ, Давыдовъ отецъ. Не приславъ предварительнаго письма, никого не предупредивъ, свалился онъ какъ снѣгъ на голову. Отецъ мой переполошился чрезвычайно и не зналъ, чѣмъ угостить, куда посадить дорогого гостя, метался какъ угорѣлый, суетился, какъ виноватый; но, дядю, казалось, не слишкомъ трогало хлопотливое усердіе брата; онъ то и дѣло повторялъ: «къ чему это?» — да «не надо мнѣ ничего». Съ теткой онъ обошелся еще холоднѣй; впрочемъ, и она не больно его жаловала. Въ глазахъ ея онъ былъ безбожникомъ, еретикомъ, вольтеріанцемъ.... (онъ, дѣйствительно, выучился французскому языку, чтобъ читать въ подлинникѣ Вольтера). Я нашелъ дядю Егора такимъ, какимъ описывалъ мнѣ его Давыдъ. Это былъ крупный, тяжелый мужчина, съ широкимъ, рябымъ лицомъ, важный и серьезный. Онъ постоянно носилъ шляпу съ плюмажемъ, манжеты, жабо и табачнаго цвѣта камзолъ, съ стальною шпагою на бедрѣ. Давыдъ обрадовался ему несказанно — даже просвѣтлѣлъ и похорошѣлъ лицомъ, и глаза стали у

Съ тѣхъ поръ много утекло воды, и много часовъ у меня перебывало; я дошелъ даже до такого великолѣпія, что пріобрѣлъ себѣ настоящій брегетъ, съ секундной стрѣлкой, обозначеніемъ чиселъ и репетиціей.... Но въ потаенномъ ящикѣ моего письменнаго стола хранятся старинные серебряные часы съ розаномъ на циферблатѣ; я ихъ купилъ у жида-разнощика, пораженный ихъ сходствомъ съ часами, нѣкогда подаренными мнѣ моимъ крестнымъ отцомъ. — Отъ времени до времени, когда я одинъ и никого къ себѣ не жду, я вынимаю ихъ изъ ящика и, глядя на нихъ, вспоминаю молодые дни и товарища тѣхъ дней, безвозвратно улетѣвшихъ....

Парижъ. — 1875 г.

СОНЪ.

Разсказъ.

I.

Я жилъ тогда съ моей матушкой въ небольшомъ приморскомъ городѣ. Мнѣ минуло семнадцать лѣтъ, а матушкѣ не было и тридцати-пяти; она очень молода вышла замужъ. Когда мой отецъ скончался, мнѣ пошелъ всего седьмой годъ, но я хорошо его помнилъ. Матушка моя была небольшого роста бѣлокурая женщина, съ прелестнымъ, но вѣчно печальнымъ лицомъ, съ тихимъ, усталымъ голосомъ, робкими тѣлодвиженіями. Въ молодости она славилась красотою, и до конца оставалась привлекательной и милой. Я не видывалъ болѣе глубокихъ, болѣе нѣжныхъ и грустныхъ глазъ, болѣе тонкихъ и мягкихъ волосъ; не видывалъ рукъ болѣе изящныхъ. Я ее обожалъ, и она любила меня.... Но жизнь наша проходила не весело: казалось, тайное, неизлечимое и незаслуженное горе постоянно подтачивало самый корень ея существованія. Это горе не объяснялось одной печалью объ отцѣ, какъ велика она ни была, какъ страстно моя мать его ни любила, какъ свято ни сохраняла память о немъ.... Нѣтъ! тутъ еще что-то таилось, чего я не понималъ, но

что я чувствовалъ, чувствовалъ смутно и сильно, какъ только, бывало, взглядывалъ на эти тихіе и неподвижные глаза, на эти прекрасныя, тоже неподвижныя, не горько сжатыя, но словно на вѣкъ застывшія губы.

Я сказалъ, что матушка меня любила; но бывали минуты, когда она меня отталкивала, когда мое присутствіе ей было тягостнымъ, невыносимымъ. Она чувствовала тогда какъ бы невольное отвращеніе ко мнѣ — и ужасалась потомъ, винилась со слезами, прижимала меня къ своему сердцу. Я приписывалъ эти мгновенныя вспышки вражды разстройству ея здоровья, ея несчастью.... Правда, эти враждебныя ощущенія могли бы, до нѣкоторой степени, быть вызваны какими-то странными, для меня самого непонятными порывами злыхъ и преступныхъ чувствъ, которыя изрѣдка поднимались во мнѣ.... Но эти порывы не совпадали съ тѣми минутами отвращенія. — Матушка ходила постоянно въ черномъ, точно въ траурѣ. Жили мы на довольно большую ногу — хотя почти ни съ кѣмъ не знались.

II.

Матушка сосредоточила на мнѣ всѣ свои помыслы и заботы. Ея жизнь слилась съ моей жизнью. Такого рода отношенія между родителями и дѣтьми не всегда полезны для дѣтей.... онѣ скорѣе вредны бываютъ. Притомъ я у матушки былъ одинъ.... а единственныя дѣти бо́льшею частью развиваются неправильно. Воспитывая ихъ, родители столько же заботятся о самихъ себѣ, сколько о нихъ.... Это не дѣло. Я не избаловался и не ожесточился (то и другое случается съ единственными дѣтьми), но нервы мои до времени разстроились; къ тому же и здоровьемъ я былъ довольно слабъ — въ матушку, на которую я и лицомъ очень похо-

дилъ. Я избѣгалъ общества своихъ однолѣтковъ; я вообще чуждался людей; я даже съ матушкой разговаривалъ мало. Я пуще всего любилъ читать, гулять наединѣ — и мечтать, мечтать! О чемъ были мои мечты — сказать трудно: мнѣ, право, иногда чудилось, будто я стою передъ полузакрытой дверью, за которой скрываются невѣдомыя тайны, стою и жду, и млѣю — и не переступаю порога — и все размышляю о томъ, что̀ тамъ такое находится впереди — и все жду и замираю.... или засыпаю. Если бы во мнѣ билась поэтическая жилка — я бы, вѣроятно, принялся писать стихи; если-бъ я чувствовалъ наклонность къ набожности, я бы, можетъ быть, пошелъ въ монахи; но у меня ничего этого не было — и я продолжалъ мечтать — и ждать.

III.

Я сейчасъ упомянулъ о томъ, какъ я засыпалъ иногда подъ наитіемъ неясныхъ думъ и мечтаній. Я вообще спалъ много — и сны играли въ моей жизни значительную роль; я видѣлъ сны почти каждую ночь. Я не забывалъ ихъ, я придавалъ имъ значеніе, считалъ ихъ предсказаніями, старался разгадать ихъ тайный смыслъ; нѣкоторые изъ нихъ повторялись отъ времени до времени, что̀ всегда казалось мнѣ удивительнымъ и страннымъ. Особенно смущалъ меня одинъ сонъ. Мнѣ казалось, что я иду по узкой, дурно вымощенной улицѣ стариннаго города, между многоэтажными каменными домами съ остроконечными крышами. Я отыскиваю моего отца, который не умеръ, но почему-то прячется отъ насъ, и живетъ именно въ одномъ изъ этихъ домовъ. И вотъ я вступаю въ низкія, темныя ворота, перехожу длинный дворъ, заваленный бревнами и досками, и проникаю, наконецъ, въ маленькую комнату съ двумя круглыми

окнами. По срединѣ комнаты стоитъ мой отецъ въ шлафрокѣ и куритъ трубку. Онъ нисколько не похожъ на моего настоящаго отца: онъ высокъ ростомъ, худощавъ, черноволосъ, носъ у него крючкомъ, глаза угрюмые и пронзительные: на видъ ему лѣтъ сорокъ. Онъ недоволенъ тѣмъ, что я его отыскалъ; я тоже нисколько не радуюсь нашему свиданію — и стою въ недоумѣніи. Онъ слегка отворачивается, начинаетъ что-то бормотать и расхаживать взадъ и впередъ небольшими шагами.... Потомъ онъ по немногу удаляется, не переставая бормотать и, то и дѣло, оглядываться назадъ, черезъ плечо; комната расширяется и пропадаетъ въ туманѣ.... Мнѣ вдругъ становится страшно при мысли, что я снова теряю моего отца, я бросаюсь вслѣдъ за нимъ,— но я уже его не вижу — и только слышится мнѣ его сердитое, точно медвѣжье бормотанье.... Сердце во мнѣ замираетъ — я просыпаюсь и долго не могу заснуть опять.... Весь слѣдующій день я думаю объ этомъ снѣ и, конечно, ни до чего додуматься не могу.

IV.

Наступилъ іюнь мѣсяцъ. Городъ, въ которомъ мы жили съ матушкой, объ эту пору оживлялся необыкновенно. Множество кораблей прибывало въ пристань, множество новыхъ лицъ появлялось на улицахъ. Я любилъ тогда бродить по набережной, мимо кофейныхъ домовъ и гостинницъ, засматриваться на разнородныя фигуры матросовъ и другихъ людей, сидѣвшихъ подъ полотняными навѣсами, передъ небольшими бѣлыми столиками, за оловянными кружками, налитыми пивомъ.

Вотъ однажды, проходя передъ одной кофейной, я увидалъ человѣка, который тотчасъ же приковалъ къ себѣ все

мое вниманіе. Одѣтый въ длинный черный балахонъ, съ нахлобученной на глаза соломенной шляпой, онъ сидѣлъ неподвижно, скрестивъ руки на груди. Жидкіе завитки черныхъ волосъ спускались почти до самаго носа; тонкія губы стискивали мундштукъ короткой трубки. Человѣкъ этотъ до того показался мнѣ знакомымъ, каждая черта его смуглаго, желтаго лица, вся его фигура — до того несомнѣнно запечатлѣлась въ моей памяти, что я не могъ не остановиться передъ нимъ, не могъ не задать себѣ вопроса: кто этотъ человѣкъ? гдѣ я его видѣлъ? Почувствовавъ, вѣроятно, мой пристальный взглядъ, онъ возвелъ на меня свои черные, колючіе глаза.... Я невольно ахнулъ....

Этотъ человѣкъ былъ тотъ отецъ, котораго я отыскивалъ, котораго я видѣлъ во снѣ!

Не было возможности ошибиться, — сходство было слишкомъ поразительно. Самый даже долгополый балахонъ, облекавшій его худощавые члены, цвѣтомъ и складомъ напоминалъ тотъ шлафрокъ, въ которомъ являлся мнѣ мой отецъ.

«Ужъ не сплю ли я?» подумалось мнѣ.... Нѣтъ.... Теперь день, кругомъ шумитъ толпа, солнце ярко свѣтитъ съ голубаго неба, и передо мной не призракъ, а живой человѣкъ.

Я подошелъ къ порожнему столику, спросилъ себѣ кружку пива, газету — и сѣлъ въ недальнемъ разстояніи отъ того загадочнаго существа.

V.

Поставивъ листъ газеты въ уровень лица, я продолжалъ пожирать незнакомца глазами. — Онъ почти не шевелился, и лишь изрѣдка приподнималъ понурую голову. Онъ

явно ждалъ кого-то. Я глядѣлъ, глядѣлъ.... Иногда мнѣ казалось, что я все это выдумалъ, что сходства собственно никакого нѣтъ, что я поддался полу-невольному обману воображенія.... но «тотъ» вдругъ повернется немного на стулѣ или руки слегка подниметъ — и я опять чуть не ахну, опять вижу передъ собой моего «ночного» отца! — Онъ, наконецъ, замѣтилъ мое неотвязчивое вниманіе, и сперва съ недоумѣніемъ, потомъ съ досадой взглянувъ въ мою сторону, собрался-было встать — и уронилъ небольшую тросточку, прислоненную имъ къ столу. Я мгновенно вскочилъ, поднялъ и подалъ ему ее. Сердце во мнѣ сильно билось.

Онъ натянуто улыбнулся, поблагодарилъ меня и, приблизивъ свое лицо къ моему лицу, поднялъ брови и раскрылъ немного губы, словно что̀ его поразило.

— Вы очень вѣжливы, молодой человѣкъ, заговорилъ онъ вдругъ сухимъ и рѣзкимъ, гнусливымъ голосомъ. — Въ теперешнее время это рѣдкость. Позвольте васъ поздравить: вы получили хорошее воспитаніе.

Не помню, что̀ именно я отвѣтилъ ему; но разговоръ скоро завязался между нами. Я узналъ, что онъ мой соотечественникъ, что онъ недавно вернулся изъ Америки, гдѣ прожилъ много лѣтъ, и скоро опять туда отправляется. Онъ назвалъ себя барономъ.... имени я не могъ хорошенько разслышать. Онъ такъ же, какъ мой «ночной» отецъ, оканчивалъ каждую свою рѣчь какимъ-то неяснымъ внутреннимъ бормотаньемъ. Онъ пожелалъ узнать мою фамилію.... Услыхавъ ее, онъ опять какъ будто изумился; потомъ онъ спросилъ меня, давно ли я живу въ этомъ городѣ и съ кѣмъ? Я отвѣчалъ ему, что живу съ моей матерью.

— А батюшка вашъ? — Мой отецъ давно умеръ. Онъ освѣдомился о христіанскомъ имени моей матери, и тотчасъ же разсмѣялся неловкимъ смѣхомъ — а потомъ извинился,

говоря, что у него такая американская манера, и что вообще онъ чудакъ порядочный. Потомъ онъ полюбопытствовалъ узнать, гдѣ находится наша квартира. Я сказалъ ему.

VI.

Волненіе, овладѣвшее мною въ началѣ нашего разговора, постепенно утихло; я находилъ наше сближеніе нѣсколько страннымъ — и только. Мнѣ не нравилась улыбочка, съ которой г-нъ баронъ меня разспрашивалъ; не нравилось также выраженіе его глазъ, когда онъ ихъ словно вонзалъ въ меня.... Въ нихъ было что-то хищное и покровительственное.... что-то жуткое. Этихъ глазъ я во снѣ не видѣлъ. Странное было лицо у барона! Поблеклое, усталое и въ то же время моложавое, непріятно моложавое! У моего «ночного» отца не было также того глубокаго шрама, который косвенно пересѣкалъ весь лобъ моего новаго знакомца, и котораго я не замѣтилъ до тѣхъ поръ, пока не пододвинулся къ нему поближе.

Не успѣлъ я сообщить барону названіе улицы и нумеръ дома, гдѣ мы жили, какъ высокаго роста арапъ, закутанный въ плащъ по самыя брови, подошелъ къ нему сзади и тихонько постучалъ ему по плечу. Баронъ обернулся, промолвилъ: «Ага! наконецъ-то!» и, слегка кивнувъ мнѣ головою, отправился вмѣстѣ съ арапомъ въ кофейную. Я остался подъ навѣсомъ, я хотѣлъ дождаться выхода барона, не столько для того, чтобы снова заговорить съ нимъ — (я собственно не зналъ, о чемъ бы я могъ повести съ нимъ рѣчь) — сколько для того, чтобы снова провѣрить свое первое впечатлѣніе. — Но минуло полчаса; минулъ часъ.... Баронъ не появлялся. — Я вошелъ въ кофейную, пробѣжалъ по всѣмъ комнатамъ — но нигдѣ не увидалъ ни барона, ни

арапа.... Они оба, должно быть, удалились черезъ заднюю дверь.

У меня голова немного разболѣлась — и я, чтобы освѣжиться, отправился вдоль морского берега до пространнаго загороднаго парка, разведеннаго лѣтъ двѣсти тому назадъ. — Погулявъ часа два въ тѣни громадныхъ дубовъ и платановъ, я вернулся домой.

VII.

Служанка наша бросилась мнѣ на встрѣчу, вся перетревоженная, какъ только я появился въ передней. — Я тотчасъ догадался, по выраженію ея лица, что во время моего отсутствія что-то недоброе произошло въ нашемъ домѣ. — И точно: я узналъ, что, часъ тому назадъ, въ спальнѣ моей матери внезапно раздался страшный крикъ; вбѣжавшая служанка нашла ее на полу, въ обморокѣ, который продолжался нѣсколько минутъ. Матушка наконецъ пришла въ чувство — но принуждена была лечь въ постель, и видъ имѣла испуганный и странный; ни слова не говорила, не отвѣчала на разспросы — все только оглядывалась и вздрагивала. Служанка послала садовника за докторомъ. Докторъ пришелъ и прописалъ успокоительное средство; но и ему матушка ничего сказать не хотѣла. Садовникъ увѣрялъ, что нѣсколько мгновеній послѣ того, какъ въ матушкиной комнатѣ раздался крикъ — онъ увидѣлъ незнакомаго человѣка, поспѣшно бѣжавшаго черезъ клумбы сада къ уличнымъ воротамъ. — (Мы жили въ одноэтажномъ домѣ, выходившемъ окнами въ довольно большой садъ). Садовникъ не успѣлъ разсмотрѣть лицо этого человѣка; но изъ себя онъ былъ худощавъ, носилъ низкую соломенную шляпу и длиннополый сюртукъ.... «Одежда барона!» тот-

часъ мелькнуло у меня въ головѣ. — Догнать его садовникъ не могъ; къ тому же его немедленно позвали въ домъ и послали за докторомъ. Я вошелъ къ матушкѣ; она лежала на постели, блѣднѣй подушки, на которой покоилась ея голова. — Узнавъ меня, она слабо улыбнулась и протянула мнѣ руку. Я подсѣлъ къ ней, сталъ ее разспрашивать; сперва она все отнѣкивалась; наконецъ, однако, созналась, что увидѣла нѣчто такое, что̀ очень ее испугало.— «Кто-нибудь входилъ сюда?» спросилъ я. — «Нѣтъ, торопливо отвѣтила она: никто не приходилъ, но мнѣ показалось.... мнѣ привидѣлось....» Она умолкла и закрыла глаза рукой. Я хотѣлъ-было сообщить ей то, что узналъ отъ садовника — да кстати разсказать мою встрѣчу съ барономъ.... но, почему-то, слова замерли у меня на губахъ. — Я рѣшился, однако, замѣтить матушкѣ, что привидѣнія обыкновенно не показываются днемъ.... «Оставь, прошептала она, пожалуйста; не мучь меня теперь. Ты когда-нибудь узнаешь....» Она умолкла опять. Руки у нея были холодныя, и пульсъ бился скоро и неровно. Я далъ ей выпить лекарство и отошелъ немного въ сторону, чтобы не безпокоить ее. — Цѣлый день она не вставала. Она лежала неподвижно и тихо, лишь изрѣдка глубоко вздыхая и пугливо раскрывая глаза.— Всѣ въ домѣ недоумѣвали.

VIII.

Къ ночи съ матушкой сдѣлалась небольшая лихорадка— и она отослала меня. Я, однако, не ушелъ къ себѣ — а легъ въ сосѣдней комнатѣ на диванѣ. Каждыя четверть часа я вставалъ, подходилъ на цыпочкахъ къ двери, слушалъ.... Все оставалось безмолвнымъ — но матушка едвали заснула въ ту ночь. Когда я рано по утру вошелъ къ

ней — лицо ея казалось воспаленнымъ, глаза блестѣли неестественнымъ блескомъ. Въ теченіе дня ей нѣсколько полегчало, но къ вечеру жаръ опять усилился. — До тѣхъ поръ она упорно молчала, а тутъ вдругъ начала говорить уторопленнымъ, прерывистымъ голосомъ. Она не бредила, въ ея словахъ былъ смыслъ — но не было никакой связи. Незадолго до полуночи, она внезапно, судорожнымъ движеніемъ, приподнялась въ постели (я сидѣлъ возлѣ нея), и тѣмъ же поспѣшнымъ голосомъ, безпрестанно отпивая воду глотками изъ стакана, слабо помахивая руками и ни разу не взглянувъ на меня, принялась разсказывать.... Она останавливалась, дѣлала надъ собой усиліе и продолжала снова.... Такъ это все было странно, точно она все это дѣлала во снѣ, точно она сама отсутствовала, а кто-то другой говорилъ ея устами или заставлялъ ее говорить.

IX.

— Послушай, что̀ я тебѣ разскажу — начала она: — ты уже не молодой мальчикъ; надо тебѣ все знать. У меня была хорошая пріятельница.... Она вышла за человѣка, котораго любила всѣмъ сердцемъ — и она была очень счастлива съ своимъ мужемъ. Въ первый же годъ брака они поѣхали оба въ столицу, чтобы провести тамъ нѣсколько недѣль и повеселиться. Они остановились въ хорошей гостинницѣ и много выѣзжали по театрамъ и собраніямъ. Моя пріятельница была очень недурна собой — ее всѣ замѣчали, молодые люди за ней ухаживали, — но былъ между ними одинъ.... офицеръ. Онъ слѣдилъ за нею неотступно, и гдѣ бы она ни была, она всюду видѣла его черные, злые глаза. Онъ съ ней не познакомился и ни разу съ ней не говорилъ — только все глядѣлъ на нее — такъ дерзко и странно.

Всѣ удовольствія столицы были отравлены его присутствіемъ — она начала уговаривать мужа уѣхать поскорѣе — и они уже совсѣмъ собрались въ путь. Однажды мужъ ея отправился въ клубъ: его пригласили офицеры — одного полка съ тѣмъ офицеромъ — играть въ карты.... Она въ первый разъ осталась одна. Мужъ долго не возвращался — она отпустила служанку, легла въ постель.... И вдругъ ей стало очень жутко — такъ что она даже вся похолодѣла и затряслась. Ей почудился легкій стукъ за стѣною — такъ собака царапаетъ — и она начала глядѣть на ту стѣну. Въ углу горѣла лампада; комната была вся обита штофомъ.... Вдругъ что-то тамъ шевельнулось, приподнялось, раскрылось.... И прямо изъ стѣны, весь черный, длинный, вышелъ тотъ ужасный человѣкъ съ злыми глазами! — Она хотѣла закричать, и не могла. Она совсѣмъ замерла отъ испуга. Онъ подошелъ къ ней быстро, какъ хищный звѣрь, бросилъ ей что-то на голову, что-то душное, тяжелое, бѣлое.... Что̀ было потомъ, не помню.... не помню! Это походило на смерть, на убійство.... Когда, наконецъ, разсѣялся тотъ страшный туманъ — когда я.... когда пріятельница моя пришла въ себя, въ комнатѣ не было никого. Она опять — и долго — не въ силахъ была закричать, закричала наконецъ.... потомъ опять все смѣшалось....

Потомъ она увидѣла возлѣ себя мужа, котораго до двухъ часовъ ночи задержали въ клубѣ.... На немъ лица не было. Онъ сталъ ее разспрашивать, но она ему ничего не сказала.... Потомъ она занемогла.... Однако, помнится, оставшись одна въ комнатѣ, она осмотрѣла то мѣсто въ стѣнѣ.... Подъ штофной обивкой оказалась потаенная дверь. А у самой у ней съ руки пропало обручальное кольцо. Это кольцо было необыкновенной формы: на немъ чередовалось семь золотыхъ звѣздочекъ съ семью серебряными: это была

старинная семейная драгоцѣнность. Мужъ спрашивалъ ее, что̀ сталось съ кольцомъ: она ничего не могла отвѣтить. Мужъ подумалъ, что она какъ-нибудь его обронила, искалъ вездѣ, но нигдѣ не нашелъ. Тоска на него нашла, онъ рѣшился какъ можно скорѣй домой уѣхать, и какъ только докторъ позволилъ — они покинули столицу.... Но представь! Въ самый день отъѣзда, они на улицѣ вдругъ наткнулись на носилки.... На этихъ носилкахъ лежалъ только-что убитый человѣкъ, съ разрубленной головой — и представь! этотъ человѣкъ былъ тотъ самый страшный ночной гость съ злыми глазами.... Его убили за карточной игрой!

Потомъ моя пріятельница уѣхала въ деревню.... сдѣлалась матерью въ первый разъ.... и прожила съ мужемъ нѣсколько лѣтъ. Онъ никогда ничего не узналъ, да и что̀ могла она сказать? Она сама ничего не знала.

Но прежнее счастье исчезло. Темно стало въ ихъ жизни — и никогда уже не прекращалась эта темнота.... Другихъ дѣтей у нихъ не было ни прежде, ни послѣ.... а этотъ сынъ....

Матушка вся затрепетала и закрыла лицо руками....

— Но скажи теперь, продолжала она съ удвоенной силой, развѣ моя знакомая въ чемъ-нибудь виновата? Въ чемъ она могла упрекнуть себя? Она была наказана, но развѣ она не въ правѣ предъ самимъ Богомъ объявить, что наказаніе, которое ее постигло, несправедливо? Такъ почему же ей, какъ преступницѣ, которую терзаютъ угрызенія совѣсти, почему можетъ ей представиться прошедшее въ такомъ ужасномъ видѣ, послѣ столькихъ лѣтъ? Макбетъ убилъ Банко — такъ не удивительно, что ему можетъ мерещиться.... а я....

Но тутъ рѣчь матушки до того запуталась и смѣшалась, что я пересталъ ее понимать.... Я уже не сомнѣвался въ томъ, что она бредитъ.

X.

Какое потрясающее впечатлѣніе произвелъ на меня разсказъ матушки — легко пойметъ всякій! Я съ перваго ея слова догадался, что она говоритъ о самой себѣ, а не о какой-то своей знакомой; ея обмолвка только подтвердила мою догадку. Стало-быть, это точно былъ мой отецъ, котораго я отыскивалъ во снѣ, котораго я видѣлъ на яву! Онъ не былъ убитъ, какъ полагала матушка, а только раненъ.... И онъ приходилъ къ ней и бѣжалъ, испуганный ея испугомъ. Все мнѣ стало вдругъ понятно: и чувство невольнаго отвращенія ко мнѣ, которое иногда пробуждалось въ моей матери, и ея постоянная грусть, и наша уединенная жизнь.... Помнится, голова у меня ходила кругомъ — и я хватался за нее обѣими руками, какъ-бы желая ее удержать на мѣстѣ. Но одна мысль засѣла во мнѣ гвоздемъ; я рѣшился, непремѣнно, во что бы то ни стало, снова найти этого человѣка! Зачѣмъ? съ какою цѣлью? — я не давалъ себѣ отчета, но отыскать.... отыскать его — это сдѣлалось для меня вопросомъ жизни или смерти! На слѣдующее утро матушка, наконецъ, успокоилась.... лихорадка прошла.... она заснула. Препоручивъ ее попеченіямъ нашихъ хозяевъ и слугъ, я отправился на поиски.

XI.

Прежде всего я, разумѣется, направился въ кофейную, гдѣ я встрѣтилъ барона, но въ кофейной никто не зналъ и даже не замѣтилъ его; онъ былъ случайнымъ ея посѣтителемъ. Арапа хозяева замѣтили — фигура его слишкомъ бросалась въ глаза; но кто онъ былъ, гдѣ пребывалъ —

также никто не вѣдалъ. Оставивъ на всякій случай мой адресъ въ кофейной, я принялся ходить по улицамъ и набережнымъ города, около пристани, по бульварамъ, заглядывалъ во всѣ публичныя заведенія, и нигдѣ не нашелъ ничего похожаго ни на барона, ни на его товарища!... Не разслыхавъ фамиліи барона, я былъ лишенъ возможности обратиться къ полиціи; однако далъ знать подъ рукою двумъ, тремъ блюстителямъ общественнаго порядка (правда, они съ изумленіемъ смотрѣли на меня и не совсѣмъ мнѣ довѣряли), что вознагражу щедро ихъ усердіе, если имъ удастся напасть на слѣдъ тѣхъ двухъ личностей, наружность которыхъ я постарался описать имъ сколько возможно точнѣе. Прорыскавъ такимъ образомъ до самаго обѣда, я вернулся домой изнуренный. Матушка поднялась съ постели; но къ обычной ея грусти примѣшивалось что-то новое, какое-то задумчивое недоумѣніе, которое какъ ножемъ меня рѣзало по сердцу. Вечеръ я просидѣлъ съ нею. Мы почти ничего не говорили: она раскладывала пасьянсъ, я молча смотрѣлъ ей въ карты. Она ни единымъ словомъ не упомянула ни о своемъ разсказѣ, ни о томъ, что случилось наканунѣ. Мы точно оба тайно уговорились не касаться всѣхъ этихъ жуткихъ и странныхъ происшествій.... Ей какъ будто было досадно на себя и совѣстно того, что̀ у нея вырвалось невольно; а можетъ быть, она и не помнила хорошенько, что она такое сказала въ полу-горячешномъ бреду — и надѣялась, что я ее пощажу.... Да и точно, я щадилъ ее, и она это чувствовала; она, по вчерашнему, избѣгала моего взора. Всю ночь я не могъ заснуть. — На дворѣ внезапно поднялась страшная буря. Вѣтеръ вылъ и рвался неистово, стекла оконъ звенѣли и дребезжали, въ воздухѣ носились отчаянные визги и стоны, точно что-то тамъ, наверху, разрывалось и съ бѣшенымъ плачемъ пролетало надъ потрясенными домами. Передъ зарей я забылся дремотой.... вдругъ мнѣ

почудилось, что кто-то вошелъ ко мнѣ въ комнату и позвалъ меня, произнесъ мое имя — не громкимъ, но рѣшительнымъ голосомъ. Я приподнялъ голову и не увидѣлъ никого; но, странное дѣло! я не только не испугался — я обрадовался; во мнѣ внезапно явилась увѣренность, что теперь я непремѣнно достигну цѣли. Я наскоро одѣлся и вышелъ изъ дому.

XII.

Буря утихла.... но еще чувствовались ея послѣднія трепетанія. Время было раннее — на улицахъ не попадались люди, во многихъ мѣстахъ валялись обломки трубъ, черепицы, доски разметанныхъ заборовъ, сломанные сучья деревьевъ.... «Что̀ происходило ночью на морѣ?» невольно думалось при видѣ слѣдовъ, оставленныхъ бурей. Я хотѣлъ-было пойдти на пристань, но мои ноги, какъ бы повинуясь неотразимому влеченію, понесли меня въ другую сторону. Не прошло десяти минутъ, какъ уже я находился въ части города, никогда до тѣхъ поръ мною не посѣщенной. Я шелъ не быстро, но не останавливаясь, шагъ за шагомъ, съ страннымъ ощущеніемъ на сердцѣ; я ожидалъ чего-то необыкновеннаго, невозможнаго, и въ то же время я былъ увѣренъ, что это необыкновенное сбудется.

XIII.

И вотъ оно наступило, это необыкновенное, это неожиданное! Внезапно, шагахъ въ двадцати впереди меня, я увидѣлъ того самаго арапа, который въ кофейной заговорилъ при мнѣ съ барономъ! Закутанный въ тотъ самый плащъ, который я уже тогда замѣтилъ на немъ, онъ словно

вынырнулъ изъ земли и, повернувшись ко мнѣ спиною, шелъ проворными шагами по узкому тротуару кривого переулка! Я тотчасъ бросился ему въ догонку, но и онъ удвоилъ шаги, хоть и не оглянулся назадъ, и вдругъ круто вильнулъ за уголъ выдвинувшагося дома. Я добѣжалъ до этого угла, обогнулъ его также скоро, какъ арапъ.... Что за чудо! Передо мною длинная, узкая и совершенно пустая улица; утренній туманъ залилъ ее всю своимъ тусклымъ свинцомъ, — но взоръ мой проникаетъ до самаго ея конца, я могу перечесть всѣ ея строенія.... и ни одно живое существо нигдѣ не шевелится! Высокій арапъ въ плащѣ также внезапно исчезъ, какъ и появился! Я изумился.... но на одно только мгновеніе. Другое чувство тотчасъ овладѣло мною; эта улица, которая растянулась передъ моими глазами, вся нѣмая и какъ бы мертвая — я ее узналъ! Это была улица моего сна. Я вздрагиваю, я пожимаюсь — утро такъ свѣжо — и тотчасъ же ни мало ни колеблясь, съ какимъ-то испугомъ увѣренности отправляюсь впередъ!

Я начинаю искать глазами.... Да вотъ онъ: вотъ направо, выходя угломъ на тротуаръ, вотъ и домъ моего сна, вотъ и старинныя ворота съ каменными завитушками по обѣимъ сторонамъ.... Правда, окна дома не круглыя, а четырехъ-угольныя.... но это не важно.... Я стучусь въ ворота, стучусь два, три раза, все громче и громче.... Ворота отворяются медленно, съ тяжелымъ скрипомъ, какъ бы зѣвая. Передо мной молодая служанка съ растрепанной головой, съ заспанными глазами. Она, видно, только-что проснулась. — Здѣсь живетъ баронъ? спрашиваю я, а самъ обѣгаю быстрымъ взоромъ глубокій, тѣсный дворъ..... Такъ; все такъ.... вотъ и доски, и бревна, видѣнныя мною во снѣ.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ мнѣ служанка, — баронъ здѣсь не живетъ.

— Какъ нѣтъ! не можетъ быть!

— Теперь его нѣтъ. Онъ вчера уѣхалъ.

— Куда?

— Въ Америку.

— Въ Америку! повторилъ я невольно. Да онъ вернется?

Служанка подозрительно взглянула на меня.

— Этого мы не знаемъ. Можетъ быть, совсѣмъ не вернется.

— Да долго ли онъ здѣсь жилъ?

— Недолго, съ недѣлю. Теперь его совсѣмъ нѣтъ.

— А какъ его звали по фамиліи, этого барона? Служанка уставилась на меня.

— Вы не знаете его фамиліи? Мы его просто звали барономъ. Эй! Петръ! крикнула она, видя, что я порываюсь впередъ. — Иди-ка сюда; какой-то чужой здѣсь все разспрашиваетъ.

Изъ дому появилась нескладная фигура дюжаго работника.

— Что такое? Что надо? спросилъ онъ сиплымъ голосомъ — и угрюмо выслушавъ меня, повторилъ сказанное служанкой.

— Да кто же здѣсь живетъ? промолвилъ я.

— Нашъ хозяинъ.

— А кто онъ?

— Столяръ. По этой улицѣ все столяры.

— Можно его видѣть?

— Нельзя теперь, онъ спитъ.

— А въ домъ нельзя войдти?

— Нельзя. Ступайте.

— Ну, а послѣ можно будетъ вашего хозяина видѣть?

— Отъ чего же? Можно. Его всегда можно.... На то онъ торговецъ. Только теперь ступайте. Вишь, какая рань.

— Ну, а тотъ арапъ? спросилъ я вдругъ.

Работникъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ сперва на меня, потомъ на служанку.

— Какой тутъ арапъ? проговорилъ онъ наконецъ. — Ступайте, господинъ. Послѣ можете придти. Съ хозяиномъ потолкуете.

Я вышелъ на улицу. Ворота разомъ захлопнулись за мною тяжко и рѣзко, безъ скрипу на этотъ разъ.

Я хорошенько замѣтилъ улицу, домъ и пошелъ прочь, только не домой. — Я ощущалъ нѣчто въ родѣ разочарованія. Все, что случилось со мной, было такъ странно, такъ необыкновенно — а между тѣмъ, какъ оно глупо кончилось! Я былъ увѣренъ, я былъ убѣжденъ, что я увижу въ этомъ домѣ знакомую мнѣ комнату, — и посреди ея моего отца, барона, въ шлафрокѣ и съ трубкой.... А вмѣсто того — хозяиномъ дома столяръ, и его можно посѣщать сколько угодно — и, пожалуй, мебель ему заказать....

А отецъ уѣхалъ въ Америку! И что̀ мнѣ теперь остается дѣлать?... Разсказать все матери — или на вѣкъ схоронить самое воспоминаніе объ этой встрѣчѣ? Я рѣшительно не былъ въ состояніи помириться съ мыслью, что къ такому сверхъестественному, таинственному началу могъ примкнуть такой безсмысленный, такой ординарный конецъ!

Я не хотѣлъ вернуться домой, и пошелъ, куда глаза глядятъ, вонъ изъ города.

XIV.

Я шелъ понуривъ голову, безъ мыслей, почти безъ ощущеній, но весь погруженный въ самого себя. — Равномѣрный, глухой и сердитый шумъ вывелъ меня изъ оцѣпенѣнія. Я поднялъ голову: то шумѣло и гудѣло море, шагахъ

въ пятидесяти отъ меня. Я увидалъ, что я иду по песку дюны. Расколебленное ночной бурей, море до самаго горизонта бѣлѣло барашками, и крутые гребни длинныхъ валовъ чередою катились и разбивались о плоскій берегъ. Я приблизился къ нимъ — и пошелъ вдоль самой черты, оставляемой ихъ отливомъ и приливомъ на желтомъ рубчатомъ пескѣ, усѣянномъ обрывками морскихъ тягучихъ растеній, обломками раковинъ, змѣевидными лентами осоки. Острокрылыя чайки, съ жалкимъ крикомъ налетая по вѣтру изъ далекой воздушной бездны, вздымались, бѣлыя какъ снѣгъ, на сѣромъ облачномъ небѣ, падали круто — и словно перескакивая съ волны на волну, уходили вновь и пропадали серебряными искрами въ полосахъ клубившейся пѣны. Нѣкоторыя изъ нихъ, я замѣтилъ, упорно вились надъ крупнымъ камнемъ, одиноко торчавшимъ среди однообразной скатерти песчаныхъ береговъ. Грубая, морская осока росла неровными кучками съ одной стороны камня; а тамъ, гдѣ ея спутанные стебли выходили изъ желтаго солончака, что̀-то чернѣло, что̀-то длинноватое, округленное, не слишкомъ большое.... Я сталъ присматриваться.... Какой-то темный предметъ лежалъ тамъ, лежалъ неподвижно возлѣ камня.... Предметъ этотъ становился все яснѣе, все опредѣленнѣе, чѣмъ ближе я подходилъ....

Мнѣ оставалось до камня всего шаговъ тридцать....

Да это очертаніе человѣческаго тѣла! Это трупъ; это утопленникъ, выброшенный моремъ! Я приблизился къ самому камню.

Это трупъ барона, моего отца! Я остановился какъ вкопанный. Тутъ только я понялъ, что меня съ самаго утра водили какія-то невѣдомыя силы — что я въ ихъ власти — и въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній ничего въ моей душѣ не было, кромѣ немолчнаго морского плеска — и нѣмого страха передъ овладѣвшей мною судьбой....

XV.

Онъ лежалъ на спинѣ, склонясь немного на бокъ, закинувъ лѣвую руку за голову.... правая была подвернута подъ его перегнутое тѣло. Вязкая тина всосала концы ногъ, обутыхъ въ высокія матросскіе сапоги; короткая синяя куртка, вся пропитанная морскою солью не разстегнулась; красный шарфъ обхватывалъ тугимъ узломъ его шею. Смуглое лицо, обращенное къ небу, какъ будто посмѣивалось; изъ-подъ вздернутой верхней губы виднѣлись частые мелкіе зубы; тусклые зрачки полузакрытыхъ глазъ едва отличались отъ потемнѣвшихъ бѣлковъ; покрытые пузырьками пѣны, засоренные волосы разсыпались по землѣ и обнажили гладкій лобъ съ лиловатою чертою шрама; узкій носъ вздымался рѣзкой, бѣловатой чертой между впалыми щеками. Буря прошедшей ночи сдѣлала свое дѣло.... Онъ не увидѣлъ Америки! Человѣкъ, оскорбившій мою мать, обезобразившій ея жизнь — мой отецъ — да! мой отецъ — въ этомъ я не могъ сомнѣваться — лежалъ, безсильно распростертый, въ грязи у ногъ моихъ. Я испытывалъ чувство удовлетворенной мести, и жалости, и отвращенія, и ужаса, пуще всего.... двойного ужаса: и передъ тѣмъ, что я видѣлъ — и передъ тѣмъ, что свершилось. То злое, то преступное, — о которомъ я уже говорилъ, тѣ непонятные порывы поднимались во мнѣ.... душили меня. Ага! думалось мнѣ: вотъ отчего я такой.... вотъ когда сказывается кровь! Я стоялъ возлѣ трупа и глядѣлъ и ждалъ: не шевельнутся ли эти мертвые зрачки, не дрогнутъ ли эти окоченѣлыя губы? — Нѣтъ! все неподвижно; самая осока, куда забросилъ его прибой, точно замерла; даже чайки отлетѣли — ни одного обломка нигдѣ, ни доски, ни разбитой снасти. Пустота всюду.... только

онъ — да я — да шумѣвшее вдали море. Я оглянулся назадъ: та же пустота и тамъ: цѣпь безжизненныхъ холмовъ на небосклонѣ.... вотъ и все! Жутко мнѣ было оставить этого несчастнаго въ этомъ одиночествѣ, въ прибрежной тинѣ, на съѣденіе рыбамъ и птицамъ; внутренній голосъ говорилъ мнѣ, что я долженъ былъ отыскать, позвать людей, если не для помощи — гдѣ ужъ тутъ! — такъ хоть для того, чтобы прибрать, отнести его подъ жилой кровъ.... но несказанный страхъ вдругъ обнялъ меня. Мнѣ показалось, что этотъ мертвый человѣкъ знаетъ, что я пришелъ сюда, что онъ самъ устроилъ эту послѣднюю встрѣчу — мнѣ даже почудилось то знакомое, глухое бормотанье.... Я отбѣжалъ въ сторону.... оглянулся еще разъ.... Что̀-то блестящее бросилось мнѣ въ глаза: оно остановило меня. То былъ золотой ободокъ на откинутой рукѣ трупа.... Я узналъ обручальное кольцо моей матери. Помню, какъ я заставилъ себя вернуться, подойти, нагнуться.... помню клейкое прикосновеніе холодныхъ пальцевъ, помню, какъ я задыхался и жмурился и скрипѣлъ зубами, срывая упорное кольцо....

Наконецъ оно сорвано — и я бѣгу, бѣгу прочь, сломя голову, — и что-то несется за мною, и настигаетъ и ловитъ меня.

XVI.

Все, что я испыталъ и перечувствовалъ, было, вѣроятно, написано на моемъ лицѣ, когда я вернулся домой. Матушка, какъ только я вошелъ въ ея комнату, внезапно выпрямилась, и такъ настойчиво-вопросительно поглядѣла на меня, что я, безуспѣшно попытавшись объясниться, кончилъ тѣмъ, что молча протянулъ ей кольцо. Она поблѣднѣла страшно, глаза ея раскрылись необычайно и померт-

вѣли, какъ у *того*, — она слабо крикнула, схватила кольцо, пошатнулась, упала ко мнѣ на грудь и такъ и замерла на ней, закинувъ голову назадъ и пожирая меня этими широкими, обезумѣвшими глазами. Я обнялъ ея станъ обѣими руками, и стоя на мѣстѣ, не шевелясь, не спѣша, разсказалъ ей тихимъ голосомъ все, безъ малѣйшей утайки: мой сонъ и встрѣчу, и все, все.... Она выслушала меня до конца, не промолвивъ ни единаго слова, только грудь все сильнѣй и сильнѣй дышала — и глаза внезапно оживились и опустились. Потомъ она надѣла кольцо на безъимянный палецъ и, отойдя немного, начала доставать мантилью и шляпу. Я ее спросилъ, куда она собирается идти. Она подняла на меня удивленный взоръ и хотѣла отвѣтить, но голосъ измѣнилъ ей. Она содрогнулась нѣсколько разъ, потерла себѣ руки, какъ бы стараясь согрѣться и, наконецъ, проговорила: «пойдемъ сейчасъ туда».

— Куда, матушка?

— Гдѣ онъ лежитъ.... я хочу видѣть.... я хочу узнать... я узнаю....

Я попытался-было уговорить ее не ходить; но съ ней чуть не сдѣлалось нервическаго припадка. Я понялъ, что противиться ея желанію было невозможно — и мы отправились.

XVII.

И вотъ я опять иду по песку дюны — но иду уже не одинъ. Я веду подъ руку матушку. Море отодвинулось, ушло еще дальше; — оно утихаетъ — но и ослабѣвшій его шумъ все такъ же грозенъ и зловѣщъ. Вотъ, наконецъ, показался впереди одинокій камень — вотъ и осока. — Я вглядываюсь, я стараюсь различить тотъ округленный, ле-

жавшій на землѣ предметъ — но я ничего не вижу. Мы подходимъ ближе; я невольно замедляю шаги. Но гдѣ же то черное, неподвижное? Одни стебли осоки темнѣютъ надъ пескомъ, уже засохшимъ. Мы подходимъ къ самому камню... Трупа нѣтъ нигдѣ — и только на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ лежалъ, еще осталась впадина, и можно понять, гдѣ находились руки, ноги.... Кругомъ осока какъ будто помята, — и замѣтны слѣды ступней одного человѣка; они идутъ черезъ дюну — потомъ пропадаютъ, достигнувъ кремнистаго кряжа.

Мы съ матушкой переглядываемся и сами пугаемся того, что прочли на своихъ лицахъ....

Ужъ не всталъ ли онъ самъ и удалился?

— Вѣдь ты его мертвымъ видѣлъ? спрашиваетъ она шопотомъ.

Я могъ только головой кивнуть. Трехъ часовъ не прошло съ тѣхъ поръ, какъ я наткнулся на трупъ барона.... Кто нибудь открылъ и унесъ его. — Надо было отыскать, кто это сдѣлалъ, и что съ нимъ сталось?

Но прежде надо было озаботиться о матушкѣ.

XVIII.

Пока она шла къ роковому мѣсту, ее била лихорадка, но она владѣла собою. Исчезновеніе трупа поразило ее, какъ окончательное несчастье. На нее нашелъ столбнякъ. Я боялся за ея разсудокъ. Съ большимъ трудомъ доставилъ я ее домой. Я ее опять уложилъ въ постель, опять приставилъ къ ней доктора; но какъ только матушка нѣсколько опомнилась, она тотчасъ потребовала, чтобы я немедленно отправился отыскивать «этого человѣка». Я пови-

новался. Но несмотря на всевозможныя мѣры, я ничего не открылъ. Я былъ нѣсколько разъ въ полиціи, посѣтилъ всѣ близъ лежавшія деревни, напечаталъ нѣсколько объявленій въ газетахъ, собиралъ всюду справки—и напрасно! Правда, до меня дошло извѣстіе, что въ одну изъ приморскихъ деревушекъ былъ доставленъ утопленникъ.... я тотчасъ поскакалъ туда, но его уже похоронили, да и по примѣтамъ онъ не походилъ на барона. Я узналъ, на какомъ кораблѣ онъ уплылъ въ Америку; сперва всѣ были увѣрены, что корабль этотъ погибъ во время бури; но, нѣсколько мѣсяцевъ спустя, стали ходить слухи, что его видѣли на якорѣ въ Ньюіоркской гавани. Не зная, что предпринять, я принялся отыскивать видѣннаго мною арапа, предлагалъ ему черезъ газеты довольно значительную сумму денегъ, если онъ отъявится въ нашъ домъ. Какой-то высокій арапъ, въ плащѣ, дѣйствительно приходилъ къ намъ въ мое отсутствіе.... Но поразспросивъ служанку, онъ внезапно удалился и не возвращался болѣе.

Такъ и простылъ слѣдъ моего.... моего отца; такъ и канулъ онъ безвозвратно въ нѣмую тьму. — Съ матушкой мы никогда не говорили о немъ; только однажды, помнится, она подивилась, отчего это я прежде никогда не упоминалъ о моемъ странномъ снѣ; и тутъ же прибавила; «значитъ, онъ точно....» и не договорила своей мысли. Матушка долго была больна, да и послѣ выздоровленія прежнія наши отношенія не возобновились. Ей было неловко со мною — до самой ея смерти.... Именно неловко. А этому горю нельзя помочь. Все сглаживается, воспоминанія о самыхъ трагическихъ семейныхъ событіяхъ постепенно теряютъ свою силу и жгучесть; но если чувство неловкости водворилось между двумя близкими людьми — этого ничѣмъ истребить нельзя! — Я уже никогда не видывалъ того сна, который, бывало, такъ меня тревожилъ; я уже не «отыскиваю» своего

отца; но иногда мнѣ чудилось — и чудится до сихъ поръ — во снѣ, что я слышу какіе-то далекіе вопли, какіе-то несмолкаемыя, заунывныя жалобы; звучатъ онѣ гдѣ-то за высокой стѣною, черезъ которую перелѣзть невозможно, надрываютъ онѣ мнѣ сердце — и плачу я съ закрытыми глазами — и никакъ я не въ состояніи понять, что это: живой ли человѣкъ стонетъ — или это мнѣ слышится протяжный и дикій вой взволнованнаго моря? И вотъ онъ снова переходитъ въ то звѣриное бормотаніе — и я просыпаюсь съ тоской и ужасомъ на душѣ.

1876 г.

РАЗСКАЗЪ ОТЦА АЛЕКСѢЯ.

....Лѣтъ двадцать тому назадъ, мнѣ пришлось объѣхать, — въ качествѣ частнаго ревизора, — всѣ, довольно многочисленныя, имѣнія моей тетки. Приходскіе священники, съ которыми я считалъ своей обязанностью познакомиться, оказывались личностями, довольно однообразными, и какъ-бы на одну мѣрку сшитыми; наконецъ, чуть ли не въ послѣднемъ изъ обозрѣнныхъ мною имѣній, я наткнулся на священника, не похожаго на своихъ собратьевъ. Это былъ человѣкъ весьма старый, почти дряхлый; и если бы не усиленныя просьбы прихожанъ, которые его любили и уважали, онъ бы давно отпросился на покой. Меня поразили въ отцѣ Алексѣѣ (такъ звали священника) двѣ особенности. Во-первыхъ, онъ не только ничего не выпросилъ для себя, но прямо заявилъ, что ни въ чемъ не нуждается, а во-вторыхъ, я ни на какомъ человѣческомъ лицѣ не видывалъ болѣе грустнаго, вполнѣ безучастнаго, — какъ говорится, — «убитаго» выраженія. Черты этого лица были обыкновенныя, деревенскаго типа; морщинистый лобъ, маленькіе сѣрые глазки, крупный носъ, бородка клиномъ, кожа смуглая и загорѣлая.... Но, выраженіе!... выраженіе!... Въ тускломъ взглядѣ едва — и то скорбно — теплилась

жизнь; и голосъ былъ какой-то тоже неживой, тоже тусклый. Я занемогъ и пролежалъ нѣсколько дней; отецъ Алексѣй заходилъ ко мнѣ по вечерамъ — не бесѣдовать, а играть въ дурачки. Игра въ карты, казалось, развлекала его еще больше, чѣмъ меня. Однажды, оставшись нѣсколько разъ сряду въ дуракахъ (чему отецъ Алексѣй порадовался немало), я завелъ рѣчь о его прошлой жизни, о тѣхъ горестяхъ, которыя оставили на немъ такой явный слѣдъ. Отецъ Алексѣй сперва долго упирался, но кончилъ тѣмъ, что разсказалъ мнѣ свою исторію. Я ему, должно быть, чѣмъ-нибудь да полюбился; а то бы онъ не былъ со мною такъ откровененъ.

Я постараюсь передать его разсказъ его же словами. Отецъ Алексѣй говорилъ очень просто и толково, безъ всякихъ семинарскихъ или провинціальныхъ замашекъ и оборотовъ рѣчи. Я не въ первый разъ замѣтилъ, что сильно сломанные и смирившіеся русскіе люди всѣхъ сословій и званій выражаются именно такимъ языкомъ.

— .... У меня была жена добрая и степенная, такъ началъ онъ; — я ее любилъ душевно — и прижилъ съ нею восемь человѣкъ дѣтей; но почти всѣ умерли въ младыхъ лѣтахъ. Одинъ мой сынъ вышелъ въ архіереи — и скончался не такъ давно у себя въ епархіи; о другомъ сынѣ — Яковомъ его звали — я вотъ теперь разскажу вамъ. Отдалъ я его въ семинарію, въ городъ Т....ъ; — и скоро сталъ получать самыя утѣшительныя о немъ извѣстія: первымъ былъ ученикомъ по всѣмъ предметамъ! Онъ и дома, въ отрочествѣ, отличался прилежаніемъ и скромностью; бывало — день пройдетъ — и не услышишь его.... все съ книжкой сидитъ да читаетъ. Никогда онъ намъ съ попадьей

не причинилъ непріятности самомалѣйшей; смиренникъ былъ. Только иногда задумывался не по лѣтамъ, и здоровьемъ былъ слабенекъ. Разъ съ нимъ чудно̀е нѣчто произошло. Десять лѣтъ ему тогда минуло. Отлучился онъ изъ дому— подъ самый Петровъ день — на зорькѣ: да почти цѣлое утро пропадалъ. Наконецъ, воротился. Мы съ женой спрашиваемъ его: гдѣ былъ? Въ лѣсъ, говоритъ, гулять ходилъ — да встрѣтилъ тамъ нѣкоего зеленаго старичка, который со мною много разговаривалъ — и такіе мнѣ вкусные орѣшки далъ! — «Какой-такой зеленый старичекъ?» спрашиваемъ мы. — Не знаю, говоритъ, никогда его доселѣ не видывалъ. Маленькій старичекъ, съ горбиною, ножками все сѣменитъ и посмѣивается — и весь, какъ листъ, зеленый. — «Какъ, говоримъ мы, — и лицо зеленое?» — И лицо, и волосы, и самые даже глаза. — Никогда нашъ сынъ не лгалъ: но тутъ мы съ женой усомнились. «Ты, чай, заснулъ въ лѣсу, на припёкѣ, да и видѣлъ старичка того во снѣ». — Не спалъ я, говоритъ, николѝ; да что̀, говоритъ, вы не вѣрите? — вотъ у меня въ карманѣ и орѣшекъ одинъ остался. Вынулъ Яковъ изъ кармана тотъ орѣшекъ, показываетъ намъ.... Ядрышко небольшое, въ родѣ каштанчика, словно шероховатое; на наши обыкновенные орѣхи не похоже. Я его спряталъ, хотѣлъ-было доктору показать.... да запропастилось оно.... не нашелъ потомъ.

— Ну-съ, отдали мы его въ семинарію — и, какъ я вамъ уже докладывалъ, веселилъ онъ насъ своими успѣхами! Такъ мы съ супругой и полагали, что выдетъ изъ него человѣкъ! На побывку домой придетъ — любо на него глядѣть: такой благообразный, озорства за нимъ никакого;— всѣмъ-то онъ нравится, всѣ насъ поздравляютъ. Только все тѣломъ худенекъ — и въ лицѣ настоящей краски нѣтъ. Вотъ уже девятнадцатый годъ ему наступилъ — скоро ученью конецъ! И получаемъ мы тутъ вдругъ отъ него

письмо. Пишетъ онъ намъ: «Батюшка и матушка, не прогнѣвайтесь на меня, разрѣшите мнѣ идти по свѣтскому; не лежитъ сердце мое къ духовному званію, ужасаюсь я отвѣтственности, боюсь грѣха — сомнѣнія во мнѣ возродились! Безъ вашего родительскаго разрѣшенія и благословенія ни на что не отважусь — но скажу вамъ одно: боюсь я самого себя — ибо много размышлять началъ». Доложу я вамъ, милостивый государь: опечалился я гораздо отъ этого письма — словно рогатиной мнѣ противъ сердца толкнуло — потому, вижу: не будетъ мнѣ на моемъ мѣстѣ преемника! Старшій сынъ — монахъ; а этотъ вовсе изъ своего званія выступить желаетъ. Горько мнѣ еще потому: въ нашемъ приходѣ близко двухъ-сотъ годовъ все изъ нашей семьи священники живали! Однако, думаю: нечего противъ рожна переть; знать, ужъ такое ему предопредѣленіе вышло. Что̀ ужъ за пастырь, коли сомнѣніе въ себѣ допустилъ! Посовѣтовался я съ женою — и написалъ ему въ такомъ смыслѣ: «Сынъ мой, Яковъ, одумайся хорошенько — десять разъ примѣрь, одинъ разъ отрѣжь — трудности на свѣтской службѣ пребываютъ великія, холодъ да голодъ, да къ нашему сословію пренебреженіе! И знай ты напередъ: никто руку помощи не подастъ; не пеняй потомъ, смотри! Желаніе мое, ты самъ знаешь, всегда было такое, чтобы ты меня замѣнилъ; но ежели ты точно въ своемъ призваніи усомнился и пошатнулся въ вѣрѣ — то и удерживать тебя мнѣ не приходится. Буди воля Господня! Мы съ матерью твоею въ благословеніи тебѣ не отказываемъ». Отвѣчалъ мнѣ Яковъ благодарственнымъ письмомъ. «Обрадовалъ ты меня, молъ, батюшка; есть мое намѣреніе посвятить себя ученому званію — и протекція у меня есть; поступлю въ университетъ, буду докторомъ; потому, — къ наукѣ большую склонность чувствую». Прочелъ я Яшино письмо — и пуще опечалился; а подѣлиться горемъ скоро

стало не съ кѣмъ: старуха моя о-ту пору простудилась сильно и скончалась — отъ этой ли самой простуды — или Господь ее, любя, прибралъ — неизвѣстно. Заплачу, заплачу, я, бывало, вдовецъ одинокій, — а что̀ подѣлаешь? Такъ тому, знать, и быть. И радъ бы въ землю уйти.... да тверда она.... не разступается. А самъ сына поджидаю; потому — онъ извѣстилъ меня: «прежде, молъ, чѣмъ въ Москву поѣду, домой навѣдаюсь». И точно, пріѣхалъ онъ въ родительскій домъ — но только пожилъ въ немъ недолго. Словно что̀ его торопило: такъ бы, кажись, на крылахъ полетѣлъ въ Москву, въ университетъ свой любезный! Сталъ я разспрашивать его о сомнѣніяхъ — какая, дескать, причина? — но и разговоровъ большихъ отъ него не услышалъ: одна мысль затесалась въ голову — и полно! Ближнимъ, говоритъ, хочу помогать. Ну-съ, поѣхалъ онъ отъ меня — почитай, что ни гроша съ собой не взялъ — только малость изъ платья. Ужъ очень онъ на себя надѣялся! И не по-пусту. Экзаменъ выдержалъ отлично, въ студенты поступилъ, уроки по частнымъ домамъ пріобрѣлъ.... Твердъ онъ былъ въ древнихъ-то языкахъ! И какъ вы полагаете? Мнѣ же деньги высылать вздумалъ. Повеселѣлъ я маленько — конечно не изъ-за денегъ — я ихъ ему назадъ отослалъ и побранилъ его даже; а повеселѣлъ, потому что вижу: путь въ маломъ будетъ. Только не долго длилось мое веселье.

— Пріѣхалъ онъ на первыя вакаціи.... И что за чудо! Не узнаю я моего Якова! Скучный такой сталъ, угрюмый — слова отъ него не добьешься. И въ лицѣ перемѣнился: почитай на десять лѣтъ постарѣлъ. — Онъ и прежде застѣнчивъ былъ — что̀ и говорить! — Чуть что̀ — сейчасъ заробѣетъ и закраснѣется весь, какъ дѣвица.... Но подниметъ онъ глаза — такъ ты и видишь, что свѣтлехонько у него на душѣ! — А теперь не то. Не робѣетъ онъ — а ди-

чится, словно волкъ — и глядитъ все изъ подлобья. — Ни тебѣ улыбки, ни тебѣ привѣта — какъ есть камень! Примусь я его разспрашивать — либо молчитъ, либо огрызается. Сталъ я думать: ужъ не запилъ ли онъ — сохрани Богъ! либо къ картамъ пристрастья не получилъ ли? — или вотъ еще на счетъ женской слабости не приключилось ли что? Въ юныя лѣта присухи дѣйствуютъ сильно — ну, да въ такомъ большомъ городѣ какъ Москва, не безъ худыхъ примѣровъ и оказій! — Однако нѣтъ: ничего подобнаго не видать. Питье его — квасъ да вода; на женскій полъ не взираетъ — да и вообще съ людьми не знается. И что̀ мнѣ было горше всего; нѣту въ немъ прежняго довѣрья ко мнѣ, — равнодушіе какое-то проявилось: точно ему все свое опостылѣло. Заведу я бесѣду о наукахъ, объ университетѣ — и тутъ настоящаго отвѣта добиться не могу. Въ церковь онъ однако ходилъ, но тоже не безъ странности: вездѣ-то онъ суровъ да хмуръ — а тутъ въ церкви-то, все словно ухмыляется. Пожилъ онъ у меня такимъ маперомъ недѣль съ шесть — да опять въ Москву! — Изъ Москвы написалъ мнѣ раза два — и показалось мнѣ изъ его писемъ, будто онъ опять приходитъ въ чувство. Но, представьте вы себѣ мое удивленіе, милостивый государь! Вдругъ, въ самый развалъ зимы, передъ святками — является онъ ко мнѣ! — Какимъ манеромъ? Какъ? Что? Знаю я, что объ эту пору вакацій нѣтъ. — Ты изъ Москвы? спрашиваю я. — Изъ Москвы. — А какъ же.... Университетъ-то? — Университетъ я бросилъ. — Бросилъ? — Точно такъ. — Навсегда? — Навсегда. — Да ты, Яковъ, боленъ, что ли? — Нѣтъ, говоритъ, батюшка, я не боленъ: а только вы, батюшка, меня не тревожьте и не разспрашивайте; а то я отсюда уйду — и только вы меня и видали. Говоритъ мнѣ Яковъ: не боленъ — а у самого лицо такое, что я даже ужаснулся! Страшное, темное, нечеловѣческое словно! —

Щеки этта подтянуло, скулы выпятились, кости да кожа, голосъ какъ изъ бочки.... а глаза.... Господи Владыко! Что это за глаза? Грозные, дикіе, все по сторонамъ мечутся — и поймать ихъ нельзя; брови сдвинуты, губы тоже какъ-то на бокъ скрючены.... Что̀ сталось съ моимъ Іосифомъ Прекраснымъ, съ тихоней моимъ? — Ума не приложу. Ужъ не рехнулся ли онъ? — думаю я такъ-то. Скитается какъ привидѣніе, по ночамъ не спитъ, — а то вдругъ возьметъ да уставится въ уголъ и словно весь окоченѣетъ.... Жутко таково! — Хоть онъ и грозилъ мнѣ, что уйдетъ изъ дому, если я его въ покоѣ не оставлю — но вѣдь я отецъ! Послѣдняя моя надежда разрушается — а я молчи! — Вотъ, однажды, улуча время, сталъ я слезно молить Якова, памятью покойницы его матери заклинать его сталъ: скажи-молъ мнѣ, какъ отцу по плоти и по духу, Яша, что̀ съ тобою? Не убивай ты меня — объяснись, облегчи свое сердце! Ужъ не загубилъ ли ты какую христіанскую душу? Такъ покайся! — Ну, батюшка, говоритъ онъ мнѣ вдругъ — (а дѣло-то пришлось къ ночи) — разжалобилъ ты меня; скажу я тебѣ всю правду! Души я никакой не загубилъ — а моя собственная душа пропадаетъ. — Какимъ это образомъ? — А вотъ какъ.... И тутъ Яковъ впервое на меня глаза поднялъ.... Вотъ уже четвертый мѣсяцъ, началъ онъ.... Но вдругъ у него рѣчь оборвалась — и тяжело дышать онъ сталъ. — Что̀ такое четвертый мѣсяцъ? Сказывай, не томи! — Четвертый мѣсяцъ какъ я его вижу. — *Его?* Кого его? — Да того.... что̀ къ ночи называть неудобно. — Я такъ и похолодѣлъ весь и затрясся. — Какъ?! говорю — ты *его* видишь? — Да. — И теперь видишь? — Да. — Гдѣ? — А самъ я и обернуться не смѣю — и говоримъ мы оба шопотомъ. — А вонъ гдѣ.... — И глазами мнѣ указываетъ.... вонъ, въ углу. — Я таки-осмѣлился.... глянулъ въ уголъ: ничего тамъ нѣту! — Да тамъ ничего нѣтъ, Яковъ, поми-

луй! — *Ты* не видишь — а я вижу. — Я опять глянулъ.... опять ничего. Вспомнился мнѣ вдругъ старичекъ въ лѣсу, что̀ каштанчикъ ему подарилъ. — Какой онъ изъ себя? говорю.... зеленый?—Нѣтъ, не зеленый, а черный. — Съ рогами? Нѣтъ, онъ какъ человѣкъ — только весь черный. Яковъ самъ говоритъ — а у самого зубы оскалились — и поблѣднѣлъ онъ какъ мертвецъ, и жмется онъ ко мнѣ со страху; а глаза словно выскочить хотятъ — и глядитъ онъ все въ уголъ. — Да это тѣнь тебѣ мерещится, говорю я; это чернота отъ тѣни — а ты ее за человѣка принимаешь.— Какъ бы не такъ! — Я и глаза его вижу: вонъ онъ ворочаетъ бѣлками, вонъ руку поднимаетъ, зоветъ. — Яковъ, Яковъ, ты бы попробовалъ, помолился: навожденіе это бы разсѣялось. Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его!— Пробовалъ, говоритъ, да ничего не дѣйствуетъ. — Постой, постой, Яковъ, не малодушествуй; я ладономъ покурю, молитву почитаю, святой водой кругомъ тебя окроплю. — Яковъ только рукой махнулъ. — Ни въ ладонъ я твой не вѣрю, ни въ воду святую; не помогаютъ они ни на грошъ. Мнѣ съ *нимъ* теперь ужъ не разстаться. Какъ пришелъ онъ ко мнѣ нынѣшнимъ лѣтомъ въ одинъ проклятый день— такъ съ тѣхъ поръ ужъ онъ мой гость неизмѣнный — и выжить его нельзя. Ты это знай, отецъ — и больше моему поведенію не дивись — и меня не мучь. — Въ какой же это день пришелъ онъ къ тебѣ? спрашиваю я его — а самъ все его крещу. Ужъ не тогда ли, когда ты о сомнѣніи писалъ? — Яковъ отвелъ мою руку. — Оставь ты меня, говоритъ, батюшка, не вводи ты меня въ досаду, чтобы хуже чего не было. Мнѣ вѣдь на себя и руку наложить не долго. — Можете себѣ представить, милостивый государь, каково мнѣ было это слушать!... Помнится, я всю ночь проплакалъ. — Чѣмъ, думаю, заслужилъ я такой гнѣвъ Господень?

Тутъ отецъ Алексѣй досталъ изъ кармана клѣтчатый носовой платокъ, и сталъ сморкаться, — да кстати утеръ украдкой глаза.

— Худое пошло тогда наше житье! — продолжалъ онъ. — Ужъ я только объ одномъ и думаю; какъ бы онъ не сбѣгъ — или, сохрани Господи, въ самомъ-дѣлѣ надъ собою какого зла не учинилъ! — Караулю я его на каждомъ шагу, — а въ разговоръ и вступать-то боюсь. — И проживала въ ту пору вблизи насъ сосѣдка, полковница вдова, — Марѳой Савишной ее звали; большое я къ ней уваженіе питалъ — потому женщина разсудительная и тихая, — даромъ, что молодая и собой пригожая; хаживалъ я къ ней часто — и она моимъ званіемъ не гнушалась. — Съ горя, да съ тоски, не зная, что̀ ужъ и придумать, — я возьми да все ей и разскажи. — Сперва она очень ужаснулась и даже всполошилась вся; а потомъ раздумье на нее нашло. — Долго она изволила сидѣть этакъ, молча; — а потомъ пожелала сына моего видѣть и побесѣдовать съ нимъ. — И почувствовалъ я тутъ, что безпремѣнно мнѣ слѣдуетъ исполнить ея волю; ибо не женское любопытство въ этомъ случаѣ дѣйствуетъ, — а нѣчто иное. Вернувшись домой, сталъ я убѣждать Якова: «поди, молъ, со мною къ госпожѣ полковницѣ». Такъ онъ и руками, и ногами! — «Не пойду», говоритъ, «ни за что!» — «О чемъ я съ ней буду бесѣдовать!» — Даже кричать на меня сталъ. — Однако, я, наконецъ, уломалъ его — и запрягши саночки, повезъ его къ Марѳѣ Савишнѣ, да, по уговору, оставилъ его съ нею наединѣ. Самому мнѣ удивительно, какъ это онъ скоро согласился? Ну, ничего, — посмотримъ. Часа черезъ три или четыре, возвращается мой Яковъ. — Ну, спрашиваю я, — какъ тебѣ сосѣдка наша понравилась? Ничего онъ мнѣ не отвѣчаетъ. Я опять его пыталъ. — Добродѣтельная, говорю, дама.... Обласкала, чай, тебя? — Да, говоритъ, она

не какъ прочія. — Вижу я, онъ какъ-будто помягче сталъ. И рѣшился я тутъ его спросить.... — А навожденіе, говорю, какъ? — Глянулъ Яковъ на меня, какъ кнутомъ стегонулъ, — и опять ничего не промолвилъ. Не сталъ я его больше тревожить, убрался изъ комнаты вонъ; а часъ спустя, подошелъ я къ двери, посмотрѣлъ сквозь замочную скважину.... И что̀ же вы думаете? — спитъ мой Яковъ! Легъ на постельку — и спитъ. Перекрестился я тутъ нѣсколько разъ къ ряду. Пошли, молъ, Господь всякой благодати Марѳѣ Савишнѣ! Видно, съумѣла, голубушка, ожесточенное его сердце тронуть!

— На слѣдующій день, смотрю, беретъ Яковъ шапку.... Думаю — спросить его: куда, молъ, идешь? — да нѣтъ, лучше не спрашивать.... навѣрное къ ней!... — И точно, — къ ней, къ Марѳѣ Савишнѣ отправился Яковъ — и еще дольше прежняго у ней просидѣлъ; а на слѣдующій день — опять! А тамъ черезъ день — опять! Началъ я воскресать духомъ; потому вижу: происходитъ въ сынѣ перемѣна, — и лицо у него другое стало, — и въ глаза ему глядѣть стало возможно: не отворачивается. Унылость все въ немъ та же, — да отчаянности прежней, ужаса прежняго нѣтъ. Но не успѣлъ я ободриться маленько, — какъ опять все разомъ оборвалось! Опять одичалъ Яковъ, опять приступиться къ нему нельзя. Сидитъ, запершись, въ коморкѣ — и полно ходить къ полковницѣ! — Неужто, думаю, онъ ее чѣмъ-нибудь обидѣлъ — и она ему отъ дому отказала? — Да нѣтъ, думаю.... онъ хоть и несчастный, но на это не отважится; да и она не такая! Не вытерпѣлъ я, наконецъ, — спрашиваю я у него: — А что̀, Яковъ, — сосѣдка наша.... Ты, кажется, ее совсѣмъ позабылъ? — А онъ какъ гаркнетъ на меня: — Сосѣдка? Или ты хочешь, чтобы *онъ* смѣялся надо мною? — Какъ? говорю. — Такъ онъ тутъ даже кулаки стиснулъ.... освирѣпѣлъ вовсе! — Да! говоритъ, прежде

онъ только такъ торчалъ, — а теперь смѣяться началъ, зубы скалитъ! — Прочь! уйди! — Кому онъ эти слова обращалъ — я ужъ и не знаю; едва ноги меня вынесли — до того я перепугался. — Вы только представьте: лицо, какъ мѣдь красная, пѣна у рта — голосъ хриплый, словно кто его давитъ!... И поѣхалъ я — сирота-сиротою, въ тотъ же день къ Марѳѣ Савишнѣ.... въ большой ее засталъ печали. Даже въ тѣлѣ она измѣнилась: похудѣлъ ликъ. Но разговаривать со мной о сынѣ она не захотѣла. Только одно сказала: что никакая тутъ людская помощь дѣйствительна быть не можетъ; молитесь, молъ, батюшка! — А тамъ вынесла мнѣ сто рублей; — для бѣдныхъ и больныхъ вашего прихода, говоритъ. И опять повторила: «молитесь!» — Господи! какъ будто я и безъ того не молился — денно и нощно!

Отецъ Алексѣй тутъ снова досталъ платокъ, и снова утеръ свои слезы, — но ужъ не украдкой на этотъ разъ, — и, отдохнувъ немного, продолжалъ свою невеселую повѣсть.

— Покатились мы тутъ съ Яковомъ, словно снѣжный комъ подъ гору, и видать намъ обоимъ, что подъ горою пропасть, — а какъ удержаться — и что предпринять? — И скрыть это не было никакой возможности: по всему приходу пошло смущеніе великое, что̀ вотъ-де у священника сынъ оказывается бѣсноватымъ, — и что слѣдуетъ-де начальство обо всемъ этомъ извѣстить. — И извѣстили бы непремѣнно, — да прихожане мои, — спасибо имъ! — меня жалѣли. Тѣмъ временемъ зима миновала — и наступила весна. — И такую весну послалъ Богъ — красную, да свѣтлую, какой даже старые люди не запоминали: солнышко цѣлый день, безвѣтріе, теплынь! — И пришла мнѣ тутъ благая мысль: уговорить Якова сходить со мною на поклоненіе къ Митрофанію, въ Воронежъ! — «Коли», думаю, «и

это послѣднее средство не поможетъ, — ну, тогда одна надежда: могила!» — Вотъ, сижу я однажды, передъ вечеркомъ, на крылечкѣ, — а зорька разгорается на небѣ, жаворонки поютъ, яблони въ цвѣту, муравка зеленѣетъ.... сижу и думаю, какъ бы сообщить мое намѣреніе Якову?— Вдругъ, смотрю, выходитъ онъ на крыльцо; постоялъ, поглядѣлъ, вздохнулъ и прикорнулъ на ступенькѣ со мною рядышкомъ. Я даже испугался на радости, — но только молчокъ. — А онъ сидитъ, смотритъ на зарю — и тоже ни слова! И показалось мнѣ, словно умиленіе на него нашло: морщины на лбу разгладились, глаза даже посвѣтлѣли.... еще бы, кажется, немножко — и слеза бы прошибла! Усмотрѣвши таковую въ немъ перемѣну, я, — виноватъ! — осмѣлился. — Яковъ, говорю я ему, выслушай ты меня безъ гнѣва.... — Да и разсказалъ ему о моемъ намѣреніи: какъ намъ вдвоемъ къ Митрофанію пойти — пѣшечкомъ; а отъ насъ до Воронежа верстъ полтораста будетъ; и какъ оно пріятно будетъ — вдвоемъ, весеннимъ холодочкомъ, до зорьки поднявшись — идти да идти по зеленой травкѣ, по большой дорогѣ; и какъ, если мы хорошенько припадёмъ, да помолимся у раки святаго угодника, — быть можетъ, — кто знаетъ? — Господь Богъ надъ нами и смилуется — и получитъ онъ исцѣленіе, — чему уже многіе бывали примѣры! — И представьте вы, милостивый государь, мое счастье! — Хорошо, говоритъ Яковъ, — а самъ не оборачивается, все въ небо смотритъ: — я согласенъ. Пойдемъ. — Я такъ и обомлѣлъ.... — Другъ, говорю, голубчикъ, благодѣтель!... А онъ у меня спрашиваетъ: — Когда же мы отправимся? — Да хоть завтра, говорю.

— Такъ на другой день мы и отправились. Надѣли котомочки, взяли посохи въ руки — и пошли. Цѣлыхъ семь дней мы шли — и все время намъ погода благопріятствовала — даже удивительно! Ни зноя, ни дождя; муха не ку-

саетъ, пыль не зудитъ. И съ каждымъ днемъ Яковъ мой все въ лучшій видъ приходитъ. Надо вамъ сказать, что на вольномъ воздухѣ Яковъ прежде — *того-то* не видалъ, но чувствовалъ его за собою, за самой спиною; а не тò тѣнь его съ боку какъ-будто скользила, чтò очень моего сына мутило. А въ этотъ разъ ничего такого не происходило; и на постоялыхъ дворахъ, гдѣ намъ ночевать приходилось — тоже ничего не являлось. Мало мы съ нимъ разговаривали.... но ужъ какъ намъ хорошо было — особенно мнѣ! Вижу я: воскресаетъ мой бѣднякъ. Не могу я вамъ описать, милостивый государь, чтò я тогда чувствовалъ. Ну, добрались мы наконецъ до Воронежа. Пообчистились, пообмылись — и въ соборъ, къ угоднику! Цѣлыхъ три дня почти-что не выходили изъ храма. Сколько молебновъ отслужили, свѣчей сколько понаставили! И все ладно, все прекрасно; дни — благочестивые, ночи — тихія; спитъ мой Яша какъ младенецъ. Самъ со мной заговаривать сталъ. Бывало, спроситъ: батюшка, ты ничего не видишь? а самъ улыбается. Не вижу, говорю я, ничего. Ну и я, говоритъ, не вижу. Чего еще требовать? Благодарность моя къ угоднику — безъ границъ.

— Прошли три дня; и говорю я Якову: — Ну, теперь, сынокъ, все дѣло поправилось; на нашей улицѣ праздникъ. Остается одно: исповѣдайся ты, причастись; а тамъ съ Богомъ во-свояси — и отдохнувши, какъ слѣдуетъ, да по хозяйству поработавши, для укрѣпленія силъ, можно будетъ похлопотать, мѣсто поискать — или чтò. Мареа Савишна, говорю, навѣрное въ этомъ намъ поможетъ. Нѣтъ, говоритъ Яковъ, зачѣмъ мы ее будемъ безпокоить; а вотъ я ей колечко съ Митрофаніевой ручки принесу. Я тутъ совсѣмъ раскуражился; смотри, говорю, бери серебряное, а не золотое — не обручальное! Покраснѣлъ мой Яковъ и только повторилъ, что не слѣдуетъ ее безпокоить — а впрочемъ тотчасъ на все согласился. — Пошли мы на слѣдую-

щій день въ соборъ; исповѣдался мой Яковъ, и такъ передъ тѣмъ молился усердно! — а тамъ и къ причастію приступилъ. Я стою такъ-то въ сторонкѣ — и земли подъ собою не чувствую.... На небесахъ ангеламъ не слаще бываетъ! Только смотрю я: что̀ это значитъ. Причастился мой Яковъ — а не идетъ испить теплоты! Стоитъ онъ ко мнѣ спиною.... Я къ нему. — Яковъ, говорю, что же ты стоишь? Какъ онъ обернется вдругъ! — Вѣрите ли, я назадъ отскочилъ, до того испугался! — Бывало, страшное было у него лицо, — а теперь какое-то звѣрское, ужасное стало! Блѣденъ какъ смерть, волосы дыбомъ, глаза перекосились.... у меня отъ испуга даже голосъ пропалъ; хочу говорить, не могу — обмеръ я совсѣмъ.... А онъ — какъ бросится вонъ изъ церкви! Я за нимъ... а онъ прямо на постоялый дворъ, гдѣ почевка наша была, котомку на плечи — да и вонъ! Куда? кричу я ему: — Яковъ, что съ тобой! Постой, погоди! — А Яковъ хоть бы слово мнѣ въ отвѣтъ, побѣжалъ какъ заяцъ — и догнать его нѣтъ никакой возможности! Такъ и скрылся. Я сейчасъ верть назадъ, телѣгу нанялъ, а самъ весь трясусь и только и могу говорить, что: Господи! да: Господи! И ничего не понимаю: Что̀ это такое надъ нами стряслось? Пустился я домой — потому думаю: навѣрное онъ туда побѣжалъ. — И точно. На шестой верстѣ отъ города — вижу: шагаетъ онъ по большаку. Я его догналъ, соскочилъ съ телѣги — да къ нему. — Яша! Яша! Остановился онъ, повернулся ко мнѣ лицомъ — а глаза въ землю уперъ и губы стиснулъ. — И что̀ я ему ни говорю — стоитъ онъ, какъ истуканъ какой — и только и видно, что дышетъ. — А наконецъ, опять пошелъ впередъ по дорогѣ. — Что̀ было дѣлать! Поплелся и я за нимъ.....

— Ахъ какое же это было путешествіе, милостивый государь! Сколь намъ было радости идти въ Воронежъ — столь ужасно было возвращеніе! Стану я ему говорить —

такъ онъ даже зубами ляскаетъ, этакъ черезъ плечо, ни дать ни взять, тигръ или гіенна! Какъ я тутъ ума не лишился — доселѣ не постигаю! И вотъ, наконецъ, однажды ночью — въ крестьянской курной избѣ — сидѣлъ онъ на палатяхъ, свѣсивши ноги, да озираясь по сторонамъ — палъ я тутъ передъ нимъ на колѣнки и заплакалъ, и горькимъ взмолился моленьемъ: — Не убивай-дескать старика отца окончательно, не дай ему въ отчаянность впасть — скажи, что̀ приключилось съ тобою? Во̀зрѣлся онъ въ меня — а то онъ словно и не видѣлъ, кто передъ нимъ стоитъ — и вдругъ заговорилъ — да такимъ голосомъ, что онъ у меня до сихъ поръ въ ушахъ отдается. — Слушай, говоритъ, батька. Хочешь ты знать всю правду? Такъ вотъ она тебѣ. Когда, ты помнишь, я причастился — и частицу еще во рту держалъ — вдругъ *онъ* — (въ церкви-то это, бѣлымъ-то днемъ!) всталъ передо мною, словно изъ земли выскочилъ, и шепчетъ онъ мнѣ.... (а прежде никогда ничего не говаривалъ) — шепчетъ: выплюнь да разотри! Я такъ и сдѣлалъ: выплюнулъ — и ногой растеръ. И стало-быть, я теперь навсегда пропащій — потому что всякое преступленіе отпускается — но только не преступленіе противъ Святого Духа....

— И сказавъ эти ужасныя слова, сынъ мой повалился на палати — а я опустился на избяной полъ.... Ноги у меня подкосились....

Отецъ Алексѣй умолкъ на мгновенье — и закрылъ глаза рукою.

— Однако, продолжалъ онъ, — что же я буду дольше томить васъ, да самого себя! Дотащились мы съ сыномъ до дому — а тутъ скоро и конецъ его насталъ — и лишился я моего Якова! Передъ смертью онъ нѣсколько дней не пилъ, не ѣлъ — все по комнатѣ взадъ и впередъ бѣгалъ, да твердилъ, что грѣху его не можетъ быть отпущенія.... но *его* ужъ онъ больше не видѣлъ. Погубилъ онъ-дескать

мою душу; теперь зачѣмъ же ему больше ходить? А какъ слегъ Яковъ, сейчасъ въ безпамятство впалъ и такъ, безъ покаянія, какъ безсмысленный червь, отошелъ отъ сей жизни въ вѣчную....

— Но не хочу я вѣрить, чтобы Господь сталъ судить его своимъ строгимъ судомъ....

— И между прочимъ, я этому потому не хочу вѣрить, что ужъ очень онъ хорошъ лежалъ въ гробу: совсѣмъ словно помолодѣлъ и сталъ на прежняго похожъ Якова. Лицо такое тихое, чистое, волосы колечками завились — а на губахъ улыбка. Марѳа Савишна приходила смотрѣть на него — и то же самое говорила. Она же его обставила всего цвѣтами и на сердце ему цвѣты положила — и камень надгробный на свой счетъ поставила.

— А я остался одинокимъ.... И вотъ отчего, милостивый государь, вы изволили усмотрѣть на лицѣ моемъ печаль великую.... Не пройдетъ она никогда — да и не можетъ пройти.

Хотѣлъ я сказать отцу Алексѣю слово утѣшенія.... но никакого слова не нашелъ.

Мы скоро потомъ разстались.

Парижъ.—1877 г.

ОТРЫВКИ ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ СВОИХЪ И ЧУЖИХЪ.

I *).

СТАРЫЕ ПОРТРЕТЫ.

.... Верстахъ въ сорока отъ нашего села, проживалъ, много лѣтъ тому назадъ, двоюродный дядя моей матери, отставной гвардіи сержантъ и довольно богатый помѣщикъ, Алексѣй Сергѣичъ Телѣгинъ — въ родовомъ своемъ имѣніи Суходолѣ. Онъ самъ никуда не выѣзжалъ, а потому и не посѣщалъ насъ; но меня, раза два въ годъ, посылали къ нему на поклонъ — сперва съ гувернеромъ, а потомъ одного. Алексѣй Сергѣичъ принималъ меня всегда очень радушно — и я гащивалъ у него дня по три, по четыре. Зналъ я его уже старикомъ: въ первый мой пріѣздъ мнѣ, помнится, было лѣтъ двѣнадцать; а ему уже за-семьдесятъ

*) Считаю нужнымъ предпослать моимъ «Отрывкамъ» небольшое объясненіе. Я избралъ форму разсказа отъ собственнаго лица для бо́льшаго удобства — и потому прошу читателя не принимать «я» разсказчика сплошь за личное «я» самого автора. На это намекаетъ и самое заглавіе отрывковъ: «Изъ воспоминаній своихъ и — чужихъ». *И. Т.*

лѣтъ перевалило. Родился онъ еще при императрицѣ Елизаветѣ — въ послѣдній годъ ея царствованія. — Онъ жилъ одинъ съ своей женой, Маланьей Павловной; она была лѣтъ десять моложе его. Двухъ дочерей онъ съ ней прижилъ; но онѣ уже давно вышли замужъ, и рѣдко посѣщали Суходолъ; между ними и ихъ родителями черная кошка пробѣжала, и Алексѣй Сергѣичъ почти никогда не упоминалъ о нихъ.

Вижу, какъ теперь, этотъ старинный, ужъ точно дворянскій, степной домъ. Одноэтажный, съ громаднымъ мезониномъ, построенный, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, изъ удивительно толстыхъ сосновыхъ бревенъ — такія бревна привозились тогда изъ-за Жиздринскихъ боровъ — ихъ теперь и въ поминѣ нѣтъ! — онъ былъ очень обширенъ, и вмѣщалъ множество комнатъ, довольно, правда, низкихъ и темныхъ: окна въ стѣнахъ были прорублены маленькія, теплоты ради. Какъ водится — (по настоящему слѣдуетъ сказать: какъ водилось) — службы, дворовыя избы окружали господскій домъ со всѣхъ сторонъ — и садъ къ нему примыкалъ небольшой, но съ хорошими фруктовыми деревьями, наливными яблоками и безсѣмянными грушами; на десять верстъ кругомъ тянулась плоская, жирно-чернозёмная степь. Никакого высокаго предмета для глаза: ни дерева, ни даже колокольни; гдѣ-гдѣ развѣ торчитъ вѣтреная мельница съ прорѣхами въ крыльяхъ; ужъ точно: Суходолъ! — Внутри дома комнаты были наполнены заурядною, нехитрою мебелью; нѣсколько необычнымъ являлся стоявшій на окнѣ залы верстовой столбикъ со слѣдующими надписями: «Если ты 68 разъ пройдешь вокругъ сей залы — то сдѣлаешь версту; если ты 87 разъ пройдешь отъ крайняго угла гостиной до праваго угла билліарда — то̀ сдѣлаешь версту» — и т. п. Но пуще всего поражало въ первый разъ пріѣхавшаго гостя великое количество картинъ,

развѣшанныхъ по стѣнамъ, большей частью работы такъ-называемыхъ итальянскихъ мастеровъ: все какіе-то старинные пейзажи, да миѳологическіе и религіозные сюжеты. Но такъ какъ всѣ эти картины очень почернѣли и даже покоробились — то въ глаза били однѣ пятна тѣлеснаго цвѣта — а не тò, волнистое красное драпери на незримомъ туловищѣ — или арка, словно въ воздухѣ висящая, или растрепанное дерево съ голубой листвой — или грудь Нимфы съ большимъ сосцомъ, подобная крышѣ съ суповой чаши, взрѣзанный арбузъ съ черными сѣмечками, чалма съ перомъ надъ лошадиной головой — или вдругъ выпячивалась гигантская коричневая нога какого-то апостола съ мускулистой икрой и задранными къ верху пальцами. Въ гостиной, на почетномъ мѣстѣ висѣлъ портретъ императрицы Екатерины II во весь ростъ, копія съ извѣстнаго портрета Лампи, предметъ особаго поклоненія, можно сказать, обожанія хозяина. Съ потолковъ спускались стеклянныя люстры, въ бронзовыхъ оправахъ, очень маленькія и очень пыльныя.

Самъ Алексѣй Сергѣичъ былъ приземистый, пузатенькій старичокъ съ одноцвѣтнымъ, пухлымъ, но пріятнымъ лицомъ, съ ввалившимися губками и очень живыми глазками подъ высокими бровями. Онъ зачесывалъ на затылокъ свои рѣдкіе волосики: онъ только съ 1812 года перестаръ пудриться. Ходилъ Алексѣй Сергѣичъ постоянно въ сѣромъ «реденготѣ», съ тремя воротниками, падавшими на плечи, полосатомъ жилетѣ, замшевыхъ штанахъ и тёмно-красныхъ сафьянныхъ сапожкахъ съ сердцевидными вырѣзами и кисточками — на верху голенищъ; носилъ бѣлый кисейный галстухъ, жабо, маншеты и двѣ золотыя англійскія «луковицы», по одной въ каждомъ карманѣ жилета. Въ правой рукѣ онъ обыкновенно держалъ эмальированную табатерку со «шпанскимъ» табакомъ — а лѣвой опирался на трость съ

серебрянымъ, отъ долгаго употребленія гладко-вытертымъ набалдашникомъ. Голосокъ имѣлъ Алексѣй Сергѣичъ носовой, пискливый — и постоянно улыбался, ласково, но какъ-бы свысока, не безъ нѣкоторой самодовольной важности. Онъ и смѣялся тоже ласково, тонкимъ, какъ бисеръ мелкимъ смѣхомъ. Вѣжливъ и привѣтливъ былъ онъ до крайности — на старинный Екатерининскій манеръ — и двигалъ руками медленно и округло, тоже по старинному. По слабости ногъ онъ не могъ ходить — а перебѣгалъ торопливыми шажками съ кресла на кресло, въ которое садился вдругъ — скорѣе падалъ — мягко, какъ подушка.

Какъ я уже сказалъ, Алексѣй Сергѣичъ никуда не выѣзжалъ и съ сосѣдями знался мало, хотя и любилъ общество — ибо словоохотливъ былъ! Правда, общества у него вдоволь водилось и дома: разные Никаноры Никанорычи, Севастѣи Севастѣичи, Федулычи, Михеичи, все бѣдные дворянчики въ поношенныхъ казакинахъ и камзолахъ, часто съ барскаго плеча, проживали подъ его кровомъ, не говоря уже о бѣдныхъ дворяночкахъ въ ситцевыхъ платьяхъ, черныхъ платкахъ въ накидку и съ гарусными ридикюлями въ крѣпко-стиснутыхъ пальцахъ — разныхъ Авдотіяхъ Савишныхъ, Пелагеяхъ Мироновныхъ и просто Ѳеклушкахъ и Аринкахъ, пріютившихся на женской половинѣ. За столъ у Алексѣя Сергѣича никогда меньше пятнадцати человѣкъ не садилось.... Такой онъ былъ хлѣбосолъ! — Между всѣми этими приживальщиками особенно выдавались двѣ личности: карликъ, по прозвищу Янусъ или Двулицый, датскаго — а иные утверждали — еврейскаго происхожденія; да сумасшедшій князь Л. Въ противность тогдашнимъ обычаямъ, карликъ этотъ вовсе не служилъ потѣхой для господъ и не былъ шутомъ; напротивъ: онъ постоянно молчалъ, видъ имѣлъ озлобленный и суровый, хмурилъ брови и скрипѣлъ зубами, какъ только обращались къ нему съ

вопросами. Алексѣй Сергѣичъ звалъ его также философомъ и даже уважалъ его; за столомъ ему всегда первому, послѣ гостей и хозяевъ, подавали блюда. — «Богъ его обидѣлъ», говаривалъ Алексѣй Сергѣичъ; «на то его Господня воля; а ужъ мнѣ-то его не обижать стать». — Почему же онъ философъ? спросилъ я однажды. (Меня Янусъ не жаловалъ; бывало лишь только я подойду къ нему — онъ тотчасъ окрысится и проворчитъ хрипло: Чужакъ! не приставай!)— «Какъ же, помилуй Богъ! не философъ?» — отвѣтилъ Алексѣй Сергѣичъ. «Ты сударикъ, посмотри, какъ онъ таково хорошо молчитъ!» — «А почему же онъ двулицый?» — «А потому, сударикъ, что наружу-то у него одно лицо — вотъ вы, верхогляды, и судите.... А другое, настоящее, онъ скрываетъ. И то лицо знаю я одинъ — и люблю его за это.... Потому: хорошее то лицо. Ты, напримѣръ, и глядишь, да ничего не видишь.... а я и безъ словъ вижу: осуждаетъ онъ меня за нѣчто; потому: онъ строгій! И всегда-то за дѣло. Сего ты, сударикъ, не поймешь; но только вѣрь мнѣ, старику!» — Настоящей исторіи двулицаго Януса — откуда онъ прибылъ, какъ попалъ къ Алексѣю Сергѣичу — никто не вѣдалъ; за то исторія князя Л. была хорошо всѣмъ извѣстна. 20-лѣтнимъ юношей, изъ богатой и знатной фамиліи, онъ пріѣхалъ въ Петербургъ на службу въ гвардейскомъ полку; на первомъ же куртагѣ императрица Екатерина его замѣтила — и остановившись передъ нимъ, да увавъ на него вѣеромъ, громко промолвила, обратясь къ одному изъ своихъ приближенныхъ: «Посмотри, Адамъ Васильевичъ, какой красавчикъ! Настоящая куколка!» — Кровь бросилась бѣдному мальчику въ голову: вернувшись домой, онъ велѣлъ заложить коляску — и, надѣвъ на себя анненскую ленту, пустился разъѣзжать по городу, словно онъ и точно въ случай попалъ. — «Дави всѣхъ», кричалъ онъ кучеру, «кто не посторонится!» — Тотчасъ же все это

было доведено до высочайшаго свѣдѣнія; вышелъ приказъ — объявить его сумасшедшимъ и отдать на поруки двумъ его братьямъ; а тѣ, ни мало не медля, отвезли его въ деревню и посадили въ каменный мѣшокъ на цѣпь.— Желая воспользоваться его имѣніемъ, они не выпустили несчастнаго даже тогда, когда онъ опомнился и пришелъ въ себя — и такъ и продержали его взаперти, пока онъ дѣйствительно не сошелъ съ ума. — Но не въ прокъ пошло имъ ихъ злодѣйство: князь Л. пережилъ своихъ братьевъ — и, послѣ долгихъ мытарствъ, очутился на попеченіи Алексѣя Сергѣича, которому доводился родственникомъ. — Это былъ толстый, совершенно лысый человѣкъ съ длиннымъ тонкимъ носомъ и голубыми глазами на выкатѣ. Онъ совсѣмъ разучился говорить — онъ только бурчалъ что-то непонятное; но отлично пѣлъ старинныя русскія пѣсни, сохранивъ до глубокой старости серебристую свѣжесть голоса — и, во время пѣнія, ясно и четко произнося каждое слово. Иногда находило на него нѣчто въ родѣ ярости — и тогда онъ дѣлался страшенъ: становился въ уголъ, къ стѣнѣ лицомъ — и весь потный да красный — черезъ всю лысину до затылка красный, заливаясь злобнымъ хохотомъ и топая ногами, повелѣвалъ наказывать кого-то — вѣроятно, братьевъ. — «Бей!» — хрипѣлъ онъ, давясь и кашляя отъ смѣха, — «сѣки, не жалѣй, бей, бей, бей извѐрговъ, злодѣевъ моихъ! Вотъ такъ! Вотъ такъ!» Наканунѣ своей смерти, онъ очень удивилъ и испугалъ Алексѣя Сергѣича. Вошелъ къ нему въ комнату весь блѣдный да тихій — и, поклонившись поясным поклономъ, сперва поблагодарилъ за пріютъ и призрѣніе, а потомъ попросилъ послать за священникомъ; ибо смерть пришла къ нему — онъ ее видѣлъ — и ему надо всѣхъ простить и себя обѣлить. — «Какъ же ты ее видѣлъ?» — пробормоталъ изумленный Алексѣй Сергѣичъ, въ первый разъ услыхавъ отъ него связную рѣчь. — «Ка-

кова она изъ себя? Съ косою, что̀ ли?» — «Нѣтъ», отвѣчалъ князь Л. — «старушка простенькая, въ кофтѣ — только на лбу глазъ одинъ — а глазу тому и вѣку нѣтъ». И на другой день князь Л. дѣйствительно скончался, совершивъ все должное и простившись со всѣми, вразумительно и умиленно — «Вотъ такъ и я умру» — замѣчалъ, бывало, Алексѣй Сергѣичъ. И точно: нѣчто подобное съ нимъ случилось — о чемъ послѣ.

А теперь возвратимся къ прежнему. Съ сосѣдями, я уже сказалъ, Алексѣй Сергѣичъ не водился; и они его не долюбливали, называли его чудакомъ, гордецомъ, пересмѣшникомъ и даже не признающимъ властей мартинистомъ, не понимая, конечно, значенія этого послѣдняго слова. До нѣкоторой степени сосѣди были правы: Алексѣй Сергѣичъ чуть не семьдесятъ лѣтъ сряду прожилъ въ своемъ Суходолѣ, не имѣя почти никакихъ сношеній съ предержащими властями, съ начальствомъ и судомъ. «Судъ для разбойника, команда для солдата», говаривалъ онъ, «а я, слава Богу, не разбойникъ и не солдатъ». Чудаковатъ былъ, точно, Алексѣй Сергѣичъ, — но душа въ немъ была не изъ мелкихъ. Поразскажу кое-что о немъ.

Доподлинно я никогда не зналъ, какія были его политическія мнѣнія — если только можно примѣнить къ нему такое новѣйшее выраженіе; но, по-своему, онъ былъ аристократъ — скорѣй аристократъ, чѣмъ баринъ. — Не разъ онъ сожалѣлъ о томъ, что Богъ не далъ ему сына-наслѣдника, «въ честь роду, въ продолженіе фамиліи». — У него въ кабинетѣ висѣло на стѣнѣ родословное дерево Телѣгиныхъ, очень вѣтвистое, со множествомъ кружковъ въ видѣ яблоковъ, въ золотой рамѣ. «Мы, Телѣгины», говорилъ онъ, — «родъ исконный, извѣчный; сколько насъ, Телѣгиныхъ, ни было, — по прихожимъ мы не таскались, хребта не гнули, по рундучкамъ ногъ не отстаивали, по судамъ не

кормились, жалованнаго не нашивали, къ Москвѣ не тянули, въ Питерѣ не кляузничали; сиднями сидѣли, каждый на своей *чети*, свой человѣкъ, на своей землѣ.... гнѣздари, сударь, домовитые! — Я самъ хоть и въ гвардіи служилъ — да, спасибо, не долго». Алексѣй Сергѣичъ предпочиталъ старое время. — «Вольнѣе было тогда, благообразнѣе, по чести тебѣ доложу! — а съ тысяща восемьсотаго года» — (почему именно съ этого года? — онъ не объяснялъ) «пошла, братецъ ты мой, эта военщина, солдатчина пошла. Надѣли себѣ на голову господа военные какіе-то тамъ салтаны изъ пѣтушиныхъ хвостовъ — и сами пѣтухамъ уподобились; шею затянули туго-нà-туго.... хрипятъ, глаза таращатъ — да и какъ не хрипѣть? Надысь, ко мнѣ полицейскій капралъ какой-то наѣхалъ: — Я-молъ до васъ, ваше благородіе.... (вишь, чѣмъ удивить вздумалъ!... я и самъ знаю, что рожденъ благо....) имѣю до васъ дѣло. — А я ему: — Сударь почтенный, ты сперва крючки-то на воротникѣ разстегни. А то, помилуй Богъ, чихнешь! Ахъ, чтò съ тобою будетъ! Чтò съ тобою будетъ! — Лопнешь ты, какъ грибъ дождевикъ.... А я отвѣчай! — И пьютъ же они, эти военные господа, — о-го-го! Я имъ все больше цымлянскаго велю подавать; потому — имъ чтò цымлянское, чтò понтакъ — все едино; гладко, скоро такъ у нихъ въ горлѣ проходитъ — гдѣ тутъ различить? А то вотъ еще: соску стали эту сосать, табакъ курить. Запихаетъ себѣ военный человѣкъ эту самую соску подъ усища въ губища — ноздрями, ртомъ и даже ушами дымъ пущаетъ — и думаетъ, что герой! Вотъ и зятики мои — хоть одинъ изъ нихъ и сенатòръ — а другой какой-то тамъ куратòръ — тожъ эту соску сосутъ — и за умницъ тожъ себя почитаютъ!...

Алексѣй Сергѣичъ терпѣть не могъ курительнаго табаку, да вотъ еще собакъ, особенно маленькихъ. — «Ну, коли ты французъ, держи себѣ болонку: *ты* бѣгаешь, *ты*

прыгаешь тюды-сюды — и она за тобой, задравши хвостъ.... а нашему-то брату на что̀ она?» — Очень онъ былъ опрятенъ и привередливъ. Объ императрицѣ Екатеринѣ говорилъ не иначе, какъ съ восторгомъ, и возвышеннымъ, нѣсколько книжнымъ слогомъ: «Полубогъ былъ, не человѣкъ! — Ты, сударикъ, посмотри только на улыбку сію», прибавлялъ онъ, почтительно указывая на Лампіевскій портретъ, — «и самъ согласишься: полубогъ! Я въ жизни своей столь счастливъ былъ, что удостоился улицезрѣть сію улыбку, и во вѣкъ она не изгладится изъ сердца моего!» — И при этомъ онъ сообщалъ анекдоты изъ жизни Екатерины, какихъ мнѣ нигдѣ не случалось ни читать, ни слышать. Вотъ одинъ изъ нихъ. Алексѣй Сергѣичъ не позволялъ ни малѣйшаго намека на слабости великой царицы. «Да и наконецъ», восклицалъ онъ: — «развѣ о ней можно такъ судить, какъ о прочихъ людяхъ? — Однажды она, во время утренняго туалета, въ пудрамантѣ сидя, повелѣла расчесать себѣ волосы.... И что̀ же? Каммерфрау проводитъ гребнемъ — а электрическія искры такъ и сыплются! — Тогда она подозвала къ себѣ тутъ же по дежурству находившагося лейбъ-медика Роджерсона и говоритъ ему: «меня, я знаю, за нѣкоторые поступки осуждаютъ: но видишь ты электричество сіе? Слѣдовательно, при таковой моей натурѣ и комплекціи — самъ ты можешь заключить, ибо ты врачъ — что несправедливо меня осуждать — а постичь меня должно!» — Неизгладимымъ остался въ памяти Алексѣя Сергѣича слѣдующій случай. Стоялъ онъ однажды во внутреннемъ караулѣ, во дворцѣ — а было ему всего лѣтъ шестнадцать. И вотъ проходитъ императрица мимо его — онъ отдаетъ честь.... «а она», — съ умиленіемъ тутъ опять восклицалъ Алексѣй Сергѣичъ, — «улыбнувшись на юность мою и на усердіе мое, изволила дать мнѣ ручку свою поцаловать, и по щекѣ потрепать, и

разспросить: кто я? откуда? какой фамиліи? а потомъ....» Тутъ голосъ старика обыкновенно прерывался.... «потомъ приказала моей матушкѣ отъ своего имени поклониться и поблагодарить ее за то, что такъ хорошо воспитываетъ дѣтей своихъ. И былъ ли я при семъ на небѣ или на землѣ — и какъ, и куда она изволила удалиться, въ горнія ли воспарила, въ другіе ли покои прослѣдовала.... по сіе время не знаю!»

Я не разъ пытался разспрашивать Алексѣя Сергѣича о тѣхъ давнихъ временахъ, о людяхъ, окружавшихъ императрицу.... Но онъ большей частью уклонялся. «Что о старинѣ толковать-то?» говаривалъ онъ.... «только себя мучить: что вотъ-молъ былъ ты тогда молодцомъ — а теперь и послѣднихъ зубовъ у тебя во рту не стало. Да и то сказать: хороша старина.... ну, и Богъ съ ней! А что касательно до тѣхъ людей — вѣдь ты, чай, егоза, о случайныхъ людяхъ рѣчь заводишь? — такъ видалъ ты, какъ на водѣ волдырь вскочитъ? Пока онъ цѣлъ, да держится — какіе же на немъ цвѣта играютъ! И красные, и желтые, и синіе — просто сказать надо: радуга, или вотъ алмазъ! — Только въ скорости онъ лопается — и слѣда отъ него нѣтъ. Такъ вотъ и люди тѣ такіе были».

— Ну, а Потемкинъ? спросилъ я однажды.

Алексѣй Сергѣичъ принялъ важный видъ. — Потемкинъ, Григорій Александровичъ, былъ мужъ государственный, богословъ, Екатерининскій воспитанникъ, чадо ея, такъ надо сказать.... Но довольно о семъ, сударикъ!

Алексѣй Сергѣичъ былъ человѣкъ очень набожный — и хотя черезъ силу, но церковь посѣщалъ исправно. Суевѣрія въ немъ не замѣчалось; онъ издѣвался надъ примѣтами, глазомъ и прочей «нескладицей», однако не любилъ, когда заяцъ ему перебѣгалъ дорогу — и встрѣча съ попомъ была ему не совсѣмъ пріятна. Со всѣмъ тѣмъ былъ къ духов-

нымъ лицамъ очень почтителенъ, и подъ благословенье подходилъ, и даже руку всякій разъ цѣловалъ, но неохотно съ ними бесѣдовалъ. — «Очень отъ нихъ духъ силёнъ идетъ», объяснялъ онъ; «я же, грѣшный, не путёмъ изнѣжился; — волосы у нихъ такіе большіе да мясляные, расчешутъ ихъ во всѣ стороны — думаютъ, что тѣмъ мнѣ уваженіе доказываютъ и громко такъ между разговоромъ крякаютъ — отъ робости что̀-ли, или тоже желаютъ мнѣ тѣмъ угодить. Ну, да и смертный часъ напоминаютъ. А я, какъ ни какъ, еще жить желаю. Только ты, сударикъ, этихъ рѣчей за мной не повторяй; — уважай духовный чинъ — одни дураки его не уважаютъ; — и я виноватъ, что на старости лѣтъ вздоръ горожу».

Ученъ былъ Алексѣй Сергѣичъ на мѣдныя деньги — какъ всѣ тогдашніе дворяне; но до нѣкоторой степени самъ чтеніемъ восполнилъ этотъ недостатокъ. Книги же читалъ однѣ русскія, конца прошлаго вѣка; новѣйшихъ сочинителей находилъ прѣсными и въ слогѣ слабыми.... Во время чтенія ставился возлѣ него на одноногій круглый столикъ серебряный жбанъ съ какимъ-то особеннымъ мятнымъ пѣнистымъ квасомъ, отъ котораго пріятный запахъ распространялся по всѣмъ комнатамъ. Самъ же онъ надѣвалъ при этомъ на конецъ носа большія круглыя очки; но въ послѣднее время не столько читалъ, сколько задумчиво глядѣлъ выше оправы очковъ, поднимая брови, жуя губами и вздыхая. Разъ я засталъ его плачущимъ съ книгою на колѣняхъ — что̀ меня очень, признаться, удивило.

Вспомнились ему слѣдующіе стишки:

О, всебѣдный родъ людской!
Незнакомъ тебѣ покой!
Ты лишь оный обрѣтаешь,
Пыль могильну коль глотаешь....
Горекъ, горекъ сей покой!
Спи, мертвецъ!... Но плачь, живой!

Стишки эти были сочинены нѣкіимъ Гормичъ-Гормицкимъ, странствующимъ піитой, котораго Алексѣй Сергѣичъ пріютилъ-было у себя въ домѣ — такъ какъ онъ показался ему человѣкомъ деликатнымъ и даже субтильнымъ: носилъ башмачки съ бантиками, говорилъ на ô, и, поднимая глаза къ небу, часто вздыхалъ; — кромѣ всѣхъ этихъ достоинствъ, Гормичъ-Гормицкій изрядно говорилъ по-французски, ибо получилъ воспитаніе въ іезуитскомъ коллегіумѣ — а Алексѣй Сергѣичъ только «понималъ». Но напившись разъ мертвецки-пьянымъ въ кабакѣ, этотъ самый субтильный Гормицкій оказалъ буйство непомѣрное: «въ дребезгу» раскровянилъ Алексѣй-Сергѣичина каммердинера, повара, двухъ подвернувшихся прачекъ и даже посторонняго столяра — да нѣсколько стеколъ перебилъ въ окнахъ, причемъ кричалъ неистово: «а вотъ я имъ докажу, этимъ русскимъ тунеядцамъ, кацапамъ необтёсаннымъ!» — И какая въ этомъ тщедушномъ существѣ сила проявилась! Едва съ нимъ сладило восемь человѣкъ! — За самое это буйство, Алексѣй Сергѣичъ велѣлъ стихотворца вытолкать вонъ изъ дому, посадивши его предварительно «афендрономъ» въ снѣгъ — дѣло было зимою — для протрезвленія.

«Да», — говаривалъ, бывало, Алексѣй Сергѣичъ; «прошла моя пора; былъ конь да изъѣздился. Вотъ я и стихотворцевъ на своемъ иждивеньи содержалъ, и картины, и книги скупалъ у евреевъ — и гуси были не хуже Мухановскихъ — голуби турманы глинистые настоящіе.... До всего-то я былъ охочъ! Развѣ вотъ собачникомъ никогда не былъ — потому пьянство, вонь, гаерство! Рьяный былъ я, неукротимый. Чтобы у Телѣгина, да не первый во всемъ сортъ.... да помилуй Богъ! И конскій заводъ имѣлъ на славу. — И шли тѣ кони.... откуда ты думаешь, сударикъ? — Отъ самыхъ тѣхъ знаменитѣйшихъ з[illegible]царя Ивана Алексѣича, брата Петра Вел[illegible] говорю!

Все жеребцы бурые въ маслѣ — гривы пòколѣнь, хвосты пòкопыть.... Львы! — И все то было — да быльёмъ поросло. Суета суетствій — и всяческая суета! А впрочемъ — чего жалѣть! Всякому человѣку свой предѣлъ положòнъ. — Выше неба не взлетишь, въ водѣ не проживешь, отъ земли не уйдешь.... Поживемъ еще, какъ ни какъ!»

И старикъ опять улыбался, и понюхивалъ свой шпанскій табачекъ.

Крестьяне любили его; баринъ былъ, по ихъ словамъ, добрый, сердца не срывчиваго. — Только и они повторяли, что изъѣзженъ-молъ конь. Прежде Алексѣй Сергѣичъ самъ во все входилъ — и въ поле выѣзжалъ, и на мельницу, и на маслобойню — и въ амбары, и въ крестьянскія избы заглядывалъ; всѣмъ знакомы были его бѣговыя дрожки, обитыя малиновымъ плисомъ и запряженныя рослой лошадью съ широкой проточиной во весь лобъ, по прозвищу: «Фонарь» — изъ самаго того знаменитаго завода; Алексѣй Сергѣичъ самъ ею правилъ, закрутивъ концы возжей на кулаки. А какъ стукнулъ ему семидесятый годокъ — махнулъ старикъ на все рукою — и поручилъ управленіе имѣньемъ бурмистру Антипу, котораго втайнѣ боялся и звалъ Микромэгасомъ (Волтеровскія воспоминанія!) — а то и просто: грабителемъ. — «Ну, грабитель, что скажешь? Много въ пуньку натаскалъ?» — говоритъ онъ, бывало, съ улыбкой глядя въ самые глаза грабителю. — «Все вашею милостью», — весело отвѣчаетъ Антипъ. — «Милость милостью — а только ты смотри у меня, Микромэгасъ! крестьянъ, заглазныхъ подданныхъ моихъ, трогать не смѣй! — Станутъ они жаловаться.... трость-то у меня, видишь, недалеко!» — «Тросточку-то вашу, батюшка Алексѣй Сергѣичъ, я завсегда хорошо помню» — отвѣчаетъ Антипъ-Микромэгасъ, да поглаживаетъ бороду. — «То-то, помни!» — И баринъ, и бурмистръ, оба смѣются въ лицо

другъ другу. — Съ дворовыми, вообще съ крѣпостными людьми, съ «подданными» (Алексѣй Сергѣичъ любилъ это слово) — онъ обходился кротко. — «Потому, посуди, племянничекъ, своего-то ничего нѣту, развѣ крестъ на шеѣ — да и тотъ мѣдный — на чужое зàриться не моги.... гдѣ-жъ тутъ быть разуму?» — Нечего и говорить, что о такъ-называемомъ крѣпостномъ вопросѣ въ то время никто и не помышлялъ; не могъ онъ волновать и Алексѣя Сергѣича: онъ преспокойно владѣлъ своими «подданными»; но дурныхъ помѣщиковъ осуждалъ и называлъ врагами своего званія. — Онъ вообще дворянъ раздѣлялъ на три разряда: на путныхъ — «коихъ маловато»; на распутныхъ, «коихъ достаточно», и на безпутныхъ, «коими хоть прудъ пруди». — А если кто изъ нихъ съ подданными крутъ и притѣснителенъ, — тотъ и передъ Богомъ грѣшенъ, и передъ людьми виноватъ! — Да: хорошо жилось дворовымъ у старика; «заглазнымъ подданнымъ» конечно хуже, несмотря на трость, которою онъ грозилъ Микромэгасу. — И сколько ихъ водилось, этихъ самыхъ дворовыхъ, въ его домѣ! — И все больше старые, жилистые, волосатые, ворчливые, въ плечахъ согбенные, въ нанковые длиннополые кафтаны облеченные — съ крѣпкимъ, кислымъ запахомъ! А на женской половинѣ только и слышно было, что топотъ босыхъ ногъ, да шлюпанье юбокъ. — Главнаго каммердинера звали Иринархомъ; и кликалъ его всегда Алексѣй Сергѣичъ протяжнымъ кликомъ: И-ри-на-а-архъ! — Другихъ онъ звалъ: Малый! Малецъ! Кто тамъ есть подданный! — Колокольчиковъ онъ не терпѣлъ: чтò за трактиръ, помилуй Богъ! — И удивляло меня тò, что въ какое бы время ни позвалъ Алексѣй Сергѣичъ своего каммердинера — тотъ немедленно являлся, словно изъ земли выросталъ — и, сдвинувъ каблуки и заложивъ за спину руки, стоялъ передъ бариномъ угрюмый и какъ-бы злой, но усердный слуга!

Щедръ былъ Алексѣй Сергѣичъ не по состоянію; но не любилъ, когда его величали благодѣтелемъ. — «Какой я вамъ, сударь, благодѣтель!... Я себѣ благо дѣлаю — а не вамъ, сударь мой!» — (когда онъ гнѣвался или негодовалъ, онъ всегда «выкалъ»). «Нищему», — говаривалъ онъ — «подай разъ, подай два, подай три.... Ну — а коли онъ въ четвертый разъ придетъ — подать ему ты все-таки подай — только прибавь при семъ: ты бы, братецъ, чѣмъ бы другимъ поработалъ — не все ртомъ». — «Дяденька, спросишь его, бывало: если же нищій и послѣ этого въ пятый разъ придетъ?» — «А ты и въ пятый разъ подай». Больныхъ, которые къ нему прибѣгали за помощью, онъ на свой счетъ лечилъ — хотя самъ въ докторовъ не вѣрилъ — и никогда за ними не посылалъ. — «Матушка покойница», увѣрялъ онъ — «ото всѣхъ болѣзней прованскимъ масломъ съ солью лечила — и внутрь давала, и натирала — и все прекрасно проходило. А матушка моя кто такая была? При Петрѣ Первомъ рожденье свое имѣла — ты только это сообрази!»

Русскій человѣкъ былъ Алексѣй Сергѣичъ во всемъ: любилъ однѣ русскія кушанья, любилъ русскія пѣсни — а гармонику — «фабричную выдумку», ненавидѣлъ; любилъ глядѣть на хороводы дѣвокъ, на пляску бабъ; въ молодости онъ самъ, говорятъ, пѣлъ заливисто и плясалъ лихо; любилъ париться въ банѣ — да такъ сильно париться, что Иринархъ, который, служа ему баньщикомъ, сѣкъ его березовымъ, въ пивѣ вымоченнымъ вѣникомъ, теръ мочалкой, теръ суконкой, каталъ намыленнымъ пузыремъ по барскимъ членамъ, — этотъ вѣрнопреданный Иринархъ, всякій разъ, бывало, говаривалъ, слѣзая съ полка, красный какъ «новый мѣдный статуй»: — Ну, на сей разъ я, рабъ Божій, Иринархъ Толобѣевъ, еще уцѣлѣлъ.... Что-то будетъ въ слѣдующій?

И говорилъ Алексѣй Сергѣичъ славнымъ русскимъ языкомъ, нѣсколько старомоднымъ, но вкуснымъ и чистымъ, какъ ключевая вода, тò и дѣло пересыпая рѣчь любимыми словцами: «по чести, помилуй Богъ, какъ ни какъ, сударь, да сударикъ....»

А впрочемъ, будетъ о немъ. Побесѣдуемъ объ Алексѣй-Сергѣичевой супругѣ, Маланьѣ Павловнѣ.

Была Маланья Павловна московская уроженка, первой слыла красавицей по Москвѣ, la Vénus de Moscou. — Я ее зналъ уже старой, худой женщиной, съ тонкими, но незначительными чертами лица, съ заячьими кривыми зубками въ крошечномъ ротикѣ, со множествомъ мелко-завитыхъ желтыхъ кудряшекъ на лбу, съ крашеными бровями. Ходила она постоянно въ пирамидальномъ чепцѣ съ розовыми лентами, высокомъ крагенѣ вокругъ шеи, бѣломъ короткомъ платьѣ и прюнелевыхъ башмакахъ на красныхъ каблучкахъ; а сверху платья носила кофту изъ голубого атласу, со спущеннымъ съ праваго плеча рукавомъ. Точно такой туалетъ былъ на ней въ самый Петровъ день 1789 года! Пошла она, въ тотъ день, еще дѣвицей будучи, съ родными, на Ходынское поле, посмотрѣть знаменитый кулачный бой, устроенный Орловымъ. — «И графъ Алексѣй Григорьевичъ....» (о, сколько разъ слышалъ я этотъ разсказъ!).... «замѣтивъ меня, подошелъ, поклонился низёхонько, взявъ шляпу въ обѣ руки, и сказалъ такъ: красавица писаная, сказалъ онъ, чтò ты это рукавъ съ плечика спустила? Аль тоже на кулачки со мной побиться желаешь?... Изволь; только напредки говорю тебѣ: побѣдила ты меня — сдаюсь! — И я твой есмь плѣнникъ!... И всѣ на насъ смотрѣли и удивлялись». — И самый этотъ туалетъ она съ тѣхъ поръ постоянно носила. — «Только не чепецъ тогда былъ на мнѣ — а шляпа а-ля-бержеръ де Тріанонъ; — и хотя я и напудренная была — но волосы мои, какъ золото, такъ и

сквозили, такъ и сквозили!» — Маланья Павловна была глупа, что̀ называется, до святости; болтала зря, словно и сама хорошенько не знала, что̀ это у ней изъ устъ выходитъ — и все больше объ Орловѣ. — Орловъ сталъ, можно сказать, главнымъ интересомъ ея жизни. — Она обыкновенно входила.... нѣтъ! вплывала, мѣрно двигая головою, какъ пава, въ комнату, становилась по серединѣ, какъ-то странно вывернувъ одну ногу и придерживая двумя пальцами конецъ спущеннаго рукава (должно быть, эта поза тоже когда-нибудь понравилась Орлову); горделиво-небрежно взглядывала кругомъ, какъ оно и слѣдуетъ красавицѣ — даже пофыркивала и шептала: «вотъ еще!» точно къ ней какой-либо назойливый кавалеръ-супирантъ приставалъ съ комплиментами — и вдругъ уходила, топнувъ каблучкомъ и дернувъ плечикомъ. — Табакъ она тоже нюхала шпанскій изъ крошечной бонбоньерки, доставая его крошечной золотой ложечкой — и отъ времени до времени, особенно когда появлялось новое лицо — подносила снизу — не къ глазамъ, а къ носу — (она видѣла отлично) — двойной лорнетъ въ видѣ рогульки, щеголяя и вертя бѣленькой ручкой съ отдѣленнымъ пальчикомъ. — Сколько разъ описывала мнѣ Маланья Павловна свою свадьбу въ церкви Вознесенія, что̀ на Арбатѣ — такая хорошая церковь! — и какъ вся Москва тутъ присутствовала.... давка была какая! ужасти! Экипажи цугомъ, золотыя кареты, скороходы.... одинъ скороходъ графа Завадовскаго даже подъ колесо попалъ! И вѣнчалъ насъ самъ архіерей — и предику какую сказалъ! всѣ плакали — куда я ни посмотрю — все слезы, слезы.... а у генералъ-губернатора лошади были тигровой масти.... И сколько цвѣтовъ, цвѣтовъ нанесли!... Завалили цвѣтами! И какъ по этому случаю одинъ иностранецъ, богатый-пребогатый, отъ любви застрѣлился — и какъ Орловъ тоже тутъ присутствовалъ....

И приблизившись къ Алексѣю Сергѣичу, поздравилъ его и назвалъ его счастливчикомъ.... Счастливчикъ-молъ ты, братъ губошлёпъ! И какъ въ отвѣтъ на эти слова, Алексѣй Сергѣичъ такъ чудесно поклонился и махнулъ плюмажемъ шляпы пò полу слѣва на право.... Дескать, ваше сіятельство, теперь между вами и моей супругой есть черта, которую вы не преступите! — И Орловъ, Алексѣй Григорьевичъ, тотчасъ понялъ и похвалилъ. — О! это былъ такой человѣкъ! такой человѣкъ! А тò въ другой разъ мы съ Алексисомъ были у него на балѣ — я уже зà-мужемъ была — и какіе были на немъ чудесныя бриліантовыя пуговицы! И я не выдержала, похвалила. Какія, говорю, у васъ, графъ, чудесные бриліанты! — А онъ, взявъ тутъ же со стола ножъ, отрѣзалъ одну пуговицу и презентовалъ мнѣ ее — и сказалъ: у васъ, голубушка, въ глазахъ во сто кратъ лучше бриліанты; станьте-ка передъ зеркаломъ, да посравните. И я стала, и онъ сталъ со мной рядомъ. — Ну, чтò? кто правъ? говоритъ — а самъ глазами такъ и водитъ, такъ и водитъ вокругъ меня. И Алексѣй Сергѣичъ тутъ очень сконфузился; но я ему сказала: — Алексисъ, сказала я ему — ты, пожалуйста, не конфузься; ты долженъ лучше меня знать! И онъ мнѣ отвѣтилъ: — Будь покойна, Мелани! — И самые эти бриліанты у меня теперь вокругъ медальона Алексѣя Григорьевича — ты, чай, видѣлъ, голубчикъ, я его по праздникамъ на плечѣ ношу, на Георгіевской лентѣ — потому храбрый былъ онъ очень герой, Георгіевскій кавалеръ: турку сжегъ!

Со всѣмъ тѣмъ была Маланья Павловна женщина очень добрая: угодить ей было легко. — «Ни она тебя грызь, ни она тебя шпынь» — отзывались о ней горничныя. — До страсти любила Маланья Павловна все сладкое — и особая старушка, которая только и занималась что вареньемъ, а потому и прозывалась варенухой, разъ по десяти на день

подносила ей китайское блюдечко — тò съ розовыми листочками въ сахарѣ, тò съ барбарисомъ въ меду, или съ ананаснымъ шербетомъ. Маланья Павловна боялась одиночества — страшныя мысли тогда находятъ — и почти постоянно была окружена приживалками, которыхъ убѣдительно просила: «говорите-молъ, говорите, чтò такъ сидите — только мѣста свои грѣете!» — и онѣ трещали, какъ канарейки. Будучи набожной не меньше Алексѣя Сергѣича, она очень любила молиться; но такъ какъ, по ея словамъ, она хорошо читать молитвы не выучилась — то и держалась на тò бѣдная вдова-дьяконица, которая ужъ такъ-то вкусно молилась! Не запнется ни во вѣкъ! И дѣйствительно: дьяконица эта умѣла какъ-то неудержимо произносить молитвенныя слова, не прерывая ихъ ни при вдыханьи, ни при выдыханьи — а Маланья Павловна слушала и умилялась. Состояла при ней другая вдовушка; та должна была разсказывать ей на ночь сказки, — но только старыя, просила Маланья Павловна, тѣ, чтò я ужъ знаю; новыя-то всѣ выдуманы. Очень была Маланья Павловна легкомысленна — а иногда и мнительна: вдругъ ей чтò въ голову взбредетъ! Не жаловала она, напримѣръ, карлика Януса; все думалось ей, что онъ вдругъ возьметъ да закричитъ: «а знаете вы, кто я? Бурятскій князь! Вотъ вы и покоряйтесь!» — А не то, домъ отъ меланхоліи подожжетъ. Щедра была Маланья Павловна такъ же, какъ и Алексѣй Сергѣичъ; но никогда деньгами не подавала — ручекъ не хотѣла марать — а платками, сережками, платьями, лентами; или со стола пошлетъ пирогъ, да жаркого кусокъ — а не то стклянницу вина. Бабъ по праздникамъ тоже угощать любила: станутъ онѣ плясать, а она каблучками притопываетъ и въ позу становится.

Алексѣй Сергѣичъ очень хорошо зналъ, что жена его глупа; но чуть ли не съ перваго году женитьбы пріучилъ

себя притворяться, будто она очень остра на языкъ и любитъ колкости говорить. Бывало, какъ только она слишкомъ разболтается, онъ тотчасъ погрозитъ ей мизинцемъ и приговариваетъ: «Охъ, язычекъ, язычекъ! ужъ достанется ему на томъ свѣтѣ! Проткнутъ его горячей шпилькой!» — Маланья Павловна этимъ, однако, не обижалась; напротивъ — ей какъ будто лестно было слышать такія слова: что-жъ-молъ! Не моя вина, что умна родилась!

Маланья Павловна обожала своего мужа — и всю жизнь оставалась примѣрно-вѣрной женой; но былъ и въ ея жизни «предметъ», молодой племянникъ, гусаръ, убитый, какъ она полагала, на дуэли изъ-за нея — а по болѣе достовѣрнымъ извѣстіямъ, умершій отъ удара кіемъ по головѣ, въ трактирной компаніи. Акварельный портретъ этого «предмета» хранился у ней въ секретномъ ящикѣ. Маланья Павловна всякій разъ краснѣла до ушей, когда упоминала о Капитонушкѣ — такъ звался «предметъ»; — а Алексѣй Сергѣичъ нарочно хмурился, опять грозилъ женѣ мизинцемъ и говорилъ: «Не вѣрь коню въ полѣ, а женѣ въ домѣ! Охъ, ужъ этотъ мнѣ Капитонушка, Купидонушка!» — Тогда Маланья Павловна вся вострепещивалась, и восклицала: «Алексисъ, грѣшно вамъ, Алексисъ! — Сами-то вы въ молодости, небось, «махались» съ разными сударками — такъ вотъ вы и полагаете....» — «Ну полно, полно, Маланьюшка», перебивалъ съ улыбкой Алексѣй Сергѣичъ; — «бѣло твое платье — а душа еще бѣлѣй!» — Бѣлѣй, Алексисъ, бѣлѣй! — «Охъ, язычекъ, по чести язычекъ», повторялъ Алексисъ — и трепалъ ее по рукѣ.

Упоминать объ «убѣжденіяхъ» Маланьи Павловны было бы еще неумѣстнѣе, чѣмъ объ убѣжденьяхъ Алексѣя Сергѣича; однако, мнѣ разъ пришлось быть свидѣтелемъ страннаго проявленія затаенныхъ чувствъ моей тетушки. Я какъ-то разъ, въ разговорѣ, упомянулъ объ извѣстномъ Шеш-

ковскомъ: Маланья Павловна внезапно помертвѣла въ лицѣ — такъ-таки помертвѣла, позеленѣла, несмотря на наложенныя бѣлила и румяна — и глухимъ, совершенно-искреннимъ голосомъ — (что̀ съ ней случалось очень рѣдко — она обыкновенно все какъ будто немножко рисовалась, тонировала да картавила) — проговорила: «Охъ! кого ты это назвалъ! Да еще къ ночи! — Не произноси ты этого имени!» Я удивился: какое могло имѣть значеніе это имя для такого безобиднаго и невиннаго существа, которое не только сдѣлать — но и подумать не съумѣла бы ничего непозволительнаго? — На не совсѣмъ веселыя размышленія навелъ меня этотъ страхъ, проявившійся чуть не черезъ полстолѣтія.

Скончался Алексѣй Сергѣичъ на 88-мъ году отъ рожденія, въ самый 1848 годъ, который, видно, смутилъ даже его. И смерть его была довольно странная. Онъ еще поутру хорошо себя чувствовалъ, хотя уже совсѣмъ не покидалъ кресла. И вдругъ онъ зоветъ жену: «Маланьюшка, подь-ка сюда». — Что тебѣ, Алексисъ? — «Помирать мнѣ пора, голубушка, вотъ что». — Богъ съ вами, Алексѣй Сергѣичъ! Отчего такъ? — «А вотъ отчего: перво-на̀-перво надо и честь знать; и еще: смотрю я себѣ давеча на ноги.... чужія ноги — да и полно! — На руки.... и тѣ чужія! Посмотрѣлъ на брюхо — и брюхо чужое! — Значитъ: чужой вѣкъ заѣдаю. Пошли-ка за попомъ; а пока — уложи меня на постелюшку — съ которой я уже не встану». Маланья Павловна переполошилась — однако уложила старика, и за попомъ послала. Алексѣй Сергѣичъ исповѣдался, причастился, попростился съ домочадцами — и сталъ засыпать. Маланья Павловна сидѣла у его кровати. — Алексисъ! вскрикнула она вдругъ — не пугай меня, не закрывай глазки! Аль, болитъ что? — Старикъ посмотрѣлъ на жену. — «Нѣтъ, не болитъ ничего.... а трудновато.... дышать трудновато». Потомъ, помолчавъ немного — «Маланьюшка», промолвилъ

онъ — «вотъ и жизнь проскочила — а помнишь, какъ мы вѣнчались.... какова была парочка?» — Была, красавчикъ ты мой, Алексисъ ненаглядный! — Старикъ опять помолчалъ. — «Маланьюшка, а встрѣтимся мы на томъ свѣтѣ?» — Буду о томъ Бога молить, Алексисъ. — И старушка залилась слезами. — «Ну, не плачь, глупенькая; авось насъ тамъ Господь Богъ помолодитъ — и мы опять станемъ парочкой!» — Помолодитъ, Алексисъ! — «Ему, Господу, все возможно», замѣтилъ Алексѣй Сергѣичъ. — «Онъ чудотворецъ! — пожалуй, и умницей тебя сотворитъ.... Ну, душка, пошутилъ; дай поцалую ручку». — А я твою. — И оба старика поцаловали другъ у друга въ подвертку руку.

Алексѣй Сергѣичъ началъ утихать и забываться. Маланья Павловна умиленно глядѣла на него, сбрасывая кончикомъ пальца слезинки съ рѣсницъ. Часа два просидѣла она такъ. «Започивалъ?» спрашивала шепотомъ старушка, что̀ молиться хорошо умѣла, высовываясь изъ-за Иринарха, который, неподвижно какъ столбъ, стоялъ у двери и пристально смотрѣлъ на отходившаго барина. — «Почиваетъ», отвѣчала Маланья Павловна тоже шепотомъ. И вдругъ Алексѣй Сергѣичъ открылъ глаза. — «Подруга моя вѣрная», пролепеталъ онъ, «супруга моя почтенная, въ ножки тебѣ бы поклонился за всю твою любовь и вѣрность — да гдѣ встать? Дай, хоть, перекрещу тебя». — Маланья Павловна придвинулась, наклонилась.... Но приподнятая рука упала безсильно на одѣяло — и черезъ нѣсколько мгновеній не стало Алексѣя Сергѣича.

Дочери его поспѣли только къ похоронамъ съ мужьями; дѣтей у нихъ не было — ни у той, ни у другой. Алексѣй Сергѣичъ ихъ не обидѣлъ въ своемъ завѣщаньи, хотя и не вспомнилъ о нихъ на смертномъ одрѣ. — «Замшилось къ нимъ мое сердце», — сказалъ онъ мнѣ однажды. Зная его доброту, я дивился его словамъ. — Трудно разсудить ро-

дителей съ дѣтьми. — «Большой оврагъ малой начинается трещиной», сказалъ Алексѣй Сергѣичъ мнѣ въ другой разъ по тому же поводу; — «въ аршинъ рана заживаетъ, а отруби хоть ноготь — не приростетъ».

Мнѣ сдается, что дочери стыдились своихъ чудаковатыхъ стариковъ.

Мѣсяцъ спустя не стало и Маланьи Павловны. Съ самаго дня кончины Алексѣя Сергѣича она уже почти не вставала и не наряжалась; но похоронили ее въ голубой кофтѣ и съ медальономъ Орлова на плечѣ, только безъ бриліантовъ. Ихъ подѣлили дочери подъ тѣмъ предлогомъ, что пойдутъ тѣ бриліанты на оклады образовъ; на дѣлѣ же онѣ ихъ употребили на украшеніе собственныхъ особъ.

И вотъ — какъ живые стоятъ передо мною мои старики — и хорошее храню я о нихъ воспоминаніе. А между тѣмъ, въ самый мой послѣдній пріѣздъ къ нимъ — (я уже тогда былъ студентомъ) — совершилось событіе, которое внесло нѣкоторый разладъ въ то гармонически-патріархальное настроеніе, которое Телѣгинскій домъ навѣвалъ на меня.

Въ числѣ дворовой прислуги состоялъ нѣкто Иванъ, по кличкѣ «Сухихъ» — кучеръ или кучерокъ, какъ его прозывали за малый его ростъ — несмотря на его уже немолодыя лѣта. Крошечный это былъ человѣчекъ, вертлявый, курносый, кудрявый, съ вѣчно смѣющимся, младенческимъ лицомъ и мышиными глазками. Большой онъ былъ балагуръ и потѣшникъ; всякую штуку умѣлъ смастерить, фейерверки пускалъ, змѣи, во всѣ игры игралъ, стоя на лошади скакалъ, выше всѣхъ взлеталъ на качеляхъ, даже китайскія тѣни умѣлъ представлять. Никто лучше его не забавлялъ дѣтей — и самъ онъ съ ними хоть цѣлый день радъ былъ возиться. — Примется хохотать — весь домъ расколышетъ: то тутъ, то тамъ ему отвѣчаютъ — разберетъ

всѣхъ.... И ругаются, да смѣются. — Плясалъ Иванъ удивительно — особенно «рыбку». — Грянетъ хоръ плясовую, парень выдетъ на середину круга — да и ну вертѣться, прыгать, ногами топотать, а потомъ какъ треснется о̀-земь — да и представляетъ движенія рыбки, которую выкинули изъ воды на сушь: и такъ изгибается, и этакъ, даже каблуки къ затылку подводитъ; — а тамъ какъ вскочитъ, загогочетъ — просто земля подъ нимъ дрожитъ! Бывало, Алексѣй Сергѣичъ, большой, какъ я уже сказывалъ, охотникъ до хороводовъ, никакъ не можетъ утерпѣть, чтобъ не закричать: «Ванюшу сюда! кучерка! Рыбку намъ валяй, живо!» — а черезъ минуту уже восторженно шепчетъ: «ахъ, онъ такой-сякой!»

И вотъ — въ послѣдній мой пріѣздъ, входитъ этотъ самый Иванъ Сухихъ ко мнѣ въ комнату и, ни слова не говоря, становится на колѣни. — Иванъ, что̀ съ тобой? — «Спасите, баринъ!» — Какъ, что̀ такое? — И разсказалъ мнѣ тутъ Иванъ свою бѣду.

Былъ онъ вымѣненъ — лѣтъ двадцать тому назадъ — отъ господъ Сухихъ на другого крѣпостного Телѣгинскаго человѣка; — такъ-таки просто вымѣненъ, безо всякихъ формальностей и бумагъ; отданный за него человѣкъ померъ — а господа Сухіе забыли объ Иванѣ — и остался онъ въ домѣ Алексѣя Сергѣича какъ свой; одно лишь прозвище его напоминало объ его происхожденіи. — Но вотъ умерли и прежніе его господа; имѣніе попало въ другія руки — и новый владѣлецъ, о которомъ ходили слухи, что онъ человѣкъ жестокій, мучитель, провѣдавъ, что одинъ изъ его крѣпостныхъ обрѣтается безо всякаго вида и права у Алексѣя Сергѣича, сталъ его требовать обратно; въ случаѣ же отказа грозилъ судомъ и штрафомъ — и грозилъ не по пустому — такъ какъ самъ состоялъ въ чинѣ тайнаго совѣтника и большой имѣлъ по губерніи вѣсъ. Иванъ съ пере-

пугу бросился къ Алексѣю Сергѣичу. Жалко стало старику своего плясуна — и предложилъ онъ тайному совѣтнику купить у него, Ивана, за хорошія деньги; но тайный совѣтникъ и слышать не хотѣлъ: былъ онъ малороссъ и упрямъ какъ чортъ. Приходилось отдавать бѣдняка. — «Я здѣсь сжился, я здѣсь освоился, я здѣсь служилъ, хлѣбъ ѣлъ и помереть здѣсь желаю» — говорилъ мнѣ Иванъ — и уже не было усмѣшки на его лицѣ; напротивъ — оно точно окаменѣло.... «А теперь я долженъ идти къ этому злодѣю.... Али я собака, что съ одной псарни на другую, завязавши оселомъ шею.... нà, молъ, тебѣ! Спасите, баринъ; помолите вы дяденьку — вспомните, какъ я всегда васъ потѣшалъ.... А то худо вѣдь будетъ; безъ грѣха дѣло не обойдется».

— Безъ какого грѣха, Иванъ?

— А убью я того-то барина. — Такъ и приду — да скажу ему: баринъ, отпустите меня обратно; а не то — смотрите, оберегайтесь.... я васъ убью.

Еслибы зябликъ или чижъ могъ говорить и сталъ бы увѣрять меня, что онъ заклюетъ другую птицу — не привелъ бы онъ меня въ бòльшее изумленіе, чѣмъ Иванъ о ту пору. — Какъ! Ваня Сухихъ, этотъ плясунъ, балагуръ, потѣшникъ, любимецъ дѣтей — и самъ дитя — это добродушнѣйшее существо — убійца! Чтò за чепуха! Ни на мгновенье не повѣрилъ я ему; меня до крайности поразило уже то, что онъ могъ выговорить такое слово! Однако я отправился къ Алексѣю Сергѣичу. — Не передалъ я ему того, чтò сказалъ мнѣ Иванъ, но всячески сталъ просить его, нельзя ли какъ-нибудь поправить дѣло? — «Сударикъ ты мой», отвѣчалъ мнѣ старикъ, «и радъ бы радостью — но какъ быть? — Предлагалъ я этому хохлу вознагражденія великія — триста рублей предлагалъ, по чести тебѣ говорю! а онъ — куды тебѣ! Что станешь дѣлать! Поступлено было противозаконно, на вѣру, по старинѣ.... а теперь

вонъ какое худо вышло! Вѣдь хохолъ тотъ, чего добраго, силкомъ Ивана у меня возьметъ — рука его властная, губернаторъ у него щи хлебаетъ — солдатъ пришлетъ хохолъ! А боюсь я солдатъ-то этихъ! Прежде, что говорить, я, какъ ни какъ, отстоялъ бы Ивана; — а теперь посмотри ты на меня, какой я дряхлецъ сталъ. Гдѣ мнѣ воевать?» — Дѣйствительно: въ послѣдній мой пріѣздъ я нашелъ Алексѣя Сергѣича чрезвычайно постарѣвшимъ: даже зрачки его глазъ приняли молочный цвѣтъ — какъ у младенцевъ — и на губахъ появилась не прежняя сознательная улыбка, а та напряженно-слащавая, безсознательная усмѣшка, которая и во время сна не сходитъ съ нихъ у очень дряхлыхъ людей.

Сообщилъ я рѣшеніе Алексѣя Сергѣича Ивану. Онъ постоялъ, помолчалъ, помоталъ головою. — «Ну», сказалъ онъ, наконецъ, — «чему быть, того не миновать. А только слово мое крѣпко. Значитъ: одно осталось.... почудесить на послѣдяхъ. — Баринъ, пожалуйте на водку!» Я ему далъ; онъ напился пьянъ — и въ тотъ же день такую откололъ «рыбку», что дѣвки и бабы даже взвизгивали — до того онъ кочевряжился!

На другой день я уѣхалъ домой, а мѣсяца черезъ три — уже въ Петербургѣ — я узналъ, что Иванъ сдержалъ-таки свое слово! — Выслали его къ новому барину; позвалъ его баринъ въ кабинетъ и объявилъ ему, что будетъ онъ у него состоять кучеромъ, что поручается ему тройка вятокъ, и что строго съ него взыщется, если будетъ худо за ними ходить, и вообще не будетъ исправенъ. — «Я-де шутить не люблю». — Иванъ выслушалъ барина, сперва въ ноги ему поклонился — а потомъ объявилъ, что, какъ его милости угодно, а не можетъ онъ быть ему слугою. — Отпустите, молъ, меня на оброкъ, ваше благородіе, али въ солдаты опредѣлите; а то долго ли до бѣды?

Баринъ вспылилъ. — Ахъ ты такой-сякой! Что̀ ты это мнѣ сказать посмѣлъ? — Во-первыхъ, знай, что я превосходительство, а не высокоблагородіе; во-вторыхъ, ты ужъ изъ лѣтъ вышелъ и ростъ у тебя не такой, чтобы тебя въ солдаты отдать; а наконецъ — какою это ты мнѣ бѣдой грозишь? Поджечь, что-ли, меня собираешься?

— Нѣтъ, ваше превосходительство, не поджечь.

— Такъ убить, что-ли?

Иванъ промолчалъ. — Не слуга я вамъ, промолвилъ онъ наконецъ.

— А вотъ я тебѣ покажу, взревѣлъ баринъ, мой ли ты слуга или нѣтъ! — И жестоко наказавъ Ивана, все-таки повелѣлъ ему выдать на руки тройку вятокъ и опредѣлить его кучеромъ на конный дворъ.

Иванъ, повидимому, покорился; началъ ѣздить кучеромъ. Такъ какъ онъ на это дѣло былъ мастеръ, то вскорѣ полюбился барину — тѣмъ болѣе, что велъ себя Иванъ очень скромно и тихо, и лошади у него раздобрѣли; выхолилъ онъ ихъ — такіе огурчики стали — заглядѣнье! Сталъ баринъ выѣзжать съ нимъ чаще, чѣмъ съ другими кучерами. Бывало, спроситъ: «А что̀, помнишь, Иванъ, какъ мы съ тобой неладно встрѣтились? Чай, дурь-то съ тебя соскочила?» Но, Иванъ на эти слова никогда ничего не отвѣчалъ. — Вотъ однажды, подъ самое Крещеніе, отправился баринъ съ Иваномъ въ городъ на его тройкѣ съ бубенцами, въ ковровыхъ пошевняхъ. Стали лошади шагомъ подниматься въ гору — а Иванъ слѣзъ съ облучка и зашелъ за пошевни, словно что обронилъ. — Морозъ стоялъ сильный: баринъ сидѣлъ, закутавшись, и бобровую шапку на уши надвинулъ. Тогда Иванъ досталъ изъ-подъ полы топоръ, подошелъ сзади къ барину, сбилъ съ него шапку — да, промолвилъ: «Я тебя, Петръ Петровичъ, остерегалъ — самъ на себя теперь пеняй!» — раскроилъ ему голову однимъ уда-

ромъ. Потомъ остановилъ лошадей, надѣлъ на мертваго барина сбитую шапку — и, снова взобравшись на облучокъ, привезъ его въ городъ, прямо къ присутственнымъ мѣстамъ.

— Вотъ-молъ вамъ Сухинскій генералъ убитый; и убилъ его я. — Какъ я ему сказалъ — такъ я ему и сдѣлалъ. Вяжите!

Ивана схватили, судили, присудили къ кнуту, а потомъ на каторгу. — Попалъ въ рудники веселый, птицеобразный плясунъ — да и исчезъ тамъ на вѣки....

Да; поневолѣ — хоть и въ иномъ смыслѣ — повторишь съ Алексѣемъ Сергѣичемъ: — Хороша старина.... ну, да и Богъ съ ней!

1881 г.

II.

ОТЧАЯННЫЙ.

I.

....Насъ было человѣкъ восемь въ комнатѣ, — и мы разговаривали о современныхъ дѣлахъ и людяхъ.

— Не понимаю я этихъ господъ! — замѣтилъ А.: — они отчаянные какіе-то!... Право, отчаянные.... Ничего подобнаго еще никогда не бывало.

— Нѣтъ, бывало, — вмѣшался П., уже старый, сѣдоволосый человѣкъ, родившійся около двадцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія: — отчаянные люди водились и прежде; только не походили они на нынѣшнихъ отчаянныхъ. Про поэта Языкова кто-то сказалъ, что у него былъ восторгъ, ни на что не обращенный, безпредметный восторгъ; такъ и у тѣхъ людей — отчаянность была безпредметная. Да вотъ, если позволите, я вамъ разскажу исторію моего двоюроднаго племянника, Миши Полтева. Она можетъ служить образчикомъ тогдашней отчаянности.

Явился онъ на свѣтъ Божій, помнится, въ 1828 году, въ родовомъ помѣстьѣ своего отца, въ одномъ изъ самыхъ глухихъ уголковъ глухой степной губерніи. Мишина отца,

Андрея Николаевича Полтева, я еще хорошо помню. Это былъ настоящій, старозавѣтный помѣщикъ, богобоязненный, степенный человѣкъ, достаточно — по тому времени— образованный, немного, правду сказать, придурковатый, да и къ тому же страдавшій падучей болѣзнью.... Это тоже старозавѣтная, дворянская болѣзнь.... Впрочемъ, припадки у Андрея Николаевича бывали тихіе, и разрѣшались они обыкновенно сномъ, да унылостью. — Сердца онъ былъ добраго, обращенія привѣтливаго, не безъ нѣкоторой величавости: я себѣ всегда такимъ воображалъ царя Михаила Ѳедоровича. Вся жизнь Андрея Николаевича протекла въ неукоснительномъ исполненіи всѣхъ съ давнихъ временъ установившихся обрядовъ, въ строгомъ соотвѣтствіи со всѣми обычаями древне-православнаго, свято-русскаго быта. Онъ вставалъ и ложился, кушалъ и въ баню ходилъ, веселился и гнѣвался (тò и другое, правда, рѣдко), даже трубку курилъ, даже въ карты игралъ (два большихъ новшества!) не такъ какъ бы ему вздумалось, не на свой манеръ, — а по завѣту и преданію отцовъ — истово и чинно. Самъ онъ былъ высокаго росту, осанистъ и мясистъ, голосъ имѣлъ тихій и нѣсколько хрипловатый, какъ оно часто бываетъ у русскихъ добродѣтельныхъ людей; соблюдалъ опрятность въ бѣльѣ и одеждѣ, носилъ бѣлые галстухи и табачнаго цвѣта длиннополые сюртуки, а дворянская кровь все-таки сказывалась; за поповича или купца никто бы его не принялъ! Всегда, при всѣхъ возможныхъ случаяхъ и встрѣчахъ, Андрей Николаевичъ несомнѣнно зналъ, какъ надо поступать, чтò надо говорить, и какія именно выраженія употреблять; зналъ, когда должно лечиться и чѣмъ именно, какимъ примѣтамъ должно вѣрить и какія можно оставлять безъ вниманія.... словомъ, зналъ все, чтò слѣдуетъ дѣлать.... Ибо все-молъ стариками предусмотрѣно и указано — своего только не придумывай.... А главное: безъ

Бога ни до порога! — Должно сознаться: скука смертельная царила въ его домѣ, въ этихъ низкихъ, теплыхъ и темныхъ комнатахъ, столь часто оглашаемыхъ пѣніемъ всенощныхъ и молебновъ, съ почти непереводившимся запахомъ ладана и постныхъ кушаній!

Женился Андрей Николаевичъ, уже не въ первой молодости, на сосѣдней бѣдной барышнѣ, очень нервической и болѣзненной особѣ, бывшей институткѣ. Она не дурно играла на фортепіано, говорила по-французски на институтскій ладъ; охотно восторгалась и еще охотнѣе предавалась меланхоліи и даже слезамъ.... Словомъ — характера была безпокойнаго. Считая жизнь свою загубленной, она не могла любить своего мужа, который «конечно» ея не понималъ; но она уважала.... она сносила его; и будучи существомъ вполнѣ честнымъ, и вполнѣ холоднымъ, ни разу даже не подумала о другомъ «предметѣ». Къ тому же ее постоянно поглощали заботы, во-первыхъ, о своемъ собственномъ, дѣйствительно слабомъ здоровьѣ; во-вторыхъ, о здоровьѣ мужа, припадки котораго ей всегда внушали нѣчто въ родѣ суевѣрнаго ужаса, а, наконецъ, и о единственномъ своемъ сынѣ Мишѣ, котораго она воспитывала сама съ большимъ рвеніемъ. Андрей Николаевичъ не мѣшалъ женѣ заниматься Мишей, — но съ условіемъ: ни подъ какимъ видомъ не выступать изъ однажды навсегда назначенныхъ рамокъ, въ которыхъ все должно было вращаться у него въ домѣ! Такъ, напримѣръ: въ святки и подъ Новый годъ, въ Васильевъ вечеръ, Мишѣ позволялось наряжаться вмѣстѣ съ другими «хлопчиками», и не только позволялось, но даже ставилось въ обязанность.... Зато — сохрани Богъ, въ другое время! и т. д., и т. д.

II.

Помню я этого Мишу лѣтъ тринадцати. — Это былъ очень миловидный мальчикъ съ розовыми щечками и мякенькими губками (да и весь онъ былъ мякенькій да пухленькій), съ нѣсколько выпуклыми, влажными глазами, тщательно приглаженный и причесанный, ласковый и стыдливый — настоящая дѣвочка! — Одно только въ немъ мнѣ не нравилось: смѣялся онъ рѣдко; но когда смѣялся — зубы его, крупные, бѣлые и по звѣриному заостренные, непріятно выставлялись, — и самый смѣхъ звучалъ чѣмъ-то рѣзкимъ и даже дикимъ — почти звѣрскимъ, — а въ глазахъ пробѣгали нехорошія искры. Мать все хвалила его за тò, что онъ такой послушный и вѣжливый — и съ мальчиками-шалунами не любитъ знаться, а все больше льнетъ къ женскому обществу. — «Матушкинъ сынокъ, нѣженка», — отзывался о немъ отецъ, Андрей Николаевичъ: — «но зато въ храмъ Божій ходитъ охотно.... И это меня радуетъ». — Одинъ только старикъ-сосѣдъ, бывшій исправникъ, сказалъ разъ при мнѣ о Мишѣ: — «Помилуйте, бунтовщикъ будетъ». И это слово меня, помнится, тогда очень удивило. Бывшій исправникъ, правда, всюду видѣлъ бунтовщиковъ.

Точно такимъ примѣрнымъ юношей оставался Миша до 18-ти-лѣтняго возраста, до самой смерти родителей, которыхъ онъ лишился едва-ли не въ одинъ и тотъ же день. Живя постоянно въ Москвѣ, я ничего не слышалъ о моемъ молодомъ родственникѣ. Правда, одинъ пріѣзжій изъ его губерніи увѣрялъ меня, будто бы Миша продалъ за безцѣнокъ свое родовое имѣніе; но это извѣстіе казалось мнѣ слишкомъ неправдоподобнымъ! — И вотъ вдругъ, въ одно осеннее утро, на дворъ моего дома влетаетъ коляска, запряженная парой превосходныхъ рысаковъ, съ чудовищ-

нымъ кучеромъ на козлахъ; а въ коляскѣ — облеченный въ шинель военнаго покроя съ двухъ-аршиннымъ бобровымъ воротникомъ, съ фуражкой на бекрень à la diable m'emporte, сидитъ.... Миша! — Увидавъ меня (я стоялъ у окна гостиной и съ изумленьемъ глядѣлъ на влетѣвшій экипажъ), — онъ захохоталъ своимъ рѣзкимъ хохотомъ, и лихо тряхнувъ обшлагомъ шинели, выпрыгнулъ изъ коляски и вбѣжалъ въ домъ.

— Миша! Михаилъ Андреевичъ! — началъ-было я....— Вы-ли это?

— Говорите мнѣ: «ты» и «Миша» — перебилъ онъ меня. — Я.... это я, собственной персоной.... явился въ Москву.... на людей посмотрѣть.... и себя показать. Вотъ и къ вамъ заѣхалъ. — Каковы рысачки?... А? — Онъ опять захохоталъ:

Хотя лѣтъ семь прошло съ тѣхъ поръ, какъ я въ послѣдній разъ видѣлъ Мишу, но узналъ я его тотчасъ. — Лицо у него осталось совсѣмъ молодымъ и по прежнему миловиднымъ, — даже усъ не пробился; только подъ глазами на щекахъ появилась одутловатость — и изо рту пахло виномъ.

— Да давно ли ты въ Москвѣ? — спросилъ я. — Я полагалъ, что ты тамъ въ деревнѣ хозяйничаешь....

— Э! Деревню-то я тотчасъ по боку! — Какъ только родители, царство имъ небесное, скончались — (Миша перекрестился истово, безъ малѣйшаго кощунства) — я сейчасъ, ни мало не медля.... эйнъ, цвей, дрей! ха-ха! Дешево спустилъ, канальство! Такой подвернулся шельмецъ. — Ну, да все равно! По крайней мѣрѣ поживу въ свое удовольствіе — и другихъ потѣшу. — Да что вы на меня такъ уставились? — Неужто же въ самомъ дѣлѣ мнѣ было тянуть да тянуть эту канитель?... Голубчикъ, родной, нельзя ли чарочку?

Миша говорилъ ужасно скоро, торопливо и, въ то же время, какъ бы съ просонья.

— Миша, помилуй! — возопилъ я: — побойся ты Бога! на кого ты похожъ, въ какомъ ты видѣ? А еще чарочку! И продать такое хорошее имѣніе за безцѣнокъ....

— Бога я всегда боюсь и помню, — подхватилъ онъ.— Да, вѣдь, онъ добрый — Богъ-то.... проститъ! И я тоже добрый.... никого еще въ жизни не обидѣлъ. И чарочка тоже добрая; и обижать.... тоже никого не обижаетъ. А видъ у меня самый настоящій.... Дяденька, желаете, стрункой по половицѣ пройду? Или попляшу немного?

— Ахъ, пожалуйста, избавь! — Какой тутъ плясъ? Ты лучше сядь.

— Сѣсть-то я сяду.... Да что̀ вы мнѣ ничего не скажете о моихъ сѣрыхъ? Вы посмотрите, вѣдь львы! Пока я ихъ нанимаю, но куплю непремѣнно.... вмѣстѣ съ кучеромъ. — Свои лошади не въ примѣръ выгоднѣе. И деньги вѣдь были, да спустилъ ихъ вчера въ банчишко. — Ничего, завтра наверстаемъ. Дяденька.... а что же чарочку?

Я все еще не могъ опомниться. — Помилуй, Миша, сколько тебѣ лѣтъ? Не лошадьми, не карточной игрой тебѣ заниматься слѣдуетъ.... а въ университетъ поступить, или на службу.

Миша сперва опять захохоталъ, потомъ свиснулъ протяжно.

— Ну, дяденька, я вижу, вы теперь въ меланхолическомъ настроеніи. Заверну въ другой разъ. — А вы вотъ что: заѣзжайте-ка вечеркомъ въ Сокольники. Тамъ у меня палатка разбита. Цыгане поютъ.... Фу ты! ну ты! держись только! А на палаткѣ вымпелъ, а на вымпелѣ ба-альшими буквами написано: «Хоръ Пòлтевскихъ цыганъ». Змѣемъ вымпелъ-то вьется, буквы золотыя, всякому прочесть лестно. Угощеніе — кто только пожелаетъ!... Отказу нѣтъ.

Пыль по всей Москвѣ пошла.... мое почтеніе!... Чтожъ? Заѣдете? Ужъ какая тамъ у меня есть одна.... аспидъ! Черна какъ сапогъ, злюща какъ собака, а глаза.... уголья! Никакъ не возможно узнать: что̀ она — поцѣлуетъ или укуситъ?... Заѣдете, дяденька?... Ну, до свиданія!

И внезапно обнявъ и чмокнувъ меня въ плечо, Миша выскочилъ на дворъ, въ коляску, махнулъ надъ головой фуражкой, гикнулъ, — чудовищный кучеръ покосился на него черезъ бороду, рысаки рванулись, и все исчезло!

На другой день, я, грѣшный человѣкъ, поѣхалъ-таки въ Сокольники, и дѣйствительно увидалъ палатку съ вымпеломъ и надписью. По̀лы палатки были приподняты: шумъ, трескъ, визгъ неслись оттуда. Народъ толпился кругомъ. На землѣ, на разостланномъ коврѣ сидѣли цыгане, цыганки, пѣли, били въ бубны, а посреди ихъ, съ гитарой въ рукахъ, въ шелковой красной рубахѣ и бархатныхъ шароварахъ, юлою вертѣлся Миша. — «Господа! почтенные! милости просимъ! сейчасъ представленіе начнется! Даровое!» — кричалъ онъ надтреснутымъ голосомъ. — «Эй! шампанскаго! хлопъ! въ лобъ! въ потолокъ! ахъ, ты шельма, Поль-де-Кокъ!» — Къ счастью, онъ не увидалъ меня, и я поспѣшилъ удалиться.

Не буду, господа, я распространяться о моемъ изумленіи при видѣ такой перемѣны. И въ самомъ дѣлѣ, какъ могъ этотъ смирный и скромный мальчикъ превратиться вдругъ въ пьянаго шалопая?! Неужто же это все въ немъ таилось съ дѣтства, и тотчасъ выступило наружу, какъ только соскочилъ съ него гнетъ родительской власти? — А что пыль пошла отъ него по Москвѣ, какъ онъ выражался, — въ этомъ уже точно не было никакого сомнѣнія. Видалъ я кутилъ на своемъ вѣку; но тутъ проявлялось нѣчто неистовое, какое-то бѣшенство самоистребленія, какое-то отчаяніе!

III.

Мѣсяца два продолжалась эта потѣха.... И вотъ, стою я опять у окна въ гостиной и посматриваю на дворъ.... Вдругъ — что̀ за притча!?.. входитъ въ ворота тихой поступью послушникъ.... Шапонька гречникомъ надвинута на лобъ, волосики изъ подъ ней расчесаны направо и налѣво.... длинный подрясникъ, кожаный поясъ.... Неужели Миша? Онъ и есть!

Вышелъ я къ нему на крыльцо.... — Это что за маскарадъ? — спрашиваю я.

— Не маскарадъ, дяденька, — отвѣчаетъ мнѣ Миша съ глубокимъ вздохомъ: — а такъ какъ я все мое имущество до послѣдней копѣечки растранжирилъ — да и раскаяніе мною овладѣло сильное, — то я рѣшился отправиться въ Троицкую Сергіеву Лавру грѣхи свои отмаливать. — Ибо какой мнѣ теперь пріютъ остался?... И вотъ пришелъ я къ вамъ проститься, дяденька, какъ блудный сынъ....

Я посмотрѣлъ въ упоръ на Мишу. Лицо все такое-же, розовое да свѣжее (впрочемъ, оно такъ и не измѣнилось у него до конца), — и глаза влажные да ласковые съ поволокой — и ручки бѣленькія.... А виномъ отдаетъ.

— Что-жъ! — промолвилъ я наконецъ: — дѣло хорошее — коли другого исхода нѣтъ. Но зачѣмъ же отъ тебя виномъ-то пахнетъ?

— Старая закваска, — отвѣтилъ Миша, и вдругъ засмѣялся — да тотчасъ спохватился, и поклонившись прямымъ и низкимъ, монашескимъ поклономъ, прибавилъ: — Не пожалуете ли что̀ на путь-дороженьку? Вѣдь въ монастырь иду я пѣшкомъ....

— Когда?

— Сегодня.... сейчасъ.

— Къ чему же такъ спѣшить?

— Дяденька! мой девизъ всегда былъ: скорѣй! скорѣй!

— А теперь какой у тебя девизъ?

— И теперь тотъ же.... Только — къ *добру* скорѣй!

Такъ Миша и ушелъ, предоставивъ мнѣ размышлять о превратностяхъ судебъ человѣческихъ.

Но онъ скоро напомнилъ мнѣ о своемъ существованіи. Мѣсяца два спустя послѣ его посѣщенія, я получилъ отъ него письмо, первое изъ тѣхъ писемъ, которыми онъ впослѣдствіи надѣлялъ меня. И замѣтьте странность: я рѣдко видывалъ болѣе опрятный и четкій почеркъ, чѣмъ у этого безалабернаго человѣка. И слогъ его писемъ былъ очень правильный, слегка витіеватый. Неизмѣнныя просьбы о помощи всегда чередовались съ обѣщаніями исправиться, честными словами и клятвами.... Все это казалось — а, можетъ, и было — искреннимъ. Росчеркъ Миши подъ письмомъ постоянно сопровождался особенными закрутасами, черточками и точками, — и много употреблялъ онъ восклицательныхъ знаковъ. Въ томъ первомъ письмѣ Миша извѣщалъ меня о новомъ «оборотѣ своей фортуны». (Впослѣдствіи онъ называлъ эти обороты — нырками.... и нырялъ онъ часто). Онъ отправился на Кавказъ служить «грудью» царю и отечеству, въ качествѣ юнкера! И хотя нѣкая добродѣтельная тетка вошла въ его бѣдственное положеніе и прислала ему незначительную сумму,—онъ, однако, все-таки просилъ и меня помочь ему экипироваться. Я исполнилъ его просьбу, и въ теченіи двухъ лѣтъ опять ничего не слышалъ о немъ.

Признаться, я сильно сомнѣвался въ томъ, поѣхалъ ли онъ на Кавказъ? Но оказалось, что онъ точно поѣхалъ туда, по протекціи поступилъ въ Т...ій полкъ юнкеромъ и прослужилъ въ немъ эти два года. Цѣлыя легенды составились тамъ о немъ. Мнѣ ихъ сообщилъ одинъ офицеръ его полка.

IV.

Я узналъ много такого, чего я и отъ него не ожидалъ. — Меня, конечно, не удивило то, что военнымъ человѣкомъ, служакой, онъ оказался плохимъ, даже просто негоднымъ; но чего я не ожидалъ, такъ это того, что и храбрости въ немъ особенной не замѣчалось; что въ сраженіяхъ онъ имѣлъ видъ унылый и вялый, не то скучалъ, не то смущался. Всякая дисциплина его стѣсняла, внушала ему грусть; дерзокъ онъ былъ до сумасбродства, когда дѣло шло только о немъ *лично*; не было такого безумнаго пари, отъ котораго бы онъ отказался; но дѣлать зло другимъ, убивать, драться онъ не могъ, быть можетъ, отъ того, что сердце у него было доброе, — а быть можетъ, отъ того, что «хлопчато-бумажное» (какъ онъ выражался) воспитаніе его изнѣжило. Самого себя истреблять онъ былъ готовъ всячески и во всякое время.... Но другихъ — нѣтъ. «Чортъ его разберетъ», толковали о немъ товарищи: — «дряблый онъ, тряпка — и отчаянный какой-то — просто оглашенный!» — Случалось мнѣ въ послѣдствіи спрашивать Мишу, какой это злой духъ его толкаетъ, заставляетъ пить запоемъ, рисковать жизнью и т. п.? У него всегда былъ одинъ отвѣтъ: тоска!

— Да отчего — тоска?

— Какъ-же, помилуйте! Придешь этакимъ образомъ въ себя, очувствуешься, станешь размышлять о бѣдности, о несправедливости, о Россіи.... Ну — и кончено! Сейчасъ тоска — хоть пулю въ лобъ! Закутишь поневолѣ.

— Россію-то ты зачѣмъ сюда приплелъ?

— А то какъ же? Нельзя! — Отъ того я и боюсь размышлять.

— Все это у тебя — и тоска эта — отъ бездѣйствія.

— Да не умѣю я ничего дѣлать, дяденька! родной! Вотъ взять да жизнь на карту поставить — пароли пэ, щолкъ за воротникъ! Это я умѣю! — Вы вотъ научите ме что̀ мнѣ дѣлать, жизнью изъ-за чего рискнуть? — Я — минуту!...

— Да ты живи просто.... Зачѣмъ рисковать?

— Не могу! — Вы скажете: необдуманно я поступаю Какъ же иначе?... Станешь думать — и, Господи, что голову полѣзетъ! Это нѣмцы одни думаютъ!...

Какъ тутъ было разговаривать съ нимъ? Отчаянный да и полно!

Изъ числа кавказскихъ легендъ, о которыхъ я упомянулъ, разскажу вамъ двѣ, три. Однажды, въ обществѣ офицеровъ, сталъ Миша хвастаться вымѣненной шашкой. Настоящій персидскій клинокъ! Офицеры выразили сомнѣніе, точно ли клинокъ настоящій? Миша заспорилъ. — Да вотъ, — воскликнулъ онъ наконецъ: — говорятъ — на счетъ шашекъ, первый знатокъ — Абдулка кривой. Поѣду къ нему и спрошу. — Офицеры изумились. — Это какой Абдулка? Что въ горахъ живетъ? Не мирной? Абдулъ-ханъ? — Онъ самый и есть. — Да онъ тебя за лазутчика приметъ, въ клоповникъ засадитъ, — а не то, этой самой шашкой голову тебѣ срѣжетъ. Да и какъ ты доберешься до него? Тебя сейчасъ сцапаютъ. — А я все-таки поѣду къ нему. — Пари, что не поѣдешь! — Пари! — И Миша тотчасъ осѣдлалъ лошадь и поѣхалъ къ Абдулкѣ. Три дня пропадалъ. Всѣ были убѣждены, что пришелъ оглашенному конецъ. Глядь! вернулся — пьянехонекъ и съ шашкой, только не съ той, которую повезъ, а съ другою. Стали его разспрашивать. — Ничего, говоритъ: — добрый Абдулка человѣкъ. Сперва, точно: кандалы велѣлъ мнѣ на ноги набить и даже на колъ посадить собирался. Только я объяснилъ ему, зачѣмъ пріѣхалъ и шашку показалъ. — И не задерживай ты меня, го-

ірю: выкупа, говорю, за меня не жди; гроша у меня за ушою нѣтъ — и родныхъ не имѣется. — Удивился Абдулка; осмотрѣлъ на меня единымъ своимъ глазомъ. — Ну, говоритъ, делибашъ ты, урусъ; долженъ я тебѣ вѣрить? — Вѣрь, говорю; я не лгу никогда (и точно, Миша никогда не лгалъ). — Опять посмотрѣлъ на меня Абдулка. — А пить ино умѣешь? — Умѣю, говорю; сколько дашь, столько и выпью. — Опять удивился Абдулка, Аллаха помянулъ. И дѣлъ онъ тутъ своей — дочкѣ, что̀ ли, хорошенькая такая, только взглядъ какъ у чекалки, — притащить бурдюкъ. И началъ я дѣйствовать. — А шашка твоя, говоритъ, фальшивая; вотъ, возьми настоящую. И теперь мы съ тобой братаки. — А пари вы, господа, проиграли, платите.

Вторая легенда о Мишѣ вотъ какого свойства: онъ до страсти любилъ карты; но такъ какъ денегъ у него не водилось и карточные долги онъ не платилъ (хотя шулеромъ онъ когда не былъ), то играть съ нимъ уже никто не садился. Вотъ однажды началъ онъ приставать къ одному товарищу-офицеру: съиграй да съиграй съ нимъ! — Да вѣдь ты проиграешь — не отдашь. — Деньгами точно не отдамъ — а свою руку себѣ прострѣлю, вотъ этимъ самымъ пистолетомъ! — Да какая мнѣ отъ этого выгода будетъ? — Выгоды никакой — а все-таки любопытно. — Разговоръ этотъ происходилъ послѣ попойки, при свидѣтеляхъ. Точно ли показалось офицеру любопытнымъ Мишино предложеніе — только онъ согласился. Принесли карты, началась игра. Мишѣ повезло: онъ выигралъ сто рублей. И тутъ противникъ его ударилъ себя по лбу. — Какой же я олухъ! — воскликнулъ онъ: — на какую удочку попался! Кабы ты проигралъ, сталъ бы ты себѣ прострѣливать руку — какъ не, держи карманъ! — А вотъ ты и соврал, — возразилъ Миша: — я и выигралъ — да руку себѣ прострѣлю. — Онъ схватилъ пистолетъ — и бацъ! прострѣлилъ себѣ руку.

Пуля пролетѣла насквозь.... а недѣлю спустя рана зажила совершенно.

Въ другой еще разъ, ѣхалъ Миша ночью съ товарищами по дорогѣ.... И видятъ они, возлѣ самой дороги, зіяетъ узкій оврагъ въ родѣ разсѣлины, темный, претемный, дна не видать. — Вотъ, говоритъ одинъ товарищъ, ужъ на что Мишка отчаянный, а въ этотъ оврагъ не прыгнетъ. — Нѣтъ, прыгну! — Нѣтъ, не прыгнешь, потому что въ немъ, пожалуй, сажень десять глубины, и шею сломить можно.— Зналъ пріятель, за что его задѣть—за самолюбіе.... Очень оно было у Миши велико. — А я все-таки прыгну! Хочешь пари? Десять реблей. — Изволь! — И не успѣлъ товарищъ выговорить это слово, какъ уже Миша съ коня долой — въ оврагъ — и загремѣлъ по каменьямъ. Всѣ такъ и замерли.... Прошла добрая минута, и слышатъ они словно изъ земной утробы доносится Мишинъ голосъ, глухо таково:— Цѣлъ! въ песокъ попалъ.... А летѣлъ долго! Десять рублей за вами. — Вылѣзай! — закричали товарищи. — Да, вылѣзай! — отозвался Миша: — чорта съ два! вылѣзешь тутъ. Вамъ теперь за веревками да за фонарями ѣхать надо. А пока, чтобы не скучно было ждать, бросьте-ка мнѣ фляжку....

Такъ и пришлось Мишѣ просидѣть часовъ пять на днѣ оврага; и когда его вытащили, у него плечо оказалось вывихнутымъ. Но это нисколько его не смутило. На другой же день костоправъ изъ кузнецовъ вправилъ ему плечо, и онъ дѣйствовалъ имъ какъ ни въ чемъ не бывало.

Вообще, здоровье у него было удивительное, неслыханное. Я уже сказывалъ вамъ, что онъ до самой смерти сохранилъ почти дѣтскую свѣжесть лица. Болѣзней онъ не вѣдалъ, несмотря на всѣ излишества; крѣпость его организма ни разу не пошатнулась. Гдѣ бы другой непремѣнно занемогъ опасно или даже умеръ бы, онъ только встряхи-

вался какъ утка на водѣ и расцвѣталъ пуще прежняго. Разъ, тоже на Кавказѣ.... Правда, *эта* легенда неправдоподобна, но по ней можно судить, на что̀ считали Мишу способнымъ.... Итакъ, разъ, на Кавказѣ, онъ въ пьяномъ видѣ свалился въ ручей нижней частью туловища, голова и рука остались на берегу, наружу. Дѣло было зимою, ударилъ сильный морозъ, и когда его нашли на другое утро, ноги его и животъ сквозили изъ-подъ крѣпкой ледяной коры, намерзшей въ теченіи ночи—и хоть бы насморкъ онъ схватилъ! Въ другой разъ (это было уже въ Россіи, подъ Орломъ, и тоже въ жестокій морозъ), попалъ онъ въ загородный трактиръ, въ компанію семи молодыхъ семинаристовъ. Семинаристы эти праздновали свой выпускной экзаменъ, а Мишу пригласили, какъ милаго человѣка, человѣка «со вздохомъ», какъ говорилось тогда. Выпито было чрезвычайно много, и когда, наконецъ, веселая ватага собралась къ отъѣзду, Миша, мертвецки пьяный, находился уже въ безчувственномъ состояніи. У всѣхъ семи семинаристовъ были одни только троечные сани съ высокимъ задкомъ; куда было дѣть безотвѣтное тѣло? Тогда одинъ изъ молодыхъ людей, вдохновившись классическими воспоминаніями, предложилъ привязать Мишу за ноги къ задку саней, какъ Гектора къ колесницѣ Ахиллеса! Предложеніе было одобрено..... и подпрыгивая на ухабахъ, скользя бокомъ на раскатахъ, съ задранными къ верху ногами, съ вываленной въ снѣгу головою, проѣхалъ нашъ Миша на спинѣ все двухверстное разстояніе отъ трактира до города, и хоть бы кашлянулъ потомъ, хоть бы поморщился! Такимъ дивнымъ здоровьемъ надѣлила его природа!

V.

Съ Кавказа онъ опять явился въ Москву, въ черкескѣ съ патронами на груди, съ кинжаломъ на поясѣ, съ высокой папахой на головѣ. Съ этимъ костюмомъ онъ уже до конца не разстался, хоть и не находился болѣе на военной службѣ, изъ которой его выключили за неявку къ сроку. Онъ побывалъ у меня, занялъ немного денегъ.... и тутъ-то начались его «ныркн», начались его хожденія по мытарствамъ, или, какъ онъ выражался, по семи Семіонамъ; начались внезапныя отлучки и возвращенія, посыпались красиво-написанныя письма, адрессованныя ко всѣмъ возможнымъ лицамъ, начиная съ митрополита и кончая берейторами и повивальными бабками! Пошли визиты къ знакомымъ и незнакомымъ! И вотъ что слѣдуетъ замѣтить: дѣлая свои визиты, онъ не низкопоклонничалъ и не канючилъ, а напротивъ, держался прилично, и даже видъ имѣлъ веселый и пріятный, хотя заматерѣлый запахъ вина сопровождалъ его повсюду — и восточный костюмъ понемногу превращался въ лохмотья. — Дадите, Богъ васъ наградитъ, хоть я этого и не стою, говорилъ онъ, свѣтло улыбаясь и откровенно краснѣя; не дадите, будете вполнѣ правы и сердиться я уже никакъ не стану. Прокормлюсь, Богъ дастъ! Ибо людей бѣднѣе меня и болѣе достойныхъ помощи — много, очень много! — Миша особенно успѣвалъ у женщинъ: онъ умѣлъ возбуждать ихъ сожалѣніе. И не думайте, чтобы онъ былъ или воображалъ себя Ловласомъ.... О, нѣтъ! въ этомъ отношеніи онъ былъ очень скроменъ. Унаслѣдовалъ ли онъ отъ родителей такую холодную кровь, или, наконецъ, и тутъ сказывалось его нежеланіе дѣлать кому-либо зло, такъ какъ, по его понятіямъ, съ женщиной знаться — значитъ, непремѣнно женщину обидѣть, — рѣшить я не берусь; только

онъ въ своихъ поступкахъ съ прекраснымъ поломъ былъ весьма деликатенъ. Женщины это чувствовали и тѣмъ охотнѣе жалѣли его, и помогали ему, пока онъ, наконецъ, не отталкивалъ ихъ своимъ загуломъ и запоемъ, той отчаянностью, о которой я уже говорилъ.... другого слова я придумать не могу.

Зато въ другихъ отношеніяхъ, онъ уже всякую деликатность утратилъ и понемногу спустился до послѣднихъ униженій. Онъ разъ до того дошелъ, что въ Т...мъ дворянскомъ собраніи выставилъ на столѣ кружку съ надписью: «Всякій, кому покажется лестнымъ щелкнуть по носу столбового дворянина Полтева (подлинные документы при семъ прилагаются), можетъ удовлетворить свое желаніе, положивши рубль въ сію кружку». И, говорятъ, нашлись любители щелкать дворянина по носу! Правда, онъ одного изъ этихъ любителей зато, что тотъ, положивши *одинъ* рубль въ кружку, далъ ему *два* щелчка, сперва чуть не задушилъ, а потомъ заставилъ попросить извиненія; правда и то, что часть вырученныхъ, такимъ образомъ, денегъ, онъ тутъ же роздалъ другимъ голышамъ.... но все же, какое безобразіе!

Въ теченіи своихъ странствованій по семи Семіонамъ, онъ добрался также до своего родового гнѣзда, проданнаго имъ за безцѣнокъ извѣстному въ то время аффериcту и ростовщику. Аффеpистъ былъ дома, и узнавъ о прибытіи прежняго владѣльца, превратившагося въ бродягу, приказалъ не пускать его въ домъ, а въ случаѣ нужды, даже турнуть его въ шею. Миша объявилъ, что въ домъ, оскверненный присутствіемъ мерзавца, онъ самъ не пойдетъ; турнуть же себя никому не позволитъ, а отправится на церковный погостъ поклониться праху своихъ родителей. Онъ такъ и сдѣлалъ. На погостѣ присоединился къ нему старикъ дворовый, бывшій когда-то его дядькой. Аффеpистъ

лишилъ старика мѣсячины и прогналъ его вонъ изъ усадьбы; тотъ съ тѣхъ поръ ютился въ закуткѣ у мужика. Миша такое недолгое время завѣдывалъ своимъ имѣньемъ, что особенно хорошей памяти о себѣ оставить не успѣлъ; однако, старый слуга все-таки не вытерпѣлъ и, узнавъ о прибытіи своего барчука, тотчасъ побѣжалъ на погостъ, нашелъ Мишу сидѣвшимъ на землѣ между надгробными плитами, попросилъ у него, по старой памяти ручку и даже прослезился, глядя на лохмотья, которыми облекались нѣкогда выхоленные члены его воспитанника. Миша долго, молча, смотрѣлъ на старика. — Тимоѳей! сказалъ онъ наконецъ; Тимоѳей встрепенулся. — Чего изволите? — Есть у тебя лопата? — Достать можно.... А на что вамъ лопата, сударь, Михайло Андреичъ? — Хочу себѣ тутъ могилку вырыть, Тимоѳей; — да и лечь тутъ навѣки вѣчные, между родителями. Вѣдь только одно мѣстечко и осталось у меня на свѣтѣ. Принеси лопату! — Слушаю, сказалъ Тимоѳей; пошелъ и принесъ. И Миша тотчасъ началъ рыть землю; а Тимоѳей стоялъ возлѣ, подперши рукою подбородокъ и повторяя: — «Только и осталось намъ съ тобою, баринъ!» А Миша рылъ да рылъ, отъ времени до времени спрашивая: — Вѣдь не стòитъ жить, Тимоѳей? — Не стòитъ, батюшка. — Ямка уже становилась довольно глубокой. Люди увидали Мишину работу и побѣжали доложить о ней новому владѣльцу-аффериcту. Аффериcтъ сперва разгнѣвался, хотѣлъ за полиціей послать: — это-молъ кощунство! Но потомъ, вѣроятно сообразивъ, что дѣло имѣть съ этимъ сумасбродомъ все-таки неудобно, можетъ выдти скандалъ, — отправился самолично на погостъ, — и, подойдя къ трудившемуся Мишѣ, вѣжливо ему поклонился. Тотъ продолжалъ рыть, какъ бы не замѣтивъ своего преемника. — Михаилъ Андреичъ, — началъ аффериcтъ: — позвольте узнать, что это вы тутъ дѣлаете?

— А вотъ видите — могилу себѣ рою. — Это зачѣмъ же? — А затѣмъ, что жить больше не желаю. — Аффе-ристъ даже руками развелъ. — Не желаете жить? — Миша грозно взглянулъ на афферистa: — Это васъ удивляетъ? Развѣ не вы всему причиной?... Не вы?... Не ты?... Не ты, Іуда, меня ограбилъ, воспользовавшись моимъ младенчествомъ? Не ты съ мужиковъ шкуру дерешь? Не ты вотъ этого дряхлеца хлѣба насущнаго лишилъ? Не ты?... О, Господи! вездѣ одна несправедливость, да притѣсненіе, да злодѣйство.... Пропадай, значитъ, все — и я туда же! Не хочу жить, не хочу въ Россіи болѣе жить! — И лопата еще быстрѣе заходила въ Мишиныхъ рукахъ.

«Чортъ знаетъ, что это такое! — подумалъ аффе-ристъ: — вѣдь взаправду закопается». — Михаилъ Андреевичъ, — началъ онъ снова: — послушайте; я передъ вами, точно, виноватъ; мнѣ объ васъ не такъ доложили. — Миша рылъ. — Но къ чему такое отчаяніе? — Миша все рылъ — и землю бросалъ на ноги аффе-ристу: — «на молъ тебѣ, землеѣдъ!» — Право, это вы напрасно. Не угодно ли будетъ вамъ зайти ко мнѣ — закусить да отдохнуть? — Миша приподнялъ голову. — Вотъ ты теперь какъ! А выпивка будетъ? — Аффе-ристъ обрадовался. — Помилуйте.... еще бы! — И Тимоѳея пригласишь? — Отчего же.... и его. — Миша задумался. — Только смотри.... вѣдь ты меня по міру пустилъ.... Одной бутылочкой не полагай отдѣлаться! — Не безпокойтесь.... будетъ всего вволю. — Миша всталъ и бросилъ лопату.... — Ну, Тимоша, — обратился онъ къ старому дядькѣ — уважимъ хозяина.... Идемъ! — Слушаю, — отвѣчалъ старикъ.

И всѣ трое отправились въ домъ.

Аффе-ристъ зналъ, съ кѣмъ имѣлъ дѣло. Съ первоначала Миша, правда, взялъ съ него слово, что онъ крестьянамъ «всякія льготы опредѣлитъ»; — но уже часъ спу-

стя, — тотъ же Миша вмѣстѣ съ Тимоѳеемъ, оба пьяные, плясали галоппадъ по самымъ тѣмъ комнатамъ, гдѣ, казалось, еще витала богобоязненная тѣнь Андрея Николаевича; а еще часъ спустя — безпробудно заснувшій Миша (онъ былъ очень слабъ на вино) — уложенный въ телѣгу вмѣстѣ съ папахой и кинжаломъ — отправился въ городъ за двадцать-пять верстъ — и оказался тамъ подъ заборомъ.... Ну а Тимоѳея, который все еще стоялъ на ногахъ и только икалъ, конечно, «турнули»: барина не удалось, такъ хоть слугу.

VI.

Опять прошло нѣсколько времени, и я ничего не слышалъ о Мишѣ.... Богъ его знаетъ, гдѣ онъ пропадалъ. — Вотъ, однажды, сидя за самоваромъ на станціи Т...го шоссе, въ ожиданіи лошадей, я вдругъ услышалъ подъ раскрытымъ окномъ станціонной комнаты сиплый голосъ, произносившій по-французски: — «Monsieur.... monsieur.... prenez pitié d'un pauvre gentilhomme ruiné».... Я поднялъ голову, взглянулъ.... Облѣзлая папаха, поломанные патроны на разорванной черкескѣ, кинжалъ въ потресканныхъ ножнахъ, опухшее, но все еще розовое лицо, растрепанные, но все еще густые волосы.... Боже мой! Миша! — Онъ уже началъ просить милостыню по большимъ дорогамъ! — Я невольно вскрикнулъ. Онъ узналъ меня, дрогнулъ, отвернулся, и хотѣлъ-было отойти отъ окна. — Я остановилъ его.... но что было ему сказать? — Не нравоученіе же читать?!.. Молча протянулъ я ему пяти-рублевую ассигнацію, — онъ также молча схватилъ ее своей все еще бѣлой и пухлой, хоть и дрожавшей и неопрятной ручкой — и исчезъ за угломъ дома. — Мнѣ не скоро подали лошадей, — и я успѣлъ предаться невеселымъ размышленіямъ по по-

воду неожиданной встрѣчи съ Мишей; совѣстно мнѣ стало, что я его такъ безучастно отпустилъ. — Наконецъ, я отправился дальше — и, отъѣхавъ съ полверсты отъ станціи, замѣтилъ впереди на дорогѣ толпу людей, подвигавшуюся странной, словно размѣренной поступью. Я нагналъ эту толпу — и что же я увидѣлъ? — Человѣкъ двѣнадцать нищихъ, съ сумами черезъ плечо, шли по два въ рядъ, подпѣвая и подскакивая, — а впереди ихъ отплясывалъ Миша, топая въ ладъ ногами и приговаривая: «Нàчики-чикалды, чукъ-чукъ-чукъ! Нàчики-чикалды, чукъ-чукъ-чукъ!» — Какъ только моя коляска поравнялась съ нимъ, и онъ увидалъ меня, — онъ тотчасъ закричалъ: «Ура! Стой-равняйсь! во фрунтъ, гвардія придорожная!» — Нищіе подхватили его крикъ и остановились, — а онъ, съ обычнымъ своимъ хохотомъ, вскочилъ на подножку коляски и опять гаркнулъ: ура! — Это что же такое? — спросилъ я съ невольнымъ изумленіемъ. — Это? — Это моя команда, армія моя — все нищеньки, Божіи люди, друзья-пріятели! Каждый изъ нихъ, по вашей милости, чарочку пропустилъ, — и вотъ теперь мы всѣ радуемся и веселимся!... Дяденька! Вѣдь только съ нищими, съ Божьими людьми и можно жить на свѣтѣ.... ей Богу! — Я ничего ему не отвѣтилъ.... но онъ мнѣ въ этотъ разъ показался такимъ добрякомъ, лицо его выражало такое дѣтское простодушіе.... Меня вдругъ что-то какъ будто и озарило, и въ сердце кольнуло.... — Садись ко мнѣ въ коляску, — сказалъ я ему. — Онъ изумился.... — Какъ? въ коляску? — Садись, садись, — повторялъ я: — я хочу сдѣлать тебѣ предложеніе. Садись!.. Поѣдемъ со мной.

— Ну, какъ прикажете. — Онъ сѣлъ. — Ну, а вы, друзья любезные, товарищи почтенные, прибавилъ онъ, обращаясь къ нищимъ: — прощайте! до свиданья! — Миша снялъ папаху и поклонился низко. — Нищіе всѣ словно опѣ-

шили.... я велѣлъ кучеру погнать лошадей, и коляска покатилась.

Вотъ что я хотѣлъ предложить Мишѣ: мнѣ вдругъ пришла мысль взять его ко мнѣ, въ деревенскій мой домъ, отстоявшій верстъ тридцать отъ той станціи, — спасти его, или, по крайней мѣрѣ, попытаться спасти его. — Слушай, Миша, — сказалъ я: — хочешь ты поселиться у меня?... Будешь ты жить на всемъ готовомъ, платье тебѣ сошьютъ, бѣльё; экипируютъ тебя какъ слѣдуетъ, и деньги тебѣ будутъ выдаваться на табакъ и на прочее, подъ однимъ только условіемъ: не пить вина!... Согласенъ ты? — Миша даже испугался отъ радости; вытаращилъ глаза, побагровѣлъ и вдругъ, припавъ къ моему плечу, началъ цѣловать меня и повторять прерывистымъ голосомъ: — Дяденька.... благодѣтель.... Дай вамъ Богъ!.... Онъ расплакался наконецъ и, снявъ папаху, принялся утирать ею глаза, носъ и губы. — Смотри же, — замѣтилъ я ему: — помни условіе — вина не пить! — Да будь оно проклято! — воскликнулъ онъ, взмахнувъ обѣими руками, и, вслѣдствіе этого порывистаго движенія, еще сильнѣе обдалъ меня тѣмъ спиртнымъ запахомъ, которымъ онъ весь былъ пропитанъ.... — Вѣдь, дяденька, еслибъ вы знали жизнь мою.... Вѣдь если бы не горе, судьба жестокая.... За то теперь, клянусь, клянусь, я исправлюсь, я докажу.... Дяденька, я никогда не лгалъ — спросите хоть кого.... Я честный, но я несчастный человѣкъ, дяденька; ласки ни отъ кого не видѣлъ....

Тутъ онъ окончательно разрыдался. Я постарался его успокоить и успѣлъ въ томъ, потому что когда мы подъѣхали къ моему дому, Миша уже давно спалъ мертвымъ сномъ, уронивъ голову ко мнѣ на колѣни.

VII.

Ему тотчасъ опредѣлили особую комнату и тотчасъ же, первымъ дѣломъ, свели въ баню, что̀ было совершенно необходимо. Всю его одежду, и кинжалъ, и папаху, и дырявые сапоги бережно сложили въ чуланъ, надѣли на него чистое бѣлье, туфли и кой-какое мое платье, которое, какъ это всегда бываетъ съ бѣдняками, какъ разъ пришлось по его сложенію и росту. Когда онъ пришелъ къ столу, вымытый, опрятный, свѣжій — онъ казался до того умиленнымъ и счастливымъ, онъ весь сіялъ такою радостной благодарностью, что и я почувствовалъ умиленіе и радость.... Его лицо совсѣмъ преобразилось.... У двѣнадцатилѣтнихъ мальчиковъ бываютъ такія лица въ Свѣтлое Воскресенье, послѣ причастья, когда они, густо напомаженные, въ новыхъ курточкахъ и накрахмаленныхъ воротничкахъ, идутъ христосоваться съ своими родителями. Миша, то-и-дѣло, осторожно и недовѣрчиво ощупывалъ себя и все повторялъ: — Что̀ это?... Не на небесахъ ли я? — А на другой день объявилъ, что спать всю ночь не могъ отъ восхищенія! У меня въ домѣ жила тогда старушка тетка съ своей племянницей; обѣ онѣ чрезвычайно смутились, когда узнали о прибытіи Миши; онѣ не понимали, какъ я могъ пригласить его къ себѣ въ домъ! Очень уже худая шла о немъ слава. Но, во-первыхъ, я зналъ, что онъ всегда былъ очень вѣжливъ съ дамами; а во-вторыхъ, я надѣялся на его обѣщаніе исправиться. И дѣйствительно: въ первые два дня своего пребыванія подъ моимъ кровомъ Миша не только оправдалъ мои ожиданія, но превзошелъ ихъ; а дамъ моихъ онъ просто очаровалъ. Со старушкой онъ игралъ въ пикетъ, помогалъ ей разматывать гарусъ, показалъ ей два новыхъ пасіянса; племянницѣ, у которой былъ небольшой голосокъ,

онъ аккомпанировалъ на фортепьяно, читалъ ей русскіе, французскіе стихи; разсказывалъ обѣимъ дамамъ веселые, но приличные анекдоты; словомъ, услуживалъ имъ всячески, такъ что онѣ неоднократно выражали мнѣ свое удивленіе, а старушка даже замѣтила, что вотъ какъ люди бываютъ иногда несправедливы.... Чего, чего о немъ не говорили.... а онъ такой смирный, да вѣжливый.... бѣдный Миша! Правда, за столомъ «бѣдный Миша» какъ-то особенно торопливо облизывался всякій разъ, какъ только взглядывалъ на бутылку. Но стоило мнѣ погрозить пальцемъ, и онъ поднималъ глаза къ верху и прижималъ руку къ сердцу.... «Ямолъ, клялся».... — Я теперь переродился! увѣрялъ онъ меня. — Чтожъ, дай Богъ! думалось мнѣ.... Однако это перерожденіе продолжалось недолго.

Первые два дня онъ былъ очень разговорчивъ и веселъ. Но уже начиная съ третьяго дня, онъ какъ-то затихъ, хотя по прежнему держался возлѣ дамъ и занималъ ихъ. Не то грустное, не то задумчивое выраженіе стало пробѣгать по его лицу, да и самое лицо поблѣднѣло и будто похужѣло. — Тебѣ нездоровится? — спросилъ я его. — Да, — отвѣтилъ онъ; — голова немного болитъ. — На четвертый день онъ уже совсѣмъ умолкъ; все больше сидѣлъ въ уголку, сиротливо склонивъ голову, и своимъ унылымъ видомъ возбуждая чувство жалости въ обѣихъ дамахъ, которыя теперь, въ свою очередь, старались занимать его. За столомъ онъ ничего не ѣлъ, глядѣлъ въ тарелку и каталъ шарики. На пятый день чувство жалости въ дамахъ стало смѣняться другимъ: недовѣрчивостью и даже страхомъ. Миша одичалъ, сторонился отъ людей и все ходилъ вдоль стѣнъ, какъ бы крадучись и внезапно озираясь, точно кто его звалъ. И куда дѣвался розовый цвѣтъ его лица? Оно словно землею перекрылось. — Тебѣ все нездоровится? — спросилъ я его. — Нѣтъ, я здоровъ, — отвѣтилъ онъ отры-

істо. — Скучно тебѣ? — Съ чего скучать! — А самъ от-
рачивается и въ глаза не глядитъ. — Иль опять затоско-
лъ? — На это онъ ничего не отвѣтилъ. Такъ прошли
це сутки. На слѣдующій день тетка прибѣжала ко мнѣ
ь кабинетъ въ большомъ волненіи и объявила, что выѣ-
ітъ съ племянницей изъ моего дома, если Миша долженъ
ь немъ остаться. — Отчего такъ? — Да ужъ очень намъ
утко съ нимъ.... Не человѣкъ, волкъ, какъ есть волкъ.
одитъ, ходитъ, молчитъ — да смотритъ такъ дико....
олько-что зубами не ляскаетъ. Катя, ты знаешь, у меня
кая нервическая.... Она же въ первый день очень имъ
інтересовалась.... Мнѣ за нее страшно, да и за себя....—
не зналъ, что̀ отвѣчать теткѣ. Не могъ я, однако, вы-
нать Мишу, котораго я же пригласилъ.

Онъ самъ вывелъ меня изъ затруднительнаго положенія.

Въ тотъ же день, — я еще не выходилъ изъ кабине-
ı, — вдругъ слышу за собою глухой и злобный голосъ: —
иколай Николаичъ, а Николай Николаичъ! — Я огля-
лся: у двери стоитъ Миша, съ страшнымъ, потемнѣв-
имъ, искаженнымъ лицомъ. — Николай Николаичъ! —
овторилъ онъ.... (уже не «дяденька»). — Чего тебѣ? —
тпустите меня.... сейчасъ! — Что? — Отпустите меня,
то я бѣдъ надѣлаю, домъ подожгу, или кого зарѣжу. —
Іиша вдругъ затрясся. — Велите мнѣ мою одёжу возвра-
ить, да телѣгу дайте до шоссе довезти, и денегъ какую
и на есть малость дайте! — Да развѣ ты чѣмъ недово-
енъ? — началъ-было я. — Не могу я такъ жить! — закри-
алъ онъ во всю голову. — Не могу я жить въ вашемъ
арскомъ, треклятомъ домѣ! Мнѣ гадко, мнѣ совѣстно
акъ спокойно жить!... Какъ это только *вы* выносите! —
'о-есть, — перебилъ я въ свою очередь: — ты хочешь
казать — безъ вина жить ты не можешь.... — Ну, да!
у, да! — закричалъ онъ опять: — только отпустите вы

меня къ моимъ братьямъ, къ моимъ друзьямъ, къ нищимъ!... Прочь отъ вашей дворянской приличной, противной породы! — Я хотѣлъ-было напомнить ему объ его клятвенныхъ обѣщаніяхъ, но изступленное выраженіе Мишина лица, его сорвавшійся голосъ, судорожный трепетъ всѣхъ его членовъ, — все это было такъ ужасно, что я поспѣшилъ отдѣлаться отъ него; объявилъ ему, что ему сейчасъ выдадутъ его платье, заложатъ ему телѣгу, и вынувъ изъ ящика двадцатипяти-рублевую бумажку, положилъ ее на столъ. Миша начиналъ уже съ угрозой наступать на меня,— но тутъ вдругъ уперся, лицо его мгновенно перекосилось, вспыхнуло, онъ ударилъ себя въ грудь, слезы брызнули изъ глазъ, и пробормотавъ: — дяденька! ангелъ! вѣдь я погибшій человѣкъ — спасибо! спасибо! — онъ схватилъ ассигнацію и выбѣжалъ вонъ.

Часъ спустя, онъ уже сидѣлъ въ телѣгѣ, снова одѣтый черкесомъ, снова розовый и веселый, и когда лошади тронулись съ мѣста, онъ гикнулъ, сорвалъ папаху съ головы и, размахивая ею надъ головою, отвѣшивалъ поклонъ за поклономъ. Передъ самымъ отъѣздомъ онъ долго и крѣпко обнималъ меня и лепеталъ: — Благодѣтель, благодѣтель.... спасти меня нельзя! — Онъ даже къ дамамъ сбѣгалъ и ручки у нихъ перецѣловалъ, на колѣни становился, взывалъ къ Богу и прощенья просилъ! Катю я потомъ засталъ въ слезахъ.

А кучеръ, съ которымъ отправился Миша, вернувшись, доложилъ мнѣ, что довезъ его до перваго кабака на шоссе — и что тамъ «они и застряли», стали угощать всѣхъ безъ разбору — и скоро пришли въ безчувствіе.

Съ тѣхъ поръ я уже не встрѣчался съ Мишей, но окончательную судьбу его я узналъ слѣдующимъ образомъ.

VIII.

Года три спустя, я опять находился у себя въ деревнѣ; ;ругъ входитъ человѣкъ и докладываетъ, что меня спра-иваетъ госпожа Полтева. Я никакой госпожи Полтевой : зналъ, да и человѣкъ, докладывавшій мнѣ, почему-то ;ркастически улыбался. На вопросительный мой взглядъ гъ отвѣчалъ, что барыня меня спрашиваетъ молодая, бѣдно ;ѣтая, и что пріѣхала она въ крестьянской телѣгѣ въ ;ну лошадь и сама правила! Я велѣлъ попросить госпожу олтеву пожаловать ко мнѣ въ кабинетъ.

Я увидалъ женщину лѣтъ двадцати-пяти, въ одеждѣ ѣщанки, съ большимъ платкомъ на головѣ. Лицо простое, ;угловатое, не лишенное пріятности; взглядъ понурый и :много печальный, движенія застѣнчивыя. — Вы госпожа олтева? — спросилъ я, — и попросилъ ее сѣсть.

— Точно такъ-съ, — отвѣтила она тихимъ голосомъ и : садясь. — Я вдова вашего племянника Михаила Андрее-ича Полтева.

— Михаилъ Андреевичъ скончался? Давно ли? — Да ;дьте, прошу васъ.

Она опустилась на стулъ.

— Второй мѣсяцъ пошелъ.

— И давно вы за него замужъ вышли?

— Я съ нимъ всего годъ пожила.

— Вы теперь откуда?

— Я изъ-подъ Тулы.... Село тамъ есть Знаменское-'лушково — можетъ быть, изволите знать. Я тамошняго ьячка дочь. Мы съ Михаиломъ Андреичемъ тамъ и жили....)нъ у моего батюшки поселился. Всего годъ мы съ нимъ ожили.

У молодой женщины слегка задергались губы, — и она

поднесла къ нимъ руку. Казалось, она собиралась заплакать — однако одолѣла себя, откашлянулась.

— Мнѣ Михаилъ Андреичъ покойный, — продолжала она, — передъ смертью наказалъ къ вамъ съѣздить; безпремѣнно, говоритъ, съѣзди! И сказалъ онъ мнѣ, чтобы я поблагодарила васъ за всю вашу доброту, и чтобы передала вамъ.... вотъ эту.... эту самую вещицу (она достала изъ кармана небольшой свертокъ), которую онъ всегда при себѣ имѣлъ.... И Михаилъ Андреичъ сказалъ — если вамъ угодно будетъ принять это на память — такъ чтобы вы не побрезговали.... Другимъ, говоритъ, я ничѣмъ отдарить ихъ.... то есть, васъ.... не могу....

Въ сверточкѣ находилась небольшая серебряная чашечка съ вензелемъ Мишиной матери. Эту чашечку я часто видалъ въ Мишиныхъ рукахъ, — и разъ онъ даже сказалъ мнѣ, говоря про одного бѣдняка, что, стало-быть, онъ голъ — коли у него ни чашечки, ни плошечки — а у меня вотъ хоть эта есть.

Я поблагодарилъ, взялъ чашечку и спросилъ: какой болѣзнью умеръ Миша? — Вѣроятно....

Тутъ я прикусилъ языкъ.... но молодая женщина поняла мою недомолвку.... Она быстро взглянула на меня, потомъ потупилась, печально улыбнулась и тотчасъ же промолвила: — Ахъ, нѣтъ! это ужъ онъ совсѣмъ бросилъ, съ тѣхъ поръ какъ со мной спознался.... Только здоровье его было какое?!.. Потерянное совсѣмъ. Какъ бросилъ пить, такъ сейчасъ болѣзнь его и обнаружилась. Такой онъ сталъ степенный; все отцу подсоблять хотѣлъ, по хозяйству аль въ огородѣ.... или какая другая случалась работа.... даромъ, что дворянскаго былъ роду. Только гдѣ силъ взять?... Тоже по письменной части хотѣлъ-было заняться — часть эту, вамъ извѣстно, онъ зналъ прекрасно; но руки у него тряслись — и перо держать онъ не могъ, какъ слѣдуетъ.... Все

себя упрекалъ: бѣлоручка-молъ я, никому добра не дѣлалъ, не помогалъ, не трудился! Убивался онъ очень объ этомъ о самомъ.... Говорилъ, что народъ-молъ нашъ трудится — а мы что?... Ахъ, Николай Николаичъ, хорошій онъ былъ человѣкъ — и меня любилъ.... и я.... Ахъ, извините....

Тутъ молодая женщина впрямь заплакала. Хотѣлось бы мнѣ ее утѣшить — да не зналъ я, какъ.

— Остался ли у васъ ребёночекъ? — спросилъ я наконецъ.

Она вздохнула. — Нѣтъ, не остался.... Да гдѣ ужъ тутъ! — И слезы полились еще сильнѣе.

Такъ вотъ чѣмъ разрѣшились Мишины скитанья по мытарствамъ, завершилъ старикъ П. свой разсказъ. — Вы, господа, конечно, согласитесь со мною, что я имѣлъ право назвать его отчаяннымъ; но вѣроятно, согласитесь также и въ томъ, что онъ не походилъ на нынѣшнихъ отчаянныхъ, хотя, полагать надо, иной философъ и нашелъ бы родственныя черты между имъ и ими. — И тамъ, и тутъ, жажда самоистребленія, тоска, неудовлетворенность.... А съ чего это все берется, предоставляю судить — именно, философу.

Буживаль. — Ноябрь, 1881 г.

ПѢСНЬ
ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ.

[MDXLII.]

Посвящается памяти Гюстава Флобера.

«Wage Du zu irren und zu träumen!»
Schiller.

Вотъ, что̀ я вычиталъ въ одной старинной итальянской рукописи:

I.

Около половины XVI-го столѣтія, проживало въ Феррарѣ — (она процвѣтала тогда подъ скипетромъ своихъ великолѣпныхъ герцоговъ, покровителей искусствъ и поэзіи) — проживало два молодыхъ человѣка, по имени: Фабій и Муцій. Ровесники годами, близкіе родственники, они почти никогда не разлучались; сердечная дружба связала ихъ съ ранняго дѣтства.... одинаковость судьбы скрѣпила эту связь. Оба принадлежали къ старинным фамиліямъ; оба были богаты, независимы и безсемейны; вкусы, наклонности были схожіе у обоихъ. Муцій занимался музыкой, Фабій — жи-

вописью. Вся Феррара гордилась ими, какъ лучшимъ украшеніемъ двора, общества и города. Наружностью они однако не походили другъ на друга, хотя оба отличались стройной юношеской красотою: Фабій былъ выше ростомъ, бѣлъ лицомъ и волосомъ русъ — а глаза имѣлъ голубые; Муцій, напротивъ, имѣлъ лицо смуглое, волосы черные, и въ темнокарихъ его глазахъ не было того веселаго блеска, на губахъ той привѣтливой улыбки, какъ у Фабія; его густыя брови надвигались на узкія вѣки — тогда какъ золотистыя брови Фабія уходили тонкими полукругами на чистый и ровный лобъ. Муцій и въ разговорѣ былъ менѣе живъ; со всѣмъ тѣмъ оба друга одинаково нравились дамамъ — ибо не даромъ были образцами рыцарской угодливости и щедрости.

Въ одно и то же время съ ними проживала въ Феррарѣ дѣвица по имени Валерія. Ее считали одной изъ первыхъ красавицъ города, хотя видѣть ее можно было очень рѣдко, такъ какъ она вела жизнь уединенную и выходила изъ дому только въ церковь — да въ большіе праздники на гулянье. Она жила съ своей матерью, благородной, но небогатой вдовою, у которой не было другихъ дѣтей. Всякому, кому только ни встрѣчалась Валерія — она внушала чувство невольнаго удивленія и столь же невольнаго, нѣжнаго уваженія: такъ скромна была ея осанка, такъ мало, казалось, сознавала она сама всю силу своихъ прелестей. Иные, правда, находили ее нѣсколько блѣдной; взглядъ ея глазъ, почти всегда опущенныхъ, выражалъ нѣкоторую застѣнчивость и даже боязливость; ея губы улыбались рѣдко — и тò слегка; голосъ ея едва ли кто слышалъ. Но ходила молва, что онъ былъ у нея прекрасенъ, и что, запершись у себя въ комнатѣ, раннимъ утромъ, когда все въ городѣ еще дремало, она любила напѣвать старинныя пѣсни, подъ звуки лютни, на которой сама играла. Несмотря на блѣд-

ность лица, Валерія цвѣла здоровьемъ; и даже старые люди, глядя на нее, не могли не подумать: — О, какъ счастливъ будетъ тотъ юноша, для кого распустится наконецъ этотъ еще свернутый въ лепесткахъ своихъ, еще нетронутый и дѣвственный цвѣтокъ!

II.

Фабій и Муцій увидали Валерію въ первый разъ на пышномъ народномъ праздникѣ, устроенномъ по повелѣнію герцога Феррарскаго, Эркола, сына знаменитой Лукреціи Борджіа, въ честь знатныхъ вельможъ, прибывшихъ изъ Парижа по приглашенію герцогини, дочери французскаго короля Людовика XII-го. Рядомъ съ своею матерью, сидѣла Валерія посреди изящной трибуны, возведенной по рисунку Палладія на главной феррарской площади для почетнѣйшихъ дамъ города. Оба — и Фабій, и Муцій — страстно въ нее влюбились въ тотъ же день; и такъ какъ они ничего не скрывали другъ отъ друга — то каждый изъ нихъ скоро узналъ, что̀ происходило въ сердцѣ товарища. Они положили между собою: постараться обоимъ сблизиться съ Валеріей — и если она удостоитъ избрать кого-нибудь изъ нихъ — то другой безропотно покорится ея рѣшенію. Нѣсколько недѣль спустя, благодаря доброй славѣ, которой они пользовались по праву, имъ удалось проникнуть въ трудно-доступный домъ вдовы; она позволила имъ посѣщать ее. Съ тѣхъ поръ они почти каждый день могли видѣть Валерію и бесѣдовать съ нею — и съ каждымъ днемъ огонь, зажженный въ сердцахъ обоихъ юношей, разгорался сильнѣе и сильнѣе; однако Валерія ни одному изъ нихъ не оказывала предпочтенія, хотя присутствіе ихъ ей видимо нравилось. Съ Муціемъ она занималась музыкой; но разговаривала больше съ Фабіемъ: съ нимъ она меньше робѣла.

Наконецъ, они рѣшились узнать окончательно свою участь — и послали къ Валеріи письмо, въ которомъ просили ее объясниться и сказать, кому она готова отдать свою руку. Валерія показала это письмо матери — и объявила ей, что готова остаться въ дѣвицахъ; но если мать находитъ, что ей пора вступить въ бракъ, то она выйдетъ за того, на кого укажетъ ея выборъ. Почтенная вдова пролила нѣсколько слезъ при мысли о разлукѣ съ любимымъ дѣтищемъ; однако отказать женихамъ не было причины: она считала ихъ обоихъ равно достойными руки ея дочери. Но втайнѣ предпочитая Фабія и подозрѣвая, что и Валеріи онъ приходится болѣе по нраву, она указала на него. На другой же день Фабій узналъ о своемъ счастьи; а Муцію осталось сдержать свое слово — и покориться.

Онъ такъ и сдѣлалъ; но быть свидѣтелемъ торжества своего друга, своего соперника — онъ не могъ. Немедленно продалъ онъ бо̀льшую часть своего имущества — и собравъ нѣсколько тысячъ дукатовъ, отправился въ дальнее путешествіе на Востокъ. Прощаясь съ Фабіемъ, онъ сказалъ ему, что вернется не прежде, чѣмъ почувствуетъ, что послѣдніе слѣды страсти въ немъ исчезли. Тяжело было Фабію разстаться съ другомъ дѣтства и юности.... но радостное ожиданіе близкаго блаженства вскорѣ поглотило всякія другія ощущенія — и онъ отдался весь восторгамъ увѣнчанной любви.

Вскорѣ онъ вступилъ въ бракъ съ Валеріей — и только тогда узналъ всю цѣну сокровища, которымъ ему довелось обладать. У него была прекрасная вилла, окруженная тѣнистымъ садомъ, въ недальнемъ разстояніи отъ Феррары; онъ переѣхалъ туда вмѣстѣ съ женою и ея матерью. Свѣтлое время наступило для нихъ тогда. Супружеская жизнь выказала въ новомъ плѣнительномъ свѣтѣ всѣ совершенства Валеріи; Фабій становился замѣчательнымъ живопис-

цемъ — уже не простымъ любителемъ, а мастеромъ. Мать Валеріи радовалась и благодарила Бога, глядя на счастливую чету. Четыре года промчались незамѣтно, какъ блаженный сонъ. Одного недоставало молодымъ супругамъ; одно завелось у нихъ горе: дѣтей у нихъ не было.... но надежда не покидала ихъ. Къ концу четвертаго года ихъ посѣтило великое, на этотъ разъ настоящее горе: мать Валеріи скончалась, поболѣвъ нѣсколько дней.

Много слезъ пролила Валерія; долго не могла привыкнуть къ своей утратѣ. Но прошелъ еще годъ, жизнь опять вступила въ свои права, потекла прежнимъ русломъ. И вотъ, въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ, никого не предупредивъ, въ Феррару вернулся Муцій.

III.

Во всѣ пять лѣтъ, прошедшихъ съ его отъѣзда, никто о немъ ничего не вѣдалъ; всякіе слухи о немъ замерли, точно онъ исчезъ съ лица земли. Когда Фабій встрѣтилъ своего друга на одной изъ улицъ Феррары, онъ чуть не закричалъ, сперва отъ испуга, потомъ отъ радости — и тотчасъ пригласилъ его въ свою виллу. Тамъ у него въ саду находился отдѣльный, помѣстительный павильонъ; онъ предложилъ своему другу поселиться въ этомъ павильонѣ. Муцій охотно согласился, и въ тотъ же день переѣхалъ туда вмѣстѣ съ своимъ слугою, нѣмымъ малайцемъ — нѣмымъ, но не глухимъ, и даже, судя по живости его взгляда, очень понятливымъ человѣкомъ.... Языкъ у него былъ вырѣзанъ. Муцій привезъ съ собою десятки сундуковъ, наполненныхъ разнообразными драгоцѣнностями, собранными имъ во время своихъ продолжительныхъ странствованій. Валерія обрадовалась возвращенію Муція; и онъ ее привѣтствовалъ дру-

жески-весело, но спокойно: по всему видно было, что онъ сдержалъ слово, данное Фабію. Въ теченіе дня онъ успѣлъ устроиться въ своемъ павильонѣ; выложилъ, съ помощью малайца, привезенныя рѣдкости: ковры, шелковыя ткани, бархатныя и парчевыя одежды, оружія, чаши, блюда и кубки, украшенные финифтью, золотыя, серебряныя вещи, обдѣланныя въ жемчугъ и бирюзу, рѣзные ящики изъ янтаря и слоновой кости, граненыя бутыли, пряности, курева, звѣриныя шкуры, перья невѣдомыхъ птицъ и множество другихъ предметовъ, самое употребленіе которыхъ казалось таинственнымъ и непонятнымъ. Въ числѣ всѣхъ этихъ драгоцѣнностей находилось богатое жемчужное ожерелье, полученное Муціемъ отъ персидскаго шаха за нѣкоторую великую и тайную услугу; онъ попросилъ позволенія у Валеріи собственноручно возложить ей это ожерелье на шею: оно показалось ей тяжелымъ и одареннымъ какой-то странной теплотой.... оно такъ и прильнуло къ кожѣ. Къ вечеру, послѣ обѣда, сидя на террассѣ виллы, въ тѣни олеандровъ и лавровъ, Муцій принялся разсказывать свои похожденія. Онъ говорилъ о видѣнныхъ имъ далекихъ странахъ, заоблачныхъ горахъ, безводныхъ пустыняхъ, о рѣкахъ, подобныхъ морямъ; говорилъ о громадныхъ зданіяхъ и храмахъ, о тысячелѣтнихъ деревьяхъ, о радужныхъ цвѣтахъ и птицахъ; называлъ посѣщенные имъ города и народы.... чѣмъ-то сказочнымъ вѣяло отъ однихъ ихъ именъ. Весь Востокъ былъ знакомъ Муцію: онъ проѣхалъ Персію, Аравію, гдѣ кони благороднѣе и красивѣе всѣхъ другихъ живыхъ существъ, проникъ въ самую глубь Индіи, гдѣ родъ людской подобенъ величественнымъ растеніямъ, достигъ границъ Китая и Тибета, гдѣ живой богъ, по имени Далай-Лама, обитаетъ на землѣ во образѣ безмолвнаго человѣка съ узкими глазами. Чудны были его разсказы! Какъ очарованные, слушали его и Фабій, и Валерія. Собственно,

черты Муціева лица мало измѣнились: съ дѣтства смуглое, оно еще потемнѣло, загорѣло подъ лучами болѣе яркаго солнца, глаза казались углубленнѣе прежняго — и только; но выраженіе этого лица стало другое: сосредоточенное, важное, оно не оживлялось даже тогда, когда онъ упоминалъ объ опасностяхъ, которымъ подвергался, ночью, въ лѣсахъ, оглашаемыхъ воемъ тигровъ, или днемъ, на пустыхъ дорогахъ, гдѣ путешественниковъ караулятъ изувѣры, которые удавливаютъ ихъ въ честь желѣзной богини, требующей человѣческихъ жертвъ. И голосъ Муція сталъ глуше и ровнѣе; движенія рукъ, всего тѣла, утратили развязность, свойственную итальянскому племени. Съ помощью слуги своего, раболѣпно-проворнаго малайца, онъ показалъ хозяевамъ своимъ нѣсколько фокусовъ, которымъ научили его индѣйскіе брамины. Такъ, напримѣръ, онъ, предварительно скрывъ себя занавѣсомъ, явился вдругъ сидящимъ на воздухѣ съ поджатыми ногами, слегка опираясь концами пальцевъ на отвѣсно-поставленную бамбуковую трость, что̀ не мало удивило Фабія, а Валерію даже испугало.... — «Ужъ не чернокнижникъ ли онъ?» — подумалось ей. — Когда же онъ принялся вызывать, насвистывая на маленькой флейтѣ, изъ закрытой корзины ручныхъ змѣй, когда, шевеля жалами, показались изъ-подъ пестрой ткани ихъ темныя плоскія головки, Валерія пришла въ ужасъ и попросила Муція спрятать поскорѣй этихъ ненавистныхъ гадовъ. За ужиномъ Муцій попотчивалъ своихъ друзей ширазскимъ виномъ изъ круглой бутыли съ длиннымъ горлышкомъ; чрезвычайно пахучее и густое, золотистаго цвѣта съ зеленоватымъ отливомъ, оно загадочно блестѣло, налитое въ крошечныя яшмовыя чашечки. Вкусомъ оно не походило на европейскія вина; оно было очень сладко и пряно, и выпитое медленно, небольшими глотками, возбуждало во всѣхъ членахъ ощущеніе пріятной дремоты.

Муцій заставилъ и Фабія, и Валерію откушать по чашечкѣ и выпилъ самъ. Надъ ея чашечкой онъ, наклонясь, что-то прошепталъ, потрясъ пальцами. Валерія это замѣтила; но такъ какъ вообще въ пріемахъ Муція, во всей его повадкѣ проявлялось нѣчто чуждое и небывалое, то она только подумала. «Не принялъ ли онъ въ Индіи новой какой вѣры, или у нихъ тамъ обычаи такіе?» — Потомъ, помолчавъ немного, она спросила его: продолжалъ ли онъ, во время своего путешествія, заниматься музыкой? — Въ отвѣтъ ей, Муцій приказалъ малайцу принести свою индійскую скрипку. Она походила на нынѣшнія, только вмѣсто четырехъ струнъ у ней было три, верхъ ея обтягивала голубоватая змѣиная кожа и тонкій тростниковый смычекъ имѣлъ видъ полукруглый, а на самомъ его концѣ блисталъ заостренный алмазъ.

Муцій сыгралъ сперва нѣсколько заунывныхъ, по его словамъ, народныхъ пѣсенъ, странныхъ и даже дикихъ для итальянскаго уха; звукъ металлическихъ струнъ былъ жалобенъ и слабъ. Но когда Муцій началъ послѣднюю пѣснь — этотъ самый звукъ внезапно окрѣпъ, затрепеталъ звонко и сильно; страстная мелодія полилась изъ-подъ широкопроводимаго смычка, полилась, красиво изгибаясь, какъ та змѣя, что̀ покрывала своей кожей скрипичный верхъ; и такимъ огнемъ, такой торжествующей радостью сіяла и горѣла эта мелодія, что и Фабію, и Валеріи стало жутко на сердцѣ, и слезы выступили на глаза.... а Муцій, съ наклоненной, прижатой къ скрипкѣ головою, съ поблѣднѣвшими щеками, съ бровями сдвинутыми въ одну черту, казался еще сосредоточеннѣй и важнѣй — и алмазъ на концѣ смычка бросалъ на ходу лучистыя искры, какъ-бы тоже зажженый огнемъ той дивной пѣсни. Когда же Муцій кончилъ — и все еще крѣпко стискивая скрипку между подбородкомъ и плечомъ, уронилъ руку, державшую смычекъ — «Что это

такое? Что̀ ты намъ сыгралъ?» воскликнулъ Фабій. — Валерія не промолвила ни слова — но, казалось, все ея существо повторило вопросъ ея мужа. Муцій положилъ скрипку на столъ — и слегка встряхнувъ волосами, съ вѣжливой улыбкой промолвилъ: «Это? Эту мелодію.... эту пѣснь я услышалъ разъ на островѣ Цейлонѣ. Эта пѣснь слыветъ тамъ, между народомъ, пѣснью счастливой, удовлетворенной любви». — «Повтори», прошепталъ-было Фабій. — «Нѣтъ; этого повторить нельзя, — отвѣтилъ Муцій — теперь же поздно. Синьорѣ Валеріи слѣдуетъ отдохнуть; и мнѣ пора.... я усталъ». Въ теченіе цѣлаго дня Муцій обращался съ Валеріей почтительно-просто, какъ давнишній другъ; но уходя, онъ пожалъ ей руку крѣпко-на-крѣпко, надавивъ пальцами на ея ладонь — и такъ настойчиво заглядывая ей въ лицо, что она, хоть и не поднимала вѣкъ, однако почувствовала этотъ взглядъ на внезапно вспыхнувшихъ своихъ щекахъ. Она ничего не сказала Муцію, но отдернула руку, а когда онъ удалился, посмотрѣла на дверь, черезъ которую онъ вышелъ. Она вспомнила, какъ и въ прежніе годы она его побаивалась.... и теперь нашло на нее недоумѣніе. Муцій ушелъ въ свой павильонъ; супруги отправились въ спальню.

IV.

Валерія не скоро заснула; кровь ея тихо и томно волновалась, и въ головѣ слегка звенѣло.... отъ страннаго того вина, какъ она полагала, а можетъ быть, и отъ разсказовъ Муція, отъ игры его на скрипкѣ.... Къ утру она, наконецъ, заснула, и ей привидѣлся необычайный сонъ.

Ей почудилось, что вступаетъ она въ просторную комнату съ низкимъ сводомъ.... Такой комнаты она въ жизни

не видывала. Всѣ стѣны выложены мелкими голубыми изразцами съ золотыми «травами»; тонкіе рѣзные столбы изъ алебастра подпираютъ мраморный сводъ; самый этотъ сводъ и столбы кажутся полупрозрачными.... блѣдно-розовый свѣтъ отовсюду проникаетъ въ комнату, озаряя всѣ предметы таинственно и однообразно; парчевыя подушки лежатъ на узкомъ коврѣ по самой серединѣ гладкаго, какъ зеркало, пола. По угламъ едва замѣтно дымятся высокія курильницы, представляющія чудовищныхъ звѣрей; оконъ нѣтъ нигдѣ; дверь, завѣшенная бархатнымъ пологомъ, безмолвно чернѣетъ во впадинѣ стѣны. И вдругъ этотъ пологъ тихонько скользитъ, отодвигается.... и входитъ Муцій. Онъ кланяется, раскрываетъ объятія, смѣется.... Его жёсткія руки обвиваютъ станъ Валеріи; его сухія губы обожгли ее всю.... Она падаетъ навзничь, на подушки....

. . . . . .

Стеня отъ ужаса, послѣ долгихъ усилій, проснулась Валерія. — Еще не понимая, гдѣ она и что̀ съ нею, она приподнимается на кровати, озирается.... Дрожь пробѣгаетъ по всему ея тѣлу.... Фабій лежитъ съ нею рядомъ. Онъ спитъ; но лицо его, при свѣтѣ круглой и яркой луны, глядящей въ окна, блѣдно какъ у мертвеца.... оно печальнѣе мертваго лица. Валерія разбудила мужа — и какъ только онъ взглянулъ на нее — «Что съ тобою?» — воскликнулъ онъ. — «Я видѣла.... я видѣла страшный сонъ», прошептала она, все еще содрогаясь....

Но въ это мгновенье, со стороны павильона, принеслись сильные звуки — и оба, и Фабій, и Валерія — узнали мелодію, которую сыгралъ имъ Муцій, называя ее пѣсней удовлетворенной, торжествующей любви. — Фабій съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на Валерію.... она закрыла глаза, отвернулась — и оба, притаивъ дыханіе, прослушали пѣснь

до конца. Когда замеръ послѣдній звукъ, луна зашла за облако, въ комнатѣ вдругъ потемнѣло.... Оба супруга опустили головы на подушки, не обмѣнявшись словомъ — и ни одинъ изъ нихъ не замѣтилъ, когда заснулъ другой.

V.

На другое утро Муцій пришелъ къ завтраку; онъ казался довольнымъ — и весело привѣтствовалъ Валерію. Съ замѣшательствомъ отвѣтила она ему — взглянула на него мелькомъ — и страшно ей стало отъ этого довольнаго, веселаго лица, отъ этихъ пронзительныхъ и любопытныхъ глазъ. Муцій принялся-было снова разсказывать.... но Фабій перервалъ его на первомъ словѣ.

— Ты, видно, не могъ заснуть на новомъ мѣстѣ? Мы съ женою слышали, какъ ты сыгралъ вчерашнюю пѣснь.

— Да? вы слышали? — промолвилъ Муцій. — Я ее сыгралъ, точно, но я спалъ передъ тѣмъ, и даже видѣлъ удивительный сонъ.

Валерія насторожилась. — Какой сонъ? — спросилъ Фабій.

— Я видѣлъ, — отвѣчалъ Муцій, не спуская глазъ съ Валеріи, — будто я вступаю въ просторную комнату со сводомъ, убранную по восточному. Рѣзные столбы подпирали сводъ, стѣны были покрыты изразцами, и хотя не было ни оконъ, ни свѣчей, всю комнату наполнялъ розовый свѣтъ, точно она вся была сложена изъ прозрачнаго камня. По угламъ дымились китайскія курильницы, на полу лежали парчевыя подушки вдоль узкаго ковра. Я вошелъ черезъ дверь завѣшанную пологомъ, а изъ другой двери, прямо напротивъ — появилась женщина, которую я любилъ

когда-то. И до того она мнѣ показалась прекрасной, что я загорѣлся весь прежнею любовью....

Муцій знаменательно умолкъ. Валерія сидѣла неподвижно и только медленно блѣднѣла.... и дыханіе ея стало глубже.

— Тогда, продолжалъ Муцій—я проснулся и съигралъ ту пѣснь.

— Но, кто была эта женщина?—проговорилъ Фабій.

— Кто она была? Жена одного индѣйца. Я встрѣтился съ нею въ городѣ Дѐли.... Ея уже теперь нѣтъ въ живыхъ. Она умерла.

— А мужъ? спросилъ Фабій, самъ не зная, зачѣмъ онъ это спрашиваетъ.

— Мужъ тоже, говорятъ, умеръ. Я ихъ обоихъ скоро потерялъ изъ виду.

— Странно! замѣтилъ Фабій.—Моя жена тоже видѣла нынѣшней ночью необыкновенный сонъ,—Муцій пристально взглянулъ на Валерію,—который она мнѣ не разсказала, добавилъ Фабій.

Но тутъ Валерія встала и вышла изъ комнаты.—Тотчасъ послѣ завтрака, Муцій тоже ушелъ, объявивъ, что ему нужно быть въ Феррарѣ по дѣламъ—и что онъ раньше вечера не вернется.

VI.

За нѣсколько недѣль до возвращенія Муція, Фабій началъ портретъ своей жены, изобразивъ ее съ аттрибутами святой Цециліи.—Онъ значительно подвинулся въ своемъ искусствѣ; знаменитый Луини, ученикъ Леонарда да-Винчи, пріѣзжалъ къ нему въ Феррару—и, помогая ему собственными совѣтами, передавалъ также наставленія своего

великаго учителя. Портретъ былъ почти совсѣмъ готовъ; оставалось докончить лицо нѣсколькими штрихами — и Фабій могъ бы по справедливости гордиться своимъ произведеніемъ. — Отпустивши Муція въ Феррару, онъ отправился въ свою студію, гдѣ Валерія обыкновенно его ожидала; но онъ не нашелъ ее тамъ; кликнулъ ее — она не отозвалась. Фабіемъ овладѣло тайное безпокойство; онъ принялся ее отыскивать. Въ домѣ ея не было; Фабій побѣжалъ въ садъ — и тамъ, въ одной изъ отдаленнѣйшихъ аллей, онъ увидѣлъ Валерію. Съ опущенной на грудь головою, со скрещенными на колѣняхъ руками, она сидѣла на скамьѣ — а за ней, выдѣляясь изъ темной зелени кипариса, мраморный сатиръ, съ искаженнымъ злорадной усмѣшкой лицомъ, прикладывалъ къ свирѣли свои заостренныя губы. Валерія замѣтно обрадовалась появленію мужа — и на его тревожные вопросы отвѣтила, что у ней немного болитъ голова; но что это ничего не значитъ — и что она готова пойти на сеансъ. Фабій привелъ ее въ студію, усадилъ, взялся за кисть; но къ великой своей досадѣ, никакъ не могъ кончить лица такъ, какъ бы онъ того желалъ. И не потому, что оно было нѣсколько блѣдно и казалось утомленнымъ.... нѣтъ; но того чистаго, святого выраженія, которое такъ ему въ немъ нравилось, и которое навело его на мысль представить Валерію въ образѣ святой Цециліи — онъ сегодня не находилъ. Онъ наконецъ бросилъ кисть, сказалъ женѣ, что онъ не въ ударѣ, что и ей не мѣшало бы прилечь, такъ какъ на видъ она кажется не совсѣмъ здоровой — и поставилъ мольбертъ съ картиной лицомъ къ стѣнѣ. Валерія согласилась съ нимъ, что ей слѣдуетъ отдохнуть — и, повторивъ свою жалобу на головную боль, удалилась къ себѣ въ спальню.

Фабій остался въ студіи. Онъ чувствовалъ странное, ему самому непонятное смущеніе. Пребываніе Муція подъ

его кровомъ, пребываніе, на которое онъ, Фабій, самъ напросился, стѣсняло его. И не то, чтобы онъ ревновалъ.... возможно ли было ревновать Валерію! — но въ своемъ другѣ онъ не узнавалъ прежняго товарища. Все то чуждое, неизвѣстное, новое, что̀ Муцій вынесъ съ собою изъ тѣхъ далекихъ странъ — и что̀, казалось, вошло ему въ плоть и кровь — всѣ эти магическіе пріемы, пѣсни, странные напитки, этотъ нѣмой малаецъ, самый даже пряный запахъ, которымъ отдавало отъ одежды Муція, отъ его волосъ, отъ его дыханія — все это внушало Фабію чувство, похожее на недовѣрчивость, пожалуй, даже на робость. — И отчего этотъ малаецъ, служа за столомъ, съ такимъ непріятнымъ вниманіемъ глядитъ на него, Фабія? — Право, иной могъ бы подумать, что онъ понимаетъ по-итальянски. Муцій говорилъ о немъ, что, поплатившись языкомъ, этотъ малаецъ принесъ великую жертву — и за то̀ обладаетъ теперь великою силой. — Какою силою? и какъ онъ могъ пріобрѣсти ее цѣною языка? Все это очень странно! очень непонятно! — Фабій пошелъ къ женѣ въ спальню; она лежала на постели, одѣтая — но не спала. — Услышавъ его шаги, она вздрогнула, потомъ опять обрадовалась ему также, какъ и въ саду. Фабій сѣлъ возлѣ кровати, взялъ Валерію за руку, и, помолчавъ немного, спросилъ ее: какой это необыкновенный сонъ напугалъ ее нынѣшней ночью? И былъ ли онъ въ родѣ того сна, о которомъ разсказывалъ Муцій? — Валерія покраснѣла и поспѣшно промолвила: — О нѣтъ! нѣтъ! я видѣла.... какое-то чудовище, которое хотѣло растерзать меня. — Чудовище? Въ образѣ человѣка? спросилъ Фабій. — Нѣтъ, звѣря.... звѣря! — И Валерія отвернулась и скрыла въ подушки свое пылавшее лицо. Фабій еще нѣкоторое время подержалъ руку жены; молча поднесъ ее къ губамъ своимъ — и удалился.

Не весело провели этотъ день оба супруга. Казалось,

что-то темное нависло надъ ихъ головами.... но что это было — они назвать не могли. Имъ хотѣлось быть вмѣстѣ — словно опасность имъ грозила; — а что сказать другъ другу — они не знали. Фабій попытался было взяться за портретъ, читать Аріоста, поэма котораго, недавно передъ тѣмъ появившаяся въ Феррарѣ, уже гремѣла по Италіи; но ничего не удавалось.... Поздно вечеромъ, къ самому ужину, вернулся Муцій.

VII.

Онъ казался спокойнымъ и довольнымъ — но разсказывалъ мало; все больше разспрашивалъ Фабія о прежнихъ общихъ знакомыхъ, о нѣмецкомъ походѣ, объ императорѣ Карлѣ; говорилъ о своемъ желаніи съѣздить въ Римъ посмотрѣть на новаго папу. Онъ опять предложилъ Валеріи ширазскаго вина — и въ отвѣтъ на ея отказъ, промолвилъ, словно про себя: «теперь уже не нужно». — Вернувшись съ женою въ спальню, Фабій скоро заснулъ.... и проснувшись часъ спустя, могъ убѣдиться, что никто не раздѣлялъ его ложа: Валеріи не было съ нимъ. Онъ быстро приподнялся — и въ то же мгновенье увидѣлъ жену, въ ночномъ платьѣ, входившую изъ сада въ комнату. — Луна свѣтила ярко, хотя незадолго передъ тѣмъ пробѣжалъ легкій дождикъ. — Съ закрытыми глазами, съ выраженіемъ тайнаго ужаса на неподвижномъ лицѣ, Валерія приблизилась къ постели, и, ощупавъ ее протянутыми впередъ руками, легла поспѣшно и молча. Фабій обратился къ ней съ вопросомъ — но она ничего не отвѣтила; казалось, она спала. Онъ коснулся ея — и почувствовалъ на ея одеждѣ, на ея волосахъ, дождевыя капли — а на подошвахъ ея обнаженныхъ ногъ — песчинки. Тогда онъ вскочилъ и побѣ-

жалъ въ садъ черезъ полуоткрытую дверь. Лунный, до жесткости яркій свѣтъ обливалъ всѣ предметы. Фабій оглянулся — и увидѣлъ на песку дорожки слѣды двойной пары ногъ — одна пара была босая; и вели эти слѣды къ бесѣдкѣ изъ жасминовъ, находившуюся въ сторонѣ между павильономъ и домомъ. Онъ остановился въ недоумѣніи — и вотъ внезапно, снова раздаются звуки той пѣсни, которую онъ уже слышалъ въ прошлую ночь! Фабій вздрагиваетъ, вбѣгаетъ въ павильонъ.... Муцій стоитъ посреди комнаты и играетъ на скрипкѣ. Фабій бросается къ нему.

— Ты былъ въ саду, ты выходилъ, твое платье мокро отъ дождя.

— Нѣтъ.... не знаю.... кажется.... не выходилъ.... — съ разстановкой отвѣчаетъ Муцій, словно удивленный приходомъ Фабія и его волненіемъ.

Фабій схватываетъ его за руку. — И почему ты опять играешь эту мелодію? Развѣ ты опять видѣлъ сонъ?

Муцій взглядываетъ на Фабія съ тѣмъ же удивленіемъ — и молчитъ.

— Отвѣчай же!

— Мѣсяцъ сталъ, какъ круглый щитъ....
Какъ змѣя, рѣка блеститъ....
Другъ проснулся, недругъ спитъ —
Ястребъ курочку когтитъ....
Помогай!

— бормочетъ Муцій на-распѣвъ, какъ-бы въ забытьи.

Фабій отступилъ шага на два, уставился на Муція, подумалъ.... и вернулся въ домъ, въ спальню.

Склонивъ голову на плечо и безсильно раскинувъ руки, Валерія спала тяжелымъ сномъ. Онъ не скоро ея добудился.... но какъ только она увидала его, она бросилась къ нему на шею, обняла его судорожно; все тѣло ея трепетало. — Что съ тобой, моя дорогая, что съ тобою? — по-

вторялъ Фабій, стараясь ее успокоить. Но она продолжала замирать на его груди. — Ахъ, какіе страшные сны я вижу, — шептала она, прижимаясь къ нему лицомъ. Фабій хотѣлъ-было ее разспросить.... но она только содрогалась....

Раннимъ отблескомъ утра заалѣлись стекла оконъ, когда она, наконецъ, задремала въ его объятіяхъ.

VIII.

На другой день Муцій исчезъ съ утра, а Валерія объявила мужу, что намѣрена съѣздить въ сосѣдній монастырь, гдѣ проживалъ ея духовный отецъ, старый и степенный монахъ, къ которому она питала безграничное довѣріе. На разспросы Фабія она отвѣтила, что желаетъ облегчить исповѣдью свою душу, обремененную необычайными впечатлѣніями послѣднихъ дней. Глядя на осунувшееся лицо Валеріи, слушая ея угасшій голосъ, Фабій и самъ одобрилъ ея намѣреніе: почтенный отецъ Лоренцо могъ преподать ей полезный совѣтъ, разсѣять ея сомнѣнія.... Подъ охраной четырехъ провожатыхъ, Валерія отправилась въ монастырь — а Фабій остался дома и, до возвращенія жены, пробродилъ по саду, стараясь понять, что̀ происходило съ нею — и чувствуя постоянный страхъ и гнѣвъ, и боль неопредѣленныхъ подозрѣній.... Онъ не разъ заходилъ въ павильонъ: но Муцій не возвращался — а малаецъ глядѣлъ на Фабія какъ истуканъ, подобострастно наклонивъ голову, съ далеко — такъ по крайней мѣрѣ показалось Фабію — далеко затаенной усмѣшкой на бронзовомъ лицѣ. Между тѣмъ Валерія на исповѣди все разсказала своему духовнику, не столько стыдясь, сколько ужасаясь. Духовникъ выслушалъ ее внимательно, благословилъ ее, отпустилъ ей ея не-

вольный грѣхъ — а самъ про себя подумалъ: «колдовство, чары бѣсовскія.... это такъ оставить нельзя».... и вмѣстѣ съ Валеріей отправился въ ея виллу, какъ-бы для того, чтобы окончательно ее успокоить и утѣшить. — При видѣ духовника, Фабій нѣсколько перетревожился; но многоопытный старецъ заранѣе обдумалъ, какъ поступить ему слѣдовало. Оставшись наединѣ съ Фабіемъ, онъ, конечно, не выдалъ тайны исповѣди, однако посовѣтовалъ ему удалить, буде возможно, изъ дому приглашеннаго имъ гостя, который своими разсказами, пѣснями, всѣмъ поведеніемъ своимъ разстраивалъ воображеніе Валеріи. Притомъ, по мнѣнію старика, Муцій и прежде, помнится, не совсѣмъ былъ твердъ въ вѣрѣ, а побывавъ такое долгое время въ странахъ не озаренныхъ свѣтомъ христіанства, могъ вынести оттуда заразу ложныхъ ученій, могъ даже спознаться съ тайнами магіи; а потому, хотя старинная дружба и предъявляла свои права, однако благоразумная осторожность указывала на необходимость разлуки! Фабій вполнѣ согласился съ почтеннымъ монахомъ, Валерія даже просвѣтлѣла вся, когда мужъ сообщилъ ей совѣтъ ея духовника — и напутствуемый благими пожеланіями обоихъ супруговъ, снабженный богатыми подарками для монастыря и для бѣдныхъ, отецъ Лоренцо отправился домой.

Фабій намѣревался тотчасъ послѣ ужина объясниться съ Муціемъ; но странный его гость не возвратился къ ужину. Тогда Фабій рѣшилъ отсрочить разговоръ съ Муціемъ до слѣдующаго дня — и оба супруга удалились въ свою опочивальню.

IX.

Валерія скоро заснула; но Фабій заснуть не могъ. Въ ночной тишинѣ ему живѣе представлялось все видѣнное, все прочувствованное имъ; онъ еще настойчивѣе задавалъ

себѣ вопросы, на которые по-прежнему не находилъ отвѣта. Точно ли Муцій сталъ чернокнижникомъ — и ужъ не отравилъ ли онъ Валерію? Она больна.... но какою болѣзнью?— Пока онъ, положивъ голову на руку и сдерживая горячее дыханіе, предавался тяжелому раздумью — луна опять взошла на безоблачное небо; и вмѣстѣ съ ея лучами, сквозь полупрозрачныя стекла оконъ, со стороны павильона — или это почудилось Фабію? — стало вливаться дуновеніе, подобное легкой, пахучей струѣ.... вотъ слышится назойливое, страстное шептаніе.... и въ тотъ же мигъ онъ замѣтилъ, что Валерія начинаетъ слабо шевелиться. Онъ встрепенулся, смотритъ: она приподнимается, опускаетъ сперва одну ногу, потомъ другую съ постели — и, какъ лунатикъ, безжизненно устремивъ прямо передъ собою потускнѣвшіе глаза, протянувъ впередъ руки, направляется къ двери сада! Фабій — мгновенно выскочилъ въ другую дверь спальни — и проворно обѣжавъ уголъ дома, приперъ ту, что̀ вела въ садъ.... Едва онъ успѣлъ ухватиться за замо̀къ, какъ уже почувствовалъ, что кто-то силится отворить дверь изнутри, налегаетъ на нее.... еще и еще.... потомъ раздались трепетныя стенанья....

«Но вѣдь Муцій не вернулся изъ города», мелькнуло въ головѣ у Фабія — и онъ бросился къ павильону....

Что же онъ видитъ?

На встрѣчу ему, по дорогѣ, ярко залитой блескомъ мѣсячныхъ лучей, идетъ, тоже какъ лунатикъ, тоже протянувъ руки впередъ и безжизненно раскрывъ глаза — идетъ Муцій.... Фабій подбѣгаетъ къ нему — но тотъ, не замѣчая его, идетъ мѣрно выступая, шагъ за шагомъ — и недвижное лицо его смѣется при свѣтѣ луны, какъ у малайца. Фабій хочетъ кликнуть его по имени.... но въ это мгновеніе онъ слышитъ: сзади его въ домѣ стукнуло окно.... Онъ оглядывается....

Дѣйствительно: окно спальни распахнулось сверху дò низу — и, занеся ногу черезъ порогъ, стоитъ въ окнѣ Валерія.... руки ея какъ будто ищутъ Муція.... она вся тянется къ нему.

Несказанное бѣшенство залило грудь Фабія внезапно нахлынувшей волной. — «Проклятый колдунъ!» возопилъ онъ неистово — и, схвативъ Муція одной рукою за горло, онъ нащупалъ другою кинжалъ въ его поясѣ — и по самую рукоятку воткнулъ лезвіе ему въ бокъ.

Пронзительно закричалъ Муцій — и притиснувъ ладонью рану, побѣжалъ, спотыкаясь, назадъ въ павильонъ.... Но въ самый тотъ мигъ, когда его ударилъ Фабій, также пронзительно закричала Валерія и, какъ подкошенная, упала на землю.

Фабій бросился къ ней, поднялъ ее, понесъ на кровать, заговорилъ съ нею....

Она долго лежала неподвижно; но открыла наконецъ глаза, вздохнула глубоко, прерывисто и радостно, какъ человѣкъ, только-что спасенный отъ неминучей смерти — увидала мужа — и обвивъ его шею руками, прижалась къ его груди. — «Ты, ты, это ты» — лепетала она. Понемногу руки ея разжались, голова откинулась назадъ — и, прошептавъ съ блаженной улыбкой: — Слава Богу, все кончено.... Но какъ я устала! — она заснула крѣпкимъ, но не тяжелымъ сномъ.

X.

Фабій опустился возлѣ ея ложа — и не спуская глазъ съ ея блѣднаго и похудѣвшаго, но уже успокоеннаго лица, началъ размышлять о томъ, чтò произошло.... а также о томъ, какъ поступить ему теперь? Что предпринять? — Если онъ убилъ Муція — а вспомнивъ о томъ, какъ глу-

боко вошло лезвіе кинжала, онъ въ этомъ сомнѣваться не могъ — если онъ убилъ Муція — то нельзя же это скрыть! Слѣдовало довести это до свѣдѣнія герцога, судей.... но какъ объяснить, какъ разсказать такое непонятное дѣло? Онъ, Фабій, убилъ, у себя въ домѣ, своего родственника, своего лучшаго друга! Станутъ спрашивать: за что? по какому поводу?... Но если Муцій не убитъ? — Фабій не въ силахъ былъ оставаться долѣе въ невѣдѣніи — и, удостовѣрившись, что Валерія спитъ, онъ осторожно всталъ съ кресла, вышелъ изъ дому — и направился къ павильону. Все въ немъ было тихо; только въ одномъ окнѣ виднѣлся свѣтъ. Съ замиравшимъ сердцемъ раскрылъ онъ наружную дверь — (на ней остался слѣдъ окровавленныхъ пальцевъ и по песку дороги чернѣли капли крови) — перешелъ первую темную комнату.... и остановился на порогѣ, пораженный изумленіемъ.

По серединѣ комнаты, на персидскомъ коврѣ, съ парчевой подушкой подъ головою, покрытый широкой красной шалью съ черными разводами, лежалъ, прямо вытянувъ всѣ члены, Муцій. Лицо его, желтое какъ воскъ, съ закрытыми глазами, съ посинѣлыми вѣками, было обращено къ потолку, не было замѣтно дыханія: онъ казался мертвецомъ. У ногъ его, тоже закутанный въ красную шаль, стоялъ на колѣняхъ малаецъ. Онъ держалъ въ лѣвой рукѣ вѣтку невѣдомаго растенія, похожаго на папоротникъ — и, наклонившись слегка напередъ, неотвратно глядѣлъ на своего господина. Небольшой факелъ, воткнутый въ полъ, горѣлъ зеленоватымъ огнемъ, и одинъ освѣщалъ комнату. Пламя не колебалось и не дымилось. Малаецъ не пошевельнулся при входѣ Фабія, только вскинулъ на него глазами — и опять устремилъ ихъ на Муція. Отъ времени до времени онъ приподнималъ и опускалъ вѣтку, потрясалъ ею въ воздухѣ — и нѣмыя его губы медленно раскрывались и дви-

гались, какъ-бы произнося беззвучныя слова. Между малайцемъ и Муціемъ лежалъ на полу кинжалъ, которымъ Фабій поразилъ своего друга; малаецъ разъ ударилъ той вѣткой по окровавленному лезвію. Прошла минута.... другая. Фабій приблизился къ малайцу и нагнувшись къ нему промолвилъ въ полъ-голоса: умеръ? — Малаецъ наклонилъ голову сверху внизъ, и, высвободивъ изъ-подъ шали свою правую руку, указалъ повелительно на дверь. Фабій хотѣлъ-было повторить свой вопросъ — но повелѣвающая рука возобновила свое движеніе — и Фабій вышелъ вонъ, негодуя и дивясь, но повинуясь.

Онъ нашелъ Валерію спавшею по-прежнему, съ еще болѣе успокоеннымъ лицомъ. Онъ не раздѣлся, присѣлъ подъ окномъ, подперся рукою — и снова погрузился въ думу. Поднявшееся солнце застало его на томъ же самомъ мѣстѣ. Валерія не просыпалась.

XI.

Фабій хотѣлъ дождаться ея пробужденія и уѣхать въ Феррару — какъ вдругъ кто-то легонько постучался въ дверь спальни. Фабій вышелъ и увидѣлъ передъ собою своего стараго дворецкаго Антоніо. — Синьоръ, началъ старикъ — малаецъ намъ сейчасъ объявилъ, что синьоръ Муцій занемогъ и желаетъ перебраться со всѣми своими пожитками въ городъ; а потому проситъ васъ, чтобъ вы дали ему въ помощь людей для укладки вещей — а къ обѣду прислали бы вьючныхъ и верховыхъ лошадей, да нѣсколько провожатыхъ. Вы позволяете? — Малаецъ тебѣ объявилъ это? спросилъ Фабій. — Какимъ образомъ? Вѣдь онъ нѣмой. — Вотъ, синьоръ, бумага, на которой онъ это все написалъ на нашемъ языкѣ — очень правильно. — И Муцій,

ты говоришь, боленъ? — Да, очень боленъ — и видѣть его нельзя. — За врачемъ не посылали? — Нѣтъ. Малаецъ не позволилъ. — И это написалъ тебѣ малаецъ? — Да, онъ. — Фабій помолчалъ. — Ну, чтожъ — распорядись, промолвилъ онъ наконецъ. — Антоніо удалился.

Фабій съ недоумѣньемъ посмотрѣлъ вслѣдъ своему слугѣ. — Стало-быть, не убитъ? — подумалось ему.... и онъ не зналъ, радоваться ли — или сожалѣть. — Боленъ? — Но нѣсколько часовъ тому назадъ — вѣдь мертвеца же онъ видѣлъ!

Фабій вернулся къ Валеріи. Она проснулась — и приподняла голову. Супруги обмѣнялись долгимъ, значительнымъ взглядомъ. — Его уже нѣтъ? промолвила вдругъ Валерія. — Фабій вздрогнулъ. — Какъ.... нѣтъ? — Ты развѣ.... — Онъ уѣхалъ? продолжала она. Фабію отлегло отъ сердца. — Нѣтъ еще; но онъ уѣзжаетъ сегодня. — И я его больше никогда, никогда не увижу? — Никогда. — И тѣ сны не повторятся? — Нѣтъ. — Валерія опять радостно вздохнула; блаженная улыбка появилась опять на ея губахъ. Она протянула обѣ руки мужу. — И мы не будемъ никогда говорить о немъ, никогда, слышишь, мой милый? И я изъ комнаты не выйду — пока онъ не уѣдетъ. А ты теперь пришли мнѣ моихъ служанокъ.... да постой: возьми ты эту вещь! — она указала на жемчужное ожерелье, лежавшее на ночномъ столикѣ, ожерелье, данное ей Муціемъ — и брось ее тотчасъ въ самый нашъ глубокій колодезь. — Обними меня — я твоя Валерія — и не приходи ко мнѣ пока.... тотъ не уѣдетъ. — Фабій взялъ ожерелье — жемчужины показались ему потускнѣвшими — и исполнилъ приказаніе своей жены. Потомъ онъ сталъ скитаться по саду, издали поглядывая на павильонъ, около котораго уже началась возня укладки. Люди выносили сундуки, вьючили лошадей.... но малайца не было между ними. Неотразимое

чувство влекло Фабія посмотрѣть еще разъ на то, что̀ происходило въ павильонѣ. Онъ вспомнилъ, что на заднемъ его фасѣ находилась потаенная дверь, черезъ которую можно было проникнуть во внутренность комнаты, гдѣ утромъ лежалъ Муцій. — Онъ подкрался къ той двери, нашелъ ее незапертою, и, раздвинувъ полости тяжелаго занавѣса, бросилъ нерѣшительный взглядъ.

XII.

Муцій уже не лежалъ на коврѣ. Одѣтый въ дорожное платье, онъ сидѣлъ въ креслѣ, но казался трупомъ, также какъ въ первое посѣщеніе Фабія. Окаменѣлая голова завалилась на спинку кресла, и протянутыя, плашмя положенныя руки, недвижно желтѣли на колѣняхъ. Грудь не поднималась. Около кресла, на полу, усѣянномъ засохшими травами, стояло нѣсколько плоскихъ чашекъ съ темной жидкостью, издававшей сильный, почти удушливый запахъ, запахъ мускуса. Вокругъ каждой чашки свернулась, изрѣдка сверкая золотыми глазками, небольшая змѣйка мѣднаго цвѣта; а прямо передъ Муціемъ, въ двухъ шагахъ отъ него, возвышалась длинная фигура малайца, облеченнаго въ парчевую пеструю хламиду, подпоясанную хвостомъ тигра, съ высокой шляпой въ видѣ рогатой тіары на головѣ. Но онъ не былъ неподвиженъ; онъ то благоговѣйно кланялся и словно молился, то опять выпрямлялся во весь ростъ, становился даже на цыпочки; то мѣрно и широко разводилъ руками, то настойчиво двигалъ ими въ направленіи Муція и, казалось, грозилъ или повелѣвалъ, хмурилъ брови и топалъ ногою. Всѣ эти движенія видимо стòили ему большого труда, причиняли даже страданія: онъ дышалъ тяжело, потъ лилъ съ его лица. Вдругъ онъ замеръ на мѣ-

стѣ и набравъ въ грудь воздуха, наморщивши лобъ, напрягъ и потянулъ къ себѣ свои сжатыя руки, точно онъ возжи въ нихъ держалъ.... и къ неописанному ужасу Фабія, голова Муція медленно отдѣлилась отъ спинки кресла и потянулась вслѣдъ за руками малайца.... Малаецъ отпустилъ ихъ — и Муціева голова опять тяжело откинулась назадъ; малаецъ повторилъ свои движенія — и послушная голова повторила ихъ за ними. Темная жидкость въ чашкахъ закипѣла; самыя чашки зазвенѣли тонкимъ звономъ, и мѣдныя змѣйки волнообразно зашевелились вокругъ каждой изъ нихъ. Тогда малаецъ ступилъ шагъ впередъ и высоко поднявъ брови, и расширивъ до огромности глаза, качнулъ головою на Муція.... и вѣки мертвеца затрепетали, неровно расклеились и изъ-подъ нихъ показались тусклыя какъ свинецъ зѣницы. Гордымъ торжествомъ и радостью, радостью почти злобной, просіяло лицо малайца; онъ широко раскрылъ свои губы, и изъ самой глубины его гортани съ усиліемъ вырвался протяжный вой.... Губы Муція раскрылись тоже, и слабый стонъ задрожалъ на нихъ въ отвѣтъ тому нечеловѣческому звуку....

Но тутъ Фабій не выдержалъ болѣе: ему представилось, что онъ присутствуетъ на какихъ-то бѣсовскихъ заклинаніяхъ! Онъ тоже закричалъ и бросился бѣжать безъ оглядки домой, скорѣй домой, творя молитвы и крестясь.

XIII.

Часа три спустя, Антоніо явился къ нему съ докладомъ, что все готово, всѣ вещи уложены, и синьоръ Муцій собирается въ отъѣздъ. Ни слова не отвѣтивъ своему слугѣ, Фабій вышелъ на террассу, откуда былъ видѣнъ павильонъ. Нѣсколько вьючныхъ лошадей скучилось передъ нимъ; къ

самому крыльцу былъ подведенъ могучій вороной жеребецъ съ широкимъ сѣдломъ, приспособленнымъ для двухъ сѣдоковъ. Тутъ же стояли слуги съ обнаженными головами, вооруженные провожатые. Дверь павильона растворилась и, поддерживаемый малайцемъ, снова надѣвшимъ обычное платье, появился Муцій. Лицо его было мертвенно, и руки висѣли какъ у мертвеца, — но онъ переступалъ.... да! переступалъ ногами, и, посаженный на коня, держался прямо и ощупью нашелъ поводья. Малаецъ вдѣлъ ему ноги въ стремена, вскочилъ сзади его на сѣдло, охватилъ рукой его станъ — и весь поѣздъ двинулся. Лошади шли шагомъ, и когда онѣ заворачивали передъ домомъ, Фабію почудилось, что на темномъ лицѣ Муція мелькнуло два бѣлыхъ пятнышка.... Неужели это онъ къ нему обратилъ свои зрачки? — Одинъ малаецъ ему поклонился.... насмѣшливо, по обыкновенію.

Видѣла ли это все Валерія? Жалузи ея оконъ были закрыты.... но, можетъ быть, она стояла позади ихъ.

XIV.

Къ обѣду она пришла въ столовую и очень была тиха и ласкова; однако все еще жаловалась на усталость. Но ни тревоги уже не было въ ней, ни прежняго постояннаго изумленія и тайнаго страха; и когда на другой день послѣ отъѣзда Муція, Фабій снова принялся за ея портретъ, онъ нашелъ въ ея чертахъ то чистое выраженіе, мгновенное затмѣніе котораго такъ смутило его.... и кисть побѣжала по полотну легко и вѣрно.

Супруги зажили прежней жизнью. Муцій для нихъ исчезъ, какъ будто его никогда не существовало. И Фабій, и Валерія, оба, точно условились не упоминать о немъ ни

единымъ звукомъ, не освѣдомляться объ его дальнѣйшей судьбѣ: она впрочемъ и для всѣхъ осталась тайной. Муцій дѣйствительно исчезъ, точно провалился сквозь землю. Фабію однажды показалось, что онъ обязанъ разсказать Валеріи, что̀ именно произошло въ ту роковую ночь.... но она вѣроятно угадала его намѣреніе и притаила дыханіе, глаза ея прищурились, точно она ожидала удара.... И Фабій ее понялъ: онъ не нанесъ ей этого удара.

Въ одинъ прекрасный осенній день Фабій оканчивалъ изображеніе своей Цециліи; Валерія сидѣла передъ орга̀номъ, и пальцы ея бродили по клавишамъ.... Внезапно, помимо ея воли, подъ ея руками зазвучала та пѣснь торжествующей любви, которую нѣкогда игралъ Муцій — и въ тотъ же мигъ, въ первый разъ послѣ ея брака, она почувствовала внутри себя трепетъ новой, зарождающейся жизни.... Валерія вздрогнула, остановилась....

Что̀ это значило? Неужели же....

На этомъ словѣ оканчивалась рукопись.

с. Спасское-Лутовиново, іюнь 1881 г.

КЛАРА МИЛИЧЪ.

ПОВѢСТЬ.

I.

Весной 1878 года, проживалъ въ Москвѣ, въ небольшомъ деревянномъ домикѣ на Шаболовкѣ — молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти, по имени Яковъ Аратовъ. Съ нимъ проживала его тетка, старая дѣвица лѣтъ пятидесяти слишкомъ, сестра его отца, Платонида Ивановна. Она завѣдывала его хозяйствомъ и вела его расходы, на что̀ Аратовъ совершенно не былъ способенъ. Другихъ родныхъ у него не было. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, отецъ его небогатый дворянчикъ Т....й губерніи, переѣхалъ въ Москву вмѣстѣ съ нимъ и Платонидой Ивановной, которую, впрочемъ, всегда звалъ Платошей; и племянникъ такъ же ее звалъ. Покинувъ деревню, въ которой они всѣ до тѣхъ поръ постоянно жили, старикъ Аратовъ поселился въ столицѣ съ цѣлью помѣстить сына въ университетъ, къ которому самъ его подготовилъ; купилъ за безцѣнокъ домикъ въ одной изъ отдаленныхъ улицъ и устроился въ немъ со всѣми своими книгами и «препаратами». А книгъ и препаратовъ у него было много — ибо человѣкъ онъ былъ не лишенный уче-

ности.... «чудакъ преестественный», по словамъ сосѣдей. Онъ даже слылъ у нихъ чернокнижникомъ: даже прозвище получилъ «инсектонаблюдателя». Онъ занимался химіей, минералогіей, энтомологіей, ботаникой и медициной; лечилъ добровольныхъ паціентовъ травами и металлическими порошками собственнаго изобрѣтенія, по методѣ Парацельсія. Этими самыми порошками онъ свелъ въ могилу свою молоденькую, хорошенькую, но ужъ слишкомъ тоненькую жену, которую любилъ страстно, и отъ которой имѣлъ единственнаго сына. Тѣми же металлическими порошками онъ порядкомъ попортилъ здоровье также и сына, которое, напротивъ, желалъ подкрѣпить, находя въ его организмѣ анемію и склонность къ чахоткѣ, унаслѣдованныя отъ матери. Имя «чернокнижника» онъ, между прочимъ, получилъ отъ того, что считалъ себя правнукомъ — не по прямой линіи, конечно, — знаменитаго Брюса, въ честь котораго онъ и сына назвалъ Яковомъ. Человѣкъ онъ былъ, что̀ называется, «добрѣйшій», но нрава меланхолическаго, копотливый, робкій, — склонный ко всему таинственному, мистическому.... Полушёпотомъ произнесенное: — А! было его обычнымъ восклицаніемъ; онъ и умеръ съ этимъ восклицаніемъ на устахъ — года два спустя послѣ переселенія въ Москву.

Сынъ его, Яковъ, наружностью не походилъ на отца, который былъ некрасивъ собою, неуклюжъ и неловокъ; онъ скорѣй напоминалъ свою мать. Тѣ же тонкія, миловидныя черты, тѣ же мягкіе волосы пепельнаго цвѣта, тотъ же маленькій носъ съ горбиной, тѣ же выпуклыя, дѣтскія губки — и большіе, зеленовато-сѣрые глаза съ поволокой и пушистыми рѣсницами. Зато нравомъ онъ походилъ на отца; — и несхожее съ отцовскимъ лицо носило отпечатокъ отцовскаго выраженія — и руки имѣлъ онъ узловатыя, и впалую грудь, какъ старикъ Аратовъ, котораго впрочемъ, едва ли

слѣдуетъ называть старикомъ, такъ какъ онъ и до пятидесяти лѣтъ не дотянулъ. Еще при жизни его Яковъ поступилъ въ университетъ, по физико-математическому факультету; однако, курса не кончилъ — не по лѣности, а потому что, по его понятіямъ, въ университетѣ не узнаешь больше того, чему можно научиться и дома; а за дипломомъ онъ не гонялся, такъ какъ на службу поступить не разсчитывалъ. Онъ дичился своихъ товарищей, почти ни съ кѣмъ не знакомился, въ особенности чуждался женщинъ и жилъ очень уединенно, погруженный въ книги. Онъ чуждался женщинъ, хотя сердце имѣлъ очень нѣжное и плѣнялся красотою.... Онъ даже пріобрѣлъ роскошный англійскій кипсэкъ — и (о, позоръ!) любовался «украшавшими» его изображеніями разныхъ восхитительныхъ Гюльнаръ и Медоръ.... Но его постоянно сдерживала прирожденная стыдливость. Въ домѣ онъ занималъ бывшій отцовскій кабинетъ, который былъ также его спальней; и постель его была та же самая, на которой скончался его отецъ.

Великимъ подспорьемъ всего его существованія, неизмѣннымъ товарищемъ и другомъ была ему его тетка, та Платоша, съ которой онъ едва ли мѣнялся десятью словами въ день, но безъ которой онъ не могъ бы ступить шагу. Это было длиннолицое, длиннозубое существо, съ блѣдными глазами на блѣдномъ лицѣ, съ неизмѣннымъ выраженіемъ не то грусти, не то озабоченнаго испуга. Вѣчно одѣтая въ сѣрое платье и сѣрую шаль, отъ которой пахло камфорой, она скиталась по дому какъ тѣнь, неслышными шагами; вздыхала, шептала молитвы — особенно одну, любимую, состоявшую всего изъ двухъ словъ: «Господи, помози!» — и очень дѣльно распоряжалась по хозяйству, берегла каждую копѣйку и все закупала сама. Племянника своего она обожала; постоянно кручинилась объ его здоровьѣ — всего боялась — не за себя, а за него — и, бывало, чуть что ей

покажется, сейчасъ тихонько подойдетъ и поставитъ ему на письменный столъ чашку грудного чаю, или погладитъ его по спинѣ своими мягкими, какъ вата, руками. Яковъ не тяготился этимъ ухаживаньемъ, — грудного чаю, однако, не пилъ — и только одобрительно покачивалъ головою. Впрочемъ, здоровьемъ онъ тоже похвастаться не могъ. Очень онъ былъ впечатлителенъ, нервенъ, мнителенъ, страдалъ сердцебіеньемъ, иногда одышкой; подобно отцу, вѣрилъ, что существуютъ въ природѣ и въ душѣ человѣческой тайны, которыя можно иногда прозрѣвать, но постигнуть—невозможно; вѣрилъ въ присутствіе нѣкоторыхъ силъ и вѣяній, иногда благосклонныхъ, но чаще враждебныхъ.... и вѣрилъ также въ науку, въ ея достоинство и важность. Въ послѣднее время онъ пристрастился къ фотографіи. Запахъ употребляемыхъ при этомъ снадобій очень безпокоилъ старуху-тетку — опять-таки не для себя, а для Яши, для его груди; но при всей мягкости нрава, въ немъ было не мало упорства — и онъ настойчиво продолжалъ полюбившееся ему занятіе. «Платоша» покорилась, и только пуще прежняго вздыхала и шептала: «Господи, помози!» глядя на его окрашенные іодомъ пальцы.

Яковъ, какъ уже сказано, чуждался товарищей; однако съ однимъ изъ нихъ сошелся довольно близко и видалъ его часто, даже послѣ того, какъ этотъ товарищъ, выйдя изъ университета, поступилъ на службу, мало, впрочемъ, обязательную: онъ, говоря его словами, «примостился» къ постройкѣ Храма Спасителя, ничего, конечно, въ архитектурѣ не смысля. Странное дѣло: этотъ единственный пріятель Аратова, по фамиліи Купферъ, нѣмецъ до того обрусѣвшій, что ни одного слова по-нѣмецки не зналъ и даже ругался «нѣмцемъ» — этотъ пріятель не имѣлъ съ нимъ, повидимому, ничего общаго. Это былъ чернокудрый, краснощекій малый, весельчакъ, говорунъ и большой

любитель того самаго женскаго общества, котораго такъ избѣгалъ Аратовъ. Правда, Купферъ и завтракалъ, и обѣдалъ у него частенько — и даже, будучи человѣкомъ небогатымъ, занималъ у него небольшія суммы; но не это заставляло развязнаго нѣмчика прилежно посѣщать укромный домикъ на Шаболовкѣ. Душевная чистота, «идеальность» Якова ему полюбилась, быть можетъ, какъ противорѣчіе тому, что̀ онъ каждый день встрѣчалъ и видѣлъ; — или, быть можетъ, въ этомъ самомъ влеченіи къ «идеальному» юношѣ сказывалась его все-таки германская кровь. А Якову нравилась добродушная откровенность Купфера; да кромѣ того, разсказы его о театрахъ, о концертахъ, о балахъ, гдѣ онъ былъ завсегдатаемъ, — вообще о томъ чуждомъ мірѣ, куда Яковъ не рѣшался проникнуть — тайно занимали и даже волновали молодого отшельника, не возбуждая, впрочемъ, въ немъ желанія извѣдать все это собственнымъ опытомъ. И Платоша жаловала Купфера; правда, она находила его иногда черезъ-чуръ безцеремоннымъ, но инстинктивно чувствуя и понимая, что онъ искренне привязанъ къ ея дорогому Яшѣ, она не только терпѣла шумнаго гостя, но благоволила къ нему.

II.

Въ то время, о которомъ идетъ наша рѣчь, обрѣталась въ Москвѣ нѣкая вдова, грузинская княгиня — личность неопредѣленная, почти подозрительная. Ей было уже подъ сорокъ лѣтъ; въ молодости она, вѣроятно, цвѣла той особенной восточной красотой, которая такъ скоро блекнетъ; теперь она бѣлилась, румянилась и красила волосы въ желтую краску. О ней ходили разные, не совсѣмъ выгодные и не совсѣмъ ясные слухи; мужа ея никто не знавалъ — и

ни въ одномъ городѣ она подолгу не живала. Ни дѣтей, ни состоянія у ней не было; но она жила открыто — въ долгъ или иначе; держала, какъ говорится, салонъ и принимала довольно смѣшанное общество — бо̀льшей частью молодежь. Все въ ея домѣ, начиная съ собственнаго ея туалета, мебели, стола — и кончая экипажемъ и прислугой — носило печать чего-то недоброкачественнаго, поддѣльнаго, временнаго.... но и сама княгиня, и ея гости, повидимому, ничего лучшаго не требовали. Княгиня слыла любительницей музыки, литературы, покровительницей артистовъ и художниковъ; да и дѣйствительно интересовалась всѣми этими «вопросами» — даже до восторженности — и до восторженности, не совсѣмъ напускной. Эстетическая жилка въ ней несомнѣнно билась. Къ тому же она была очень доступна, любезна, безъ чванливости и ломанія — и, чего многіе не подозрѣвали — въ сущности очень добра, мягкосердечна и снисходительна.... Качества рѣдкія — и тѣмъ болѣе дорогія — именно въ подобнаго рода личностяхъ! — «Пустая баба!» выразился о ней одинъ умникъ — «а въ рай попадетъ непремѣнно! Потому: все прощаетъ — и ей все простится!» О ней говорили также, что когда она исчезала изъ какого-нибудь города — она всегда оставляла въ немъ столько же заимодавцевъ, сколько людей облагодѣтельствованныхъ ею. Мягкое сердце въ какую хочешь сторону гнется.

Купферъ, какъ и слѣдовало ожидать, попалъ въ ея домъ — и сталъ къ ней близкимъ.... злые языки увѣряли: слишкомъ близкимъ человѣкомъ. Самъ же онъ всегда отзывался о ней не только дружески, но съ уваженіемъ; величалъ ее золотою женщиной — что̀ тамъ ни толкуй! — и твердо вѣрилъ и въ ея любовь къ искусству, и въ пониманіе ею искусства! — Вотъ однажды, послѣ обѣда, у Аратовыхъ, разговорившись о княгинѣ и о ея вечерахъ, онъ

началъ убѣждать Якова нарушить хоть разъ свою анахоретскую жизнь и позволить ему, Купферу, представить его своей пріятельницѣ. Яковъ сперва и слушать не хотѣлъ.— Да ты что думаешь? воскликнулъ наконецъ Купферъ: о какомъ представленіи рѣчь? Просто, возьму тебя, вотъ какъ ты теперь сидишь, въ сюртукѣ — и повезу тебя къ ней на вечеръ. Никакихъ тамъ, братъ, этикетовъ не водится! Ты вотъ и ученый, и литературу любишь, и музыку (у Аратова въ кабинетѣ дѣйствительно находилось піанино, на которомъ онъ изрѣдка бралъ аккорды съ уменьшенной септимой) — а у ней въ домѣ всего этого добра вдоволь!... И людей ты тамъ встрѣтишь симпатическихъ, безо всякихъ претензій! Да и наконецъ, нельзя же въ твои годы, съ твоей наружностью (Аратовъ опустилъ глаза и махнулъ рукою) — да, да, съ твоей наружностью, такъ чуждаться общества, свѣта! Вѣдь не къ генераламъ я тебя везу! Впрочемъ, я самъ генераловъ не знаю!... Не упирайся, голубчикъ! Нравственность — дѣло хорошее, почтенное.... Но зачѣмъ же въ аскетизмъ вдаваться? Не въ монахи же ты себя готовишь!

Аратовъ, однако, продолжалъ упираться; но на подмогу Купферу неожиданно явилась Платонида Ивановна. Хотя она и не поняла хорошенько, что̀ это за слово такое: аскетизмъ? — однако, тоже нашла, что Яшенькѣ не худо развлечься, на людей посмотрѣть — и себя показать. — Тѣмъ болѣе, прибавила она, что я увѣрена въ Ѳедоръ-Ѳедорычѣ! Въ дурное мѣсто онъ тебя не повезетъ!... — Во всей непорочности представлю его вамъ обратно! вскричалъ Купферъ, на котораго Платонида Ивановна, несмотря на свою увѣренность, бросала безпокойные взгляды. Аратовъ покраснѣлъ до ушей — но возражать пересталъ.

Кончилось тѣмъ, что на слѣдующій день Купферъ повезъ его на вечеръ къ княгинѣ. Но Аратовъ не долго тамъ

остался. Во-первыхъ, онъ нашелъ у ней человѣкъ двадцать гостей, мужчинъ и женщинъ, положимъ, и симпатическихъ, но все-таки чужихъ; и это его стѣсняло, хотя бесѣдовать ему пришлось очень немного: а этого онъ больше всего боялся. Во-вторыхъ, сама хозяйка ему не понравилась, хотя она и приняла его очень радушно и просто. Все въ ней ему не понравилось: и раскрашенное лицо, и взбитыя кудри, и хрипловато-слащавый голосъ, визгливый смѣхъ, манера закатывать глаза подъ-лобъ, излишнее декольтэ — и эти пухлые, глянцовитые пальцы со множествомъ колецъ!... Забившись въ уголъ, онъ то быстро пробѣгалъ глазами по всѣмъ лицамъ гостей, какъ-то даже не различая ихъ, то упорно глядѣлъ себѣ на ноги. Когда же наконецъ одинъ заѣзжій артистъ съ испитымъ лицомъ, длиннѣйшими волосами и стеклышкомъ подъ съёженной бровью сѣлъ за рояль и, ударивъ съ размаху руками по клавишамъ, а ногой по педали, началъ валять фантазію Листа на вагнеровскія тэмы — Аратовъ не выдержалъ и улизнулъ, унося въ душѣ смутное и тяжелое впечатлѣніе, сквозь которое, однако, пробивалось нѣчто ему самому непонятное — но значительное и даже тревожное.

III.

Купферъ пришелъ на другой день обѣдать; однако, распространяться о вчерашнемъ вечерѣ не сталъ, даже не попрекнулъ Аратова за его поспѣшное бѣгство — и только пожалѣлъ о томъ, что онъ не дождался ужина, за которымъ подавали шампанское! (нижегородскаго издѣлія, замѣтимъ въ скобкахъ). Купферъ, вѣроятно, понялъ, что напрасно вздумалъ расшевелить своего пріятеля — и что Аратовъ къ тому обществу и образу жизни человѣкъ рѣши-

тельно «не подходящій». Съ своей стороны Аратовъ тоже не заговаривалъ ни о княгинѣ, ни о вчерашнемъ вечерѣ. Платонида Ивановна не знала, радоваться ли неуспѣху этой первой попытки, или сожалѣть о немъ? Она рѣшила наконецъ, что здоровье Яши могло пострадать отъ подобныхъ выѣздовъ — и успокоилась. Купферъ ушелъ тотчасъ послѣ обѣда — и цѣлую недѣлю потомъ не показывался. И не то, чтобы онъ дулся на Аратова за неудачу своей рекомендаціи — добрякъ на это не былъ способенъ, — но онъ, очевидно, нашелъ нѣкоторое занятіе, которое поглощало все его время, всѣ его помыслы, — потому что и впослѣдствіи являлся рѣдко къ Аратовымъ, видъ имѣлъ разсѣянный, говорилъ мало и въ скорости исчезалъ.... Аратовъ продолжалъ жить по прежнему; — но какая-то, если можно такъ выразиться, закорючка засѣла ему въ душу. Онъ все что-то припоминалъ, самъ не зная хорошенько что̀ именно — и это «что-то» относилось къ вечеру проведенному у княгини. Со всѣмъ тѣмъ, вернуться къ ней онъ не желалъ нисколько— и свѣтъ, часть котораго онъ улицезрѣлъ у нея въ домѣ, отталкивалъ его больше чѣмъ когда-либо. Такъ прошло недѣль шесть.

И вотъ, въ одно утро опять предсталъ предъ нимъ Купферъ, на этотъ разъ съ нѣсколько смущеннымъ лицомъ. — Я знаю, — началъ онъ съ принужденнымъ смѣхомъ, — что тебѣ не по вкусу пришелся твой тогдашній визитъ; но я надѣюсь, что ты все-таки согласишься на мое предложеніе.... не откажешь мнѣ въ моей просьбѣ!

— Въ чемъ дѣло? — спросилъ Аратовъ.

— Вотъ видишь ли, — продолжалъ Купферъ, все болѣе и болѣе оживляясь; — здѣсь есть одно общество любителей, артистовъ, которое отъ времени до времени устраиваетъ чтенія, концерты, даже театральныя представленія съ благотворительной цѣлью....

— И княгиня участвуетъ? — перебилъ Аратовъ.

— Княгиня всегда въ добрыхъ дѣлахъ участвуетъ — но это ничего. Мы затѣяли литературно-музыкальное утро... и на этомъ утрѣ ты можешь услышать дѣвушку.... необыкновенную дѣвушку! — Мы еще не знаемъ хорошенько: Рашель она, или Віардо?... потому что она и поетъ превосходно, и декламируетъ, и играетъ.... Талантъ, братецъ ты мой, первокласный! Безъ преувеличенія говорю. — Такъ вотъ.... не возьмешь ли ты билетъ? — Пять рублей, если въ первомъ ряду.

— А откуда взялась эта удивительная дѣвушка? — спросилъ Аратовъ.

Купферъ осклабился. — Ужъ этого я не могу сказать... Въ послѣднее время она пріютилась у княгини. Княгиня, ты знаешь, всѣмъ такимъ покровительствуетъ.... Да ты ее, вѣроятно, видѣлъ на томъ вечерѣ.

Аратовъ дрогнулъ — внутренно, слабо.... но ничего не промолвилъ.

— Она даже играла гдѣ-то въ провинціи, — продолжалъ Купферъ, — и вообще она создана для театра. Вотъ ты самъ увидишь!

— Какъ ея имя? — спросилъ Аратовъ.

— Клара....

— Клара? — вторично перебилъ Аратовъ. — Не можетъ быть!

— Отчего: не можетъ быть? — Клара.... Клара Миличъ; это не настоящее ея имя.... но ее такъ называютъ. Пѣть она будетъ Глинкинскій романсъ.... и Чайковскаго; а потомъ письмо изъ «Евгенія Онѣгина» прочтетъ. — Чтожъ? берешь билетъ?

— А когда это будетъ?

— Завтра.... завтра въ половинѣ второго, въ частной залѣ, на Остоженкѣ.... Я заѣду за тобой. Въ пять рублей

билетъ?.. Вотъ онъ.... нѣтъ—это трехрублевый.—Вотъ.—Вотъ и афишка. — Я одинъ изъ распорядителей.

Аратовъ задумался. Платонида Ивановна вошла въ эту минуту и, взглянувъ ему въ лицо, вдругъ перетревожилась. — Яша, — воскликнула она, — что̀ съ тобою? Отчего ты такой смущенный? Ѳедоръ Ѳедоровичъ, что вы ему такое сказали?

Но Аратовъ не далъ своему пріятелю отвѣтить на вопросъ тетки — и торопливо выхвативъ протянутый къ нему билетъ, приказалъ Платонидѣ Ивановнѣ сейчасъ выдать Купферу пять рублей.

Та удивилась, глазами заморгала.... Однако, вручила Купферу деньги молча. Очень уже строго крикнулъ на нее Яшенька.

— Я тебѣ говорю, чудо изъ чудесъ! — воскликнулъ Купферъ, и бросился къ дверямъ. — Жди меня завтра!

— У ней черные глаза? — промолвилъ ему въ слѣдъ Аратовъ.

— Какъ уголь! — весело гаркнулъ Купферъ и исчезъ.

Аратовъ ушелъ къ себѣ въ комнату, а Платонида Ивановна такъ и осталась на мѣстѣ, шепотомъ повторяя: «Помози, Господи! Господи, помози!»

IV.

Большая зала въ частномъ домѣ на Остоженкѣ уже на половину была полна посѣтителями, когда Аратовъ съ Купферомъ прибыли туда. Въ этой залѣ давались иногда театральныя представленія, но на этотъ разъ не было видно ни декорацій, ни занавѣса. Учредители «утра» ограничились тѣмъ, что воздвигнули на одномъ концѣ эстраду, поставили на ней фортепіано, пару пюпитровъ, нѣсколько стульевъ,

столъ съ графиномъ воды и стаканъ — да завѣсили краснымъ сукномъ дверь, которая вела въ комнату, предоставленную артистамъ. Въ первомъ ряду уже сидѣла княгиня въ ярко-зеленомъ платьѣ; Аратовъ помѣстился въ нѣкоторомъ отъ нея разстояньи, едва обмѣнявшись съ ней поклономъ. Публика была, что̀ называется, разношерстная; все больше молодые люди изъ учебныхъ заведеній. Купферъ, какъ одинъ изъ распорядителей, съ бѣлымъ бантомъ на обшлагѣ фрака, суетился и хлопоталъ изо всѣхъ силъ; княгиня видимо волновалась, оглядывалась, посылала во всѣ стороны улыбки, заговаривала съ сосѣдями.... около нея были одни мужчины. Первымъ на эстрадѣ явился флейтистъ чахоточнаго вида и престарательно проплевалъ.... то-бишь! просвисталъ пьеску тоже чахоточнаго свойства; два человѣка закричали: браво! Потомъ какой-то толстый господинъ въ очкахъ, очень на видъ солидный и даже угрюмый, прочелъ басомъ Щедринскій очеркъ; хлопали очерку, не ему; — потомъ явился фортепіанистъ, уже знакомый Аратову — и пробарабанилъ ту же Листовскую фантазію; фортепіанистъ удостоился вызова. Онъ кланялся, опершись рукою на спинку стула, и послѣ каждаго поклона взмахивалъ волосами, совсѣмъ какъ Листъ! Наконецъ, послѣ довольно долгаго промежутка, красное сукно на двери за эстрадой зашевелилось, распахнулось широко — и появилась Клара Миличъ. Зала огласилась рукоплесканіями. Нерѣшительными шагами подошла она къ передней части эстрады, остановилась и осталась неподвижной, сложивъ передъ собою большія, красивыя руки безъ перчатокъ, не присѣдая, не наклоняя головы и не улыбаясь.

Это была дѣвушка лѣтъ девятнадцати, высокая, нѣсколько широкоплечая, но хорошо сложенная. Лицо смуглое, не то еврейскаго, не то цыганскаго типа, глаза небольшіе, черные, подъ густыми, почти сросшимися бровями,

носъ прямой, слегка вздернутый, тонкія губы съ красивымъ, но рѣзкимъ выгибомъ, громадная черная коса, тяжелая даже на видъ, низкій, неподвижный, точно каменный лобъ, крошечныя уши.... все лицо задумчивое, почти суровое. Натура страстная, своевольная, — и едва ли добрая, едва ли очень умная — но даровитая — сказывалась во всемъ.

Она нѣкоторое время не поднимала глазъ, но вдругъ встрепенулась и провела по рядамъ зрителей свой пристальный, но не внимательный, словно въ себя углубленный взглядъ.... «Какіе у нея трагическіе глаза!» замѣтилъ сидѣвшій позади Аратова нѣкій сѣдоволосый фатъ съ лицомъ кокотки изъ Ревеля, извѣстный по Москвѣ сотрудникъ и соглядатай. Фатъ былъ глупъ и хотѣлъ сказать глупость.... а сказалъ правду! Аратовъ, который съ самаго появленія Клары, не спускалъ съ нея взора, только тутъ вспомнилъ, что онъ дѣйствительно видѣлъ ее у княгини; и не только видѣлъ ее, но даже замѣтилъ, что она нѣсколько разъ съ особенной настойчивостью посмотрѣла на него своими темными, пристальными глазами. Да и теперь.... или это ему показалось? — она, увидавъ его въ первомъ ряду, какъ будто обрадовалась, какъ будто покраснѣла — и опять настойчиво посмотрѣла на него. Потомъ она, не оборачиваясь, отступила шага два въ направленіи фортепіано, за которымъ уже сидѣлъ ея аккомпаніаторъ, длинноволосый чужестранецъ. Ей приходилось исполнить романсъ Глинки: «Только узналъ я тебя».... Она тотчасъ начала пѣть, не перемѣнивъ положенія рукъ и не глядя на ноты. Голосъ у ней былъ звучный и мягкій — контральто, — слова она выговаривала отчетливо и вѣско, пѣла однообразно, безъ оттѣнковъ, но съ сильнымъ выраженіемъ. — «Съ убѣжденьемъ поетъ дѣвка», промолвилъ тотъ же фатъ, сидѣвшій за спиной Аратова — и опять сказалъ правду. — Крики: bis!

браво! раздались кругомъ — но она бросила быстрый взглядъ на Аратова, который не кричалъ и не хлопалъ — ему не особенно понравилось ея пѣніе, — слегка поклонилась и ушла, не принявъ подставленной калачикомъ руки волосатаго піаниста. Ее вызвали.... Она не скоро появилась, тѣми же нерѣшительными шагами подошла къ фортепіано — и шепнувъ слова два аккомпаніатору, которому пришлось достать и положить передъ собою не приготовленныя, а другія ноты — начала романсъ Чайковскаго: «Нѣтъ, только тотъ, кто зналъ свиданья жажду».... Этотъ романсъ она спѣла иначе чѣмъ первый — въ полъ-голоса, словно усталая.... и только на предпослѣднемъ стихѣ: «Пойметъ, какъ я страдалъ» — у нея вырвался звенящій, горячій крикъ. Послѣдній стихъ: «И какъ я стражду».... она почти прошептала, горестно растянувъ послѣднее слово. Романсъ этотъ произвелъ меньшее впечатлѣніе на публику, чѣмъ Глинкинскій; однако, хлопанья было много.... Особенно отличался Купферъ; складывая ладони при ударѣ особеннымъ манеромъ, въ видѣ боченка, онъ производилъ необыкновенно-гулкій звукъ. Княгиня передала ему большой растрепанный букетъ съ тѣмъ, чтобы онъ преподнесъ его пѣвицѣ; но она словно не замѣтила наклоненной фигуры Купфера, его вытянутой съ букетомъ руки, повернулась и ушла, вторично не дождавшись піаниста, который поспѣшнѣе прежняго вскочилъ, чтобы ее проводить — и, оставшись не причемъ, такъ взмахнулъ волосами, какъ, вѣроятно, самъ Листъ никогда не взмахивалъ!

Во все время пѣнія, Аратовъ наблюдалъ лицо Клары. Ему казалось, что глаза ея, сквозь прищуренныя рѣсницы, были обращены опять-таки на него; но его въ особенности поразила неподвижность этого лица, лба, бровей — и только при ея страстномъ вскрикѣ онъ замѣтилъ, какъ сквозь едва раскрытыя губы тепло сверкнулъ рядъ бѣ-

лыхъ, тѣсно поставленныхъ зубовъ. Купферъ подошелъ къ нему.

— Ну что, братъ, какъ ты находишь? — спросилъ онъ, весь сіяя удовольствіемъ.

— Голосъ хорошій, — отвѣтилъ Аратовъ, — но она пѣть еще не умѣетъ, настоящей школы нѣтъ. (Почему онъ это сказалъ, и какое онъ самъ имѣлъ понятіе о «школѣ» — Господь вѣдаетъ!)

Купферъ удивился. — Школы нѣтъ, — повторилъ онъ съ разстановкой.... — Ну, это.... Она еще подучиться можетъ. За то какая душа! Да вотъ погоди: ты ее въ письмѣ Татьяны послушаешь.

Онъ отбѣжалъ прочь отъ Аратова — а тотъ подумалъ: «Душа! Съ этакимъ неподвижнымъ лицомъ!» — Онъ находилъ, что она и держится, и движется, какъ намагнитизированная, какъ сомнамбула. — И въ то же время она несомнѣнно.... да! несомнѣнно смотритъ на него.

Между тѣмъ, «утро» продолжалось. Толстый человѣкъ въ очкахъ появился опять; несмотря на свою серьезную наружность, онъ воображалъ себя комикомъ — и прочелъ сцену изъ Гоголя, не вызвавши на этотъ разъ ни единаго знака одобренія. Промелькнулъ опять флейтистъ; прогремѣлъ опять піанистъ; двѣнадцатилѣтній мальчикъ, напомаженный и завитой, но со слѣдами слезъ на щекахъ, пропиликалъ какія-то варіаціи на скрипкѣ. Страннымъ могло показаться то, что въ промежуткахъ чтенія и музыки, изъ комнаты артистовъ изрѣдка доносились отрывистые звуки валторны; между тѣмъ, этотъ инструментъ такъ и остался безъ употребленія. Впослѣдствіи выяснилось, что любитель, вызвавшійся поиграть на немъ, заробѣлъ въ моментъ выхода передъ публикой. Вотъ, наконецъ, опять появилась Клара Миличъ.

Она держала въ рукѣ томикъ Пушкина; однако, во

время чтенія ни разу въ него не заглянула.... Она явно робѣла; небольшая книжка слегка дрожала въ ея пальцахъ. Аратовъ замѣтилъ также выраженіе унылости, разлитое *теперь* по всѣмъ ея строгимъ чертамъ. Первый стихъ: «Я къ вамъ пишу.... чего же болѣ?» она произнесла чрезвычайно просто, почти наивно — и съ наивнымъ, искреннимъ, безпомощнымъ жестомъ протянула обѣ руки впередъ. Потомъ она стала немного спѣшить; но уже начиная со стиховъ: «Другой! нѣтъ! Никому на свѣтѣ не отдала бы сердце я!» — она овладѣла собою, оживилась — и когда дошла до словъ: «Вся жизнь моя была залогомъ свиданья вѣрнаго съ тобой», — ея до тѣхъ поръ довольно глухой голосъ зазвенѣлъ восторженно и смѣло — а глаза ея также смѣло и прямо вперились въ Аратова. Съ такимъ же увлеченьемъ продолжала она — и только къ концу голосъ ея опять понизился — и въ немъ, и на лицѣ отразилась прежняя унылость. Послѣднее четверостишіе она совсѣмъ, какъ говорится, скомкала — томикъ Пушкина вдругъ выскользнулъ изъ ея рукъ — и она поспѣшно удалилась.

Публика принялась рукоплескать отчаянно, вызывать.... Одинъ семинаристъ изъ малороссовъ, между прочимъ, такъ громогласно оралъ: «Мылычъ! Мылычъ!» — что его сосѣдъ вѣжливо, съ участьемъ попросилъ: «пощадить въ себѣ будущаго протодьякона!» — Но Аратовъ тотчасъ всталъ и направился къ выходу. Купферъ нагналъ его....— Помилуй, куда же ты? — возопилъ онъ: — хочешь, я тебя представлю Кларѣ? — Нѣтъ, спасибо, — торопливо возразилъ Аратовъ — и почти бѣгомъ пустился домой.

V.

Странныя, ему самому неясныя ощущенія волновали ·о. Въ сущности, чтеніе Клары тоже не совсѣмъ ему по-ɔавилось.... хоть онъ и не могъ себѣ отдать отчета: по-ɜму именно? Оно его безпокоило, это чтеніе; оно казалось ıу рѣзкимъ, не-гармоническимъ.... Оно какъ-будто нару-ало что-то въ немъ, являлось какимъ-то насиліемъ. И эти ɔистальные, настойчивые, почти навязчивые взгляды — ь чему они? Что они значутъ?

Скромность Аратова не допускала въ немъ даже мгно-ɜнной мысли о томъ, что онъ могъ понравиться этой стран-ɔй дѣвушкѣ, могъ внушить ей чувство, похожее на лю-ɔвь, на страсть!... Да и онъ самъ совсѣмъ не такою пред-ʼавлялъ себѣ ту еще невѣдомую женщину, ту дѣвушку, ɔторой онъ отдастся весь, которая и его полюбитъ, ста-ɜтъ его невѣстой, его женой.... Онъ рѣдко мечталъ объ ·омъ: онъ и душой, и тѣломъ, былъ дѣвственникъ; — но ıстый образъ, возникавшій тогда въ его воображеніи, ıлъ навѣянъ другимъ образомъ, — образомъ его покой-ɔй матери, которую онъ едва помнилъ, но портретъ кото-ɔй онъ сохранялъ какъ святыню. Портретъ этотъ былъ ıсанъ акварелью, довольно неискусно, пріятельницей со-ɜдкой; но сходство, по увѣренью всѣхъ, было поразитель-ɔе. Такой же нѣжный профиль, такіе же добрые, свѣтлые ıаза, такіе же шелковистые волосы, такую же улыбку, ıкое же ясное выраженіе должна была имѣть та жен-ıина, та дѣвушка, которой онъ даже еще не осмѣливался кидать....

А эта черномазая, смуглая, съ грубыми волосами, съ ɜиками на губѣ, она навѣрно недобрая, взбалмошная.... —

время чтенія ни разу въ него не заглянула.... Она явно робѣла; небольшая книжка слегка дрожала въ ея пальцахъ. Аратовъ замѣтилъ также выраженіе унылости, разлитое *теперь* по всѣмъ ея строгимъ чертамъ. Первый стихъ: «Я къ вамъ пишу.... чего же болѣ?» она произнесла чрезвычайно просто, почти наивно — и съ наивнымъ, искреннимъ, безпомощнымъ жестомъ протянула обѣ руки впередъ. Потомъ она стала немного спѣшить; но уже начиная со стиховъ: «Другой! нѣтъ! Никому на свѣтѣ не отдала бы сердце я!» — она овладѣла собою, оживилась — и когда дошла до словъ: «Вся жизнь моя была залогомъ свиданья вѣрнаго съ тобой», — ея до тѣхъ поръ довольно глухой голосъ зазвенѣлъ восторженно и смѣло — а глаза ея также смѣло и прямо вперились въ Аратова. Съ такимъ же увлеченьемъ продолжала она — и только къ концу голосъ ея опять понизился — и въ немъ, и на лицѣ отразилась прежняя унылость. Послѣднее четверостишіе она совсѣмъ, какъ говорится, скомкала — томикъ Пушкина вдругъ выскользнулъ изъ ея рукъ — и она поспѣшно удалилась.

Публика принялась рукоплескать отчаянно, вызывать.... Одинъ семинаристъ изъ малороссовъ, между прочимъ, такъ громогласно оралъ: «Мылычъ! Мылычъ!» — что его сосѣдъ вѣжливо, съ участьемъ попросилъ: «пощадить въ себѣ будущаго протодьякона!» — Но Аратовъ тотчасъ всталъ и направился къ выходу. Купферъ нагналъ его....— Помилуй, куда же ты? — возопилъ онъ: — хочешь, я тебя представлю Кларѣ? — Нѣтъ, спасибо, — торопливо возразилъ Аратовъ — и почти бѣгомъ пустился домой.

V.

Странныя, ему самому неясныя ощущенія волновали его. Въ сущности, чтеніе Клары тоже не совсѣмъ ему понравилось.... хоть онъ и не могъ себѣ отдать отчета: почему именно? Оно его безпокоило, это чтеніе; оно казалось ему рѣзкимъ, не-гармоническимъ.... Оно какъ-будто нарушало что-то въ немъ, являлось какимъ-то насиліемъ. И эти пристальные, настойчивые, почти навязчивые взгляды — къ чему они? Что они значутъ?

Скромность Аратова не допускала въ немъ даже мгновенной мысли о томъ, что онъ могъ понравиться этой странной дѣвушкѣ, могъ внушить ей чувство, похожее на любовь, на страсть!... Да и онъ самъ совсѣмъ не такою представлялъ себѣ ту еще невѣдомую женщину, ту дѣвушку, которой онъ отдастся весь, которая и его полюбитъ, станетъ его невѣстой, его женой.... Онъ рѣдко мечталъ объ этомъ: онъ и душой, и тѣломъ, былъ дѣвственникъ; — но чистый образъ, возникавшій тогда въ его воображеніи, былъ навѣянъ другимъ образомъ, — образомъ его покойной матери, которую онъ едва помнилъ, но портретъ которой онъ сохранялъ какъ святыню. Портретъ этотъ былъ писанъ акварелью, довольно неискусно, пріятельницей сосѣдкой; но сходство, по увѣренью всѣхъ, было поразительное. Такой же нѣжный профиль, такіе же добрые, свѣтлые глаза, такіе же шелковистые волосы, такую же улыбку, такое же ясное выраженіе должна была имѣть та женщина, та дѣвушка, которой онъ даже еще не осмѣливался ожидать....

А эта черномазая, смуглая, съ грубыми волосами, съ усиками на губѣ, она навѣрно недобрая, взбалмошная.... —

«Цыганка» (Аратовъ не могъ придумать худшаго выраженія), — что̀ она ему?

И между тѣмъ Аратовъ не въ силахъ былъ выкинуть изъ головы своей эту черномазую цыганку, — пѣніе и чтеніе, и самая наружность которой ему не нравились. Онъ недоумѣвалъ, онъ сердился на себя. Не задолго передъ тѣмъ онъ прочелъ романъ Вальтеръ-Скотта: «Сенъ-Ронанскія воды» (полное собраніе сочиненій Вальтеръ-Скотта находилось въ библіотекѣ его отца, который уважалъ въ англійскомъ романистѣ серьёзнаго, чуть не научнаго писателя). Героиня этого романа называется Клара Мобрай. Поэтъ 40-хъ годовъ, Красовъ, написалъ на нее стихотвореніе, оканчивающееся словами:

Несчастная Клара! безумная Клара!
Несчастная Клара Мобрай!

Аратовъ зналъ также это стихотвореніе.... И вотъ теперь эти слова безпрестанно приходили ему на память.... «Несчастная Клара! безумная Клара!...» (Отъ того онъ и удивился такъ, когда Купферъ назвалъ ему Клару Миличъ). Сама Платоша замѣтила — не то чтобы перемѣну въ настроеніи Якова — въ немъ собственно никакой перемѣны не произошло — а что-то неладное въ его взглядахъ, въ его рѣчахъ. Она осторожно разспросила его о литературномъ утрѣ, на которомъ онъ присутствовалъ; — пошептала, повздыхала, поглядѣла на него спереди, поглядѣла сбоку, сзади — и вдругъ, хлопнувъ ладонями себѣ по ляшкамъ, воскликнула: — Ну, Яша! — Я вижу въ чемъ дѣло!

— Что такое? — переспросилъ Аратовъ.

— Ты навѣрное на этомъ утрѣ встрѣтилъ какую-нибудь изъ этихъ хвостовозокъ (Платонида Ивановна называла такъ всѣхъ барынь, носящихъ модныя платья).... Рожица у ней смазливая — и *такъ* она ломается — и *сякъ*

кривляется (Платоша представила все это въ лицахъ), и глазами такіе круги описываетъ.... (и это она представила, проводя указательнымъ пальцемъ большіе круги по воздуху).... Тебѣ съ непривычки и показалось.... но вѣдь это ничего, Яша.... ни-и-чего не значитъ! Выпей чайку на ночь.... и конецъ!.... Господи, помози!

Платоша умолкла и удалилась.... Она отроду едва ли произносила такую длинную и оживленную рѣчь.... а Аратовъ подумалъ: «Тетка-то, чай, права.... Съ непривычки все это.... (Ему дѣйствительно въ первый разъ пришлось возбудить къ себѣ вниманіе особы женскаго пола.... во всякомъ случаѣ, онъ этого прежде не замѣчалъ). Баловать себя не надо».

И онъ принялся за свои книги — а на ночь напился липоваго чаю — и даже спалъ хорошо всю эту ночь — и сновъ не видѣлъ. На слѣдующее утро онъ опять, какъ ни въ чемъ не бывало, занялся фотографіей....

Но къ вечеру его душевный покой возмутился снова.

VI.

А именно: разсыльный принесъ ему записку слѣдующаго содержанія, написанную неправильнымъ и крупнымъ женскимъ почеркомъ:

«Если вы догадаетесь, кто вамъ пишетъ, и если это «вамъ не скучно, приходите завтра послѣ обѣда на Тверской «бульваръ — около пяти часовъ — и ждите. Васъ задер«жутъ не долго. Но это очень важно. Придите».

Подписи не было. Аратовъ тотчасъ догадался, кто была его корреспондентка — и это именно его возмутило. — «Что за вздоръ!» промолвилъ онъ почти вслухъ; «этого еще недоставало. Разумѣется, я не пойду». — Онъ, однако, ве-

лѣлъ позвать разсыльнаго, отъ котораго узналъ только то, что письмо ему было вручено горничной на улицѣ. Отпустивъ его, Аратовъ перечелъ письмо, бросилъ его на полъ.... Но погодя немного поднялъ и опять перечелъ; вторично воскликнулъ: вздоръ! — однако, на полъ письма уже не бросилъ, а спряталъ въ ящикъ. Аратовъ принялся за свои обычныя занятія, то за одно, то за другое; но дѣло у него не спорилось и не клеилось. Онъ вдругъ замѣтилъ за самимъ собою, что ожидаетъ Купфера! Хотѣлъ ли онъ разспросить его, или, быть можетъ, даже сообщить ему.... Но Купферъ не являлся. Потомъ Аратовъ досталъ Пушкина, прочелъ письмо Татьяны и снова убѣдился, что та «цыганка» совсѣмъ не поняла настоящаго смысла этого письма. А этотъ шутъ Купферъ кричитъ: Рашель! Віардо! Потомъ онъ подошелъ къ своему піанино, какъ-то безсознательно приподнялъ его крышку, попытался отыскать на память мелодію романса Чайковскаго; но тотчасъ же съ досадой захлопнулъ піанино и пошелъ къ теткѣ, въ ея особенную, всегда жарко натопленную комнату, съ вѣчнымъ запахомъ мяты, шалфея и другихъ цѣлебныхъ травъ, и съ такимъ множествомъ ковриковъ, этажерокъ, скамеечекъ, подушечекъ и разной мягкой мебели, что непривычному человѣку и повернуться было въ этой комнатѣ трудно, и дышать стѣснительно. Платонида Ивановна сидѣла подъ окномъ со спицами въ рукахъ (она вязала Яшенькѣ шарфъ, счетомъ въ теченіе его жизни — тридцать восьмой!) — и очень изумилась. Аратовъ заходилъ къ ней рѣдко, и если ему было что нужно, всякій разъ кричалъ тоненькимъ голосомъ изъ своего кабинета: — Тетя Платоша! — Однако, она его усадила и, въ ожиданіи его первыхъ словъ, насторожилась, глядя на него однимъ глазомъ черезъ круглыя очки — другимъ выше ихъ. Она не освѣдомилась о его здоровьѣ и не предложила ему чаю, ибо видѣла, что онъ пришелъ не за

тѣмъ. Аратовъ немного помялся.... потомъ заговорилъ.... заговорилъ о своей матери, о томъ, какъ она жила съ отцомъ, и какъ отецъ съ ней познакомился. Все это онъ зналъ очень хорошо.... но ему хотѣлось говорить именно объ этомъ. На его бѣду, Платоша совсѣмъ бесѣдовать не умѣла; отвѣчала очень кратко, словно она подозрѣвала, что и не за этимъ пришелъ Яша.

— Что-жъ! — повторяла она, поспѣшно, чуть не съ досадой шевеля спицами: — Извѣстно: мать твоя была голубка.... голубка, какъ есть.... И отецъ твой любилъ ее, какъ слѣдуетъ мужу, вѣрно и честно, по самый гробъ; и никакой другой женщины онъ не любилъ, — прибавила она возвысивъ голосъ и снявъ очки.

— А робкаго она была нрава? — спросилъ, помолчавъ, Аратовъ.

— Извѣстно, робкаго. Какъ слѣдуетъ женскому полу. Смѣлыя-то въ послѣднее время завелись.

— А въ ваше время смѣлыхъ не было?

— Было и въ наше.... какъ не быть! Да вѣдь кто? Такъ, потаскушка какая-нибудь, безстыжая. Зашлюндаетъ подолъ — да и мечется зря.... Ей что? Какая печаль? Подвернется дурачекъ — ей и на руку. А степенные люди пренебрегали. Ты вспомни, развѣ ты въ нашемъ домѣ такихъ видалъ?

Аратовъ ничего не отвѣтилъ и вернулся къ себѣ въ кабинетъ. Платонида Ивановна посмотрѣла ему вслѣдъ, покачала головою и опять надѣла очки, опять взялась за шарфъ.... но не разъ задумывалась и роняла спицы на колѣни.

А Аратовъ до самой ночи, — нѣтъ, нѣтъ да и начнетъ опять съ той же досадой, съ тѣмъ же озлобленіемъ размышлять объ этой запискѣ, о «цыганкѣ», о назначенномъ свиданіи, на которое онъ навѣрное не пойдетъ! И ночью она

его безпокоила. Ему все мерещились ея глаза, то прищуренные, то широко раскрытые, съ ихъ настойчивымъ, прямо на него устремленнымъ взглядомъ — и эти неподвижныя черты съ ихъ властительнымъ выраженіемъ....

На слѣдующее утро онъ опять почему-то все ожидалъ Купфера; чуть-чуть было не написалъ ему письма.... а впрочемъ, ничего не дѣлалъ.... все больше расхаживалъ по своему кабинету. Онъ ни на одно мгновенье не допускалъ въ себѣ даже мысли, что пойдетъ на этотъ глупый «рандеву».... и въ половинѣ четвертаго часа, послѣ торопливо проглоченнаго обѣда, внезапно надѣвъ шинель и нахлобучивъ шапку, украдкой отъ тетки выскочилъ на улицу и отправился на Тверской бульваръ.

VII.

Аратовъ засталъ на немъ немного прохожихъ. Погода стояла сырая и довольно холодная. Онъ старался не размышлять о томъ, что дѣлалъ, заставлялъ себя обращать вниманіе на всѣ попадавшіеся предметы и какъ бы увѣрялъ себя, что и онъ также вышелъ погулять, какъ и тѣ прохожіе.... Вчерашнее письмо находилось у него въ боковомъ карманѣ, и онъ постоянно чувствовалъ его присутствіе. Онъ прошелся раза два по бульвару, зорко вглядываясь въ каждую подходившую къ нему женскую фигуру — и сердце его билось, билось.... Онъ почувствовалъ усталость и присѣлъ на лавочку. И вдругъ ему пришло въ голову: «Ну, а если это письмо написано не ею, а кѣмъ-нибудь другимъ, другой женщиной?» По настоящему это для него должно было быть все едино.... и однакоже онъ долженъ былъ самому себѣ признаться, что этого онъ не желалъ. «Ужъ очень было бы глупо», подумалось ему, «еще глупѣй *того!*»

Нервное безпокойство начинало овладѣвать имъ; онъ сталъ зябнуть — не извнѣ, а изнутри. Онъ нѣсколько разъ вынулъ часы изъ кармана жилета, глядѣлъ на циферблатъ, клалъ ихъ обратно, и всякій разъ забывалъ, сколько оставалось минутъ до пяти часовъ. Ему казалось, что всѣ мимоидущіе какъ-то особенно, съ какимъ-то насмѣшливымъ удивленіемъ и любопытствомъ оглядывали его. Дрянная собаченка подбѣжала, понюхала его ноги и стала вертѣть хвостомъ. Онъ сердито на нее замахнулся. Больше всѣхъ надоѣдалъ ему фабричный мальчикъ въ затрапезномъ халатѣ, который усѣлся на скамьѣ, по той сторонѣ бульвара — и то посвистывая, то почесываясь и болтая ногами въ громадныхъ прорванныхъ сапогахъ — то-и-дѣло посматривалъ на него. «Вѣдь вотъ», думалъ Аратовъ, «хозяинъ навѣрное его ждетъ — а онъ тутъ, лѣнтяй, баклуши бьетъ....»

Но въ это самое мгновенье ему почудилось, что кто-то подошелъ и близко сталъ сзади его.... чѣмъ-то теплымъ повѣяло оттуда....

Онъ оглянулся.... Она!

Онъ тотчасъ узналъ ее, хотя густая темно-синяя вуаль закрывала ея черты. Онъ мгновенно вскочилъ со скамьи— да такъ и остался, и слова не могъ промолвить. Она тоже молчала. Онъ чувствовалъ большое смущеніе.... но и ея смущенье было не меньше: Аратовъ даже сквозь вуаль не могъ не замѣтить, какъ мертвенно она поблѣднѣла. Однако она заговорила первая.

— Спасибо, — начала она прерывистымъ голосомъ, — спасибо, что пришли. Я не надѣялась....— Она слегка отвернулась и пошла по бульвару. Аратовъ отправился вслѣдъ за нею.

— Вы, можетъ быть, меня осудили, — продолжала она, не оборачивая головы. — Дѣйствительно, мой поступокъ очень страненъ.... Но я много слышала о васъ.... да нѣтъ!

Я.... не по этой причинѣ.... Еслибъ вы знали.... Я такъ много хотѣла вамъ сказать, Боже мой!... Но какъ это сдѣлать.... Какъ это сдѣлать!

Аратовъ шелъ съ ней рядомъ, немного позади. Онъ не видѣлъ ея лица; онъ видѣлъ только ея шляпу да часть вуали.... да длинную, черную, уже поношенную мантилью. Вся его досада и на нее, и на себя вдругъ къ нему вернулась; все смѣшное, все нелѣпое этого свиданья, этихъ объясненій между совершенно незнакомыми людьми, на публичномъ бульварѣ, предстало ему вдругъ.

— Я явился на ваше приглашеніе, — началъ онъ въ свою очередь, — явился, милостивая государыня (ея плеча тихонько дрогнули — она свернула на боковую дорожку — онъ послѣдовалъ за ней), для того только, чтобы разъяснить, чтобы узнать, вслѣдствіе какого страннаго недоразумѣнія вамъ было угодно обратиться ко мнѣ, человѣку вамъ чужому, который.... который потому только и *догадался* — какъ вы выразились въ вашемъ письмѣ — что писали ему именно вы.... потому догадался, что вамъ, въ теченіе того литературнаго утра, захотѣлось выказать ему слишкомъ.... слишкомъ явное вниманіе!

Вся эта небольшая рѣчь была произнесена Аратовымъ — тѣмъ хоть и звонкимъ, но не твердымъ голосомъ, какимъ очень еще молодые люди отвѣчаютъ на экзаменѣ по предмету, къ которому они хорошо приготовились.... Онъ сердился; онъ гнѣвался.... Этотъ-то самый гнѣвъ и развязалъ его, въ обыкновенное время не очень свободный, языкъ.

Она продолжала идти по дорожкѣ нѣсколько замедленными шагами.... Аратовъ по прежнему шелъ за нею и попрежнему видѣлъ одну эту старенькую мантилью да шляпку тоже не совсѣмъ новую. Самолюбіе его страдало при мысли, что вотъ теперь она должна думать: «мнѣ стоило только знакъ подать — и онъ тотчасъ прибѣжалъ!»

Аратовъ молчалъ.... онъ ожидалъ, что̀ она ему отвѣтитъ; но она не произносила ни слова.

— Я готовъ выслушать васъ, — началъ онъ опять, — и очень даже буду радъ, если могу быть вамъ чѣмъ-нибудь полезенъ.... хотя все-таки, мнѣ, признаюсь, удивительно.... при моей уединенной жизни....

Но при послѣднихъ его словахъ Клара внезапно къ нему обернулась — и онъ увидалъ такое испуганное, такое глубоко-опечаленное лицо, съ такими свѣтлыми большими слезами на глазахъ, съ такимъ горестнымъ выраженіемъ вокругъ раскрытыхъ губъ — и такъ было это лицо прекрасно, — что онъ невольно запнулся, и самъ почувствовалъ нѣчто въ родѣ испуга — и сожалѣнія, и умиленія.

— Ахъ, зачѣмъ.... зачѣмъ вы такъ....— промолвила она съ неотразимо искренней и правдивой силой — и какъ трогательно зазвенѣлъ ея голосъ! — Неужели мое обращеніе къ вамъ могло оскорбить васъ.... неужели вы ничего не поняли?... Ахъ, да! Вы не поняли ничего, вы не поняли, что я вамъ говорила, вы Богъ-знаетъ что̀ вообразили обо мнѣ, вы даже не подумали, чего мнѣ это стоило — написать вамъ!... Вы только о себѣ заботились, о своемъ достоинствѣ, о своемъ покоѣ!... Да развѣ я.... (она такъ сильно стиснула свои поднесенныя къ губамъ руки, что пальцы явственно хрустнули).... Точно я какія требованія къ вамъ предъявляла, точно нужны были сперва разъясненія.... «Милостивая государыня».... «мнѣ даже удивительно».... «я могу быть полезнымъ....» Ахъ, я безумная! — Я обманулась въ васъ, въ вашемъ лицѣ!.... Когда я увидала васъ въ первый разъ.... Вотъ.... Вы стоите.... И хоть бы слово! Такъ-таки ни слова?

Она умоляла.... Лицо ея внезапно вспыхнуло — и также внезапно приняло злое и дерзкое выраженіе. — Господи! какъ это глупо! — воскликнула она вдругъ съ рѣзкимъ хохо-

томъ. — Какъ наше свиданіе глупо! Какъ я глупа!... да и вы.... Фуй!

Она презрительно двинула рукою, словно отстраняя его прочь съ дороги и минуя его, быстро сбѣжала съ бульвара и исчезла.

Это движеніе рукою, этотъ оскорбительный хохотъ, это послѣднее восклицаніе разомъ возвратили Аратову его прежнее настроеніе и заглушили въ немъ то чувство, которое возникло въ его душѣ, когда со слезами на глазахъ она къ нему обратилась. Онъ опять разсердился — и чуть не закричалъ въ слѣдъ удалявшейся дѣвушкѣ: «Изъ васъ можетъ выдти хорошая актриса, — но зачѣмъ вы вздумали надо мной-то комедію ломать?»

Большими шагами вернулся онъ домой, — и хотя продолжалъ и досадовать, и негодовать въ теченіе всей дороги — однако, въ то же время сквозь всѣ эти нехорошія, враждебныя чувства невольно пробивалось воспоминаніе о томъ чудномъ лицѣ, которое онъ видѣлъ одинъ только мигъ.... Онъ даже поставилъ себѣ вопросъ: «Отчего я не отвѣтилъ ей, когда она требовала отъ меня хоть слово?» — «Я не успѣлъ».... думалъ онъ.... «Она мнѣ не дала произнести это слово».... «И какое слово я бы произнесъ?»

Но онъ тотчасъ тряхнулъ головою и съ укоризной промолвилъ: «актерка!»

И опять-таки въ то же время, — самолюбіе неопытнаго, нервическаго юноши, сперва оскорбленное, теперь какъ будто было польщено тѣмъ, что вотъ, однако, какую онъ внушилъ страсть....

«Но за то, въ эту минуту», продолжалъ онъ свои размышленія, «все это, разумѣется, кончено.... Я долженъ былъ показаться ей смѣшнымъ»....

Эта мысль ему была непріятна — и онъ снова сердился.... и на нее.... и на себя. Возвратившись домой, онъ

заперся въ своемъ кабинетѣ. Ему не хотѣлось видѣться съ Платошей. Добрая старушка раза два подходила къ его двери — прикладывалась ухомъ къ замочной скважинѣ — и только вздыхала да шептала свою молитву....

«Началось!» думалось ей.... «А ему всего 25-й годъ».... «Ахъ, рано, рано!»

VIII.

Весь слѣдующій день Аратовъ былъ очень не въ духѣ.— Что это Яша? — говорила ему Платонида Ивановна: — ты сегодня какой-то растрепанный?!.. На своеобразномъ языкѣ старушки выраженіе это довольно вѣрно опредѣляло нравственное состояніе Аратова. Работать онъ не могъ, да и самъ не зналъ, чего ему желалось? То онъ опять поджидалъ Купфера (онъ подозрѣвалъ, что Клара именно отъ Купфера получила его адресъ.... да и кто другой могъ ей «много говорить» о немъ?); то онъ недоумѣвалъ: неужели такъ и должно кончиться его знакомство съ нею? — то онъ воображалъ, что она ему напишетъ опять; то онъ себя спрашивалъ, не слѣдуетъ ли ему написать ей письмо, въ которомъ онъ все объяснитъ, — такъ какъ онъ все же не желаетъ оставить невыгодное о себѣ мнѣніе.... Но собственно — *что* объяснить? — То онъ возбуждалъ въ себѣ чуть не отвращеніе къ ней, къ ея назойливости, дерзости; то ему снова представлялось это несказанно-трогательное лицо и слышался неотразимый голосъ; то онъ припоминалъ ея пѣнье, ея чтенье — и не зналъ, правъ ли онъ былъ въ своемъ огульномъ осужденіи? — Однимъ словомъ: растрепанный человѣкъ! Наконецъ, это ему все надоѣло — и онъ рѣшился, какъ говорится, «взять на себя» и *похерить* всю эту исторію, такъ какъ она несомнѣнно мѣшала его занятіямъ и нарушала его покой.— Не такъ-то легко далось

ему исполнить это рѣшеніе.... Болѣе нежели недѣли прошло, прежде чѣмъ онъ опять попалъ въ обычную колею. Къ счастью, Купферъ совсѣмъ не являлся: точно его и въ Москвѣ не было. Незадолго до «исторіи», Аратовъ началъ заниматься живописью для фотографическихъ цѣлей; онъ съ удвоеннымъ рвеніемъ принялся за нее.

Такъ, незамѣтно, съ нѣкоторыми, какъ выражаются доктора, «возвратными припадками», состоящими, напр., въ томъ, что онъ разъ чуть не отправился съ визитомъ къ княгинѣ — прошло два.... прошло три мѣсяца.... и Аратовъ сталъ прежнимъ Аратовымъ. Только тамъ, внизу, подъ поверхностью его жизни, что-то тяжелое и темное тайно сопровождало его на всѣхъ его путяхъ. Такъ, большая, только-что пойманная на крючекъ, но еще не выхваченная рыба плыветъ по дну глубокой рѣки подъ самой той лодкой, на которой сидитъ рыбакъ, съ крѣпкой лѣсою въ рукѣ.

И вотъ однажды, пробѣгая уже не совсѣмъ свѣжія «Московскія Вѣдомости», Аратовъ наткнулся на слѣдующую корреспонденцію:

«Съ великимъ прискорбіемъ», писалъ нѣкій мѣстный литераторъ изъ Казани, «заносимъ мы въ нашу театральную лѣтопись вѣсть о внезапной кончинѣ нашей даровитой актрисы Клары Миличъ, успѣвшей въ короткое время ея ангажемента сдѣлаться любимицей нашей разборчивой публики. Прискорбіе наше тѣмъ сильнѣе, что г-жа Миличъ самовольно покончила со своей молодой, столь много обѣщавшей жизнью, — посредствомъ отравленія. И это отравленіе тѣмъ ужаснѣе, что артистка приняла ядъ въ самомъ театрѣ! Ее едва довезли домой, гдѣ она, къ общему сожалѣнію, скончалась. Въ городѣ ходятъ слухи, что неудовлетворенная любовь довела ее до этого страшнаго поступка».

Аратовъ тихонько положилъ нумеръ газеты на столъ. На видъ онъ остался совершенно спокойнымъ.... но что-то

разомъ толкнуло его въ грудь и голову — и медленно поплыло потомъ по всѣмъ его членамъ. Онъ всталъ, постоялъ немного на мѣстѣ — и опять сѣлъ, опять перечелъ эту корреспонденцію. Потомъ онъ опять всталъ, легъ на кровать, и заложивъ руки за голову, какъ отуманенный долго глядѣлъ на стѣну. — Понемногу эта стѣна словно сгладилась.... исчезла.... и онъ увидалъ передъ собою и бульваръ подъ сѣрымъ небомъ, и *ее* въ черной мантильѣ.... потомъ ее же на эстрадѣ.... увидалъ даже самого себя возлѣ нея. — То, что такъ сильно толкнуло его въ грудь въ первое мгновенье, стало теперь подниматься.... подниматься къ горлу.... Онъ хотѣлъ откашляться, хотѣлъ позвать кого нибудь — но голосъ измѣнилъ ему — и, къ собственному его изумленью, изъ его глазъ неудержимо покатились слезы.... Что̀ вызвало эти слезы? Жалость? Раскаяніе? Или просто нервы не выдержали внезапнаго потрясенія? — Вѣдь для него она была ничѣмъ? Не такъ ли?

«Да можетъ быть, это еще неправда?» вдругъ осѣнила его мысль. «Надо узнать! Но отъ кого? Отъ княгини? — Нѣтъ, отъ Купфера.... отъ Купфера! Да его, говорятъ, въ Москвѣ нѣтъ? — Все равно! Сперва къ нему надо!»

Съ этими соображеніями въ головѣ, Аратовъ наскоро одѣлся, взялъ извощика и поскакалъ къ Купферу.

IX.

Не надѣялся онъ его застать.... а засталъ. Купферъ, точно, отлучался изъ Москвы на нѣкоторое время, но уже съ недѣлю какъ вернулся и даже снова собирался посѣтить Аратова. — Онъ встрѣтилъ его съ обычнымъ радушіемъ — и началъ было ему что-то объяснять.... но Аратовъ тотчасъ перебилъ его нетерпѣливымъ вопросомъ:

— Ты читалъ? — Правда?

— Что̀: правда? — отвѣчалъ озадаченный Купферъ.

— На счетъ Клары Миличъ?

Лицо Купфера выразило сожалѣніе. — Да, да, братъ, правда; отравилась! Такое горе!

Аратовъ помолчалъ. — Да ты тоже въ газетѣ вычиталъ? — спросилъ онъ: — или, можетъ быть, самъ ѣздилъ въ Казань?

— Я ѣздилъ въ Казань, точно; мы съ княгиней ее туда отвезли. — Она на сцену тамъ поступила — и большой успѣхъ имѣла. Только до самой катастрофы я тамъ не дожилъ.... Я въ Ярославлѣ былъ.

— Въ Ярославлѣ?

— Да. — Я княгиню туда проводилъ.... Она теперь въ Ярославлѣ поселилась.

— Но ты имѣешь вѣрныя свѣдѣнія?

— Вѣрнѣйшія.... изъ первыхъ рукъ! — Я въ Казани съ ея семействомъ познакомился. — Да постой, братъ.... тебя, кажется, это извѣстіе очень волнуетъ. — А, помнится, тебѣ Клара тогда не понравилась? Напрасно! Чудная была дѣвушка — только голова! Бѣдовая голова! Очень я о ней сокрушался!

Аратовъ не промолвилъ слова, опустился на стулъ — и, погодя немного, попросилъ Купфера разсказать ему.... Онъ запнулся.

— Что? — спросилъ Купферъ.

— Да.... все, — отвѣтилъ съ разстановкой Аратовъ. — Вотъ хоть на счетъ ея семейства.... и прочаго. Все, что знаешь!

— А это тебя интересуетъ? — Изволь!

И Купферъ, по лицу котораго вовсе нельзя было замѣтить, чтобы онъ ужъ очень такъ сокрушался о Кларѣ, началъ разсказывать.

Изъ его словъ Аратовъ узналъ, что настоящее имя Клары Миличъ было — Катерина Миловидова; что отецъ ея, теперь уже умершій, былъ штатнымъ учителемъ рисованія въ Казани, писалъ плохіе портреты и казенные *образа* — да къ тому же слылъ за пьяницу и за домашняго тирана;... а еще *образованный* человѣкъ!... (тутъ Купферъ самодовольно засмѣялся, намекая тѣмъ на сдѣланный имъ каламбуръ); — что послѣ него остались, во-первыхъ: вдова изъ купеческаго рода, совсѣмъ глупая баба, прямо изъ комедій Островскаго; а во-вторыхъ: дочь, гораздо старше Клары и на нее не похожая — дѣвушка очень умная, только восторженная, больная, замѣчательная дѣвушка — и преразвитая, братецъ ты мой! Что живутъ онѣ обѣ — и вдова, и дочь, безбѣдно, въ порядочномъ домикѣ, пріобрѣтенномъ отъ продажи тѣхъ плохихъ портретовъ и образовъ; что Клара.... или Катя, какъ хочешь, съ дѣтскихъ лѣтъ поражала всѣхъ своей даровитостью — но нраву была непокорнаго, капризнаго — и постоянно грызлась съ отцомъ; что имѣя врожденную страсть къ театру, на шестнадцатомъ году убѣжала изъ родительскаго дома съ актрисой....

— Съ актеромъ? — перебилъ Аратовъ.

— Нѣтъ, не съ актеромъ, а съ актрисой, къ которой привязалась.... Правда, у этой актрисы былъ покровитель, богатый и уже старый баринъ, который потому только на ней не женился, что самъ былъ женатъ — да и актриса, кажется, была женщина замужняя. — Далѣе, Купферъ сообщилъ Аратову, что Клара уже до пріѣзда въ Москву играла и пѣла на провинціальныхъ театрахъ; что, потерявъ свою пріятельницу актрису (баринъ тоже, кажется, умеръ, или опять съ женой сошелся — этого Купферъ хорошенько не помнилъ....) познакомилась съ княгиней, этой золотой женщиной, которую ты, другъ мой, Яковъ Андреичъ, — прибавилъ съ чувствомъ разсказчикъ, — не умѣлъ оцѣнить

какъ слѣдуетъ; что, наконецъ, Кларѣ предложили ангажементъ въ Казани — и что она его приняла, хотя передъ тѣмъ увѣряла, что Москвы никогда не покинетъ! — За то какъ казанцы ее полюбили — даже удивительно! — Что ни представленіе — букеты и подарокъ! букеты и подарокъ! — Хлѣбный торговецъ, первый по губерніи тузъ, тотъ даже золотую чернильницу преподнесъ! — Купферъ разсказалъ все это съ большимъ оживленіемъ, не высказывая, впрочемъ, особой сентиментальности, и перерывая рѣчь вопросами: — Это тебѣ зачѣмъ?.... или: — Это на что? — когда Аратовъ, слушавшій его съ пожирающимъ вниманіемъ, требовалъ все бо̀льшихъ да бо̀льшихъ подробностей. Все было высказано наконецъ, и Купферъ умолкъ, наградивъ себя за трудъ сигаркой.

— А отчего же она отравилась? — спросилъ Аратовъ. — Въ газетѣ напечатано....

Купферъ взмахнулъ руками. — Ну.... этого я не могу сказать.... Не знаю. А газета вретъ. Вела себя Клара примѣрно.... амуровъ никакихъ.... Да и гдѣ съ ея гордостью! Горда она была — какъ самъ сатана — и неприступна! — Бѣдовая голова! Тверда какъ камень! Вѣришь ли ты мнѣ — ужъ на что я ее близко зналъ — а никогда на ея глазахъ слезъ не видѣлъ!

— «А я видѣлъ», подумалъ про себя Аратовъ.

— Только вотъ что̀, — продолжалъ Купферъ; — въ послѣднее время я большую въ ней перемѣну замѣтилъ: скучная такая стала, молчитъ, по цѣлымъ часамъ слова отъ нея не добьешься. Ужъ я ее спрашивалъ: не обидѣлъ ли кто васъ, Катерина Семеновна? Потому я зналъ ее нравъ: обиду перенести она не могла! Молчитъ да и баста! Даже успѣхи на сценѣ ея не веселили; букеты сыплются.... а она и не улыбнется! На золотую чернильницу взглянула разъ — и въ сторону! — Жаловалась, что настоящей роли, какъ

она ее понимаетъ, никто ей не напишетъ. И пѣть совсѣмъ бросила. Я, братъ, виноватъ!... передалъ ей тогда, что ты въ ней *школы* не находишь. Но все-таки.... отчего она отравилась — непостижимо! Да и какъ отравилась!...

— Въ какой роли она больше имѣла успѣха?... — Аратовъ хотѣлъ было узнать, въ какой роли она выступила въ послѣдній разъ — но почему-то спросилъ другое.

— Помнится, въ «Грунѣ» Островскаго. Но повторяю тебѣ: амуровъ никакихъ! Ты одно посуди: жила она у матери въ домѣ.... Знаешь — есть такіе купеческіе дома: въ каждомъ углу кіотъ и лампадка передъ кіотомъ, духота смертельная, пахнетъ кислятиной, въ гостиной по стѣнамъ одни стулья, на окнахъ ерань — а пріѣдетъ гость — хозяйка взàхается — словно непріятель подступаетъ. Какіе ужъ тутъ ферлакуры да амуры? Бывало, даже меня не пускаютъ. Служанка ихняя, баба здоровенная, въ кумачномъ сарафанѣ, съ отвислыми грудями, станетъ въ передней поперекъ — да и рычитъ: куды? — Нѣтъ, я рѣшительно не понимаю, съ чего она отравилась. Жить, значитъ, надоѣло, — философически заключилъ Купферъ свои разсужденія.

Аратовъ сидѣлъ, потупя голову. — Можешь ты мнѣ дать адресъ этого дома въ Казани? — промолвилъ онъ наконецъ.

— Могу; но на что тебѣ? — Или ты письмо туда послать хочешь?

— Можетъ быть.

— Ну, какъ знаешь. Только старуха тебѣ не отвѣтитъ, ибо безграмотна. Вотъ развѣ сестра.... О, сестра умница! — Но опять-таки удивляюсь, братъ, тебѣ! Какое прежде равнодушіе.... а теперь какое вниманіе! Все это, любезный, отъ одиночества!

Аратовъ ничего не отвѣтилъ на это замѣчаніе и ушелъ, запасшись казанскимъ адресомъ.

Когда онъ ѣхалъ къ Купферу, на лицѣ его изображалось волненіе, изумленіе, ожиданіе.... Теперь онъ шелъ ровной походкой, съ опущенными глазами, съ надвинутой на лобъ шляпой; почти каждый встрѣчный прохожій провожалъ его пытливымъ взоромъ.... но онъ не замѣчалъ прохожихъ.... не то, что на бульварѣ!...

«Несчастная Клара! безумная Клара!» — звучало у него на душѣ.

X.

Однако, слѣдующій день Аратовъ провелъ довольно спокойно. Онъ даже могъ предаться обычнымъ занятіямъ. Одно только: и во время занятій, и въ свободное время, онъ постоянно думалъ о Кларѣ, о томъ, что ему наканунѣ сказалъ Купферъ. Правда, его думы были тоже довольно мирнаго свойства. Ему казалось, что эта странная дѣвушка интересовала его съ психологической точки зрѣнія, какъ нѣчто въ родѣ загадки, надъ разрѣшеніемъ которой стоило бы поломать голову. — «Убѣжала съ актрисой на содержаньи», думалось ему, «отдалась подъ покровительство этой княгини, у которой, кажется, жила — и никакихъ *амуровъ?* Неправдоподобно!... Купферъ говоритъ: гордость! Но, во-первыхъ, мы знаемъ» (Аратову слѣдовало сказать: мы вычитали въ книгахъ).... «мы знаемъ, что гордость уживается съ легкомысленнымъ поведеніемъ; а во-вторыхъ, какъ же она, такая гордая, назначила свиданіе человѣку, который могъ оказать ей презрѣніе.... и оказалъ.... да еще въ публичномъ мѣстѣ.... на бульварѣ!» — Тутъ Аратову вспомнилась вся сцена на бульварѣ — и онъ спросилъ себя: точно ли онъ оказалъ Кларѣ презрѣніе? — Нѣтъ, рѣшилъ онъ.... Это было другое чувство.... чувство недоразумѣнія.... недовѣрчивости, наконецъ! — «Несчастная Клара!» снова про-

звучало у него въ головѣ. — Да, несчастная, рѣшилъ онъ опять.... Это самое подходящее слово. — А коли такъ — я былъ несправедливъ. Она вѣрно сказала, что я ея не понялъ. Жаль! — Такое, быть можетъ, замѣчательное существо прошло такъ близко мимо.... и я не воспользовался, я оттолкнулъ.... Ну, ничего! Жизнь еще вся впереди. Пожалуй, еще не такія случатся встрѣчи!

— Но съ какой стати она именно *меня* выбрала? — Онъ взглянулъ на зеркало, мимо котораго проходилъ. — Что во мнѣ особеннаго? И какой я красавецъ? — Такъ лицо.... какъ всѣ лица.... Впрочемъ, и она не красавица.

— Не красавица.... а какое выразительное лицо! Неподвижное.... а выразительное! Я такого лица еще не встрѣчалъ. — И талантъ у ней есть.... то-есть былъ, несомнѣнный. Дикій, неразвитый, даже грубый.... но несомнѣнный. — И въ этомъ случаѣ я былъ къ ней несправедливъ. — Аратовъ мысленно перенесся на литературно-музыкальное утро.... и самъ замѣтилъ за собою, что онъ чрезвычайно ясно вспоминалъ каждое пропѣтое и сказанное ею слово, каждую интонацію.... Этого бы не случилось, еслибы она была лишена таланта.

— И теперь все это въ могилѣ, куда она сама себя толкнула.... Но я тутъ ни причемъ.... Я не виноватъ! Было бы даже смѣшно думать, что я виноватъ. — Аратову опять пришло въ голову, что если бы даже и было у ней «что-нибудь такое» — его поведеніе во время свиданія несомнѣнно ее разочаровало.... Оттого-то она такъ жестоко и разсмѣялась на прощаніе. — Да и гдѣ доказательство, что она отравилась отъ несчастной любви? Это одни газетные корреспонденты всякую подобную смерть приписываютъ несчастной любви! — Людямъ съ такимъ характеромъ, какъ у Клары, жизнь легко становится постылой.... скучной. Да, скучной. Купферъ правъ: просто ей надоѣло жить.

— Несмотря на успѣхи, на оваціи? — Аратовъ задумался. — Ему даже пріятенъ былъ психологическій анализъ, которому онъ предавался. Чуждый до сихъ поръ всякаго соприкосновенія съ женщинами, онъ и не подозрѣвалъ, какъ знаменательно было для него самого это напряженное разбирательство женской души.

«Значитъ, продолжалъ онъ свои размышленія, искусство не удовлетворяло ея, не наполняло пустоты ея жизни. Настоящіе художники только и существуютъ для художества, для театра.... Все остальное блѣднѣетъ передъ тѣмъ, что̀ они считаютъ своимъ призваньемъ.... Она была дилеттантка!»

Тутъ Аратовъ опять задумался. — Нѣтъ, слово «дилеттантка» не вязалось съ тѣмъ лицомъ, съ выраженіемъ того лица, тѣхъ глазъ....

И передъ нимъ опять всплылъ образъ Клары съ устремленнымъ на него, залитымъ слезами взоромъ, съ приподнятыми къ губамъ, стиснутыми руками....

«Ахъ, не надо, не надо.... прошепталъ онъ.... Къ чему?»

Такъ прошелъ цѣлый день. За обѣдомъ Аратовъ много разговаривалъ съ Платошей, разспрашивалъ ее о старинѣ, которую она, впрочемъ, и помнила, и передавала плохо, такъ какъ не очень-то владѣла языкомъ — и кромѣ своего Яши, въ теченіе своей жизни, почти ничего не замѣчала. Она только радовалась тому, что вотъ онъ какой сегодня добрый да ласковый! — Къ вечеру Аратовъ затихъ до того, что сыгралъ нѣсколько разъ съ теткой въ свои козыри.

Такъ прошелъ день.... — за то ночь!!

XI.

Началась она хорошо; — онъ скоро заснулъ — и когда тетка вошла къ нему на цыпочкахъ, чтобы трижды перекрестить его спящаго — она это дѣлала каждую ночь, — онъ лежалъ и дышалъ спокойно, какъ дитя. — Но передъ зарею ему привидѣлся сонъ.

Ему снилось: онъ шелъ по голой степи, усѣянной камнями, подъ низкимъ небомъ. Между камнями вилась тропинка; онъ пошелъ по ней.

Вдругъ передъ нимъ поднялось нѣчто въ родѣ тонкаго облачка. Онъ вглядывается; облачко стало женщиной въ бѣломъ платьѣ съ свѣтлымъ поясомъ вокругъ стана. Она спѣшитъ отъ него прочь. Онъ не видѣлъ ни лица ея, ни волосъ.... ихъ закрывала длинная ткань. Но онъ непремѣнно хотѣлъ догнать ее и заглянуть ей въ глаза. Только какъ онъ ни торопился — она шла проворнѣе его.

На тропинкѣ лежалъ широкій, плоскій камень, подобный могильной плитѣ. Онъ преградилъ ей дорогу. Женщина остановилась. Аратовъ подбѣжалъ къ ней. Она къ нему обернулась — но онъ все-таки не увидалъ ея глазъ.... они были закрыты. Лицо ея было бѣлое, бѣлое какъ снѣгъ; руки висѣли неподвижно. Она походила на статую.

Медленно, не сгибаясь ни однимъ членомъ, отклонилась она назадъ и опустилась на ту плиту.... И вотъ Аратовъ уже лежитъ съ ней рядомъ, вытянутый весь какъ могильное изваяніе — и руки его сложены какъ у мертвеца.

Но тутъ женщина вдругъ приподнялась — и пошла прочь. Аратовъ хочетъ тоже подняться.... но ни пошевельнуться, ни разжать рукъ онъ не можетъ — и только съ отчаяньемъ глядитъ ей вслѣдъ.

Тогда женщина внезапно обернулась — и онъ увидалъ

свѣтлые, живые глаза на живомъ, но незнакомомъ лицѣ. Она смѣется, она манитъ его рукою.... а онъ все не можетъ пошевельнуться.

Она засмѣялась еще разъ — и быстро удалилась, весело качая головою, на которой заалѣлъ вѣнокъ изъ маленькихъ розъ.

Аратовъ силится закричать, силится нарушить этотъ страшный кошемаръ....

Вдругъ все кругомъ потемнѣло.... и женщина возвратилась къ нему. Но это уже не та незнакомая статуя.... это Клара. Она остановилась передъ нимъ, скрестила руки — и строго, и внимательно смотритъ на него. Губы ея сжаты — но Аратову чудится, что онъ слышитъ слова:

— «Коли хочешь знать кто я, поѣзжай туда!»

— Куда? — спрашиваетъ онъ.

— «Туда! — слышится стенящій отвѣтъ. — Туда!»

Аратовъ проснулся.

Онъ приподнялся въ постели, зажегъ свѣчку, стоявшую на ночномъ столикѣ — но не всталъ — и долго сидѣлъ, весь похолодѣлый, медленно осматриваясь кругомъ. Ему казалось, что съ нимъ что-то свершилось съ тѣхъ поръ какъ онъ легъ; что въ него что-то внѣдрилось.... что-то завладѣло имъ. «Да развѣ это возможно?» шепталъ онъ безсознательно. «Развѣ существуетъ такая власть?»

Онъ не могъ остаться въ постели. Онъ тихонько одѣлся — и до утра пробродилъ по комнатѣ. И странное дѣло! О Кларѣ онъ не думалъ ни минуты — и не думалъ отъ того, что рѣшился на другой же день ѣхать въ Казань!

Онъ думалъ только объ этой поѣздкѣ; о томъ, какъ это сдѣлать, и что съ собою взять, — и какъ онъ тамъ все разыщетъ и узнаетъ — и успокоится. — «Не поѣдешь», разсуждалъ онъ самъ съ собою — пожалуй, съ ума сойдешь!»

Онъ боялся этого; боялся своихъ нервовъ. Онъ былъ увѣренъ, что какъ только онъ тамъ все это увидитъ воочію — всякія навожденія разлетятся — какъ тотъ ночной кошемаръ. — «И всего-то на поѣздку пойдетъ недѣля», думалъ онъ.... «что̀ такое недѣля! а иначе не отдѣлаешься».

Вставшее солнце освѣтило его комнату; но свѣтъ дневной не разогналъ налегшихъ на него ночныхъ тѣней и не измѣнилъ его рѣшенія.

Съ Платошей чуть не сдѣлался ударъ, когда онъ сообщилъ ей это рѣшеніе. Она даже на корточки присѣла.... ноги у ней подкосились. «Какъ въ Казань? зачѣмъ въ Казань?» шептала она, выпучивъ и безъ того слѣпые глаза. Она бы не больше удивилась, еслибы узнала, что ея Яша женится на сосѣдней булочницѣ или уѣзжаетъ въ Америку. — «И на долго въ Казань?»

— Я черезъ недѣлю вернусь, — отвѣчалъ Аратовъ, стоя въ полу-оборотъ къ теткѣ, все еще сидѣвшей на полу.

Платонида Ивановна хотѣла еще возражать — но Аратовъ совершенно неожиданнымъ и необыкновеннымъ образомъ закричалъ на нее. — Я не ребенокъ, — закричалъ онъ и весь поблѣднѣлъ, губы его задрожали, и глаза сверкнули злобно. — Мнѣ двадцать-шестой годъ, я знаю, что̀ дѣлаю — я волёнъ дѣлать, что хочу! — Я никому не позволю.... Дайте мнѣ денегъ на дорогу, приготовьте чемоданъ съ бѣльемъ и платьемъ.... и не мучьте меня! — Я черезъ недѣлю вернусь, Платоша, — прибавилъ онъ болѣе мягкимъ голосомъ.

Платоша приподнялась, кряхтя, и уже не возражая болѣе, поплелась въ свою комнату. Яша испугалъ ее. — Не голова у меня на плечахъ, — говорила она кухаркѣ, помогавшей ей укладывать Яшины вещи, — не голова — а улей.... и какія тамъ пчелы жужжатъ — не знаю. Въ Казань уѣзжаетъ, мать моя, въ Ка-за-ань! — Кухарка, ви-

дѣвшая наканунѣ, что дворникъ ихъ о чемъ-то долго бесѣдовалъ съ городовымъ, хотѣла-было доложить объ этомъ обстоятельствѣ своей госпожѣ — да не посмѣла, и только подумала: «въ Казань? — какъ бы не подальше куда нибудь!» — А Платонида Ивановна до того растерялась, что даже обычной молитвы своей не произносила. — Въ такой бѣдѣ и Господь Богъ помочь не могъ!

Въ тотъ же день Аратовъ уѣхалъ въ Казань.

XII.

Не успѣлъ онъ прибыть въ этотъ городъ и занять номеръ въ гостинницѣ — какъ уже бросился отыскивать домъ вдовы Миловидовой. Во время всего путешествія онъ находился въ какомъ-то оцѣпенѣніи, что̀, впрочемъ, нисколько не мѣшало ему принимать всѣ нужныя мѣры, въ Нижнемъ-Новгородѣ перебраться съ желѣзной дороги на пароходъ, кушать на станціяхъ и т. п. Онъ по прежнему былъ увѣренъ, что *тамъ* все разрѣшится — и потому отгонялъ отъ себя всякія воспоминанія и соображенія, удовлетворяясь однимъ — мысленнымъ приготовленіемъ того *спича*, въ которомъ онъ изложитъ передъ семействомъ Клары Миличъ настоящую причину своей поѣздки. — Вотъ онъ наконецъ добрался до цѣли своего стремленья, велѣлъ о себѣ доложить. Его впустили.... съ недоумѣніемъ и испугомъ — но впустили.

Домъ вдовы Миловидовой оказался дѣйствительно такимъ, какимъ описалъ его Купферъ; и сама вдова точно походила на одну изъ купчихъ Островскаго, хотя была чиновница: мужъ ея состоялъ въ чинѣ коллежскаго ассессора. Не безъ нѣкотораго затрудненія Аратовъ, предварительно извинясь въ своей смѣлости, въ странности своего

ɔсѣщенія, произнесъ приготовленный спичъ о томъ, какъ ы ему хотѣлось собрать всѣ нужныя свѣдѣнія о столь рано ɔгибшей даровитой артисткѣ; какъ имъ руководитъ въ ɔомъ случаѣ не праздное любопытство, а глубокое сочувствіе къ ея таланту, котораго онъ былъ поклонникомъ (онъ ıкъ и сказалъ: поклонникомъ); какъ, наконецъ, было бы ɔѣшно оставить публику въ невѣдѣніи о томъ, что̀ она ɔтеряла — и почему не сбылись ея надежды! — Г-жа Миловидова не прерывала Аратова; она едва ли хорошо ɔнимала, что̀ такое ей говоритъ этотъ незнакомый гость — только пучилась слегка и таращила на него глаза, находя, днако, что видъ у него смирный, одѣтъ онъ прилично — не мазурикъ какой.... денегъ не попроситъ.

— Вы это о Катѣ? — спросила она какъ только Аратовъ умолкъ.

— Точно такъ.... о вашей дочери.

— И вы для этого изъ Москвы пріѣхали?

— Изъ Москвы.

— Только для этого?

— Для этого.

Г-жа Миловидова вдругъ встрепенулась. — Да вы — ɔчинитель? Въ журналахъ пишете?

— Нѣтъ, я не сочинитель — и въ журналахъ до сихъ ɔръ не писалъ.

Вдова наклонила голову. Она недоумѣвала.

— Стало быть.... по собственной охотѣ? — спросила на вдругъ. Аратовъ не тотчасъ нашелся, что отвѣтить.

— По сочувствію, изъ уваженія къ таланту — промолвилъ онъ наконецъ.

Слово: «уваженіе» понравилось г-жѣ Миловидовой. — Іто̀жъ! произнесла она со вздохомъ.... Я хоть и мать ея — очень о ней горевала.... Вѣдь такое вдругъ несчастье!... Іо должна сказать: шальная она была всегда — и покон-

чила такимъ же манеромъ! Срамъ такой.... Посудите: каково это для матери? Ужъ на томъ спасибо, что похоронили ее по-христіански.... Г-жа Миловидова перекрестилась. — Съизмала она никому не покорялась — родительскій домъ покинула.... и наконецъ — легко сказать! — въ актерки пошла! Извѣстно: отъ дому я ей не отказала; вѣдь я любила ее! Вѣдь я все-таки мать! Не у чужихъ же ей жить — да побираться!... Тутъ вдова прослезилась. — А если у васъ, господинъ, — заговорила она снова, утирая глаза концами косынки, — точно есть такое намѣреніе, и вы противъ насъ никакого безчестія не замышляете — а, напротивъ, хотите вниманіе оказать — такъ вы вотъ съ моей другой дочкой поговорите. Она все вамъ разскажетъ лучше моего.... — Анночка! кликнула г-жа Миловидова: — Анночка, подь сюда! Вотъ здѣсь какой-то господинъ изъ Москвы на счетъ Кати побесѣдовать желаетъ!

Что-то стукнуло въ сосѣдней комнатѣ; но никто не появлялся. — Анночка! — кликнула опять вдова: — Анна Семеновна! иди, говорятъ тебѣ!

Дверь тихонько растворилась, и на порогѣ показалась дѣвушка уже немолодая, болѣзненнаго вида — и некрасивая — но съ очень кроткими и грустными глазами. Аратовъ поднялся съ мѣста ей на-встрѣчу и отрекомендовался, причемъ назвалъ своего друга Купфера. — А! Ѳедоръ Ѳедорычъ! тихонько произнесла дѣвушка и тихонько опустилась на стулъ.

— Ну вотъ, побесѣдуй съ господиномъ, промолвила г-жа Миловидова, грузно поднимаясь съ мѣста: — потрудился, нарочно изъ Москвы пріѣхалъ — о Катѣ свѣдѣнія собрать желаетъ. А вы меня, господинъ, — прибавила она, обращаясь къ Аратову, — извините.... Я уйду, по хозяйству. Съ Анночкой вы можете хорошо объясниться — она вамъ и о театрѣ разскажетъ.... и все такое. Она у меня ум-

ница, образованная; по-французски говоритъ и книжки читаетъ, не хуже сестры ея покойницы. Она же ее, можно сказать, воспитывала.... Старше ея была — ну и занялась.

Г-жа Миловидова удалилась. Оставшись наединѣ съ Анной Семеновной, Аратовъ повторилъ ей свой спичъ; но съ перваго же взгляду понявъ, что имѣетъ дѣло съ дѣвушкой, дѣйствительно образованной, не съ купеческой дочкой, — нѣсколько распространился — и выраженія другія употребилъ; — а подъ конецъ самъ разволновался, покраснѣлъ и почувствовалъ, что сердце у него застучало. Анна слушала его, молча, положивъ руку на руку; печальная улыбка не сходила съ ея лица.... горькое, непереболѣвшее горе сказывалось въ этой улыбкѣ.

— Вы знали мою сестру? — спросила она Аратова.

— Нѣтъ; я ея собственно не зналъ, — отвѣчалъ онъ. Видѣлся съ нею и слышалъ ее разъ.... но вашу сестру стоило разъ увидѣть и услышать....

— Вы хотите ея біографію написать? — спросила опять Анна.

Аратовъ не ожидалъ этого слова; однако, тотчасъ же отвѣтилъ, что — отчего же нѣтъ? Но главное, онъ хотѣлъ познакомить публику....

Анна остановила его движеніемъ руки.

— Это на что же? Публика ей безъ того много горя надѣлала; да и Катя только-что начинала жить. Но если вы сами (Анна посмотрѣла на него и опять улыбнулась той же печальной, но уже болѣе привѣтной улыбкой.... она какъ будто подумала: да, ты внушаешь мнѣ довѣріе).... если вы сами питаете къ ней такое участіе, то позвольте васъ попросить придти къ намъ сегодня вечеромъ.... послѣ обѣда. Я теперь не могу.... такъ вдругъ.... Я соберусь съ силами.... Я попытаюсь.... Ахъ, я слишкомъ любила ее!

Анна отвернулась; она готова была зарыдать.

Аратовъ проворно поднялся со стула, поблагодарилъ за предложеніе, сказалъ, что придетъ непремѣнно.... непремѣнно! — и ушелъ, унося въ душѣ впечатлѣніе тихаго голоса, кроткихъ и грустныхъ глазъ — и сгорая томленьемъ ожиданія.

XIII.

Аратовъ въ тотъ же день вернулся къ Миловидовымъ и цѣлыхъ три часа пробесѣдовалъ съ Анной Семеновной. Г-жа Миловидова ложилась спать тотчасъ послѣ обѣда — въ два часа — и «отдыхала» до вечерняго чаю, до семи часовъ. Разговоръ Аратова съ сестрою Клары не былъ собственно бесѣдой: она говорила почти одна, сперва съ запинкой, съ смущеніемъ, но потомъ съ неудержимымъ жаромъ. Она, очевидно, боготворила свою сестру. Довѣріе, внушенное ей Аратовымъ, росло и крѣпло; она уже не стѣснялась; она даже раза два, молча, всплакнула передъ нимъ. Онъ казался ей достойнымъ ея откровенныхъ сообщеній и изліяній.... въ ея собственной глухой жизни ничего такого еще не случалось!... А онъ.... онъ впивалъ каждое ея слово.

Вотъ, что онъ узналъ.... многое, конечно! изъ недомолвокъ.... многое онъ дополнилъ самъ.

Въ дѣтствѣ Клара была несомнѣнно непріятнымъ ребенкомъ; и въ дѣвушкахъ она была немногимъ мягче: своевольная, вспыльчивая, самолюбивая, она не ладила особенно съ отцомъ, котораго презирала за пьянство и за бездарность. Онъ это чувствовалъ и не прощалъ ей этого. Музыкальныя способности въ ней оказались рано; отецъ не давалъ имъ ходу, признавая художествомъ одну живопись, въ которой такъ мало самъ преуспѣлъ, но которая кормила и его, и семью. Мать свою Клара любила.... не-

брежно, какъ няню; сестру обожала, хоть и дралась съ ней, и кусала ее.... Правда, она потомъ становилась на колѣни передъ нею и цѣловала укушенныя мѣста. Она была вся — огонь, вся — страсть, и вся — противорѣчіе: мстительна и добра, великодушна и злопамятна; вѣрила въ судьбу — и не вѣрила въ Бога (эти слова Анна прошептала съ ужасомъ); любила все красивое, а сама о своей красотѣ не заботилась и одѣвалась какъ попало; терпѣть не могла, чтобы за ней ухаживали молодые люди, а въ книгахъ перечитывала только тѣ страницы, гдѣ рѣчь идетъ о любви; не хотѣла нравиться, не любила ласки и никогда ласки не забывала, какъ и не забывала оскорбленія; боялась смерти и сама себя убила! Она говаривала иногда: «Такого, какъ я хочу — я не встрѣчу.... а другихъ мнѣ не надо!» — Ну, а если встрѣтишь? — спрашивала Анна. — «Встрѣчу.... возьму». — А если не дастся? — «Ну, тогда.... съ собой покончу. Значитъ, не гожусь». Отецъ Клары.... (онъ иногда съ пьяныхъ глазъ спрашивалъ у жены: — «Отъ кого у тебя этотъ бѣсенокъ черномазый? — не отъ меня!») — отецъ Клары, стараясь ее сбыть поскорѣе съ рукъ, просваталъ-было ее за богатаго молодого купчика, преглупенькаго — изъ «образованныхъ». За двѣ недѣли до свадьбы (ей было всего шестнадцать лѣтъ), она подошла къ своему жениху, скрестивши руки и играя пальцами по локтямъ (любимая ея поза), да вдругъ, какъ хлопъ его по румяной щекѣ своей большой, сильной рукой! Онъ вскочилъ и только ротъ разинулъ, — надо сказать, что онъ былъ смертельно въ нее влюбленъ.... Спрашиваетъ: за что? Она засмѣялась и ушла. — Я тутъ же въ комнатѣ находилась, — разсказывала Анна, — была свидѣтельницей. Побѣжала за ней, да говорю ей: — Катя, помилуй, что ты это? — А она мнѣ въ отвѣтъ: «коли бъ настоящій былъ человѣкъ — прибилъ бы меня, а то — курица мокрая! И еще спрашиваетъ: за

что? Коли любишь, и не отмстилъ, такъ терпи и не спрашивай: за что? Ничего ему отъ меня не будетъ — во вѣки вѣковъ!» Такъ она замужъ за него и не пошла. Тутъ же скоро она съ той актрисой познакомилась — и оставила нашъ домъ. Матушка поплакала, а отецъ только сказалъ: «Строптивую козу изъ стада вонъ!» И хлопотать, разыскивать не сталъ. Отецъ не понималъ Клары. Меня она, наканунѣ своего бѣгства, прибавила Анна, чуть не задушила въ своихъ объятіяхъ — и все повторяла: не могу! не могу иначе!... Сердце пополамъ, а не могу! Клѣтка ваша мала.... не по крыльямъ! Да и своей судьбы не минуешь....

— Послѣ этого, — замѣтила Анна, — мы съ ней рѣдко видались.... Когда умеръ отецъ, она пріѣхала на два дня, ничего изъ наслѣдства не взяла — и опять скрылась. Ей у насъ было тяжело.... Я это видѣла. Потомъ она пріѣхала въ Казань уже актрисой.

Аратовъ началъ разспрашивать Анну о театрѣ, о роляхъ, въ которыхъ появлялась Клара, объ ея успѣхахъ.... Анна отвѣчала подробно, съ тѣмъ же горестнымъ, хоть и живымъ увлеченіемъ. Она даже показала Аратову фотографическую карточку, на которой Клара была представлена въ костюмѣ одной изъ ея ролей. На карточкѣ она глядѣла въ сторону, словно отворачивалась отъ зрителей; перевитая лентой густая коса падала змѣей на обнаженную руку. Аратовъ долго разсматривалъ эту карточку, нашелъ ее схожей, спросилъ, не участвовала ли Клара въ публичныхъ чтеніяхъ, и узналъ, что нѣтъ; что ей нужно было возбужденіе театра, сцены.... но другой вопросъ горѣлъ у него на губахъ.

— Анна Семеновна! — воскликнулъ онъ наконецъ не громко, но съ особенной силой, — скажите, умоляю васъ, скажите, отчего она.... отчего она рѣшилась на тотъ ужасный поступокъ?...

Анна опустила глаза. — Не знаю! — промолвила она, спустя нѣсколько мгновеній. — Ей-Богу, не знаю! — продолжала она стремительно, замѣтивъ, что Аратовъ развелъ руками, какъ бы не вѣря ей.... — Съ самаго пріѣзда сюда, она, точно, была задумчива, мрачна. Съ ней непремѣнно что-нибудь въ Москвѣ случилось, чего я не могла разгадать! Но, напротивъ, въ тотъ роковой день она какъ будто была.... если не веселѣе, то спокойнѣе обыкновеннаго. Даже у меня никакихъ предчувствій не было, — прибавила Анна съ горькой усмѣшкой, какъ бы упрекая себя въ этомъ.

— Видите ли, — заговорила она опять, — у Кати словно на роду было написано, что она будетъ несчастна. Съ раннихъ лѣтъ она была въ этомъ убѣждена. Подопрется такъ рукою, задумается и скажетъ: «Мнѣ не долго жить!» У ней бывали предчувствія. Представьте, что она даже заранѣе, — иногда во снѣ, а иногда и такъ видѣла, что̀ съ ней будетъ! «Не могу жить, какъ хочу, такъ и не надо».... тоже была ея поговорка. — «Вѣдь наша жизнь въ нашей рукѣ!» И она это доказала!

Анна закрыла лицо руками — и умолкла!

— Анна Семеновна, — началъ, погодя немного, Аратовъ, — вы, можетъ быть, слышали, чему приписывали газеты....

— Несчастной любви? — перебила Анна, разомъ отдернувъ руки отъ лица. — Это клевета, клевета, выдумка!... Моя нетронутая, неприступная Катя.... Катя!... и несчастная, отвергнутая любовь?!!. И я бы этого не знала?... Въ нее, въ нее всѣ влюблялись.... а она.... И кого бы она здѣсь полюбила? Кто, изо всѣхъ этихъ людей, кто былъ ея достоинъ? Кто доросъ до того идеала честности, правдивости, чистоты, главное, чистоты, который, при всѣхъ ея недостаткахъ, постоянно носился передъ нею?... Ее отвергнуть.... ее.

Голосъ перервался у Анны.... Ея пальцы слегка задрожали. Она вдругъ вся покраснѣла.... покраснѣла отъ негодованія — и въ этотъ мигъ — и только на мигъ стала похожа на сестру.

Аратовъ началъ-было извиняться.

— Послушайте, — опять перебила Анна: — я непремѣнно хочу, чтобы вы и сами не вѣрили въ эту клевету и разсѣяли бы ее, если это возможно! Вотъ вы хотите написать о ней статью, что̀ ли, вотъ вамъ случай защитить ея память! Я оттого и говорю съ вами такъ откровенно. Послушайте: отъ Кати остался дневникъ....

Аратовъ вздрогнулъ. — Дневникъ,— прошепталъ онъ.

— Да, дневникъ.... то-есть, всего нѣсколько страничекъ. — Катя не любила писать.... по цѣлымъ мѣсяцамъ ничего не записывала.... и письма ея были такія короткія. Но она всегда, всегда была правдива, она никогда не лгала... Съ ея самолюбіемъ, да лгать! Я.... я вамъ покажу этотъ дневникъ! Вы увидите сами, былъ ли въ немъ хотя намекъ на какую-то несчастную любовь!

Анна торопливо достала изъ столоваго ящика тоненькую тетрадку, страницъ въ десять, не болѣе, и протянула ее Аратову. Тотъ схватилъ ее съ жадностью, узналъ неправильный, размашистый почеркъ, почеркъ того безъимяннаго письма, развернулъ ее на удачу — и тотчасъ же напалъ на слѣдующія строки:

«Москва. — Вторникъ ....-го іюня. Пѣла и читала на литературномъ утрѣ. Сегодня для меня знаменательный день. *Онъ долженъ рѣшить мою участь.* (Эти слова были дважды подчеркнуты). Я опять увидала...» Тутъ слѣдовало нѣсколько тщательно замаранныхъ строкъ.— И потомъ: «Нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ!... Надо опять за прежнее, если только....»

Аратовъ опустилъ руку, въ которой онъ держалъ тетрадку, и голова его тихо свѣсилась на грудь.

— Читайте! — воскликнула Анна. — Чтожъ вы не читаете? Прочтите сначала.... Тутъ всего на пять минутъ чтенія, хоть и на цѣлыхъ два года тянется этотъ дневникъ. Въ Казани она уже ничего не записывала....

Аратовъ медленно поднялся со стула, и такъ и обрушился на колѣни передъ Анной!

Та просто окаменѣла отъ удивленія и испуга.

— Дайте.... дайте мнѣ этотъ дневникъ, — заговорилъ Аратовъ замиравшимъ голосомъ, — и протянулъ къ Аннѣ обѣ руки. — Дайте мнѣ его.... и карточку... у васъ навѣрное есть другая — а дневникъ я вамъ возвращу.... Но мнѣ нужно, нужно....

Въ его мольбѣ, въ искаженныхъ чертахъ его лица было что-то до того отчаянное, что оно походило даже на злобу, на страданіе.... Да онъ и страдалъ дѣйствительно. Онъ словно самъ не могъ предвидѣть, что надъ нимъ стрясется такая бѣда — и раздраженно молилъ о пощадѣ, о спасеніи....

— Дайте, — повторилъ онъ.

— Да.... вы.... вы были влюблены въ мою сестру? — проговорила, наконецъ, Анна.

Аратовъ продолжалъ стоять на колѣняхъ.

— Я ее всего два раза видѣлъ.... вѣрьте мнѣ!... и если бы меня не побуждали причины, которыя я самъ ни понять, ни изъяснить хорошенько не могу.... еслибъ не была надо мною какая-то власть, сильнѣе меня.... я не сталъ бы васъ просить.... я бы не пріѣхалъ сюда. Мнѣ нужно.... я долженъ.... вѣдь вы сами сказали, что я обязанъ возстановить ея образъ!

— И вы не были влюблены въ сестру? — спросила Анна вторично.

Аратовъ не тотчасъ отвѣтилъ — и отвернулся слегка, какъ отъ боли.

— Ну, да! былъ! былъ! — я и теперь влюбленъ.... — воскликнулъ онъ съ тѣмъ же отчаяньемъ.

Послышались шаги въ сосѣдней комнатѣ.

— Встаньте.... встаньте.... — поспѣшно промолвила Анна. — Къ намъ матушка идетъ.

Аратовъ приподнялся.

— И возьмите дневникъ и карточку, Богъ съ вами! — Бѣдная, бѣдная Катя!... Но вы дневникъ мнѣ возвратите, — прибавила она съ живостью. — И если вы что напишите, пришлите мнѣ непремѣнно.... Слышите?

Появленіе г-жи Миловидовой избавило Аратова отъ необходимости отвѣчать.—Онъ успѣлъ, однако, шепнуть:— Вы ангелъ! Спасибо! пришлю все, что напишу....

Г-жа Миловидова съ просонья ни о чемъ не догадалась. Такъ Аратовъ и уѣхалъ изъ Казани съ фотографической карточкой въ боковомъ карманѣ сюртука. Тетрадку онъ возвратилъ Аннѣ — но, незамѣтно для нея, вырѣзалъ листикъ, на которомъ находились подчеркнутыя слова.

На обратномъ пути въ Москву имъ опять овладѣло оцѣпенѣніе. Хоть онъ и радовался втайнѣ, что добился-таки того, зачѣмъ ѣздилъ, однако, всѣ помышленія о Кларѣ онъ откладывалъ до возвращенія домой. Онъ гораздо больше думалъ о ея сестрѣ Аннѣ. — Вотъ, думалъ онъ, чудесное, симпатическое существо! Какое тонкое пониманіе всего, какое любящее сердце, какое отсутствіе эгоизма! И какъ это у насъ въ провинціи — да еще въ такой обстановкѣ — разцвѣтаютъ такія дѣвушки! — Она и болѣзненна, и собой дурна, и не молода, — а какой бы отличной была подругой для порядочнаго, образованнаго человѣка! Вотъ въ кого слѣдовало бы влюбиться!... — Аратовъ думалъ такъ.... но по прибытіи въ Москву дѣло приняло совсѣмъ другой оборотъ.

XIV.

Платонида Ивановна несказанно обрадовалась возвращенію своего племянника. Чего-чего она не передумала въ его отсутствіе! — «По меньшей мѣрѣ, въ Сибирь!» шептала она, сидя неподвижно въ своей комнаткѣ; — «по меньшей мѣрѣ — на годъ!» — Къ тому же и кухарка пугала ее, сообщая наивѣрнѣйшія извѣстія объ исчезновеніи то того, то другого молодого человѣка по сосѣдству. Совершенная невинность и благонадежность Яши нисколько не успокоивали старушку. — «Потому.... мало ли что! — фотографіей занимается.... ну и довольно! Бери его!» — И вотъ ея Яшенька вернулся цѣлъ и невредимъ! Правда, она замѣтила, что онъ какъ будто похудѣлъ и въ личикѣ осунулся — дѣло понятное.... безъ призора! — но разспрашивать его объ его путешествіи не посмѣла. Спросила за обѣдомъ: — А хорошій городъ Казань? — Хорошій — отвѣчалъ Аратовъ. — Чай, тамъ все татары живутъ? — Не одни татары. — А халата оттуда не привезъ? — Нѣтъ, не привезъ. — Тѣмъ и кончился разговоръ.

Но какъ только Аратовъ очутился одинъ въ своемъ кабинетѣ — онъ немедленно почувствовалъ, что его какъ бы кругомъ что-то охватило, что онъ опять находится *во власти*, именно во власти другой жизни, другого существа. Хоть онъ и сказалъ Аннѣ — въ томъ порывѣ внезапнаго изступленія, — что онъ влюбленъ въ Клару — но это слово ему самому теперь казалось безсмысленнымъ и дикимъ. — Нѣтъ, онъ не влюбленъ, да и какъ влюбиться въ мертвую, которая даже при жизни ему не нравилась, которую онъ почти забылъ? — Нѣтъ! но онъ во власти.... въ *ея* власти.... онъ не принадлежитъ себѣ болѣе. Онъ — *взятъ*. Взятъ до того, что даже не пытается освободиться ни насмѣшкой

надъ собственной нелѣпостью, ни возбужденьемъ въ себѣ, если не увѣренности, то хоть надежды, что это все пройдетъ, что это — одни нервы, — ни прiискиваньемъ къ тому доказательствъ — ни чѣмъ инымъ! — «Встрѣчу — возьму» — вспомнились ему слова Клары, переданныя Анной.... вотъ онъ и взятъ. — Да вѣдь она — мертвая? Да; тѣло ея мертвое.... а душа? — развѣ она не безсмертная.... развѣ ей нужны земные ѐрганы, чтобы проявить свою власть? — Вонъ магнетизмъ намъ доказалъ влiянiе живой человѣческой души на другую живую человѣческую душу.... Отчего же это влiянiе не продолжится и послѣ смерти — коли душа остается живою? — Да съ какой цѣлью? Что изъ этого можетъ выдти? — Но развѣ мы — вообще — постигаемъ, какая цѣль всего, что совершается вокругъ насъ? — Эти мысли до того занимали Аратова, что онъ внезапно, за чаемъ, спросилъ Платошу: вѣритъ ли она въ безсмертiе души? — Та сначала не поняла, чтò онъ такое спрашиваетъ — а потомъ перекрестилась и отвѣтила, что еще бы душѣ — да не быть безсмертной! — А коли такъ, можетъ она дѣйствовать послѣ смерти? — опять спросилъ Аратовъ. Старушка отвѣчала, что можетъ.... за насъ молиться, то-есть; и тò, когда пройдетъ всѣ мытарства — въ ожиданьи Страшнаго Суда. А первые сорокъ дней она только витаетъ около того мѣста, гдѣ ей смерть приключилась.

— Первые сорокъ дней?

— Да; а потомъ пойдутъ мытарства.

Аратовъ подивился познанiямъ тетки — и ушелъ къ себѣ. — И опять почувствовалъ то же, ту же власть надъ собой. — Власть эта сказывалась и въ томъ, что ему безпрестанно представлялся образъ Клары, до малѣйшихъ подробностей, до такихъ подробностей, которыя онъ при жизни ея какъ будто и не замѣчалъ: онъ видѣлъ.... видѣлъ ея пальцы, ногти, грядки волосъ на щекахъ подъ висками,

небольшую родинку подъ лѣвымъ глазомъ; видѣлъ движенія ея губъ, ноздрей, бровей.... и какая у ней походка — и какъ она держитъ голову немного на правый бокъ.... все видѣлъ онъ! — Онъ вовсе не любовался всѣмъ этимъ; онъ только не могъ объ этомъ не думать и не видѣть. — Въ первую ночь послѣ своего возвращенія, она, однако, ему не снилась.... онъ очень усталъ и спалъ какъ убитый. За то, какъ только онъ проснулся — она снова вошла въ его комнату — и такъ и осталась въ ней — точно хозяйка; точно она своей добровольной смертью купила себѣ это право, не спросясь его и не нуждаясь въ его позволеньи. — Онъ взялъ ея фотографическую карточку; началъ ее воспроизводить, увеличивать. Потомъ онъ вздумалъ ее приладить къ стереоскопу. Хлопотъ ему было много.... наконецъ, это ему удалось. Онъ такъ и вздрогнулъ, когда увидалъ сквозь стекло ея фигуру, получившую подобіе тѣлесности. Но фигура эта была сѣрая, словно запыленная.... и къ тому же глаза.... глаза все смотрѣли въ сторону, все какъ будто отворачивались. Онъ сталъ долго, долго глядѣть на нихъ, какъ бы ожидая, что вотъ они направятся въ его сторону.... онъ даже нарочно прищуривался.... но глаза оставались неподвижными, и вся фигура принимала видъ какой-то куклы. Онъ отошелъ прочь, бросился въ кресло, досталъ вырванный листикъ ея дневника, съ подчеркнутыми словами — и подумалъ: «вѣдь вотъ, говорятъ, влюбленные цѣлуютъ строки, написанныя милой рукою — а мнѣ этого не хочется дѣлать — да и почеркъ мнѣ кажется некрасивымъ. Но въ этой строкѣ — мой приговоръ». — Тутъ ему пришло въ голову обѣщанье, данное Аннѣ насчетъ статьи. Онъ сѣлъ за столъ и принялся-было ее писать; но все у него выходило такъ ложно, такъ риторично.... главное, такъ ложно.... точно онъ не вѣрилъ ни въ то, что онъ писалъ, ни въ собственныя чувства.... да и сама Клара показалась ему не-

знакомой, непонятной! Она не давалась ему. — «Нѣтъ! подумалъ онъ, бросая перо.... либо сочинительство вообще не мое дѣло, либо еще подождать надо!» — Онъ сталъ припоминать свое посѣщеніе у Миловидовыхъ — и весь разсказъ Анны, этой доброй, чудной Анны.... Сказанное ею слово: «нетронутая!» внезапно поразило его. Словно что и обожгло его, и освѣтило. — Да, промолвилъ онъ громко: она нетронутая — и я нетронутый.... Вотъ что дало ей эту власть!

Мысли о безсмертіи души, о жизни за гробомъ снова посѣтили его. — Развѣ не сказано въ Библіи: «Смерть, гдѣ жало твое?» А у Шиллера: «И мертвые будутъ жить!» (Auch die Todten sollen leben!). — Или вотъ еще, кажется, у Мицкевича: — «Я буду любить до скончанія вѣка.... и по скончаніи вѣка!» — А одинъ англійскій писатель сказалъ: «Любовь сильнѣе смерти!» — Библейское изреченіе особенно подѣйствовало на Аратова. — Онъ хотѣлъ отыскать мѣсто, гдѣ находятся эти слова.... Библіи у него не было; онъ пошелъ попросить ее у Платоши. — Та удивилась; однако, достала старую-старую книгу въ покоробленномъ кожаномъ переплетѣ, съ мѣдными застежками, всю закапанную воскомъ, — и вручила ее Аратову. Онъ унесъ ее къ себѣ въ комнату — но долго не находилъ того изреченія.... за то ему попалось другое:

«Бо̀льшее сея любве никто же имать, да кто душу свою положитъ за други своя».... (Ев. отъ Іоанна, XV гл. 13 ст.).

Онъ подумалъ: «Не такъ сказано. — Надо было сказать: «Большее сея *власти* никто же имать....»

— «А если она вовсе не за меня положила свою душу? — Если она только потому покончила съ собою, что жизнь ей стала въ тягость? — Если она, наконецъ, вовсе не для любовныхъ объясненій пришла на свиданіе?»

Но въ это мгновенье ему представилась Клара передъ

разлукой на бульварѣ.... Онъ вспомнилъ то горестное выраженіе на ея лицѣ — и тѣ слезы, и тѣ слова: — Ахъ, вы ничего не поняли!...

Нѣтъ! онъ не могъ сомнѣваться въ томъ, изъ-за чего и для кого она положила свою душу....

Такъ прошелъ весь этотъ день до ночи.

XV.

Аратовъ легъ рано, безъ особеннаго желанія спать; но онъ надѣялся найти отдыхъ въ постели. Напряженное состояніе его нервовъ причинило ему утомленіе, гораздо болѣе несносное, чѣмъ физическая усталость путешествія и дороги. Однако, какъ ни было велико его утомленіе, заснуть онъ не могъ. Онъ попытался читать.... но строки путались передъ его глазами. Онъ погасилъ свѣчку, — и мракъ водворился въ его комнатѣ. — Но онъ продолжалъ лежать безъ сна, съ закрытыми глазами.... И вотъ — ему почудилось: кто-то шепчетъ ему на ухо.... «Стукъ сердца, шелестъ крови», — подумалъ онъ.... Но шёпотъ перешелъ въ связную рѣчь. Кто-то говорилъ по-русски, торопливо, жалобно и невнятно. Ни одного отдѣльнаго слова нельзя было уловить.... Но это былъ голосъ Клары!

Аратовъ открылъ глаза, приподнялся, облокотился.... Голосъ сталъ слабѣе, но продолжалъ свою жалобную, поспѣшную, по прежнему невнятную рѣчь....

Это несомнѣнно голосъ Клары!

Чьи-то пальцы пробѣжали легкими арпеджіями по клавишамъ піанино.... Потомъ голосъ опять заговорилъ. Послышались болѣе протяжные звуки.... какъ бы стоны.... все одни и тѣ же. А тамъ начали выдѣляться слова....

«Розы.... розы.... розы....»

— Розы, — повторилъ шёпотомъ Аратовъ. — Ахъ, да! это тѣ розы, которыя я видѣлъ на головѣ той женщины во снѣ....

«Розы», послышалось опять.

— Ты ли это? — спросилъ тѣмъ же шёпотомъ Аратовъ.

Голосъ вдругъ умолкъ.

Аратовъ подождалъ.... подождалъ — и уронилъ голову на подушку. «Галлюцинація слуха, подумалъ онъ. Ну а если.... если она, точно, здѣсь, близко?... Если бы я ее увидѣлъ — испугался ли бы я? — Или обрадовался? Но чего бы я испугался? Чему бы обрадовался? Развѣ вотъ чему: это было бы доказательствомъ, что есть другой міръ, что душа безсмертна. — Но впрочемъ, если бы я даже что-нибудь увидѣлъ — вѣдь это могло бы тоже быть галлюцинаціей зрѣнья....

Однако, онъ зажегъ свѣчку — и быстрымъ взоромъ, не безъ нѣкотораго страха, обѣжалъ всю комнату.... и ничего въ ней необыкновеннаго не увидѣлъ. Онъ всталъ, подошелъ къ стереоскопу.... опять та же сѣрая кукла съ глазами, смотрящими въ сторону. Чувство страха замѣнилось въ Аратовѣ чувствомъ досады. Онъ какъ будто обманулся въ своихъ ожиданьяхъ.... да и смѣшны ему показались эти самыя ожиданья. — Вѣдь это, наконецъ, глупо! — пробормоталъ онъ, снова ложась въ постель — и задулъ свѣчку. Опять водворилась глубокая темнота.

Аратовъ рѣшился заснуть на этотъ разъ.... Но въ немъ возникло новое ощущеніе. Ему показалось, что кто-то стоитъ посреди комнаты, недалеко отъ него — и чуть замѣтно дышетъ. Онъ поспѣшно обернулся, раскрылъ глаза.... Но что же можно было видѣть въ этой непроницаемой темнотѣ? — Онъ сталъ отыскивать спичку на ночномъ столикѣ.... и вдругъ ему почудилось, что какой-то мягкій, без-

шумный вихрь пронесся черезъ всю комнату, черезъ него, сквозь него — и слово: «Я!» явственно раздалось въ его ушахъ....

— «Я!... Я!...»

Прошло нѣсколько мгновеній, прежде чѣмъ онъ успѣлъ зажечь свѣчку.

Въ комнатѣ опять никого не было — и онъ уже не слышалъ ничего, кромѣ порывистаго стука собственнаго сердца. Онъ выпилъ стаканъ воды — и остался неподвиженъ, опершись головою на руку. Онъ ждалъ.

Онъ подумалъ: «Буду ждать. Либо это все вздоръ.... либо она здѣсь. Не станетъ же она играть со мною, какъ кошка съ мышью!» Онъ ждалъ, ждалъ долго.... такъ долго, что рука, которой онъ поддерживалъ голову, отекла.... но ни одно изъ прежнихъ ощущеній не повторялось. Раза два глаза его слипались.... Онъ тотчасъ открывалъ ихъ.... по крайней мѣрѣ, ему казалось, что онъ ихъ открывалъ. Понемногу они устремились на дверь и остановились на ней. Свѣча нагорѣла — и въ комнатѣ стало опять темно.... но дверь бѣлѣла длиннымъ пятномъ среди полумрака. И вотъ это пятно шевельнулось, уменьшилось, исчезло.... и на его мѣстѣ, на порогѣ двери, показалась женская фигура. Аратовъ всматривается.... Клара! И на этотъ разъ она прямо смотритъ на него, подвигается къ нему.... На головѣ у ней вѣнокъ изъ красныхъ розъ.... Онъ весь всколыхнулся, приподнялся....

Передъ нимъ стоитъ его тетка, въ ночномъ чепцѣ съ большимъ краснымъ бантомъ и въ бѣлой кофтѣ.

— Платоша! — съ трудомъ проговорилъ онъ. — Это вы?

— Это я, — отвѣтила Платонида Ивановна.... — Я, Яшенёночекъ, я.

— Зачѣмъ вы пришли?

— Да ты меня разбудилъ. Сперва все какъ будто сто-

налъ.... а потомъ вдругъ какъ закричишь: — Спасите! помогите!

— Я кричалъ?

— Да; кричалъ — и хрипло такъ: — Спасите! — Я подумала: Господи! Ужъ не боленъ ли онъ? Я и вошла. Ты здоровъ?

— Совершенно здоровъ.

— Ну, значитъ, тебѣ дурной сонъ приснился. Хочешь, ладонкомъ покурю!

Аратовъ еще разъ, пристально, вглядѣлся въ тетку — и громко засмѣялся.... Фигура доброй старушки въ чепцѣ и кофтѣ, съ испуганнымъ, вытянутымъ лицомъ, была, дѣйствительно, очень забавна. Все то таинственное, что его окружало, что давило его — всѣ эти чары разлетѣлись разомъ.

— Нѣтъ, Платоша, голубушка, не надо, — промолвилъ онъ. — Извините, пожалуйста, что я нехотя васъ потревожилъ. Почивайте спокойно — и я усну.

Платонида Ивановна постояла еще немного на мѣстѣ, показала на свѣчку, поворчала: зачѣмъ-молъ, не гасишь.... долго ли до бѣды! — и уходя, не могла удержаться, чтобы хоть издали, да не перекрестить его.

Аратовъ немедленно заснулъ — и спалъ до утра. Онъ и всталъ въ хорошемъ расположеніи духа.... хотя ему и было жаль чего-то.... Онъ чувствовалъ себя легко и свободно. «Экія романтическія затѣи, подумаешь», говорилъ онъ самому себѣ съ улыбкой. Онъ ни разу не взглянулъ ни на стереоскопъ, ни на вырванный имъ листикъ. Однако, тотчасъ послѣ завтрака, отправился къ Купферу.

Что его туда влекло.... онъ сознавалъ смутно.

XVI.

Аратовъ засталъ своего сангвиническаго пріятеля дома. Поболталъ съ нимъ немного, попрекнулъ ему, что онъ совсѣмъ ихъ съ теткой забываетъ, — выслушалъ новыя похвалы золотой женщинѣ, княгинѣ, отъ которой Купферъ только-что получилъ изъ Ярославля ермолку, вышитую рыбьей чешуей.... и вдругъ, усѣвшись передъ Купферомъ и глядя ему прямо въ глаза, объявилъ, что ѣздилъ въ Казань.

— Ты ѣздилъ въ Казань? Это зачѣмъ?

— Да вотъ хотѣлъ собрать свѣдѣнія объ этой.... Кларѣ Миличъ.

— О той, что отравилась?

— Да.

Купферъ покачалъ головою. — Вишь ты какой? А еще тихоня! Тысячу верстъ отломалъ туда и сюда.... изъ-за чего? А? И хоть бы женскій интересъ тутъ былъ какой! Тогда я все понимаю! все! всякія безумства! — Купферъ взъерошилъ себѣ волосы. — Но чтобы одни матеріалы собирать — какъ это у васъ говорится — у ученыхъ мужей.... Слуга покорный! На это существуетъ статистическій комитетъ! — Ну и чтожъ, познакомился ты со старухой и съ сестрой? Не правда ли, чудесная дѣвушка?

— Чудесная, — подтвердилъ Аратовъ. — Она мнѣ много любопытнаго сообщила.

— Сказала она тебѣ, какъ именно отравилась Клара?

— То-есть.... какъ же?

— Да какимъ манеромъ?

— Нѣтъ.... Она еще такъ была огорчена.... Я не посмѣлъ слишкомъ-то разспрашивать. А развѣ было что особенное?

— Конечно, было. Представь: она должна была въ самый тотъ день играть — и играла. Взяла съ собою стклянку яду въ театръ, передъ первымъ актомъ выпила — и такъ и доиграла весь этотъ актъ. Съ ядомъ-то внутри! Какова сила воли! Характеръ каковъ? И, говорятъ, никогда она съ такимъ чувствомъ, съ такимъ жаромъ не проводила своей роли! Публика ничего не подозрѣваетъ, хлопаетъ, вызываетъ.... А какъ только занавѣсъ опустился — и она тутъ же на сценѣ упала. Корчи.... корчи.... и черезъ часъ и духъ вонъ! Да развѣ я тебѣ этого не разсказывалъ? И въ газетахъ объ этомъ было!

У Аратова внезапно похолодѣли руки и въ груди задрожало.

— Нѣтъ ты мнѣ этого не разсказывалъ, — промолвилъ онъ наконецъ. — И ты не знаешь, какая это была пьеса?

Купферъ задумался. — Называли мнѣ эту пьесу.... въ ней является обманутая дѣвушка.... Должно быть, драма какая-нибудь. Клара была рождена для драматическихъ ролей.... Самая ея наружность.... Но куда же ты? — перебилъ самого себя Купферъ, видя, что Аратовъ, берется за шапку.

— Мнѣ что-то нездоровится, — отвѣчалъ Аратовъ. — Прощай.... Я въ другой разъ зайду.

Купферъ остановилъ его и заглянулъ ему въ лицо. — Экой ты, братъ, нервическій человѣкъ! Посмотри-ка на себя.... Побѣлѣлъ какъ глина.

— Мнѣ нездоровится, — повторилъ Аратовъ, освободился отъ руки Купфера и отправился во-свояси. Только въ это мгновеніе ему стало ясно, что онъ и приходилъ-то къ Купферу съ единственной цѣлью поговорить о Кларѣ....

— «О безумной, о несчастной Кларѣ»....

Однако, придя домой, онъ опять скоро успокоился — до нѣкоторой степени.

Обстоятельства, сопровождавшія смерть Клары, сначала произвели на него потрясающее впечатлѣніе;... но потомъ эта игра «съ ядомъ внутри», какъ выразился Купферъ, показалась ему какой-то уродливой фразой, бравировкой — и онъ уже старался не думать объ этомъ, боясь возбудить въ себѣ чувство, похожее на отвращеніе. А за обѣдомъ, сидя передъ Платошей, онъ вдругъ вспомнилъ ея полуночное появленіе, вспомнилъ эту куцую кофту, этотъ чепецъ съ высокимъ бантомъ (и къ чему бантъ на ночномъ чепцѣ!?), всю эту смѣшную фигуру, отъ которой, какъ отъ свистка машиниста въ фантастическомъ балетѣ, всѣ его видѣнія разсыпались прахомъ! Онъ даже заставилъ Платошу повторить разсказъ о томъ, какъ она услышала его крикъ, испугалась, вскочила, не могла разомъ попасть ни въ свою, ни въ его дверь, и т. д. Вечеромъ онъ съ ней поигралъ въ карты и ушелъ въ свою комнату немного грустный, но опять-таки довольно спокойный.

Аратовъ не думалъ о предстоявшей ночи и не боялся ея: онъ былъ увѣренъ, что проведетъ ее какъ нельзя лучше. Мысль о Кларѣ отъ времени до времени пробуждалась въ немъ; но онъ тотчасъ вспоминалъ, какъ она «фразисто» себя уморила и отворачивался. Это «безобразіе» мѣшало другимъ воспоминаніямъ о ней. Взглянувши мелькомъ на стереоскопъ, ему даже показалось, что она оттого смотрѣла въ сторону, что ей было стыдно. Прямо надъ стереоскопомъ на стѣнѣ висѣлъ портретъ его матери. Аратовъ снялъ его съ гвоздя, долго его разсматривалъ, поцѣловалъ и бережно спряталъ въ ящикъ. Отчего онъ это сдѣлалъ? Оттого ли, что тому портрету не слѣдовало находиться въ сосѣдствѣ той женщины.... или по другой какой причинѣ — Аратовъ не отдалъ себѣ отчета. Но портретъ матери возбудилъ въ немъ воспоминаніе объ отцѣ, объ отцѣ, котораго онъ видѣлъ умирающимъ въ этой же самой комнатѣ,

Нѣсколько мгновеній простоялъ онъ на одномъ мѣстѣ, попирая голыми ногами холодный полъ. — Взоры его блуждали: «гдѣ же? гдѣ?» шептали его губы....

Ничего не видать, не слыхать....

Онъ осмотрѣлся — и замѣтилъ, что слабый свѣтъ, наполнявшій комнату, происходилъ отъ ночника, заслоненнаго листомъ бумаги и поставленнаго въ углу, вѣроятно, Платошей въ то время какъ онъ спалъ. Онъ даже почувствовалъ запахъ ладона.... тоже, вѣроятно, дѣло ея рукъ.

Онъ поспѣшно одѣлся. — Оставаться въ постели, спать — было немыслимо. — Потомъ онъ остановился посреди комнаты и скрестилъ руки. — Ощущеніе присутствія Клары было въ немъ сильнѣе, чѣмъ когда-либо.

И вотъ, онъ заговорилъ не громкимъ голосомъ, но съ торжественной медленностью, какъ произносятся заклинанія:

— Клара, — такъ началъ онъ, — если ты точно здѣсь, если ты меня видишь, если ты меня слышишь — явись!... Если эта власть, которую я чувствую надъ собою — точно *твоя* власть — явись! Если ты понимаешь, какъ горько я раскаяваюсь въ томъ, что не понялъ, что оттолкнулъ тебя— явись! — Если то, что я слышалъ — точно твой голосъ; если чувство, которое овладѣло мною — любовь; если ты теперь увѣрена, что я люблю тебя, я, который до сихъ поръ и не любилъ, и не зналъ ни одной женщины; — если ты знаешь, что я послѣ твоей смерти полюбилъ тебя страстно, неотразимо, если ты не хочешь, чтобы я сошелъ съ ума — явись, Клара!

Аратовъ еще не успѣлъ произнести это послѣднее слово, какъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то быстро подошелъ къ нему, сзади — какъ тогда на бульварѣ — и положилъ ему руку на плечо. Онъ обернулся — и никого не увидѣлъ. Но то ощущеніе *ея* присутствія стало такимъ явственнымъ, такимъ несомнѣннымъ, что онъ опять торопливо оглянулся...

Что это?! На его креслѣ, въ двухъ шагахъ отъ него, ıдитъ женщина, вся въ черномъ. Голова отклонена въ ɪорону, какъ въ стереоскопѣ.... Это она! Это Клара! Но ıкое строгое, какое унылое лицо!

Аратовъ тихо опустился на колѣни. — Да; онъ былъ равъ тогда: ни испуга, ни радости не было въ немъ — и даже удивленія.... Даже сердце его стало тише биться. — ıдно въ немъ было сознаніе, одно чувство: «А! наконецъ! аконецъ!»

— Клара, — заговорилъ онъ слабымъ, но ровнымъ олосомъ, — отчего ты не смотришь на меня? Я знаю, что го ты.... но вѣдь я могу подумать, что мое воображеніе оздало образъ, подобный *тому*.... (Онъ указалъ рукою въ аправленіи стереоскопа).... Докажи мнѣ, что это ты.... ɔбернись ко мнѣ, посмотри на меня, Клара!

Рука Клары медленно приподнялась.... и упала снова.

— Клара, Клара! обернись ко мнѣ!

И голова Клары тихо повернулась, опущенныя вѣки аскрылись, и темные зрачки ея глазъ вперились въ Аравова.

Онъ подался немного назадъ — и произнесъ одно прояжное, трепетное: — А!

Клара пристально смотрѣла на него.... но ея глаза, ея ерты сохраняли прежнее задумчиво-строгое, почти недоольное выраженіе. Съ этимъ именно выраженіемъ на лицѣ вилась она на эстраду въ день литературнаго утра — режде чѣмъ увидала Аратова. И такъ же, какъ въ тотъ азъ, она вдругъ покраснѣла, лицо оживилось, вспыхнулъ зоръ — и радостная, торжествующая улыбка раскрыла ея убы....

— Я прощенъ! — воскликнулъ Аратовъ. — Ты побѣдила.... Возьми же меня! Вѣдь я твой — и ты моя!

Онъ ринулся къ ней, онъ хотѣлъ поцѣловать эти улы-

на этой постели. «Что ты думаешь обо всемъ этомъ, отецъ? обратился онъ мысленно къ нему. Ты все это понималъ; ты тоже вѣрилъ въ Шиллеровскій міръ духовъ. — Дай мнѣ совѣтъ!»

— Отецъ далъ бы мнѣ совѣтъ всѣ эти глупости бросить, — промолвилъ Аратовъ громко и взялся за книгу. Читать онъ, однако, долго не могъ и, чувствуя какое-то отяжелѣніе всего тѣла, раньше обыкновеннаго легъ въ постель, въ полной увѣренности, что заснетъ немедленно.

Оно такъ и случилось.... но не оправдались его надежды на мирную ночь.

XVII.

Полночь еще не успѣла пробить, какъ ему уже привидѣлся необычайный, угрожающій сонъ.

Ему казалось, что онъ находится въ богатомъ помѣщичьемъ домѣ, котораго онъ былъ хозяиномъ. Онъ недавно купилъ и домъ этотъ, и все прилегавшее къ нему имѣніе. И все ему думается: «хорошо, теперь хорошо, а быть худу!» Возлѣ него вертится маленькій человѣчекъ, его управляющій; онъ все смѣется, кланяется и хочетъ показать Аратову, какъ у него въ домѣ и въ имѣніи все отлично устроено. — Пожалуйте, пожалуйте, — твердитъ онъ, хихикая при каждомъ словѣ, — посмотрите, какъ у васъ все благополучно! Вотъ лошади.... экія чудесныя лошади! — И Аратовъ видитъ рядъ громадныхъ лошадей. Онѣ стоятъ къ нему задомъ въ стойлахъ; гривы и хвосты у нихъ удивительные.... но какъ только Аратовъ проходитъ мимо, головы лошадей поворачиваются къ нему — и скверно скалятъ зубы. — Хорошо.... думаетъ Аратовъ.... а быть худу! — Пожалуйте, пожалуйте, опять твердитъ управляющій; пожалуйте въ садъ: посмотрите, какія у васъ чудныя

яблоки! Яблоки, точно, чудесныя, красныя, круглыя; но какъ только Аратовъ взглядываетъ на нихъ, они морщатся и падаютъ.... «Быть худу», думаетъ онъ. — А вотъ и озеро, — лепечетъ управляющій; — какое оно синее, да гладкое! Вотъ и лодочка золотая.... Угодно на ней прокатиться?... она сама поплыветъ. — «Не сяду! думаетъ Аратовъ — быть худу!» и все-таки садится въ лодочку. На днѣ лежитъ, скорчившись, какое-то маленькое существо, похожее на обезьяну; оно держитъ въ лапахъ стклянку съ темной жидкостью. — Не извольте безпокоиться, кричитъ съ берега управляющій.... — Это ничего! Это смерть! Счастливаго пути! — Лодка быстро мчится.... но вдругъ налетаетъ вихрь, не въ родѣ вчерашняго, безшумнаго, мягкаго — нѣтъ; чорный, страшный, воющій вихрь! — Все мѣшается кругомъ — и среди крутящейся мглы Аратовъ видитъ Клару въ театральномъ костюмѣ: она подноситъ стклянку къ губамъ, слышатся отдаленныя: браво! браво! — и чей-то грубый голосъ кричитъ Аратову на ухо: — А! ты думалъ, это все комедіей кончится? — Нѣтъ это трагедія! трагедія!

Весь трепеща, проснулся Аратовъ. Въ комнатѣ не темно.... Откуда-то льется слабый свѣтъ и печально, и неподвижно освѣщаетъ всѣ предметы. Аратовъ не отдаетъ себѣ отчета, откуда льется этотъ свѣтъ.... Онъ чувствуетъ одно: Клара здѣсь, въ этой комнатѣ.... онъ ощущаетъ ея присутствіе.... онъ опять и навсегда въ ея власти!

Изъ губъ его исторгается крикъ: — Клара, ты здѣсь?

— Да! — раздается явственно среди неподвижно освѣщенной комнаты.

Аратовъ беззвучно повторяетъ свой вопросъ....

— Да! — слышится снова.

— Такъ я хочу тебя видѣть! — вскрикиваетъ онъ и соскакиваетъ съ постели.

Нѣсколько мгновеній простоялъ онъ на одномъ мѣстѣ, попирая голыми ногами холодный полъ. — Взоры его блуждали: «гдѣ же? гдѣ?» шептали его губы....

Ничего не видать, не слыхать....

Онъ осмотрѣлся — и замѣтилъ, что слабый свѣтъ, наполнявшій комнату, происходилъ отъ ночника, заслоненнаго листомъ бумаги и поставленнаго въ углу, вѣроятно, Платошей въ то время какъ онъ спалъ. Онъ даже почувствовалъ запахъ ладона.... тоже, вѣроятно, дѣло ея рукъ.

Онъ поспѣшно одѣлся. — Оставаться въ постели, спать — было немыслимо. — Потомъ онъ остановился посреди комнаты и скрестилъ руки. — Ощущеніе присутствія Клары было въ немъ сильнѣе, чѣмъ когда-либо.

И вотъ, онъ заговорилъ не громкимъ голосомъ, но съ торжественной медленностью, какъ произносятся заклинанія:

— Клара, — такъ началъ онъ, — если ты точно здѣсь, если ты меня видишь, если ты меня слышишь — явись!... Если эта власть, которую я чувствую надъ собою — точно *твоя* власть — явись! Если ты понимаешь, какъ горько я раскаяваюсь въ томъ, что не понялъ, что оттолкнулъ тебя— явись! — Если то, что я слышалъ — точно твой голосъ; если чувство, которое овладѣло мною — любовь; если ты теперь увѣрена, что я люблю тебя, я, который до сихъ поръ и не любилъ, и не зналъ ни одной женщины; — если ты знаешь, что я послѣ твоей смерти полюбилъ тебя страстно, неотразимо, если ты не хочешь, чтобы я сошелъ съ ума — явись, Клара!

Аратовъ еще не успѣлъ произнести это послѣднее слово, какъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то быстро подошелъ къ нему, сзади — какъ тогда на бульварѣ — и положилъ ему руку на плечо. Онъ обернулся — и никого не увидѣлъ. Но то ощущеніе *ея* присутствія стало такимъ явственнымъ, такимъ несомнѣннымъ, что онъ опять торопливо оглянулся...

Что это?! На его креслѣ, въ двухъ шагахъ отъ него, дитъ женщина, вся въ черномъ. Голова отклонена въ орону, какъ въ стереоскопѣ.... Это она! Это Клара! Но кое строгое, какое унылое лицо!

Аратовъ тихо опустился на колѣни. — Да; онъ былъ авъ тогда: ни испуга, ни радости не было въ немъ — даже удивленія.... Даже сердце его стало тише биться. — дно въ немъ было сознаніе, одно чувство: «А! наконецъ! конецъ!»

— Клара, — заговорилъ онъ слабымъ, но ровнымъ лосомъ, — отчего ты не смотришь на меня? Я знаю, что о ты.... но вѣдь я могу подумать, что мое воображеніе здало образъ, подобный *тому*.... (Онъ указалъ рукою въ правленіи стереоскопа).... Докажи мнѣ, что это ты.... бернись ко мнѣ, посмотри на меня, Клара!

Рука Клары медленно приподнялась.... и упала снова.

— Клара, Клара! обернись ко мнѣ!

И голова Клары тихо повернулась, опущенныя вѣки скрылись, и темные зрачки ея глазъ вперились въ Аратова.

Онъ подался немного назадъ — и произнесъ одно прошное, трепетное: — А!

Клара пристально смотрѣла на него.... но ея глаза, ея рты сохраняли прежнее задумчиво-строгое, почти недольное выраженіе. Съ этимъ именно выраженіемъ на лицѣ вилась она на эстраду въ день литературнаго утра — режде чѣмъ увидала Аратова. И такъ же, какъ въ тотъ азъ, она вдругъ покраснѣла, лицо оживилось, вспыхнулъ юръ — и радостная, торжествующая улыбка раскрыла ея бы....

— Я прощенъ! — воскликнулъ Аратовъ. — Ты побѣла.... Возьми же меня! Вѣдь я твой — и ты моя!

Онъ ринулся къ ней, онъ хотѣлъ поцѣловать эти улы-

Нѣсколько мгновеній простоялъ онъ на одномъ мѣстѣ, попирая голыми ногами холодный полъ. — Взоры его блуждали: «гдѣ же? гдѣ?» шептали его губы....

Ничего не видать, не слыхать....

Онъ осмотрѣлся — и замѣтилъ, что слабый свѣтъ, наполнявшій комнату, происходилъ отъ ночника, заслоненнаго листомъ бумаги и поставленнаго въ углу, вѣроятно, Платошей въ то время какъ онъ спалъ. Онъ даже почувствовалъ запахъ ладона.... тоже, вѣроятно, дѣло ея рукъ.

Онъ поспѣшно одѣлся. — Оставаться въ постели, спать — было немыслимо. — Потомъ онъ остановился посреди комнаты и скрестилъ руки. — Ощущеніе присутствія Клары было въ немъ сильнѣе, чѣмъ когда-либо.

И вотъ, онъ заговорилъ не громкимъ голосомъ, но съ торжественной медленностью, какъ произносятся заклинанія:

— Клара, — такъ началъ онъ, — если ты точно здѣсь, если ты меня видишь, если ты меня слышишь — явись!... Если эта власть, которую я чувствую надъ собою — точно *твоя* власть — явись! Если ты понимаешь, какъ горько я раскаяваюсь въ томъ, что не понялъ, что оттолкнулъ тебя— явись! — Если то, что я слышалъ — точно твой голосъ; если чувство, которое овладѣло мною — любовь; если ты теперь увѣрена, что я люблю тебя, я, который до сихъ поръ и не любилъ, и не зналъ ни одной женщины; — если ты знаешь, что я послѣ твоей смерти полюбилъ тебя страстно, неотразимо, если ты не хочешь, чтобы я сошелъ съ ума — явись, Клара!

Аратовъ еще не успѣлъ произнести это послѣднее слово, какъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то быстро подошелъ къ нему, сзади — какъ тогда на бульварѣ — и положилъ ему руку на плечо. Онъ обернулся — и никого не увидѣлъ. Но то ощущеніе *ея* присутствія стало такимъ явственнымъ, такимъ несомнѣннымъ, что онъ опять торопливо оглянулся...

Что это?! На его креслѣ, въ двухъ шагахъ отъ него, сидитъ женщина, вся въ черномъ. Голова отклонена въ сторону, какъ въ стереоскопѣ.... Это она! Это Клара! Но какое строгое, какое унылое лицо!

Аратовъ тихо опустился на колѣни. — Да; онъ былъ правъ тогда: ни испуга, ни радости не было въ немъ — ни даже удивленія.... Даже сердце его стало тише биться. — Одно въ немъ было сознаніе, одно чувство: «А! наконецъ! наконецъ!»

— Клара, — заговорилъ онъ слабымъ, но ровнымъ голосомъ, — отчего ты не смотришь на меня? Я знаю, что это ты.... но вѣдь я могу подумать, что мое воображеніе создало образъ, подобный *тому*.... (Онъ указалъ рукою въ направленіи стереоскопа).... Докажи мнѣ, что это ты.... Обернись ко мнѣ, посмотри на меня, Клара!

Рука Клары медленно приподнялась.... и упала снова.

— Клара, Клара! обернись ко мнѣ!

И голова Клары тихо повернулась, опущенныя вѣки раскрылись, и темные зрачки ея глазъ вперились въ Аратова.

Онъ подался немного назадъ — и произнесъ одно протяжное, трепетное: — А!

Клара пристально смотрѣла на него.... но ея глаза, ея черты сохраняли прежнее задумчиво-строгое, почти недовольное выраженіе. Съ этимъ именно выраженіемъ на лицѣ явилась она на эстраду въ день литературнаго утра — прежде чѣмъ увидала Аратова. И такъ же, какъ въ тотъ разъ, она вдругъ покраснѣла, лицо оживилось, вспыхнулъ взоръ — и радостная, торжествующая улыбка раскрыла ея губы....

— Я прощенъ! — воскликнулъ Аратовъ. — Ты побѣдила.... Возьми же меня! Вѣдь я твой — и ты моя!

Онъ ринулся къ ней, онъ хотѣлъ поцѣловать эти улы-

бающіяся, эти торжествующія губы — и онъ поцѣловалъ ихъ, онъ почувствовалъ ихъ горячее прикосновеніе, онъ почувствовалъ даже влажный холодокъ ея зубовъ — и восторженный крикъ огласилъ полутемную комнату.

Вбѣжавшая Платонида Ивановна нашла его въ обморокѣ. Онъ стоялъ на колѣняхъ; голова его лежала на креслѣ; протянутыя впередъ руки безсильно свисли; блѣдное лицо дышало упоеніемъ безмѣрнаго счастія.

Платонида Ивановна такъ и упала возлѣ него, обняла его станъ, залепетала: — Яша! Яшенька! Яшенёночекъ!! — попыталась приподнять его своими костлявыми руками.... онъ не шевелился. Тогда Платонида Ивановна принялась кричать не своимъ голосомъ. Вбѣжала служанка. Вдвоемъ онѣ кое-какъ его подняли, усадили, начали прыскать въ него водою — да еще съ образа....

Онъ пришелъ въ себя. — Но на разспросы тетки онъ только улыбался — да съ такимъ блаженнымъ видомъ, что она еще пуще перетревожилась — и то его крестила, то себя.... Аратовъ, наконецъ, отвелъ ея руку и все съ тѣмъ же блаженнымъ выраженьемъ на лицѣ промолвилъ: — Да Платоша, что съ вами?

— Съ тобой-то что, Яшенька?

— Со мной? — Я счастливъ.... счастливъ, Платоша.... вотъ что со мной. А теперь я желаю лечь, да спать. — Онъ хотѣлъ-было приподняться — но такую почувствовалъ въ ногахъ, да и во всемъ тѣлѣ, слабость, что безъ помощи тетки да служанки не былъ бы въ состояніи раздѣться — и лечь въ постель. За то онъ заснулъ очень скоро, сохраняя на лицѣ все то же блаженно-восторженное выраженіе. Только лицо его было очень блѣдно.

XVIII.

Когда на слѣдующее утро Платонида Ивановна вошла къ нему — онъ находился все въ томъ же положеніи.... но слабость не прошла — и онъ даже предпочелъ остаться въ постели. Блѣдность его лица особенно не понравилась Платонидѣ Ивановнѣ. — Что̀ это, Господи! думалось ей — кровинки въ лицѣ нѣтъ, отъ бульона отказывается, лежитъ да посмѣивается — и все увѣряетъ, что здоровехонекъ! — Онъ отказался и отъ завтрака. — Что же это ты, Яша? — спрашивала она его — такъ весь день и намѣренъ пролежать? — А хоть бы и такъ? — отвѣтилъ ласково Аратовъ. — Самая эта ласковость опять-таки не понравилась Платонидѣ Ивановнѣ. Аратовъ имѣлъ видъ человѣка, который узналъ великую, для него очень пріятную тайну — и ревниво держитъ и хранитъ ее про себя. Онъ дожидался ночи — не то что съ нетерпѣніемъ, а съ любопытствомъ.— Что же далѣе? — спрашивалъ онъ себя; — что̀ будетъ? — Изумляться, недоумѣвать онъ пересталъ: онъ не сомнѣвался въ томъ, что вступилъ въ сообщеніе съ Кларой; что они любятъ другъ друга.... И въ этомъ онъ не сомнѣвался. Только.... что̀ же можетъ выдти изъ такой любви? — Вспоминалъ онъ тотъ поцѣлуй.... и чудный холодъ быстро и сладко пробѣгалъ по всѣмъ его членамъ. — «Такимъ поцѣлуемъ, думалось ему, и Ромео и Джулліета не мѣнялись! Но въ другой разъ я лучше выдержу.... Я буду обладать ею.... Она придетъ въ вѣнкѣ изъ маленькихъ розъ на черныхъ кудряхъ....»

— Но какъ же дальше? Вѣдь вмѣстѣ жить намъ нельзя же? Стало быть, мнѣ придется умереть, чтобы быть вмѣстѣ съ нею? Не за этимъ ли она приходила — и не *такъ* ли она хочетъ меня взять?

— Ну такъ что же? Умереть — такъ умереть. Смерть теперь не страшитъ меня нисколько. Уничтожить она меня вѣдь не можетъ? Напротивъ, только *такъ* и *тамъ* я буду счастливъ.... какъ не былъ счастливъ въ жизни, какъ и она не была.... Вѣдь мы оба — нетронутые! — О, этотъ поцѣлуй!

Платонида Ивановна то-и-дѣло заходила къ Аратову въ комнату; не безпокоила его вопросами — только взглядывала на него, шептала, вздыхала — и уходила опять. — Но вотъ онъ отказался и отъ обѣда.... Это было уже изъ-рукъвонъ плохо. Старушка отправилась за своимъ знакомымъ, участковымъ лекаремъ, въ котораго она вѣрила только потому, что человѣкъ онъ былъ не пьющій и женился на нѣмкѣ. Аратовъ удивился, когда она привела его къ нему; но Платонида Ивановна такъ настойчиво стала просить своего Яшеньку позволить Парамону Парамонычу (такъ звали лекаря) осмотрѣть его — ну хоть для нея! — что Аратовъ согласился. Парамонъ Парамонычъ пощупалъ у него пульсъ, посмотрѣлъ на языкъ — кое-что поразспросилъ — и объявилъ, наконецъ, что необходимо нужно его «поавскультировать». Аратовъ былъ въ такомъ повадливомъ настроеніи духа, что и на это согласился. Лекарь деликатно обнажилъ его грудь, деликатно постучалъ, послушалъ, похмыкалъ — прописалъ капли да микстурку — а главное: посовѣтовалъ быть спокойнымъ и воздерживаться отъ сильныхъ впечатлѣній. — «Вотъ какъ! подумалъ Аратовъ.... Ну, братъ, поздно хватился!» — Что̀ такое съ Яшей? — спросила Платонида Ивановна, вручая Парамону Парамонычу на порогѣ двери трехъ-рублевую ассигнацію. Участковый лекарь, который какъ всѣ современные медики — особенно тѣ изъ нихъ, что̀ мундиръ носятъ — любилъ пощеголять

учеными терминами, объявилъ ей, что у ея племянника всѣ діоптрическіе симптомы нервозной кардіалгіи — да и фебрисъ есть. — Ты, однако, батюшка, говори попроще, — отрѣзала Платонида Ивановна: латынью-то не пугай; ты не въ аптекѣ! — Сердце не въ порядкѣ, — объяснилъ лекарь; — ну и лихорадочка.... и повторилъ свой совѣтъ на счетъ спокойствія и воздержанія. — Да вѣдь опасности нѣтъ? — съ строгостью спросила Платонида Ивановна (смотри-молъ, опять въ латынь не заѣзжай!). — Пока не предвидится!

Лекарь ушелъ — а Платонида Ивановна пригорюнилась.... однако, послала въ аптеку за лекарствомъ, которое Аратовъ не принялъ, несмотря на ея просьбы Онъ отказался также и отъ грудного чаю. — И чего вы такъ безпокоитесь, голубушка? говорилъ онъ ей: — увѣряю васъ, я теперь самый здоровый и счастливый человѣкъ въ цѣломъ свѣтѣ! — Платонида Ивановна только головой качала. Къ вечеру съ нимъ сдѣлался небольшой жаръ; и все-таки онъ настоялъ на томъ, чтобы она не оставалась въ его комнатѣ и ушла спать къ себѣ. Платонида Ивановна повиновалась — но не раздѣлась и не легла; сѣла въ кресло — и все прислушивалась да шептала свою молитву.

Она начала было дремать, какъ вдругъ страшный, пронзительный крикъ разбудилъ ее. Она вскочила, бросилась въ кабинетъ къ Аратову — и, по вчерашнему, нашла его лежавшимъ на полу.

Но онъ не пришелъ въ себя по вчерашнему, какъ ни бились надъ нимъ. Съ нимъ въ ту же ночь сдѣлалась горячка, усложненная воспаленіемъ сердца.

Черезъ нѣсколько дней онъ скончался.

Странное обстоятельство сопровождало его второй обморокъ. Когда его подняли и уложили, въ его стиснутой правой рукѣ оказалась небольшая прядь черныхъ женскихъ

волосъ. Откуда взялись эти волосы? У Анны Семеновны была такая прядь, оставшаяся отъ Клары; но съ какой стати было ей отдать Аратову такую для нея дорогую вещь? Развѣ какъ нибудь въ дневникъ она ее заложила — и не замѣтила, какъ отдала?

Въ предсмертномъ бреду Аратовъ называлъ себя Ромео.... послѣ отравы; говорилъ о заключенномъ, о совершенномъ бракѣ; — о томъ, что онъ знаетъ теперь, что̀ такое наслажденіе. Особенно ужасна была для Платоши минута, когда Аратовъ, нѣсколько придя въ себя, и увидавъ ее возлѣ своей постели, сказалъ ей: «Тётя, что̀ ты плачешь? — тому, что я умереть долженъ? Да развѣ ты не знаешь, что любовь сильнѣе смерти?... Смерть! Смерть, гдѣ жало твое? Не плакать — а радоваться должно — такъ же какъ и я радуюсь»....

И опять на лицѣ умирающаго засіяла та блаженная улыбка, отъ которой такъ жутко становилось бѣдной старухѣ.

Буживаль. — Октябрь, 1882.

СТИХОТВОРЕНІЯ

ВЪ ПРОЗѢ.

Отъ редакціи «Вѣстника Европы».

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, уступая нашей просьбѣ, далъ намъ свое согласіе подѣлиться съ читателями журнала теперь же, не откладывая, — тѣми мимолетными замѣтками, мыслями, образами, которые отмѣчались у него на листкахъ, подъ тѣмъ или другимъ впечатлѣніемъ текущей жизни, какъ его личной, такъ и общественной, за послѣднія пять лѣтъ. Они не нашли себѣ мѣста, подобно многимъ другимъ, въ тѣхъ уже законченныхъ произведеніяхъ автора, которыя успѣли появиться въ свѣтъ, и образовали изъ себя цѣлую коллекцію; авторъ выбралъ изъ нихъ пока до пятидесяти отрывковъ.

Въ письмѣ къ намъ, сопровождавшемъ печатаемые нами теперь листки, И. С. Тургеневъ въ заключеніе говоритъ:

....«Пусть вашъ читатель не пробѣгаетъ этихъ *стихотвореній въ прозѣ* сподрядъ: ему, вѣроятно, скучно ста-

нетъ — и книжка вывалится у него изъ рукъ. Но пусть онъ читаетъ ихъ въ раздробь: сегодня одно, завтра другое, — и которое-нибудь изъ нихъ, можетъ быть, заронитъ ему что-нибудь въ душу»....

Листки не имѣютъ общаго заглавія; авторъ на оберткѣ назвалъ ихъ: «Senilia» — стариковскія; — но мы предпочли невзначай оброненныя авторомъ слова въ вышеприведенномъ заключеніи его письма къ намъ: «Стихотворенія въ прозѣ», — и печатаемъ листки подъ этимъ именно, общимъ заглавіемъ. Оно, по нашему мнѣнію, вполнѣ выражаетъ какъ источникъ, изъ котораго могли явиться подобныя замѣтки въ душѣ писателя, извѣстнаго своею чуткостью къ разнообразнымъ вопросамъ жизни, такъ и то впечатлѣніе, которое они могутъ произвести на читателя, «заронивъ ему въ душу» — многое. Это, дѣйствительно, — стихотворенія, несмотря на то, что они написаны въ прозѣ. Помѣщаемъ ихъ — въ хронологическомъ порядкѣ, — начиная съ 1878 года.

М. С.

28 октября, 1882 г.

I

1878-ой годъ.

Деревня.

Послѣдній день іюля мѣсяца; на тысячу верстъ кругомъ Россія — родной край.

Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на немъ — не то плыветъ, не то таетъ. Безвѣтріе, теплынь.... воздухъ — молоко парное!

Жаворонки звенятъ; воркуютъ зобастые голуби; молча рѣютъ ласточки; лошади фыркаютъ и жуютъ; собаки не лаютъ и стоятъ, смирно повиливая хвостами.

И дымкóмъ-то пахнетъ, и травой — и дёгтемъ маленько — и маленько кожей. — Коноплянники уже вошли въ силу и пускаютъ свой тяжелый, но пріятный духъ.

Глубокій, но пологій оврагъ. По бокамъ въ нѣсколько рядовъ головастыя, къ низу исщепленныя ракиты. По оврагу бѣжитъ ручей; на днѣ его мелкіе камешки словно дрожатъ сквозь свѣтлую рябь. — Вдали, на концѣ-краѣ земли и неба — синеватая черта большой рѣки.

Вдоль оврага — по одной сторонѣ опрятные амбарчики, клѣтушки съ плотно-закрытыми дверьми; по другой сторонѣ пять-шесть сосновыхъ избъ съ тесовыми крышами. Надъ каждой крышей высокій шестъ скворешницы; надъ каждымъ крылечкомъ вырѣзной желѣзный, крутогривый конекъ. Неровныя стекла оконъ отливаютъ цвѣтами радуги.

Кувшины съ букетами намалеваны на ставняхъ. Передъ каждой избой чинно стоитъ исправная лавочка: на завалинкахъ кошки свернулись клубочкомъ, настороживъ прозрачныя ушки; за высокими порогами прохладно темнѣютъ сѣни.

Я лежу у самаго края оврага на разостланной попонѣ; кругомъ цѣлые вороха только-что скошеннаго, до истомы душистаго сѣна. Догадливые хозяева разбросали сѣно передъ избами: пусть еще немного посохнетъ на припёкѣ; а тамъ и въ сарай! То-то будетъ спать на немъ славно!

Курчавыя дѣтскія головки торчатъ изъ каждаго вороха; хохлатыя курицы ищутъ въ сѣнѣ мошекъ да букашекъ; бѣлогубый щенокъ барахтается въ спутанныхъ былинкахъ.

Русокудрые парни въ чистыхъ, низко-подпоясанныхъ рубахахъ, въ тяжелыхъ сапогахъ съ оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телѣгу, — зубоскалятъ.

Изъ окна выглядываетъ круглолицая молодка; смѣется, не то ихъ словамъ, не то вознѣ ребятъ въ наваленномъ сѣнѣ.

Другая молодка сильными руками тащитъ большое мокрое ведро изъ колодца.... Ведро дрожитъ и качается на веревкѣ, роняя длинныя, огнистыя капли.

Передо мной стоитъ старуха хозяйка въ новой клѣтчатой паневѣ, въ новыхъ котахъ.

Крупныя, дутыя бусы въ три ряда обвились вокругъ смуглой, худой шеи; сѣдая голова повязана желтымъ платкомъ съ красными крапинками; низко нависъ онъ надъ потускнѣвшими глазами.

Но привѣтливо улыбаются старческіе глаза; улыбается все морщинистое лицо. Чай, седьмой десятокъ доживаетъ старушка.... а и теперь еще видать: красавица была въ свое время!

Растопыривъ загорѣлые пальцы правой руки держитъ

она горшокъ съ холоднымъ, неснятымъ молокомъ, прямо изъ погреба; стѣнки горшка покрыты росинками, точно бисеромъ. На ладони лѣвой руки старушка подноситъ мнѣ большой ломоть еще теплаго хлѣба. — «Кушай, молъ, на здоровье, заѣзжій гость!»

Пѣтухъ вдругъ закричалъ и хлопотливо захлопалъ крыльями; ему въ отвѣтъ, не спѣша, промычалъ запертой теленокъ.

— «Ай да овесъ!» слышится голосъ моего кучера....

О, довольство, покой, избытокъ русской, вольной деревни! О, тишь и благодать!

И думается мнѣ: къ чему намъ тутъ и крестъ на куполѣ Святой Софіи въ Царь-Градѣ, и все, чего такъ добиваемся мы, городскіе люди?

Февраль, 1878.

Разговоръ.

«Ни на Юнгфрау, ни на Финстерааргорнѣ, еще не бывало человѣческой ноги!»

Вершины Альпъ.... Цѣлая цѣпь крутыхъ уступовъ.... Самая сердцевина горъ.

Надъ горами блѣдно-зеленое, свѣтлое, нѣмое небо. Сильный, жесткій морозъ; твердый, искристый снѣгъ; изъподъ снѣгу торчатъ суровыя глыбы обледенѣлыхъ, обвѣтренныхъ скалъ.

Двѣ громады, два великана вздымаются по обѣимъ сторонамъ небосклона: Юнгфрау и Финстерааргорнъ.

И говоритъ Юнгфрау сосѣду: — Что скажешь новаго? тебѣ виднѣй. — Что тамъ внизу?

Проходитъ нѣсколько тысячъ лѣтъ: одна минута. И грохочетъ въ отвѣтъ Финстерааргорнъ: — Сплошныя облака застилаютъ землю.... Погоди!

Проходятъ еще тысячелѣтія: одна минута.

— Ну а теперь? — спрашиваетъ Юнгфрау.

— Теперь вижу; тамъ внизу все тоже: пестро, мелко. Воды синѣютъ; чернѣютъ лѣса; сѣрѣютъ груды скученныхъ камней. Около нихъ все еще копошатся козявки, знаешь, тѣ двуножки, что̀ еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня.

— Люди?

— Да; люди.

Проходятъ тысячи лѣтъ: одна минута.

— Ну а теперь? — спрашиваетъ Юнгфрау.

— Какъ будто меньше видать козявокъ, — гремитъ Финстерааргорнъ: — яснѣе стало внизу; съузились воды; порѣдѣли лѣса.

Прошли еще тысячи лѣтъ: одна минута.

— Что ты видишь? — говоритъ Юнгфрау.

— Около насъ, вблизи, словно прочистилось, — отвѣчаетъ Финстерааргорнъ; — ну а тамъ, вдали, по долинамъ есть еще пятна, и шевелится что-то.

— А теперь? — спрашиваетъ Юнгфрау, спустя другія тысячи лѣтъ — одну минуту.

— Теперь хорошо, — отвѣчаетъ Финстерааргорнъ, — опрятно стало вездѣ, бѣло совсѣмъ, куда ни глянь.... Вездѣ нашъ снѣгъ, ровный снѣгъ и ледъ. Застыло все. Хорошо теперь, спокойно.

— Хорошо, — промолвила Юнгфрау. — Однако, довольно мы съ тобой поболтали, старикъ. Пора вздремнуть.

— Пора.

Спятъ громадныя горы; спитъ зеленое, свѣтлое небо надъ навсегда замолкшей землей.

Февраль, 1878.

Старуха.

Я шелъ по широкому полю, одинъ.

И вдругъ мнѣ почудились легкіе, осторожные шаги за моей спиною.... Кто-то шелъ по моему слѣду.

Я оглянулся — и увидалъ маленькую, сгорбленную старушку, всю закутанную въ сѣрыя лохмотья. Лицо старушки одно виднѣлось изъ-подъ нихъ: желтое, морщинистое, востроносое, беззубое лицо.

Я подошелъ къ ней.... Она остановилась.

— Кто ты? Чего тебѣ нужно? Ты нищая? Ждешь милостыни?

Старушка не отвѣтила. Я наклонился къ ней и замѣтилъ, что оба глаза у ней были застланы полупрозрачной, бѣловатой перепонкой или плевой, какая бываетъ у иныхъ птицъ: онѣ защищаютъ ею свои глаза отъ слишкомъ яркаго свѣта.

Но у старушки та плева не двигалась и не открывала зѣницъ.... изъ чего я заключилъ, что она слѣпая.

— Хочешь милостыни?—повторилъ я свой вопросъ.— Зачѣмъ ты идешь за мною? — Но старушка по прежнему не отвѣчала, а только съежилась чуть-чуть.

Я отвернулся отъ нея и пошелъ своей дорогой.

И вотъ опять слышу я за собою тѣ же легкіе, мѣрные, словно крадущіеся шаги.

— Опять эта женщина! — подумалось мнѣ; — что она ко мнѣ пристала? — Но я тутъ же мысленно прибавилъ: вѣроятно, она со-слѣпу сбилась съ дороги, идетъ теперь по слуху за моими шагами, чтобы вмѣстѣ со мною выдти въ жилое мѣсто. Да, да; это такъ.

Но странное безпокойство понемногу овладѣло моими мыслями: мнѣ начало казаться, что эта старушка не идетъ только за мною, но что она направляетъ меня, что она меня

толкаетъ то направо, то налѣво, и что я невольно повинуюсь ей.

Однако, я продолжаю идти.... но вотъ впереди на самой моей дорогѣ что-то чернѣетъ и ширится.... какая-то яма.... «Могила!» сверкнуло у меня въ головѣ. — Вотъ куда она толкаетъ меня!

Я круто поворачиваю назадъ. Старуха опять передо мною.... но она видитъ! Она смотритъ на меня большими, злыми, зловѣщими глазами.... глазами хищной птицы.... Я надвигаюсь къ ея лицу, къ ея глазамъ.... Опять та же тусклая плева, тотъ же слѣпой и тупой обликъ....

«Ахъ! думаю я.... эта старуха — моя судьба. Та судьба, отъ которой не уйти человѣку!»

«Не уйти! не уйти! — Что̀ за сумасшествіе.... Надо попытаться». И я бросаюсь въ сторону, по другому направленію.

Я иду проворно.... Но легкіе шаги по прежнему шелестятъ за мною, близко, близко.... И впереди опять темнѣетъ яма.

Я опять поворачиваю въ другую сторону.... И опять тотъ же шелестъ сзади, и то же грозное пятно впереди.

И куда я ни мечусь, какъ заяцъ на угонкахъ.... все то же, то же!

— Стой! думаю я. — Обману-жъ я ее! Не пойду я никуда! — и я мгновенно сажусь на землю.

Старуха стоитъ позади, въ двухъ шагахъ отъ меня. — Я ея не слышу, но я чувствую, что она тутъ.

И вдругъ я вижу: то пятно, что чернѣло вдали, плыветъ, ползетъ само ко мнѣ!

Боже! Я оглядываюсь назадъ.... Старуха смотритъ прямо на меня — и беззубый ротъ скривленъ усмѣшкой....

— Не уйдешь!

Февраль, 1878.

Собака.

Насъ двое въ комнатѣ: собака моя и я.... На дворѣ воетъ страшная буря.

Собака сидитъ передо мною — и смотритъ мнѣ прямо въ глаза.

И я тоже гляжу ей въ глаза.

Она словно хочетъ сказать мнѣ что-то. Она нѣмая, она безъ словъ, она сама себя не понимаетъ — но я ее понимаю.

Я понимаю, что въ это мгновенье и въ ней, и во мнѣ, живетъ одно и то же чувство, что между нами нѣтъ никакой разницы. Мы тожественны; въ каждомъ изъ насъ горитъ и свѣтится тотъ же трепетный огонекъ.

Смерть налетитъ, махнетъ своимъ холоднымъ широкимъ крыломъ....

И конецъ!

Кто потомъ разберетъ, какой именно въ каждомъ изъ насъ горѣлъ огонекъ?

Нѣтъ! это не животное и не человѣкъ мѣняются взглядами....

Это двѣ пары одинаковыхъ глазъ устремлены другъ на друга.

И въ каждой изъ этихъ паръ, въ животномъ и въ человѣкѣ — одна и та же жизнь жмется пугливо къ другой.

Февраль, 1878.

Соперникъ.

У меня былъ товарищъ-соперникъ; не по занятіямъ, не по службѣ или любви; но наши воззрѣнія ни въ чемъ не

сходились, и всякій разъ, когда мы встрѣчались — между нами возникали нескончаемые споры.

Мы спорили обо всёмъ: объ искусствѣ, о религіи, о наукѣ, о земной и загробной — особенно о загробной жизни.

Онъ былъ человѣкъ вѣрующій и восторженный. Однажды онъ сказалъ мнѣ: «Ты надо всѣмъ смѣешься; но если я умру прежде тебя, то я явлюсь къ тебѣ съ того свѣта.... Увидимъ, засмѣешься ли ты тогда?»

И онъ, точно, умеръ прежде меня, въ молодыхъ лѣтахъ еще будучи; но прошли года — и я позабылъ объ его обѣщаніи — объ его угрозѣ.

Разъ, ночью, я лежалъ въ постели — и не могъ, да и не хотѣлъ заснуть.

Въ комнатѣ не было ни темно, ни свѣтло; я принялся глядѣть въ сѣдой полумракъ.

И вдругъ мнѣ почудилось, что между двухъ оконъ стоитъ мой соперникъ — и тихо, и печально качаетъ сверху внизъ головою.

Я не испугался — даже не удивился.... но, приподнявшись слегка и опершись на локоть, сталъ еще пристальнѣе глядѣть на неожиданно появившуюся фигуру.

Тотъ продолжалъ качать головою.

— Что? — промолвилъ я, наконецъ. — Ты торжествуешь? или жалѣешь? — Что это: предостереженіе или упрекъ?... Или ты мнѣ хочешь дать понять, что ты былъ неправъ? что мы оба неправы? Что̀ ты испытываешь? Муки ли ада? Блаженство ли рая? Промолви хоть слово!

Но мой соперникъ не издалъ ни единаго звука — и только по-прежнему печально и покорно качалъ головою — сверху внизъ.

Я засмѣялся.... онъ исчезъ.

Февраль, 1878.

Нищій.

Я проходилъ по улицѣ.... меня остановилъ нищій, дряхлый старикъ.

Воспаленные, слезливые глаза, посинѣлыя губы, шаравыя лохмотья, нечистыя раны.... О, какъ безобразно обгодала бѣдность это несчастное существо!

Онъ протягивалъ мнѣ красную, опухшую, грязную руку.... Онъ стоналъ, онъ мычалъ о помощи.

Я сталъ шарить у себя во всѣхъ карманахъ.... Ни копелька, ни часовъ, ни даже платка.... Я ничего не взялъ ъ собою.

А нищій все ждалъ.... и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала.

Потерянный, смущенный, я крѣпко пожалъ эту грязную, трепетную руку.... «Не взыщи, братъ; нѣтъ у меня ичего, братъ».

Нищій уставилъ на меня свои воспаленные глаза; его шія губы усмѣхнулись — и онъ въ свою очередь стиснулъ ои похолодѣвшіе пальцы.

— Что̀ же, братъ, — прошамкалъ онъ; — и на томъ ласибо. — Это тоже подаяніе, братъ.

Я понялъ, что и я получилъ подаяніе отъ моего брата.

Февраль, 1878.

«Услышишь судъ глупца»....

Пушкинъ.

«Услышишь судъ глупца».... Ты всегда говорилъ правду, великій нашъ пѣвецъ; ты сказалъ ее и на этотъ разъ.

«Судъ глупца и смѣхъ толпы».... Кто не извѣдалъ и ого, и другого?

Всё это можно — и должно переносить; а кто въ силахъ — пусть презираетъ!

Но есть удары, которые больнѣе бьютъ по самому сердцу.... Человѣкъ сдѣлалъ всё, что̀ могъ; работалъ усиленно, любовно, честно.... И честныя души гадливо отворачиваются отъ него; честныя лица загораются негодованіемъ при его имени. «Удались! Ступай вонъ!» кричатъ ему честные, молодые голоса. — «Ни ты намъ не нуженъ, ни твой трудъ; ты оскверняешь наше жилище — ты насъ не знаешь и не понимаешь.... Ты нашъ врагъ!»

Что тогда дѣлать этому человѣку? Продолжать трудиться, не пытаться оправдываться — и даже не ждать болѣе справедливой оцѣнки.

Нѣкогда землепашцы проклинали путешественника, принесшаго имъ картофель, замѣну хлѣба, ежедневную пищу бѣдняка.... Они выбивали изъ протянутыхъ къ нимъ рукъ драгоцѣнный даръ, бросали его въ грязь, топтали ногами.

Теперь они питаются имъ — и даже не вѣдаютъ имени своего благодѣтеля.

Пускай! На что имъ его имя? Онъ, и безъимянный, спасаетъ ихъ отъ голода.

Будемъ стараться только о томъ, чтобы приносимое нами было точно полезною пищей.

Горька неправая укоризна въ устахъ людей, которыхъ любишь.... Но перенести можно и это....

«Бей меня! но выслушай!» — говорилъ аѳинскій вождь спартанскому.

«Бей меня — но будь здоровъ и сытъ!» — должны говорить мы.

Февраль, 1878.

Довольный человѣкъ.

По улицѣ столицы мчится въ припрыжку молодой еще человѣкъ. — Его движенья веселы, бойки; глаза сіяютъ, хмыляются губы, пріятно алѣетъ умиленное лицо.... Онъ весь — довольство и радость.

Что̀ съ нимъ случилось? Досталось ли ему наслѣдство? Повысили ли его чиномъ? Спѣшитъ ли онъ на любовное свиданіе? Или просто — онъ хорошо позавтракалъ, — и чувство здоровья, чувство сытой силы взыграло во всѣхъ его членахъ? Ужъ не возложили ли на его шею твой красивый осьмиугольный крестъ, о, польскій король Станиславъ!

Нѣтъ. Онъ сочинилъ клевету на знакомаго, распространилъ ее тщательно, услышалъ ее, эту самую клевету, изъ устъ другого знакомаго — и *самъ ей повѣрилъ*.

О, какъ доволенъ, какъ даже добръ въ эту минуту этотъ милый, многообѣщающій, молодой человѣкъ!

Февраль, 1878.

Житейское правило.

— Если вы желаете хорошенько насолить и даже поредить противнику, говорилъ мнѣ одинъ старый пройдоха — то упрекайте его въ томъ самомъ недостаткѣ или порокѣ, который вы за собою чувствуете. — Негодуйте.... упрекайте!

Во-первыхъ — это заставитъ другихъ думать, что у васъ этого порока нѣтъ.

Во-вторыхъ — негодованіе ваше можетъ даже быть искреннимъ.... Вы можете воспользоваться укорами собственной совѣсти.

Если вы, напримѣръ, ренегатъ — упрекайте противника въ томъ, что у него нѣтъ убѣжденій!

Если вы сами лакей въ душѣ — говорите ему съ укоризной, что онъ лакей.... лакей цивилизаціи, Европы, соціализма!

— Можно даже сказать: лакей безлакейства! — замѣтилъ я.

— И это можно, — подхватилъ пройдоха.

Февраль, 1878.

Конецъ свѣта.

Сонъ.

Чудилось мнѣ, что я нахожусь гдѣ-то въ Россіи, въ глуши, въ простомъ деревенскомъ домѣ.

Комната большая, низкая, въ три окна; стѣны вымазаны бѣлой краской; мебели нѣтъ. Передъ домомъ голая равнина; постепенно понижаясь, уходитъ она въ даль; сѣрое, одноцвѣтное небо виситъ надъ нею какъ пологъ.

Я не одинъ; человѣкъ десять со мною въ комнатѣ. Люди все простые, просто одѣтые; они ходятъ вдоль и поперегъ, молча, словно крадучись. Они избѣгаютъ другъ друга — и однако безпрестанно мѣняются тревожными взорами.

Ни одинъ не знаетъ, зачѣмъ онъ попалъ въ этотъ домъ и что̀ за люди съ нимъ? На всѣхъ лицахъ безпокойство и унылость.... всѣ поочередно подходятъ къ окнамъ и внимательно оглядываются, какъ бы ожидая чего-то извнѣ.

Потомъ опять принимаются бродить вдоль и поперегъ. Между нами вертится небольшого росту мальчикъ; отъ времени до времени онъ пищитъ тонкимъ однозвучнымъ голосомъ: «Тятенька, боюсь!» — Мнѣ тошно на сердцѣ отъ

этого писку — и я тоже начинаю бояться.... чего? не знаю самъ. Только я чувствую: идетъ и близится большая, большая бѣда.

А мальчикъ нѣтъ, нѣтъ — да запищитъ. Ахъ, какъ бы уйти отсюда! Какъ душно! Какъ томно! какъ тяжело!... Но уйти невозможно.

Это небо — точно саванъ. И вѣтра нѣтъ.... Умеръ воздухъ, что̀-ли?

Вдругъ мальчикъ подскочилъ къ окну и закричалъ тѣмъ же жалобнымъ голосомъ: «Гляньте! гляньте! земля провалилась!»

— «Ка̀къ? провалилась!» — Точно: прежде передъ домомъ была равнина — а теперь онъ стоитъ на вершинѣ страшной горы! — Небосклонъ упалъ, ушелъ внизъ — а отъ самаго дома спускается почти отвѣсная, точно разрытая, черная кручь.

Мы всѣ столпились у окна.... Ужасъ леденитъ наши сердца. — «Вотъ оно.... вотъ оно!» шепчетъ мой сосѣдъ.

И вотъ, вдоль всей далекой земной грани зашевелилось что-то, стали подниматься и падать какіе-то небольшіе, кругловатые бугорки.

«Это — море!» подумалось всѣмъ намъ въ одно и то же мгновеніе. — «Оно сейчасъ насъ всѣхъ затопитъ.... Только какъ же оно можетъ рости и подниматься вверхъ? На эту кручь?»

И однако, оно ростетъ, ростетъ громадно.... Это уже не отдѣльные бугорки мечутся вдали.... Одна сплошная чудовищная волна обхватываетъ весь кругъ небосклона.

Она летитъ, летитъ на насъ! — Морознымъ вихремъ несется она, крутится тьмой кромѣшной. Все задрожало вокругъ — а тамъ, въ этой налетающей громадѣ — и трескъ, и громъ, и тысячегортанный, желѣзный лай....

Га! Какой ревъ и вой! Это земля завыла отъ страха....

Конецъ ей! Конецъ всему!

Мальчикъ пискнулъ еще разъ.... Я хотѣлъ было ухватиться за товарищей — но мы уже всѣ раздавлены, погребены, потоплены, унесены той, какъ чернила, черной, льдистой, грохочущей волной!

Темнота.... темнота вѣчная!

Едва переводя дыханіе, я проснулся.

Мартъ, 1878.

Маша.

Проживая — много лѣтъ тому назадъ — въ Петербургѣ, я, всякій разъ какъ мнѣ случалось нанимать извозчика, вступалъ съ нимъ въ бесѣду.

Особенно любилъ я бесѣдовать съ ночными извозчиками, бѣдными подгородными крестьянами, прибывавшими въ столицу съ окрашенными вохрой санишками и плохой клячёнкой — въ надеждѣ и самимъ прокормиться, и собрать на оброкъ господамъ.

Вотъ однажды нанялъ я такого извозчика.... Парень лѣтъ двадцати, рослый, статный, молодецъ-молодцомъ; глаза голубые, щеки румяныя; русые волосы вьются колечками изъ-подъ надвинутой на самыя брови заплатанной шапоньки. — И какъ только налѣзъ этотъ рваный армячишка на эти богатырскія плечи!

Однако, красивое, безбородое лицо извозчика казалось печальнымъ и хмурымъ.

Разговорился я съ нимъ. И въ голосѣ его слышалась печаль.

— Что, братъ? — спросилъ я его. — Отчего ты не веселъ? Али горе есть какое?

Парень не тотчасъ отвѣчалъ мнѣ.

— Есть, баринъ, есть, — промолвилъ онъ наконецъ. — Да и такое, что лучше быть не надо. Жена у меня померла.

— Ты ее любилъ.... Жену-то свою?

Парень не обернулся ко мнѣ; только голову наклонилъ немного.

— Любилъ, баринъ. Восьмой мѣсяцъ пошелъ.... а не могу забыть. Гложетъ мнѣ сердце.... да и ну! И съ чего ей было помирать-то? Молодая! здоровая!... Въ единъ день холера порѣшила.

— И добрая она была у тебя?

— Ахъ, баринъ! — тяжело вздохнулъ бѣднякъ. — И какъ же дружно мы жили съ ней! Безъ меня скончалась. Я какъ узналъ здѣсь, что ее, значитъ, уже похоронили, — сейчасъ въ деревню поспѣшилъ, домой. Пріѣхалъ — а ужъ за̀-полночь стало. Вошелъ я къ себѣ въ избу, остановился по серёдкѣ и говорю такъ-то тихохонько: «Маша! а Маша!» Только сверчокъ трещитъ. — Заплакалъ я тутотка, сѣлъ на избяной полъ — да ладонью по землѣ какъ хлопну! — Ненасытная, говорю, утроба!... Сожрала ты ее.... сожри-жъ и меня! — Ахъ, Маша!

— Маша! — прибавилъ онъ внезапно упавшимъ голосомъ. И не выпуская изъ рукъ веревочныхъ возжей, онъ выдавилъ рукавицей изъ глазъ слезу, стряхнулъ ее, сбросилъ въ сторону, повелъ плечами — и ужъ больше не произнесъ ни слова.

Слѣзая съ саней, я далъ ему лишній пяти-алтынный. — Онъ поклонился мнѣ низехонько, взявшись обѣими руками за шапку — и поплелся шажкомъ по снѣжной скатерти пустынной улицы, залитой сѣдымъ туманомъ январьскаго мороза.

Апрѣль, 1878.

Дуракъ.

Жилъ-былъ на свѣтѣ дуракъ.

Долгое время онъ жилъ припѣваючи; но по немногу стали доходить до него слухи, что онъ всюду слыветъ за безмозглаго пошлеца.

Смутился дуракъ и началъ печалиться о томъ, какъ бы прекратить тѣ непріятные слухи?

Внезапная мысль озарила наконецъ его темный умишко.... И онъ, ни мало не медля, привелъ ее въ исполненіе.

Встрѣтился ему на улицѣ знакомый — и принялся хвалить извѣстнаго живописца....

— Помилуйте! — воскликнулъ дуракъ. — Живописецъ этотъ давно сданъ въ архивъ.... Вы этого не знаете? — Я отъ васъ этого не ожидалъ.... Вы — отсталый человѣкъ.

Знакомый испугался — и тотчасъ согласился съ дуракомъ.

— Какую прекрасную книгу я прочелъ сегодня! — говорилъ ему другой знакомый.

— Помилуйте! — воскликнулъ дуракъ. — Какъ вамъ не стыдно? Никуда эта книга не годится; всѣ на нее давно махнули рукою. — Вы этого не знаете? — Вы — отсталый человѣкъ.

И этотъ знакомый испугался — и согласился съ дуракомъ.

— Что̀ за чудесный человѣкъ мой другъ N. N.! — говорилъ дураку третій знакомый. — Вотъ истинно благородное существо!

— Помилуйте! — воскликнулъ дуракъ. — N. N. завѣдомый подлецъ! Родню всю ограбилъ. Кто-жъ этого не знаетъ? Вы — отсталый человѣкъ!

Третій знакомый тоже испугался и согласился съ ду-

ракомъ, отступился отъ друга. И кого бы, что̀ бы ни хвалили при дуракѣ — у него на все была одна отповѣдь.

Развѣ иногда прибавитъ съ укоризной: — А вы все еще вѣрите въ авторитеты?

«Злюкъ! Желчевикъ!» начинали толковать о дуракѣ его знакомые. — «Но какая голова!»

«И какой языкъ!» — прибавляли другіе. — «О, да онъ талантъ!»

Кончилось тѣмъ, что издатель одной газеты предложилъ дураку завѣдывать у него критическимъ отдѣломъ.

И дуракъ сталъ критиковать все и всѣхъ, нисколько не мѣняя манеры своей, ни своихъ восклицаній.

Теперь онъ, кричавшій нѣкогда противъ авторитетовъ — самъ авторитетъ, — а юноши передъ нимъ благоговѣютъ — и боятся его.

Да и какъ имъ быть, бѣднымъ юношамъ? — Хоть и не слѣдуетъ — вообще говоря — благоговѣть.... но тутъ, поди, не возблагоговѣй — въ отсталые люди попадешь!

Житье дуракамъ между трусами.

Апрѣль, 1878.

Восточная легенда.

Кто въ Багдадѣ не знаетъ великаго Джіаффара, солнца вселенной?

Однажды — много лѣтъ тому назадъ — онъ былъ еще юношей, — прогуливался Джіаффаръ въ окрестностяхъ Багдада.

Вдругъ до слуха его долетѣлъ хриплый крикъ: кто-то отчаянно взывалъ о помощи.

Джіаффаръ отличался между своими сверстниками благоразуміемъ и обдуманностью; но сердце у него было жалостливое — и онъ надѣялся на свою силу.

Онъ побѣжалъ на крикъ и увидѣлъ дряхлаго старика, притиснутаго къ городской стѣнѣ двумя разбойниками, которые его грабили.

Джіаффаръ выхватилъ свою саблю и напалъ на злодѣевъ: одного убилъ, другого прогналъ.

Освобожденный старецъ палъ къ ногамъ своего избавителя и, облобызавъ край его одежды, воскликнулъ: «Храбрый юноша, твое великодушіе не останется безъ награды. На видъ я — убогій нищій; но только на видъ. Я человѣкъ не простой. — Приходи завтра раннимъ утромъ на главный базаръ; я буду ждать тебя у фонтана — и ты убѣдишься въ справедливости моихъ словъ».

Джіаффаръ подумалъ: «На видъ человѣкъ этотъ нищій, точно; однако — всяко бываетъ. Отчего не попытаться?» — и отвѣчалъ: «хорошо, отецъ мой; приду».

Старикъ взглянулъ ему въ глаза — и удалился.

На другое утро, чуть забрезжилъ свѣтъ, Джіаффаръ отправился на базаръ. Старикъ уже ожидалъ его, облокотясь на мраморную чашу фонтана.

Молча взялъ онъ Джіаффара за руку и привелъ его въ небольшой садъ, со всѣхъ сторонъ окруженный высокими стѣнами.

По самой серединѣ этого сада, на зеленой лужайкѣ, росло дерево необычайнаго вида.

Оно походило на кипарисъ; только листва на немъ была лазореваго цвѣта.

Три плода — три яблока — висѣло на тонкихъ, къ верху загнутыхъ вѣткахъ: — одно, средней величины, продолговатое, молочно-бѣлое; другое, большое, круглое, ярко-красное; третье маленькое, сморщенное, желтоватое.

Все дерево слабо шумѣло, хоть и не было вѣтра. Оно звенѣло тонко и жалобно, словно стеклянное; казалось, оно чувствовало приближеніе Джіаффара.

«Юноша!» — промолвилъ старецъ. — «Сорви любой изъ этихъ плодовъ и знай: сорвешь и съѣшь бѣлый — будешь умнѣе всѣхъ людей; сорвешь и съѣшь красный — будешь богатъ, какъ еврей Ротшильдъ; сорвешь и съѣшь желтый — будешь нравиться старымъ женщинамъ. Рѣшайся!... и не мѣшкай. Черезъ часъ и плоды завянутъ, и само дерево уйдетъ въ нѣмую глубь земли!»

Джіаффаръ понурилъ голову — и задумался. — «Какъ тутъ поступить?» — произнесъ онъ въ полголоса, какъ бы разсуждая самъ съ собою. — «Сдѣлаешься слишкомъ умнымъ — пожалуй, жить не захочется; сдѣлаешься богаче всѣхъ людей — будутъ всѣ тебѣ завидовать; лучше же я сорву и съѣмъ третье, сморщенное яблоко!»

Онъ такъ и поступилъ; а старецъ засмѣялся беззубымъ смѣхомъ и промолвилъ: «О, мудрѣйшій юноша! Ты избралъ благую часть! — На что тебѣ бѣлое яблоко? Ты и такъ умнѣе Соломона. — Красное яблоко также тебѣ не нужно... И безъ него ты будешь богатъ. Только богатству твоему никто завидовать не станетъ».

— «Повѣдай мнѣ, старецъ», — промолвилъ, встрепенувшись, Джіаффаръ. «Гдѣ живетъ почтенная мать нашего богоспасаемаго халифа?»

Старикъ поклонился до земли — и указалъ юношѣ дорогу.

Кто въ Багдадѣ не знаетъ солнца вселенной, великаго, знаменитаго Джіаффара?

Апрѣль, 1878.

Два четверостишія.

Существовалъ нѣкогда городъ, жители котораго до того страстно любили поэзію, что если проходило нѣсколько недѣль и не появлялось новыхъ прекрасныхъ стиховъ —

они считали такой поэтическій неурожай общественнымъ бѣдствіемъ.

Они надѣвали тогда свои худшія одежды, посыпали пепломъ головы — и, собираясь толпами на площадяхъ, проливали слезы, горько роптали на музу, покинувшую ихъ.

Въ одинъ подобный злополучный день молодой поэтъ Юній появился на площади, переполненной скорбѣвшимъ народомъ.

Проворными шагами взобрался онъ на особенно-устроенный амвонъ — и подалъ знакъ, что желаетъ произнести стихотвореніе.

Ликторы тотчасъ замахали жезлами. «Молчаніе! вниманіе!» зычно возопили они — и толпа затихла, выжидая.

«Друзья! Товарищи!» — началъ Юній громкимъ, но не совсѣмъ твердымъ голосомъ:

«Друзья! Товарищи! Любители стиховъ!
Поклонники всего, что стройно и красиво!
Да не смущаетъ васъ мгновенье грусти темной!
Придетъ желанный мигъ.... и свѣтъ разсѣетъ тьму».

Юній умолкъ.... а въ отвѣтъ ему со всѣхъ концовъ площади, поднялся гамъ, свистъ, хохотъ.

Всѣ обращенныя къ нему лица пылали негодованіемъ, всѣ глаза сверкали злобой, всѣ руки поднимались, угрожали, сжимались въ кулаки!

«Чѣмъ вздумалъ удивить!» — ревѣли сердитые голоса. «Долой съ амвона бездарнаго риѳмоплета! Вонъ дурака! Гнилыми яблоками, тухлыми яйцами шута гороховаго! Подайте камней! Камней сюда!»

Кубаремъ скатился съ амвона Юній.... но онъ еще не успѣлъ прибѣжать къ себѣ домой, — какъ до слуха его долетѣли раскаты восторженныхъ рукоплесканій, хвалебныхъ возгласовъ и кликовъ.

Исполненный недоумѣнья, стараясь, однако, не быть замѣченнымъ (ибо опасно раздражать залютѣвшаго звѣря)— возвратился Юній на площадь.

И что же онъ увидѣлъ?

Высоко надъ толпою, надъ ея плечами, стоялъ на золотомъ плоскомъ щитѣ, облеченный пурпурной хламидой, съ лавровымъ вѣнкомъ на взвившихся кудряхъ, стоялъ его соперникъ, молодой поэтъ Юлій.... А народъ вопилъ кругомъ: «Слава! Слава! Слава безсмертному Юлію! Онъ утѣшилъ насъ въ нашей печали, въ нашемъ горѣ великомъ! Онъ подарилъ насъ стихами слаще меду, звучнѣе кимвала, душистѣе розы, чище небесной лазури! Несите его съ торжествомъ, обдавайте его вдохновенную голову мягкой волной ѳиміама, прохлаждайте его чело мѣрнымъ колебаніемъ пальмовыхъ вѣтвей, расточайте у ногъ его всѣ благовонія аравійскихъ мирръ! Слава!»

Юній приблизился къ одному изъ славословящихъ.— Повѣдай мнѣ, о, мой согражданинъ! какими стихами осчастливилъ васъ Юлій?—Увы! меня не было на площади, когда онъ произнесъ ихъ! Повтори ихъ, если ты ихъ запомнилъ, сдѣлай милость!

— «Такіе стихи—да не запомнить?» ретиво отвѣтствовалъ вопрошенный.—«За кого-жъ ты меня принимаешь? Слушай—и ликуй, ликуй вмѣстѣ съ нами!»

«Любители стиховъ!»—такъ началъ божественный Юлій....

«Любители стиховъ! Товарищи! друзья!
Поклонники всего, что стройно, звучно, нѣжно!
Да не смущаетъ васъ мгновенье скорби тяжкой!
Желанный мигъ придетъ—и день прогонитъ ночь!»

— «Каково?»

— Помилуй!—возопилъ Юній—да это мои стихи!— Юлій, должно быть, находился въ толпѣ, когда я про-

изнесъ ихъ — онъ услышалъ и повторилъ ихъ, едва измѣнивъ — и ужъ конечно не къ лучшему, — нѣсколько выраженій!

— «Ага! Теперь я узнаю тебя.... Ты Юній», — возразилъ, насупивъ брови, остановленный имъ гражданинъ. — «Завистникъ или глупецъ!... вообрази только одно, несчастный! У Юлія какъ возвышенно сказано: «И день прогонитъ ночь!...» А у тебя — чепуха какая-то: «И свѣтъ разсѣетъ тьму!?» — Какой свѣтъ?! Какую тьму?!»

— Да развѣ это не все едино.... — началъ было Юній....

— «Прибавь еще слово, перебилъ его гражданинъ — я крикну народу.... и онъ тебя растерзаетъ!»

Юній благоразумно умолкъ, а слышавшій его разговоръ съ гражданиномъ сѣдовласый старецъ подошелъ къ бѣдному поэту и, положивъ ему руку на плечо, промолвилъ:

— «Юній! Ты сказалъ свое — да не вò время; а тотъ не свое сказалъ — да во время. — Слѣдовательно, онъ правъ — а тебѣ остаются утѣшенія собственной твоей совѣсти».

Но пока совѣсть — какъ могла и какъ умѣла.... довольно плохо, правду сказать — утѣшала прижавшагося къ сторонкѣ Юнія — вдали, среди грома и плеска ликованій, въ золотой пыли всепобѣднаго солнца, блистая пурпуромъ, темнѣя лавромъ сквозь волнистыя струи обильнаго ѳиміама, съ величественной медленностью, подобно царю, шествующему на царство, плавно двигалась гордо-выпрямленная фигура Юлія.... и длинныя вѣтви пальмъ поочередно склонялись передъ нимъ, какъ бы выражая своимъ тихимъ вздыманьемъ, своимъ покорнымъ наклономъ — то непрестанно возобновлявшееся обожаніе, которое переполняло сердца очарованныхъ имъ согражданъ!

Апрѣль, 1878.

Воробей.

Я возвращался съ охоты и шелъ по аллеѣ сада. Со-ıка бѣжала впереди меня.

Вдругъ она уменьшила свои шаги и начала красться, ıкъ бы зачуявъ передъ собою дичь.

Я глянулъ вдоль аллеи и увидалъ молодого воробья съ ıелтизной около клюва и пухомъ на головѣ. Онъ упалъ ъъ гнѣзда (вѣтеръ сильно качалъ березы аллеи) и сидѣлъ ıеподвижно, безпомощно растопыривъ едва проростав шія рылышки.

Моя собака медленно приближалась къ нему, какъ ıругъ, сорвавшись съ близкаго дерева, старый черногру-ıый воробей камнемъ упалъ передъ самой ея мордой — и ıесь взъерошенный, искаженный, съ отчаяннымъ и жал-ıмъ пискомъ прыгнулъ раза два въ направленіи зубастой, ıскрытой пасти.

Онъ кинулся спасать, онъ заслонилъ собою свое дѣ-ıще.... но все его маленькое тѣло трепетало отъ ужаса, ıлосокъ одичалъ и охрипъ, онъ замиралъ, онъ жертвовалъ ıбою!

Какимъ громаднымъ чудовищемъ должна была ему ка-ıться собака! И все-таки онъ не могъ усидѣть на своей ıысокой, безопасной вѣткѣ.... Сила, сильнѣе его воли, сбро-ıила его оттуда.

Мой Трезоръ остановился, попятился.... Видно, и онъ ıризналъ эту силу.

Я поспѣшилъ отозвать смущеннаго пса — и удалился, ıагоговѣя.

Да; не смѣйтесь. Я благоговѣлъ передъ той маленькой, ероической птицей, передъ любовнымъ ея порывомъ.

Любовь, думалъ я, сильнѣе смерти и страха смерти.— Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Апрѣль, 1878.

Черепья.

Роскошная, пышно-освѣщенная зала; множество кавалеровъ и дамъ.

Всѣ лица оживлены, рѣчи бойки.... Идетъ трескучій разговоръ объ одной извѣстной пѣвицѣ. Ее величаютъ божественной, безсмертной.... О, какъ хорошо пустила она вчера свою послѣднюю трель!

И вдругъ — словно по манію волшебнаго жезла — со всѣхъ головъ и со всѣхъ лицъ слетѣла тонкая шелуха кожи— и мгновенно выступила наружу мертвенная бѣлизна черѐпьевъ, зарябили синеватымъ оловомъ обнаженныя десны и скулы.

Съ ужасомъ глядѣлъ я, какъ двигались и шевелились эти десны и скулы — какъ поворачивались, лоснясь при свѣтѣ лампъ и свѣчей, эти шишковатые, костяные шары— и какъ вертѣлись въ нихъ другіе, меньшіе шары — шары обѐзсмысленныхъ глазъ.

Я не смѣлъ прикоснуться къ собственному лицу, не смѣлъ взглянуть на себя въ зеркало.

А черѐпья поворачивались по прежнему.... И съ прежнимъ трескомъ, мелькая красными лоскуточками изъ-за оскаленныхъ зубовъ, проворные языки лепетали о томъ, какъ удивительно, какъ неподражаемо безсмертная.... да, безсмертная пѣвица пустила свою послѣднюю трель!

Апрѣль, 1878.

Чернорабочій и Бѣлоручка.

Разговоръ.

ЧЕРНОРАБОЧІЙ.

Что ты къ намъ лѣзешь? Чего тебѣ надо? Ты не нашъ... Ступай прочь!

БѢЛОРУЧКА.

Я вашъ, братцы!

ЧЕРНОРАБОЧІЙ.

Какъ бы не такъ! Нашъ! Что̀ выдумалъ! Посмотри хоть на мои руки. Видишь, какія онѣ грязныя? И навозомъ отъ нихъ несетъ, и дегтемъ, — а твои вонъ руки бѣлыя. И чѣмъ отъ нихъ пахнетъ?

БѢЛОРУЧКА — *подавая свои руки.*

Понюхай.

ЧЕРНОРАБОЧІЙ — *понюхавъ руки.*

Что̀ за притча? Словно желѣзомъ отъ нихъ отдаетъ.

БѢЛОРУЧКА.

Желѣзомъ и есть. Цѣлыхъ шесть лѣтъ я на нихъ носилъ кандалы.

ЧЕРНОРАБОЧІЙ.

А за что же это?

БѢЛОРУЧКА.

А за то, что я о вашемъ же добрѣ заботился, хотѣлъ освободить васъ, сѣрыхъ темныхъ людей, возставалъ противъ притѣснителей вашихъ, бунтовалъ.... Ну меня и засадили.

ЧЕРНОРАБОЧІЙ.

Засадили? Вольно-жъ тебѣ было бунтовать!

Два года спустя.

ТОТЪ ЖЕ ЧЕРНОРАБОЧІЙ — *другому.*

Слышь, Пётра!.... Помнишь, позапрошлымъ лѣтомъ одинъ такой бѣлоручка съ тобой бесѣдовалъ?

ДРУГОЙ ЧЕРНОРАБОЧІЙ.

Помню.... а что?

ПЕРВЫЙ ЧЕРНОРАБОЧІЙ.

Его сегодня, слышь, повѣсятъ; такой приказъ вышелъ.

ВТОРОЙ ЧЕРНОРАБОЧІЙ.

Все бунтовалъ?

ПЕРВЫЙ ЧЕРНОРАБОЧІЙ.

Все бунтовалъ.

ВТОРОЙ ЧЕРНОРАБОЧІЙ.

Да.... Ну вотъ что, братъ Митрій; нельзя-ли намъ той самой веревочки раздобыть, на которой его вѣшать будутъ; говорятъ, ба-альшое счастье отъ этого въ дому бываетъ!

ПЕРВЫЙ ЧЕРНОРАБОЧІЙ.

Это ты справедливо. Надо попытаться, братъ Пётра.

Апрѣль, 1878.

Роза.

Послѣдніе дни августа.... Осень уже наступала.

Солнце садилось. Внезапный, порывистый ливень, безъ грому и безъ молній, только-что промчался надъ нашей широкой равниной.

Садъ передъ домомъ горѣлъ и дымился, весь залитый пожаромъ зари и потопомъ дождя.

Она сидѣла за столомъ въ гостиной и съ упорной задумчивостью глядѣла въ садъ сквозь полу-раскрытую дверь.

Я зналъ, что̀ свершалось тогда въ ея душѣ; я зналъ, что послѣ недолгой, хоть и мучительной борьбы, она въ этотъ самый мигъ отдавалась чувству, съ которымъ уже не могла болѣе сладить.

Вдругъ она поднялась, проворно вышла въ садъ и скрылась.

Пробилъ часъ.... пробилъ другой; она не возвращалась.

Тогда я всталъ, и выйдя изъ дому, отправился по аллеѣ, по которой — я въ томъ не сомнѣвался — пошла и она.

Все потемнѣло вокругъ; ночь уже надвинулась. Но на сыромъ песку дорожки, ярко алѣя даже сквозь разлитую мглу, виднѣлся кругловатый предметъ.

Я наклонился. То̀ была молодая, чуть распустившаяся роза. Два часа тому назадъ, я видѣлъ эту самую розу на ея груди.

Я бережно поднялъ упавшій въ грязь цвѣтокъ и, вернувшись въ гостиную, положилъ его на столъ, передъ ея кресломъ.

Вотъ и она вернулась наконецъ — и, легкими шагами пройдя всю комнату, сѣла за столъ.

Ея лицо и поблѣднѣло, и ожило; быстро, съ веселымъ смущеньемъ, бѣгали по сторонамъ опущенные, какъ бы уменьшенные глаза.

Она увидала розу, схватила ее, взглянула на ея измятые, запачканные лепестки, взглянула на меня — и глаза ея, внезапно остановившись, засіяли слезами.

— О чемъ вы плачете? — спросилъ я.

— Да вотъ объ этой розѣ. Посмотрите, что̀ съ ней сталось.

Тутъ я вздумалъ выказать глубокомысліе.

— Ваши слезы смоютъ эту грязь, — промолвилъ я съ значительнымъ выраженіемъ.

— Слезы не моютъ, слезы жгутъ, — отвѣчала она и, обернувшись къ камину, бросила цвѣтокъ въ умиравшее пламя.

— Огонь сожжетъ еще лучше слезъ, — воскликнула она не безъ удали, — и прекрасные глаза, еще блестѣвшіе отъ слезъ, засмѣялись дерзостно и счастливо.

Я понялъ, что и она была сожжена.

Апрѣль, 1878.

Памяти Ю. П. Вревской.

На грязи, на вонючей сырой соломѣ, подъ навѣсомъ ветхаго сарая, на скорую руку превращеннаго въ походный военный госпиталь, въ разоренной болгарской деревушкѣ — слишкомъ двѣ недѣли умирала она отъ тифа.

Она была въ безпамятствѣ — и ни одинъ врачъ даже не взглянулъ на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногахъ — поочередно поднимались съ своихъ зараженныхъ логовищъ, чтобы поднести къ ея запекшимся губамъ нѣсколько капель воды въ черепкѣ разбитаго горшка.

Она была молода, красива; высшій свѣтъ ее зналъ; объ ней освѣдомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились.... два-три человѣка тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бываютъ улыбки хуже слезъ.

Нѣжное, кроткое сердце.... и такая сила, такая жажда жертвы! — Помогать нуждающимся въ помощи.... она не вѣдала другого счастія.... не вѣдала — и не извѣдала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она съ этимъ давно помирилась — и вся пылая огнемъ неугасимой вѣры, отдалась на служеніе ближнимъ.

Какіе завѣтные клады схоронила она тамъ въ глубинѣ души, въ самомъ ея тайникѣ — никто не зналъ никогда — а теперь, конечно, не узнаетъ.

Да и къ чему? Жертва принесена.... дѣло сдѣлано.

Но горестно думать, что никто не сказалъ спасибо даже ея трупу — хоть она сама и стыдилась, и чуждалась всякаго спасибо.

Пусть же не оскорбится ея милая тѣнь этимъ позднимъ цвѣткомъ, который я осмѣливаюсь возложить на ея могилу!

Сентябрь, 1878.

Послѣднее свиданіе.

Мы были когда-то короткими, близкими друзьями.... Но насталъ недобрый мигъ — и мы разстались, какъ враги.

Прошло много лѣтъ.... И вотъ, заѣхавъ въ городъ, гдѣ онъ жилъ, я узналъ, что онъ безнадежно боленъ — и желаетъ видѣться со мною.

Я отправился къ нему, вошелъ въ его комнату.... Взоры наши встрѣтились.

Я едва узналъ его. Боже! что съ нимъ сдѣлалъ недугъ!

Желтый, высохшій, съ лысиной во всю голову, съ уз-

кой сѣдой бородой, онъ сидѣлъ въ одной, нарочно изрѣзанной рубахѣ.... Онъ не могъ сносить давленія самаго легкаго платья. Порывисто протянулъ онъ мнѣ страшно-худую, словно обглоданную руку, усиленно прошепталъ нѣсколько невнятныхъ словъ — привѣтъ-ли то былъ, упрекъ-ли — кто знаетъ? Изможденная грудь заколыхалась — и на съёженные зрачки загорѣвшихся глазъ скатились двѣ скупыя, страдальческія слезинки.

Сердце во мнѣ упало.... Я сѣлъ на стулъ возлѣ него — и, опустивъ невольно взоры передъ тѣмъ ужасомъ и безобразіемъ, также протянулъ руку.

Но мнѣ почудилось, что не его рука взялась за мою.

Мнѣ почудилось, что между нами сидитъ высокая, тихая, бѣлая женщина. Длинный покровъ облекаетъ ее съ ногъ до головы. Никуда не смотрятъ ея глубокіе, блѣдные глаза; ничего не говорятъ ея блѣдныя, строгія губы....

Эта женщина соединила наши руки.... Она навсегда примирила насъ.

Да.... Смерть насъ примирила....

Апрѣль, 1878.

Посѣщеніе.

Я сидѣлъ у раскрытаго окна.... утромъ, раннимъ утромъ перваго мая.

Заря еще не занималась; но уже блѣднѣла, уже холодѣла темная, теплая ночь.

Туманъ не вставалъ, не бродилъ вѣтерокъ, все было одноцвѣтно и безмолвно.... но чуялась близость пробужденія — и въ порѣдѣвшемъ воздухѣ пахло жёсткой сыростью росы.

Вдругъ, въ мою комнату, сквозь раскрытое окно, легко позванивая и шурша, влетѣла большая птица.

Я вздрогнулъ, вглядѣлся.... То была не птица, то была крылатая, маленькая женщина, одѣтая въ тѣсное, длинное, къ низу волнистое платье.

Вся она была сѣрая, перламутроваго цвѣта; одна лишь внутренняя сторона ея крылышекъ алѣла нѣжной алостью распускающейся розы; вѣнокъ изъ ландышей охватывалъ разбросанныя кудри круглой головки, — и, подобныя усикамъ бабочки, два павлиньихъ пера забавно колебались надъ красивымъ, выпуклымъ лобикомъ.

Она пронеслась раза два подъ потолкомъ; ея крошечное лицо смѣялось; смѣялись также огромные, черные, свѣтлые глаза.

Веселая рѣзвость прихотливаго полета дробила ихъ алмазные лучи.

Она держала въ рукѣ длинный стебель степного цвѣтка: «царскимъ жезломъ» зовутъ его русскіе люди, — онъ и то похожъ на скипетръ.

Стремительно пролетая надо мною, коснулась она моей головы тѣмъ цвѣткомъ.

Я рванулся къ ней.... Но она уже выпорхнула изъ окна — и умчалась....

Въ саду, въ глуши сиреневыхъ кустовъ, гòрлинка встрѣтила ее первымъ воркованьемъ — а тамъ, гдѣ она скрылась, молочно-бѣлое небо тихонько закраснѣлось.

Я узналъ тебя, богиня фантазіи! Ты посѣтила меня случайно — ты полетѣла къ молодымъ поэтамъ.

О, поэзія! Молодость! Женская, дѣвственная красота! Вы только на мигъ можете блеснуть передо мною — раннимъ утромъ ранней весны!

Май, 1878.

Necessitas — Vis — Libertas.

Барельефъ.

Высокая, костлявая старуха, съ желѣзнымъ лицомъ и неподвижно-тупымъ взоромъ, идетъ большими шагами, и сухою какъ палка рукою толкаетъ передъ собой другую женщину.

Женщина эта огромнаго росту, могучая, дебелая, съ мышцами какъ у Геркулеса, съ крохотной головкой на бычачьей шеѣ — и слѣпая — въ свою очередь толкаетъ небольшую, худенькую дѣвочку.

У одной этой дѣвочки зрячіе глаза; она упирается, оборачивается назадъ, поднимаетъ тонкія, красивыя руки; ея оживленное лицо выражаетъ нетерпѣніе и отвагу.... Она не хочетъ слушаться, она не хочетъ идти, куда ее толкаютъ.... и все-таки должна повиноваться и идти.

NECESSITAS — VIS — LIBERTAS.

Кому угодно — пусть переводитъ.

Май, 1878.

Милостыня.

Вблизи большого города, по широкой проѣзжей дорогѣ шелъ старый, больной человѣкъ.

Онъ шатался на ходу; его исхудалыя ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и слабо, словно чужія; одежда на немъ висѣла лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь.... Онъ изнемогалъ.

Онъ присѣлъ на придорожный камень, наклонился впередъ, облокотился, закрылъ лицо обѣими руками — и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую, сѣдую пыль.

Онъ вспоминалъ....

Вспоминалъ онъ, какъ и онъ былъ нѣкогда здоровъ и богатъ — и какъ онъ здоровье истратилъ — и богатство роздалъ другимъ, друзьямъ и недругамъ.... И вотъ, теперь у него нѣтъ куска хлѣба — и всѣ его покинули, друзья еще раньше враговъ.... Неужли жъ ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердцѣ, и стыдно.

А слезы все капали да капали, пестря сѣдую пыль.

Вдругъ онъ услышалъ, что кто-то зоветъ его по имени: онъ поднялъ усталую голову — и увидалъ передъ собою незнакомца.

Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а свѣтлые; взоръ пронзительный, но не злой.

— Ты все свое богатство роздалъ, — послышался ровный голосъ.... — Но вѣдь ты не жалѣешь о томъ, что добро дѣлалъ?

— Не жалѣю, — отвѣтилъ со вздохомъ старикъ; — только вотъ умираю я теперь.

— И не было бы на свѣтѣ нищихъ, которые къ тебѣ протягивали руку, — продолжалъ незнакомецъ, — не надъ кѣмъ было бы тебѣ показать свою добродѣтель, не могъ бы ты упражняться въ ней?

Старикъ ничего не отвѣтилъ — и задумался.

— Такъ и ты теперь не гордись, бѣднякъ, — заговорилъ опять незнакомецъ: — ступай, протягивай руку, доставь и ты другимъ добрымъ людямъ возможность показать на дѣлѣ, что они добры.

Старикъ встрепенулся, вскинулъ глазами.... но незнакомецъ уже исчезъ; — а вдали на дорогѣ показался прохожій.

Старикъ подошелъ къ нему — и протянулъ руку. — Этотъ прохожій отвернулся съ суровымъ видомъ и не далъ ничего.

прелестное, плѣнительное, чуть-чуть дерзкое, чуть-чуть злое. Алыя, пухлявыя губы слегка вздрагиваютъ. Юноша улыбается, какъ власть имѣющій — самоувѣренно и лѣниво; пышный цвѣточный вѣнокъ слегка покоится на блестящихъ волосахъ, почти касаясь бархатныхъ бровей. Пестрая шкурка леопарда, перехваченная золотой стрѣлою, легко повисла съ округлаго плеча на выгнутое бедро. Перья крыльевъ отливаютъ розовымъ цвѣтомъ: концы ихъ ярко красны, точно омочены багряной, свѣжей кровью. Отъ времени до времени они трепещутъ быстро, съ пріятнымъ серебристымъ шумомъ, шумомъ весенняго дождя.

Другой былъ худъ и желтоватъ тѣломъ. Ребра слабо виднѣлись при каждомъ вдыханіи. Волосы бѣлокурые, жидкіе, прямые; огромные, круглые, блѣдно-сѣрые глаза.... взглядъ безпокойный и странно-свѣтлый. Всѣ черты лица заостренныя; маленькій, полураскрытый ротъ съ рыбьими зубами; сжатый, орлиный носъ, выдающійся подбородокъ, покрытый бѣловатымъ пухомъ. Эти сухія губы ни разу, никогда не улыбнулись.

То было правильное, страшное, безжалостное лицо! (Впрочемъ и у перваго, у красавца — лицо, хоть и милое и сладкое, жалости не выражало — тоже). Вокругъ головы второго зацѣпилось нѣсколько пустыхъ, поломанныхъ колосьевъ, перевитыхъ поблеклой былинкой. Грубая, сѣрая ткань обвивала чресла; крылья за спиною, темно-синія, матоваго цвѣта, двигались тихо и грозно.

Оба юноши казались неразлучными товарищами.

Каждый изъ нихъ опирался на плечо другого. Мягкая ручка перваго лежала, какъ виноградный гроздъ, на сухой ключицѣ второго; узкая кисть второго съ длинными тонкими пальцами протянулась какъ змѣя по женоподобной груди перваго.

И послышался мнѣ голосъ. Вотъ, что произнесъ онъ:

«Передъ тобой Любовь и Голодъ — два родныхъ брата, двѣ коренныхъ основы всего живущаго.

«Все, что живетъ — движется, чтобы питаться, и питается, чтобы воспроизводить.

«Любовь и Голодъ — цѣль ихъ одна: нужно, чтобъ жизнь не прекращалась, — собственная и чужая — все та же, всеобщая жизнь».

Августъ, 1878.

Эгоистъ.

Въ немъ было все нужное для того, чтобы сдѣлаться бичемъ своей семьи.

Онъ родился здоровымъ, родился богатымъ — и въ теченіе всей своей долгой жизни, оставаясь богатымъ и здоровымъ, не совершилъ ни одного проступка, не впалъ ни въ одну ошибку, не обмолвился и не промахнулся ни разу.

Онъ былъ безукоризненно честенъ!... И гордый сознаньемъ своей честности, давилъ ею всѣхъ: родныхъ, друзей, знакомыхъ.

Честность была его капиталомъ.... и онъ бралъ съ него ростовщичьи проценты.

Честность давала ему право быть безжалостнымъ и не дѣлать неуказаннаго добра; — и онъ былъ безжалостнымъ — и не дѣлалъ добра.... потому что добро по указу — не добро.

Онъ никогда не заботился ни о комъ, кромѣ собственной — столь примѣрной особы, и искренно возмущался, если и другіе также старательно не заботились о ней!

И въ то же время онъ не считалъ себя эгоистомъ — и пуще всего порицалъ и преслѣдовалъ эгоистовъ и эгоизмъ! — Еще бы! Чужой эгоизмъ мѣшалъ его собственному.

Не вѣдая за собой ни малѣйшей слабости, онъ не по-

нималъ, не допускалъ ничьей слабости. Онъ вообще никого и ничего не понималъ, ибо былъ весь, со всѣхъ сторонъ, снизу и сверху, сзади и спереди, окруженъ самимъ собою.

Онъ даже не понималъ, что̀ значитъ прощать? Самому себѣ прощать ему не приходилось.... Съ какой стати сталъ бы онъ прощать другимъ?

Передъ судомъ собственной совѣсти, передъ лицомъ собственнаго Бога — онъ, это чудо, этотъ извергъ добродѣтели, возводилъ очи горѣ — и твердымъ и яснымъ голосомъ произносилъ: «Да; я достойный, я нравственный человѣкъ!»

Онъ повторитъ эти слова на смертномъ ложѣ — и ничего не дрогнетъ даже и тогда въ его каменномъ сердцѣ — въ этомъ сердцѣ безъ пятнышка и безъ трещины.

О, безобразіе самодовольной, непреклонной, дешево доставшейся добродѣтели — ты едва ли не противнѣй откровеннаго безобразія порока!

Декабрь, 1878.

Пиръ у Верховнаго существа.

Однажды, Верховное существо вздумало задать великій пиръ въ своихъ лазоревыхъ чертогахъ.

Всѣ добродѣтели были имъ позваны въ гости. Однѣ добродѣтели.... мужчинъ онъ не приглашалъ.... однѣхъ только дамъ.

Собралось ихъ очень много — великихъ и малыхъ. Малыя добродѣтели были пріятнѣе и любезнѣе великихъ; но всѣ казались довольными — и вѣжливо разговаривали между собою, какъ приличествуетъ близкимъ родственникамъ и знакомымъ.

Но вотъ Верховное существо замѣтило двухъ прекрасныхъ дамъ, которыя, казалось, вовсе не были знакомы другъ съ дружкой.

Хозяинъ взялъ за руку одну изъ этихъ дамъ и подвелъ ее къ другой.

«Благодѣтельность!»—сказалъ онъ, указавъ на первую.

«Благодарность!»—прибавилъ онъ, указавъ на вторую.

Обѣ добродѣтели несказанно удивились: съ тѣхъ поръ, какъ свѣтъ стоялъ — а стоялъ онъ давно — онѣ встрѣчались въ первый разъ.

Декабрь, 1878.

Сфинксъ.

Изжелта сѣрый, сверху рыхлый, изподнизу твердый, скрыпучій песокъ.... песокъ безъ конца, куда ни взглянешь!

И надъ этой песчаной пустыней, надъ этимъ моремъ мертваго праха высится громадная голова египетскаго сфинкса.

Что̀ хотятъ сказать эти крупныя, выпяченныя губы, эти неподвижно-расширенныя, вздёрнутыя ноздри — и эти глаза, эти длинные, полу-сонные, полувнимательные глаза подъ двойной дугой высокихъ бровей?

А что-то хотятъ сказать они! Они даже говорятъ — но одинъ лишь Эдипъ умѣетъ разрѣшить загадку и понять ихъ безмолвную рѣчь.

Ба! Да я узнаю эти черты.... въ нихъ уже нѣтъ ничего египетскаго. Бѣлый, низкій лобъ, выдающіяся скулы, носъ короткій и прямой, красивый бѣлозубый ротъ, мягкій усъ и бородка курчавая — и эти широко разставленные небольшіе глаза.... а на головѣ шапка волосъ, разсѣченная проборомъ.... Да это ты, Карпъ, Сидоръ, Семенъ, ярославскій, рязанскій мужичекъ, соотчичъ мой, русская косточка! Давно ли попалъ ты въ сфинксы?

Или и ты тоже что-то хочешь сказать? Да; и ты тоже — сфинксъ.

И глаза твои — эти безцвѣтные, но глубокіе глаза говорятъ тоже.... И также безмолвны и загадочны ихъ рѣчи.

Только гдѣ твой Эдипъ?

Увы! не довольно надѣть мурмолку, чтобы сдѣлаться твоимъ Эдипомъ, о, всероссійскій сфинксъ!

Декабрь, 1878.

Нимфы.

Я стоялъ передъ цѣпью красивыхъ горъ, раскинутыхъ полукругомъ; молодой, зеленый лѣсъ покрывалъ ихъ сверху до низу.

Прозрачно синѣло надъ нами южное небо; солнце съ вышины играло лучами; внизу, полузакрытые травою болтали проворные ручьи.

И вспомнилось мнѣ старинное сказаніе о томъ, какъ, въ первый вѣкъ по Рождествѣ Христовѣ, одинъ греческій корабль плылъ по Эгейскому морю.

Часъ былъ полуденный.... Стояла тихая погода. И вдругъ, въ высотѣ, надъ головою кормчаго, кто-то явственно произнесъ: «Когда ты будешь плыть мимо острова, воззови громкимъ голосомъ: — Умеръ великій панъ!»

Кормчій удивился.... испугался. Но когда корабль побѣжалъ мимо острова, онъ послушался, онъ воззвалъ: — Умеръ великій Панъ!

И тотчасъ же, въ отвѣтъ на его кликъ, по всему протяженію берега (а островъ былъ необитаемъ) раздались громкія рыданья, стоны, протяжные, жалостные возгласы: — Умеръ! Умеръ великій Панъ!

Мнѣ вспомнилось это сказаніе.... и странная мысль посѣтила меня. — «Что, если и я кликну кличъ?»

Но въ виду окружавшаго меня ликованія, я не могъ

подумать о смерти—и, что было во мнѣ силы, закричалъ:—«Воскресъ! воскресъ великій Панъ!»

И тотчасъ же, о, чудо!—въ отвѣтъ на мое восклицаніе, по всему широкому полукружію зеленыхъ горъ прокатился дружный хохотъ, поднялся радостный говоръ и плескъ. «Онъ воскресъ! Панъ воскресъ!» шумѣли молодые голоса.—Все тамъ впереди внезапно засмѣялось, ярче солнца въ вышинѣ, игривѣе ручьевъ, болтавшихъ подъ травою. Послышался торопливый топотъ легкихъ шаговъ, сквозь зеленую чащу замелькала мраморная бѣлизна волнистыхъ туникъ, живая алость обнаженныхъ тѣлъ.... То нимфы, нимфы, дріады, вакханки бѣжали съ высотъ въ равнину....

Онѣ разомъ показались по всѣмъ опушкамъ. Локоны вьются по божественнымъ головамъ, стройныя руки поднимаютъ вѣнки и тимпаны—и смѣхъ, сверкающій, олимпійскій смѣхъ бѣжитъ и катится вмѣстѣ съ ними....

Впереди несется богиня. Она выше и прекраснѣе всѣхъ,—колчанъ за плечами, въ рукахъ лукъ, на поднятыхъ кудряхъ серебристый серпъ луны....

Діана, это—ты?

Но вдругъ богиня остановилась.... и тотчасъ, вслѣдъ за нею, остановились всѣ нимфы. Звонкій смѣхъ замеръ. Я видѣлъ, какъ лицо внезапно онѣмѣвшей богини покрылось смертельной блѣдностью; я видѣлъ, какъ окаменѣли ея ноги, какъ невыразимый ужасъ разверзъ ея уста, расширилъ глаза, устремленные въ даль.... Что она увидала? Куда глядѣла она?

Я обернулся въ ту сторону, куда она глядѣла....

На самомъ краю неба, за низкой чертою полей, горѣлъ огненной точкой золотой крестъ на бѣлой колокольнѣ христіанской церкви.... Этотъ крестъ увидала богиня.

Я услышалъ за собою неровный, длинный вздохъ, по-

добный трепетанію лопнувшей струны, — и когда я обернулся снова, уже отъ нимфъ не осталось слѣда.... Широкій лѣсъ зеленѣлъ по прежнему, и только мѣстами, сквозь частую сѣть вѣтвей виднѣлись, таяли клочки чего-то бѣлаго. Были ли то туники нимфъ, поднимался ли паръ со дна долинъ — не знаю.

Но какъ мнѣ было жаль исчезнувшихъ богинь!

Декабрь, 1878.

Врагъ и Другъ.

Осужденный на вѣчное заточенье узникъ вырвался изъ тюрьмы и стремглавъ пустился бѣжать.... За нимъ по пятамъ мчалась погоня.

Онъ бѣжалъ изо всѣхъ силъ.... Преслѣдователи начинали отставать.

Но вотъ передъ нимъ рѣка съ крутыми берегами, узкая — но глубокая рѣка.... А онъ не умѣетъ плавать!

Съ одного берега на другой перекинута тонкая гнилая доска. Бѣглецъ уже занесъ на нее ногу.... Но случилось такъ, что тутъ же возлѣ рѣки стояли: лучшій его другъ и самый жестокій его врагъ.

Врагъ ничего не сказалъ и только скрестилъ руки; за то другъ закричалъ во все горло: — «Помилуй! Что ты дѣлаешь? Опомнись, безумецъ! Развѣ ты не видишь, что доска совсѣмъ сгнила? — Она сломится подъ твоею тяжестью — и ты неизбѣжно погибнешь!»

— «Но вѣдь другой переправы нѣтъ.... а погоню слышишь?» отчаянно простоналъ несчастный и ступилъ на доску.

— Не допущу!... Нѣтъ, не допущу, чтобы ты погибнулъ! — возопилъ ревностный другъ и выхватилъ изъ подъ ногъ бѣглеца доску. — Тотъ мгновенно бухнулъ въ бурныя волны — и утонулъ.

Врагъ засмѣялся самодовольно — и пошелъ прочь; а другъ присѣлъ на бережку — и началъ горько плакать о своемъ бѣдномъ.... бѣдномъ другѣ!

Обвинять самого себя въ его гибели онъ, однако, не подумалъ.... ни на мигъ.

«Не послушался меня! Не послушался!» — шепталъ онъ уныло.

«А впрочемъ! — промолвилъ онъ наконецъ. Вѣдь онъ всю жизнь свою долженъ былъ томиться въ ужасной тюрьмѣ! По крайней мѣрѣ онъ теперь не страдаетъ! Теперь ему легче! Знать, ужъ такая ему выпала доля!»

«А все-таки жалко, по человѣчеству!»

И добрая душа продолжала неутѣшно рыдать о своемъ злополучномъ другѣ.

Декабрь, 1878.

Христосъ.

Я видѣлъ себя юношей, почти мальчикомъ въ низкой деревенской церкви. — Красными пятнышками теплились передъ старинными образами восковыя тонкія свѣчи.

Радужный вѣнчикъ окружалъ каждое маленькое пламя. — Темно и тускло было въ церкви.... Но народу стояло передо мною много.

Все русыя, крестьянскія головы. Отъ времени до времени онѣ начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрѣлые колосья, когда по нимъ медленной волной пробѣгаетъ лѣтній вѣтеръ.

Вдругъ какой-то человѣкъ подошелъ сзади и сталъ со мною рядомъ.

Я не обернулся къ нему — но тотчасъ почувствовалъ, что этотъ человѣкъ — Христосъ.

Умиленіе, любопытство, страхъ, разомъ овладѣли мною.

Я сдѣлалъ надъ собою усиліе.... и посмотрѣлъ на своего сосѣда.

Лицо какъ у всѣхъ, — лицо, похожее на всѣ человѣческія лица. Глаза глядятъ немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты: верхняя губа какъ бы покоится на нижней; небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на немъ, какъ на всѣхъ.

«Какой же это Христосъ!» подумалось мнѣ. «Такой простой, простой человѣкъ! Быть не можетъ!»

Я отвернулся прочь. — Но не успѣлъ я отвести взоръ отъ того простого человѣка, какъ мнѣ опять почудилось, что это именно Христосъ стоялъ со мной рядомъ.

Я опять сдѣлалъ надъ собою усиліе.... И опять увидѣлъ то же лицо, похожее на всѣ человѣческія лица, тѣ же обычныя, хоть и незнакомыя черты.

И мнѣ вдругъ стало жутко — и я пришелъ въ себя. Только тогда я понялъ, что именно такое лицо, — лицо, похожее на всѣ человѣческія лица — оно и есть лицо Христа.

Декабрь, 1878.

II

1879 — 1882 гг.

Камень.

Видали-ли вы старый, сѣрый камень на морскомъ прибрежьѣ, когда на него, въ часъ прилива, въ солнечный весенній день, со всѣхъ сторонъ бьютъ живыя волны — бьютъ и играютъ и ластятся къ нему — и обливаютъ его мшистую голову разсыпчатымъ жемчугомъ блестящей пѣны?

Камень остается тѣмъ же камнемъ — но по хмурой его поверхности выступаютъ яркіе цвѣта.

Они свидѣтельствуютъ о томъ далекомъ времени, когда только-что начиналъ твердѣть расплавленный гранитъ и весь горѣлъ огнистыми цвѣтами.

Такъ и на мое старое сердце недавно со всѣхъ сторонъ нахлынули молодыя, женскія души — и подъ ихъ ласкающимъ прикосновеніемъ зардѣлось оно уже давно поблекшими красками, слѣдами бывалаго огня!

Волны отхлынули.... но краски еще не потускнѣли — хоть и сушитъ ихъ рѣзкій вѣтеръ.

Май, 1879.

Голуби.

Я стоялъ на вершинѣ пологаго холма; передо мною — то золотомъ, то посеребреннымъ моремъ раскинулась и пестрѣла спѣлая рожь.

Но не бѣгало зыби по этому морю; не струился душный воздухъ: назрѣвала гроза великая.

Около меня солнце еще свѣтило горячо и тускло; но тамъ, за рожью, не слишкомъ далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на цѣлой половинѣ небосклона.

Все притаилось.... все изнывало подъ зловѣщимъ блескомъ послѣднихъ солнечныхъ лучей. Не слыхать, не видать ни одной птицы; попрятались даже воробьи. Только гдѣ-то вблизи упорно шепталъ и хлопалъ одинокій, крупный листъ лопуха.

Какъ сильно пахнетъ полынь на межахъ! Я глядѣлъ на синюю громаду.... и смутно было на душѣ. Ну, скорѣй же, скорѣй! думалось мнѣ, сверкни, золотая змѣйка, дрогни, громъ! двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томленье!

Но туча не двигалась. Она по прежнему давила безмолвную землю.... и только словно пухла да темнѣла.

И вотъ по одноцвѣтной ея синевѣ замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять бѣлый платочекъ или снѣжный комокъ. То летѣлъ со стороны деревни бѣлый голубь.

Летѣлъ, летѣлъ все прямо, прямо.... и потонулъ за лѣсомъ.

Прошло нѣсколько мгновеній — та же стояла жестокая тишь.... Но глядь! Уже *два* платка мелькаютъ, *два* комочка несутся назадъ: то летятъ домой ровнымъ полетомъ *два* бѣлыхъ голубя.

И вотъ, наконецъ, сорвалась буря — и пошла потѣха!

Я едва домой добѣжалъ. — Визжитъ вѣтеръ, мечется какъ бѣшенный, мчатся рыжія, низкія, словно въ клочья разорванныя облака, все закрутилось, смѣшалось, захлесталъ, закачался отвѣсными столбами рьяный ливень, молніи слѣпятъ огнистой зеленью, стрѣляетъ какъ изъ пушки отрывистый громъ, запахло сѣрой....

Но подъ навѣсомъ крыши, на самомъ краюшкѣ слухового окна, рядышкомъ сидятъ два бѣлыхъ голубя — и тотъ, кто слеталъ за товарищемъ — и тотъ, кого онъ привелъ и, можетъ быть, спасъ.

Нахохлились оба — и чувствуютъ каждый своимъ крыломъ крыло сосѣда....

Хорошо имъ! И мнѣ хорошо, глядя на нихъ.... Хоть я и одинъ.... одинъ какъ всегда.

Май, 1879.

Завтра! Завтра!

Какъ пустъ и вялъ, и ничтоженъ почти всякій прожитой день! Какъ мало слѣдовъ оставляетъ онъ за собою! Какъ безсмысленно-глупо пробѣжали эти часы за часами!

И между тѣмъ человѣку хочется существовать; онъ дорожитъ жизнію, онъ надѣется на нее, на себя, на будущее... О, какихъ благъ онъ ждетъ отъ будущаго!

Но почему же онъ воображаетъ, что другіе, грядущіе дни не будутъ похожи на этотъ только-что прожитой день?

Да онъ этого и не воображаетъ. Онъ вообще не любитъ размышлять — и хорошо дѣлаетъ.

«Вотъ, завтра, завтра!» — утѣшаетъ онъ себя, — пока это «завтра» не свалитъ его въ могилу.

Ну — а разъ въ могилѣ — поневолѣ размышлять перестанешь.

Май, 1879.

Природа.

Мнѣ снилось, что я вошелъ въ огромную подземную храмину съ высокими сводами. Ее всю наполнялъ какой-то тоже подземный, ровный свѣтъ.

По самой серединѣ храмины сидѣла величавая женщина въ волнистой одеждѣ зеленаго цвѣта. Склонивъ голову на руку, она казалась погруженной въ глубокую думу.

Я тотчасъ понялъ, что эта женщина — сама Природа, — и мгновеннымъ холодомъ внѣдрился въ мою душу благоговѣйный страхъ.

Я приблизился къ сидящей женщинѣ — и отдавъ почтительный поклонъ: «О, наша общая мать!» — воскликнулъ я. — «О чемъ твоя дума? Не о будущихъ ли судьбахъ человѣчества размышляешь ты? Не о томъ ли, какъ ему дойти до возможнаго совершенства и счастья?»

Женщина медленно обратила на меня свои темные, грозные глаза. Губы ея шевельнулись — и раздался зычный голосъ, подобный лязгу желѣза.

— Я думаю о томъ, какъ бы придать бо̀льшую силу мышцамъ ногъ блохи, чтобы ей удобнѣе было спасаться

отъ враговъ своихъ. Равновѣсіе нападенія и отпора нарушено.... Надо его возстановить.

— Какъ? — пролепеталъ я въ отвѣтъ. — Ты вотъ о чемъ думаешь? Но развѣ мы, люди, не любимыя твои дѣти?

Женщина чуть-чуть наморщила брови: — Всѣ твари мои дѣти, — промолвила она — и я одинаково о нихъ заботусь — и одинаково ихъ истребляю.

— Но добро.... разумъ.... справедливость.... — пролепеталъ я снова.

— Это человѣческія слова, — раздался желѣзный голосъ. — Я не вѣдаю ни добра, ни зла.... Разумъ мнѣ не законъ—и что̀ такое справедливость?—Я тебѣ дала жизнь— я ее отниму и дамъ другимъ, червямъ или людямъ.... мнѣ все равно.... А ты, пока, защищайся — и не мѣшай мнѣ!

Я хотѣлъ-было возражать.... но земля кругомъ глухо застонала и дрогнула — и я проснулся.

Августъ, 1879.

„Повѣсить его!"

Это случилось въ 1803 году, — началъ мой старый знакомый, — незадолго до Аустерлица. Полкъ, въ которомъ я служилъ офицеромъ, стоялъ на квартирахъ въ Моравіи.

Намъ было строго запрещено безпокоить и притѣснять жителей; они и такъ смотрѣли на насъ косо, хоть мы и считались союзниками.

У меня былъ деньщикъ, бывшій крѣпостной моей матери, Егоръ по имени. Человѣкъ онъ былъ честный и смирный; я зналъ его съ дѣтства и обращался съ нимъ какъ съ другомъ.

Вотъ, однажды въ домѣ, гдѣ я жилъ, поднялись бранчивые крики, вопли: у хозяйки украли двухъ куръ, и она въ этой кражѣ обвиняла моего деньщика. Онъ оправды-

вался, призывалъ меня въ свидѣтели.... — «Станетъ онъ красть, онъ, Егоръ Автамоновъ!» Я увѣрялъ хозяйку въ честности Егора, но она ничего слушать не хотѣла.

Вдругъ вдоль улицы раздался дружный конскій топотъ: то самъ главнокомандующій проѣзжалъ со своимъ штабомъ.

Онъ ѣхалъ шагомъ, толстый, обрюзглый, съ понурой головой и свислыми на грудь эполетами.

Хозяйка увидала его — и, бросившись на перерѣзъ его лошади, пала на колѣни — и вся растерзанная, простоволосая, начала громко жаловаться на моего деньщика, указывала на него рукою.

— «Господинъ генералъ!» кричала она: — «ваше сіятельство! разсудите! помогите! спасите! этотъ солдатъ меня ограбилъ!»

Егоръ стоялъ на порогѣ дома, вытянувшись въ струнку, съ шапкой въ рукѣ, даже грудь выставилъ и ноги сдвинулъ какъ часовой — и хоть бы слово! Смутилъ ли его весь этотъ остановившійся посреди улицы генералитетъ, окаменѣлъ ли онъ передъ налетающей бѣдою — только стоитъ мой Егоръ да мигаетъ глазами, а самъ бѣлъ какъ глина!

Главнокомандующій бросилъ на него разсѣянный и угрюмый взглядъ, промычалъ сердито: — Ну?... Стоитъ Егоръ какъ истуканъ и зубы оскалилъ! Со стороны посмотрѣть: словно смѣется человѣкъ.

Тогда главнокомандующій промолвилъ отрывисто: — Повѣсить его! — толкнулъ лошадь подъ бока и двинулся дальше — сперва опять-таки шагомъ — а потомъ шибкой рысью. Весь штабъ помчался вслѣдъ за нимъ; одинъ только адъютантъ, повернувшись на сѣдлѣ, взглянулъ мелькомъ на Егора.

Ослушаться было невозможно.... Егора тотчасъ схватили и повели на казнь.

Тутъ онъ совсѣмъ помертвѣлъ — и только раза два съ трудомъ воскликнулъ: «батюшки! батюшки!» — а потомъ въ полголоса: «видитъ Богъ — не я!»

Горько, горько заплакалъ онъ, прощаясь со мною. Я былъ въ отчаяніи. — «Егоръ! Егоръ! — кричалъ я — какъ же ты это ничего не сказалъ генералу!»

— Видитъ Богъ, не я, — повторялъ всхлипывая бѣднякъ. — Сама хозяйка ужаснулась. Она никакъ не ожидала такого страшнаго рѣшенія, и въ свою очередь разревѣлась! Начала умолять всѣхъ и каждаго о пощадѣ, увѣряла, что куры ея отыскались, что она сама готова все объяснить....

Разумѣется, все это ни къ чему не послужило. Военные, сударь, порядки! Дисциплина! — Хозяйка рыдала все громче и громче.

Егоръ, котораго священникъ уже исповѣдалъ и причастилъ, обратился ко мнѣ:

— Скажите ей, ваше благородіе, чтобъ она не убивалась.... Вѣдь я ей простилъ.

Мой знакомый, повторивъ эти послѣднія слова своего слуги, прошепталъ: «Егорушка, голубчикъ, праведникъ!» — и слезы закапали по его старымъ щекамъ.

Августъ, 1879.

Что я буду думать?...

Что я буду думать тогда, когда мнѣ придется умирать, — если я только буду въ состояніи тогда думать?

Буду ли я думать о томъ, что плохо воспользовался жизнью, проспалъ ее, продремалъ, не съумѣлъ вкусить отъ ея даровъ?

«Какъ? это уже смерть? Такъ скоро? Невозможно! Вѣдь я еще ничего не успѣлъ сдѣлать.... Я только собирался дѣлать!»

Буду ли я вспоминать о прошедшемъ, останавливаться мыслію на немногихъ, свѣтлыхъ, прожитыхъ мною мгновеніяхъ, на дорогихъ образахъ и лицахъ?

Предстанутъ ли моей памяти мои дурныя дѣла — и найдетъ на мою душу жгучая тоска поздняго раскаянія?

Буду ли я думать о томъ, что̀ меня ожидаетъ за гробомъ.... да и ожидаетъ ли меня тамъ что-нибудь?

Нѣтъ.... мнѣ кажется, я буду стараться не думать — и насильно займусь какимъ-нибудь вздоромъ, чтобы только отвлечь собственное мое вниманіе отъ грознаго мрака, чернѣющаго впереди.

При мнѣ одинъ умирающій все жаловался на то, что не хотятъ дать ему погрызть каленыхъ орѣшковъ.... и только тамъ, въ глубинѣ его потускнѣвшихъ глазъ билось и трепетало что-то, какъ перешибленное крыло на смерть раненой птицы.

Августъ, 1879.

«Какъ хороши, какъ свѣжи были розы....»

Гдѣ-то, когда-то, давно-давно тому назадъ, я прочелъ одно стихотвореніе. Оно скоро позабылось мною.... но первый стихъ остался у меня въ памяти:

«Какъ хороши, какъ свѣжи были розы....»

Теперь зима; морозъ запушилъ стекла оконъ; въ темной комнатѣ горитъ одна свѣча. Я сижу, забившись въ уголъ; а въ головѣ все звенитъ да звенитъ:

«Какъ хороши, какъ свѣжи были розы....»

И вижу я себя передъ низкимъ окномъ загороднаго русскаго дома. Лѣтній вечеръ тихо таетъ и переходитъ въ

ночь, въ тепломъ воздухѣ пахнетъ резедой и липой; — а на окнѣ, опершись на выпрямленную руку и склонивъ голову къ плечу, сидитъ дѣвушка — и безмолвно и пристально смотритъ на небо, какъ бы выжидая появленія первыхъ звѣздъ. Какъ простодушно вдохновенны задумчивые глаза, какъ трогательно-невинны раскрытыя, вопрошающія губы, какъ ровно дышетъ еще не вполнѣ разцвѣтшая, еще ничѣмъ не взволнованная грудь, какъ чистъ и нѣженъ обликъ юнаго лица! Я не дерзаю заговорить съ нею, но какъ она мнѣ дорога̀, какъ бьется мое сердце!

«Какъ хороши, какъ свѣжи были розы....»

А въ комнатѣ все темнѣй да темнѣй.... Нагорѣвшая свѣча трещитъ, бѣглыя тѣни колеблются на низкомъ потолкѣ, морозъ скрыпитъ и злится за стѣною — и чудится скучный, старческій шопотъ....

«Какъ хороши, какъ свѣжи были розы....»

Встаютъ передо мною другіе образы.... Слышится веселый шумъ семейной, деревенской жизни. Двѣ русыя головки, прислонясь другъ къ дружкѣ, бойко смотрятъ на меня своими свѣтлыми глазками, алыя щеки трепещутъ сдержаннымъ смѣхомъ, руки ласково сплелись, въ перебивку звучатъ молодые, добрые голоса; а немного подальше, въ глубинѣ уютной комнаты, другія, тоже молодыя руки бѣгаютъ, путаясь пальцами, по клавишамъ старенькаго піанино, и Ланнеровскій вальсъ не можетъ заглушить воркотню патріархальнаго самовара....

«Какъ хороши, какъ свѣжи были розы....»

Свѣча меркнетъ и гаснетъ.... Кто это кашляетъ тамъ такъ хрипло и глухо? Свернувшись въ калачикъ, жмется

и вздрагиваетъ у ногъ моихъ старый песъ, мой единственный товарищъ.... Мнѣ холодно.... Я зябну.... и всѣ онѣ умерли.... умерли....

«Какъ хороши, какъ свѣжи были розы ...»

Сентябрь, 1879.

Морское плаваніе.

Я плылъ изъ Гамбурга въ Лондонъ на небольшомъ пароходѣ. Насъ было двое пассажировъ: я, да маленькая обезьяна, самка изъ породы уистити, которую одинъ гамбургскій купецъ отправлялъ въ подарокъ своему англійскому компаньону.

Она была привязана тонкой цѣпочкой къ одной изъ скамеекъ на палубѣ и металась, и пищала жалобно, по-птичьи.

Всякій разъ, когда я проходилъ мимо, она протягивала мнѣ свою черную, холодную ручку — и взглядывала на меня своими грустными, почти человѣческими глазенками. — Я бралъ ея руку — и она переставала пищать и метаться.

Стоялъ полный штиль. Море растянулось кругомъ неподвижной скатертью свинцоваго цвѣта. Оно казалось невеликимъ; густой туманъ лежалъ на немъ, заволакивая самые концы мачтъ, и слѣпилъ и утомлялъ взоръ своей мягкой мглою. Солнце висѣло тускло-краснымъ пятномъ въ этой мглѣ; а передъ вечеромъ она вся загоралась и алѣла таинственно и странно.

Длинныя прямыя складки, подобныя складкамъ тяжелыхъ шелковыхъ тканей, бѣжали одна за другой отъ носа парохода и, все ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконецъ, колыхались, исчезали. Взбитая пѣна клубилась подъ однообразно топотавшими колесами; молочно бѣлѣя и

слабо шипя разбивалась она на змѣевидныя струи, а тамъ сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякалъ небольшой колоколъ у кормы.

Изрѣдка всплывалъ тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходилъ подъ едва возмущенную гладь.

А капитанъ, молчаливый человѣкъ съ загорѣлымъ сумрачнымъ лицомъ, курилъ короткую трубку и сердито плевалъ въ застывшее море.

На всѣ мои вопросы онъ отвѣчалъ отрывистымъ ворчаніемъ; поневолѣ приходилось обращаться къ моему единственному спутнику — обезьянѣ.

Я садился возлѣ нея; она переставала пищать — и опять протягивала мнѣ руку.

Снотворной сыростью обдавалъ насъ обоихъ неподвижный туманъ; и погруженные въ одинаковую, безсознательную думу, мы пребывали другъ возлѣ друга, словно родные.

Я улыбаюсь теперь.... но тогда во мнѣ было другое чувство.

Всѣ мы дѣти одной матери — и мнѣ было пріятно, что бѣдный звѣрокъ такъ довѣрчиво утихалъ и прислонялся ко мнѣ, словно къ родному.

Ноябрь, 1879.

Н. Н.

Стройно и тихо проходишь ты по жизненному пути, безъ слезъ и безъ улыбки, едва оживленная равнодушнымъ вниманіемъ.

Ты добра и умна.... и все тебѣ чуждо — и никто тебѣ не нуженъ.

Ты прекрасна — и никто не скажетъ: дорожишь ли ты своей красотою или нѣтъ? — Ты безучастна сама — и не требуешь участія.

Твой взоръ глубокъ — и не задумчивъ; пусто въ этой свѣтлой глубинѣ.

Такъ, въ Елисейскихъ поляхъ, подъ важные звуки Глюковскихъ мелодій — безпечально и безрадостно проходятъ стройныя тѣни.

Ноябрь, 1879.

Стой!

Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься на всегда такою въ моей памяти!

Съ губъ сорвался послѣдній вдохновенный звукъ — глаза не блестятъ и не сверкаютъ — они меркнутъ, отягощенные счастьемъ, блаженнымъ сознаніемъ той красоты, которую удалось тебѣ выразить, той красоты, во слѣдъ которой ты словно простираешь твои торжествующія, твои изнеможенныя руки!

Какой свѣтъ, тоньше и чище солнечнаго свѣта, разлился по всѣмъ твоимъ членамъ, по малѣйшимъ складкамъ твоей одежды?

Какой Богъ своимъ ласковымъ дуновеньемъ откинулъ назадъ твои разсыпанныя кудри?

Его лобзаніе горитъ на твоемъ, какъ мраморъ, поблѣднѣвшемъ челѣ!

Вотъ она — открытая тайна, тайна поэзіи, жизни, любви! Вотъ оно, вотъ оно, безсмертіе! Другого безсмертія нѣтъ — и не надо. — Въ это мгновеніе ты безсмертна.

Оно пройдетъ — и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя.... Но что тебѣ за дѣло! — Въ это мгновенье — ты стала выше, ты стала внѣ всего преходящаго, временного. — Это *твое* мгновеніе не кончится никогда.

Стой! И дай мнѣ быть участникомъ твоего безсмертія, урони въ душу мою отблескъ твоей вѣчности!

Ноябрь, 1879.

Монахъ.

Я знавалъ одного монаха, отшельника, святого. Онъ жилъ одною сладостью молитвы — и, упиваясь ею, такъ долго простаивалъ на холодномъ полу церкви, что ноги его, ниже колѣнъ, отекли и уподобились столбамъ. Онъ ихъ не чувствовалъ, стоялъ — и молился.

Я его понималъ — я, быть можетъ, завидовалъ ему — но пускай же и онъ пойметъ меня, и не осуждаетъ меня — меня, которому недоступны его радости.

Онъ добился того, что уничтожилъ себя, свое ненавистное *я;* но вѣдь и я — не молюсь, не изъ самолюбія.

Мое *я* мнѣ, можетъ быть, еще тягостнѣе и противнѣе, чѣмъ его — ему.

Онъ нашелъ, въ чемъ забыть себя.... да вѣдь и я нахожу, хоть и не такъ постоянно.

Онъ не лжетъ.... да вѣдь и я не лгу.

Ноябрь, 1879.

Мы еще повоюемъ!

Какая ничтожная малость можетъ иногда перестроить всего человѣка!

Полный раздумья, шелъ я однажды по большой дорогѣ.

Тяжкія предчувствія стѣсняли мою грудь; унылость овладѣвала мною.

Я поднялъ голову.... Предо мною, между двухъ рядовъ высокихъ тополей, стрѣлою уходила въ даль дорога.

И черезъ нее, черезъ эту самую дорогу, въ десяти шагахъ отъ меня, вся раззолоченная яркимъ лѣтнимъ солнцемъ, прыгала гуськомъ цѣлая семейка воробьевъ, прыгала бойко, забавно, самонадѣянно!